Александр
Солженицын

Александр

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Александр

Солженицын

Собрание сочинений
Том тринадцатый

Красное Колесо

Повествованье
в отмеренных сроках

Узел III
Март Семнадцатого

Книга 3

Время

Москва 2008

ББК 84Р7-4
С60

Издательство выражает благодарность
Банку ВТБ за поддержку
в издании Собрания сочинений

редактор-составитель
Наталия Солженицына

дизайн, макет
Валерий Калныньш

ISBN 978-5-9691-0335-1
ISBN 978-5-9691-0032-9 (общий)

© А. И. Солженицын, 2008
© Н. Д. Солженицына, составление, 2008
© «Время», 2008

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ III

Март Семнадцатого

23 февраля – 18 марта ст. ст.

Книга 3

ТРЕТЬЕ МАРТА

ПЯТНИЦА

354

Нельзя было не зажечься, что участвуешь в великих минутах России! Пока во Пскове в царском вагоне на скрытой зыби переговоров подныривало и выныривало русское будущее, инженер Ломоносов когтисто-тигристыми шагами, с каждым отрывом ноги как бы забирая на ботинок частицы пола, расхаживал из кабинета в кабинет, от телефона к телефону, а больше — к переговорному аппарату, связь которого со Псковом не размыкалась. На том конце сидел железнодорожный инспектор, поехавший с Гучковым обезпечивать дорогу, и рассказывал всякие мелочи из своих наблюдений.

Эта минута, измечтанная, изжеланная столькими поколениями русской интеллигенции, столькими революционерами, уходившими в ссылку и в эмиграцию, сказочная недостижимая минута, — вот она, вязалась и происходила в глухой неизвестности в зашторенном вагоне на полутёмном псковском вокзале, — и когда бы мог представить себе бывший кадетик и бывший студент-путеец Юрий Ломоносов, что, может быть, это он будет тем первым человеком в российской столице, кто первый выловит, вырвет весть об отречении деспота и бросит её на волны свободной ликующей России! (И упомнят ли его заслугу?) Юрий Владимирович наслаждался сейчас каждым своим взглядом, каждым движением, шуткой, каждым взятием телефонной трубки, каждым перебором текущей ленты.

Страшно волновались и ждали в Таврическом, но не имели прямой связи со Псковом. И Родзянко распорядился, чтобы акт отречения, как только он возникнет, был бы передан по телеграфу шифром в министерство путей сообщения, а отсюда по телефону — в Таврический.

А Бубликов, больно уязвлённый своим неназначением в министры, и даже особенно поэтому, распорядился: первую же деловую ленту из Пскова подать ему первому в кабинет.

И так, после того как Псков сообщил, что депутаты вышли из царского поезда, — Бубликов стал к аппарату ожидать последующего.

Наступило новое получасовое томление. Лента не шла. Отказал?? Не отрёкся?? Там, во Пскове, уже знали, но ничего не сообщали. Или шифровали.

Наконец — пошла! И Бубликов принял её, и унёс тайну. Не открывая двери, не делясь — сам же первый передал кому-то в Таврический. И наконец поделился с Ломоносовым как наградой: что это была короткая телеграмма Гучкова Родзянке: *«Согласие получено»*! Но пока не притечёт сам Манифест — об этом ни гугу.

Так что — не бросить по российским волнам, разве шепнуть верным сотрудникам, Рулевскому или Сосновскому. Грянуть — не удавалось Ломоносову.

Sic transit… ! Вот — был император великой страны, и — враз превратился в *бывшего*, и уже ни в ком не вызовет ни угодливости, ни уважения, ни сожаления.

Опять потекла лента, не шифрованная, но и нисколько не об отречении. А просил Псков по поручению Гучкова назначить императорскому поезду маршрут в Ставку.

Ломоносова взорвало: они там сошли с ума! Как же можно отречённого деспота — да отпускать в Ставку? отдавать ему в руки всю армию?! Это — новый переворот!

— Александр Александрович! Это выше моего понимания! Что делает Гучков? Пожалуйтесь в Думу!

Бубликова как кипятком обдали — и он схватил трубку.

Однако он установил отдаление: ни Ломоносов и никто не должен дальше присутствовать при его телефонных разговорах.

Только слышно было, что он возражает резко, что он почти кричит.

И вышел на порог кабинета разочарованный:

— Приказано отпустить в Ставку. И очень торопят Манифест. Спросите, почему не передают.

— Там, во Пскове, его отдали шифровать военному коменданту. И отказываются передавать по нашим линиям, хотят — по военным, в Главный штаб.

Ещё одно разочарование: из главного нервного центра их отшвыривали в боковое министерство.

— Жалуйтесь Гучкову!

— Гучков сказал: всё равно.

Отбросили их.

Бубликов понурился, ушёл в кабинет. Но едва ли, чтобы спать.

А Ломоносов, не теряя тигристого шага, — расхаживал, расхаживал — и вдруг изобрёл! И позвонил в Думу, в Военную комиссию:

— Вот вы получите Манифест — а где вы его намерены печатать?

Ведь у Думы нет своей типографии. Государственная типография и все другие в разгоне и забастовках.

— А мы, в типографии министерства путей сообщения, — можем! У нас служащие — на местах.

Там — и сами не подумали, раззявы. Там — рады предложению. Хотя ещё важничают:

— Но, понимаете, это большая секретность. Надо так печатать, чтоб никуда не утекло прежде времени.

Ломоносов ликовал над трубкой, и с военными интонациями:

— У нас отличная организация! Никуда не вырвется! И своя охрана. Можем всех незанятых служащих отпустить и ввести в типографию караул.

Сговорились. Отлично! Обрадовал Бубликова, а то он приуныл. Новые возможности.

Но теперь тормозил Псков: военный комендант удивительно медленно шифровал. А потом ещё будет передавать по военной линии. А потом будет расшифровывать полковник Главного штаба. Дело долгое, ещё на четверть ночи.

Бубликов решил спать, поручая Ломоносову: как расшифровка кончится — послать к этому полковнику автомобиль с двумя солдатами, везти один экземпляр на чтение в Думу, второй — сюда на печатанье. Как раз и будет уже утро, соберутся служащие типографии.

Бубликов лёг в кабинете — но тем более Ломоносов не ляжет в эту ночь, не упустит своего жребия, такие ночи не повторяются! Он расхаживал, расхаживал, собирая ясность.

Тут явился ротмистр Сосновский, очень красный, громкий и чрезвычайно весёлый. Видно, хорошо хлебнул там, в министерской квартире.

Вина! — это идея. Чего сейчас хотелось — это хорошего вина!

— Ротмистр! Надо принести бутылочку хорошего мне на дежурство.

Немного сгримасничал ротмистр: час поздний, воспитание мешает, но — дружба и служба, всё вместе. Блудливо улыбнулся. Пошёл и принёс бутылку отличной мадеры.

Теперь стало дежурить гораздо веселей. Но рождались и нетерпеливые мысли: что-то слишком долго Манифест замялся в Главном штабе, всё не готово, всё расшифровывается. Потом: одно место не поддаётся расшифровке, потребуется вторичная передача.

Очень странно. Очень подозрительно. А нет ли здесь монархического заговора: задержать Манифест пока в штабах — а тем временем что-то случится, кто-то поможет?..

Да, конечно, тут заговор чёрных сил! Это — ясно. Хотят скрыть Манифест и устроить контрпереворот.

— Так что же, полковник, можно посылать автомобиль за актом?

— Какой автомобиль?

— Везти его в Думу.

— Простите, профессор, не понимаю, при чём тут вы? Псковская телеграмма адресована Начальнику Главного штаба. Я сейчас кончаю расшифровку и буду докладывать её по начальству.

Ах так? Ну, совершенно ясно! — контрреволюционный офицерский заговор!

Первая мысль: обрезать у того полковника все телефонные линии, чтоб он не мог сговариваться. Псковскую линию — это в наших руках, через Северо-Западную дорогу. А городской телефон? — звоним на городскую телефонную станцию: именем комиссара Бубликова — выключить телефон полковника Шихеева.

Бубликов спал, и фантазия Ломоносова, подогретая вином, расходилась.

Хорошо. Теперь — просить у министра юстиции Керенского разрешения на арест полковника, желающего скрыть отречение.

Керенский — бодрствует 24 часа, известно. И согласие его тотчас получено.

Всё! Гнать грузовик с солдатами в Главный штаб, как-нибудь выхватить полковника вместе с копиями акта — и везти в Таврический!

355

Адмирал Колчак был человек решительный до последней крайности. Он не только был способен к смелым решениям, но не был способен ни к каким иным. Ни в какой месяц своей бурной жизни, ни на какой службе он не мог бы просто пребывать, закисать. Везде он искал открыть и выполнить высшую задачу, на верхнем пределе своих сил.

Всегда порывался он участвовать там, где трудней. Кадетиком морского корпуса уже работал на Обуховском заводе, изучая артиллерийское, минное дело и ведение заводского хозяйства. (Отец там служил.) В первых же плаваньях лейтенантом стал заниматься океанографией и гидрологией. И уже тогда так верил в свою звезду, что держал целью: открыть Южный полюс! Но в южнополярную экспедицию попасть не смог. А тут барон Толль вдруг позвал Колчака гидрологом и магнитологом в северополярную экспедицию Академии Наук. Отец и братья были военные моряки, все знакомые семьи — тоже, но 1899, время мирное, — Александр отпросился с военной службы в научную. Побывал и учился у Нансена, строившего им корабль. (Полярные моряки — все братья.) Трёхлетняя экспедиция их, однако, не одолела льдов. От Новосибирских островов Толль отправил Колчака с коллекциями через Лену — готовить из Петербурга другой корабль, а сам настойчиво пошёл дальше на север — и исчез. В декабре 1902 в Петербурге решали, как спасать Толля: нельзя поплыть раньше весны. Колчак предложил и взялся выполнить отчаянный зимний план: сговорил четырёх архангельских поморов, опытных в плаваньи между льдами, и тотчас, в разгар зимы, погнал черезо всю Сибирь в устье Яны, туда же на собаках по снегу притащил из Тикси лучший вельбот с затёртого толлевского корабля — и так же, до вскрытия льдов, погнал на Новосибирские острова. И когда в июле океан ненадолго вскрывался — Колчак с поморами на вельботе между ледовых глыб пошёл к острову Беннетта, — там нашёл и записку Толля, и ещё последние коллекции. Из записки стало ясно, что Толль и его спутники погибли от голода. А Колчак на вельботе успел вернуться в устье Яны, не потеряв ни человека. Измученный тремя годами экспедиций, он достиг Якутска в январе 1904 — и тут узнал о начале Японской войны. Ни минуты больше в Академии Наук! и ни отпуска, ни отдыха, — он должен вернуться в военный флот и на фронт. Разрешение вырвал с трудом. Адмирал Макаров знал о Колчаке, океанографических его трудах, — и ещё до гибели адмирала Колчак уже водил в Жёлтом море миноносец «Сердитый», а потом видел взрыв «Петропавловска», а потом и сам подорвал на минах японский крейсер «Такосадо». Золотое оружие. Но не рассчитал сил, Полярье отомстило: месяц в воспалении

лёгких, потом жестокий суставной ревматизм. Тут замирал и флот, все действия переносились на сухопутье, — Колчак отпросился командиром морской батареи в Порт-Артур и, преодолевая ревматизм, стоял там до дня сдачи. Полгода пробыл в плену, был признан инвалидом, среди них великодушно отпущен японцами на родину, и ещё полгода сдавал академические отчёты полярной экспедиции. Но позорно проигранная война горела в нём: флот и строили и водили невежественно, и корабли не умели стрелять. И Колчак, сердцем потонувший с каждым цусимским кораблём, стянул группу молодых энергичных морских офицеров в кружок: разработать научные основания организации флота, возродить его в мощном виде. Добились создания морского генерального штаба — и Колчак вошёл в него заведывать балтийским театром. Кружок рвался в облака! — но морской министр Воеводский сорвал всю программу судостроения и задержал восстановление флота на 2 года, были и конфликты с Думой. И Колчак в нетерпеньи рванулся снова в Полярье, на стальном «Вайгаче», выдерживающем ледовое давление: из Владивостока через Берингов пролив обогнуть всю Сибирь с севера. Но прежде того министр позвал Колчака назад — и осенью 1910 он вернулся на свой прежний пост в морском генеральном штабе.

Не было у Колчака ни связей, ни знакомств в высоких сферах, но по его выдающимся способностям его выталкивало вверх. С 1913 он стал при штабе Балтийского флота флаг-капитаном по оперативной части, правой рукой Командующего Эссена. Теперь флот бурно строился, но уже не успевали к ожидаемой в Пятнадцатом году войне — а она разразилась в Четырнадцатом! Ни дредноуты, ни подводные лодки у нас не были готовы. (Колчак за день до начала войны самовольно стал расставлять минные поля в Финском заливе, оберечь слабый флот, — и тут достигло от министерства: расставлять немедленно!) Через год он был уже в адмиральской должности, командовал минной дивизией и сбил прибрежное наступление немцев на Ригу. В июле 1916 он неожиданно получил телеграмму, что назначается командовать Черноморским флотом, — в 43 года! Отец его, Василий Иваныч, был морским артиллеристом в Севастополе в 1855 — и вот сын его ехал в тот же безсмертный Севастополь!

Он понял это как вопрос и требование к себе: что же он должен теперь совершить? Первая задача была: держать Чёрное море спокойным от нападения, обезпечить морское снабжение Кавказского фронта, чтоб ему не завязиться в диких густых горах. В самую ночь смены командования флотом, зная и дразня? — из Босфора появился быстроходный «Бреслау», — и в те же первые часы Кол-

чак кинулся загнать его назад. Затем, сам наблюдая, установил перед Босфором минные поля, непроходимые и надводно и подводно, и держал там миноносцы на дежурстве, не давая туркам снимать мины. И так — держался хозяином Чёрного моря. Но тем неотвратимее и доступнее выдвигался к своей исторической задаче: взять Босфор и Дарданеллы! А ещё при попутном на юг проезде Ставки Колчак получил одобрение этого десанта и от Государя («по вашим свойствам вы лучше всего для этого пригодны»), да как будто и от генерала Алексеева, — и принял себе в жаркую цель.

Эта задача осветилась ему в таком несомненном свете, что даже странно было встречать в русских умах возражения и несогласия. После вступления Турции в войну как же было не ухватиться? Война сама сложилась так, чтобы нам выполнить вековую задачу. Зачем иначе мы вообще эту войну вели? — других целей нам в ней и не виделось. Целое столетие говорили и думали о проливах — и отчего же не брали теперь? Только без надобности пугали Европу, декларируя крест на святой Софии, — а проливы ждали подарком от союзников, и простая, прямая, единственная задача ведомой войны расплывалась в дипломатическом переминаньи и в ненужных сухопутных напряжениях Ставки на тысячу вёрст фронта. А совершенно ясно, что союзники никак не заинтересованы дарить нам проливы, и Англия всегда была главным препятствием, — и мы должны брать их собственными силами. Как раз сегодня Англия не может помешать, и к заключению мира мы можем владеть проливами реально. Это и Скобелев говорил: Константинополь взять *до* заключения мира, а иначе потом не дадут. Овладеть сейчас проливами — это значит и приблизить конец войны.

Дело было — вполне практическое, требовало лишь верной подготовки и молчаливой быстроты, и они уже реяли в груди Колчака и в действиях его. Теперь расчёт его был таков: из 45 турецких дивизий — почти все на Кавказском фронте да в Месопотамии, Аравии, Сирии. В Дарданеллах — две ослабленных дивизии, на Босфоре — всего две слабых, да ещё две в Македонии, но им их не подбросить быстро. И немцы не смогут прийти на помощь туркам раньше двух недель, а мощный немецкий крейсер «Гебен» в долгой починке. Установлено нашими агентами, что полевые укрепления Босфора пришли в запустение и не охраняются, артиллерия перенесена в Дарданеллы, наши миноносцы даже в лунные ночи без помех подходят к турецким берегам. Всё это даёт возможность высадиться у самого пролива: ночью протралить подступы,

на рассвете высадить по дивизии с каждой стороны пролива, начать заграждаться минами, тем временем высадить третью дивизию с тяжёлой артиллерией, а ещё за двумя дивизиями отправить транспортную флотилию повторно. Трудный момент будет только до возврата каравана со вторым десантом и пока мы прикованы к узкой береговой полосе. Но утром взошедшее за нашими спинами солнце будет слепить турок в момент начала нашего наступления. А к вечеру должен войти в Босфор и наш флот, — и путь к Константинополю свободен!

На одну дивизию пароходы с приспособлениями держались у Колчака постоянно. Ещё на две дивизии он стал устраивать этой зимой, чтобы быть готовым к маю: операцию можно провести только в июне-июле, там дальше неустойчивая погода, а потом и штормы, прервётся снабжение десантных войск. С минувшего ноября Колчак уже формировал первую десантную дивизию. (Присвоил ей морские знамёна, якорь на погонах и рукаве, а полки назвал: Царьградский, Нахимовский, Корниловский, Истоминский!)

Но Ставка, но безкрылый, недоверчивый Алексеев стал противиться всеми силами. Алексеев возражал, что это авантюра — высаживаться прямо в проливе, надо много дальше, основательно, а значит и силами четырёх корпусов, а значит, и невозможно, ибо неоткуда их снять. (Да хоть от Кавказской армии взять! — неужели они важнее в горных тупиках?) Наконец, вообще всякая высадка — сложна, мы видим позор дарданелльской операции союзников. Наконец, вообще такого предприятия не бывало в мировой истории — и как на него осмелиться?.. (Этой зимой, когда Алексеев лечился в Севастополе, Колчак виделся с ним, убеждая. Но и — безполезно. Но и — насмотрелся и увидел, что Алексеев не способен на дерзость, не из тех он полководцев. Он мыслит в догме сосредоточения превосходящих сил и не может поверить смелой операции малыми силами. А кроме того, он предан «континентальной идеологии», вся судьба этой войны — нанести удар немцам, а для того важней Балтийский флот. И также был он затмен затверженной политической доктриной опущенных рук: что Босфор и «сам возьмётся» после падения Германии, что будто ключи к Босфору — в Берлине.)

Так — были готовы у Колчака и флот, и средства перевозки, и можно было обойтись одними кавказскими дивизиями, — но не было окончательного распоряжения Ставки.

А вне порыва на Босфор оставались Колчаку операции на малоазийском побережьи, в согласии с Кавказским фронтом. На днях Колчак ходил на миноносце в Батум — встречаться с Николаем Николаевичем, — и от него тоже не получил поддержки по босфорскому десанту.

Почти в зубах держал Босфор! — а взять не мог.

Ещё не уйдя из Батума, 28-го, Колчак получил из Петрограда от министра Григоровича телеграмму — «расшифровать лично». И сообщалось в ней, что в Петрограде — крупные безпорядки, столица в руках мятежников и гарнизон перешёл на их сторону, впрочем: «в настоящее время волнения утихают». Показал великому князю — тот пожал плечами, ничего такого не знал, но отпустил скорее возвращаться.

Данник решений мгновенных и властных, Колчак ещё из Батума тотчас распорядился телеграфно секретно коменданту севастопольской крепости: прекратить всякое почтовое и телеграфное сообщение Крымского полуострова с остальной Россией, передавать только телеграммы для Командующего флотом и его штаба. Но той же ночью его миноносец принял из Константинополя от мощной немецкой радиостанции на испорченном русско-болгарском наречии — что в Петрограде революция и страшные бои. И что ж тогда скрывать? — все радио перенимаются на всех судах дежурными телеграфистами…

Придя в Севастополь 1 марта, Колчак получил телеграмму уже от Родзянки: что Временный Комитет Государственной Думы нашёл себя вынужденным, ко благу родины, взять в руки восстановление государственного порядка и призывает население и армию к помощи, чтобы не возникало осложнений.

Восстановить государственный порядок — это всегда хорошо. И Дума — достаточно авторитетный орган. Колчак вообще сочувствовал думским деятелям (а они и вовсе считали его своей надеждой, как и Непенина). Россия — должна развиваться, а многое костенелое мешает ей. Развиваться — да, но светлыми умами, а не кровавыми взрывами.

Пока оставалось много неясного.

Снеслись с морским штабом в Ставке — узнали только, что Государь выехал в Царское Село, обстановка и им не ясна, и директив адмиралу Колчаку не воспоследует.

Итак, самому и одному, Колчаку надо было решать: продолжать ли блокаду новостей? И — как стоять?

Затем продолжали приходить новые телеграммы, да не агентские, а от самого Родзянки: что уже вся правительственная власть перешла к Думскому Комитету, а прежний Совет министров устранён. Что Думский Комитет приглашает армию и флот сохранять полное спокойствие, питать полную уверенность, что война не будет ни на минуту ослаблена, но каждый офицер, солдат и матрос да исполнят свой долг…

Так-то — хорошо бы. Как будто самозвано — а как будто и вполне лояльно. Но — осуществима ли такая тряска во время войны?

А Ставка всё так же не могла ничего ни приказать, ни посоветовать, ни объяснить. И ничего не имела от Государя.

Колчак у себя на «Георгии Победоносце», штабе-линкоре на мёртвых якорях, уже отслужившем свои боевые походы, собрал совещание старших начальников. Сообщил им всё, что знал. Да уже были и новые радио из Константинополя: такая несусветица, будто в Балтийском флоте массовое избиение офицерства, а на фронте немцы повсюду быстро продвигаются. (А если правда?) Ещё при этом вздоре стало ясно, что на укрытии известий дальше долго не удержишься. И решил: отдать приказ по флоту, в нём изложить петроградские новости — и тут же призвать по радио весь свой флот и все порты к напряжённому патриотическому долгу. И — верить начальникам, которые будут сообщать все полученные верные сведения, и не верить посторонним агитаторам, желающим произвести смуту, чтобы не допустить Россию до победы.

То и было страшно, что это — не в какое иное другое время, а — в войну.

И обидно было — состоять в полноте сил, во главе целого флота, целого моря с его портами, и быть в неведении и не знать, что делать.

Так снялся запрет Колчака — и новости петроградского мятежа хлынули в Крым.

Но как будто ничего худого тут не случилось. Служба продолжалась нормальным порядком, нигде никаких нарушений. Здесь, на Чёрном море, ни к какому бунту не приготовились.

А вчера пришла наконец Колчаку телеграмма от Алексеева — и поразительная: что обстановка не допускает иного решения, как отречение Государя, — и *если* адмирал разделяет этот взгляд, то не благоволит ли телеграфировать верноподданную просьбу.

Но истинной обстановки Колчак не знал, — почему она не допускает другого решения? — и Алексеев её не сообщал. А что делать, если адмирал *не* разделяет этого взгляда? — ничего сказано не было. Иной взгляд даже не предполагался.

Хотя и столь опытный генерал, а закопавшийся канцелярист, без свежего воздуха, без движения. Сорвал Босфор, теперь тянул на отречение Государя.

Да, Россия должна развиваться. И вокруг власти не должно плестись паутины тёмных пристрастий, просмотры должны быть чисты. Но никогда не понимал и не разделял Колчак гнева русского общества за проигранную Японскую войну — на правительство и Государя: виноваты были мы все, наши адмиралы, штабы и офицеры, в нашем невежестве, нерадении, лени, парадности, отсутствии всякой научной организации. Государственный строй — никак не мешает пушкам хорошо стрелять. Политика не могла иметь влияния на качество морского образования. Форма правления может быть разная — была бы прочная Россия. А если начинать с того, что теперь, во время войны, валить Государя, — то в какую бездну это ползёт? Это будет внезапный и губительный развал.

И что за странный, тёмный, заочный совет Главнокомандующих, которым ничего не объяснено?

Колчак, разумеется, не стал отзываться никак, выказывая презрение к такому образу поведения.

Но — понимал, что в эти часы что-то непоправимое развёртывается в Ставке, Пскове или Петрограде. А Колчак и узнать не мог, и вмешаться не мог, — и это было всего нестерпимей, потому что только в действиях разряжалась его натура, его быстрый нервный ум. Он любил деловую работу, любил опасности, войну и терпеть не мог партийной политики. А посмраживало ею сейчас, наносило.

Небольшого роста, сухощавый, стройный, лёгкий, с движеньями гибкими и точными, острым чётким профилем бритого лица, татароватый Колчак нервно ходил по флагманскому кораблю, взлетал на мостик, метуче оглядывал свои корабли и щурился в солнечное море, как если б оттуда могло придымить решение.

Он стал жалеть, что встреча в Батуме с Николаем Николаевичем не была назначена на три дня позже. Они могли как раз бы и обсудить: объединиться? — хотя трудно объединяться с великими князьями, слишком особо они себя чувствуют.

В руках их двоих был весь Юг. Флот Колчака и фронт великого князя составляли отдельное загнутое обособленное крыло Действующей армии. Что бы ни произошло за 2000 вёрст в Петрограде — они здесь, объединясь, могли создать прочную укрепу и противостояние любым событиям.

Николай Николаевич — лучший из великих князей, единственный способный к главнокомандованию, да и авторитет его признаётся повсюду в армии. Но готов ли он к твёрдому стоянию? При всей его вызывающе воинственной внешности, непомерно высокой фигуре воина, при всей его аристократической наружности, породистом длинном лице, красивом вырезе глаз, почти театральном эффекте от многих наслоившихся главнокомандований, — увы, всё же не чувствовал в нём Колчак надёжности безупречного союзника.

А ещё на Румынском фронте — Сахаров. Попробовать сговориться и с ним?

И день до конца, и вечер до конца так и протянулись без событий.

А ночью передали телеграфом из Ставки — отречение Государя!

Отречение, как можно понять из вчерашнего опроса, — вырванное.

И — почему не законный наследник?

Петроград в руках у банды, это ясно.

У Колчака уже всё было обдумано. При нём служил старший лейтенант, государев флигель-адъютант, герцог Лейхтенбергский, князь Романовский — пасынок Николая Николаевича. Титулов много, а — молодой человек, готовый к приказу, и даже конструктор противолодочной бомбы. Колчак немедленно, ночью вызвал его и тут же заказал готовить к походу миноносец «Строгий».

Разбуженный молодой человек явился с тревожным и готовным блеском.

Колчак не давал ему бумаги: такие шаги совершаются устно.

Лейтенант стоял вытянутый. Адмирал для себя почти и не знал другой позы.

— Вы поедете сейчас к великому князю, вашему отчиму, и передадите ему от меня, запоминайте! Государь — отрёкся от престола.

Лейтенант вздрогнул, как от тока.

— Отречение носит характер вынужденного. Я предлагаю великому князю объявить себя военным диктатором России и предоставляю в его распоряжение Черноморский флот.

356

Как в лучших исторических легендах или сказках годами дожидаются принцы крови своего предсказанного воцарения, так и великий князь Николай Николаевич — вот дождался себе возврата регалий Верховного Главнокомандующего.

Вместе с супругой своей Станой черногорской и сестрой её Милицей, и её супругом, а своим братом Петром Николаевичем, и другими близкими, сочувственными лицами давно уже с сокрушением наблюдали они образ правления Ники, всю цепь его неумений, ошибок, глупых назначений, повсюду властную руку истерической его супруги, недостойные извращения в правлении государством, и грязного проходимца Распутина, и поживу финансовых дельцов вокруг него. Одно было рыцарски чисто и возвышенно во всём правлении — Верховное Главнокомандование, ведомое Николаем Николаевичем. Но внушаемый своею завистливой женой и обманутый наивным воображением о своих военных способностях, Ники принял роковое несчастное решение взять Верховное Главнокомандование на себя, а Николая Николаевича отправить на известное почётно-ссыльное место кавказского Наместника. Такова была неприкрытая интрига тёмных сил.

Однако Николай Николаевич переборол обиду и уныние, не опустил свою высокую голову, но перенёсся и сюда символом и любимым вождём, теперь уже не двенадцати армий, но всего лишь одной, с её командующим Юденичем. Юденич находился собственно с армией, в её переходах, в её порыве в глубь Турции и в Месопотамию, а Николай Николаевич пребывал во дворце Наместника, в Тифлисе, в центре Кавказа, обожаемый всем населением наместничества. Так, хотя и в уменьшенных размерах, он остался самим собою.

Отсюда, из изгнания, он с болью наблюдал всё новые и новые ошибки царского правления и разочарование и отчаяние общества, которое, напротив, продолжало любить его самого, это доплескивалось сюда через Хребет. И — молчал. И только в минувшем

ноябре, в своё единственное посещение Ставки и в свою единственную после смещения встречу с Ники, — он с прямотою высказал своему державному племяннику о его вероломстве, о его доверчивости к подозрениям и сплетням, будто дядя хочет занять трон, и о чёрной бездне падения государственной власти. А Ники что ж? — как всегда, принял всё равнодушно.

Но когда к Новому году возвратился из Петербурга тифлисский городской голова Хатисов и на личной аудиенции сокровенно передал великому князю тайное приглашение от князя Львова — дать своё имя для возможного дворцового переворота, — Николай Николаевич невиданно взволновался, он потрясён был, как же гибельно зашли дела. Он взял время подумать. Это были сутки высокой мучительной мысли. Он понимал, что мог бы спасти страну. Он знал, насколько сам для России ценнее, нужнее и соответственней, чем его двоюродный племянник. Но путь великого князя или монарха должен быть рыцарски прямой и не может включать в себя звено измены. И в следующую встречу с Хатисовым, для надёжности призвав свидетелем генерала Янушкевича, начальника штаба, великий князь решительно отказался.

Отказался, — но уже через неделю понял, что всё равно теперь замешан в этом заговоре: поелику не довёл о нём Государю тотчас! И это сознание замешанности всё более заножалось в него — безпокойством, стеснением, смущением, — но каждый ещё протекший день или неделя всё глуше запирали возможность очиститься. Вот как великий князь — отказавшись, удержась в чести, — стал грозимым заговорщиком!

Но и та же честь не давала ему прорвать кольцо и выдать расположенных к нему людей, того же князя Львова. А Хатисова он всячески избегал с тех пор.

Вдруг на свидании в Батуме Колчак показал великому князю телеграмму о волнениях в Петрограде и даже — что столица в руках мятежников. Великий князь ринулся в Тифлис. Тут тоже от одного доверенного лица к другому передавали тайно, что одна грузинская газета получила из Петрограда условную телеграмму, означающую начало крупных событий! Ко 2 марта стали напирать и агентские известия о потрясающих революционных событиях. Разумеется, великий князь не дозволял их публиковать, но предполагал собрать для осведомления дворян Тифлисской и Кутаисской губерний. И сам он трепетно запредчувствовал, что пришёл *его*

час. Те силы, которые восстали в Петрограде, были его сочувственники и союзники.

Напор известий в плотину военной цензуры рос по часам. Ещё ничего не было напечатано открыто, но все уже по сути знали. Особенно волновались издатели и редакторы газет. 2 марта Николай Николаевич счёл уместным пригласить их в один из просторных залов наместнического дворца, выйти к ним при оружии и заявить, что он и всегда придавал большое значение печати и надеется, что печать своим правдивым словом будет содействовать спокойствию. Наместник верит, что нынешние события завершатся ко благу нашего Отечества. Вот, с часу на час, придут указания Ставки, как быть с публикацией.

И действительно, во второй половине дня такое разрешение от Ставки пришло, — но ещё ранее полудня от Алексеева получено было приглашение, совсем ознобившее, радостно олихорадившее великого князя: что *династический вопрос поставлен ребром*, — так считает и председатель Государственной Думы, и так же в Ставке, и обстановка очевидно не допускает иного решения, как отречение в пользу сына, и для спасения России Алексеев просит весьма спешно телеграфировать Его Величеству во Псков.

И по спирали этого *ребра* Николай Николаевич ощутил, что он как бы возносится в свой великий, если не величайший момент. Кто же другой из Главнокомандующих был так авторитетен и так высок положением, — и единственный августейший! — чтобы подать заблудшему Ники решающий энергичный совет. Да ведь Ники любит Россию! — так, соединяясь с ним в любви к России, — советовать? — просить? — нет, *молить*! — отречься!!!

Перезрел плод. Ему не держаться. Слишком много наделал Ники ошибок, а больше всего — *она*.

(А одновременно: вот уже великий князь — и ни пятнышком не заговорщик! Он — верноподданный, но разумный.)

И — неотвратимо это возвращало Николаю Николаевичу Верховное Главнокомандование! — никто другой назначен быть не мог.

Николай Николаевич не задержал ответа, хотя Ставка добивалась ещё нервней и быстрей, — он только выбирал самые высокие и святые выражения, чтобы заведомо потрясти душу Ники. И милый, верный Янушкевич был тут же рядом, у телеграммы, и помогал.

Но и в эти же самые часы не мог взволнованный, благодарный великий князь отказать себе в радости дать из тифлисского уединения союзный отзыв этим дружеским столичным силам: тут же рядом, на соседнем столе, с участием Станы, радостно-прыгающим карандашом составлялась и телеграмма, не обязательная по службе, но обязательная по влечению сердца, — телеграмма Родзянке: подтвердить, что — да, Наместник уже обратился к царю с верноподданнической мольбой: ради спасения России — как бы это целомудренней выразиться в открытой телеграмме, нельзя же писать «отречение», когда его ещё нет? но: «принять решение, признаваемое вами, — то есть Михаилом Владимировичем Родзянко, — единственным выходом при создавшихся роковых условиях».

И вдруг, необычайно скоро! — пришла телеграмма от председателя Думы. Но, увы, это оказалась не ответная, а укорная. Кто-то, очевидно, пожаловался из Тифлиса на перехват сообщений, и председатель Думы величественно подтверждал, что власть *окончательно* перешла в руки Временного Комитета Государственной Думы, и председатель надеется, что Его Императорское Высочество окажет полное содействие — и немедленно облегчит условия цензуры.

Мог бы возникнуть мучительный конфликт долга и совести, но, к счастью, Ставка тоже уже разрешила.

Зато — совсем она замолчала, каков же ход отречения? Час за часом, сперва восхищённо, потом уже тревожно, пружинно-напряжённо, Николай Николаевич в кругу близких ожидал, как разрешится там, во Пскове, когда уже придёт рассвобождающий ответ. Иногда, совсем уже теряя терпение, велел Янушкевичу посылать запрос Алексееву, узнавать.

Ставка обещала. И опять тянулось. И опять запрашивали от имени августейшего Главнокомандующего. И к полуночи снова обещала Ставка.

Что-то не ладилось во Пскове. Какой-то неблагоприятный изгиб.

Становилось мрачно. Просидели весь вечер в напряжении. Во втором часу ночи Стана ушла спать. Ушёл и Янушкевич. Казалось — всё отложено на завтра.

Но Николай Николаевич чувствовал, что — нет, не так, не так! — и у себя в кабинете недреманно сидел в мундире.

И в три часа ночи прибежал дежурный офицер из аппаратной — и подал бодрствующему Наместнику *всепреданнейшую* телеграмму от генерала Алексеева, и в ней — гора новостей.

Что указом Его Величества — Его Императорское Высочество назначен Верховным Главнокомандующим!

Свершилось! Долгожданный час, в награду за верность и службу.

А князь Львов — глава правительства. Так.

А Государь изволил подписать акт отречения! — но с передачей престола великому князю Михаилу Александровичу.

А-нек-дот. Дурной анекдот.

Ну кто такой Михаил? Ничтожный, неспособный. А здесь, в кавказском изгнании, возвышается самый видный и славный из внуков Николая I.

Дёготь, добавленный в мёд. Всё испортили…

Однако в этот раз его мнения не запрашивали… Лишь почтительно спрашивал Алексеев: когда можно ожидать прибытия Его Императорского Высочества в Ставку? Благоугодно ли будет Его Императорскому Высочеству предоставить Алексееву временно права Верховного? И будет ли кому передан Кавказский фронт или останется один Юденич?

Уже потеряв всякое желание сна, никого не будя и не зовя, расхаживая по парадному дворцовому кабинету в борении противоречивых чувств, Николай Николаевич осиливал жестокую рану последнего известия и возвращался к долгу и достоинству Верховного Главнокомандующего. (Хотя не представлял, как может состоять под Мишей.)

И отвечал Алексееву: до моего приезда — руководить военными операциями и штатно-хозяйственными распоряжениями.

…В чрезвычайных обстоятельствах повелеваю вам обращаться срочно ко мне за повелениями… Думал бы оставаться и Наместником Кавказа, это абсолютно необходимо…

Но это не всё. Ясно, что от нового Верховного при вступлении требуется ободрительный приказ своим войскам.

Приказ № 1.

Это должен быть властный, мощный голос богоизбранного воина, отзывный русскому сердцу и чуждый всякому революционному бреду.

Тотчас же, в ночном просторе, и писать его!

…По неисповедимым путям Господним я назначен Верховным Главнокомандующим. Осенив себя крестным знамением, горячо молю Бога… Только при всесильной помощи Божьей получу силы и разум вести вас к окончательной победе… Чудо-богатыри, сверхдоблестные витязи земли русской! — знаю, как много готовы вы отдать на благо России и престола…

* * *

Безумные тираны попирали честь и достоинство России… Дикие защитники самодержавного ига… Жестокие корыстные полулюди…

РСДРП

* * *

357

Вчера поздно вечером удостоверилось новое правительство, что Гучков настиг царя во Пскове. Так! Попался! Теперь с часу на час можно было ждать и отречения.

То есть опять имело смысл не расходиться спать по домам, а подождать в Таврическом, — это уже четвёртую ночь?! И почему все главные события выпадают на ночь? Отказывали силы, а стоило подождать. И главных несколько — Милюков, Керенский, Некрасов, чёрный Львов, остались дремать в креслах и ждать.

И — Родзянко. Он-то, ожидая отречения, раззарился теперь едва не больше всех.

Все они ждали ещё этой последней законности, утверждающей новое правительство. Ещё эта последняя завершится — и власть окончательно установлена.

Впрочем, Милюков не дремал, он не терял часов этого нового ночного ожидания. Он сидел за столом и под общий разговор терпеливо составлял обращение «Всем, всем, всем», всем людям, всем странам, которое следовало теперь послать по радиотелеграфу, чтоб объяснить положение в России. Кому же позаботиться, как не министру иностранных дел? Это будет не только первым действи-

ем ещё бездействующего правительства, но от такой телеграммы всецело зависит, в каком виде мир узнает о нашей революции. А от этого, — Милюков хорошо представлял западное общество, — зависит и прочность симпатий к новому правительству, и все блага помощи.

Ждали. Прямой связи со Псковом Таврический дворец не имел, а имели: Главный штаб — со штабом Северного фронта, и министерство путей сообщения — по своим линиям. Бубликов всё время звонил Родзянке, набивался с помощью и советами. Он первый сообщил им о конце переговоров во Пскове, он же первый донёс жалобу, что Псков запрашивает разрешения царским литерным поездам следовать в Ставку, — и неужели можно их отпускать?

Но показалось правительственным людям, что это даже удобнее: тут, под самым Петроградом, бывший царь сейчас как-то мешал бы. И простая порядочность требовала не отказать в личной просьбе, когда царь отрёкся от короны.

После двух часов ночи пришло, пока кратко, от Гучкова: что Государь отрёкся, но в пользу Михаила Александровича. А сам текст Манифеста шифруется во Пскове и воспоследует.

Настолько это было *почти* то же, что не в секунду осознали: в пользу Михаила Александровича? То есть как? Не регентом, а Михаилу — сам трон?

А как поняли — то сразу и заволновались. Неожиданность была крутая! Как же так Гучков, ведь уговаривались! Одно дело — трон малолетнему Алексею, то есть как бы вообще без царя, а Михаила обставить регентским советом, — и только так может невозвратно укрепиться у нас конституционное правление. А Михаила — полновластным царём? Это совсем не то. Это неприемлемо! Это никак не приемлемо! Строевая армейщина, да, глупый-то глупый, — а ну как уцепится за власть да начнёт жать? Всё же он не малолетний!

Такое отречение может взорвать всё правительство.

Позвольте, а где же князь Львов, главное лицо? Только сейчас поняли, что его нет. Послали искать по комнатам.

А что скажет Совет рабочих депутатов?! Одного царя сменили на другого, — где же поступь Революции? как это оправдать перед массами?!

Тем более что Совет и вообще никакой монархии не хочет.

Керенский (всё более ощущая себя в правительстве концентрированным Советом) вскочил — и объявил с категоричностью и даже отважностью, как бы готовый биться с ними со всеми:

— Совет рабочих депутатов ни в коем случае этого не допустит!

Вот! И правительство не могло с первого шага идти на конфликт с Советом.

Такой поворот с отречением грозил смести их всех.

Но особенно обезкураженным почувствовал себя Милюков. Потому что не повод для гнева он нашёл здесь, как его коллеги, но причину для большой озабоченности. Уж его поносили последние часы за самый монархический принцип. Уже его вынудили отречься — до «личного убеждения». Но *такая* передача трона ещё сильней ухудшала картину? — она как бы и не выглядела уступкой царской власти? При такой комбинации защищать конституционную монархию станет ещё трудней.

Да ведь — с советскими вставили пункт об Учредительном Собрании? И он теперь начнёт давить на монархию?

Рок политического деятеля крупного масштаба. Как 17 октября Пятого года, когда все ликовали Манифесту, Милюков имел мужество непримиримо отклонить его, так теперь он должен иметь мужество против общего потока поддержать монархию в обломках.

А князя Львова нигде во дворце не нашли. Значит, уехал спать. Вызвать его немедленно! Позвонили на квартиру, там перебудили: нет, ночевать не приезжал. Да где же он?

Догадались: а не прячется ли у своего Щепкина? Позвонили туда — нашли. Немедленно, немедленно в Таврический! Хитрец какой, поспать хотел!

Тем временем, уже после трёх часов ночи, из Главного штаба, где расшифровывали Манифест, вырвали по телефону мотивировку: «Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, Мы передаём наследие Наше брату Нашему».

Хорош гусь! И всегда Милюков безконечно презирал этого царя, но сейчас испытал горькую обиду на него: даже уходя, последним движением, он портил общественному кабинету! Не хочет рисковать своим сыном! — как всегда, прежде всего думает о своей семье! Не хочет рисковать своим сыном! — а что ж он раньше думал? Зачем держал его наследником? Предпочитает рисковать не-

подготовленным братом. И новым правительством. Да самою Россией, наконец!

И Милюкова же будут теперь больше всего и упрекать…

Хотя и ясно всем — «нет! нет! нет!», но прежде чем сформулировать какое-то решение — должны они быстрей всего остановить Манифест, вот что! Чтоб он никуда не растёкся! Его, конечно, изо Пскова или из Ставки начнут передавать теперь, не спрося правительство. Надо выиграть время для обдуманья! Надо в обоих местах — остановить!

Торопили, гнали отречение, а теперь — остановить!!

Что для этого? Срочно телеграфировать, нет — разговаривать со Псковом и со Ставкой.

Милюков: и даже выяснить возможность обратно изменить Манифест в пользу Алексея!

И — кому ж было всего внушительней, и приличней, и убедительней сделать это всё, если не Родзянке?

Вот, они совсем его отставили, — но наступила новая решительная минута, и снова требовался только он!

А он, великодушный, был готов! Он — простил им, что они его оттеснили!

Готов хоть сейчас.

Именно сейчас! Немедленно!

Но неприлично было бы послать его и никого не послать от правительства. Да вот же и князь Львов, ну вот он наконец!

Ласково жмурился. Не проявил смущения, что прятался.

Ехать переменить? Ну, можно ехать переменить.

А оставшиеся теперь расспаривались дальше, да всё острей.

Узкоголовый подобранный Керенский метался, бросался по маленькой комнате (но не бежал к своим в Совет!) и всё пламенней извергал, что теперь само собой диктуется здоровое решение: полный отказ от всякой монархии! Немедленное отречение и Михаила тоже! Не останавливать Манифест, нет! — но скорее вырвать отречение и у Михаила, — и сразу возгласить Учредительное Собрание!

И Некрасов невиданно разволновался, раскрылся, мрачно кидал взоры — и сел набрасывать проект отречения Михаила.

И значит — немедленное провозглашение республики!

И чёрный Львов — ходил по диагонали и клокотал со сжатыми кулаками.

И получалось, что только один Милюков оставался *за* монархию?

Но чем крайней метались его собеседники — тем более трезвел Милюков и тем более упирался. Уже тяжелила его и неловкость от вчерашней уступки: зачем же он признал монархию своим личным частным мнением, когда это стоит в программе кадетской партии? Так быстро нельзя отступать, можно расстроить ряды.

И вот сейчас Милюков всё более устаивался: нет-таки! монархия — должна быть! Хоть на время. Должна быть видимость законной передачи власти, без которой мы не можем действовать дальше. Михаил — так Михаил, пусть будет Михаил. Пока.

Республика? Нет, мы не готовы. Мы не можем перепрыгнуть.

Говорили всё нервней. Ссорились.

А ночь текла…

А Родзянко и Львов не возвращались.

И в пятом часу стало проясняться им такое действие: теперь неизбежно им всем с утра ехать к Михаилу. И заявить ему — что же заявить?

Мнение большинства!

Нет, обе спорящих точки зрения! Если Павлу Николаевичу не дадут возможности изложить перед великим князем свою точку зрения — он вообще покидает правительство!

А уж спорить Милюков умел — не перед толпой простолюдинов-солдат, конечно, — с упорством изумительным. Теперь он мог не спать, не есть, всех их тут уложить в лоск, — но доказать, что приемлема только монархия, а не республика.

Решили: отправляться к Михаилу коллективно и представить обе точки зрения.

Милюков же рассердился в споре, набрал напору и настаивал больше: какое б решение ни состоялось — *другая сторона* должна оставить правительство!

То есть он предлагал: при республике — сегодня же уйти из правительства, которое он вчера с такой гордостью и любовью объявил.

Но при монархии — он останется единственным пока министром?.. (Он уверен был быстро найти других.)

До такой остроты́ дошло.

Керенский с Некрасовым перемигивались, уверенные в победе.

А вот что, придумал Керенский: уже шестой час, нечего Михаилу слишком долго спать, да ещё уедет куда? Сейчас же ему по телефону назначить наш приезд! (А Родзянко уже им рассказал, где Михаил прячется, на какой квартире.)

Но такой час назначить, чтобы нам же поспать.

Разумеется. Да и дождаться Гучкова.

Керенский рванулся звонить — непременно он, только он сам!

— Алексан Фёдыч! Только не объясняйте ему, в чём дело. Не подготовьте!

Великого князя пока будили, пока подошёл. И услышав его совсем вялый, сонный голос, Керенский, как ни устал, а весело, задорно спросил, проверить:

— Ваше Императорское Высочество? Знаете ли вы, что произошло вчера вечером во Пскове? Нет? Ну, мы к вам приедем расскажем, если позволите.

А часа — не назвал.

358

В Главном Штабе вышла ошибка, дежурный офицер не предупредил швейцара открыть. Пришлось барабанить в случайные окна первого этажа, разбудили дворника, а тот уже — швейцара, а тот уже открыл.

Затем поднимались, долгими коридорами шли к прямому проводу. Третью ночь подряд.

Затем что-то не ладилось соединение со Псковом, потом не отвечал штаб, Родзянко кричал:

— Скажите, что вызывает Председатель Государственной Думы! Я их всех под арест посажу!

Всё это время князь Львов больше молчал, да и Родзянко ушёл в кипение своих мыслей, большой охоты разговаривать у него и не было: главный человек был — он, разговаривать и решать — предстояло ему, а что Львов?

После этих страшных дней, всей головоломной запутанности, после двух атак с угрозами убить, конечно именно его первого, — наконец хотело сердце покоя и голова ясности. Нельзя жить под постоянной смертной угрозой, и нельзя жить в такой неразберихе.

А сейчас Совет не признает Михаила царём — и что же вспыхнет? Гражданская война!

Всё более уверялся Родзянко, что положение может быть спасено, увы, только отречением Михаила.

А потом, значит, Учредительным Собранием.

До Учредительного Собрания во главе России остаётся Родзянко, это уже так и есть. Или его Комитет станет как бы регентским советом.

А Учредительное Собрание? Вот тут-то и заковыка. Вполне возможно, скорее всего: наш православный народ не захочет жить ни при какой республике. И значит, наступит избрание нового царя, новой династии — в Учредительном Собрании, или всенародно.

И чья же первая кандидатура придёт всем на ум? Да — конечно реального нынешнего главы государства, всеми любимого Председателя всеми любимой Государственной Думы!

Задыхательно это представлялось: открыть собою третью русскую династию? Да не было в России политического деятеля, более для того подходящего, более видного, более могучего.

Что ж теперь поделать, если обстоятельства так сложились против Николая Второго?

И против Михаила.

Родзянко начал со Пскова — как-то уже по привычке, как и прошлую ночь. Да с Рузским вчера так хорошо получилось. Да рассчитывая, что Манифест ещё мог оттуда не утечь в Ставку.

Вот на том конце подошёл начальник штаба Данилов. Родзянко потребовал самого Рузского.

Наконец, не сразу, — Рузский. Было уже недолго до шести утра.

Теперь Родзянко говорил (стоя), телеграфист печатал, и лента уходила:

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство. Чрезвычайно важно, чтобы Манифест об отречении и передаче власти великому князю Михаилу Александровичу не был бы опубликован до тех пор, пока я не сообщу вам об этом. Дело в том, что с великим трудом удалось удержать революционное движение в более или менее приличных рамках. Но положение ещё не пришло в себя, и весьма возможна гражданская война! С регентством великого князя и воцарением наследника может быть и помирились бы, — но воцарение его как императора — абсолютно неприемлемо! Прошу вас принять все зависящие от вас меры, чтобы достигнуть отсрочки.

Всё главное сказал. Телеграфист понял так, что теперь будет говорить другой высокий посетитель, и отстучал:

— Родзянко отошёл. У аппарата стоит князь Львов.

Но, во-первых, Родзянко не отошёл. Во-вторых, Львов, хотя и усилился лбом — но ничего не сказал, ибо не знал, что бы тут ещё сказать.

Наступила пауза. И за это время потекла лента от Рузского:

— Хорошо, распоряжение будет сделано. Но насколько удастся приостановить распространение — сказать не берусь, ввиду того что прошло слишком много времени. Очень сожалею, — представлялось, как морщилось его и всегда недовольное лицо, — что депутаты, присланные вчера, не были в достаточной степени освоены с той ролью и вообще — для чего они приехали. В данную минуту прошу вас вполне ясно осветить мне теперь же всё дело — что произошло и могущие быть последствия.

Что произошло — Рузский всё равно не поймёт, ведь он не был в здешнем бедламе. А *могущие быть последствия,* что нужно время для отречения Михаила, — об этом, Родзянко почувствовал, говорить на фронты не следует.

И он, отводя Львова, снова завладел аппаратом:

— Опять дело в том, что депутатов винить нельзя. Для всех нас неожиданно вспыхнул такой солдатский бунт, которому подобных я не видел. И которые, конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики, которые все свои мужицкие требования нашли полезным теперь же заявить. Только и слышно было в толпе: земли и воли! долой династию! долой Романовых! долой офицеров!

Голова его гудела, как растревоженный колокол, и в этом гуле смешивалось, что он слышал в Екатерининском зале, и какие там развешаны были партийные лозунги, не посмей снять, и неотступно перед глазами изодранный штыками портрет императора в думском зале, — и слышанное в жалобах от прибегающих частных лиц, и мнения членов правительства, а в глазах рябили, рябили всё подходящие новые солдатские строи и безчисленные красные флаги и безконечное выдувание оркестров.

— ...И началось во многих частях избиение офицеров. К этому присоединились рабочие, и анархия дошла до своего апогея, — не стеснялся он привирать, для внушительности. — В результате долгих переговоров с депутатами от рабочих удалось только к ночи сегодня прийти к некоторому соглашению — чтобы через некоторое время было созвано Учредительное Собрание, чтобы народ мог

высказать свой взгляд на форму правления, — и только тогда Петроград вздохнул свободно, и ночь прошла сравнительно спокойно. Войска мало-помалу в течении ночи приводятся в порядок.

Кажется так: эта ночь уже кончается, и без погромов. Но дальше — страшно подумать:

— Провозглашение императором великого князя Михаила Александровича подольёт масла в огонь — и начнётся безпощадное истребление всего, что можно истребить. Мы потеряем и упустим из рук всякую власть, и усмирить народное волнение будет некому. Желательно, чтобы примерно до окончания войны продолжал действовать Верховный Совет — и ныне действующее с нами Временное правительство. Я вполне уверен, что при этих условиях возможно быстрое успокоение, несомненно произойдёт подъём патриотического чувства, всё заработает в усиленном темпе, и решительная победа будет обезпечена.

С другого конца помедлили, и притекло:

— Распоряжения все сделал. Но крайне трудно ручаться, что удастся не допустить распространение. Имелось в виду именно этой мерой дать возможность армии перейти к спокойному состоянию. Императорский поезд ушёл в Ставку, центр дальнейших переговоров должен быть перенесен туда. Прошу установить аппараты Юза там, где заседает новое правительство, — и два раза в день сообщать мне о ходе дел.

Ну вот и хорошо. Но Родзянко предвидел и дальше:

— Аппарат Юза будет поставлен. Но прошу вас в случае прорыва сведений о Манифесте в публику и в армию, по крайней мере, не торопиться с приведением войск к присяге!

Но Рузский, оказывается, был ещё куда более предусмотрительным:

— О воздержании от приведения к присяге во Пскове я сделал распоряжение ещё вчера.

Вот это изумительно! Он и без Петрограда догадался, что надо подождать?

— ...немедленно сообщу о том же в армии моего фронта и в Ставку. У аппарата был, кажется, князь Львов? Желает ли он со мной говорить?

Да что же Львову говорить! Родзянко, всё место занимая, легонько его отстранил. Комитет Государственной Думы и выше правительства:

— Нет, всё сказано! Князь Львов ничего добавить не может. Оба мы твёрдо надеемся на Божью помощь, на величие и мощь России, на доблесть и стойкость армии и, невзирая ни на какие препятствия, на победоносный конец войны!

Родзянко много раз замечал — и в думских речах, и в разговорах, — что от потока бодрых слов и сам становишься бодрей. Както повеселело. Хоть на Северном задержим!

Уж он хотел заказывать провод на Ставку — как аппарат опять застучал:

— Михаил Владимирович! Скажите для верности, так ли я вас понял. Значит, пока всё остаётся по-старому, как бы Манифеста не было. А равно и о поручении князю Львову сформировать министерство? Что касается назначения великого князя Николая Николаевича отдельным указом Государя императора, то об этом желал бы также знать ваше мнение. Об этих указах сообщено было этой ночью очень широко — даже в Москву и конечно на Кавказ.

Быстропонятлив был Рузский, но даже и слишком. К *такой* отмене и сам Родзянко не был готов, да и Львов сидел тут же вот рядом. А Николай Николаевич никому не мешал.

— Сегодня нами сформировано правительство с князем Львовым во главе. Всё остаётся в таком виде: Верховный Совет, ответственное министерство и законодательные палаты — до Учредительного Собрания. Против указа о назначении Николая Николаевича Верховным Главнокомандующим ничего не возражаем. До свиданья.

Но опять уцепился Рузский:

— Скажите, кто во главе Верховного Совета?

Собственные слова вернулись на ленте — и упало очарование:

— Я ошибся: не Верховный Совет, а Временный Комитет Государственной Думы под моим председательством.

Но всё равно ж он остаётся Верховным, кто же выше него?!

И стал ждать провода на Ставку.

К Алексееву не было такого хорошего расположения — разговаривать напрямую. Остался осадок от его недоверия позапрошлой ночи.

Между тем с другого аппарата подали Родзянке телеграмму от Эверта.

Вверенному Западному фронту он Манифест объявил — и вознеся молитвы Всевышнему о здравии Государя императора Миха-

ила Александровича… приветствуя в вашем лице Государственную Думу и новый государственный строй… в твёрдом уповании, что с Божьей помощью…

Эх, научи дурака Богу молиться — он и лоб расшибёт. Ну куда спешил?..

359

После данного вчера Государю императору совета отречься от престола генерал Эверт не находил себе места. Попала его большая голова в работу непривычную, сам он — в переделку невиданную, не военную, — за все 60 лет жизни, за 40 лет службы ничто подобное не выламывало его крупных костей.

Как же мог он такой совет Государю осмелиться выразить, откуда у него дерзость такая взялась? Сам себя не узнавал и ужасался: короткий момент, торопили, впопыхах, — да ведь все Главнокомандующие единомысленно выразились так!

Понадеялся на здравый смысл. Показалось, что доводы Ставки весят.

А надо было задержаться, дать времени потечь, спросить командующих армиями, хоть как-то разделить это непосильное бремя: решать судьбу российской короны! Ведь это — не эпизод, не тактический приём на несколько месяцев, как лучше выиграть войну. Теперь, вослед, сообразил Эверт: за две династии и за 600 лет никто никогда на Руси от короны не отрекался, — и такой шаг ныне последствия мог иметь тоже вековые.

Эверт стал перечитывать свой совет-ответ глазами Государя — и теперь не мог прочесть его иначе, как измену присяге. Откажись Государь от подобных советов и воротись завтра в Ставку — он будет вполне прав, отчислив генерал-адъютанта Эверта ото всех должностей и сняв с него все звания!

Но совет его — невозвратно уже потёк по проводам, и с той минуты Ставка ничего больше не требовала, не спрашивала. Где-то в тайне и молчаливости совершалось действо — отречение? не отречение?..

Закрылся Эверт в своей спальне — и крупно потягивался, до хруста, — хотелось ему своё большое тело как-то распрямить, к какому-то шагу, — но не мог придумать, и никто не предлагал. И не

мог протянуть руки к Государю во Псков, и не мог выразить своё повиновение.

Изо Пскова ничего не доносилось, а вокруг Полоцка бушевала бандитская «депутация» распущенных солдат, обезоруживали железнодорожную охрану. Но такова была политичность момента, что нельзя было схватить их как простых бандитов — а надо было спрашивать разрешения Ставки. И были у Западного фронта подвижные резервы для охраны дорог, но Ставка запретила отправить их в дело, а лишь иметь наготове на случай надобности.

И мучился, мучился Эверт в своём одиночестве, как в заточении, пока во втором часу ночи не принёс ему Квецинский первую весть об отречении.

Ну, так ли, хорошо ли, плохо, — отвалилась глыба!

А потом — и сам Манифест. Читал его с ленты — и какие же слова разымчивые! Крупная упала слеза на подклейку ленты.

И хотя служебно это было облегчение — ступив со всеми Главнокомандующими в лад, оставался он на своём посту, — а на сердце лёг камень: что сам он, своими доброподданными руками подтолкнул Государя с престола.

А в три часа ночи скомандовала Ставка: Манифест безотлагательно рассылать по армиям и частям.

Ну, всё. Свершилось.

Свершилось. Смирился. И спать лёг.

Но — не было сна. Отступило раскаяние — надвинулись заботы: как-то надо определяться при новом правительстве. Кто знает Михаила Александровича, понимает, что это будет Государь совсем слабый. И всю силу и ве́дение очевидно заберёт новое правительство. А Эверт перед этим правительством изо всех Главнокомандующих будет очевидно непопулярен, потому что «реакционер». И Брусилов, и Рузский, и Алексеев — очень для общества хороши. А Эверт — *реакционер.* Вот как прилепят такую кличку какие-нибудь паршивые газетчики — так и не отмоешься до смерти. Будто бы в саже: «реакционер».

Ох, не клонилась голова спать. Ох, подымалась голова — както о себе заявить положительно. Такой ценой удержанный пост уж теперь стоил малых усилий — сохранить его. Сочинить, послать какую-то примирительную телеграмму? Очевидно — Родзянке. Родзянко и был бушующий Петроград, другого имени не уважали фронты и страна.

И вот уже зажёг свет, и вот уже сидел сочинял. А перо его — совсем ничего не умело. А это надо было самому составить. Ну, значит, объявил Манифест. Ну, значит, вознёс молитвы о новом Государе. А теперь: вместе со всеми вверенными мне войсками приветствуя вашу Государственную Думу... нет, в вашем лице... И новый государственный строй... И в уповании, что в единении всего народа найдёт родина новые силы к победе, славе и процветанию...

Писал он своими огромными палочными буквами, несколько фраз на трёх полных листах...

Стыдно было с Квецинским советоваться, сам. И через Алексеева отправлять — тоже стыдно, но иного прямого провода нет. Сам отнёс в аппаратную, пусть ночью и проскочит, пока все спят.

Время было к шести утра. Ночь так и не началась — а кончалась.

Всё же прилёг. Но только-только в сон — постучал Квецинский: распорядились из Ставки — спешно задержать объявление переданного Манифеста!!

Что такое? — вскочил Эверт во весь огромный рост.

Так отречение — не состоялось??

Ай-ай-ай, стыд какой! А что он Родзянке послал? Какой стыд!

Да нельзя ли вернуть?! Если целый Манифест останавливали — неужели какую-то маленькую телеграммку нельзя вернуть?..

360

Но и в эту ночь опять недолго поспал генерал Алексеев: в 6 часов утра дежурный офицер уже тронул его за плечо: срочно вызывает к аппарату Родзянко.

И нездоровье ещё не прошло, ломало поясницу, и досада на этого Родзянку, два дня его нельзя было дозваться, а ночью он тут. Не только не умывшись, но и довольно не проснувшись, ещё обалдело-вялый от короткого прерванного сна, Алексеев слипшимися глазами начал читать ленту:

«События далеко не улеглись, всё положение тревожно и неясно».

Что такое? Уже ведь наступало полное успокоение? С этим Родзянкой Алексеев был как с плохим разведчиком. А других разведчиков нет, глаза завязаны.

«Настойчиво прошу вас не пускать в обращение никакого Манифеста до получения от меня соображений, которые одни могут сразу прекратить революцию».

Отшибло сон! — но и желание разговаривать тоже. Что за безумный, суматошный и самоуверенный человек! То — он один знал: дайте ответственное министерство и всё успокоится. Дали. Тогда: поздно! Но опять знал твёрдо, и только он один: дайте отречение, и всё успокоится. Сделали невозможное, переступили через гору, совершили отречение! — опять мало и поздно! — но опять он один знает соображения, которые одни только и прекратят революцию.

То есть как же так теперь? Вынудив у Государя отречение — Манифест держать? Да почему? И кто имеет право?

Ответил Алексеев, что Манифест уже сообщён и Главнокомандующим, и в округа, ибо полная неизвестность вызывала запросы, чего держаться. Армии нужна ясность. Если всё это не соответствует вашим видам — разъясните.

Скрывать Манифест! Теперь скрывать Манифест — ещё хуже будет сотрясение! И уже министру-председателю Львову послан запрос о новой присяге, — и чёрт их поймёт, кто у них там старший — Львов или Родзянко?

Отвечал Родзянко, что обнародование Манифеста может вызвать г р а ж д а н с к у ю в о й н у ! Потому что кандидатура Михаила как императора — ни для кого не приемлема!

Вот это так! Да не сутки ли назад этот Самовар и грозил гражданской войной в случае, если *не* будет регента Михаила?! Привык генерал Алексеев мыслить по-военному, а этих политических вихрей он не ухватывал, да ещё больной, безсонной головой. Начинал сердиться.

Хорошо, он даст задерживающие телеграммы. Но опасается, что Манифест всё равно станет известным в армиях.

— Я предпочёл бы быть ориентированным вами ранее, чтобы знать, чего держаться.

Родзянко отвечал длинно и очень сумбурно. Что установлено какое-то с кем-то перемирие. И будет созвано Учредительное Собрание, ещё новость! А до тех пор будет действовать кроме Совета министров ещё какой-то Верховный Комитет — и кроме того ещё обе законодательных палаты. Вот *поэтому*-то он и просит не обнародовать Манифеста. (Какая тут связь?..) Комбинация наследника Алексея и регента Михаила уже внесла значительное успокоение.

Так что ж? — успевал только думать, а не спрашивать Алексеев, — они хотят вернуться к этой комбинации? Переделать Манифест? Убедить Государя? Как будто да. Не прерывалась родзянкинская лента.

...Возмущение и негодование против существовавшего режима ничем нельзя утолить. А решение Учредительного Собрания не исключает возможности возвращения династии к власти. При высказанной же комбинации, напротив, можно гарантировать колоссальный подъём патриотического чувства, небывалый подъём…

Всё меньше понимал Алексеев: какая «высказанная комбинация»? Комбинация Алексей — Михаил, или комбинация Верховный Комитет — кабинет министров — Дума и Государственный Совет? А куда теперь Временный Комитет Думы?

— …подъём энергии, абсолютное спокойствие в стране и блестящую победу над врагом. Войска, состоящие из крестьян, только на этой комбинации и успокоились и решили вернуться к своим начальникам, подчиниться требованиям дисциплины и Временного правительства. *Только сегодня* Петроград, услыша такое решение, несколько начал успокаиваться.

Если чем и были соединены все эти фразы — то непрерывностью узкой длинной ленты. И только. Понять становилось всё трудней: когда же Петроград стал успокаиваться — ещё позавчера или только сегодня? Стал ли Петроград успокаиваться, или положение грозит гражданской войной? Откуда и какие крестьянские войска узнали об отречении в пользу Михаила, если оно ещё не было нигде объявлено? И зачем и кем собиралось Учредительное Собрание, которое могло вернуть к власти династию, а та и не собиралась уходить? И что это за намёкнутое, но скрываемое перемирие в каких-то ещё других неизвестных переговорах с кем-то? С кем? Очевидно, с крайними левыми партиями, больше не с кем.

Будь проклят день и час, позавчера и вчера, когда Алексеев ввязался в эту политику. Она поднималась как муть, как изжога.

А как он мог не ввязаться? Он торчал на своём месте как чурбан.

Брошенный царём.

А во всяком случае хоть теперь надо было игру с этими политиками кончать — и выражать твёрдую армейскую точку зрения.

Хорошо, приму меры задержать Манифест у Главнокомандующих и в округах. Однако всё сообщённое мне вами далеко не радо-

стно. Сокрытие о происходящем и Учредительное Собрание — две опасные игрушки в применении к Действующей армии. Петроградский гарнизон, вкусивший от плода измены, повторит её с лёгкостью ещё раз. Для родины он теперь вреден, для армии — безполезен, для новой власти — опасен. Желаю скорее получить от вас что-либо окончательно определённое — чтобы Действующая армия могла помнить об одной войне и не прикасаться к болезненному внутреннему состоянию части России.

— Я — солдат, и мои помыслы обращены к стороне врага.

Было чувство: как бы отодвинуться от этой грязи и очиститься от неё.

А Родзянко ещё лепил зачем-то: что страна не виновата, что её терзали неустройствами и постоянно оскорбляли народное самолюбие. Учредительное Собрание состоится не раньше как через полгода, а до тех пор можно будет довести войну до победного конца.

Заговорил — и забыл Алексеев спросить: так как насчёт банды в Полоцке? И кто такие банды посылает? Ставка сделала всё, что Петроград требовал, — почему же разбоя не прекращают?

Распоряжение останавливать отречный Манифест Алексеев отдал ещё во время переговоров, и к концу их — уже на три фронта офицеры распорядились. А теперь подписал и общую телеграмму всем Главнокомандующим — и отдельно своему новому Верховному на Кавказ.

К семи часам утра уже со всем этим справились.

Но и спать ложиться уже как будто было упущено.

А жизнь между тем плелась, подавали ему телеграммы с других аппаратов. Вот — предутренняя телеграмма, проследовавшая от Эверта к Родзянке. Ну вот, а этот уже объявил!.. От Эверта — не ожидал Алексеев такого восторга и такого ненужного угодничества к новой власти.

А вот была — раннеутренняя телеграмма от великого князя с Кавказа, разминувшаяся в пути. Так. Новый Верховный временно поручал Алексееву военные операции и штатно-хозяйственные распоряжения, но — ничего более. И по всем чрезвычайным обстоятельствам повелевал обращаться срочно — к нему, великому князю.

Так. Сразу ограничивалась свобода Алексеева. Да оно и лучше. По-настоящему, значит, мог и с Родзянкой не разговаривать, а пусть бы сносился с великим князем. Но ведь такая чрезвычай-

ность у этих чрезвычайных обстоятельств — как же было не остановить Манифест, а сноситься с Кавказом?

Да вот мгновенно тёк и ответ от великого князя. Раздражённый:

«Мне и в голову не приходило сообщать кому-либо содержание Манифеста, так как он ещё не был опубликован в установленном законом порядке».

И ведь — прав великий князь! Как же это Алексеев сплоховал, да и все умные политики: какое ж могло быть оглашение Манифеста, пока он не распубликован по закону Сенатом?

Ну, по крайней мере, законно значит, что задержали.

Не то что прилечь, не то что пять минут подумать над разговором, — стакан чаю некогда выпить, всё несли свежие телеграммы.

Ах вот она, пришла от Родзянки: никакой депутации на фронт не посылалось.

Так значит, в Полоцке — просто революционная шайка? Эх, зря их не схватили, боялись испортить отношения с Думой.

И тут же две вослед — с Балтийского флота от Непенина. В первой — что пытается задержать Манифест, где ещё можно, но в Ревеле уже расклеен и получил широкую огласку, — однако же и безпорядки прекратились. (Вопреки напугу Родзянки…) А через полчаса во второй — что и в Свеаборге частично объявлен, но не видит в том беды, какая разница в форме Манифеста, просит ориентировать, в чём затруднение?

А Алексеев и сам не понял от Родзянки: в чём же дело? в чём затруднение?

И чего стоила задержка Манифеста, если в Ревеле, Свеаборге и на Западном фронте уже прорвалось?

ДОКУМЕНТЫ — 12

Ставка, генерал-адъютанту Алексееву
Вырица, 3 марта, 9 ч. 25 м.

От Родзянко получил телеграмму о возвращении в Могилёв. Прошу подтвердить, куда направить Георгиевский батальон.

Ген.-адъютант Иванов

361

Вид с наблюдательного — привычней, освоенней, чем даже из собственного окна. Отличён уже глазом, врезан в память каждый безымянный бугор и каждая яма. Старые совсем белы, набиты снегом, а новые воронки от снарядов — с чёрным набрызгом, потом и их засыпает белым. Из какой-нибудь ямы торчит, глазом не различишь, — кочерга, сук кривой или рука бывшего человека, но в стереотрубу это уже всё известно точно. Впереди, недалеко, на столбиках, на кривых кольях, а где на козлах, тянутся наши ржавые проволочные заграждения. Ещё вокруг кольев — оплёты, ежи, рогатки. Через сотню потом саженей — такие же немецкие. На чужой проволоке от кого-то бегшего оторвалась, зацепилась и теперь по каждому ветру мотается тряпка. А потом — полоса немецкой огневой линии, где от пристальности твоей зависит знать все бойницы и пулемётные гнёзда. И потом — голубоватые дымки из окопных печурок, по которым стрелять взаимно не принято.

Передвижений, изменений так нет давно — только ходом погоды затемняется или осветляется весь этот болезненный пейзаж, да дневным круговоротом солнца. Да редко улепит снаряд, откроет новую воронку. Да редкая пуля врежется близко в снег, — снег зашипит, и пойдёт короткий парок.

Последние недели — совсем вялая стрельба, ни одной атаки, ни одной операции, а только обновление реперов, да по воздушным колбасам, да если где немцы слишком открыто зашевелятся. И суточное дежурство на наблюдательном иногда проходит без единого выстрела.

Так и за минувшую ночь Костю Гулая ни разу не потревожили, в охолодавшем блиндаже на приподнятой лежанке он проспал на соломе в сапогах, в шинели, в папахе, туго перепоясанный, и вставал только раз по надобности, да чтобы глаз не расслепить — и не заглянул в трубу, в темень ночную.

И утром ещё спал порядочно, но разбудил его Ванька Евграфов, дежурный телефонист. Он парень был безпокойный, забористый, и без офицера тоже угоживал поглазеть в стёкла, что там у немца. И теперь потрагивал подпоручика за ногу — и осторожно, и нетерпеливо:

— Ваш благородь… ваш благородь…

В голосе его не было тревоги, и Гулай недовольно дремуче проурчал:

— Ну?

— Ваш благородь, поглядите, чего немцы выставили, а?

— Чего выставили?

Выставить могли орудие или какую новую машину, может, стрелять надо.

Через смотровую щель уже довольно было света в блиндаже, увидел Гулай зубастую улыбку Евграфова, такая всегда была у него от любопытства, любил он зубы перемывать.

— Такое выставили — сказать нельзя. Идите сами смотрите!

Поднял Гулай тело, намятое от твердоватой лёжки, выругался на никого и пошёл к щели — вызорку́, как называли солдаты.

Ясный начинался день. Полоса голубого неба, кусок облака, боковой солнечный рассеянный свет, — и от позавчерашнего обильного снега ещё белой пухлостью всё завалено — кресты католического кладбища и роща с Ручкой.

Подпоручик приклонился к окулярам стереотрубы, а Евграфов рядом навалился к щели.

Прямо напротив, по линии 2-го ориентира, на выносе из немецких окопов, вплотную к их проволоке выставлен был фанерный щит, аршина два на полтора, на палке, воткнутой в снег, а на щите — бумага, а на бумаге выписано сажей, крупными буквами, по-русски, нерассчитанными строчками, то растянуто, то сжато:

Петербург — революшн!

Рус — капут.

Кончай воеват!

Ничего себе. Что это?

Гулай смотрел и смотрел, сколько надо было десять раз прочесть, солнце удобно светило из-за спины, — уже не на самые эти слова, но вокруг, направо, налево, какие у немцев ещё выдвижения, изменения. Никаких нигде, и никто не высовывается.

— Чего это? — искрилось любопытство Евграфова.

— Пошутили. О таком — мы узнали бы раньше их.

Революция? На ровном месте? Пошутили.

Однако велел Евграфову по пехотному телефону позвонить на командный пункт боевого участка. Тот проворно вызвал через зуммер, попросил офицера — и вот уже слышал Гулай в трубку гу-

сто-мохнатый голос штабс-капитана Офросимова. Да у Кости и у самого нахрип, нарос такой грубый фронтовой голос, что прежнего студентика не услышишь.

— Капитан, вы — видели?

— Видели, — лохмато.

Офросимов и сам был такой, звали его офицеры — «мохнатый мужик», у него вся грудь была в чёрных клубящихся волосах.

— А на других местах чего не видели? Это — одно такое?

— Одно. Сбей-ка его, Гулай, к ядреней матери!

— А… — замялся Гулай, — чего не слышали?

— Да ты что, обрундел?! Сбей сейчас же.

Офросимов был — одна решительность, и чем больше на фронте — тем больше Гулай таких уважал. Он и сам так понимал теперь жизнь.

Позвонил старшему офицеру батареи капитану Клементьеву. Тот — не сразу подошёл, или встал недавно, или чай пил как раз.

Выслушал — и хладнокровно:

— У них — какое там число? Ещё не первое апреля?

По его покойному голосу, во всяком случае, — ничего такого случиться не могло.

— Пехота просит, я может собью? — сказал Гулай.

— Ну, сбейте. — Старший офицер любил артиллерийские задачи: — А попробуйте вот с одного снаряда, а?

— Попробую, — засмеялся Гулай.

Посчитал деленьями трубы от репера, потом на бумажке — доворот, поправку по дальности, интересно бы сбить с одного.

Евграфов вызвал батарею.

— Первое орудие к бою, — прогудел ему Гулай, а тот повторял.

Когда там приготовились, —

— Угломер… прицел… уровень… гранатой… один снаряд.

Доложили с батареи готовность.

— Огонь! — и к стереотрубе.

И любопытный Евграфов, открикнув «огонь», покинул телефон и подскочил к щели.

Вот он, на подсвисте. Засвистел-завизжал недалеко над головой, взмёл фонтан снего-земли саженей на несколько левей щита — крякнул!

Рассеялось — а щита нет, смело́.

— Поблагодарить, — кивнул Гулай на телефон.

Евграфов с удовольствием зазубоскалил.

Тут вошёл из траншеи свой батареец, принёс им охолодавший завтрак в двух котелках.

Тот пока сел к телефонам — а Евграфов вскочил к печушке, разжечь, да разогреть чайник. Да в отростке траншеи, с неутоптанным снегом, — подпоручику слить умыться, щёки и нос.

Стали завтракать, Евграфов — на соломе, Гулай — на чурбаке, котелок — на низком столике. Иван что-то набалтывал — о том о сём, окопные новости, Гулай его не слушал.

Он подумал: а что, если бы вот правда? Ведь попадают же чьи-то жизни и на такие события?

Сейчас, на фронте, Костя уже столько пережил и постарел, — а раньше бы, по-молодому: всякое необычное, даже опасное, даже неприятное событие манит, чтоб оно случилось! Даже хочется безстрашным телом — коснуться опасности. (И в ней уцелеть, конечно.)

Революция! — это такое кружение, пламень, фантастика!? Впрочем, вряд ли переживания сильней, чем под хорошим обстрелом.

Пили чаёк, кусая сахар вприкуску.

Уж небось Евграфов про этот плакат ещё раньше поведал на батарею. А сейчас охотливо нёс про скопинских фабричных девок. (Он сам был — купецким приказчиком из Скопина.)

Гулай повозился немного с записями, с наблюдениями. Дел-то настоящих не было, целый день хоть спи, хоть книжку читай.

Прозуммерили — и Евграфов потянул ему трубку:

— Из штаба бригады.

Голос в трубке был тонкий, изнеженный, можно за женский принять. А-а, это звонил, это был в штабе такой князёк, капитан Волконский. Он спрашивал — и выдавал волнение, — тот ли самый подпоручик с ним говорит, который видел немецкий плакат? И не про то, как лихо сбили одним снарядом, а: как дословно там было написано?

Этого князька — тонколицего, тонкогубого, с игральными пальцами, видел Гулай раза два-три, — и от этой самоуверенности дворянской породы передёргивало его. Всегда закипало в нём от голубой крови, от белой кости, бесило, что кто-то считает себя от природы рождённым выше и избранней. Даже если такой держался просто, а всё равно улавливал Гулай, как он себя строит, надменно знает о своём изродном превосходстве. А у капитана Волконского был распевчато-недоверчивый тон, скользящие пустова-

тые фразы — что не в этом обществе ему по-серьёзному разговаривать, есть у него свои понимающие в другом месте.

А вот теперь — заволновался!

И невольно отвечал ему Гулай грубей и весомей, чем сам понял утреннее происшествие. В общем-то, он понял его как шутку — а князю Волконскому почему-то передал сейчас не как шутку.

И слышал, как голос у того — падает. Он, может быть, что-нибудь знал уже и с нашей стороны?

Но не унизился Гулай у него расспрашивать.

Положил трубку, отошёл, — а почувствовал, что в самом подымается что-то.

И правда что-то?.. Вроде революции?

А что ж, у нас подгнило. Сотрясётся — очистится, только лучше.

А-а-а, прожигатели жизни, схватились? А полтораста-двести лет что вы думали? Как вы рабов имели безпечно — и не почесались? Всё — тонкие искусства развивали? Да хохотали в своих гостиных? Да на балы съезжались к сверкающим особнякам — карета такого-то! Красотки выпархивали, придерживая сборчатые шёлковые подолы, а чужих никого к себе во дворцы не допускали, да только слуги всё видели. Чем же вы так были избранны? Почему возвышены от общей страды — да на Лазурные берега? Все эти Волконские, Оболенские, Шуваловы, Долгорукие, драть вашу вперегрёб, — хорошо вы забавлялись, а что вы России дали? Какая от вас кому была польза? Никогда столько не дали, сколько брали да брали — и думали: не припечёт? Ну, не сегодня, так позже, а погодите: припечёт!

А ещё ж все эти фон Траубенберги, Юнгерсбурги, Каульбарсы, Карлстеды, Зильберкранцы — ещё этих сколько насело, обстало, населило все верхи? — и ещё учить выговаривать солдат на словесности? Как — от этих воротник освободить?

Разыгралось в груди веселоватое — и даже жалко становилось Гулаю, что всё это — только неуклюжая шутка немецкой пехоты.

362

Весь день, весь ход дневной определяется тем, как ты проснёшься: затекла голова или нет. И разные формы затечи: так и останется сжатием на весь день, или ощущаешь, что разойдётся.

Немощь, о которой не хочется никому рассказывать: она касается тебя одного, и только тебе совершить весь её ломкий ход.

С годами совсем преобразилось влияние сна: из крепкого радостного отсутствия, где безпамятно почти смыкаются начало с концом, сон вытянулся в длинную тяжёлую работу, со стонами в переворачиваниях, то сверленьем в суставах, снами, снами, полусумраком сознания, мучительными виденьями, — и замёрлое утро всегда ниже разогнанного вечера. Вечером кажешься себе деятельным человеком и даже доволен прошедшим днём, — к утру это всё опрокинуто, осунулось далеко вниз, и, распластанный, ты пробуждаешься в ничтожестве, почти не веря, что силы снова могут вот воротиться — и снова разгонится полезный день.

И по пятиминутьям чуть выше — чуть выше — чуть выше подсовываясь на подушках, наконец уже полусидя, Варсонофьев тревожно учуивал, какой порядок сегодня устанавливается там, в голове: останется ли она заложенной, с необшаренными уголками мозга, которые к думанью привлечь нельзя, и мысли не будут дозревать, — или постепенно растянет, расчистится, как расчищается небо (ещё помочь и кофием), — и снова он ощутит и погонит былую силу мысли и пера.

А иногда малодушно-расслабленно казалось: совсем безсмысленно вставать. И чтоб имело смысл подняться — надо было искать что-нибудь поддерживающее приятное: вот, должно прийти сегодня хорошее письмо. Или — ванную колонку сегодня будем топить.

В этот трудный утренний час — малоразлично стекает по поверхности сознание о событиях внешних. В бездейственный, в беззащитный момент пробуждения, пытаясь восстать из праха и всякий раз не зная, восстанет ли, — первой горечью и тяготою человек вынужден принять свою собственную небольшую жизнь, никому не известную, не интересную, которую и сам считаешь ничтожно-неважной по сравнению со своими научными занятиями. Возвращается в безсильную память и протаскивается, и протаскивается.

Лёка. Вот и она, разорившая ему годы, не отпускала и теперь. Всё снилась, снилась, и так выразительно: то в лёгкий ящик туалетного столика накладывала, втискивала несколько больших топоров и пыталась ящик закрыть, а он перекашивался и ломался. То, стоя рядом с детской коляской, шамкающая, старая, требовала, чтоб он подошёл, — а когда он подходил — оказывалось: сама ле-

жала в этой коляске, как-то помещаясь, но и взрослая. И тайна сна охватывала ужасом сердце.

Теперь, если ей суждено умереть раньше, чем Павлу Ивановичу, то *оттуда* она станет приходить к нему ещё настойчивей.

А — дочь? Как упустил? зачем не направил? Сколько было удач со студентами — с чужими детьми, — а свою?.. Как мог не уберечь её от этого безбожного сознания, от этой ничтожной среды?

Да разве и сам он через то не прошёл?..

Да вообще — кажется, так мало было внешних, фактических событий, — а давят пещеры памяти. Чем старше Павел Иванович заживал, тем отчётливей вспоминал свои ранние годы, — и открывались ему и начинали жечь совсем забытые, никогда не понятые вины, начиная с матери, с отца, — перед теми, кого давно нет в живых или рассеяны, и не найти их, чтобы просить прощения и загладить.

Почему и вся жизнь человека, если рассмотреться, составляется почти из одних ошибок? Почему вовремя никак нам не дано принимать верные и светлые решения, — но лишь запетливать, запетливать свою жизнь, — и только стариковским ослабленным взглядом различать упущенное? Всякий новый раз мы уверены в правоте — и всякий раз ошибаемся.

Самое удивительное, что ничего этого он искренно не видел вовремя. Самые простые ходы упоительной молодости и слепóты средних лет, так отчётливые теперь, — почему он их не различал раньше?

Шестьдесят один год! Это — много. Это — очень длинная жизнь.

Он по-прежнему любил свои занятия, а как будто уже и не по-прежнему: уже не доставляли они сами по себе столько завлекательной радости, и, чтобы подкрепить себя, должен был Варсонофьев думать не только о сути их, а о том, какой ответ и отвод он даст противникам. На противниках — более укреплялась земная твёрдость. Успеть отвести их. Успеть исправить ложные движения. Успеть передать молодым свой духовный опыт. Всё накопленное, а не переданное — так ведь и погибнет с нами безплодно.

Так мало сил и времени дано человеку, чтоб еле-еле управиться со своим собственным сердцем, со своим собственным обдуманьем, — а кому-то же и когда-то надо успевать подвигать и жизнь общественную?

Совсем недавно Павел Иванович узнал о смерти двух своих ровесников — безо всяких видимых причин. Значит — только возраст? Как это сильно влияет: твои ровесники уже расстаются с этим миром. Дорога кончается. Дорога для всех неизбежна.

А от какого-то времени, оглянуться, уже и много близких, понятных тебе людей, многосвязанных с тобою, перешли в *тот* мир. И ты чувствуешь себя здесь всё более одиноким и как бы ни при чём: мало ты понимаешь новопришедших — и они тебя.

Шестьдесят лет — это уже и полная жизнь, вполне может на том и захлопнуться. Но зачем-то вот дан ему избыток сверх того, избыток по сравнению с умершими. Милостивый дар, в дополнение. Одуматься. И ещё исправиться, где можно. Старые ошибки свои исправить, если не потеряны их концы.

Но они обычно обронены и потеряны. А как хочется бы ещё обновиться и приблизиться к правильной линии!

И почти знаешь заранее, что это невозможно.

Даже не только утра, а целые дни можно вот так провести — дни просторного раздумья неизвестно о чём, ещё даже не найдено с утра, а просто хочется перебирать свою минулую жизнь, и другое, в связи. Какое-то чувство, что это — плодотворно, и будет найдено нечто. Только не торопиться и даже не задаваться ничем.

Так он сидел, подпёртый высокими подушками, ноги вытянув под одеялом, — хотя внизу, в почтовом ящике, ждали его газеты с чехардой ещё каких-нибудь невероятных новостей.

Вот пришлось! Сотрясены Петербург и Москва. Что-то должно из этого вытрястись, вряд ли теперь успокоится гладко. Родзянко телеграфировал в Москву Мрозовскому, что правительства больше не существует. Мрозовский спешил выгородиться: «Я — старый солдат, рисковавший головой в нескольких кампаниях», — и по телефону дважды уговаривал Челнокова приехать, принять его капитуляцию, а тот ещё и не ехал! Бежавший московский градоначальник был арестован на вокзале. Где-то неведомо метался, куда-то загнался царь. Уже даже не молодым, всего пятнадцать лет назад, ещё как Варсонофьев ждал такого! Как бы он сейчас кипел, ноги бы не приседали, только носился бы по этому уличному месиву и искал бы, как нахрипеться и куда приложиться. Кажется, ведь только для той, общественной жизни он и вынашивал вершину своего сознания.

Но за десять предстарческих лет — что-то в нём отозрело.

В эти дни он переглядывал перебивчивые газеты, и отдельные листки, возглашающие необыкновенные события. И выслушивал Епифановну: как в трактирах стали еду хватать не платя, растащили припасы из колониальной лавки на Большой Никитской, разграбили булочную на Тишинке, разгромили часовой магазин на углу Большой Грузинской и Тверской. И про обыски вооружённых солдат по квартирам. И сам от Малого Власьевского прошёл один раз к Пречистенским воротам, другой раз к Арбатской площади, — но и на улицах, в опьянённой толчее, не покинуло его ощущение, что это всё, происходящее внешне, — не главное.

Что главное Павел Иванович мог разглядеть, понять и в своей дряхлой хоромине, не выходя и даже газет не читая, — лишь освободив простор своей мысли и прочитывая резной потолок.

Нужна способность понимать жизнь в самых основных, простых чертах. Может быть, это и есть лучший дар старости.

В государствах, как и в жизни отдельного человека: всё приходит и уходит — хлыном. Было — несметно, и вдруг — ничего. Человек живёт и государство живёт — в видимом здоровьи, и сами не знают, что они — уже при крае.

Да, когда-то он тоже думал, что если б только установить республику, рассвобождённый государственный строй — и — и — что? Что может политическая ежедневная лихорадка переменить к лучшему в истинной жизни людей? Какие такие принципы она может принести, чтобы выйти нам из душевных страданий? из душевного зла? Разве суть нашей жизни — политическая?

Так и его общественная деятельность прежняя — была сплошной ошибкой.

А ошибку нынешней он поймёт когда-нибудь потом?

И как же переделывать мир, если невозможно разобраться в собственной душе?

Тут услышал он: благовест?..

Не звон отдельной церкви. И не размеренный, печальный, великопостный зов к утренней службе, да уже и время было не то. И — не церковь Власия рядом, она молчала. Не — Успения на Могильницах, не — Николы в Плотниках, не левшинского Покрова — их всех Павел Иваныч и при закрытой форточке различал, по звуку и по направлению.

Но — сильный благовест шёл. Но бил — не меньше как Иван Великий.

Необычно. Совсем неурочно. Павел Иванович спустил ноги в мягкие туфли, надел халат со спинки стула. И подошёл, открыл первую форточку, и вторую.

Да, бил Кремль. Во многие колокола. И, как всегда, выделялся среди них Иван.

За шестьдесят лет жизни в Москве и в одной точке — уж Варсонофьев ли не наслушался и звонов, и благовестов? Но этот был — не только неурочный, не объяснимый церковным календарём, — утром в пятницу на третьей неделе Поста, — он был как охальник среди порядочных людей, как пьяный среди трезвых. Много, и безтолково, и шибко, и хлипко было ударов — да безо всякой стройности, без лепости, без умелости. Это удары были — не звонарей.

То взахлёб. То через меру. То вяло совсем и перемолкая.

Это были удары — как если бы татары залезли на русские колокольни и ну бы дёргать.

Стоял Павел Иванович под форточкой — и слушал в изумлении. Как эти звонари прорвались на колокольни в согласное время и что хотели так несогласно выразить — можно было догадаться. Но — как это слышалось исконному москвичу?

Близкие малые церкви так и не вступили ни одна. Но из дальних — какие-то поддержали. А простоял Варсонофьев минут десять — и гунул главный колокол Христа Спасителя. А за ним посыпалась и дробь перезвончатых. И такая же безтолковая.

Стоял, стоял, стоял Павел Иванович. И не только напрохладел, а обняла его великая тоска.

Или даже — разорённость.

Как в насмешку надо всеми его раскаяниями, обдумываниями, взвешиваниями — хохотал охальный революционный звон.

И ещё меньше теперь можно было понять в пути России. И в собственной жизни.

363

Ещё вчера солнце было — её.

А сегодня — нет, ушло.

Ушло всё прекрасное волнение, вся переполненность восторгом. А взамен — тоска, обида заложили всю её.

Нет, нет, Ликоне — не плохо! Ведь у неё были эти невозможнейшие шесть дней. И их никак нельзя отобрать.

И даже боль после него — прекрасна.

Но что произошло с нею самой? Кажется — это была не она.

Она совсем не помнит встречи.

Всё, что хотела объяснить, — она ничего не объяснила: всё её прошлое вдруг стало мелко и ненужно рядом с *ним*. Рядом с ним — она сама не вспомнила своих разочарований, своих страданий.

Растерялась.

Вместо этого — он был рядом и всё заполнял.

Она — ничтожная перед ним девчёнка, и он прав будет, не оценив её, пренебрежа.

Не поняв.

Бросив.

Один раз в жизни уже было так: она всё принесла, а оказалось ничто не нужно.

Нет, она сама виновата! Она — онемела, была не она.

И вышло — просто побаловался?..

А теперь: ещё раз они будут ли вместе, чтоб исправить?

А на улицах — этот толповорот, дикое красное и песни, чему-то все рады.

А тёмные театры — как погребальные залы.

Да — будут ли они ещё раз вместе!?

Милый! Не уезжайте! Милый! Будьте со мной ещё раз один!

Я обниму вас — как никогда-никогда!

364

Боже, какая ночь!.. Двух таких ночей не бывает в человеческой жизни!

Вся ночь — без сна, но какая возвышающая, памятная, разбудоражная ночь счастливого завершения Великой Российской Революции!

Уже к вечеру было понятно, что во Пскове решается нечто, и Непенин послал через Ставку свою телеграмму в поддержку отречения, даже преувеличил, по мнению своих штабных, что он с огромным трудом удерживает флот в повиновении, — бóльшая

часть флота держалась спокойно и благородно, — и что вне отречения грозит катастрофа с неисчислимыми последствиями.

Послал телеграмму — и всё кануло в ночную тишину, и всё не верилось, что развяжется благополучно. После двух ночи, перетолковав, перетолковав, расходились спать — и тут пришла телеграмма, что Манифест об отречении подписан царём!!

И так, без ночи, открылся сразу опять день, уже следующий. Команды спали, на тёмных корпусах кораблей горели малые дежурные лампочки, не светились иллюминаторы дредноутов и линкоров, спала и команда «Кречета», кого не разбудили сами телеграфисты, — а князь Черкасский и Ренгартен пошли в каюту к Адриану — поздравлять! Позвали б и Щастного, вполне уже своего, но он вечером уехал в Петроград представителем флота.

У Непенина нашлась бутылка шампанского. Втроём, в каюте, и пили, — не шумя, с голосами переволнованными, но негромкими. За новую Россию! За новую эру! Какая ослепительная заря свободной, просторной, великой русской жизни!

И как сказочно быстро и легко всё решилось — ещё только искали, как приступать, кого-то раскачивать, давать внешние импульсы думцам, — но все повели себя так отлично, но всё прошло так гладко!

Адриан был тоже как никогда прост, никакой разделительной черты, хотя при весёлости их троих — его лицо было как будто озабоченное, в противоречие с настроением. А говорили — очень слитно.

О том, кого и кем заменять. Зубров — убрать, освежить состав. Как теперь всё будет выглядеть! Как звучать! О неисчислимых русских возможностях.

Но, Боже мой, как легко всё получилось!

Тут принесли ленту с приказанием адмиралу от нового правительства: немедленно арестовать финляндского генерал-губернатора Зейна и ещё одного крупного царского чиновника.

Светловолосый Непенин повёл бровями. Полицейское распоряжение, никак ему не по должности, не по службе. Но — есть и такая оборотная сторона, естественная черта революции.

Придётся их — взять. И изолировать от города. На корабль. А потом в Петроград.

Распорядился подать ему автомобиль, сопровождающих и уехал в город на арест.

А Черкасский и Ренгартен ждали его возвращения в канцелярии штаба. Гадали, как пройдёт операция. Ещё, ещё рассуждали обо всём. Просто — горели, не могли усидеть, Ренгартен вскакивал и всё ходил, в тесном просторе, два с половиной шага.

Придумали и камеру для Зейна — пустующую каюту флагманского механика, велели её приготовить, — и тут же вскоре послышались шаги в коридоре, Черкасский пошёл навстречу показать, — Зейн двигался надутым изумлённым чучелом, покорно зашёл, дал себя запереть, — а саблю отдал Непенину ещё у себя во дворце, не шевельнувшись ни к возражению, ни к сопротивлению.

Это — показатель и символ, что так гладко прошло. Так будет и дальше, так — всё!

Непенин сказал, что пригласил сегодня на день финских деятелей сюда на корабль. После ареста Зейна естественно установить с ними дружеский контакт, обещать широкие права финскому сейму.

Оставили Адриана отдыхать, сами пошли ещё выхаживаться по палубе. Ещё не рассвело. Лёгкий мороз, лёгкий вест, всё небо открыто звёздное, давление 764, будет ясное утро.

Да оно уже и скоро, уже безполезно идти спать, а лучше встретить его бодрствуя.

Придумали с князем вот что: вдвоём привести в порядок, систематизировать все телеграммы и документы за эти дни, связанные с революцией, — за сколько дней? Да всего за четыре! А уже много набралось, потом всё это смешается, потеряется.

С интересом занялись, не переставая изумляться этому топоту истории по собственным головам.

Утро разгоралось ярко-солнечное, праздничное, от белых ледовых пространств жмурились глаза.

За эти часы уже пришёл текст царского Манифеста. (Черкасский нашёл, что удивительно благородным языком написан, — кто это царю составил?) И неспавший Непенин собрал флагманов раньше семи утра, — не заседанием, но торжественно построил их в своём салоне — и прочёл им Манифест.

Дружно крикнули «ура» императору Михаилу Второму! Всё это было куда бодрей и светлей вчерашней грозной неопределённости. Кажется, на этот раз не было недовольных лиц. Новый император, Российская Империя продолжается!

Но едва флагманы разошлись, чтоб объявить по кораблям, — телеграф «Кречета» принял из Ставки от Алексеева просьбу Родзянки — всеми мерами и способами задержать объявление Манифеста, сообщённого ночью! — ввиду особых условий, которые будут пояснены дополнительно.

Как громом! Что это значит?

Но он уже разослан! Уже в Ревеле, уже и тут… Наш принцип и есть — всё объявлять матросам как можно скорей и честней!

Что это опять начинается? Что это такое? Революция — повернулась? Царь берёт отреченье назад?.. Измена?

Всё потемнело и при блистающем утре.

Невозможно было расстаться с достигнутым уже! С тем, что сердце уже так трепетно пережило и усвоило.

Невозможно было допустить Полковника снова на трон!

365

Ещё вчерашний предутренний удар от Родзянки генерал Рузский как-то выдержал: что его победа — не победа, а события шагают крупней. И вчера снова собрал все силы интеллекта на новые уламывания царя — и снова же сломал! И к ночи был снова в душевном разгоне, ужиная с Гучковым и Шульгиным и провожая их потом на поезд, а сам на автомобиле в город, в штаб, — он упивался сыгранной ролью и ощущал себя вровень с грандиозным Происходящим.

Но когда сегодня в пять часов утра, едва втянутого в сон, его снова разбудили к аппарату, и опять Родзянко грубыми, нерассчитанными движениями смахивал с доски все расставленные выигравшие фигуры, — Рузского как будто прокололо, стало из него выпускать набранный воздух и смарщивать. И такой сморщенный, съёженный, маленький, он свалился в постель, уже после шести, — и пытался заснуть, но уже не впрок, какой-то кислый сон, без освежения, и вздрагивающий, — даже и сон не шёл к нему, и вот лежал вялый, измолоченный — да сколькими же сутками сверхчеловеческого напряжения? Да неужели меньше чем двумя? Поверить нельзя, кажется — дольше недели.

Вытягивался за событиями — не отстать, даже вести их, — нет, видно, уже стар он для таких растяжек, шестьдесят три года. Очень

было гадкое, сляклое состояние, — не поверить, какой подъём царил всего несколько часов назад на ужине с депутатами.

И — каковы ж эти депутаты, чего они стоили, и знаменитый Гучков, — сами не знали, чего добивались. Ни к чему не были подготовлены.

Оставалось, правда, лестно, что телеграфировали первому Рузскому, а не Алексееву. Конечно, рассчитывали найти у него большее понимание. При новом правительстве он мог бы стать и Верховным Главнокомандующим. Чтó Николай Николаевич? Фигура для парада и фотографий. Да вряд ли его утвердят. А Алексеев — виновник 1915 года, разработчик неуклюжей карпатской авантюры, потом предался психозу отступления, — разве он годен в Верховные? Но — само правительство держится как безумное.

Петроградские события как будто не имели связного течения, где последующее событие вытекает из предыдущего, а выскакивали внезапно, как из балагана фокусника, и фокусником был Родзянко, он мог представить в следующий разговор или через пять минут — то невиданный солдатский бунт, то полное успокоение. Скорей всего, они сами не понимали настроения населения и что делается в Петрограде. Но почему же, когда Петроград был в ведении Рузского, — он всегда знал настроение города? И члены Думы, и общественные деятели эти все дни, значит, вели отчаянную, рискованную игру, — а теперь по слабости выпустили всё из рук. Но при такой мгновенной переменчивости петроградской обстановки как же может рядом существовать и стоять Северный фронт?

И Рузский — выговорил Родзянке, сколько успел. Родзянко с той стороны давил даже через аппарат своей мощной фигурой, так и видно было, как он там устороняет кроткого Львова, не давая ему пикнуть. Этим своим вечным самовыдвижением Родзянко не давал узнать: что ж там думают и делают помимо него? Хотелось бы послушать главу нового правительства, но тот был нем, а вместо него рвался с монологами Родзянко, — да уже не просто председатель Думы, но председатель какого-то неслыханного Верховного Совета — вроде как при Анне Иоанновне, — роль которого рядом с правительством вовсе была не ясна, а после повторений и переспросов оказалось, что Верховного Совета никакого и нет, это просто оговорка. Ничего себе оговорка — три раза медленно пропечатанная на ленте!

Как это можно всё мешать? И что у них там творится в умах?! — Рузский не мог проникнуть в повороты думских политиков. Спер-

ва он нехотя принял распоряжение задерживать Манифест, отсылал их разговаривать со Ставкой. Но если подумать, что дело идёт к Учредительному Собранию, тогда, очевидно, и к республике? — тогда конечно Манифест Николая надо задержать решительно. И главное — остановить, чтоб нигде не присягнули Михаилу.

В соседней комнате уже несколько раз покашливал Данилов — очевидно, в расчёте, что Рузский проснётся, но не решаясь будить.

И состояние разбитое, и не уснуть уже. Не подымаясь из постели, Рузский позвал его.

Плотный, здоровый Данилов был бодро дневной. Надо бы ещё раз категорически повторить от имени Главнокомандующего запрет распространения Манифеста, а главное — ни в коем случае не приводить к присяге. Вот и готово, вот и ручка.

Рузский, подмостясь подушками, подписал на картонной подкладке.

Ну, и какую-то надо ориентировку разослать для разъяснения. Почему задержан? — будет Учредительное Собрание. И подтвердить назначения Львова и Николая Николаевича.

А вот тут Рузский понимал, что — не может так быть! Положение великого князя теперь зашатается тоже.

— Ставка подтвердила, Николай Владимирыч.

— Ну, рассылайте, что ж, — вяло уступил Рузский.

Не надо было за всем этим гоняться, не надо было соучаствовать…

И вот какую телеграмму Данилов тоже принёс на согласовку. Всем командующим армиями, Двинским округом, запасо-ополчениями и начальникам военных сообщений. Что на всех железных дорогах надо установить контрольные пункты и дополнить службой разъездов и облав — чтоб изолировать войска от возможного проникновения агитаторов и не допустить образования в тылу шаек грабителей и бродяг.

— А из Ставки общего приказа нет?

Нет.

Хорош Алексеев! Как же можно так пасть? В угождении новым властям.

Не шевелясь ничем, кроме руки, взявшей бумагу, прочтя раз и два, Рузский, затылком на подушке, задумался. В этом естественном для армии и как будто домашнем приказе расщеплялась, однако, бездна. Сегодня за ужином ему казалось так легко ладить с новыми властями. Но эта телеграмма напоминала, что — нет. Вот

приехала вчера депутация-банда в Полоцк, а прийми она чуть правей и попала бы уже не на Западный фронт, а на Северный. Северный — со столицей рядом, и все пробы будут делаться на нём, и все банды посылаться — раньше всего сюда.

Алексеев не делал этого шага — так приходилось делать Рузскому. Все убеждения и настроения Рузского прилегали к тому, чтобы дружить и ладить с новым правительством, это были всё интеллигентные люди, не тупое недомысленное самодержавие. Но уже видно, что неспособны они будут эти банды останавливать.

А при этих бандах — нет его как Главнокомандующего фронтом, и нет самого фронта, и нет воюющей России. И неизвестно тогда, зачем всё и начинали.

Оставаясь генералом, он не имел выбора.

И с горькой складкой сказал Данилову:

— Добавьте, Юрий Никифорович: что к таковым шайкам главкосев приказал применять самые безпощадные меры.

И, отдав бумагу, продолжал лежать в безсилии.

366

Спали коротко, но мертво, не ощущая толчков вагона: сколько перед тем не выспано в Таврическом. Еле выдрались в явь уже на последних стрелках. И — трудно было подниматься, и — сразу разила память о петербургском хаосе, это после ночной псковской сказки.

Так и не умылись.

Так и с генералом Ивановым по дороге не встретились, да теперь это было не нужно.

Мрачный, с больным, старым видом Гучков, сразу небритый, подумал, решил:

— А пожалуй, Манифест будет у вас безопасней. Я — на виду, я…

Достал из внутреннего кармана бумажник, из него — заветные сложенные листики, передал Шульгину.

Шульгин охотно — в свой бумажник и в такой же свой карман.

Головная боль его не совсем прошла, а притупилась.

Было раннее морозное утро. Восходящим солнцем розовило высокобокую кирпичную церковь у Скотопригонного Двора.

Этих самых Северо-Западных дорог начальника, Валуева, как раз близ Варшавского вокзала три дня назад и расстреляла, растерзала толпа, депутаты знали. Назначенный Бубликовым заместник Валуева сразу вошёл к ним теперь в вагон. Не желал он быть растерзанным, как Валуев, и отказать толпе не мог ни в чём. Но предупредил депутатов, что настроение очень возбуждённое, об их приезде знают, ждут, — и советовал им ни на какие митинги не ходить. А он за них — отказать не смел.

С возвратным тяжёлым «таврическим» чувством депутаты вышли в тамбур, сходили по ступенькам. Они ведь ускользнули тайно от Совета, — и как их теперь встретят? Уже к их вагону стянулась толпа, больше сотни, — солдаты, и молодые офицеры, и публика.

Гучков первый спускался грузно со ступенек, а Шульгин оставался ещё выше него на вагонной площадке. И лица публики увиделись ему угрюмыми — и молниеносно блеснуло в нём: чего ж таить? от кого теперь это секрет? вот сейчас он их обрадует и разрядит.

И, не успев посоветоваться с Гучковым, оставаясь на площадке, со своей полувысоты, взмахнув лёгкой рукой, крикнул своим тонким, не слишком громким голосом:

— Государь — отрёкся! По болезни наследника на престол вступает император Михаил Александрович!

По лицам замелькало — удивление? согласие? Раздалось и «ура», но тихое, жидкое, не единое.

И сразу — усилилась вокруг депутатов суета полносвободной толпы. И кто-то приглашал их, кто требовал и тянул — сразу в несколько мест, и везде их ждут. И даже не успели они с Гучковым сговориться — их разделили.

Но Шульгину понравилось такое возбуждение. Во всяком случае, российская масса не оказывалась равнодушна к политике, как на неё клеветали. Так она — вот так всегда и тянулась? Или раззадорили её в последние дни?

Шульгин бодро шагал за сопровождающими. Простой будничной ясности не было в голове, но была сказочная приподнятость — выше и сильней себя, идущего по платформе, — к речи, к которой никогда не готовился. Свои ноги ощущал как не свои и свой язык как не свой, — лишь несовершенно данные ему, совершенно плывущему в воздухе. И листики императорского отречения в кармане были как особая награда, тайная ото всех.

Суждено ж было именно ему нести на груди эти два невесомых листика, перелистывающих всю русскую историю!

Вид на перроне молодых офицеров с фронтовыми погонами и свежий отрезвляющий воздух вместе открыли Шульгину, вот сейчас, на ходу, ещё один важный довод, почему необходимо было брать отречение: таким образом снимется присяга со слишком верных офицеров и будут спасены их жизни от расправы.

Его провели в билетный зал. Тут буквою «П» в четыре шеренги была построена какая-то пехотная часть — да очевидно, сообразил Шульгин, не для чего иного, как в ожиданьи его и чтобы слушать его.

А четвёртую, свободную, сторону замыкала вокзальная толпа.

Не миновать было держать речь.

Раздались команды, хлопки ладоней по ложам винтовок, стук прикладов о пол — и всё смолкло. Шульгин стоял на свободном пространстве пола — никак не выше их, потерянный среди них.

Увидел эти серые ряды — и его пронизала ответственность и сознание своей неготовности. Если они ждали его здесь 15 минут, то они больше были готовы к этой встрече, чем он всей своей политической жизнью и всеми своими речами. Он так ощутил: всё, что он может сказать им сейчас, — будет мельче этого часа.

Но у него же было само Отречение в кармане! — почему же надо было его таить?

На виду у всех он вынул его — из кармана, из бумажника, развернул — и сразу стал читать, ещё тёплое от ночной подписи, сразу — вслух, ждущему народу.

— В дни великой борьбы с внешним врагом… Господу Богу угодно ниспослать России новое тяжёлое испытание…

Его голос был и всегда слаб, а особенно для зала с несколькими тысячами людей. Но до такой степени молчали они и даже, кажется, не дышали, что слова неповреждённо вытягивались по размерам зала.

— …почли Мы долгом совести облегчить народу Нашему… И признали Мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя Верховную власть…

Второй год, от вступления в Прогрессивный блок и до вчерашних ночных переговоров, — значился и сидел Шульгин как будто в противостоянии царю. Но вот, добыв эти листочки, он как бы слился с царём, он произносил эти слова как собственные свои, весь исходя царскою болью:

— …наследие Наше брату Нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол Государства Российского… Всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга… повиновением Царю в тяжёлую минуту всенародных испытаний…

Шульгин кончил, проглотнул, скорбно поднял глаза от листков — и увидел, что штыки как будто закачались, заклонились, заколыхались. И хорошо ему видимый молодой румяный солдат — плакал.

А там, глубже — и ещё кажется, по звуку.

А других звуков — не было в зале. Никто не крикнул ничего дерзкого или противоречащего.

Ни — одобрительного.

И от этого понимания между царём и народом — Шульгин продрогнул и заговорил легко, от своего внутреннего, только не цельносвязно:

— Вы слышали последние слова императора Николая Второго? Он показал нам, всем русским, как надо уметь забыть себя для России… Сумеем ли мы, разных званий и состояний, офицеры и солдаты, дворяне и крестьяне, богатые и бедные, — всё забыть для того, что у нас есть единое, — наша родина, Россия?.. Неумолимый враг раздавит нас, если мы не будем все заодно. Всем — собраться вокруг нового Царя! Оказать ему повиновение. Он поведёт нас!

И через силу голоса, ещё отрываясь, ещё отталкиваясь от потока своей же речи:

— Государю императору — Михаилу Второму! — провозглашаю — ура!!

И — «ура!» — громкое, горячее, никем не нарушенное — заполнило зал!

И в этот миг Шульгин ощутил, что монархия — спасена, всё было сделано верно! Извлекли одного несчастного монарха — но спасли монархию и Россию!

Без сил, с головой кружащейся, но счастливой, Шульгин шёл, нет, вели его куда-то по коридору, да неужели ещё на следующую речь?

Вели. И какой-то железнодорожный служащий твердил ему, что его требуют к телефону. Из Думы, Милюков.

И повели в комнату, где ожидала снятая трубка. Голос Милюкова был так хрипл и надорван, отличимо по телефону:

— Александр Иваныч?.. Нет? Василий Витальич? Вот что: ни в коем случае нигде не объявляйте, не показывайте Манифеста!

— Как?! А я уже объявил!

— Ко-му?

— Да всем здесь… Какому-то полку… вообще народу! И замечательно приняли. Кричали «ура» императору Михаилу!

— Ай, зря! Ай, зря! Этого ни в коем случае было нельзя! Вы не знаете, обстановка резко повернулась против монархии. Тут, у наших соседей, настроение сильно обострилось… Мы приняли по телеграфу текст, — этот текст совершенно их не удовлетворяет… От нас требуют, необходимо — упоминание Учредительного Собрания. Пожалуйста, не делайте с Манифестом никаких шагов, от этого могут быть большие несчастья…

Шульгин недоумевал: какое это всё имеет значение, если народ принимает на «ура» и со слезами?

— Жаль… Жаль… А принимают замечательно… Тогда я пойду предупрежу Гучкова, он тоже, очевидно, где-то объявляет…

— Идите остановите! А потом сразу приезжайте оба на Миллионную 12, в квартиру князя Путятина.

— Зачем?

— Там будет… продолжение. Мы все едем туда сейчас. Пожалуйста, поспешите.

Шульгин поспешил, но узнал, что Гучков — на митинге рабочих в железнодорожных мастерских и там складывается не так благоприятно.

Тогда он забезпокоился о самом тексте на своей груди, замялся, не знал, как быть.

А уже его звали, тащили ещё к одному телефону. Это звонили — от знаменитого теперь Бубликова, инженер Ломоносов. И как раз в точку: если депутат хочет передать безопасно *акт* — к нему сейчас на вокзале подойдёт инженер Лебедев. (Да сколько же их, Лебедевых?)

Вот так незнакомому — и отдать тайком?.. Великий акт Отречения?..

367

Бубликов спал, и к телефону из Думы подошёл бодрствующий Ломоносов. А звонил сам Родзянко, несмотря на ранний час. Вопрос его был:

— Где Гучков?

Ломоносов такого касательства, кажется, не имел, но действительно знал, звонил ему свой инспектор с Варшавского вокзала:

— Уже полчаса как приехал.

— Так где же?

— А что, его нет? Не могу знать. Сейчас проверю.

— Проверьте, голубчик, мы очень волнуемся. Нам нужен подлинник акта, как бы у них там не отняли, время такое!

После неудавшегося ночью захвата Манифеста Ломоносов стремительно соображал выгоды:

— Понимаю… Хотите — спасём?.. Начинаю операцию. Доложу по исполнении. А как с печатаньем? Мы готовы.

(Не совсем ещё готовы, даже не готовы, но через час служащие соберутся.)

— С печатаньем… ? С печатаньем, — мнётся Родзянко, — задержка.

— Но мы готовы!

— Хорошо, будьте.

— Веду операцию!

Ломоносов становился, кажется, самый военный человек в Петрограде в эти дни. Почему задержка с печатаньем? Какое ещё колебание? Но некогда размышлять, надо захватывать подлинник Манифеста, это — сила!

А у телефонов сидит дежурный — Лебедев, вызванный позавчера давний сослуживец по паровозным опытам. Боевой, наскокистый, таких Ломоносов любил подбирать.

Вот и боевая задача: быстро на Варшавский! Ищите там депутатов, скажите, что от Бубликова, имя уже известное, по поручению Родзянки, и пусть незаметно вам сунут Манифест. Вас никто не знает, вы — унесёте. И — сюда!

Сорвался Лебедев. А Ломоносов — сам дежурный по телефонам. Сна как не было, острый бой! Тигрино расхаживал, быстро соображая. В ночные да рассветные часы только и делается революция! Впрочем, уже светло, девятый час. Дума всё звонит, висит на душе: где Гучков? где акт? Какие они безпомощные, они бы всю революцию прохлопали без Бубликова и Ломоносова! Звонить на Варшавский, звонить на Варшавский. Один, другой, третий телефон — то не откликаются, то позвать не могут. Это говорят из министерства путей сообщения. По поручению комиссара Бубликова — немедленно найдите одного из двух депутатов, они у вас на

вокзале, позовите к телефону. Это — срочно, это — именем революции, исполняйте немедленно!

Исполняют.

Что за дни и часы! — стоит для таких родиться. Бубликова не будя, расхаживая по кабинету, качками ног из пола выбирая, вытягивая новые замыслы. Величайший документ всей русской истории! — схватить! По неснятому телефону названивает Дума? — ах, надоели, операцию — ведём!

— Это кто?.. Депутат Шульгин? Здравия желаю. Говорят от комиссара Бубликова, по поручению Родзянки. У вас там затруднения? Сейчас вас разыщет на вокзале наш инженер, его фамилия Лебедев, абсолютно верный. Вы — *отдайте это* ему, оно при вас? И у вас будут руки свободны… Не за что! Служим свободной России!

И снова расхаживать по комнате, в охотничьем азарте. То гонялись за царским поездом, то за Ивановым, то теперь за отречением, ну деньки!

Десятый час. Пробудился и Бубликов — весь помятый, лохматый, расстроенный. Но — одною искрою от Ломоносова передалась ему задача, — и уже в движении и потирает горящими ладонями:

— А что же Лебедев не звонит? Да не попался ли и он там? А катайте-ка и вы, Юрий Владимирыч, я у телефона — сам.

Что ж, и разумно. Руки — в чью-то путейскую кожаную тужурку, на голову — путейскую фуражку. Вниз по лестнице — и в дежурный автомобиль.

Однако мороз, за уши хватает! А солнце разгорается, погода для гуляний.

Да тут и ехать нечего: чуть по Фонтанке да мимо Измайловских рот. Как раз тут и начали свергать Петра III. Измайловский проспект весь увешан красным. А народу, а народу! и безпорядочных солдат, и гражданских, и все валят по мостовой! Тут пешком бы пройти быстрей.

Ближе к вокзалу — всё гуще. Автомобиль не стреляет, не догадался и положить солдат на крылья, не так легко пропускают. Елеле проманеврировали мостом через Обводный. И — к вокзалу.

И хорошо — увидел Лебедева в толпе. В своей щегольской шубе с поднятым воротником — идёт как важный барин. Не к месту оделся, могут попотрошить.

Крикнул ему, махнул, — Лебедев одной головой показал: дальше.

Задача теперь — ещё раз в этой массе развернуться. Ругается толпа, недовольна. Ломоносов бодро объясняет им путейские надобности.

И — опять через тот же мост (тут и кокнули Валуева).

Да кажется, и Плеве тут шарахнули, хорошенькое местечко.

Подобрал Лебедева. Взлез на сиденье, обтягивая шубьи полы. И — шёпотом:

— Вот. — Листики суя. — А Гучков арестован рабочими!

— Как? За что? — обомлел Ломоносов. Чего-чего, не ожидал!

Качка Революции, они все такие!

Как бы и нас не схватили по пути.

Фонтанка. Министерство. Кабинет Бубликова.

— Выйдите, господа, на минутку. Сосновский, никого не пускать!

Остались вчетвером: Бубликов, ещё один комиссар, Ломоносов и Лебедев.

Положили на стол, склонились, впились.

— Достукался Николашка! — припечатал Бубликов.

Читали жадно, молча.

И Бубликов же первый догадался:

— Какой же лукавый византиец! Почему не по форме, а депеша? При случае — кассационный повод?.. А почему отрекается за наследника? Это по какому закону? Ага: на время безпорядков снять с сынка одиум. А Михаил в морганатическом браке — кто же следующий наследник? Опять Алексей! Здóрово!

368

В огромном депо с остеклённой железно-решётчатой крышей густилась большая чёрная толпа рабочих — но совсем не для работы, как и нигде её не было эти дни, и гораздо многочисленней, чем могло бы их здесь работать. Должен бы быть тут ремонтируемый паровоз — не было и паровоза, вывели. Осталась только высоковзнесенная узкая лестница, с изломом площадки — очевидно, для ремонта паровоза в его верхних частях, — и вот туда-то Гучкову пришлось вскарабкиваться. Лесенка была не со ступеньками, а с железными круглыми прутьями, неудобными для ботинок с галошами, да ещё больной ноге, а под руками — те же прутья, нечис-

тые, мазутно-липкие. И вся просторная дорогая шуба Гучкова так стеснительна в лазании, и два раза попала себе же под ногу, наверно было смешно со стороны. И едва не разбилось пенсне, это была бы совсем катастрофа. Задержался, положил его в карман. А когда поднялся на площадку — снова насадил на переносицу.

Очень тут было нешироко и боязновато свалиться, к счастью пригорожены перильца из железных прутьев. Но ещё неприятней от этой гудящей чёрной толпы внизу. Просто все разговаривали со всеми, но вместе это соединялось и возносилось как угрожающий гул. И эта собранная толпа, этот её неуправляемый гул далеко внизу укрепляли ощущение прорвавшейся революции. Поздно взял отречение, поздно! Не опередил. Та масса, которую всегда боялись разбудить, — вот, была разбужена.

С ним тут, на площадке, уже стояло несколько человек. Он не успел их рассмотреть и понять — кто, он даже лиц их не видел, потому что эти люди подступили вперёд к краю. Видел только плечи в простых пальто или рабочих куртках, два поднятых воротника, два опущенных, затылки в простой стрижке и фуражки, шапки сзади. Гучков, естественно, ожидал, что сейчас к нему повернутся, пригласят говорить, объявят, — но из четырёх никто не обернулся, даже тот, кто руку подал ему на последнем взлазе, — а один стал говорить:

— И кто ж у них в этом новом правительстве, товарищи? Теперь, когда всё яростней бьются волны народного гнева в стены дворцов, — вы думаете, пригласили кого-нибудь из трудового народа?

И Гучков понял, что все они здесь собрались не его слушать, что уже раньше начался их митинг, а только замолкали и смотрели на него, когда он шёл через депо и карабкался.

— …Князь Львов! Небось — по десяти губерниям поместья его раскиданы. Кня-азь! Да другой же Львов, тоже небось кня-азь, как бы тому не браток двоюродный. Да текстильный фабрикант Коновалов! Половина текстильной промышленности у него в кармане, а теперь и всей промышленности будет министр!

Лица не видел Гучков, а выговор был — не истого рабочего, но образованного, который подделывается. Однако внизу гудели возбуждённо, возмущались.

— А министром финансов — господин Терещенко! А кто такой Терещенко, кто знает? А на Украине все его знают, это — сахарозаводчик известнейший, у него сахарных заводов двадцать! да тыся-

чи десятин земли! Да собственных миллионов сколько-то! А теперь и народные деньги ему отданы, две кучи будет перемешивать.

Угрозно гудело народное море снизу. Ах, как неудачно всё началось, перебили — и откуда теперь вести? Это глухое, непробиваемое, последнее! — разве на это возразишь в митинговой речи?

— Ихняя Дума — реакционная! антинародная! буржуазная! Все они в Думе — капиталисты и помещики! И таких же в головку выбрали, на новый народный обман! Вот и *господин Гучков* к нам пришёл!

От этого восклицания, как от прямого удара, даже обвалилось внутри, в живот. Оратор на миг обернулся — мелькнула несомненная агитаторская социал-демократическая физиономия.

— Да он вам объявит сейчас, что он с рабочим классом сотрудничал, что он ваш друг. Он объявит вам сейчас, что Рабочую группу при Военно-промышленном комитете сохранял и вёл. Верно! Соглашателей — это он собрал! Как нас лучше проворачивать на кровавое мясо! Как нас пускать в эту трубу безконечную, из которой возврата нету нашему брату! Дума и хочет вести войну без конца!

А у Гучкова как раз мелькала мысль — как-то начать с Рабочей группы, использовать эту связь, и вот обрубили перед самым лицом. И с этим обрывом, как от внезапного удара в живот, и в полушаге от обрыва, где свалишься — живым не встанешь, Гучков почувствовал, что теряется: вот сейчас ему дадут слово, а он не знает, что говорить. Да, он знал Рабочую группу, в общем вежливую и ручную, но никогда не знал вот этой рабочей массы, только теоретически. Ни одного лица не разглядеть, ни отдельного голоса выделить — масса! И уже бросила ей расчётливая рука на расхват — князья! — помещики! — капиталисты! — миллионщики!.. Как через это перелезать?

Этой ночью в зеленокожий царский салон Гучков уверенно-тяжело вступил представителем народа. И вот в мазутном депо он неловко взобрался наверх — представителем ненавидимых бар. А народ — глубоко внизу.

Он не терялся в Трансваале под снарядами англичан, в Маньчжурии под пулями хунхузов, Гучков добровольно оставался с ранеными в окружении под Лодзью, а здесь вот — испугался! Физически зинула перед грудью его эта пропасть — подкинутого

вверх непонятного барина и разъярённой, понимать не желающей толпы.

И — как обратиться к ним? «Господа»? — это сразу под насмешку, всё потерять с первого слова. «Товарищи»? — подольщаться невозможно.

— И о чём они там сговорились с царём — вот сейчас он нам пусть расскажет!

Как бритвой всё перерезано. О войне, о народном подвиге — перерезано. О псковском совещании — перерезано. А уже — говорить, на него оглянулись, его даже чуть подтягивают или подталкивают к страшному переду — тут и столкнут шутя, — а как же обращаться:

— Сограждане! — тоже плохо, но уже сказал. И самому слышно, что это — дуто, из римской истории, не дошло, а надо дальше. И принудительно дальше, может голос не тот, и не те слова, но что-нибудь же и значит тренировка десятков-десятков произнесенных речей: пробитые дорожки основных мыслей, и каждое слово привычно стягивает к себе десяток верных.

— Лютый враг, наш общий враг, стоит на нашей русской земле и хочет поработить нас всех — и крестьян, и помещиков, и рабочих, и фабрикантов. Да, я работал с вашими лучшими активистами, они помогали нашей обороне — и это во всех странах так. Потому что они — русские люди, и так должно быть. Но война не могла быть выиграна, пока во главе стояло гнилое правительство и пока вокруг царя сновали тёмные люди. И вот мы заставили царя освободить место народному правительству! и он согласился уступить трон! — чтоб уже ничто не мешало нашей русской победе!

Текста — нет, да и не обстановка его читать, но повторяя его главные патриотические аргументы… И тогда, громче самого себя:

— Этой ночью во Пскове император Николай Второй отрёкся от российского престола! И передал его своему брату, ныне императору Михаилу Второму!

— Второго на шею? — закричал кто-то резко. — До-лой!

Ещё в несколько голосов, но очень настойчивых, все из одного места:

— До-лой!

— Не хотим!

— Никто вам не поручал!

— Помещики!

И прежний оратор, рядом, надрываясь:

— Сговорились за нашей спиной! Князья!

И несколькими этими криками вдруг продёрнуло чёрную поверхность толпы, и она загудела враждебно, как нахмурилась к буре.

И понял Гучков, что всё проиграно, ничего не вернуть, не удержать. Замолчал.

Такого поражения он не испытывал за всю свою ораторскую жизнь.

— А задержать его самого, голубчика!

— А пощупать!

И социал-демократ уже брал его за плечи, арестовывая.

А ещё проще было его отсюда столкнуть.

Но с другого места, не оттуда, где эти кричали группой, раздался сочный, сильный отпускающий голос:

— Поволь ему, поволь! Он к нам гостем пришёл, что ж мы — не́люди?

И опять по толпе прошла волна, но уже облегчённого, дружелюбного говора.

369″

(газетное)

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. Состав…

Национальное правительство наконец создано героическими усилиями всего народа! Радостная весть как умиротворяющий благовест, как «Ныне отпущаеши»… Окончена безумная скачка министерских смен…

ОБНОВЛЕНИЕ РОССИИ…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНОВНИКОВ В ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ.

Государственный банк и все частные банки будут открыты сегодня для производства всех операций в течение двух часов.

ЗАЯВЛЕНИЕ КЕРЕНСКОГО И ЧХЕИДЗЕ. Министр юстиции Керенский и председатель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Чхеидзе

уполномочили нас сообщить, что всякого рода приказы, в которых солдаты призываются не повиноваться офицерам и не исполнять распоряжений нового Временного правительства, являются злостной провокацией.

РАЗГРОМ МОСКОВСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
РАЗГРОМ СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ…

ПРИКАЗ ПО ГОР. ПЕТРОГРАДУ № 3

Все томившиеся в тюрьмах за свои политические убеждения узники — освобождены. К сожалению, вместе с ними получили свободу и уголовные преступники. Эти убийцы, воры и грабители, переодевшись в форму нижних чинов, нагло врываются в частные квартиры, грабят, насилуют, наводят ужас. Приказываю всех таких лиц немедленно задерживать и поступать с ними круто, вплоть до расстрела…

М. Караулов

Приветствие социалистов-революционеров А. Ф. Керенскому.

…в вашем лице, Александр Фёдорович… стойкого неустанного борца за народовластие, вождя революционного народа…

ГЕНЕРАЛ БРУСИЛОВ ПРИЗНАЛ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

Ликвидирована квартира Союза русского народа в Лиховом переулке в Москве. Конфискованы знамёна, прокламации, значки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. Неоднократные попытки старого правительства получить хлеб не имели успеха вследствие недоверия населения к старой власти… Теперь население пойдёт навстречу новой власти… Немедленно приступить к реквизиции хлеба у собственников… Продовольственная Комиссия, обращаясь к чести и достоинству каждого гражданина, просит ограничить себя в потреблении продуктов…

… Седой старик взял «Революционный бюллетень», перекрестился и сказал: «В икону положу».

По слухам, по дороге в Петропавловскую крепость скончался бывший председатель совета министров **Штюрмер**.

ПО КОМИССАРИАТУ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ. Комиссар Государственной Думы Бубликов дал телеграфные указания по линиям… Благодаря этим указаниям удаление членов жандармской полиции не создаст никаких затруднений… Комиссар Бубликов получил со всех концов депеши, приветствующие… Всеобщая готовность удвоить усилия по ремонту подвижного состава.

НЕЛЕПЫЕ СЛУХИ. Последние дни циркулируют неизвестно кем пущенные слухи явно провокационного характера о крупных неудачах,

постигших нашу армию на риго-двинском фронте. Все эти слухи лишены всякого основания.

ВОЗЗВАНИЕ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ …Граждане, доверьтесь этой власти все до единого, дайте новому правительству совершить великое дело освобождения России… Да воспрянет… да укрепится… да возгорится… Заря свободы загорелась… Проявить величайшее самообладание… Пусть каждый несёт жертву… Пусть каждый земледелец везёт хлеб… Пусть торговец откроет свои амбары… Пусть рабочий класс с удвоенной энергией… Пусть в общем порыве забудутся старые обиды!..

ГОЛОС ЧИНОВНИКОВ ВЕДОМСТВ. В настоящие исторические дни мы, служащие министерства… проникнутые глубоким сознанием важности… радостно приветствуем и выражаем… во имя свободного развития Отечества…

…Заключённым в Государственной Думе полицейским офицерам разрешили получить из дому постельные принадлежности. Они открыто заявили, что такого внимательного отношения к себе не ожидали.

Служащие и прислуга **Зимнего дворца** командировали депутацию к министру юстиции Керенскому… выразить чувство солидарности с освобождённым народом…

Москва. Арестованы все жандармские чины всех московских железных дорог. На Александровской ж-д конторщик арестовал всех лиц, заведующих службой движения.

На Хитровом рынке. …Узнав, где водка, хитровцы связали переодетых полицейских, привели их в Думу и заявили: «Вот наш дар новому правительству. Даже мы, хитровцы, понимаем высокоторжественный момент великой революции. Может быть, если б это случилось 20 лет назад, среди избранников народа были бы и мы». Хитрованцев приглашали зайти в Думу, но они отказались: «Пойдём охранять наши углы, как бы без нас не сбили слабых на алкоголь».

Убит тверской губернатор Бюнтинг, оказавший сопротивление революционному движению… Был ярый реакционер.

АРЕСТ РЕННЕНКАМПФА, усмирителя революционного движения 1905 года…

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ… в довольно большом количестве… От общественных организаций, земств… от гарнизона Царицына… от духовенства… от завода взрывчатых веществ… от совета присяжных поверенных…

АРЕСТ гр. КОКОВЦОВА. Сегодня утром бывший председатель совета министров граф Коковцов появился в одном из петроградских бан-

ков и предъявил чек на довольно крупную сумму денег… Задержанный протестовал против ареста, указывая, что ему выдан свободный пропуск по городу и квартира его освобождена от обысков. Несмотря на протесты, граф Коковцов под конвоем был доставлен в здание городской думы. Комиссар не счёл возможным выпустить графа и обратился за указаниями в Государственную Думу.

Действия англичан в Месопотамии…

СВИДЕТЕЛЬСТВО. Среди населения Петрограда циркулирует слух, будто со Спасо-Преображенского собора были сняты пулемёты… Благодаря этому собор неоднократно подвергался обстрелу. По долгу священства свидетельствую, что никаких пулемётов на соборе никогда не было, это подтверждают и неоднократные обыски студентами и солдатами. Граждане, слухи могут повести вас по ложному для отечества пути. Духовенство далеко от мысли идти вразрез нынешнему народному движению. Да здравствует обновлённая Россия и да расточатся все внутренние и внешние враги её.

Протоиерей Адриановский

370

Кутепов не достал спального места и сидел в купе.

А соседи, переполненные петроградскими событиями, везли их с собою в Москву, — и по этому переполнению и по тесноте в вагоне не спя, весь вечер и всю ночь оживлённо разговаривали. И публика сидела из класса состоятельного, но, заметил Кутепов, никто не проявил сочувствия к положению Государя, опасались только, чтобы революция не перешла в разбойничество. Государь уже для всех казался обречённым, а обсуждали преимущество перед ним великого князя Михаила Александровича, и какой будет счастливый выход, если трон перейдёт к нему: разрушительная революция сразу будет и остановлена. А один господин оказался сторонник республики — и возник долгий спор о преимуществах республики и монархии. А старая дама в трауре возражала: ведь при республике евреи могут стать чиновниками или офицерами? этого представить себе нельзя. А другая ахала, что тогда не будет Пажеского корпуса, и значит, сын её, паж, не закончит? Как же быть пажам?

Кутепову были тошны все они и все их разговоры, и он притворился сидя спящим.

А заснуть не мог всю ночь.

Он убедился, что ничего не мог сделать в Петрограде, — и только скорей хотелось ему перенестись к себе в полк.

Поезда тянулись, стояли, шли с большим опозданием.

Только на рассвете пришли в Тверь.

Кутепов вышел на пустую платформу и прогуливался, скрипя снежком.

Вдруг к нему быстро пошли двое.

Оба были — солдаты, а в руках у них — обнажённые револьверы.

Они всё поспешней подходили, и ближе один крикнул:

— Руки вверх!

Никак нельзя было этого ожидать, он прогуливался в мирно-дрёмном состоянии. Но залегала в нём фронтовая закалённость нервов, всегда готовая к падению снаряда, взрыву, физическая невозможность испугаться никакой неожиданности. Он только выпрямился. Рук, конечно, не поднял. И, как понимал событие, ответил спокойно и чуть с насмешкой:

— В чём дело? Вы, может, думаете, у меня есть оружие? Да уже столько было обысков, уже ни у одного офицера не осталось.

(Его собственный револьвер, к счастью, был не на поясе, а лежал в саквояже, просто не успел достать и надеть.)

Но солдат сказал:

— Здесь в поезде говорят, что вы расстреливали народ в Петрограде.

Револьверы быди нацелены, увернуться — некуда. Но — «говорят», значит, не сами они с Литейного, а кто-то другой узнал.

Неторопливым спокойным баском ответил Кутепов:

— Не всякому слуху верь.

Тут резко ударили в станционный звонок — Кутепову по́мнилось, что не было второго, а ударили сразу три! — капризы революции.

И паровоз загудел в ответ.

Если б они на Литейном сами его видели, то достаточно было полсекунды — тут же его прорешетить.

Но они заколебались, а их вагон далеко, выяснять некогда — и кинулись опрометью, опустив револьверы.

Уже передался по составу удар — и трогались.

Но вагон Кутепова оказался рядом, и тамбур пустой, даже без кондуктора.

Кутепов быстро вскочил, поспешно прошёл по коридору. Чего у него быть не могло — это сколько-нибудь разложенных вещей: фронтовая собранность, всё на себе, а саквояж застёгнут.

Переполашивая соседей, он схватил его и выскочил.

Уже гонко пошёл поезд — но ещё вполне успел соскочить на ходу, и даже ещё на перрон.

И даже не поскользнулся.

Поезд ушёл.

И на этом перроне, который едва не стал концом его жизни, — нет, конец ещё не виделся, не знался, никому не дано его провидеть! — Кутепов ещё погулял для успокоения (сейчас оказалось, что он вовсе не был спокоен), пошёл к начальнику станции, отметил на билете остановку.

Пошёл в ресторан, неторопливо позавтракал. (А в голове — прокручивается Литейный проспект, и всё петроградское.)

Пошёл в кассу, узнал, что ожидается скорый Петроград — Воронеж.

И компостировал билет на него.

А из Воронежа можно будет пересесть на Киев, и на фронт.

И — ещё посмотрим!

И — ещё гулял по тому же перрону.

ДОКУМЕНТЫ — 13

ОБРАЩЕНИЕ К СОЛДАТАМ
выборного командира Преображенского запасного батальона
3 марта 1917

Вчера на общем собрании выборных солдаты постановили избрать: командиром батальона — подпоручика Заринга, батальонным адъютантом — поручика Макшеева...

Поименованные офицеры уверены, что им солдатами будет оказано полное доверие, а сами обещают с ними работать дружно и заодно.

.....

Предлагаю батальонному комитету обсудить, согласны ли призвать следующих офицеров:

— капитана Скрипицына
— подпоруч. Рауш фон Траубенберга
— прапорщика Гольтгоера

.....

Предлагаю распустить по своим квартирам без привлечения к работе в батальоне:

— подпоручика Нелидова
— подпоручика Розена
— подпоручика Ильяшевича...

.....

Предлагаю арестовать впредь до выяснения:

— полковника кн. Аргутинского-Долгорукова
— капитана Приклонского

.....

Командир Преображенского батальона
подпоручик *Заринг*

371

На киевский перрон Воротынцев выходил, уже зная, что поезд его на Винницу будет лишь после обеда. Но — скорей узнать новости! спросить свежие газеты, ещё раньше чем билет отмечать.

И мимо рослых железнодорожных жандармов (в Москве они уже исчезли, но и по пути были на местах, и тут) поспешил к газетному киоску. Свежих газет была кипа, расхватывали их жадно, — из разговоров понял, что до сегодняшней ночи Киев не знал ничего достоверного, все телеграммы о событиях задерживались. Но вчера вечером представители киевской печати были приглашены к командующему Военным округом, и тот объявил, что генерал Брусилов разрешил публиковать все телеграммы о перевороте. И теперь, состязаясь заголовками и шрифтами, газеты публиковали десятки, грозди новостей, петроградских и московских.

И прямо на ходу, как никогда не делал, как презирал, Воротынцев разворачивал одну и другую, и читал у окошка кассового, и дочитывал на случайном диване.

Кронштадт перешёл на сторону революции… Временное правительство… Половина имён — неизвестные, но вот Гучков, и Шингарёв. Это неплохо. Но где же Государь? В каком соотношении он с этим самовозникшим правительством?.. Союзные державы признали Временное правительство… Оч-чень поспешили… Но где же Государь? А, вот: царский поезд прибыл во Псков…

И всё. Никаких пояснений больше.

Но это — уже ничего. Верховный Главнокомандующий — в штабе Северного фронта, значит — при войсках.

Но слишком странная была неясность между ним и самовольным правительством. Надо же или разгонять, или признавать? А если правительство с ним уже не считается — то что Государь?

И — киевское. Так выходило, что сегодня и наступил первый день киевской разрешённой революции, Воротынцев как вёз революцию за собой. Исполнительный комитет общественных организаций, и во главе его — доктор, теперь пироги пойдут печь сапожники, может — и армиями будут командовать? И услужливый Брусилов, — знающие армейцы звали его *Главколисом*, — уже успел прислать этому доктору телеграмму, уверял, что *вся Действующая армия признала новое правительство!?* Что за идиотство, откуда он может это знать, что Армия — признала? *Когда* она могла признать, если здесь и телеграмм ни о чём ещё не было?..

А что — Румынский фронт, а Сахаров? Ни слова нигде. Как и о других генералах. Козырял один Брусилов.

И что же будет теперь с фронтом? Куда это всё качнётся?

Головоломно непонятно.

А вот, в согласии с военными властями, в Киеве уже были упразднены с сегодняшнего утра губернское Жандармское управление и Охранное, дела и архивы их переданы, конечно, совету присяжных поверенных, а офицерам гарнизона… разрешено создавать городскую милицию и войти в Исполнительный комитет.

С газетами на коленях Воротынцев сидел обезкураженный.

Ясно одно: скорей к себе в Девятую! Сейчас, когда так зашаталось, если кто и будет действовать разумно, правильно — то генерал Лечицкий.

Лечицкий из самых победных генералов русской армии, единственный, кто умел побеждать и в Японскую, умел наступать и в жуткое лето Пятнадцатого: за время отхода, частыми контратаками, взял больше пленных и трофеев, чем потерял из строя, а в конце отступления единственная его армия только и осталась на неприятельской земле. И в наступление Шестнадцатого наша Девятая взяла больше территории и пленных, чем какая из четырёх наступавших. Только Лечицкий никогда не делал себе рекламы, как Брусилов, и о нём не кричали газеты. А теперь загноили в Румынии.

Самый вдумчивый и самостоятельный генерал. Если кто сейчас разберётся и решится — то он.

Быть с ним рядом!

372

Ну и окунулся Саша в революцию! Дома не бывал, дня от ночи не знал, спал в комиссариате, и то всё время будили, ни одного дела не делал подряд, а всё отзывали, отвлекали, отсылали на другое, не умывался, ел когда попало, — только по молодости и энтузиазму можно вынести всё это с удовольствием.

То была ревность: какие-то другие два прапорщика, Пертик и Волошко, действовали на Петербургской стороне со своими отрядами, но независимо от комиссариата, — и даже друг от друга независимо, хотя оба были от одной и той же Военной комиссии и с удостоверениями от неё: водворять порядок по своему усмотрению. Да как же можно на одной Петербургской стороне трём силам — и каждой по своему усмотрению?! Саша ходил разыскивал этих прапорщиков, и ругался с ними, — они выставляли свои полномочия, были непреклонны, а потом чуть не в один час куда-то исчезли — оба, и с отрядами.

Но уменьшилась охрана — со всех сторон стали просить охраны. Своего отряда Саше уже никогда не хватало, и он стал примыкать к ним новоявленных милиционеров с белыми повязками — студентов, привычная своя весёлая публика, и странно было, что Саша вознёсся теперь над ними как некий высокий начальник.

Но и правда: он чувствовал, что у него и осанка появилась, и голос, и взгляд военные, всё за эти дни революции только, — охотно его слушались те же и студенты, и рабочие.

Затем же надо было патрулировать, а в подозрительных домах и квартирах производить обыски. Но быстро выяснилось, что с ними на Петербургской стороне опять соревнуются какие-то другие патрули, сплошь из солдат, и то и дело прибегали жители в комиссариат жаловаться, что их ограбили. Простяцкий Пешехонов был уверен, что это грабители переоделись в солдатскую форму, но столько солдатской формы нигде не валяется, и Саша, ближе с делом соприкасаясь, уверился, что это — настоящие солдаты, так и приходят гурьбами из казарм, грабят и уходят. Охоту за ними пришлось производить и по ночам, а чтобы выдержать вооружённый отпор — пришлось ездить и на броневике, кто-то пригнал им и броневичок, точно такой, с каким Саша ездил брать Мариинский дворец. По донесениям жителей нащупали, в какую квартиру одна

шайка сносила добычу, — нагрянули ночью туда, захватили двух дневальных, с десяток винтовок, револьверов, больше шестидесяти кошельков и бумажников, все уже от денег очищенные, и много часов — ручных, карманных, будильников, бронзовых статуэток, отрезов материи, серебряных ложек.

За этими, в общем плосковатыми, занятиями Саша пропустил интереснейшее дело, тоже проходившее через их комиссариат, но кому-то другому доставшееся: сбор сохранившихся документов разгромленной и полусожжённой Охранки! Вот это было — масштабное революционное дело, как и взятие Мариинского, — а Сашу оно миновало, очень досадно!

Саше доставалось менять караулы у комиссариата и следить, чтобы туда не лезли без пропуска, — высоко революционное занятие! Но и тут: когда пришла толпа вламываться и требовать оружия — Саша оказался в отлучке, на ловле этих шаек.

А тут — по всему Петрограду разнёсся слух, что ночами стал носиться по городу какой-то *чёрный автомобиль,* не даёт себя остановить и бешено стреляет во все стороны, наводя ужас. И Саша загорелся — остановить этот чёрный автомобиль! — если он по всему городу гоняет, то не может он Каменноостровского проспекта миновать, попадётся!

И на своём пятерном перекрестке устроили сложную засаду — и всю ночь дежурили и останавливали все до одной машины, но Чёрного Автомобиля не было.

Вдруг в одном задержанном автомобиле рядом с шофёром в луче фонарика оказался Мотька Рысс, в беличьей шапке и клетчатом красном толстом кашне, обёрнутом тщательно.

— Куда это ты, в два часа ночи?

— Задание, — значительно-загадочно сказал Матвей.

Пропуск-то у них был, от Совета, но он не говорил о цели рейса. Потянуло завистью, что вот в каких-то таинственных делах участвует Матвей — а Саша топчется в дурацком патруле.

— Ну, встретились, давай хоть пять минут поговорим, — пригласил он Матвея в комиссариат.

Свернули автомобиль, вошли.

Они ещё мало и знали друг друга, познакомились только этой зимой, и был между ними тон — не уступить первенства. Матвей очень поважнел, нисколько удивления не высказал командному положению Саши, да он и всегда был занят больше собой (от чего

Саше обидновато было за Веронику). Крупные влажные губы его пожимались теперь даже с надменностью. О цели поездки не признался, а спросил:

— Листовку читал?

— Какую?

— Против офицерья. Моя.

— Так это — твоя?

И вспыхнул спор. Может быть, ещё неделю назад Саша прочёл бы эту листовку со злорадством, — чесать их, золотопогонников! Но за эти несколько дней…

— Да как же ты это понимаешь — революция разве может вести бои без офицерства? Не доверять даже тем, кто перешёл? — так это и мне не доверять? — повысил на него голос Саша.

А тот — остался невозмутим, надулся.

Так и не открыл куда, зачем — уехал. Очень хвалил своих межрайонщиков, говорил, что только они да большевики — деловые.

А Саша остался как заножённый, и останавливал ночные автомобили уже не так пристально, всё доспаривал с Матвеем. Эта встреча дояснила ему, что невозможно так дальше мотаться по всякой чуши. Он должен прорваться к чему-то крупному. Здесь — он терял время.

И тут у него соединилось то, что обрывками плавало. Эти дни он так мотался, почти безсонно, что и единственных двух газет не прочитывал. Но всё же во вчерашней газете не пропустил обращение их же, матвеева, Психоневрологического института, трёх социалистических фракций — российской, польской и еврейской: что *революция не доведена до конца*! Замечательно сказано! — это представилось Саше многозначительно, грозно! Не доведена до конца! — о, сколько ещё в ней случится, и ещё многие другие лица появятся, а эти, нынешние, — закатятся. Эти студенты правильно соображали! — ещё всё впереди, ещё и мы скажем своё молодое побеждающее слово!

А другое было обращение в «Известиях» — к *офицерам-социалистам,* — прийти на помощь рабочему классу в организации и военном обучении его сил. Днём Саше так спать хотелось — он это вялым взглядом прочёл, а сейчас, после стычки с Матвеем, вдруг ему и прояснилось: *офицер-социалист!* — да ведь это он и есть! И их совсем не много таких, может десяток во всём Петро-

граде. И — что-то именно по этой линии надо! Именно, листовке Рысса наперекор, — честным революционным офицерам устраивать военную организацию масс, вот сашин путь!

Чёрного Автомобиля так и не было, сняли засаду, пошли спать.

373

* * *

В Ревеле с утра был объявлен манифест об отречении Николая II, но безпорядки ничуть не прекращались. Толпа собралась у городской тюрьмы и требовала выпуска узников, будто бы замурованных в каземате (легенда ходила годы). Впустили делегацию, та ничего не нашла. Всё равно стали громить.

Комендант ревельской крепости вице-адмирал Герасимов, старый портартурец, ездил по городу от митинга к митингу, заверял, что Балтийский флот идёт вместе с народным правительством. Увещал очень мягко и близ тюрьмы. Ему ответили камнем в голову. Увезли замертво.

* * *

В Кронштадте в Морскую следственную тюрьму ещё приходили новые банды матросов, искать среди арестованных каких-то офицеров на расстрел. И другие матросы приходили — искать своих для освобождения.

* * *

В Петрограде с утра — слух, что царь отрёкся от престола, — хотя в газетах нет.

На улицах всё ещё нет трамваев, барских экипажей, барских автомобилей (реквизированы, ездят с военными). Редки извозчики. Толпа на Невском утеряла элегантный петербургский вид. Множество гуляющих праздных солдат. По манере революционных дней — люди валят не только по тротуарам, но и по мостовым, когда не надо потесниться для манифестации.

Манифестации, из кого собралось, идут без ясной цели и маршрута, просто радуются. Несут красные флаги и плакаты как хоругви, то с рисунками страшной чёрной гидры контрреволюции.

С тротуаров смотрят на них, вплотную друг к другу, — дамы в меховых воротниках и бабы в вязаных платках, котелки и простые ушанки. На лицах — радость, любопытство, недоумение.

Офицеров на улицах — больше, чем накануне. Без шашек.

На перекрёстках, где раньше были постовые городовые, теперь студенты-милиционеры с белыми повязками на рукавах пальто. Иногда проверяют пропуска автомобилей. Если те не останавливаются — им вслед стреляют в воздух.

Грузовиков с вооружёнными солдатами уже меньше гораздо.

Дорогие магазины многие закрыты. Но цветами и кондитерским торгуют.

* * *

Какие-то студенты обходили мелочные лавки и объявляли владельцам, что по распоряжению Исполнительного Комитета они должны продавать яйца не дороже 40 копеек десяток, масло — 80 копеек фунт. Боясь новых порядков и властей, торговцы подчинялись. Но потом узнали, что Исполнительный Комитет Совета не давал такого распоряжения, — и вернулись к прежней цене. Тогда возмутилась публика — и было близко к погрому лавок.

В хвостах: «Слобода-слобода, а нам всё равно топтаться».

* * *

Красной материи уже стало не хватать. Дворники, чтоб сделать обязательный теперь красный флаг, отрывали от старого русского флага голубые и белые полосы.

На шее памятника Александру III — огромный завязанный красный галстук.

Курсистка подарила во дворе свою красную блузку — её тут же всю разодрали на эмблемы свободы.

* * *

С кофейной Филиппова на Невском стали снимать императорские гербы. А с балкона соседнего дома — иллюминацион-

ные императорские вензеля с электрическими лампочками. Ударяли ломами по скрепам — и огромный вензель оборвался с перил — и всею тяжестью, с дробящимися лампочками, упал на тротуар.

Публика разбежалась — и снова стянулась любоваться.

* * *

На больших углах — толпишки, по 20, 50, 100 человек, а кто-нибудь на бочке, на тумбе, на плотном сугробе — и митинг. Ораторы — то студент, то штатский в потёртом пальто, то солдат с расстёгнутой шинелью, а под ней — замызганная гимнастёрка.

И уж конечно на площадях — на углу Садовой и Невского, у Казанского собора, на Сенатской, под самыми копытами Петрова коня.

— Ура, товарищи! Нет возврата проклятому самодержавию!

А вот вылез, доказывает, что теперь должны царствовать Алексей и Михаил. В ответ ему интеллигентные голоса:

— Да как вы можете?!.. Какие Романовы?? …Должна быть республика! Вы провокатор!

А на другом углу грозит оратор:

— Товарищи! Вы только что успели завоевать великую свободу, а у вас уже хотят её отнять под тем соусом, что надо охранять свободу!

Кричат из толпы:

— Врё-ошь! Никто не отымет! Пусть попробует!

* * *

Артист Александринского театра на таком уличном митинге взялся объяснять, что такое ответственное министерство. Закричали на него:

— Провокатор! Арестовать! В Таврический дворец!

* * *

Тёмно-красный особняк Фредерикса, два дня назад подожжённый гневной толпой, удручает мёртвым видом. Огонь выел всю внутренность дома, в чёрных глазницах груды мусора, обгорелые колонны. Сталактитами сосульки от замёрзших пожарных струй.

Во дворе в мусоре копаются женщины, выискивают. В подвале сидит на корточках парень в смушковой шапке и отвинчивает кран от медного кипятильного куба.

С улицы глазеют на обгорелый дом. Стоит в котиковой облезлой шапочке: «Сколько добра здесь погибло, Боже. Зачем же жечь?» — «А ты кто? Не переодетый фараон?» Окружили: «Обыскать его! Штыком его!» Тот затрясся, вынимает паспорт. «Врёшь! Шпион! Сколько получил?» Отпустили. Отошёл неуверенными шагами, но на свою беду побежал. И толпа, и случайные солдаты, заряжая на ходу винтовки, с гиком и свистом кинулись за ним. Настигли его на узком горбатом мостике над каналом, припёрли к решётке: «Барона возжалел? Бей буржуя! В воду его!»

* * *

Слухи по городу: убиты и Вильгельм, и кронпринц, а германская армия уже складывает оружие. Говорят: сегодня в Кронштадте новые волнения. Говорят: на Васильевском острове убили двух полковников.

* * *

Где-то в полицейском участке, в подвале, нашли конфискованную *литературу*. Схватили, повезли сдать в Государственную Думу, но там сказали: некуда брать. Тогда отвезли в гимназию Гуревича на Бассейной, где много собирается разных собраний. Там и раздавали.

* * *

Какой-то старый генерал маленького роста пристаёт на улицах к проходящим солдатам и убеждает их, что отдание чести необходимо, ибо оно есть символ единения всей военной семьи. А неотдание чести разрушает армию.

Солдаты ухмыляются, не спорят: всё-таки генерал, хоть и чудаковатый.

Военный шофёр развязно объясняет генералу:

— Честь отдаётся погону, а погон установил царь. Нет царя — не надо ни погона, ни чести.

Генерал:

— А деньги с портретом царя признаёшь?

— Так то деньги.

* * *

Мать Леночки Таубе пошла в Государственную Думу узнать: третий день не может дозвониться в Кронштадт, а оттуда пришла телеграмма, что муж её арестован, — за что? А может — убит?..

Но к кому ни обращалась — все торопились, говорили, что не их обязанность, не знают, из Кронштадта не поступало списка убитых и арестованных офицеров.

* * *

Пришла в Таврический колонна гимназистов приветствовать Временное правительство. Их впустили в Екатерининский зал. Тут солдаты несли на руках распаренного Чхеидзе, а он вытирал пот платком. С высоты солдатских рук упрекнул гимназистов, что они приветствуют Временное правительство, а не Совет рабочих депутатов, который следит за правительством, чтоб оно не присвоило себе слишком много власти. Гимназисты поаплодировали ему.

Тем временем в зале продолжался митинг. На лестницу поднялся кавказец и, потрясая в руке кинжалом, обещал выгнать немцев из России. Ему аплодировали бурно.

374

Так ещё и вчера целый день было невозможно вырваться в Гатчину, и с квартиры княгини Путятиной никуда не уйти.

А к вечеру вчера пришла записка от Родзянки. Не порадовал, ещё обременил: не миновать Михаилу быть регентом! А самого Родзянку могут в любой момент повесить.

И замолчал, больше ни звука, ни строчки.

Бедный толстяк!.. Ну и положеньице в городе…

Но надеялся Михаил, что всё обойдётся, все угрозы преувеличены. Такое было свойство его характера: не слишком долго мучиться, быстро успокаиваться. Обсудил положение с секретарём Джонсоном — и заснул.

А в шестом часу утра в их коридоре зазвонил телефон. Княгиня Путятина пришла звать секретаря, тот разбудил Михаила Александровича: звонил настойчиво депутат Керенский — говорят, великая сила теперь, и вот члены династии должны были подходить к телефону.

В трубке раздался крикливый, возбуждённый голос. Он спрашивал: знает ли великий князь, что произошло вчера во Пскове? Нет, ничего не знаю, а что произошло? (С вечера Михаил знал, что Государь во Пскове. Что-то с ним?)

Ничего Керенский не объяснил, но спрашивал разрешения приехать сюда на квартиру нескольким членам Временного правительства и нескольким членам Временного комитета Думы.

Михаил спросил у княгини. Разрешил, хорошо.

И, только положив трубку, понял, что Керенский не назвал ясно часа. Да очевидно, вскоре, раз с такою срочностью звонил ещё в темноте. Время неприлично раннее, но и события слишком необыкновенны.

Уже — спать не ляжешь. Стали ещё потемну переходить к дневному времени, переодеваться, кофе пить.

Однако и в 7 часов их не было.

Приготовили гостиную. Михаил надел мундир с генерал-лейтенантскими погонами, вензелями императора и аксельбантами генерал-адъютанта. И сел посреди большого дивана, готовый к приёму.

Однако они не ехали.

Что же могло там случиться, во Пскове? Становилось грозно похоже, что трон передаётся Алексею, как и пророчил Бьюкенен. И дядя Павел.

Но какая такая крайность могла заставить Ники?..

А Михаилу будут навязывать регентство. Ах, лишат всякой человеческой жизни! Регент? Всё пропало…

И по-прежнему не было телефона с Гатчиной — как несчастливо они с Наташей разъединились, именно в эти дни! Она всегда в курсе, что там печатается, пишется, произносится… Михаил мог только по догадке достроить её отношение к регентству, зная, что она всегда была очень за Думу. Поэтому, если Дума будет просить его принять, — очевидно, надо принять?

Но и в 8 часов никого не было. И не звонил, не объяснял никто. Приходилось ждать.

9 часов — и всё никого. Стало спать хотеться, ведь не доспал.

Выпили ещё раз кофе.

От долгого ожидания как-то уже и ослабла важность события — соглашаться, не соглашаться. Надоело ждать.

Ходил по большому ковру гостиной, расставив себе проход меж кресел. Изнывал.

Играла же судьба! То он был, волею своего родного брата, исключён со службы, лишён звания полковника, установлена над ним имущественная опека. То — командовал бригадой, дивизией, наконец инспектор всей кавалерии. А вот — ему предлагали и всю Россию? Он не привык к такому простору, он привык жить потесней.

Вот уж чего не было — никакой радости.

Да ещё ж начнётся вражда и зависть великих князей.

Лишь перед десятью часами начались входные звонки. Михаил был так прост, что хотел и встречать по одному и начинать разговаривать, но княгиня настояла, чтоб он ушёл к себе в комнату, лишь потом вышел бы к собравшимся. (Простор для всего был, квартира Путятиных имела комнат до десяти, не считая людского крыла поперёк во двор.)

По приглашению Джонсона Михаил, одёрнув мундир, вышел к гостям, стесняясь, что таких видных людей заставил ждать себя как владетельную особу.

С тем большей предупредительностью он затем обходил пришедших и пожимал руки. Часть фамилий он слышал в первый раз, а в лицо просто не знал никого, кроме Родзянки. Очень милый представился князь Львов. А Милюков — с широкой крепкой шеей, и как-то особенно пожал руку Михаилу, задержал, твёрдо глядя через очки. А Керенский оказался похож на вёрткого пересидевшего юношу. И есаул, рубака-казак, неизвестно как среди думцев.

Великий князь пригласил всех садиться. Для него было поставлено вольтеровское кресло как бы в середине полуокружности, а в два крыла, на диванах и в креслах, вся мебель тут была французская, расселись приехавшие. Рядом с великим князем сел Родзянко, в такое же могучее кресло; и глава нового правительства князь Львов.

Через кружевные гардины на трёх высоких окнах радостно, по-весеннему лилось солнце.

Тут Родзянко и объявил великому князю, что дело зашло гораздо глубже, чем ждали: не регентом он назначен, но ему передаётся престол как императору!

Михаил чуть не подскочил в кресле. Что это? Не только Ники отрёкся?! — но и… ? И он же отлично знает, до чего Михаил отвращён от государственных дел!

А Родзянко предлагал — обсудить, что делать.

Михаил опешил. К такой новости — ему и приготовиться не дали. И тут сразу, на виду у всех, обсуждать? Все эти достойные, образованные, известные люди пришли к нему — обсуждать? А он — даже ещё и подумать не смел о размерах своего нового положения.

Он смущённо просил их объяснить, что́ же? Высказать.

Первый по важности, по видности, по громкости и стал говорить Родзянко. Михаил слушал его с почтением и с доверием.

Родзянко начал с того, что решение будет зависеть от великого князя, он может дать совершенно свободный ответ, давления на него не будет, — но ответ надо дать теперь же.

Председатель Думы говорил хоть и хрипловато, но от того не со сниженным значением. Он — не мнение своё высказывал, но указывал то одно несомненное, как надо быть. Он объяснял, что самая передача престола в руки великого князя незакономерна: по закону царствующий император может отказаться лишь за себя, но не в чью-либо пользу, а передача может происходить только по престолонаследию, то есть в данном случае лишь Алексею. В акте отречения и не сказано, что сын отказывается от престола. Таким образом, вся передача трона Михаилу Александровичу — мнимая и только может вызвать жестокие юридические споры.

Так и великий князь так понимал. Зачем же брат издумал такое? с чего это он?

А эта сомнительность дала бы юридическую опору тем лицам, которые бы захотели свалить и всю монархию в России. И при такой шаткой основе и при возрастающем революционном настроении масс и их руководителей, в такое смутное, тревожное время принимать трон было бы со стороны великого князя безумием.

Да, и Михаил так думал.

Он процарствовал бы всего лишь, может быть, несколько часов, объяснял Родзянко, — и в столице началось бы огромное кровопролитие, а затем разразилась бы гражданская война. А верных войск в распоряжении великого князя нет, и сам он будет убит, и все сторонники его. А уехать из Петрограда невозможно, не выпустят ни одного автомобиля, ни одного поезда.

Впрочем, Родзянко ж его и зазвал в Петроград, из Гатчины бы свободно можно было уехать.

Да кто посмеет и какое право имеет возбудить гражданскую войну, когда идёт война с лютым внешним врагом? Напротив, в этот ужасный момент все мы должны стремиться не к возбуждению страстей, а к умиротворению их. Привести в успокоение взволнованное море народной жизни.

Родзянко говорил авторитетно, долго, перелагая то же новыми словами и возвращаясь, но даже если б и меньше гораздо — Михаил был убеждён уже с первых слов и не ставил Родзянке в упрёк, что тот повернулся со вчерашнего дня, что сам же он ещё вчера уговаривал Михаила брать на себя всю ответственность, а сейчас — наоборот, не брать. Не надо брать трона — и слава Богу! Ещё не успев освоиться с этой страшной мыслью, Михаил с тем большей радостью узнавал, что она — придумана и ложна. Да о чём говорить! Да разве выдержит голова всю эту государственную перепутаницу! Прочь, прочь, не надо! — в строй!

Возникло движение. Принесли из передней, какой-то человек откуда-то привёз, — рукописную копию государева Манифеста, заверенную комиссаром путей сообщения. Дали великому князю посмотреть самому. Совсем чей-то чужой почерк, но разборчивый, а слова — Николая, и мерещится: зачем же он писал чужим почерком.

Михаил стал читать. Уже известно о чём, — а всё ново. Не мог вникнуть внимательно, но что задело и поразило:

«Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, передаём наследие брату Нашему…»

Что-то обидное здесь было. О сыне — подумал, а брата — не спросил. Сына берёг как зеницу ока — брата не пожалел, навязал престол. И —

«…заповедуем брату Нашему править делами государственными в полном единении с представителями народа…»

Хорошо заповедывать. А отчего же сам не делал так?

Михаил не обиделся, но — обидно как-то.

А между тем стал говорить князь Львов, по другую сторону от кресла Михаила. У Родзянки был голос хриплый, повреждённый, а у князя совсем нетронутый, светленький, промытый. И сам — такой благообразный, такой округлённо причёсанный и подстриженный, так благонамеренно смотрел и выражался, — чудесный, спокойный человек, не захотелось бы обидеть его возражением, несогласием. Но и очень трудно было в его округлённых фразах понять: а какого же мнения сам князь? Принимать трон или не принимать?

Его речь убаюкивала, и внимание вязло.

Михаил заметил, что некоторые депутаты, подавшись в мягком, едва не задрёмывали, боролись. А подёргливый Керенский быстро голову вертел на каждое чьё слово. Да ещё один фатоватый молодой человек, фамилию Михаил не запомнил, всё вздрагивал при каждом открытии двери, при каждом шуме в передней, и на стуле сидел неглубоко.

Всё ж, сколько можно было уловить из гладкой речи Львова — он был того же мнения, что и Родзянко.

После Львова переглянулись: да может и говорить уже больше не надо? что они так долго убеждали?

Нет, теперь хотел говорить Милюков. Он властно заявил это с дивана, кашлянул для закрепления. Ему не возразили, и Михаил тем более.

Лицо у Милюкова было хмурое, а стало и напряжённое до морщин. Он ещё поднатужился весь, поднадулся, похож на рассерженного старого седого учителя, а голос такой сиплый, будто бы искричался в десяти непокорных классах. И стал говорить с первых же слов сердито и требовательно:

— Ваше Императорское Высочество! Не может быть даже речи, чтобы вы не приняли трона! Об этом нельзя даже и мыслить! Ваша ответственность перед вашим рождением, перед трёхсотлетней династией, перед Россией!.. Государь Николай Второй отрёкся за себя и за сына, но если отречётесь и вы — это будет отречение за всю династию. Однако Россия не может существовать без монархии. Монарх — это центр её! это — ось её! Это — единственный авторитет, который знают все. Единственное понятие о власти. И основа для присяги. Сохранить монархию — это единственная возможность сохранить в стране порядок. Без опоры на этот символ Временное правительство просто не доживёт до Учредительного Собрания.

Михаил слушал с удивлением. Это имя — Милюков — он знал, это был главный критик трона. И теперь — говорил такое? Так за этим было что-то! Да и какое серьёзное он говорил: Россия — не может существовать без монархии! И — правда, конечно не может. Это Михаил понимал.

Но если Ники уже всё равно отрёкся — так кому же принимать? А если и Михаил отречётся — так кто же тогда?

А Милюков добавлял:

— Не тогда начнётся гражданская война, если вы примете трон, но начнётся, если *не* примете! — и это будет убийственно при внешней войне. Начнётся полный хаос и кровавое месиво…

А вы — де́ржите в руках простое спасение России: примите трон! Только так утвердится и наша новая власть. Мы все должны прикрепиться к традиции, к постоянству, к монархии, которую только одну знает и признаёт народ!

Э т о — Михаил понимал! Он хотел только, чтоб это всё — без него укрепилось. Он — от брата не ожидал. А если уж никакого выхода нет — так как же не выручить? Если обстановка, оказывается, такая грозная и безвыходная, так что ж — надо выручить? Это уже как бы — военный долг?

Между тем к собравшимся восьми вошли ещё двое новых: известный Гучков и с ним какой-то легковатый ферт с острыми усиками.

Они не представились и ни с кем не здоровались, лишь поклонились великому князю, но, кажется, всем здесь были известны. Под тяжелозвучное выступление Милюкова они безмолвно заняли стулья в замыкание окружности, прямо против великого князя. А Милюков с их приходом ни на минуту и не умолк:

— Ваше Императорское Высочество! Если вы сейчас не примете трона — в России возникнет новое Смутное время, и, быть может, ещё более разорительное и долгое. Вот *того* кровопролития надо бояться — больше, чем, может быть, временного и малого сейчас. Михаил Владимирович правильно здесь обрисовал столичную картину, да мы её видим все, но я решительно не согласен с его выводом. Да, сейчас здесь в столице затруднительно найти верную часть для опоры. Но они есть, я думаю, в Москве. Они есть повсюду в стране. Вся Действующая армия — верная сила! Вам надо немедленно ехать туда — и вы будете непобедимы.

Убеждённый напор старого опытного политика сильно подействовал на Михаила. В самом деле: вся Армия — в распоряжении императора, только надо к ней прийти.

Ах, зачем отречение брата застало Михаила не на фронте? Оставайся бы он в своей Туземной дивизии — да сразу бы он мог повести войска.

Но и сейчас ускользнуть из Петрограда, наверно, не так тяжело: не стоит же сплошной кордон вокруг города. Можно дождаться этой ночи, на худой конец — переодеться, ночью — на двух автомобилях? или даже пешком? Само ускользание как задача кавалерийская было Михаилу понятно и не казалось трудным.

Впрочем, брат был при всех войсках, при всей власти — и отрёкся.

А ведь было ему когда-то предсказание, он не верил, даже не задумывался серьёзно: что он будет — Михаилом II и последним русским императором.

— Ваше Императорское Высочество! — хрипло, густо вговаривал Милюков, не останавливался, всё по-новому выворачивая то же. — Мы первые не проживём без вас бурного времени. Мы — п р о с и м вас, как о помощи…

Солнце так сильно засвечивало комнату — даже жмурились, на кого попадало.

375

Так хотелось генералу Алексееву окончательного и последнего порядка! Так хотелось, чтобы сегодняшний день не было уже никакой трёпки! Да ведь уже и становилось, кажется, на места: Верховный Главнокомандующий был назначен, и вполне законно, волей Государя императора, ещё не отрекшегося тогда. И так же законно был назначен министр-председатель. А он выбрал себе нужный состав министров, который и оглашён был сегодня и в Петрограде, и в московских газетах. И естественно было теперь генералу Алексееву составить циркулярную телеграмму-приказ с оповещением всех войск о происшедших назначениях.

Так же и против шаек он теперь имел свободу распоряжаться: раз это вовсе не депутации Государственной Думы, теперь мог он послать Западному фронту категорический военный приказ открыть энергичные действия против той шайки в Полоцке, или где она, и против других таких чисто революционных, разнузданных шаек, какие будут стараться захватывать власть на железных дорогах или проникать в саму армию. При появлении таких шаек желательно их не рассеивать, а стараться захватывать и по возможности тут же назначать полевой суд, а приговор его приводить в исполнение немедленно.

И в самом же Петрограде, оказывается, ничего страшного не происходило. Разговаривали утром с Главным морским штабом, и оттуда дежурный капитан успокоил, что в столице всё налаживается, никакой резни офицеров и нет, и не было, всё вздор, все офицеры живы и здоровы. И Временное правительство — сильно, и авторитет его не поколеблен.

Вот и суди. Вот и верь Родзянке.

А увидеть самим, что делается в Петрограде, у Ставки не было глаз. Петроградская обстановка была загадочна, как на луне.

Да вон из Одессы слал командующий округом телеграмму: в видах успокоения умов выпустить всех политических? И будто в Херсон уже пришло такое распоряжение министра юстиции. Может быть. Но почему же всё это успокоение и упорядочение не оглавлено торжественным объявлением о новом Государе Михаиле II? Почему должно скрываться от народа его имя и не призываться к присяге армия?

Это было для Алексеева совершенно непонятно, а с каждым часом и тревожнее.

Об этой тревоге, вот, энергично телеграфировал и Эверт. Когда можно рассчитывать получить указания? Не надо ли объявить войскам, что Манифест есть, но задерживается? И — какие же причины задержки??

И Брусилов тоже просил: ориентировать.

И — что же на всё это мог ответить Алексеев? Он сам всё более недоумевал. И даже начинал подозревать какую-то интригу. Как в чужом непродорном лесу пробирался, царапался он, неумелый, в этих политических сплетениях, где непригодны ни топографическая карта, ни компас, ни военная команда. Оплетала политика ползучими плетями руки-ноги.

А если в Петрограде спокойно — так чего Родзянко так боится? Что вынуждает его к переговорам с левыми, и почему он намерен идти им на уступки? Ведь которую ночь он повторял, что новая власть всеми признана, утверждена и единственна, потому и диктовал так властно на фронт. А то — какие-то солдатские бунты что ни ночь?

И вдруг — резкое, неприятное подозрение проняло Алексеева: да не выдумывал ли Самовар это всё для каких-то своих политических целей? Почему он сам себе противоречит столько раз и противоречат ему другие?

И почему ж Алексеев так ему доверился? Просто: никто другой из Петрограда эти дни не был слышен. А Родзянко — так уверенно всё заявлял.

Тут прислали от Рузского (почему не раньше?) копию такого же его разговора с Родзянкой: оказывается, о задержке Манифеста Родзянко ещё на час раньше телеграфировал Рузскому. (Повадился. Что за манера появилась — миновать Ставку и обращаться к

Главнокомандующим?) И с Рузским разговаривал куда откровеннее: что воцарение Михаила как императора *абсолютно неприемлемо*! Что переговоры с рабочими депутатами велись — и привели к Учредительному Собранию, которое — так можно было понять — и *определит форму правления России*?

У-у-у-ух! — как штык вкололи между рёбрами. Вот оно где! вот оно в чём! А Алексеев-то, простак, и не понял, к чему это Родзянко упоминал Учредительное Собрание. Во-он заче-ем!

Так для этого Родзянко и задержал Манифест? Он — копал под императора Михаила? И даже, кажется, подо всю династию?..

Оттого-то и мешал им новый Государь: они хотели продлить неопределённое состояние? — а за это время прикончить династию? Ах мерзавцы! С левыми-то они сговаривались — о чём? династию свергнуть? Там фраза была — «не исключено возвращение династии». Как будто её уже убрали.

Так Родзянко — может и есть главный республиканец? Вождь революции??.. Или, во всяком случае, — игрушка в руках левых?

А Алексеев его слушался — и собирал от Главнокомандующих отречение???..

Вот попал так попал генерал Алексеев!.. Ну, попа-ал! Родзянко его обманул да использовал?!

Да как же можно было предполагать в нём такое коварство?

Так и придавило Алексеева в его жёстком кресле. Такого дурака, такого дурака — не помнил он, чтоб из него когда в жизни строили…

Позо-ор! Позо-ор!

Но — переживаниям никогда он не давал собой овладевать. Он всегда и считал и высказывал, что пробный камень для полководца — сохранять ясность ума и спокойствие духа при неудачах. Надо действовать. Если бы Верховный уже был бы сейчас в Ставке — Алексеев пошёл бы и честно признался ему во всём позоре.

А сейчас, пока он в Тифлисе? Сейчас Алексеев сам должен был решать меру против Петрограда.

Но — весь его военный опыт, все его стратегические знания не подсказывали: что же можно предпринять против этой болтливой компании? Войска — уже посылали и уже отозвали. В телеграфных переговорах его обманывали. Необычайная обстановка — и ничего не придумаешь. Только — докладывать в Тифлис, Верховному.

Но и он ничего не будет решать, пока не приедет сюда. А на это уйдёт, может, больше недели.

А рядом только — Лукомский, Клембовский, всё не то.

И вдруг так подумал Алексеев: когда вчера была нужда склонить Государя к отречению — ведь обратился же он к своим всем Главнокомандующим. И эту мысль он перенял у того же Родзянки, как тот закидывал Главнокомандующих телеграммами. И сейчас все Главнокомандующие, кроме Рузского, сидели во тьме, и запрашивали, и ждали: почему задержан Манифест? Им — всё равно что-то объяснять. Так составить честное изложение происшедшего, всё, как оно теперь понимается, ну конечно в сдержанных словах, не давая воли чувству. Составить и разослать. Это же будет — и доклад Верховному.

Не знал Алексеев такой боевой ситуации, которой нельзя было бы резюмировать, а затем и разрешить одним сжатым деловым документом. И само составление документа помогало привести мысли в ясность и успокоить собственный дух, само дисциплинировало.

И он тут же засел писать циркулярную телеграмму всем Главнокомандующим. Что это — в пояснение к их запросам о задержке Манифеста. Как сегодня утром с этой просьбой обратился в Ставку председатель Государственной Думы, но причина его настояния более ясно изложена в разговоре с главкосевом. Родзянко мечтает и старается убедить, что можно отложить воцарение императора и дождаться Учредительного Собрания с Временным Думским Комитетом и ответственным министерством. Но Манифест уже получил местами известность, и немыслимо удержать в секрете высокой важности акт. Очевидно нет единодушия в Государственной Думе и её Временном Комитете, на них оказывают мощное давление левые партии. А в сообщениях Родзянки нет откровенности и искренности. Его основные мотивы могут оказаться неверными и направлены к тому, чтобы побудить военачальников присоединиться к решению крайних элементов как неизбежному факту. Войска петроградского гарнизона окончательно распропагандированы, и вредны, и опасны для всех. Создаётся грозная опасность для всей Действующей Армии.

Всё так. Изложено было не длинно, толково — и уже с некоторыми акцентами о Родзянке. Однако: для чего это всё он писал? И — что он предполагал предпринять против опасности?

Очевидно (дождавшись указаний Верховного): потребовать от председателя Думы выполнения Манифеста!

А если не выполнит? И скорей всего не выполнит…

Бродила, пробивалась мысль: так повторить родзянковский же манёвр — собрать мнения Главнокомандующих. Вчера они оказались сильнее самого Государя.

Только Ставка может сделать это и внушительней: собрать самих Главнокомандующих! Совещание.

Да! Это теперь стало ясно Алексееву. И тогда они всё решат.

Но — без Николая Николаевича он не смел их собрать приказом и не мог приказно назначить дату. За пределами его прав.

Всё, что мог он: это — *предложить* Главнокомандующим такое совещание. И если великого князя в Могилёве всё не будет — то и собраться, не позже 8-9 марта.

Этим и закончил:

«Коллективный голос высших чинов армии и их условия должны стать известны всем и оказать влияние на ход событий. Прошу высказать ваше мнение, признаёте ли соответственным такой съезд в Могилёве».

Вот так соберёмся и противопоставимся шаткому непоследовательному правительству.

И что ж? Главнокомандующих тоже кучка, советоваться так советоваться, мысль Эверта ожила в нём:

«Быть может, вы сочтёте нужным запросить и командующих армиями».

Кончил — и сам своими ногами отнёс телеграмму в аппаратную.

Пока писал её — был в действии. Но когда расстался с ней, то действие прекратилось.

И он обречён был — казниться.

Что же это такое наделалось?..

376

Задержать Манифест по Западному фронту — задержали, хотя где-то мог проникнуть и в войска, а это что же?

Задержали — но это не выход, так не может продолжаться.

Задержали — но больше так не попадаться. Не дёргаться больше, а вести себя с достоинством.

И — какая же причина? Что там неведомое меняется наверху?

А Ставка как задержала, так и замолкла. И велел Эверт послать им телеграмму: когда же можно объявить, задержка Манифеста крайне нежелательна! А иначе тогда: объявить войскам телеграмму наштаверха о задержке? И — какие же причины, сообщите!

Ставка в ответ: потерпите! Наштаверх составляет новую телеграмму.

Но — не слали.

А тем временем, в себе всё более удостаиваясь, заявил теперь Эверт Ставке новым тоном: что тот Манифест или какой иной, но должен быть объявлен войскам с полной торжественностью и совершением богослужения о здравии нововосшедшего монарха. И ждёт главкозап, что будут преподаны военному духовенству соответствующие указания.

Великий акт восшествия нового российского монарха нельзя сводить к трескучке юзов.

А между тем, хотя императора скрывали, — гражданские телеграфы в необычном порядке уже принесли состав нового правительства. Что ж это, правительство могло существовать без монарха? Да значит могло, раз передавали. А раз уже вчера дали прорваться петроградским новостям — то теперь оставалось и эти уже не задерживать. Примириться, пусть текут.

Да впрочем, почему боевой генерал должен так много заботиться, какое там правительство в Петрограде? Они и раньше менялись. Его дело — подчиняться Ставке. И соблюдать достоинство Главнокомандующего.

Однако поди соблюди! Кто б указал: где граница этого достоинства? По гражданским же телеграфам достигло эвертовского штаба распоряжение нового министра юстиции Керенского: о выпуске на свободу всех политических заключённых Минской губернии! И о том, что в Калугу (полоса Западного фронта) едет из Петрограда новый военный комендант с *особыми* полномочиями!

Вот так та́к! И что теперь делать? — сопротивляться? подчиняться? Ничего не остаётся.

Новая власть сразу трясла и брала за горло.

Смутно и гадко чувствовал себя Эверт. Он как будто утерял из рук всю мощь своего Западного фронта. Будто и стоял фронт весь на месте — и будто не стало его.

Вдруг! — радостное известие. Телеграфировал сам Алексеев: что депутации — самозваны, что это просто революционные раз-

нузданные шайки, — и принять самые энергичные меры! — и захватывать их и судить полевым судом!

Вот это так! Вот это — по-нашему! Такой язык не вызывал сомнений! И давно бы так!

Вторые сутки из жара в лёд перепластывали Эверта — но *этот* возврат был радостен, силы возвращались! Бодрый Эверт приказал немедленно назначать на главные узловые станции, оставшиеся теперь без жандармов, — команды под началом твёрдых офицеров. Надо было спешить, навёрстывать двое утерянных суток.

Да всё ещё можно было наверстать! — и снова те полки обратить на Петроград, и вдвое, и втрое! — если бы повелел Его Величество Государь Михаил II!

Но почему-то он таился и разрешал таить о своём воцарении.

А тем временем лысый невозмутимый Квецинский с лохматыми бровями принёс новую длиннющую телеграмму Алексеева.

Алексеев объяснял Главнокомандующим, что петроградские деятели и Родзянко — обманывали их всех! Не объяснял и тут, зачем же до сих пор держать Манифест, — но какой-то был тут петроградский заговор. Однако Алексеев будет настаивать.

Ну, наконец-то! Не твёрдый тон, но хоть твёрдые нотки. Почему ж не вчера донеслась от Алексеева такая трезвая речь? Не было бы этого всего генеральского обморока и запамятованья — тогда, может, и отречения бы не было?!

Предлагал теперь Алексеев: для установления единства созвать в Могилёве совещание Главнокомандующих. И так показать влияние на ход событий.

Да чёрт раздери и двадцать раз по матушке — ну конечно же так! Ответ Эверта был — да! да! — естественный ответ генерала Действующей армии, если его командование не расслабло.

Но разрешали ему, как он и просил, посоветоваться с Командующими армиями. Уж теперь два-три часа не были потерей, надо и посоветоваться.

377

Во всю обратную дорогу изо Пскова как-то и в голову не пришло Гучкову самое простое: а вдруг Михаил откажется? Такого он почему-то не воображал. Только когда в депо закричали и хотели

его то ли стащить, то ли арестовать, то ли хуже, — пошатнулось в представлении: да уцелеть ли Михаилу царём?

Депо сотрясло Гучкова. Знал он холодную ненависть дуэлянтов против себя, — но массовая толпяная ярость оказалась — куда! И — как ей сопротивиться? Безсилен. Оглушило. Как вышел из смерти.

А вступив в придавленный воздух совещания на Миллионной, Гучков и стал понимать: вот откажется сейчас Михаил — и что делать?

И только тут его прокололо, что это — он виноват: легкомысленно принял отречение у царя. Почему-то не ожидал этого шага Николая (а для Николая так естественно — сохранить для себя сына, да ничего другого и быть не могло). И Гучков растерялся, и по-русски потянуло на щедрый жест — подарил ему сына.

А теперь — закачался весь трон.

И с тем большим сочувствием слушал Гучков сейчас неиссякаемую речь Милюкова. Знал он за ним исключительную способность упираться в занятой позиции, варьировать аргументы, а стоять всё там же, — но сегодня и он был удивлён неистощимостью милюковской аргументации в речи, казалось, безконечной, во всяком случае часовой. Неистощимость была в том, что, исчерпав доводы, как подвигнуть к решимости Михаила, он разворачивал новую сеть доводов, как убедить своих неубедимых коллег, что другого выхода нет для них самих. А затем покрывал ещё новой крышей, что другого выхода нет и для всех, и для России самой.

Понятно, что с такой убедительностью он спорил не только для сохранения вообще монархии, но и, в общих интересах, за сохранение слабого, невластолюбивого монарха, с которым легко будет править. А если они, остальные, этого не понимали, то он брал их на измор.

Сам Гучков, ещё под осязанием своего провала в депо, испытавши вживе народное море, сейчас открывал ещё отчётливей, как все их до сих пор Думы, речи, комитеты, группы — ничто: не останься в России твёрдой надо всеми власти — и сметёт, и смоет их в минуту.

И даже такое обещание он прозревал в уговорах Милюкова (только вслух не сказать): если собрана будет сила, достаточная для защиты Михаила, — так ведь и Учредительное Собрание тогда не понадобится? и вчерашнего унизительного соглашения с Советом можно не выполнять?

Да по Гучкову больше того: переарестовать этих всех прощелыг, Исполнительный этот Комитет?

Высокий худощавый Михаил, очень моложавый, да на десять лет и моложе отрекшегося царя, и не обременённый государевыми заботами, но, несмотря на свою военную гибкую фигуру, как будто, однако, некрепкий, старался слушать, потом видимо рассеивался. Он чрезвычайно просто держался, легко менял свободные положения в кресле, иногда обходил, обходил глазами всех присутствующих — не самую выразительную физиономику, — ища сочувствия и решения. И удивление не покидало верхней части его лица. И даже женственное было в его повадках. Ах, куда ему!

Седой Милюков всё повторял, что монарх — это единственный объединяющий центр России, признанный во всю глубину народа, — и принимаемое теперь решение должно быть таким, чтобы не оставить Россию без монарха. Нельзя представить себе масштабов сотрясения народной психики, если русскому крестьянству вдруг остаться без царя. Временное правительство — утлая ладья, потонет в океане народных волнений. Окраины — начнут отпадать, Россия — развалится. Никто из присутствующих не может быть уверен, что уцелеет в том великом распаде.

Больше всего и поражался Гучков именно смыслу речи Милюкова. Уже скоро пятнадцать лет они противоборствовали на общественной арене — и никогда не встречал он в своём противнике такого внезапного проницания, никогда не слышал от него такой блистательной речи, не испытывал такого потяга присоединиться к нему. Удивительно, как мог вдруг Милюков так подняться над своими постоянными политическими симпатиями — и незаграждённо увидеть Россию всю целиком как она есть.

Но просматривал Гучков круг сидящих — чёрно-вылупленного Львова-другого, глуповатого денди Терещенко, мнимо-загадочного Некрасова — своих недавних сподвижников, не говоря о невыносимом извивчивом Керенском, и видел, что они настроены были непробиваемо-радостно и ничего такого не боялись, чем пугал Милюков.

Лицо Милюкова сильно покраснело, и усы топорщились. Настаивал он уже не столько для Михаила, как убеждал коллег: что должны быть соблюдены основы государственного устройства России. Что непременно должна быть сохранена преемственность аппарата власти. Что если старый аппарат вмиг перестанет суще-

ствовать, то не утвердится и новый. Что прыжок от самодержавия сразу к республике — слишком велик, такие опыты в истории хорошо не кончались. Он убеждал, что в их руках сейчас — счастливый случай обезпечить конституционный характер монархии. Тем самым и их правительство станет не временным, а конституционным. И отпадёт опасная поспешность собирать Учредительное Собрание во время войны.

Но — кому он это всё предлагал, перед кем выкладывал историософические концепции, кто их тут мог понять и оценить? Гучков осматривал лица и проникался безнадёжностью. Самоупоённый тучный, обрюзгший Родзянко — октябрист, сомкнувшийся с левым Керенским, тоже самоупоённым, но поджигателем и с театральным вывертом. Благостный князь Львов. И опять же этот неуравновешенный идиот Владимир Львов, и ещё один глупец — казачина Караулов. И ещё один неуравновешенный, романтик Шульгин, этот хоть мысли понимает.

Позиция Родзянки — против принятия трона, к отречению — особенно удивляла. Он действовал сейчас и против своих убеждений — ведь заядлый монархист, и даже против личных интересов, ибо был бы близок к Михаилу.

Тут некому было не только высказываться веско, но — слушать и понимать толково. А Терещенко был явно и напуган, опасливо крутил головой. И неужели этого человека и двусмысленного Некрасова Гучков пестовал к себе в заговор на переворот? Да куда ж они годились?

Как ни удивительно, но Милюков всё-таки кончил.

Выдвигались теперь на протесты, на дебаты, но решили сделать перерыв. Великий князь вышел, а все хотели слышать от приехавших об отречении Николая. А Милюков подошёл в упор и жёстко упрекал (и звучало горькое торжество над соперником): как же можно было так легкомысленно взять отречение на Михаила? И все со всех сторон упрекали, что такого не было в полномочиях, как же Гучков мог согласиться?

Но не мог он вслух признать, что грубо ошибся (тем досадней, что сам уже понял), а защититься не находился, сам не понимал, как это протекло между пальцами, и не признаешься, что пожалел отцовские чувства царя. В пылу это не замечается: брал в руки вырванный акт как победу целой жизни, — а вот промахнулся.

Потому и с Милюковым, несмотря на сочувствие к его позиции, было разговаривать невыносимо.

Зато заливался в рассказе охотливый живописать Шульгин. И, как будто события улицы и Таврического дворца оставляли для того место, — всем было любопытно: как именно? в каком помещении? как держал себя Николай? что возражал? с каким видом подписывал?

Но не меньшее действо происходило и сейчас, и нельзя было затягивать. Уже кулуарно задирали Милюкова, все против него, — а теперь заседать. Позвали великого князя, все уселись по-прежнему.

Лицо великого князя было чистое, беззаботное, едва ли не детское, если б не белокурые усы. И глаза невинно-голубые. Не вообразить, что он там сейчас, в другой комнате, обуревался государственным выбором.

Теперь выбился выступать Керенский, все дни в первый ряд. Его дергливая самоуверенная манера ещё усилилась резко. Он держался с тем апломбом, что только он единственный представляет тут революционные массы и только он точно знает народные желания. Пришёл его момент, и в страстности его речи звучала победа.

— Ваше Высочество! Господа! Явившись сюда, на это собрание, я поступился партийными принципами! Мои партийные товарищи могли бы меня *растерзать,* если бы узнали. Но поскольку, — всем огнём голоса, — я всегда неуклонно претворял волю *моей партии,* — то мне доверяют. Ещё вчера, ещё вчера! — восклицал, упиваясь и произносимым смыслом и произносящим голосом, — можно было согласиться на конституционную монархию. Но, — и голос его грознел, и глаза грознели, — после того как *пулемёты с церквей*! расстреливали народ! — негодование слишком сильно!! — Он и сам изнемогал от этого негодования, но признавал его справедливость. — Ваше Высочество! Принимая корону, вы станете под удар народного негодования и, — вытягивал узкую голову, снижал тон, — можете погибнуть сами! — И ещё ниже: — А с вами погибнем и мы все…

Ёжились. Керенский убедил их больше, чем Милюков своей теоретической схемой.

А Михаил выглядел спокойно, как бы даже полуотсутствующим слушателем. У него было открытое лицо, чистосердечное выражение.

А Керенский заботился, конечно, и о себе: если монархия — как он отчитается перед Советом рабочих депутатов? И — ему ухо-

дить из правительства. Ловкий оратор только это и пропускал: что он-то первый, с Советом депутатов, и не допустит Михаила уехать к войскам. Он ловко перескочил с одной чувствительной струны на другую, дрожащую. И играл, как на думской трибуне, с задыхом и с перебором голоса:

— Ваше Высочество! Вы знаете, все знают, это не секрет, я осмеливался говорить об этом всегда: мои убеждения — республиканские. Я — против монархии… — И паузу после этих, ещё недавно страшных слов. — Но я сейчас не хочу касаться своих убеждений, я даже пренебрегаю ими… Я явился сюда — для блага отечества! …И поэтому разрешите сказать вам иначе. Сказать — как русский русскому… Павел Николаевич Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасёте Россию. Как раз наоборот! — вы её погубите! Успокоить Россию уже нельзя. Уж я-то знаю настроение масс, рабочих и солдат! Рабочие Петрограда не допустят вашего воцарения. Сейчас всюду резкое недовольство — именно против монархии, монархии вообще, монархии как таковой! Именно попытка сохранить монархию и стала бы поводом кровавой драмы! А России, перед лицом внешнего врага, вы сами знаете, — необходимо полное единство. Начнётся кровавая гражданская война? Какой ужас! Неужели Ваше Высочество захочет такою ценою занять трон?.. Я уверен, что нет! И поэтому я обращаюсь к Вашему Высочеству… как русский к русскому… — Он задыхался и был на рубеже слёз. — И умоляю вас, умоляю! Принесите для России эту жертву! Ради России, ради её покоя и целости — откажитесь от трона!

У него больше не было душевных сил говорить. Да он — и всё сказал, выложился весь.

Ах, негодяй! — не избежать было теперь говорить Гучкову. (Как всё сменилось: глава оппозиции и главный заговорщик, Милюков и Гучков, стали главными столпами трона, кто поверил бы недавно?) Депутаты без него сговаривались, что выступит один за, один против, и всё? Нет уж!

Гучков был не того вкуса, что Керенский, и не того возраста. Неприлично выламываться в роли, когда актёры за сценой остаются уже одни. Он говорил безо всяких украшений, как можно короче и ясней, и голосом действительно утомлённым и сорванным — ото всех речей, ото всех поездок, от смерти Вяземского, от сегодняшнего депо.

Зато с полной убеждённостью он говорил, с той уверенностью, которую даёт утомлённый взгляд пожилого человека: как всё пло-

хо и как единственно может быть всё спасено. Конечно, только принятием короны. Именно из любви к России, именно как русский, великий князь должен принять её. Он должен взвалить на себя тяжёлую роль национального вождя в уже начавшееся Смутное время. Тут говорили, что это рискованно даже для собственной жизни, но этот аргумент, конечно, ничего не значит для такого отважного человека, как великий князь. Наконец, есть (Гучков за этот час здесь придумал) и такой выход: если великий князь не решается стать императором — пусть примет регентство при вакантном троне, «регент Империи на время». Пусть он выступит «покровителем нации». Он может даже ещё ограничить себя: пообещать торжественно, что по окончании войны передаст всю власть Учредительному Собранию. Но только бы — принять эту власть сейчас, но только бы создать мгновенную и устойчивую преемственность Верховной власти в государстве. Как можно не видеть, кто может не согласиться, что именно *без этого* погибла Россия?!

Гучков говорил — с надеждой непременно убедить. Рассеять, пересилить это петроградское опьянение, которому поддаются только в этом городе. Он говорил, всё время смотря на сорокалетнего великого князя, безусловно хорошего, чистого, скромного, деликатного человека, увы, со слабой волей, но с военной же храбростью, уж такое сочетание, — и надеялся, что он примет доводы и примет тон, и надеялся, что это будет хорошо. Ощущал Гучков только такой недостаток в своём выступлении: нужно было предложить какое-то решительное практическое действие на ближайшие часы, а он не мог придумать. Он понимал, что действие лежит где-то на поверхности, перебирал, искал — а не мог придумать.

Подразумевал он, конечно, тайный побег великого князя из Петрограда — в Москву или на фронт, — но неуместно было высказать вслух.

Да ещё проверить, так ли уж сплошь в руках Совета петроградский гарнизон? Может быть, можно опереться и в Петрограде?

Сперва не предполагалось больших дебатов. Но после двух таких решительных выступлений «за» усилился гулок «против». И не выступая связно, а так, отдельные фразы выбрасывали один, другой, и не общероссийские принципиальные соображения, а по сути всё тот же страх, запугивали сами себя и великого князя: что принимать трон опасно, губительно. И во главе всех праздновал

труса — Родзянко. (Так напуганный солдатами?) И даже изнеможённый Шульгин внезапно, из какого-то увлечения, присоединился к этому хору, — далеко ж он отшагал от монархизма! А кто-то даже высказал, что если великий князь примет трон — то он тут же и обагрит его династической кровью, ибо в Петрограде тотчас вырежут всех членов династии, кто тут есть.

Никто пространно не выступил, а стало ясно, что все тут — против принятия трона, кроме Гучкова и Милюкова.

Никто пространно не выступил, но выявился слитный фронт, — и Милюков возмутился и потребовал себе слова вторично, и добивался его со своей копытной настойчивостью.

Поднялся шум возражений: второй раз нельзя! Звонко и с большой свободой возражал Керенский. Но перед большинством думцев так высился годами авторитет Милюкова, — они не смели запретить ему говорить.

И уж конечно поддержал Гучков, надо было вытягивать трон вопреки всей безнадёжности, по Чёртову мостику над бездной. Да для них обоих и двоилось теперь: или остаться в монархическом правительстве, или уйти из республиканского. Кто потерпит сейчас поражение — должен уйти из правительства, не мешать.

Милюков говорил теперь ещё более строгий, даже зловещий. Усы его были ещё с прочернью, а приглаженная голова вся седа, все черты урезчились от своеволия молодёжи, не понимающей собственного добра. Все видят, что творится в Петрограде. Ничего нельзя сделать, не укрепив порядка, для этого нужна сильная власть. А сильная власть может опереться только на символ, привычный для масс. И если претендовать входить в правительство, то надо же иметь понятие о российском государстве и его традициях. Без них, без монарха Временное правительство не просуществует даже и до созыва Учредительного Собрания: раньше того разразится полная анархия и потеря всякого сознания государственности.

Никто не посмел прервать Милюкова, только сидевший с обалделым видом Родзянко, — но Милюков отсек его, как будто сам — Председатель. И — всё говорил. Говорил так долго, будто боялся кончить: пока ещё говорит — ещё существует монархия в России, кончит говорить — и она окончится.

Да! — настаивал, настаивал с отчаянием, — принятие власти грозит больши́м риском, также и для жизни великого князя, впро-

чем и для министров, — но на этот риск надо идти ради отечества. И даже если на успех — одна миллионная доля, надо рисковать! Это — наша общая ответственность, ответственность за будущее. Но, полагает Милюков, вне Петрограда дело обстоит ещё совсем не плохо, — и там великий князь сумеет собрать военную силу. Например, в Москве, он имеет свежие сведения, в гарнизоне — полный порядок, там найдётся организованная сила.

И дальше: три энергичных, популярных, на всё готовых человека — на троне, во главе армии и во главе правительства — ещё могли бы всё спасти.

То есть?.. Михаил? Николай Николаевич? И, тогда, сам Милюков?..

А Михаил — слушал, слушал, и как ни старался быть спокойным, но стало его поводить. Ещё взгромоздить на себя и такое: часть подданных подавлять силой оружия?

Насколько было б легче, если бы все они говорили в одну какую-нибудь сторону! А так — выбор стал совсем смутен.

Да подумал так: все они тут, кроме двоих, члены ли Временного правительства или Думского комитета, — все хотели от него отречения. Так — как же тогда вместе с ними править? на кого же опираться? Все эти люди столько воевали против правления брата, поносили трон. И — свергли. А теперь — станут его правительством?

Нет, политика — это что-то непереносимое! никогда бы не касаться её.

А говорить подходило — как раз великому князю. Отвечать, решать.

Но он не был готов!

— Господа… — потянул Михаил Александрович со слабостью. — Если между вами нет единства, то — как же мне? Мне — трудно…

Замялся. И все замялись.

И предложил великий князь: не может ли он теперь поговорить отдельно с… с кем же, по порядку чинов, если не с председателем Думы и, очевидно, с председателем Совета министров?

Князь Львов? Князь, при своём чистом, полублаженном виде, не имел определённого мнения. Он мог и говорить, пожалуйста. Мог и не говорить.

А крупный, самодовлеющий и, кажется, всевластный Родзянко — смутился. (Почему это — именно с ним. Будет выглядеть как

сговор с монархией за спиной общественности?..) Он ответил, что все здесь — одно целое, и частных разговоров никто не может вести.

И — покосился боязливо на Керенского.

О, как этот мерзавец вырос в силе! Да он и был уже главный среди них? Вот уж нестеснённый, вот уж самый свободный здесь человек, он разрешил галантно:

— Наш нравственный долг, господа, предоставить великому князю все возможности для правильного и свободного решения. Лишь бы не было посторонних влияний, телефонных разговоров.

Без телефона? — великий князь согласился.

Мог бы возразить Милюков: невыгодная комбинация? Но зато он сам выступил дважды.

А Гучков, — Гучков, если б сейчас его допустили тет-а-тет на две минуты, подал бы мысль: Ваше Императорское Высочество, да не беритесь вы решать в полчаса, не давайте себя загнать в клин! Потребуйте день, два! Почему отречение Государя не опубликовано? Дайте его узнать России, и будете думать вместе с Россией! Потребуйте два дня, — а за это время можно успеть даже в Ставку — и там истинное место ваше!..

Нет! Не мог Гучков при всех, при Керенском, передать Михаилу своего ума. И — вообще не мог. Сам Михаил — не тот. Приход его к власти — благодетелен, но видимо невозможен. Да и Гучков — не тот, вдруг почувствовал исчерпание сил. Изъездился, изговорился вчера?

А между тем Керенский преградил путь великому князю:

— Пообещайте, Ваше Высочество, не советоваться с вашей супругой!

— Её нет здесь, — улыбнулся Михаил печально. — Она в Гатчине…

Великий князь с Родзянкой и Львовым ушли в другую комнату.

А тут — разбрелись, обсуждали, кто-то ещё спорил с Милюковым, так и не вставшим с дивана. Гучков сказал Некрасову и другому Львову, остолопу:

— Вы толкаете страну к гибели. И я с вами по этому пути не пойду.

Шульгину сказал:

— От вас не ожидал. Вы слишком быстро катитесь.

Но и с Милюковым не стали сговариваться.

Терещенко ходил, выглядывал в окна на Миллионную — как там гуляют с красными бантами и нет ли толпы сюда, в дом, линчевать их всех.

Прибывший с опозданием волосатый Ефремов показал Гучкову сегодняшний номер «Известий рабочих депутатов». Там была грозная статья против вчерашних слов Милюкова о регентстве.

Да той речи в Екатерининском зале, да ничего за минувший вечер Гучков и не знал из-за поездки.

Действительно, положение было столь упущено, что *возвращаться* можно было только гражданской войной. Очевидно, начав с ареста Исполнительного комитета.

Да Гучков бы — готов? Если этим угрозчикам уступать, так будет только хуже.

Тут он вспомнил, что со вчерашнего дня Маша ничего о нём не знает. И пошёл спрашивать, где телефон.

В столовой две горничные в присутствии княгини накрывали завтрак на всех гостей. Телефон же оказался в коридоре.

Но едва только Александр Иваныч снял трубку — рядом с ним вырос нервный, изгибчатый Керенский. И — уставился.

— Вы — что? — спросил Гучков совсем уже невежливым голосом.

Керенский, нисколько не смутясь, самоуверенно даже не сказал, а заявил:

— А я хочу знать, с кем вы будете говорить!

— Почему это вас может интересовать? — из-под нахмура еле спросил Гучков.

— А может быть, вы желаете вызвать воинскую часть и посадить Михаила силой?

Дурак-дурак. Как они все обучены урокам западных революций.

А впрочем — стоило бы.

— Нет, с женой. Оставьте меня.

Отошёл, но так, чтоб слышать издали, невежа.

Зачем он с этими двумя уединялся — Михаил и сам не знал. Просто — выиграть время, подумать?

Да на Львова он не надеялся, но на Родзянку всегда надеялся. Может быть, тут, взакрыте, что-нибудь ясное подскажет?

А Родзянко, со своей высоты и самоварности:

— Надеяться не на что, Ваше Императорское Высочество! Вооружённой силы нет ни у вас, ни у меня. Единственное, что я могу вам гарантировать, — это умереть вместе с вами.

— Благодарю вас, — улыбнулся Михаил.

Получалось так, что если принимать трон — то начать надо с того, что обмануть их всех? Тайком от них ото всех — бежать? И не успев посоветоваться с Наташей? Просить отсрочки до завтра, а ночью убежать? И даже придётся тайком от своего приставленного тут караула?

А Родзянко, как угадывая:

— И нельзя увезти вас из Петрограда, все автомобили проверяются.

Нет, не тот был момент, чтобы вскакивать на коня. Не армейская атака. Один.

— Благодарю вас, — тихо сказал Михаил. — Разрешите, я теперь побуду совсем один.

Великий князь вышел в гостиную застенчиво. Совсем не царственный.

А видно было, что все прения измучили его.

Он заговорил стоя — и так никто и не сел, выслушивали стоя. Голос его был комнатный и даже нежный:

— Господа. У меня не было бы колебаний, если бы я верно знал, что́ лучше для России. Но вот и в вашей среде нет единодушия. Вы — представители народа, — развёл он длинными, тонкими пальцами, — и вам видней, какова воля народа. Без разрешения народа и я считаю невозможным… принять… Так что очевидно… лучше всего… отречься… Так что отложим до… Учредительного Собрания?

Вот и всё.

Молчали.

Но развязный Керенский тут же высунулся:

— Ваше Высочество! Ваш поступок оценит история, ибо он дышит благородством. Я вижу — вы честный человек. Отныне я всегда буду это заявлять. А мы, Ваше Высочество, будем держать священную чашу власти так, что не прольётся ни одной капли этой драгоценной влаги до Учредительного Собрания!

Михаил Александрович улыбнулся.

Все молчали.

378

Как условились накануне, Пешехонов сегодня с утра заехал в Народный дом за квартирьерами 1-го пулемётного полка, ехать выбирать помещения. Опять не без труда проник он через строгую самоохрану — а внутри узнал, что пулемётчики уже не желают двигаться.

Да почему же?

Оказывается, комитет заказал к восьми утра прислать автомобиль, его не прислали, — в этом проявлено неуважение к полку и замысел против него, и они теперь никому не верят и с места никуда не сдвинутся.

Но — гибла канализация Народного дома, уже моча заливала в одном месте коридор, пропиталась стена. Пешехонов в комнате полкового комитета настойчиво уговаривал товарищей выборных солдат. Может быть, другому кому это бы не удалось, но у Пешехонова очень уж простой был вид — мещанина с круговой машинной стрижкой, упавшие в бороду усы, — и солдаты дали себя уговорить. Согласился ехать с ним в автомобиле сам председатель комитета, прапорщик военного времени, тоже из простых, и один развязный солдат.

Сели они на заднее сидение и, всё же не доверяя Пешехонову, как бы он их вокруг пальца не обвёл, сами указывали, направо ли ехать, налево, и около какого здания (каждого большого) останавливаться, — и чтобы объяснял им Пешехонов, почему в этом доме нельзя или неудобно.

С тоской подумал Пешехонов, что гнетут его комиссариатские дела, а он так и весь день проездит с ними. Иногда ему не верили, ходили сами проверять, а его заложником с собой брали, чтоб не уехал.

И — не мог он их направить! Да и сам толком не придумал, куда же их? В одно место не помещались, а в разные места не хотели.

Так само собой докатили они до Ботанического сада на Аптекарском острове.

— А это что за дом? — приглянулся им.

А это был — знаменитый Гербарий, гордость России, и не много таких во всём мире. А снаружи здание, правда, — как большая казарма.

Испугался Пешехонов, стал прапорщику объяснять, что здесь невозможно, — никакого впечатления, образование прапорщика оставляло желать…

Пришлось идти смотреть. Застали одного сторожа, научного персонала никого не оказалось, работ никаких, тем хуже, хоть бы белые халаты напугали. А внутри — чистота, всё наблещено, светло, тепло. Квартирьерам сразу понравилось:

— Вот тут мы и поместимся!

Пешехонов аж руками всплеснул:

— Да нельзя же, господа! Редчайшие коллекции!

— Чего это?

Тогда он хитрей:

— Смотрите, комнаты маленькие. Для жилья никаких приспособлений, и нары делать не из чего.

— А мы на полу! Полы тут чистей твоей кровати.

— Ну и сколько тут вас поместится? Две-три роты? А уборных опять же мало.

Еле утянул их, не хотели уходить. Пошли дальше по Ботаническому. Теплицы. Тут тоже им понравилось.

— Да как же вы будете здесь спать? Везде — жирная земля, сырость, сейчас же начнёте болеть.

Замялись. Хотели в Гербарий возвращаться.

Тут один служащий сада сказал, что рядом стоят совсем пустые и вполне подходящие — министерские дачи.

— Какие?.. Министров?

Очень это им зажадалось! Там жить, где прежде министры испомещались? — очень! Попробовать, как это!

— Туда ведите!

Какие ж там дачи? Соседний участок был — та самая дача министра внутренних дел, где в 1906 году жил Столыпин и был взорван.

— А там ещё — флигеля́.

Тут в заборе был и пролом для краткого хода, снег примят, так и пошли.

Флигели были брошены, неухожены, нетоплены, везде безпорядок, сор, но мебель на месте. А одна комната оказалась увешанной и устланной коврами, а на столе стоял действующий телефон, как будто кто-то здесь только что жил. (Служащий объяснил, что на святках тут отдыхал Протопопов.)

Хотя помещения были для солдат совсем неподходящие, но после этой комнаты уверились квартирьеры, что — берут. Наверно, эту — для комитета наметили.

— Сами видите, — выгадывал теперь Пешехонов, — на всей Петербургской стороне подходящих помещений нет. Зря вы из Ораниенбаума ушли.

— Ну може, може… — шмыгали носами. — А поживём теперь у министров.

Выходили к набережной Невки через двор. На месте когда-то взорванной дачи стоял теперь памятник Столыпину — не большой, не площадной, но всё же увеличенного роста, бронзовый и на пьедестале.

— Кто это, знаете? Зачем тут? — спросил Пешехонов.

Ничего не знали — ни фамилии Столыпин, ни — какой взрыв.

— Это был — большой помощник у царя! — объяснял комиссар. — Он жестоко расправлялся с революционерами. Он подавил первую революцию.

Подумал про себя со злорадством: первым делом, конечно, памятник повалят.

А солдат высморкался на снег, вытер нос:

— Нехай себе, он нам не помеха.

379

К каждому русскому городу, где побывал (а во многих), Воротынцев испытывал отдельное чувство, отличал этот город — и людьми, которых там успел узнать, и видом улиц, бульваров, обрывов над реками, церквами на юру, и ещё многими особенностями, как в Тамбове — немощёными прогонами вдоль улиц для кавалерии, в Зарайске — непомерным по городу кремлём, в Костроме — близостью Ипатьевского монастыря и сусанинского края. И ещё везде — теми излюбленными местами, Венцами, Валами, где жители привычно собираются, узнают, говорят. Да кроме деревенской, что ж Россия и есть, как не два сорока́ таких городов? В разнообразии их ликов — соединённый лик России.

А тем более отдельное чувство — к Киеву. Как бы ни наспех проезжал его и как бы ни занят делами, ощущал тут всегда Воро-

тынцев, да как каждый, наверно, из нас, что ступает на землю особую, древнюю, осенённую крестом огромного Владимира Святого над Днепром. Безсмертно высится этот кусок древней Руси, на самом деле не третья столица, а первая. Когда ни приедешь в Киев, когда ни пойдёшь по нему, — всегда ощущение праздника.

И ещё в Киеве — особенная мягкость, от юга ли, от малороссийского дыхания, ещё от чего? Мягче тех двух столиц.

Почти полдня предстояло Воротынцеву пробыть в Киеве — и что другое можно было придумать, как не оставить чемоданчик на вокзале и праздно отправиться по городу? Не приходило в голову адресов, куда бы пойти.

А воздух был совсем весенний. Носились галки. На вокзальной площади извозчики ожидали вперемежку — и санные, и уже колёсные. На улицах вдоль панелей журчали ручейки, а поперёк тротуаров перетекал слив из водосточных труб. Скользковатые тротуары были где посыпаны угольным шлаком, где счищали дворники скребками. После всего мятельного натиска снег изнемогающе таял. Много снежных куч было нагребено, усиляя тесноту и без того наполненного города, — экипажи, телеги, трамваи, движение было обычное.

До университетского Ботанического сада улицы ещё были будничные, как бы ни о чём не ведали. За его решётками — снежный покой. Но с Владимирской начиналось возбуждение и гуляние. Здесь увидел Воротынцев уже знакомые ему красные банты в петлицах, красные ленточки, приколотые к пальто или шапке, — как эта мода понята и перенеслась так быстро? — не видели, а догадались? Но не так густо, как в Москве. А на лицах — такое же растерянно-радостное недоумение.

Ни на одном перекрестке не было городовых. Но — и арестованных их не проводили. Просто — исчезла полиция или переоделась?

Однако вот что: ни одного бродячего распущенного солдата с винтовкой, как в Москве. Идут безоружные одиночки скромно, как по увольнительным, все чётко козыряют. И офицеры отвечают им с лёгкостью, все при оружии, не как подозрительные пешеходы. Нет этого подлого, как в Москве, соучастия в какой-то гадости. Прошёл вооружённый строгий наряд, другое дело.

Ну, кажется, здесь ещё всё в порядке. Может быть, столичное безобразие в *той* форме сюда и не докатит. Да не должно бы!

А Киев — узел дорог не только для Юго-Западного, но и для Румынского. Если и Киев тронется, снабженье прервётся, — а немцы тут и ударят?

Около университета кипело большое сгущение, разлившееся на мостовую. Избежать его Воротынцев отклонился наискось через сквер.

А на богатом Бибиковском бульваре, на его огромных доходных домах, уже висело несколько обширных красных флагов. Будто этим богатым владельцам страстней всего и нужна была революция. Тут — ещё больше было гуляющей публики, да не простонародной, а городской образованной, и забивала весь бульвар, и на тротуарах не помещалась.

Ну что ж, «свобода» — всем дорогое слово. Повеселятся — успокоятся? Схлынет?

На перекрестке Бибиковского и Крещатика на опустевшем месте городового — с важностью стояли два студента, пытаясь направлять движение.

А трамваи шли своим чередом.

Раньше отметил Воротынцев, что шествий нет, — но на Крещатике увидел первое, из молодых людей, несли развёрнутое красное полотнище с надписью о демократической республике. Пели и кричали.

И так запросто это несли, как нечто решённое, всем ясное. Кем же это уже решено, что «демократическая республика»? Разве это на улице решать?

И что за состояние правда? Прежние власти — исчезли. Появились какие-то комитеты. А царь молчит.

Как будто шар его державы шатается на одной точке пика горы.

Ну, правительство новое — допустим, факт. В конце концов, что ж? — Гучков. Шингарёв, Милюков. Государственные мужи, не из безвестности.

На тротуарах Крещатика толпа была как тиски, иногда в ней нельзя было самовольно передвигаться, а только течь вместе с нею. На улицы вывалили как будто все жители, и текли без цели, с восклицаниями, окликаниями, поздравлениями. Конечно, любопытства было больше всего. Но у чистой публики — и радость. А мещанки из-под платков смотрели настороженно.

Подумал, что ведь Киев последние годы — самая верноподданная из трёх столиц, отсюда и все депутаты были правые, перед вой-

ной здесь проявлялся и самый массовый монархизм. И неужели же все текущие сейчас по улицам — так довольны? Но не видно мрачных лиц. Сколько может быть тут сейчас врагов переворота — но быстро установилось, что недовольства выражать нельзя. Сила толпы! Всё окинулось в один день, и нельзя крикнуть против. Затаясь, притворясь, — идут среди радостных восклицаний.

Но чего, к счастью, так и не видно было — позорных, разболтанных военных шествий с красными флагами.

С обалделыми воплями и размахиванием рук в извозчике пронеслись два студента, гимназист и две девчёнки, с красными повязками. На студентах были неуклюже и повидней подцеплены револьверы, на гимназисте — шашка.

А другие молодые валили по мостовой в обнимку, как на гуляньи, и пели — но не любовные песни, а вот эти, восстанческие.

Да, в Киеве мягче, но как будто и продолжался всё тот же длинный, мучительный московский день. Революция начинала чудиться уже привычно-безконечной, всё это он видел, видел, видел.

В одном месте его затёрло и остановило на четверть минуты у ступенек газетной редакции, а на ступеньках стояло двое интеллигентов — один со сбоченной шляпой, кашне кое-как, другой выскочил наружу неодетый, а вид — газетной крысы, очки на конце носа. И говорил тому негромко:

— У нас в редакции точные сведения, что вчера отрёкся! Но почему-то агентских сообщений нет.

А уже открылась возможность пройти, Воротынцев продвинулся — раньше, чем понял, что его обожгло, — но и не обернуться, не спросить, невежливо подслушанный разговор. Миновал.

А — ни о ком другом это не могло быть: о т р ё к с я.

Отрёкся??!

Последняя загадка кончалась. Случайная фраза, ничем не доказана — а поразила верностью: да! И не может быть иначе! А что ж он застрял и молчит — во Пскове?

Ай-я-я-я-яй!

Отрёкся? Ну, доигрался.

Да разве он — мог бороться?..

При войсках! — и отрёкся?

Но — как же не подумал об Армии? О войне, которую сам же, сам же вёл так упорно, безоглядно? И вдруг…

А при Алексее — будет совсем шатко. У *кого* всё в руках? Где эти руки?

Утекали события — как эта толпа, — и не остановишь, и участвовать не дотянешься. Мерзкое, жалкое собственное бездействие. Безсмысленно и безсильно был Воротынцев затолкан и не знал, что делать.

Утекала толпа. И вдруг вспомнилась та причудливая кадетская дама в шингарёвской квартире, как она предсказывала завлекательное ощущение, когда мы будем лететь в пропасть. Хотя сегодня не было грома, бури, землетрясения, извержения — но в этом тёплом, пасмурном, скользком дне ощутил Воротынцев, что русская громада — поскользила, пошла вниз! И тем страшней, что — неслышно, и среди улыбок.

Вон Брусилов поспешил уже и публично расшаркаться. Но у Брусилова в 8-й армии Воротынцев воевал год — и успел понять, какая он шкура.

А — что Румынский фронт?.. Молчит Сахаров, и то хорошо.

Отрёкся? — так теперь и не Верховный Главнокомандующий? И тем более нам становиться на свои ноги.

По-шла! По-шла Россия!

Впереди, в расширении Крещатика, виделось и гудело ещё новое столпление. Посреди же был высокий предмет, и люди там наверху, и махали.

Далеко оторванный мыслями, Воротынцев не сразу вгляделся и различил, что это — памятник, люди залезли на постамент рядом с фигурой и держатся за неё. Но и, приближаясь в потоке, а оторванный мыслями, всё ещё не сообразил: что́ это за памятник.

И какой-то канат был перекинут в обхват фигуры — и снизу его натягивали под гик, под свисты и смех. Многие руки добровольцев тащили этот канат, видимо желая свалить фигуру, — хотя и грохнуть она должна была прямо на них же, на толпу, не подставя рук, головою раньше, последне ногами, как падают во весь рост в крайнем горе или крайней безнадёжности.

Воротынцев дал понести себя мимо городской думы, с Михаилом Архангелом на тонко вытянутом шпиле. С обширного балкона читали телеграммы из Петрограда (но не было об отречении), кричали речи. И дальше в обход памятника. И только тут дояснел и вспомнил: да Столыпин же! Его поставили тут, вот, после убийства, перед войной.

Однако много крепче, чем думали, он стоял на своём параллелепипедном постаменте, по которому высечены были русский воин, плачущая боярыня и — «не запугаете!».

— Та́к не возьмём! — кричали снизу.

А наверху, у ног фигуры, уцепились и безстрашно суетились несколько расторопных юношей. Одному, без шапки, огненно-рыжему, удалось другую, малую, верёвку перекинуть через шею Столыпина, он свёл оба конца впереди и теперь в рыжем восторге кричал вниз:

— За-вяжем столыпинский галстук!

Толпа загогокала.

И — что мог делать Воротынцев? Не шашкой же размахивать? Остановить этой скверны он не мог.

Зажатый безпомощной чуркой, ощутил, что эту революцию, ошеломившую его в Москве, вот он в Киеве уже ненавидит.

380

При своём безсловесном командире-прапорщике Станкевичу теперь надо было думать за весь сапёрный батальон. Начинать занятия он не мог бы — солдаты ещё не отошли от ожога восстания. Но надо было и усиленно искать пути понимания с ними, иначе батальон рассыпется.

Образовалось правительство! — очевидно, об этом надо было спешить говорить с солдатами, внушить им и разъяснить.

И Станкевич пошёл по ротам. Не выстраивал, но собирал, как на сидячих занятиях, в казарме, без шинелей и шапок, и произносил короткие речи. Он собирался говорить только об именах, кто какой пост занял, как он связан с народом, как давно боролся за его интересы. Но первые же две речи, а за ними и все остальные, пошли не так: Станкевич перед молчащими солдатами вдруг почувствовал необходимость как бы оправдываться — оправдывать, что правительство вообще должно быть в стране, почему оно необходимо. И оказалось, что и это не так просто доказать, во всяком случае он явно мало убедил слушателей. (Мелькнуло, что если б говорил в защиту царя — они б его поняли, наверно, привычней. Вот что, наверно, и было им не ясно: что́ это — «правительство»? А царь же как?)

И — никакого впечатления от фамилий министров. Уж казалось, как широка была по всей стране земгоровская слава князя Львова, — но во всех ротах солдаты как ни один о нём не слыша-

ли, никто не кивнул, никто не улыбнулся. Говорил ли Станкевич о заслугах перед армией нового военного министра Гучкова, о сокрушающих ударах, которые нанёс старой власти теперешний министр иностранных дел, — ни благодарности, ни узнавания он не читал на лицах. Остальных — и тем более не знали, а Станкевич и сам не мог найти убедительных слов, чем они заслужили. И — обрывалось в нём. И с тем большей, последней надеждой он стал говорить о своём друге Керенском. Здесь — показалось удовлетворение на лицах, но не на всех, а — на здешних, кто петербургский, тёрся, читал, слышал. И то: одобрение не потому, что он — министр, а — несмотря на то, что министр.

Опустошённый вернулся Станкевич с обхода рот.

Он любил додумывать и формулировать всё до конца. И теперь додумывал. Внезапность и лёгкость переворота отняла у всех чувство правильной меры и критики. Кажется: если так легко пал строй, считавшийся несокрушимым, то дальше тем более всё пойдёт удачно и счастливо. А на самом деле: что может Временное правительство попытаться сделать? Только — восстановить организацию власти, вполне напоминаюшую старую. А наплыв революционной стихии оно воспринять не способно, самые головы министров для этого не способны раскрыться. Думский Комитет покорил революции фронт, отдал во власть её всё офицерство — но благодарности он себе не заслужит. Потому что в революции надо быстро у с п е в а т ь. Надо развиваться и двигаться быстрей самой революции, только тогда возьмёшь её в руки.

Станкевич казнил себя за свою растерянность утром 27 февраля. Он-то знал, соглашался с Густавом Ле Боном: народное большинство всегда нуждается в порядке, а не в революции. Поэтому революцию никогда не производит народ, а случайная толпа, в которой никто не знает ясно, зачем они кричат и восстают. Толпу ведут разрушительные элементы с уголовной ментальностью — и психологически заражают, присоединяют массу инертных. Революцию можно определить и так: это — момент, когда за преступление нет наказания.

И вот: находясь в центре вихря — *как* овладеть им? как направить его?

Думский Комитет, Временное правительство — и в самом Таврическом дворце еле заметны. Вождём революции — несомненно уже стал Исполнительный Комитет Совета. Он — уже владеет всей

армией, хотя офицерство не на его стороне. Да потому-то именно и владеет, потому-то и тянутся к нему солдаты, что чувствуют в нём противоофицерскую силу.

Но на этом основанная власть — опасна, и Исполнительный Комитет сам может оборваться в анархию. Уже слышал Станкевич недовольные замечания и от Керенского, что вожди Исполкома не понимают значения власти и готовы всё подорвать безответственно. Керенский, более всех успевающий нестись на переднем гребне, и душой уже несколько дней в новом правительстве, — из первых начал и ощущать эту опасную пустоту вокруг власти.

И эту тактику — быть на переднем гребне, Станкевич считал правильной. И вот что он придумал за час-другой: с опасностью анархии надо бороться в самом её гнезде! Надо — вступить в самый Исполнительный Комитет, для начала — просто в Совет, а там продвинуться. А в Совет? А в Совет надо пойти как делегат от офицеров своего батальона, очень просто. Совет — считается депутатов солдатских, но — раздвинуть, сломать это понятие: офицеры тоже должны там иметь своих представителей, и так наложится связка, и всё укрепится.

В комнате собрания офицеры батальона сидели без дела, безвольной, растерянной кучкой: они не смели призвать солдат к занятиям и не смели воспользоваться своею незанятостью, чтоб уйти домой. Просто удивительно, в какую последнюю неуверенность повергло офицеров всё происходящее: сильная военная система, развитая несколькими столетиями, развалилась в несколько дней. И сам Станкевич наверно так же бы был опрокинут, если б не имел народно-социалистического воспитания и партийных связей.

А теперь он предложил себя делегатом в Совет — и офицеры безропотно и с надеждой согласились, даже голосовать не надо было.

Изготовили мандат по форме — и Станкевич, не теряя времени, отправился в Таврический.

Стоял красный солнечный денёк — ещё слабо-морозный, но и в свете и в воздухе уже была весна. На домах висели красные флаги. Много гуляющих. Станкевич прошёл проулком на Фурштадтскую и дальше по узкому её бульвару. Уже близ Потёмкинской встретил Колю, своего троюродного племянника, гимназиста выпускного класса.

Колино лицо среди всеобщего оживления выглядело откровенно-печальным. Так странно это у гимназиста в такие дни. Он был — вдумчивый мальчик.

— Ну что, Коля? — спросил Станкевич.

А тот посмотрел почти со страхом:

— Ой, дядя Володя! Плохо.

381

Колин отец был немного писатель, и по фамилии путали его с известным автором морских рассказов Станюковичем, уже умершим, — радикальным интеллигентом, побывавшим и в ссылке за связь с народовольцами. Колин же отец никогда ни с какими партиями связан не был, но барин был либеральный и, как все, сочувствовал всегда всякому движению свободы.

А с началом этой войны, тоже как все, принял её патриотически, а в прошлом году, как старый офицер запаса, добровольно пошёл командовать батальоном ополченцев. На фронте он был и посегодня, а Коля жил на Фурштадтской с мачехой — энергичной, значительно моложе отца. Она в молодости была без пяти минут эсерка, чуть-чуть не вступила в партию, очень им сочувствовала. От замужества погрузилась в комфортабельную, состоятельную жизнь, но старые симпатии, оказывается, не вовсе забыла — и в эти революционные дни они всплеснулись в ней, она захлёбываясь следила за событиями.

Да во всём взрослом обществе вокруг так было: очарование от революции, всеобщий энтузиазм, светлые лица друг ко другу, и будто какое-то святое зерно проросло во всех. Кажется: юным бы сердцам — и тем более разорваться от восторга?

Но нет. Коля, как и другие некоторые мальчики в их классе, сразу воспринял революцию как грязный бунт — от первых же уличных сцен.

И между мачехой и сыном все эти дни шли споры. Она, прикладывая ладони к золотистым височным кудрям, отзывалась только восторженно, просто боялась верить, что такое счастливое освобождение наконец посетило Россию. А Коля упорно отвечал, что — разбой и воровство. (В их квартиру с обыском не пришли, так что доказательства остались за рамками.) Последние же дни

их споры были вокруг царя: нужен ли России царь, может ли она без него? Мачеха просто взвивалась: откуда за нашими школьными партами появились такие консерваторы? Она считала монархию — средневековьем, а для народа, который прозрел, нужна парламентская республика, как во Франции. Она говорила: *мы,* наша революция, наша победа!

Отношения между мачехой и пасынком были поставлены так, что она ему никогда ничего не приказывала, лишь предлагала, хочет ли он исполнить. Так и теперь она сказала:

— Не сходишь ли, Коля, к Сабуровым? У них организовали столовую для солдат. Я наготовила тоже туда для них, захвати в две руки, отнеси?

Коля дружил с молодёжью Сабуровых и отправился охотно.

В знакомом мраморном вестибюле их особняка он уже увидел на белом полу и на ковриках расшлёпы и комки грязи, которые, видно, не успевали убирать. Все вешалки гардеробной были увешаны солдатскими шинелями. А в большом зале солдаты, человек более тридцати, сидели вокруг огромного стола, раздвинутого на самую большую торжественность и заставленного многими блюдами и тарелками, дорогой посуды, а в них наложено самое изысканное: икра, сёмга, лучшие колбасы, не говоря уже о кулебяках, пирожках и салате. Бритоголовые солдаты в гимнастёрках, было даже жарко в зале, сидели и много ели, больше молча, но с любопытством на всё озираясь. Шморгали носами и обтирались кулаками. А молодые Сабуровы и гимназистки, курсистки и студенты дружеских семей подносили, услуживали, накладывали, бежали на кухню за сменой — и были веселы, громки, в большом оживлении от своей деятельности.

Отнёс и Коля мачехины дары на кухню, вернулся. Кажется, надо было радоваться, что их непросвещённые обиженные *младшие братья* сидят по-человечески, почётно, в хорошей обстановке и едят вкусную пищу. Но ему показалось это всё очень фальшиво — эта чрезмерная щедрость и даже изысканность стола, кормление в самом лучшем зале, украшенном бронзою, фарфором, лакированной мебелью, и подтайки грязи под сапогами, и нашлёпы на белую скатерть, и громкая отрыжка солдат, и совсем не добрые их взгляды вокруг — и щебечущая, переклончивая услужливость к ним милых барышень, и само оживление молодёжи какое-то замороченное. И даже когда солдаты, один, другой, захотели тут же и курить махорку — их пригласили не вставать и подносили

мраморные пепельницы под их газетные самокрутки, с красными обломками раскалённой махорки, падающими на ковёр или на скатерть.

Коля почти бездействовал. Его оскорбила эта сцена и казалась ужасной, унизительной — да и безсмысленной, потому что таким манером невозможно накормить всех солдат и все дни. И почему именно этих — запасников, призванных к концу войны, многие и пороху не нюхали до сих пор, — когда его 55-летний отец пошёл воевать добровольно и старший кузен, тенишевец, не стал уклоняться от призыва для продолжения образования, но тоже пошёл добровольно.

Фальшивое было — мучительно.

Зато среди барышень он увидел одну незнакомую, старше его, возраста курсистки, а ростом меньше, темноволосую, с загадочными глазами, от которых оторваться было нельзя, — Коля в неё и вперился с безнадёжностью младшего, не спускал глаз. Она тоже подавала, но немного, и медленно, с грацией нехоти, и почти без улыбки, как играла навязанную роль. Звали её Ликоня.

Потом стала к стене, заложив руки за спину, и так стояла вдали. Кажется, насмешка была на её губах, — а губы! а красавица!

Ото всего этого вместе Коля решился, подошёл к ней, стал рядом, не познакомленный, и тихо сказал:

— Позор какой. Как мы унижаемся. Ох, отольётся это нам.

Она подарила его чёрным взором, сделала лёгкое-лёгкое полубоковое изгибистое движение — головой ли, плечами — и уже этим одним выразила больше, чем он мог собраться выразить. Но ещё и ответила:

— Да. Никогда нельзя терять себя.

Какая мысль! А голос! Просто удивительная девушка. И какие печальные, втягивающие глаза. И сама — как из статуэток, расставленных в этом зале.

Потом вскоре она исчезла, Коля не заметил когда. Исчезла — как и не была. И он забезпокоился, хотел ещё её видеть и слышать, поспешно ушёл, надеясь её нагнать.

Его не видя, за гардеробным шкафом стояли курили два солдата, и один сказал:

— О, паскуды, как живут! А напугались. Ну да нас икрой не купишь. Скоро мы этих чистёх грёбаных… И этих скубентов…

…Это всё и рассказал он теперь дяде Володе, встретившись.

382″

(по «Известиям СРСД»)

РЕГЕНТСТВО И УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. …Временное правительство не имеет права вырабатывать никакой постоянной формы правления… Милюков испугался Гражданской войны? С какой стороны? Кто возьмётся за оружие в пользу «царской фамилии»? только «чёрная сотня»… Это чёрная сотня, переодевшись в солдатские шинели, симулирует наши революционные патрули, грабит обывателей…

ОФИЦЕРЫ И СОЛДАТЫ. …Приказ № 1 ставит офицеров на своё место… Солдат становится гражданином, перестав быть рабом… комитеты, под контролем которых всё оружие, не выдаваемое офицерам даже по их требованию, ибо оружие есть достояние всех солдат, всех граждан. Солдаты отныне — самоуправляющаяся артель, которая ведёт своё хозяйство совершенно самостоятельно…

РОКОВАЯ ДАТА (1 марта 1881 — 1 марта 1917). …Казнь Александра II смелой группой революционеров… Царизм пускал в ход только нагайку, пулю и виселицу… То, что не удалось нашим одиноким товарищам в неравном бою, теперь осуществлено…

АМНИСТИЯ. Весь народ до сих пор был закован в цепи… Товарищи ссыльные, товарищи каторжане! От имени всей демократии мы приветствуем вас как освобождённых заложников…

ПРИЁМ ВСЕХ ЕВРЕЕВ В АДВОКАТУРУ. Решено принять в адвокатуру всех евреев, помощников присяжных поверенных.

ПРИВЕТ АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ. Представитель английской армии передал новому министру юстиции Керенскому, что он уполномочен английским послом приветствовать Совет Рабочих Депутатов и Комитет Государственной думы.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГОРОДОВ. К революционному движению целиком присоединились: Москва, Нижний Новгород, Харьков, Саратов, Вологда, Курск, Орёл.

ГДЕ ЦАРЬ И ЦАРИЦА. Вопреки слухам, Николай II не арестован. Императрица — в Царском Селе, в полной безопасности.

…горничная генерала Сухомлинова немедленно отправлена под конвоем в Государственную Думу.

ОБ ОБЫСКАХ. В последние дни патрули производят обыски, выискивая остатки полиции, шпионов и хулиганов… При этом полезном де-

ле, к сожалению, не редки случаи нарушения воинской дисциплины. Так, нам известно, что при этих обысках были случаи прямого грабежа. У одного из наших товарищей… Патрули должны помнить, что великое дело, которое они делают… Поэтому, входя в чужое жилище, они должны сознавать святую обязанность…

ГРАЖДАНЕ! Свершилось великое дело: старая власть, губившая Россию, распалась… Нужно кормить армию и население. Скорей продавайте хлеб уполномоченным, отдайте всё, что сможете… Скорей доставляйте хлеб по назначению, родина ждёт…

Родзянко

К ТОВАРИЩАМ РАБОЧИМ И ГРАЖДАНАМ ПЕТРОГРАДА. Совет рабочих депутатов призывает вас не препятствовать перевозке продовольственных грузов по городу, от чего зависит исход революции: необходимо развезти муку по хлебопекарням, чтоб у нас был хлеб… Уже сегодня должно быть вывезено с Николаевского вокзала 350–400 тысяч пудов.

383

А когда великий князь на всё согласился — оказалось, что само отречение никак не готово. Ещё с ночи взялся его составить ревностный республиканец Некрасов. И привёз с собой в кармане. Но когда теперь на его проект глянули — человек этот не имел ни малейшего представления о государственно-юридических понятиях и о взвешенности каждого слова в таких текстах.

Впрочем, и другие не умели так сразу составить, чтобы не ошибиться.

А тут княгиня Путятина звала всех к завтраку.

Стали пока звонить по телефону, вызывать сюда юристов-государствоведов, Набокова и барона Нольде, да чтобы привозили свод законов.

Великий князь к столу не вышел.

Не снося поражения, Милюков отказался завтракать, уехал.

Гучков тоже.

Остальные за столом оживлённо обсуждали проект Некрасова, и что́ надо в нём изменить, и какая гора свалилась, и какие теперь долины стелятся перед ними.

Но приехали Набоков с Нольде и сразу их огорчили: законами престолонаследия никакое «отречение» не предвидится. Разве что, формально, приравнять отречение к смерти? Но тогда вообще, тем более, трон и должен переходить к нормальному наследнику. Император, отрекаясь, не мог лишить престола ещё и другое лицо: престол — не частная собственность. Итак, сама передача трона Михаилу была незаконна, и теперь непонятно, на каких основаниях должен отрекаться Михаил. Тем более — как же писать ему отречение?

И дальше: кто есть Михаил со вчерашнего дня на сегодняшний? Император? Или регент?

Но не бывает регента без носителя Верховной власти.

Вот напутали так напутали.

Манифест от императора, которого не существует?

Однако умница Набоков понимал, что дело, в конце концов, не в формальностях, а важно было теперь так составить Манифест, чтобы не потрясти народной психики, но укрепить власть Временного правительства в глазах населения, особенно той части, для которой Михаил имеет нравственное значение, — торжественно подкрепить полноту власти Временного правительства и преемственную связь его с Думой. А через Учредительное Собрание предусмотреть преемственность и для конституционной монархии, и для законного постоянного правительства. И при этом прикрыть, а не выпячивать, что князь Львов назначен бывшим царём: в сегодняшней обстановке это было бы ослаблением.

После завтрака пока все разъехались, а остались Набоков, Нольде, и в помощь юристам набился Шульгин участвовать до конца в великом историческом событии.

Составители уединились в классную комнату детей Путятиных, сидели и работали там.

Переделывали, переделывали, постепенно стало выступать: «Тяжкое бремя возложено на Нас волею брата Нашего… Одушевлённые единою со всем народом мыслию, что выше всего благо родины Нашей, приняли Мы твёрдое решение в том лишь случае восприять Верховную власть, если такова будет воля великого народа Нашего, которому и надлежит… через своих представителей в Учредительном Собрании установить образ правления и новые основные законы Государства Российского…»

Но если Михаил не принял Верховной власти, то какое он имеет право давать обязательные указания, вот и об Учредительном Собрании?

Каждое слово казалось безконечно важным. Как будет реагировать Россия? Как — законотолковый Запад?

«Повелеваем всем гражданам подчиниться Временному правительству…» вызвало новый спор: как квалифицировать Временное правительство? Всем хотелось написать «возникшее по воле народа». Но ещё за завтраком Керенский резко протестовал: он не мог допустить, что правительство имущих классов возникло по воле народа. Родзянко же хотел: «возникшее по почину Государственной Думы», так настаивал и Шульгин. Да третье серьёзное было придумать и вовсе трудно.

Набоков сел за парту девочки Путятиных и превосходным почерком переписал проект.

Затем — пригласили в классную комнату великого князя. От него возражений не ждали.

Он опёрся о парту, прочёл, не беря в руки.

И сконфуженно попросил: заменить императорское «Мы» на простое «я» с маленькой буквы. И слово «повелеваю» заменить на «прошу».

И потом… где же тут упоминание Бога?

Не тем были головы составителей заняты, не только спешили, но просто забыли: Бога? Да, надо же Бога.

И вставили: «призывая благословение Божие…».

Значит, ещё раз переписали, да два экземпляра. На школьной бумаге, в одну линейку.

Уже серело в комнате, скоро свет зажигать.

Тут снова приехали князь Львов, Родзянко и Керенский, желавший проследить до конца.

Снова позвали великого князя.

Он взял перо путятинского сына-гимназиста, сел за маленький столик, подписал:

«Михаил».

Все были овеяны важностью момента.

Уж теперь-то наверняка он был не император — и Родзянко охватил его лапистыми руками, целуя.

А Керенский снова воскликнул:

— Ваше Императорское Высочество, вы — благородный человек!

384

Так восставать дальше? — или не восставать? Свергать буржуазное правительство или не свергать? И если свергать — то теперь же, пока оно ещё дохну́ть не успело, ещё не расселись министры? или повременить, пока больше соберём оружия и сил?

Вчерашнюю листовку, так страстно составленную с выборгским райкомом — «вся власть Совету!», — не только Исполком не одобрил, но запретил её собственный же большевицкий Петербургский комитет. Ну, не ожидал Шляпников!

На сегодня днём он потребовал решающего заседания ПК. Сам кинулся пока в Таврический: давайте же обсудим на ИК вчерашнее поведение Керенского! давайте припечатаем этого арлекина! Нет, меньшевики трусили включить в повестку. Вместо этого посадили Шляпникова отбывать дежурство по ИК — принимать делегации, посетителей. Теперь и не поспеть к началу заседания ПК. Послал Молотова с Залуцким вперёд — делать доклад от БЦК. Договорились держаться так: если даже к немедленному восстанию не призываем (хотя неправильно!), то — никакого доверия правительству крупной буржуазии! агитировать за создание истинно-революционного правительства!

Сам пока дежурил по ИК, дежурный имеет право отвечать, не советуясь с Исполкомом. Пришли от Озерков и 1-го Парголова: можно нам отдельную милицию создавать? Конечно, создавайте. А где оружие брать? Реквизируйте, где можете, от Совета не ждите. А начнутся работы — можно с работы уходить? Валяйте. А кто будет день оплачивать? Заставим капиталистов!

Потом помчал на Биржу труда, на ПК. Надо было войти с переулка в неказистую магазинную дверь, насквозь через магазин, потом по пыльным лестницам подняться на самый верхний этаж, почти на чердак, ещё и здесь пройти несколько затхлых канцелярских комнат под низким скошенным потолком — и только тогда добраться до комнаты заседаний, захваченной Политикусом для ПК.

Само это загнанное, жалкое, пыльное помещение показывало, до чего же большевицкая партия оказалась робка, безсильна и оттёрта. Это особенно ударяло после кипения Таврического и просторной воли уличных толп.

И что ж тут были за вожди? Им как будто и место было вот тут, на чердаке. Сидели вокруг непокрытого длинного стола и на лав-

ках под скошенными стенами. Было человек десятка полтора. Седовласый, седоусый Стучка, порядочный, однако, хмырь. Феодосий Кривобоков, он же Невский, — волосы как подвитые, а взгляд довольно бараний. Косоглазый самоуверенный Шмидт. А обиходливый Политикус председательствовал, очень хорошо себя чувствовал и даже весело острил теперь.

Доклад Молотова уже кончился, теперь в прениях занудно городил безликий Авилов меньшевицкую чушь: что мы переживаем революцию буржуазную и потому задача пролетариата — полностью и честно поддерживать Временное правительство. Он всё время цитировал Маркса-Энгельса, — и только одно хотелось у него спросить: а где ты был, когда мы гоняли по Питеру от филёров и гремели всеобщей стачкой? А сейчас вы тут уселись благополучно рядком: поддерживать Временное правительство, «постольку-поскольку» его действия будут соответствовать интересам пролетариата. (Да конечно же не будут!) Мол, нецелесообразно убивать корову, не выдоив из неё молока.

Насчёт коровы — так, а не видите вы сути дела.

Только Шутко, самый молодой, хоть уже и с залысинами, весело требовал: вооружённо выступать, и немедленно! Сколько оружия мы забрали на Выборгской — и всё оно у рабочих! И Московский батальон с нами пойдёт! Да мы Временное правительство сейчас сметём быстрей, чем царя! Да в Новой Деревне уже рвут «Известия» Совета, кричат, что там соглашатели, а надо идти арестовать и убить Родзянку и Милюкова!

Худенький Калинин с Айваза, в очках, с лопаткой-бородкой, не поймёшь — сочувствен? Хитроват.

А вот что! Оказывается, тут Молотов не сделал боевого доклада, всё расквасил, уже начинал тянуть в сторону ПК: у правительства и Совета больше войск, почти вся армия за них, соотношение сил не в нашу пользу.

А Шляпников — чувствовал правду немедленного восстания! — но не мог её убедительно выразить этому запылённому заседанию. Вот так, сами ж мы во всём и виноваты! — говорил он. Когда вчера на Совете дошло до голосования не поддерживать буржуазного правительства — так во всём зале только 15 твёрдых рук поднялось, и это вместе с межрайонцами, а там одних большевиков было больше, но — струсили и дали себя одурачить. И это большевики — из такого теста? Да если наши собственные

ряды расползаются — кто ж нас будет уважать? Что ж Совет? — мы там в меньшинстве и через него взять власть не можем. Мы для них — «призываем к анархии». И вот на наших глазах вовлекают рабочих в обман «всенародного братства» или «единства всей рев-демократии», — а мы не берёмся разрушить: какое ж может быть братство с буржуазией или единство с оборонцами? Для того ли мы побеждали на улицах, чтобы теперь установить буржуазную законность и порядок? передать власть от одной клики к другой?

Но какое-то покорное соглашательство овладело ими. И особенно смущало, что и Митя Павлов, сидевший тут, тоже откачнулся, был за умеренных. Если Павлов так думал — значит, и многие квалифицированные рабочие тоже уже хотели покоя.

И хоть Шляпников был председатель БЦК, и единственный тут член ЦК, и лично отвечал перед Лениным за всю линию партии, и мог бы приказать боевым выборжанам восставать и без этого робкого ПК, — но как же почти одному против них? Не было у него уверенности стукнуть кулаком и крикнуть: а вот так!

А утекали, он чувствовал, неповторимые дни, когда Временное правительство ещё ни за что не держится, и сшибить его — только локтем двинуть.

385

Сперва в смех, а потом и серьёзно решили члены ИК, что надо всем отдохнуть от так называемых «советских пленумов»: не только Исполкому работать нельзя, всё время кому-то отвлекаться на Совет, но даже нельзя из комнаты в комнату протиснуться по дворцу революции — столько набивается этих рабочих и солдатских депутатов, неразбериха, просто уже невыносимо. А толку с них — абсолютно же никакого, ни одного вопроса с ними обсудить нельзя, да и не там их решать: вся текущая и ответственная работа, все политические задачи ложатся только на Исполнительный Комитет. Нет, к чёрту этот перманентный митинг, найти надо способ покончить с ежедневным многолюдьем, — да ведь каждый день ещё и добавляется новых «депутатов», так и прут, и прут. А пойди попробуй теперь их распусти! — кто это сумеет и посмеет!

Уже столько набралось этих депутатов — сегодня, кажется, больше тысячи трёхсот, — что вот хлынули они в Белый думский зал. Но и в Белом зале заседало думцев никогда не больше пятисот, и кресла депутатские были с подлокотниками, из-за того вдвоём никак не втиснуться, — и все, кто места не захватил, теперь садились просто на ступеньки проходов амфитеатра, и густо забивали пол внизу, стоя, и хоры для публики, — да ещё ж некоторые солдаты до сих пор таскали при себе винтовки. А лестно им.

Истечь торжественной речью пошёл туда, разумеется, Чхеидзе, пока с утра ещё силы свежие. Взобрался на родзянкинскую председательскую вышку, куда и думать раньше не мог, и отсюда возгласил: пусть третьиюньская (и слова-то никто не понял) Дума заглянет сюда — и увидит, кто тут теперь заседает. И показывал — спускался — где раньше сидел Марков 2-й, а где сам Чхеидзе, — а скоро соберутся сюда и депутаты всенародного Учредительного Собрания. Потому что уже высоко поднято знамя всемирного пролетариата — и да здравствует этот момент!

А потом началась череда приветствий Совету — от Голутвина и Коломны, от Саратова, от каких-то полков, — и уже сам Чхеидзе не захотел там оставаться, спеша уйти на Исполком. Но и Нахамкис тоже не захотел идти председательствовать. Но — и нужно было всё-таки послать глотку, и энергичного. И сговорили туда — Богданова, меньшевика. Взялся.

Исполнительный Комитет тоже сегодня перебрался на новое место — в комнату близ Белого зала, по пути в Полуциркульный. Отчасти потому, что все уже знали место в прежней комнате, даже и за занавеской, и мешали заседать, особенно по тайным вопросам. Отчасти потому, что в прежних комнатах теперь разворачивалась канцелярия Исполкома — из домочадцев и примкнувших добровольцев, и там же с сегодняшнего дня будут раздавать своим горячие обеды и ужины. Да и правильно было — распространяться по Таврическому, укореняться и уже не дать переселить Совет депутатов ни в какое другое здание.

Ещё была забота: куда девать этих десятерых солдат, которых Соколов так опрометчиво избрал и привёл в Исполнительный Комитет? Сидеть серьёзно обсуждать что-либо вместе с ними — было невозможно. Правда, их избрали только на три дня, значит завтра — последний их день, да ведь не уйдут по-доброму? На сегодня убедили их, что их место — там, в Белом зале, где все солдаты. И они пошли, у-у-уф.

В новой комнате заседаний Исполкома тоже теперь учреждалось приятное заведение: на отдельном столе у стены было наставлено и навалено в изобилии: масло, сыр, колбасы, консервы, буханки пышного белого хлеба и двухфунтовые кульки сахарного песка — в изобилии, от которого отвыкли, потому что сахар уже несколько месяцев был по карточкам, и на белый хлеб тоже не всегда деньги бывали. Давно пора была такое учредить, потому что члены Исполкома истощались, изнурялись, по 10-12 часов невылазно во дворце и ещё потом заботясь, где бы поесть.

Теперь изменился самый вид заседаний, как бы добавлена была влага к их прежней сухости. Ни минуты не было такой, чтобы все сидели вкруг стола заседаний, но двое-трое-четверо постоянно стояли у того питательного стола, чаще спиной к заседающим и там чем-то шурша. Что тут отставало — сервировка: не было ни тарелок, ни ложек, ни вилок, а — кружки жестяные, и даже приржавленные. Но какой упоительно-сладкий чай можно было размешать карандашами или пишущими ручками! А всё остальное резали и брали, даже и консервы, перочинными ножами, помогая пальцами.

Один из вопросов сегодняшнего исполкомского обсуждения был — судьба Романовых. Но вопрос прошёл легче всего, почти и без прений: не нашлось у Романовых здесь защитника или сочувственника. Отречный Манифест Николая вызвал в Исполнительном Комитете только смех: вот это-то и вся сила царизма, которая нас так давила? Инсценировка приличной формы добровольного отречения, когда он стихийно низложен! Революция катилась своим ходом, и уже ничто не зависело от образа действий романовской шайки.

Другое дело — подлость и двуличие цензовиков. Только сегодня члены Исполнительного Комитета разобрались во всём этом фокусе: ведя неискренние переговоры с Исполкомом, цензовики тем временем втайне снарядили экспедицию к царю с попыткой спасти династию и монархию! Каково? Можно ли им вообще верить?! (Некоторые члены были просто вне себя.) Буржуазное коварство и пролетарская доверчивость! (Да как же прохлопали их поездку?! Да именно в те часы в министерстве путей сообщения не оказалось на месте Рулевского, который всё доносил в Совет, что делается у Бубликова.) Ах, цензовые мерзавцы! Закулисные безответственные переговоры! Правда, ничего особенного они не выиграли. Но ещё эта вчерашняя милюковская наглая фраза в пользу

монархии. И ещё сегодня возились с Михаилом. Да чем скорее изолировать династию — тем спокойней, никакой реставрации.

Это в принципе решено. Всех переарестовать. Сперва мужчин. Технику арестов должна бы разработать Военная комиссия.

Возмутительно и другое: поведение товарища Керенского! — вот что надо обсудить. (Его самого, конечно, не было здесь — он не считал нужным сидеть на Исполкоме.) Вращаясь там, в самом буржуазном гнезде, он не мог не знать о попытке плутократии спасти династию. И почему ж не протестовал? Почему не сообщил нам?

Да если говорить о Керенском, то возмущение им шире и глубже — этот вчерашний безстыжий фокус: выскочить перед несмысленной толпой и демагогически вырвать согласие.

Они все возмущались, но и понимали: Керенский вырвался на такой простор, где их осуждение уже его не задевало.

Он не явился на заседание сам, но имел наглость прислать им — из комнаты в комнату! — требование: командировать кого-либо из членов Совета в Петропавловскую крепость, где происходит разгром оружейных складов под руководством большевиков, — а всё оружие теперь принадлежит исключительно Временному правительству.

А Шляпников — хороший плут, у него даже перед товарищами по Исполкому всегда такое непроницаемое лицо, будто он вот сейчас уходит от филёров: выбрит, щёки гладкие, глаза невыразительно спокойные, усы застыли на верхней губе, волосы гладко зачёсаны, руки чаще всего на груди впереплёт. Чудится полунасмешка, но и не поймаешь прямо, чтоб смеялся. Все товарищи изо всех партий приходят в Совет как к себе домой — одни большевики неискренно, у них всё время своя конспирация.

И хотя тут Шляпников сделал невинный вид, пошёл звонить-проверять, а ясно, что знал, и даже скорей всего этой грабиловкой оружия и руководил тайно. И вернулся с таким объяснением: ничего не может поделать, никакого разграбления не происходит, рабочие в большой дружбе живут с солдатами Петропавловки, и те им от себя дарят часть своего оружия. И ничего плохого нет в вооружении рабочих: Совет же и будет более обезпечен защитой.

А из Белого зала тем временем доносились, при открываемых дверях, всё крики и приветствия, всё крики и приветствия.

Наконец вот теперь обязан был и мог Исполнительный Комитет упорядочить свою работу. До сих пор раздирали его противоречивые распоряжения членов, — что все заведывали всеми вопросами и, не зная или зная, отменяли один распоряжения другого. Сегодня, пока и солдат нет, разделились они на 11 комиссий и секретарём своим избрали аккуратного вежливого Капелинского, так что теперь появятся у них и протоколы.

Впрочем, недолгие часы они тут спокойно позаседали: уже проведали их новое пребывание, и уже сюда стали пробиваться искатели со внеочередными и экстренными заявлениями.

А у них зависали свои вопросы. Цензовики подняли большой шум о Приказе № 1, и Военная комиссия требовала: как понимать и чего держаться? И действительно, сам чёрт не поймёт, чего там наприказали, не все в Исполкоме и знали об этом приказе (и хорошо хоть успели снять выборность офицерства). И — *кому* приказали? Одному петроградскому гарнизону? А покатилось на всю Действующую армию, этого не учли.

Теперь большинство, кто и знал, стали отгораживаться, что они об этом приказе не знали. Хорошо: поручить Военной комиссии издать разъяснения к Приказу № 1.

Но тем более тогда в упор вопрос: как же они все относятся к продолжению войны? Всё недосуг об этом поговорить.

А из большого зала гудели.

Да товарищи! Да закройте же дверь, невозможно нам их слушать, у нас свои дела!

Своё главное дело было вот какое. Полная победа революции состояла бы в возобновлении нормальной жизни Петрограда. Пока там решится с заводами, — а самое видное и самое всем нужное дело — это пустить трамвай. Это было бы и облегчение для революционных жителей, и символ восстановления порядка при революционном строе. Но одно дело, что за дни революции трамвайные пути изрядно занесло снегом, и втопталось, и вмёрзло в лёд, и чистить предстояло ломами, даже в воскресенье, — а людей на работу теперь и в будни не найдёшь, кого брать? Городская управа находилась в полной растерянности и просила помощи Исполнительного Комитета. (Никому и в голову бы не пришло ждать помощи от Временного правительства.)

Но расчистить пути — ещё как-нибудь расчистят, а самый острый вопрос: как быть с солдатами? Ведь теперь, пользуясь завоева-

ниями революции, они все попрут в трамваи, да не на задние площадки, а внутрь, наряду с обывателями, — но платить гривенник конечно не захотят, а полезут безплатно, хоть одну-две остановки подъехать, — и так забьют трамваи, что уже ни старые, ни малые, ни женщины не сядут, и даже к трамваю не дотиснутся. И трамвай прогорит, и будет служить не жителям, а возить только солдат — а их в гарнизоне полтораста тысяч, это саранча!

Вопрос из технического вырастал в высоко политический! Разумно было заставить солдат платить хотя бы половину проездной платы — пятак. Но Исполнительный Комитет не мог опубликовать такого заявления, не теряя революционного лица! Масса вырвалась из рабства, завоевала свободу — и хотела пользоваться ею! Обращаться с гарнизоном надо до крайности деликатно.

И решили оставить солдатский проезд безплатным.

А ещё просила городская управа — призвать население возвратить трамвайные ручки и другие детали. В острый момент уличных волнений это была дерзкая находка, это был ключ Революции — отбирать у вагоновожатых трамвайные ручки.

А сейчас эти же ручки становились ключом к возврату в мирное положение.

ДОКУМЕНТЫ — 14

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

Из протокола 3 марта:

ПОСТАНОВЛЕНО:

1) …арестовать династию Романовых…

2) По отношению к Михаилу произвести фактический арест, но формально объявить его лишь подвергнутым фактическому надзору революционной армии.

3) По отношению к Николаю Николаевичу, ввиду опасности арестовать его на Кавказе, предварительно вызвать его в Петроград и установить в пути строгое над ним наблюдение.

Арест женщин из дома Романовых производить постепенно…

386

ЭКРАН

Герб государства Российского.

Оркестр играет воинский марш «Гренадер» — какой украшенный! сколько венков, сколько лавров!

Ближе —

Сколько острого во все стороны! Острые перья на сильных орлиных крылах.

Ещё приближаясь —

Верхние перья от силы и напряжения даже загнуты как когти. И две сращённых орлиных головы, с острой чешуёю грив.

Ещё крупней —

И языки, высунутые как жала.

И крючковатые клювы.

Это рисовалось в тёмной древности, напугать соседей насмерть. Это — царственные византийские орлы, и через свирепые глаза их, по одному на каждом, нам не проникнуть в их невиданные замыслы.

Две головы — две половины Великой Римской империи.

Марш «Гренадер»! Какой он праздничный, какой красовитый, гирляндный. Звуки любуются сами собою.

А с тех пор — меняли, меняли этот герб, то опускали крылья, то поднимали и вытягивали, то собирали хвост, то растопыривали. Сколько занимались этими орлами от Петра! — лепили их на знамёна всех частей, в навершья знамённых древков, на поясные бляхи, на каждую шинельную пуговицу.

А бывают марши — ноги еле касаются земли. Вот — Парижский марш 1815 года, марш всемирных и безкорыстных победителей: ах, ничего этого нам не надо, посмотрим и уйдём.

На чёрно-зелёное тело орла, на распластанные крылья набросаны, посветлей, восемь гербов царств, а спаянный центр покрыт большим щитом

Георгия Победоносца, поражающего змея с белого коня.

А с двух венчанных орлиных голов — две малых короны несут — ничем, лёгкой лентой, — несут над собой одну большую корону, объединяющую.

Она реет над гербом — ни на чём, на ленте.

Полки, полки, полки проходят где-то там внизу, под этим гербом, висящим в небе.

Отдаляясь —

Опять — весь герб целиком. И теперь мы видим его внутренние скрепы. Через шеи и спаянное двойное тело усилия переданы на лапы, вся сила в этих лапах,

и держит одна лапа скипетр, другая лапа — державу, — для той, верхней, короны.

Не являет нам природа такого. Но это — крепко сочленено.

А в каждом марше есть и своя печаль.

Кому как. Не залюбуешься — а страшно.

А крепко. Это может держаться, держаться…

Но — вошёл в кадр молот на ручке, от рук невидимых,

навис сверху сбоку —

Удар!

Удар! — и —

и — нет короны! И — нет одной головы!

Римская ли, Византийская, Российская —

Удар!

под молоток!

под молоток!

И — нет державы, отбита!

Удар!

Удар! И — нет второй головы с крылом, отбиты по изломанной линии!

И осталось — спаянное тело, прикрытое Георгиевым щитом, да в одинокой лапе одинокий скипетр,

протянутый теперь неизвестно кому.

Ещё это держится неизвестно на чём —

но ещё одним ударом разбивается вбрызг!

= И мы смотрим, как летят осколки

мимо молотобойца, ставшего на лесенке, —

мимо вывески «Аптека» —

вниз на тротуар,

где уже лежат и прежние деревянные ощепья.

= И кучка народа с красными лоскутами на грудях, на шапках

стоит и смотрит.

Громкий марш — «Радость победы»! Под этот марш мы побеждали, под этот марш мы шагали, не зная пределов. Какие были веселья раньше! — ах, и вот оно опять!

= И — ещё орёл, выступающий из вывески,
и — ещё его молотком!

«Радость победы»! — над проклятым прошлым. Как поют и обещают трубы!

= Невский проспект, одна сторона.
Да сколько ж этих орлов, не замечали, как изувешан ими проспект, не только на аптеках —
на вывесках присутственных мест,
дворцовых поставщиков,
других торговцев…

= Не ленятся люди высокие лестницы изыскивать, приставляют,
а то на грузовике въезжают на тротуар: удобно бить с платформы.
И — молотком его, проклятого!

= Или — ружейным прикладом!

= Или чёрной кистью замазывать, нарисованного.

«Радость победы»! Нельзя было веселей, чем раньше, а вот веселей! Нельзя было подхватистей, а вот…

= Навалено осколков. И целых орлов.
Прикладами их добивают на снежном тротуаре.
Ногами ломают и топчут.

Хохот толпы и возгласы — а ну, поддай!

= А дворники метлами подметают, подметают…
Живо подметают, может и не весело, но поворачивайся.
В перемеси под метлой — орлиные головы, короны, державы, скипетры.

= Перед Аничковым дворцом,
перед двумя его каменными воротцами
на тротуаре, на убитом снегу
натащили, насобрали груду этих обломков и —

= горит! Весело занялось! уж это весело!
Подхлопывают в ладоши, друг друга локтями под бок,
другим показывают, сами смотрят.

Но и в этом марше местами удивительная певучесть,
и она незаметно переходит в марш «Тоска по родине».

= Языки огня повторяют костровые взлёты орлиных перьев,
никогда не разгаданную костровую их обречённость! —
это и прежде было уже готовое пламя, только чёрно-зелёное!

«Тоска по родине»? — полки шагают где-то далеко? И — когда, когда ещё мы вернёмся?..

= А солдат штыком подсовывает обломки гербов в костёр, державы, короны
цепляет и подкидывает их туда, гуще в огонь.

387

Сегодня утром на квартиру к прославленному адвокату Карабчевскому, председателю петроградского совета присяжных поверенных, позвонил телефон. И голос, даже в трубке молодой и вибрирующий, объявил:

— Николай Платонович! С вами говорит министр юстиции Александр Фёдорович Керенский. — Представлял себя как кого-то третьего и выше себя. — Вы знаете, сформировалось Временное правительство, и я взял в нём портфель министра юстиции.

Если бы не член Государственной Думы, Керенский был адвокат-мелюзга, юрист приготовительного класса, всего Уголовного Уложения даже и не знал. Но вот соотношение резко менялось:

— Поздравляю вас, Александр Фёдорович!

— Спасибо большое. — И сразу к делу: — Николай Платонович! Я намерен поставить правосудие в России на недосягаемую высоту!

— Превосходная задача! — только и мог изумиться Карабчевский.

— Я хочу, — звонко продолжал мальчишеский голос с того конца, — совершенно обновить состав министерства юстиции. И состав Сената. И всё это, разумеется, из сословия присяжных поверенных. Не могли ли бы вы сегодня же — это дело не терпит отлагательств — собрать ваших товарищей по совету? Чтобы я мог с вами посоветоваться и наметить всех кандидатов.

— Увы, — только мог погоревать Карабчевский. — Помещение нашего совета, как вы знаете, погибло при пожаре здания Судебных Установлений.

Керенский не упал духом:

— А вы не хотите принять меня и совет у себя дома?

Напор — как буря, не устоишь. Да наверно и надо соответствовать событиям и восхождению нового министра. Уговорились: после трёх часов дня. Уж там как ни относись к присяжному поверенному Керенскому — но всем интересно и нужно осмотреться в грандиозном повороте истории.

К трём часам в большом кабинете Карабчевского уже все собрались, расселись в креслах и на диванах. Как ни в какой другой среде здесь было много «определённо левых», и они ликовали, у них был праздник все эти дни и вот в эту минуту. Сам дородный Карабчевский и другие солидные адвокаты смотрели на события с энтузиазмом сдержанным (у Карабчевского был и осадок возмутительного отнятия его автомобиля, до сих пор и не найденного), — но тем более считали себя обязанными помочь правосудию удержаться на высоте и в этом революционном потрясении, быстрота которого поражала воображение.

И всем было необычно увидеть вот сейчас в министре — не важного императорского чиновника, а доступного коллегу по сословию.

И ровно в три часа распахнулась дверь в канцелярии Карабчевского, но вошёл не ожидаемый министр, а громоздкий, неуклюжий, с виноватым видом граф Орлов-Давыдов, — Карабчевский знал его хорошо, ибо вёл его дело когда-то. Граф объявил от имени Александра Фёдоровича, что Алексан Фёдыч несколько запоздает, его задержали в Думе, а он, Орлов-Давыдов, просит разрешения здесь дожидаться. Карабчевский отвёл его в другую комнату.

Ждали министра, обсуждая происходящее, бывшее и небывшее. Вот — сгорели при пожаре Окружного суда в с е нотариальные акты Петербурга! Передавали слух, что члены Думского Комитета, объявляя власть, все имели при себе яд, — и если бы пришли правительственные силы, то все покончили бы с собой. (Карабчевский не верил. Да что уж так могло им угрожать?)

Вдруг послышалось движение в передней. Швейцар ретиво распахнул дверь кабинета — и быстро вошёл, полувбежал стройный худой молодой человек с коротким бобриком светлых волос и в чёрной какой-то рабочей куртке (однако в талию), которой стоячий воротник так высоко облегал его узкую шею, а борт застёгнут наглухо, а обшлага тесны в кистях, — что ни проблеска белой сорочки не было видно нигде, как будто куртка надета на голое тело.

Так никто не одевался в обществе, что-то было военно-походное в этой одежде и что-то сразу необычное, выделявшее нового министра от смертных.

А за ним поспешал ещё молодой человек, в военной форме, но узнали его — тоже присяжный поверенный. Лёгким движением левой руки наотлёт Керенский бросил, что это за ним — офицер для поручений при министре.

А из другой двери нетактично высунулась крупная голова Орлова-Давыдова, наблюдая, но не решаясь сюда.

Все поднялись — и Керенский, закинув голову, замер, ожидая себе приветствия. Он был очень гладко выбрит, но впечатление, как если б на лице ещё ничего не росло. Однако сияюще-вознесённый вид его выражал такую пламенную веру, что было даже и не смешно.

И Карабчевский, с пышной львиной головой (лев процесса Бейлиса), со значительностью старого адвоката, владеющего и величественными жестами, и бархатным голосом, — произнёс министру-мальчику ожидаемую речь, хоть и краткую. Что петроградский совет присяжных поверенных желает новому министру юстиции стать стойким блюстителем законности, в которой так нуждается Россия, измученная беззаконием.

Всё в том же замершем, запрокинутом положении Керенский выслушал — а затем раскинул обе лёгкие руки в стороны, как бы желая обнять тут сразу всех, — и с пулемётной скоростью и с подкупающей искренностью, весь исходя от искренности, высказал:

— Дорогие мои учителя! Дорогие товарищи! Я ещё не принял министерства — и вот я уже с вами! Если всё-таки есть в России что-нибудь действительно достойное и хорошее, и может быть единственно достойное и хорошее, — то это несомненно адвокатура. Кто же другой всегда стоял на страже права и свободы? И вот — я с вами в первые же часы моей деятельности! И я пришёл просить вас принять посильное участие в поднятии правосудия на высоту, которая соответствует важности исторического момента!

Он, конечно, мог бы сказать ещё многое-многое, но чувства не давали ему вымолвить больше. А кинулся он — обнимать и лобызать всех присутствующих адвокатов, начиная с Карабчевского.

И так быстро и порывисто это произошло, с такой отдачей чувств, что когда он всех перелобызал и его усадили в кресло — он был близок к обмороку. И узкое лицо его, побледневшее, слишком моложавое, и слишком тонкая шея, и эти короткие волосы, об-

стриженные по-мальчишески, вдруг выявили хилость его и беззащитность.

Руки его похолодели. Бледность была глубокая, голова откинута на спинку, глаза еле смотрели.

Карабчевский перепугался, что министр сейчас и умрёт у него в квартире. Он распорядился быстро подать крепкого вина.

Министр почти не выказывал движения. Все, столпясь, затаили дыхание между жизнью и смертью. Орлов-Давыдов, похожий на крупного печального пса, уже полностью втиснулся через дверь и успокаивал, что с Алексан Фёдорычем это бывает — от слишком глубоких чувств, от переутомления, сейчас пройдёт. Надо бы навеять ему к носу нашатырного спирта.

Но уже Карабчевский подносил к безжизненным губам стакан с вином. Керенский сразу отозвался губами и несколько раз глотнул.

И продолжал лежать откинуто, но уже и приходя в себя. Возвращались краски в его худое лицо. Черты уже не были такими обречёнными.

— Я устал… я у-жас-но устал, — слабо произнёс министр. — Четыре ночи совершенно без сна… — но возвращалась гордость в его взор: — Зато — свершилось! Свершилось, чего мы даже не смели ждать!

Все рассаживались, а волосатый Орлов-Давыдов утеснился в соседнюю комнату.

Живеющий министр не упустил посочувствовать, что из-за пожара адвокаты лишились такого прекрасного устроенного помещения.

Встречно-вежливо Карабчевский возразил:

— Да, печально, что погиб старый уют, но и знаменательно, что так порвана наша связь со старым судом, мы больше не зависим от него, но призваны исправить содеянное им зло.

Раздались вопросы — узнать у министра о подробностях формирования нового правительства.

Всё легчая и жизневея — Керенский всё легче и быстрее стал говорить, и уже свободно задвигалась его узкая голова, и уже руки заплясали на подлокотниках.

— Господа! Я принял этот пост для спасения родины! Сознавая всю важность и всю ответственность…

Он перечислил главных министров, но довольно небрежно, ни одного с почтением. Он так прямо и говорил, что самым порази-

тельным и самым радикальным министром является, конечно, он сам, — к тому же в должности генерал-прокурора. И уж теперь в деле российского правосудия не будет места никаким компромиссам с реакцией, за это он ручается! Теперь, — грознел его вид, а всё же по-гимназически, — в юстиции начнётся самая основательная *чистка*!

Да, но, смущённо возражали ему, ведь судьи и сенаторы по закону несменяемы, и это важное приобретение александровских реформ…

Да, да! Керенский, разумеется, высоко ценит принцип несменяемости судей, даже особенно глубоко предан этому священному принципу, мы все отстаивали его против когтей самодержавия. Да! — но и невозможно же не сменять! Надо же расчиститься! Ну, надо будет найти способы вынудить некоторых уйти добровольно.

— Ах, да вот, — обратился он тут же к одному из присутствующих членов совета, — вы сумеете нам это устроить, не правда ли? Вот сейчас я назначаю вас директором департамента по личному составу. Надеюсь, вы соглашаетесь?.. Господа, надеюсь, вы одобряете?

Никто не возразил ни слова, хотя и недоумевали. Назначенный был известен лишь левыми партийными пристрастиями, но также и леностью, и слабой деловитостью.

А министр спешил дальше в раздаче должностей, видно было, как он гордился, что это происходит так просто, по-дружески, среди равных и на частной квартире, как не могло бы быть при окостеневшем царском режиме. Назначал с домашней лёгкостью, ничего не записывая.

Нужен был прокурор петроградской судебной палаты. Кто-то предложил Переверзева — защищал потёмкинцев, славно вёл себя при процессе Бейлиса, да и не в одном политическом процессе, а сейчас — на фронте, в питательном отряде. Карабчевский возразил:

— Но он носится там на коне. Пусть.

А Керенскому сразу понравилось.

— Так пусть носится на коне — здесь! Прокурор революции — и на коне! Великолепно! Назначаю!

Но задумался о Карабчевском:

— Николай Платонович! А вы? Хотите стать сенатором уголовно-кассационного департамента? Соглашайтесь! Моё твёрдое на-

мерение назначить нескольких присяжных поверенных — сенаторами! Да, кстати, знаете, — вспомнил или даже всё время помнил: — Разбирали дела в уголовном отделении министерства юстиции и обнаружили рапорт Протопопова о возбуждении уголовного преследования против вашего покорного слуги — за одну из моих речей в Думе. Как вам понравится? — склонил он голову набок, пожалуй несколько кокетливо при такой строгой чёрной куртке. — Ещё бы немножко, ещё бы не произойди революция — и я… увы… Мы бы не встретились с вами вот так…

Всё же Карабчевский не был убеждён щедрым предложением, какая-то несерьёзная игра, не может быть, чтоб эти лёгкие назначения так все и состоялись. Просил оставить его как он есть, адвокатом.

А что он был за адвокат, это знали все. Кто в русской адвокатуре мог забыть его громовую защиту Сазонова, убившего Плеве! Он превзошёл все адвокатские пределы, не Сазонова оправдывал, но обвинял убитого Плеве: повесил такого-то, заточил тысячи, глумился над интеллигенцией, душил Финляндию, теснил поляков, подстрекал к избиениям евреев!.. Судья останавливал, а Карабчевский львино-величественно: «Я имею в виду — так понимал Сазонов: Плеве — это чудовище! Убить его — значит освободить русский народ, это благодеяние!» Ах, какие ж безсмертные речи произнесены в России, — нет, это никогда не умрёт, это даст стократный урожай свободы!

Так и сейчас:

— Я ещё пригожусь кому-нибудь в качестве защитника.

— При новой власти? Да кому же? — с блуждающей рассеянной улыбкой удивился Керенский. — Разве что Николаю Романову?

— А что ж? — гордо принял вызов Карабчевский. — Хоть и ему. Если вы затеете его судить.

Керенский задумчиво откинулся, ища глазами где-то выше собравшихся. Потом, при всеобщем молчании, протянул указательным пальцем поперёк своей шеи — и резко вздёрнул палец кверху.

И все поняли знак: повешение!!

Никак иначе нельзя было понять.

А Керенский обвёл всех загадочным взглядом, всё ещё куда-то прислушиваясь:

— Две-три жертвы, пожалуй, необходимы? — то ли советовался, то ли сообщал несомненное.

— Нет! — осмелился Карабчевский возразить при гробовом молчании. — Только не это. Забудьте вы о французской революции, лучше забудьте! Стыдно повторять её кровавые следы. Мы — в двадцатом веке.

Раздались и другие голоса, прося не применять смертной казни.

— О да! о да! — совсем легко, новым порывом согласился Керенский. — Безкровная революция и была всегда моя мечта! О, подождите! Своим великодушием мы ещё поразим мир не меньше, чем безболезненностью переворота!

И он горячо заговорил, как будет немедленно создано множество законодательных комиссий, как будут пересмотрены решительно все законы. Как подарены будут стране первыми же декретами — еврейское равноправие во всей полноте! и равноправие женщин!

— Но! — И грозно поднял палец, и юношеский голос ометаллился. — Из первых же наших действий будет — создать Чрезвычайную Следственную Комиссию для предания суду бывших министров! сановников! высоких должностных лиц! А председателем назначу, — захохотал, но и снова строго, — московского присяжного поверенного Муравьёва! А? За одну фамилию! Пусть вспоминают Муравьёва-вешателя, Муравьёва-министра — и трепещут! А?

Разносили чай.

388

Всё отравлено. Пылающая работа — а вываливалась из рук.

Час за часом, запершись в кабинете министра, Бубликов не отлипал от телефона: вёл переговоры с Родзянкой, с другими — остаться министром путей. Родзянко уже подавался, обещал, что Некрасов, может быть, перейдёт на министерство просвещения. Да может Бубликов сам приедет на переговоры?..

— Да не желаю я с ним говорить! Ноги моей не будет здесь при Некрасове ни минуты, он — в одну дверь, я из другой!

Положил к их ногам победу, Россию! — не могут оценить, скоты!

Такая мысль: каждый час, что Бубликов ещё здесь, — это его выигрыш. И надо бурно нараспоряжаться, наделать реформ, хоть оставить после себя незабвенную революционную память.

И составлял и рассылал по линиям директиву за директивой.

Отменить все распоряжения прежних комитетов по охране дорог.

Освободить всех арестованных или наказанных этими комитетами.

Объявить всем железнодорожникам: возрождение России к новому свободному бытию вселяет твёрдую надежду на беззаветное исполнение каждым своего долга, и потому больше не понадобится никаких наказаний.

С Виндавской дороги сообщают: солдаты разносят станции, буфеты.

Ничего, лес рубят — щепки летят.

Стали обсуждать с Ломоносовым: ну что это, правда, за правительство? Стыдно. Кто там специалист? Надо было 50 лет завоёвывать свободу, чтоб составить какой-то сброд безруких. Практику-деятелю смотреть со стороны — просто невыносимо.

А Ломоносов уже собрал типографов (ротмистр Сосновский поставил при типографии караул), но весь день не мог начать печатать Манифеста: из Таврического не велели. При полной ясности положения — не велели! Идиоты, чего ждут? Кажется, ясно: чем скорей напечатать — тем скорей и развязаться с Николашкой.

Пока сделали самодельную копию отречения, сами же и заверили. Её (не гонять же по опасным улицам драгоценный подлинник) и послали по требованию правительства, почему-то на Миллионную 12.

Пока там тянулось, тут со своими обсуждали: чего хотеть? Парламентарной монархии? А может быть — низложения всей династии? Гораздо красивей, революционней, пороховой дым! Но во время войны?..

Наконец свой же Лебедев позвонил с Миллионной, где остался разведчиком: ура! Ещё одно отречение — в пользу Учредительного Собрания! Набоков сел писать акт.

Потрясающе! Как золотой сон. Старые святые слова — Учредительное Собрание!

Но когда же привезут печатать? Что же, проклятье, не разрешают? Они всю революцию погубят! Династия обернётся — и всё заберёт назад.

А Совет депутатов — обогнали нас, подлецы! — не имея текстов, выпустил по улицам летучку с главным: «Николай отрёкся в пользу Михаила, Михаил — в пользу народа!»

Наконец пришла из Думы команда: печатайте первый Манифест.

А второй где?

А второй почему-то князь Львов увёз в Думу и пришлют после.

Ломоносов спустился в типографию и там, наслаждаясь голосом, вслух прочёл отречение Николая.

Два старых наборщика истово перекрестились, как на покойника.

389

Бывший и последний секретарь Льва Толстого Валентин Булгаков, ещё молодой человек, — в эти дни по командировке Земсоюза, в котором отбывал военные годы, попал в Петроград. Теперь, видя всё, что здесь делается, окончательную победу нового строя, а значит, предполагая скорую широкую амнистию, он почувствовал ответственность и заботу: как бы выручить из тюрем толстовцев, малеванцев и субботников, которые по своим убеждениям отказались нести военную службу и отбывали каторгу или арестантские роты. Безпокойство было в том, что их числили не как религиозных, а как уголовных преступников, — и амнистия, составленная в революционных попыхах, могла их не учесть. А между тем, как понимал молодой толстовец, это были лучшие чистейшие люди, чьё нравственное сознание переросло сознание современного человечества на века вперёд, и вся вина их в том, что они выше оставшихся на свободе. Таких было по России несколько сот человек, и надо было спешить их освободить.

Однако к кому обратиться? как? Очевидно — прямо к новому министру юстиции Керенскому. Известный своей справедливостью и безстрашием, молодой министр, смелый друг свободы, не побоится упрёков в германофильстве и решит вопрос кратко и благоприятно. И надо спешить, пока амнистию ещё не опубликовали.

Но Булгаков и каждый из предыдущих дней пытался проникнуть в Таврический, ему не удавалось. На всякий случай он сперва написал министру письмо, всё изложил, заклеил.

Сегодня до самого дворца и внутрь сквера добраться оказалось нетрудно, но на крыльце проверяли очень строго, требовали пропуск.

Придумал показывать всем стражам свой собственный конверт, что необходимо передать его лично в руки министру. Стали ему советовать, как достать пропуск. Сначала пустили в первую дверь, в канцелярию коменданта. Там — не дали, послали в приставскую часть. Там ответили, что ничего не знают. У входа в Екатерининский зал студенты-контролёры послали за пропуском наверх, в Военную комиссию.

Опять коридоры, закоулки, закоулки. У некоторых дверей — часовые с ружьями (но курили на постах). Витая железная лесенка чуть не на чердак. Здесь — низкие потолки, накурено, много офицеров, есть и солдаты, все толкаются, протискиваются, разговаривают. На одной двери надпись, на клочке бумаги синим карандашом: «Военное министерство». Развитой матрос спрашивает входящих:

— Вам — зачем?

Булгаков показал конверт — матрос пропустил.

В маленькой комнатке с низким потолком, наполненной табачным дымом и людьми, заплёванной, загаженной, — развидел два-три стола с бумагами. За одним столом сидели солдат и барышня в белой тонкой кофточке, лицо красное, обмахивалась платочком, Булгаков стал повторять своё и доставать из карманов бумаги Земсоюза, чтоб удостоверить личность, — солдат и не взглянул, а быстро стал вписывать в бланк, напечатанный на ремингтоне: «Удостоверение. Выдано сие (имярек) на право свободного входа и выхода из Государственной Думы как работающ… в Военной комиссии. За начальника общей канцелярии…» Печать Думского Комитета.

И даже за это время с Булгакова полил пот. Он поспешил с бумагой вниз. Теперь ему было открыто всё.

И попал в коридор, где было людей меньше и говорили тихо, курьеры давали справки, где кого искать, и в никакие двери не проходили без предварительного доклада. А у нужной двери ответили, что Керенского сейчас в Таврическом нет.

Вот те раз, вот и добился. Догадался, будет не хуже:

— А Василий Алексеевич Маклаков?

— Сейчас посмотрю. — Но курьер не в дверь пошёл, а к длинной вешалке, тут же в коридоре, и стал перебирать шубы и пальто.

— Нет, и Маклакова нету.

Так и кончилось задуманное ходатайство. Больше ничего придумать не мог Булгаков, а пошёл в Екатерининский зал, пока поболтаться в Думе.

Там шёл митинг. С возвышенной открытой лестницы, ведущей наверх, к хорам думского зала заседаний, какой-то офицер один раз и ещё раз читал отречение Николая. Потом загудели, раздались крики: «А Михаил?» Снова кричали: потребовать сюда члена нового правительства для доклада.

Толпа, не слишком густая, переминалась, гудела. Толкались разносчики папирос, продавцы конфет. Пока заговорили другие, маленькие митинги. Близко тут юноша еврейского типа с горящими глазами призывал идти не за Временным правительством, не за помещиком Родзянкой, а за Советом рабочих депутатов.

Минут через десять на площадку поднялся господин, объявил, что он — член Государственной Думы Лебедев и ему поручено сообщить собравшимся, что отказ великого князя Михаила Александровича от престола действительно состоялся.

Зааплодировали. Закричали «ура!».

Тем временем входили в зал со стуком сапог, слышным и через шум, и независимо от митинга тут же выстраивались по длине зала вдоль колонн в две шеренги — какие-то юнкера. Говорили, что они хотят представиться новому правительству. Всё было здесь, всё в этом зале!

Но не нашлось ни единого свободного или охочего члена правительства, а вышел к юнкерам седой почтенный член Думы Клюжев, специалист по народному образованию, — и стал говорить старческим голосом — сперва спокойно, обо всех великих принципах от XVIII века, на чём стоит человечество, и о нашей матушке России, и о заветах великого Суворова, и как молодым офицерам предстоит стать воспитателями солдат, — и тут уже волнуясь, и голос старика задрожал, — как офицеры станут проводниками в народ, через солдат, просвещения и тех великих идей, которые выдвинуты нашей революцией.

Какая-то барышня, стоявшая близ Булгакова, громко стала протестовать:

— Неправда, неправда! Что за чушь он говорит! Неверно!..

За час Булгаков здесь разглядел множество вот таких чрезвычайно развязных барышень, и довольно растрёпанных, которые набились сюда, завладели почти всеми стульями, уселись полукругом против трибуны, больше всех шумели и решали, одобрять или не одобрять. Кто дал им эти полномочия? Чьи они были представители? Они держали себя каждая как голос самой революции. Ве-

роятно, имели родственные связи, знакомства с деятелями, так достали входные билеты, — и теперь всей массой выражали нужное мнение, заглушая всякое другое.

Один ближайший юнкер возразил той барышне. Она визгливо отстаивала своё, не стесняясь оратора.

Тут вышли, на лестничную же площадку, и объявили, что митинг в этом зале надо прекратить, он мешает заседанию Совета Рабочих Депутатов в главном думском зале.

Юнкера чётко повернулись, вышли строем, остальные разбредались, и некоторые барышни покидали свои стулья. Стал бродить по залу и Булгаков — и только тут увидел в дальнем левом углу ещё отдельную группу людей, сбитую вплотную и отгороженную от публики цепью вооружённых солдат. Что такое? Оказалось, это арестованные полицейские и городовые, которых переводили из помещения в помещение, но митингом задержали и оттеснили в Екатерининском зале, — и так они тоже невольно участвовали в нём.

Большинство полицейских были в штатском, глядели отчуждённо, иные исподлобно, — а гуляющие подходили на них поглазеть, кто с любопытством, кто с ненавистью.

Сходил Булгаков, спросил ещё раз Керенского, — нету. Отчаялся — и хотел уже уходить. Как вдруг увидел на проходе в Купольном зале характерную глыбную, со слоновьей головой, фигуру князя Павла Долгорукова, председателя московского комитета кадетской партии. Вот удача! — такой видный человек, совесть кадетской партии, и знакомый: он бывал в Ясной Поляне и на московских собраниях Толстовского общества. Вот выручка! Булгаков поспешил ему наперерез. Князь узнал.

— Батюшка! Каким образом вы здесь?

Булгаков рассказал, и с большим волнением, о своём деле. Он теперь рассчитывал, что сейчас Долгоруков всё и проведёт, хоть через Милюкова:

— Павел Дмитрич! За что же, в такое время — самые чистые, самые нравственные люди будут оставаться в тюрьмах?!

— Да-а-а, — как-то ослабла и немного обвисла голова князя, — это — щекотливый вопрос…

— Но, Павел Дмитрич, но почему же? Разве месяц, разве неделю назад мы бы так рассуждали? Вопрос несомненный, это чистые узники совести! Что же изменилось? От революции может прийти только быстрейшее освобождение!

— Да-а-а, голубчик, — соображал и тянул князь. — Именно, что дело изменилось. При царе мы бы никто не сомневались… Но если в нынешней обстановке да объявить им всем освобождение? — ну подумайте сами… Опасно! Ведь это — сколько симулянтов за ними потянется. Кто же будет дальше воевать? Знаете, я бы очень советовал вам не поднимать пока этого вопроса… Он может очень осложнить положение нового правительства.

390

Измена подсекает нас хуже, чем любая внешняя беда: это — как истечение главных сил из нашего сердца, не вознаградимое никакими уже средствами.

Всю минувшую ночь паляще жгла сердце государыни измена экипажа, как-то отодвинутая чередой дневных событий, возвратилась — и жгла. И измена тех генералов или кто там был близ Государя сейчас — вместо поддержки продолжавших держать его в капкане. И — не знала она, чья ещё измена, но — многая, если отлила вся помощь повсюду, и как не стало близких, и как не стало верных, — а уж чужих и врагов хватало всегда. Да и Саблин — на каком уж таком *учёте,* что не мог приехать даже переодевшись, как Апраксин?

А — что с Ники? Зачем он вторую ночь во Пскове? Почему он не двинется сюда с войсками?

Людям большой энергии, какою была Александра Фёдоровна, невозможность действовать и даже знать события — источительна.

Еле заснула она часа на полтора под утро. Утром посмотрела на себя в зеркало — как похудела и постарела в несколько дней! А сердце — ещё расширилось с болью, как бы сдвинулось. И ноги болели, еле ходила.

Но и с детьми стало хуже: воспалились и сильно болели уши, корь обещала развиваться с тяжёлыми осложнениями. Только наследник был лёгок, и Мари ещё держалась.

Неустойчивое состояние между дворцом и гарнизоном Царского Села продолжалось и после того, как депутаты Думы объехали гарнизон. Но, разумеется, защитники дворца не могли бы противостоять штурму, да нельзя было и допустить кровопролитие! Так и ходили патрулями у дворца с белыми повязками на рукавах,

как нейтральная служба. А герой генерал Гротен сидел арестованный в ратуше. Такого защитника не стало!

А что будет с дворцами Павловским, Гатчинским, Петергофским, Ораниенбаумским? В любую минуту они могут быть разбиты, разграблены — и нет сил помешать.

Ничего нового не притекало — события как остановились. Да опрокинутый Петроград уже не мог принести благой новости, разве ещё о новых и новых арестах. Телефоны молчали. Не приезжали дружественные вестники.

И день шёл, и день шёл — а изо Пскова от Ники больше не было ни строчки. Офицеры уехали — достигли ли его? Ах, хоть фразу бы одну от него! Телеграмму!

Легче, что стала обо всём говорить детям открыто.

А погода стояла — солнечная, чистая, ни облачка, ни ветерка! Значит: верь и надейся.

Нашли хороший исход томительным этим часам: большую икону Божьей Матери принесли в зелёную спальню, где лежат дети, пришёл священник от Знаменья, и отслужили чудный молебен с акафистом. Очень ободрило!

Бог — над всеми, и надо жить безграничной верой в Него. Мы не знаем путей Его, ни того, как Он поможет, но Он услышит все молитвы.

Потом икону пронесли с пением и каждением черезо все комнаты. Вынесли и во двор, обошли его с пением, ладан к небу, золото иконы под солнцем. Понесли в то крыло, к Ане.

Тут узнала государыня, что во Псков собирается офицерская жена, — и сговорились, что она возьмёт письмо для Государя.

Какой выход сердцу! — можно писать!

Но — и нельзя писать много и слишком ясно: не будут ли обыскивать её по дороге? — теперь все сошли с ума.

Любимый, душа души моей, мой крошка! Ах, как моё сердце обливается кровью за тебя! Схожу с ума, не зная ничего, кроме самых гнусных слухов, которые могут довести человека до безумия, разодрать сердце. Ах, мой ангел! Бог да смилуется и да ниспошлёт тебе силу и мудрость! Он вознаградит тебя за эти безумные страдания. Всё должно быть хорошо, я не колеблюсь в вере своей. Мы все держимся, каждый скрывает свою тревогу. Слишком много на душе и сердце, невозможно писать…

Я — держусь только верой в своего мученика и ни во что не вмешиваюсь сама. У меня страх повредить что-нибудь неправиль-

ным действием, ведь нет известий от тебя. Из *них,* из думских, я никого не видела и ни о чём не просила, так что не верь, если тебе скажут такое, теперь все лгут.

И тут — как в подтвержденье, что все теперь неимоверно лгут, пришёл потупленный, смущённый Бенкендорф и просил разрешения передать тёмный, невероятный слух.

Что ещё? — взялась государыня за сердце.

Какими-то неизвестными путями и неизвестно от кого пришёл такой вздорный слух: что Государь вообще отказался от престола, полностью.

Ну, это уже было настолько закрайне дико, что государыня даже и не расстроилась.

Писала письмо дальше.

Но перед вечером, ещё не успела окончить и отправить, — доложили ей, что приехал великий князь Павел.

Обрадовалась: прорыв молчания, поговорить со свежим и, в общем, доброжелательным человеком.

И сразу — поразило его лицо. В прошлый визит он старался держаться с важной значительностью, отстаивая себя, — сейчас нёс бережное выражение, как при подходе к постели больного.

Долгим поцелуем он припал к руке государыни. Выпрямился — и всё молчал.

И вот только тут государыня испугалась.

— Что?? Что с Ники?? — спросила она отрывисто. (Она подумала, жив ли?)

— Ники здоров, — поспешил исправиться Павел. — Но в такую тяжёлую минуту я хотел быть с Вами рядом…

— Что-о-о??? — вскричала государыня.

— Вы не знаете? — удивился он.

И достал из кармана свёрнутый — и стал разворачивать — какой-то куцый типографский листок с крупными бледно-чёрными буквами на ужасной бумаге.

И это было — экстренное сообщение об отречении Государя от престола — и за себя, и за наследника. Только — эта фраза, ни текста, ни подробностей.

— Не может быть! Обман! Подделка! Сейчас всё подделывают! — вскричала она и топнула ногой.

Но — на кого? Но — откуда бы взялся этот листок, накатанный, накатанный, накатанный типографскими станками?

Да ни при каких обстоятельствах! Да Ники предпочёл бы умереть, чем подписать такое!

Но седой величественный Павел стоял скорбно.

Но сама грязнота, чёрная серость, отвратительность бумаги отнимала возможность спорить.

Является к нам правда в невозможных облачениях.

— Всё кончено, — говорил Павел. — Россия — в руках самых страшных революционеров.

Однако вид его был не совсем в тоне этих слов. Однако свой дурацкий манифест он послал в Думу, признавая новую власть.

А теперь ещё плёл: что написал сегодня Родзянке, умоляя его вернуть Государю конституционный престол.

О нет! О, не то!

Как душа вылетает из тела при смерти — так из государыни взлетело сознание вверх, ввысь, в небо, ища на самых вершинах бытия объяснения происшедшему.

И там, в поднебесной выси, она поняла своего возлюбленного мужа: он — остался верен себе. Он уступил по вынужденности — но не в главном. Он не подписал противного тому, в чём клялся на коронации. Он — не нанёс ущерба самой короне, не разделил её. Он не присягнул никакой мерзкой конституции. Он спас свою святую чистоту. Он клялся — передать сыну. Но не мог передать ему неполную власть, вот в чём дело! И Алексей малолетен и никакой конституции не может присягнуть.

Едва успела она вернуться из этого взлёта — уже ноги подкашивались. Она опустилась в кресло и плакала.

Павел торжественно-печально стоял перед нею.

Он, кажется, долго был готов утешать государыню. Но она не нуждалась в нём — и скоро отпустила.

Ей легче было всю эту грохнувшую тяжесть перемолоть, переварить одной.

Что-то он ей посоветовал напоследок — она не услышала и не усвоила. Только через час вспомнила его фразу: он предложил ей описать свои драгоценности и сдать Временному правительству на хранение. Чушь какая.

Но Павел — от лучших чувств. Оказывается, уезжая, с подъезда дворца он ещё обратился к невыстроенной толпе солдат:

— Братцы! Наш возлюбленный Государь отрёкся. Во дворце, который вы охраняете, уже нет императрицы с наследником, а си-

делка с больными детьми… Обещайте мне, вашему старому начальнику, сохранить их здравыми и невредимыми.

Обещали разноголосо.

Неужели — только сиделка?

Нет, ещё не могла себя государыня почувствовать такой.

Но и голова и грудь не успевали за узнанным.

Иуда Рузский! — это, конечно, устроил всё он!

Пошла — поделиться. С Лили. Она не говорит по-английски, с ней — по-русски.

— Ваше Величество, я люблю вас больше всего на свете! — заплаканно восклицала Лили.

— Я знаю это. Я вижу, Лили.

Лили побежала за доктором Боткиным — и тот пришёл с лекарствами.

Мари, узнавшая первая из детей, горько рыдала, скорчившись в углу большого дивана.

А сказать больным — не было сил. И — незачем.

Ещё надо было утешить и старого Бенкендорфа.

Но в каком душевном тупике, в каком отчаянии и безсилии Ники мог подписать такое? Всё, что строилось 22 года, — а ещё раньше отцом — а ещё раньше дедом — и прадедом, всё обрушить одним движением пера?!

Нет, только не упрекать его теперь, ему тяжелее всех.

А что, если послать — по бездействующим проводам — в никуда — безнадёжную телеграмму?

О, никому не дам коснуться твоей сияющей праведной души!

391

Недолго радовался августейший Верховный Главнокомандующий новостям минувшей ночи. Уже под самое утро он отправил в Ставку свой торжественный Приказ № 1 — и едва прилёг, в сапогах, на диван, воображая, какое счастье ждёт Стану при пробуждении, — его самого через полчаса тронули за плечо: царского Манифеста не объявлять, задержать!

Что случилось? Ужасной тревогой объяло сердце! И… и…?

Нет, назначение Верховного не останавливалось.

Слава Богу. Россия, во всяком случае, спасена.

Но что там творилось во Пскове? Но что там мялся, упирался, цеплялся Ники?..

А может быть, пусть и остаётся? Уж никак не хуже Миши. Но и — Алиса тогда?.. И опять все дрязги сначала?..

И так в раздирающей неизвестности потянулся сегодняшний день, и всё не было полной радости.

Почти никто не знал роковой тайны, качания исторических весов, — и внешне Тифлис ликовал. Со вчерашнего вечера извергали газеты потоки революционных новостей. Ошалело радостный городской голова Хатисов вкатывался на приём — и был принят ласково. Отсюда нёсся разослать по всем городам, что на Кавказе нет коллизий между властью и населением. И — на экстренное заседание городской думы, доложить о приёме у Наместника. Что Верховный Главнокомандующий заявил: всякий, кто, состоя на государственной службе, осмелится не признавать распоряжений нового правительства, — будет немедленно смещён. Населению предоставлена полная свобода собраний! И распорядился освободить из бакинской тюрьмы политических заключённых.

И восточные улицы Тифлиса, и особенно Эриванская площадь, и у Куры, весь котловинный город под широкой заслоняющей горой Давида с белой церковкой на склоне и стрелой фуникулёра на вершину — был залит ликованием, и всюду красное. В железнодорожном посёлке «Нахаловка» происходил радостный митинг.

Они не знали, какая шла раздирающая борьба в сокрытии!

Августейший Верховный всей душой был заодно с этим народным ликованием и с новой властью. И выходил на обширный балкон дворца. И слал телеграмму князю Львову, так доброжелательному всегда раньше. Что просит его сиятельство с этой минуты держать великого князя в курсе положения дел в Империи, ибо только так Верховный Главнокомандующий может исполнить свой долг по руководству армиями.

Но качался Манифест, качался трон — мог качнуться и Верховный. А здесь, в Тифлисе, пост верный и достойный.

И — помоги телеграф, обгоняющий наши желания! — послать князю Львову ещё одну телеграмму, шифрованную и весьма секретную:

…С удовольствием могу засвидетельствовать, что народности Кавказского края относятся ко мне с доверием. Назначение нового Наместника сейчас было бы крайне опасно. Я признавал бы крайне желательным для общего дела — сохранить за мной звание

Наместника. А на время войны пока — мог бы оставить тут заместителя…

А между тем от Алексеева притекла среди дня запутанная и опасная телеграмма. Он как будто цель имел объяснить Главнокомандующим задержку Манифеста, а на самом деле выдвигал план, как противостоять Государственной Думе и её Председателю, и, быть может, даже новому правительству? Таинственное совещание Главнокомандующих наподобие заговора?

О нет! Видит Бог, отношения Николая Николаевича к новой власти ничем не омрачены, и он хочет сохранить их в чистоте. Никакого заговора он не допустит, это претит его рыцарской натуре!

И ответил Алексееву с холоднейшей настойчивостью. Что выражать мнение Армии доверено единолично Верховному, — хотя конечно он и будет осведомляться о мнении Главнокомандующих. А священный наш долг — выполнить долг в бою с врагом. Выехать в Ставку великий князь сможет лишь через несколько дней, а пока будет давать отсюда соответственные указания.

Хотя Николай Николаевич готов был крыльями сорваться и тотчас же лететь через Кавказский хребет в Могилёв, — но и кавказское наместничество не иголка, не бросишь так легко, да ещё при безмерной любви населения к тебе. А кружной железнодорожный путь ещё более растягивал время переезда.

Но очень безпокоит передача трона Михаилу. Это неминуемо вызовет резню. А при этом не указан следующий наследник: кто же будет *после* Михаила? Об этом важно знать мнение председателя Совета министров — он там у самого кипенья событий.

И снова слал генерал-адъютант Николай князю Львову уже третью телеграмму — шифрованную и весьма секретную.

…Мне необходимо срочно знать ваше мнение по вопросу о Манифесте. Лично я опасаюсь, что отречение в пользу великого князя Михаила Александровича — усилит смуту в умах народа, ещё при неясной редакции: кто же наследник престола? Вместе с тем мною получены сведения о готовящемся соглашении с Советом рабочих депутатов, о созыве Учредительного Собрания. Как Верховный Главнокомандующий, отвечающий за успех наших армий, должен категорически высказать, что это было бы великой ошибкой, грозящей гибелью России. Ни минуты не сомневаюсь, что Временное правительство объединяет вокруг себя всех патриотически мыслящих русских людей. Для общего успокоения умов

необходима будет торжественная присяга императора конституционному образу правления…

И с какой охотой, с какой свободой и сознательностью такую присягу тотчас бы дал Николай III!

* * *

Предатели народного счастья… Многолетние воры земли русской… Все эти совы чёрного монархического бора… Тугоухая старая власть…

* * *

392

И стали приходить в штаб Западного фронта ответы от Командующих армиями.

Из Несвижа Командующий Второй генерал Смирнов ответил: если решено ознакомить армию с положением внутри страны, то говорить только голую правду. Будет совсем плохо, если подорвётся вера солдат в разъяснения ближайших начальников. И — не обнаруживать неустойчивости в решениях: отмены и перемены вызывают шатания мысли.

Всё это была — чистозвонная истина для военного человека, так что даже стыдно выслушивать от подчинённых: только твёрдость, однозначность и открытость, и никак иначе! И вряд ли Эверт нуждался запрашивать об этом своих подчинённых: ещё со вчерашнего дня вместо всей этой неделовой переписки он должен был принимать решения полководца. И во главе Армии не мог стоять Алексеев, это ясно. Но где же великий князь, и сколько ему ехать?

Из Домбровиц Командующий Третьей генерал Леш ответил: пока в армии спокойно. Но откладывать совещание до 8-9 марта — долго, проникнут слухи, может повести к волнениям. Раз Манифест объявлен в некоторых местностях, то лучше придержаться его и объявить к исполнению.

Из Молодечно Командующий Десятой генерал Горбатовский ответил: передача престола великому князю Михаилу Александровичу не приведёт к успокоению страны. Наилучший выход — передать престол наследнику цесаревичу, коему и армия и народ уже присягали, а регентом установить великого князя Николая Николаевича как более популярного среди войск и народа.

Э-э-это уже начинался парламент, из трёх голосов уже разногласие, вот почему военная жизнь требует решения единоличного! Кому престол, кому регентство — наверху решили, не нашего ума. Но дальше писал Горбатовский правильно: откладывать решение нельзя ни на один день!

Да так же и сам Эверт думал. Вообразил себе тишайшего Алексеева, его ничтожное невыразительное лицо со щёлками глаз, — на что он способен решиться? Старательный штабной писарь, никакой не Главнокомандующий. Как же не повезло, что в эти решительные дни во главе российской армии стоит всего лишь — он!..

И, донося в Ставку, сведя всех трёх Командующих мнения, Эверт от себя выразился наконец:

«…Недопустимо медлить ни дня, ни часа! Необходимо дать войскам совершенно определённое…»

А — что определённое? Если там в Петрограде уже всё равно решили, подписали, — не может же армия идти наперерез?

…определённое объяснение о новом правлении и строе… Отсутствие официального объявления войска могут объяснить нежеланием начальников мириться с новым положением, их противодействием…

Вот в чём опасность. Да опасности со всех сторон.

…Создание Временного правительства, производство выборов в Учредительное Собрание ввергнут страну на продолжительное время в анархию. Войска тоже потребуют права голоса, и начнутся несомненные волнения.

Но решение всё-таки виделось, и Эверт предложил его Алексееву: повторить вчерашний приём — коллективное заявление Главнокомандующих, но только теперь по отношению уже к Государственной Думе: потребовать немедленного объявления высочайшего Манифеста, законно изданного Сенатом. И, во имя спасения родины, отказаться от Учредительного Собрания, которое поведёт к волнениям в стране и армии, разрухе и разгрому.

А если Дума не согласится?

…В противном случае просить о замене нас людьми, которые способны будут и в разрухе повести войска к победному концу.

Как будто уступка? Но уступка злорадная, с хохотом. Хотел бы он видеть тех победоносных генералов Временного правительства!

…И заявление это должно быть сделано — не позже утра завтра. И съезд Главнокомандующих недопустимо откладывать до 8-го, так быстро развивается обстановка!

Подписал своим палкообразным почерком. Хотел бы видеть, как сощурятся щёлки алексеевских глаз.

Над этим ответом Эверт оживился, подкрепился. Что, правда, какая слепая морока замутила его и их всех вчера: почему они потеряли военный голос? почему потеряли твёрдое стояние ногами? Как они смели так дерзко указывать Государю — а Думе не смеют. Зачем вообще вмешивались? А если уж вмешиваться…

Но если такими покинутыми ощущали себя Главнокомандующие, то каково же всем офицерам и солдатам Западного фронта, и с этим слухом о запрещённом Манифесте?

— Вот что, голубчик Михаил Фёдорыч, — сказал он Квецинскому. — А садитесь-ка вы да составляйте приказ по фронту.

Мысли Эверта зрели тяжело, каков и сам он был, но устойчиво, врыто.

— В таком духе напишите, как я люблю. Не приказ, а скорей отеческое наставление от меня. Мол, чтобы не тратили они зря время и нервы на безцельное обсуждение внутреннего управления. О порядке в тылу пусть заботятся те, на кого это возложено. А войска должны смотреть вперёд, в глаза врагу, а не оглядываться.

Приказ был неоспоримо ясный, и лысый Квецинский охотно пошёл составлять.

Но пока он составлял — Ставка всё не отзывалась никак. Замерла — и что они там решали? А часы уходили.

Ставка не отзывалась, но генерал-квартирмейстер принёс здешнюю минскую новость: сегодня вечером в городской думе собирается самовольное экстренное совещание земства, городских гласных, кооператоров, — и хотят выбирать «комитет общественной безопасности».

Что делать?? Ай, что делать?!

А — что делать? Если в Петрограде мялись, если в Ставке мялись, — как мог Эверт всё принять на себя и разогнать городскую думу? и запретить сборище общественных представителей?

О-о-о, тут дело тонко. Уже далеко зашло!

Принёс Квецинский заказанный приказ, отеческое наставление, уже чистейше отпечатанное, — а Эверт не подписывал. Погрузился в сомнение.

393

Отправив запрос Главнокомандующим, Алексеев нетерпеливо ждал ответов. Так же нетерпеливо, как и вчера.

И первый ответ не много замедлил: к трём часам пришла телеграмма — от кого же? — от Сахарова, от которого вчера дольше всех пришлось вымучивать ответ. Теперь он кратко, ясно отвечал, что съезд Главнокомандующих признаёт желательным, а со своими Командующими входит в обсуждение.

Эвертовская идея подхватилась. Но не слишком ли широкая получится консультация, если втянутся и все 14 Командующих армиями? Что из этого веча выйдет?

И тут же пришла неожиданная от Колчака. Да ведь ему запрос и не посылался? А он просто прорвал молчание: во флоте, войсках и населении до сих пор настроение спокойное. Но чтоб это было и дальше так, необходимо объявить: кто же является в стране сейчас законным правительством и кто Верховный Главнокомандующий? Адмирал не имеет этих сведений и просит сообщить.

Во всём этом было только то одно замечательно, что Черноморский флот спокоен. А в остальном Колчак делал гордое непроницаемое лицо: он как будто не получал не только вчерашнего запроса об отречении, но и сегодня ночью его телеграфы не принесли ему никакого Манифеста, и Колчаку даже в голову не могло прийти, что в этой стране может смениться Государь, а только спрашивал он высокомерно, какое там сейчас копошится правительство и, чёрт возьми, в конце концов, есть ли у нас Верховный Главнокомандующий, с кем можно бы разговаривать, не с вами?

Так и виделось его горбоносое прямое лицо с зоркими глазами и властными губами. Давно между ними была глубокая размолвка из-за Босфора. Теперь — углубилась.

И пришла телеграмма от Николая Николаевича, но тоже не ожидаемый ответ, а нечто странное. Верховный Главнокомандующий, не всюду ещё и объявленный, со своего опального кавказско-

го места как бы жаловался своему начальнику штаба: какой-то гражданский инженер распорядился снять охрану со всех закавказских железных дорог. На что отвечено, что это никак не возможно: в условиях Кавказа и войны борьба со шпионажем требует преемственности, несмотря на революцию.

Тоже верно. Но кому ещё об этом телеграфировать? Никому, как председателю Совета министров.

Тут Алексеева позвал к прямому проводу Брусилов. От этого всегда струнно-готовного, отзывчивого генерала ждал Алексеев в первых же фразах получить согласие на совещание, как решительно соглашался Брусилов вчера на царское отречение. Но ничего подобного, разговор потёк как-то совсем иначе.

Доносил Брусилов: чтоб ускорить появление Манифеста, он послал частную телеграмму Родзянке как своему старому однокашнику по корпусу и по-товарищески просил его воздействия на левые элементы.

Даже не мог Алексеев сразу понять. То есть, так понять: связь между Главнокомандующим Юго-Западным фронтом и Родзянкой будет существовать помимо Ставки, без её ведома и разрешения. А что касается сказанных Алексеевым горьких слов разочарования, что Родзянко неоткровенен, неискренен и может быть тянет в сторону левых, — это было обойдено как несказанное — и даже недопустимое по отношению к однокашнику. Намёк, что — со мной и не сговоритесь? Быстрый-то Брусилов быстрый, но даже и чересчур, и не всегда в ту сторону, какая полезна службе. Так как насчёт совещания Главнокомандующих? — не успевал неуклюжий Алексеев вставить, у Брусилова бойко лилось.

Ответа от Родзянки не получено, а ждать сбора Главнокомандующих — слишком долго (и это — *всё* о совещании), — нельзя испытывать дальше терпение войск. Итак, предлагает Брусилов: объявить, что Государь отрёкся от престола, что в управление страной вступил Временный Комитет Государственной Думы, — а дальше воззвать охранять грудью матушку-Россию, а в политику не вмешиваться.

Вот как: сам он с Родзянкой будет поддерживать тайную переписку, а Алексеев пусть даст согласие сломать родзянковскую просьбу и объявить Манифест.

Вместо желаемого объединения Главнокомандующих получалось расплытие во все стороны. Насколько вчера было ясно и дружно — уговаривать Государя отречься, настолько сегодня всё

мутней и розно. Сгустились неразрешимые обстоятельства, Алексеев чувствовал себя потерянным, обманутым, поставленным не у места. Он отдувался и пытался объяснить Брусилову.

…Но уже несколько раз он запрашивал Петроград — и Родзянку, и других, и никто не подходит к аппарату, как вымерли. Нет такого лица, некому доложить! — о невозможности играть и дальше в их руку и замалчивать Манифест. А для Верховного Манифест не существует, пока он не распубликован через Сенат…

Великий князь там у себя на Кавказе никакой опасности не испытывает, никуда не торопится и готов спокойно ждать. А тут — загорается земля, и что ж Алексееву делать?.. Вот тут сразу, над юзом, над лентой, утекающей к Брусилову! Обидно было всеобщее непонимание, пренебрежение, своя заброшенность, — и, забывая увидеть на подрагивающем, готовном лице Брусилова отчуждённую, эгоистическую усмешку, Алексеев в простоте ещё пожаловался ему:

— Самое трудное — установить какое-либо согласие с виляющим современным правительством.

Резче не мог он выразиться по официальному телеграфу!

А Брусилов — не принял откровенности, но тут же, на ребре, извернулся: слушается, будет ожидать к вечеру приказа, имеет честь кланяться…

Так и кончился разговор — и лишь потом Алексеев размыслил, что Брусилов начисто увильнул от вопроса, собираться ли Главнокомандующим или нет.

И как эти петроградские политики искали Алексеева в прошлые часы — а теперь все провалились. День утекал — и все молчали! Кого из них искать? Родзянку? — уже душа отворачивалась. Львова? — уже запрашивал его о присяге, и о снятии железнодорожной охраны, — молчит сиятельный невидимка.

Испытывал безнадёжность. Всё перекосилось менее чем за сутки: ещё вчера в это время дня он твёрдо держал бразды, уж на театре военных действий всё везде ему подчинялось, кроме Полоцка, и для всеобщего окончательного успокоения не хватало только отречения Государя.

А вот добились отречения — и куда-то всё хуже ползло.

Если бы на русскую армию наступали немцы, не могло быть и лёгкого сомнения и минутной задержки: надо ли отвечать оружием? Но оттого что нападение шло сзади, в виде каких-то анархических банд, поощряемых кем-то из Петрограда, если не самим пра-

вительством, то неясно становилось: да можно ли действовать оружием? не будут ли этим испорчены отношения с правительством? не возникнет ли междуусобица, пуще всего избегаемая?

Однако же и чего стоит та армия, тыл которой можно разорять? И велел разослать на остальные фронты без Кавказского свою телеграмму Эверту о революционных шайках.

Но что же с совещанием Главнокомандующих? Вот пришёл и ожидаемый ответ от Рузского. Однако по форме и тону — как методическая нотация, будто Рузский был старше должностью. Да, объявить Манифест необходимо. А Главнокомандующие на местах — это единственно авторитетная власть, и сбор их не может состояться, во всяком случае до вступления Верховного в должность.

То есть заявлял, что под Алексеевым собираться не даст. Ну, на такие золкости Алексеев никогда не обижался.

А Николай Николаевич — молчал, ни слова не ронил о совещании.

А Брусилов вдруг прислал ещё отдельный отказ от совещания — и совершенно словами Рузского (снеслись ли они?): надо быть на местах, на постах.

Да и правда надо. Но не давали слить Главнокомандующих в единую силу.

А тут ещё донесли телеграфы копию непенинской телеграммы Родзянке, ещё два часа тому назад: в Ревеле, где утром объявили отречение, не успели порадоваться, что положение успокоилось, как войска вышли из повиновения, не слушали уже и приехавших членов Думы; и едва были прекращены безпорядки в Гельсингфорсе.

И решил Алексеев, это было уже около 6 часов вечера, в который раз обратиться в Петроград. Вызвать Родзянку, конечно, не удалось и в этот раз. Львова — и не пытался, не видя смысла. Зато Гучков оказался в довмине и подошёл к аппарату.

Всё ещё понимая Родзянку как самого там главного, Алексеев собственно не к Гучкову обращался, и не к Совету министров, но — передать Родзянке. Что скрывать, как просил Родзянко, такой великой важности Манифест немыслимо, слух уже просочился в войсковую среду, могут быть грозные последствия. Манифест должен быть безотлагательно обнародован в установленном порядке.

Кажется, так было ясно! — почему это нужно было петроградским доказывать? Как же можно устраивать игру из такого величайшего документа? Сам ли Михаил не хочет почему-то объяв-

лять? Или снова заколебались — вернуть престол Алексею? Или даже вернуть Николаю?

…Пусть детали государственного устройства будут выработаны потом, после успокоения страны. Но сейчас — опубликовать Манифест! Пять миллионов вооружённых ждут объяснения совершившегося!

Завладев наконец линией, дорвавшись до слушающего петроградского уха, Алексеев теперь уже и не давал ответить, он спешил выговорить, пока слушают.

Второе. Желательно, чтобы новое правительство обратилось к Действующей армии с горячим воззванием выполнять свой святой долг. И в-третьих, настоятельно прошу, чтобы все сношения правительства с армиями велись только через вверенный мне штаб.

Когда же наконец Алексеев всё наболевшее высказал и дал отвечать Гучкову, то в первых же фразах ответа прочёл непостижимое: Михаил Александрович тоже решил отказаться от престола! Оба Манифеста и будут обнародованы в предстоящую ночь.

Алексеев был — сотрясён. Он — не мог этого охватить! Зачем же тогда всё делалось? В чём же был смысл вчерашнего отречения? И — кто же останется?.. Кто же?..

У власти остаётся Временное правительство во главе с князем Львовым. До Учредительного Собрания, которое и решит государственное устройство. Срок его не определён.

То есть на троне — *никого*?

Косой хваткой защемило Алексеева, до задыха, обидное унизительное сознание — обмана! Его обманули — как дурака, провели за нос!

А между тем лента бодро подавала ответы на другие важные вопросы. Воззвание к армии? Безотлагательно будет. Сношения с армией? — да, через Ставку и Главнокомандующих. Не имеет ли генерал Алексеев ещё что-нибудь сказать?

О, ещё бы! О да! Несчастная, слабая голова раскалывалась, так много сразу нужно было сказать. Ничто ни с чем не вязалось, всё куда-то летело, крушилось, вообще не оставалось ничего твёрдого! Вместо небольшой перестановки на престоле — падал сам престол?

Но нашёлся Алексеев только жалко пожаловаться:

— …Неужели нельзя было убедить великого князя принять власть хоть до Собрания?.. А как теперь этот новый Манифест при-

мет армия? А не признает ли она его *вынужденным со стороны*?.. Теперешнюю армию надо беречь и беречь от всяких страстей в вопросах внутренних. Слишком тяжёлая задача лежит на армии, и надо облегчать её, а не…

Но — зачем это всё он печатал? И — кому были теперь эти опоздавшие доводы? В нужный момент с ним не посоветовались, ему только затыкали рот: не объявлять!..

А Гучков — и соглашался, оказывается: он-то сам, и с ним Милюков так и считали, что престол непременно должен быть кем-то замещён. Но эти доводы никого не убедили. А решение великого князя было свободно и безповоротно. Приходится подчиниться и попытаться добросовестно упрочить новый строй — и не допустить ущерба для армии. С этим намерением Гучков и принял пост военного министра.

Алексеев шёл от аппарата к себе в кабинет как ослепши, неуверенно ногами.

Лукомский встревожился, приблизился:

— Что с вами, Михал Васильич, опять плохо?

Алексеев и рад был остановиться. Смотрел на Лукомского, больше обычного сощуренный, нахмуренный. И всегда как будто недовольно-недоверчивое, его дремучее унтерское лицо ещё урезчилось. Он и сам как будто искал, что с ним?

— *Никогда не прощу себе*, — ответил медленно, глухо-скрипуче, — *что поверил в искренность некоторых людей*. Что вчера послал этот несчастный запрос Главнокомандующим.

394

Тряпка безвольная! Шляпа! Как мог Михаил отречься?

И вот таковы законы демократии! Если твоя точка зрения расходится с точкой зрения большинства — надо подавать в отставку.

Чудовищно! Всею своей жизнью восходил Павел Николаевич к этому посту, все его способности вели сюда! Этот пост давно намечался для него и общественным мнением России, и мнением всех товарищей по партии, и даже мнением союзных стран. И кто же был готов к нему более, чем Милюков, с его исторической образованностью, с его даже личным знанием и Европы, и Америки, и особенно Балкан, самого запутанного места. По любому во-

просу — финляндскому, польскому, сербскому, болгарскому, или о проливах, или о целях войны — Милюков уже заранее имел проработанное мнение. Изо всех нынешних членов Временного правительства Милюков единственный приходил на министерское место не как новичок, а как хозяин дела.

И это было настолько всем ясно, что ещё три дня назад, до всякого правительства, звонил в Таврический директор канцелярии министерства иностранных дел и звал не кого другого, а именно Милюкова к телефону: просил прислать караул для защиты секретных архивов. И Милюков послал, спасая преемственность государственной тайны.

А теперь, из-за того что не удалось убедить Михаила, — всё это рушилось? И надо подавать в отставку? Из-за ночного запальчивого условия между министрами (сам же и предложил): чьё мнение будет отвергнуто — тот должен уйти и не быть помехой?

Но разве Милюков — помеха действиям правительства? Он — основа его, он — дух его, он и собирал весь костяк. И он провёл труднейшие переговоры с Советом. Он сейчас, минуя невыразительного Львова, — фактический лидер. И — кому же теперь это место уступится?

Представил себе, как обрадуются Керенский, Некрасов. И уже предчувствовал: по вьющейся жилке, по напору, по нахвату — на первое место в правительстве попрёт Керенский, мальчишка!

Немыслимо это допустить!

А больше — кому ж? Такое составилось правительство.

Второй настоящий лидер — Гучков, но он тоже должен уйти теперь, по тому же закону.

Уезжая из квартиры Путятиной, Милюков ещё раз объявил остававшимся коллегам, что теперь по их уговору и по смыслу дела он — выходит из правительства.

Никто его за язык не дёргал, никто не напоминал, он просто честно действовал по правилам демократии.

Но едва севши в автомобиль — уже жалел: зачем этот-то раз ещё повторил?

И что же наделал Николай! Какой дрянной человек! Из-за своих личных привязанностей — сотряс всю монархию! В такой момент!

Уже записали Учредительное Собрание. Монархия, по всему видно, имеет слабый шанс.

Да обидно! Горько! Кто же подготовил и всю революцию, если не Милюков с Прогрессивным блоком?! Если не его первоноябрьская речь?!

И теперь, в первый день победы, — уйти?..

Горько.

Сказал шофёру — Бассейная: от четырёх безсонных ночей, от пережитого крушения — лечь да спать. Всё потеряно.

Но подъехали к Летнему саду — сообразил: опять ошибся — был же рядом с Певческим мостом! Почему ж в эти последние часы, пока он ещё министр, — не войти единственный раз хозяином в здание министерства?.. Сколько раз он мысленно входил так в это здание — и вот сейчас первый раз может войти реально.

И неужели — последний?.. Так досадно, что и думать об этом не хочется.

Но с другой стороны — и хорошо, что не сразу поехал туда: это было бы замечено на Миллионной и неблагоприятно истолковано. А теперь можно поехать заново и с другой стороны.

Велел шофёру ждать около своего дома, всё равно ему теперь делать нечего, повезёт от Таврического какую-нибудь революционную шантрапу.

Пока завтракал — подумал: как же он, лидер кадетской партии, может уйти с поста без одобрения руководства партии? Пришла идея пригласить к консультациям Винавера. Взял телефон к нему.

Тут соотношение было сложное. Винавер сам претендовал быть первым лидером кадетской партии и не свободен от мысли, что Милюков занимает его место.

Ответил Максим Моисеевич, что должен подумать. Но во всяком случае ему кажется, что монархия — это не повод для отставки, вздор.

Полегчало.

Позвонил в министерство, тому самому директору канцелярии, и объявил, что сейчас приедет знакомиться с ведущими чинами министерства.

И поехал.

Всё пело в Павле Николаевиче, когда, встречаемый товарищем министра и директором канцелярии, он вступил с Дворцовой площади в это торжественное здание, где столько лет решались судьбы войны и мира, Российской империи, Балкан и Восто-

ка. И — шёл, шёл торжественными переходами и залами с грандиозными зеркальными окнами на площадь, на Александровский столп. И достиг своего великолепного кабинета.

Вот, наконец он был на месте! И отсюда — уйти?!

Собрали директоров департаментов и начальников отделов. Милюков вышел к ним, стоящим, и произнёс краткую, спокойную, ясную речь — о создавшемся в стране положении и что просит всех сотрудников исполнять свои обязанности и дальше.

Иностранные дела — тонкая ткань, здесь не надо революционных потрясений.

Спросили его: думает ли правительство совладать с бурным настроением масс?

Милюков ответил:

— Надеюсь, мы сумеем отклонить его в более спокойное русло.

Ещё побыл в кабинете. Ах, как хорошо! И этот вид на имперскую площадь! Отсюда направлять державный ход России!

И принимать тут послов.

Обидно!

Поехал к себе на Бассейную.

Думал бы поспать, но раздирала досада, тревога.

Анна Сергеевна умоляла: ни в коем случае не уходить!

Позвонил милый Набоков, ещё не кончивши составлять отречение Михаила. Горячо убеждал:

— Павел Николаевич! Ваш уход будет катастрофой! Кто же будет вести внешнюю политику? Только вас знает Европа! И создастся впечатление разлада в правительстве с первых шагов. Это будет удар по партии и по остающимся министрам-кадетам. Перед Россией и перед партией — вы должны остаться!

А ведь он — разумник, он выдающийся юрист, он понимает, что говорит.

Вскоре приехала делегация ЦК во главе с Винавером. Милейший Максим Моисеевич, хотя и моложе Милюкова, а облысевший, постаревший, с простоватой бородкой:

— Нет, нет, Павел Николаич! Что за мальчишество, стыдитесь! И из-за чего — из-за монархии? Уйти сейчас с поста — значит изменить и революции, и свободе.

Винавер весомо аргументировал, что не имел места казус проявления недоверия к Милюкову со стороны какого-либо представительства. Что деловые разногласия внутри правительства есть

постоянный неизбежный атрибут его деятельности. И поскольку Павел Николаевич удовлетворён принципами, положенными в основу текста отречения Михаила, — то он имеет все юридические права остаться на своём посту.

Гибкий, сильный ум, тонкий аналитик, нельзя не признать. Да, именно: текстом отречения Павел Николаевич вполне удовлетворён. И даже можно сохранить надежду, что Михаил этим отречением завоюет общую популярность и будущее Учредительное Собрание сможет избрать его своим монархом.

С симпатией смотрел на Винавера. Да ведь сколько же вместе, какой долгий славный путь! Вспомнилось крайнее исступление Винавера, когда они, 11 лет назад, стоя у пыльного рояля, вместе набрасывали карандашом первый черновик Выборгского воззвания, и Винавер отвергал, что в проекте Милюкова не хватает стихийной негодующей силы, а надо добавить ещё всеобщую политическую забастовку!

А сейчас — такая ясная голова.

И — согласился Павел Николаевич. Понял, что даже не имеет права отказываться и покидать великое начатое дело и линию своей партии в самом начале и в самый ответственный момент. Сейчас кажется: шатко, мрачно. Но может быть и республика, или пока какое-то неопределённое государственное устройство сможет укрепиться.

Поехал в Таврический — и там князь Львов встретил светлейшей улыбкой:

— Павел Николаевич! Надо остаться. Гучков — другое дело, его, говорят, в армии не любят. Но вы!..

Нет, Гучков — не другое дело. Теперь, убедясь, что должен остаться, Павел Николаевич должен был убедить и Гучкова остаться. Гучков не был связан ночным спором, никаким уговором, но очевидно тот же неумолимый демократический принцип нависал и над ним.

Пошёл Милюков по Таврическому искать Гучкова. Наверно, он был у себя в Военной комиссии, наверху.

Да, крепко и странно связала их судьба! Всегда противники, соперники, и вот впряжены заодно в единую колесницу. И вот сегодня только двое они, сотрясатели романовского трона, — только двое они и стояли за монархию!

И сейчас в новом правительстве кого понимал Милюков вровень с собою и по силе и по политическому опыту — только, конеч-

но, Гучкова. И в этом возлелеянном общественном кабинете, куда Милюков привёл Россию через Блок, — в этом кабинете единственный соперник Гучков и был ему настоящий союзник.

Наверху, в душной комнате с низким потолком, он и нашёл Гучкова над бумагами и в окружении военных.

Вызвал его, пошли ещё куда-то, в другую комнату.

Гучков был очень хмур, устал, ничего радостно министерского не было в нём.

Остались одни, сели через столик, Милюков сказал:

— Александр Иваныч, наши юристы считают, что формальных поводов к нашей с вами отставке нет.

— Каких формальных поводов? — искоса нахмурился Гучков.

— В смысле неоказанного нам доверия или невозможности сотрудничать при безмонархическом статуте.

— Да что же можно теперь сделать? — развёл Гучков руками. — Чем же и как теперь можно скрепить, удержать всё?.. Россию? Не формальные поводы, а удержать нечем. Всё пропало.

Погасший он был, тёмный, старый, измученный.

Но с возвращённой уверенностью, твёрдым голосом уговаривал Милюков:

— Справимся, Александр Иваныч! Вместе — вытянем. Только не падайте духом, не уходите в отставку! Вы же только и поможете нам организовать сильную власть, сильную армию. Без вас — я не вижу…

Хотя — видел уже и без него, но действительно трудно.

Гучков сидел такой же погасший. Даже разбитый.

— Вообще не понимаю… Пока я ездил — вы поспешили объявить правительство, поспешили объявить договор с Советом. А ведь это — кандалы на ноги. Что вы им пообещали — вы подумали? — невывод войск из Петрограда. Как вы могли без меня? Я думал — вы дождётесь меня, дождётесь акта отречения. А теперь — что за комбинация получается? Не понимаю. Я — монархист, при чём теперь я?

— Но ведь и вы, Александр Иваныч, поспешили взять необдуманную форму отречения, мы так не уговаривались. А вы нас — разве не поставили в тупик?

Да что ж теперь травить попусту, — надо наоборот сплачиваться, сговариваться.

Гучкову — тоже из правительства уходить не хотелось. Тоже не представлял он, как Россию бросить без руководства.

395

На всех фотографических карточках выражение получалось у Вари — худенькой неудачницы, которое она скрывала гордым или даже победным видом.

И так весела иногда, больше чем есть, руками размахивая, так уверенна, больше чем есть, а под этим, в узине, в глубине — одна, одна…

Пятигорская сирота, сверх надежд своих прожила она вот четыре года в Петербурге, кончала Бестужевские курсы, а жизнь её так и не наполнилась: набитие головы никак не передавалось в грудь. Кончала Бестужевские курсы — и вот поедет учительницей куда-нибудь в глушь, и петербургское обманное сверкание окончится на этом.

Ещё в пятигорское время Варя чисто пела, любила петь, — и где же попеть, как не в церкви? Неприятно быть орудием невежества, но где же попеть? И в Петербург-то она сперва поехала учиться именно пению, её обнадёживали, что при успешном развитии голоса можно попасть и на сцену. Но ничтожное мужское внимание, подруги и зеркало скоро открыли Варе, что на сцене ей не бывать: по извращённости также и этого вида человеческой деятельности, сцене мало было только пения, нужна была ещё так называемая красота. И этому всеобщему тупому заговору пришлось уступить и курсы пения покинуть.

Как будто кто-то мог доказать, определить точными словами, в чём состоит или не состоит красота. Плеханов убедительно показал, как это понятие радикально меняется с эпохами, и то, что считалось когда-то красивым, признаётся со временем некрасивым, и наоборот. Для мужчин разумных зыбкое понятие женской красоты совсем не должно было бы иметь реального значения. Да линию носа выправляют, говорят есть такие приборчики… А ножки у Вари — лёгкие, тонкие, хоть в балет.

Так Варя двигалась, училась, горячо спорила, среди подруг известная любовью к справедливости, отстаиванием каждого мелкого случая, — а внутри тоскливо вытягивалась, что вот скоро 23 года, а жизнь её не удалась.

И каким же вихрем ошеломительным налетела эта Революция! Как же всё переменилось и засверкало! Во-первых — Справедливость! сразу для всех людей и во всём, гремящая! Во-вто-

рых — круговорот, хоровод тысяч, и во всё это можно кинуться и руки приложить.

Первые дни, ещё до настоящей революции, стали прямо на курсы хлеб привозить для курсисток и преподавателей, чтоб им не выстаивать в хвостах, — и Варя деятельно заведывала этим. Затем был день главного вихря — понедельник, все кружились как обезумелые, а уже вечером того дня с проезжающих автомобилей разбрасывали воззвания к жителям кормить горячим бездомных замёрзших солдат!

И как этот сам листок подхватывался уличным сквозняком и взбрасывался легко, так подбросило и закружило Варю: вот это было для неё! Сколько тут надо энергии, организации, дотошности, делового расчёта! — но всё это было у неё как раз, да с какой радостью, с каким умением она это всё приложит!

И правда, замечательно получилось. Нашла ещё несколько женщин и девушек, добыли безплатно помещение на Малой Посадской, и с хорошей плитой, — стали собирать с окрестных жителей утварь, столы, табуретки, посуду, продукты, деньги, — все и всё подавали охотно, потом просто столик поставили снаружи у входа, блюдо — и туда прохожие клали мелочь, а собиралось много. Назвали это «чайная», но потом и обеды готовили для солдатиков, а ещё была примыкающая большая тёмная комната, как складская, её чисто вымели, натопили, и там прямо на полу укладывалось их человек тридцать, обездомевших, с винтовками и без них. Вывески не было, сперва зазывали проходящих, а потом уж они сами валили, знали.

Это поддержка была какая! — много часов пробродившего, уставшего, голодного революционного солдата, рабочего, матросика — усадить, согреть стаканом горячего сладкого чая с халвой или какао, которого он сроду не видел, да с бутербродами, хоть рано ещё до рассвета, хоть поздно уже в ночь, чайная почти не закрывалась и на ночь, как не спал и весь город. А днём кормили щами с солониной, лапшою, масляной кашей. А при выходе давали ещё каждому пачку хороших папирос. И самые буйные с улицы солдаты тут становились ласковые.

И носилась Варя между столиков, между всех них — счастливая, весёлая, потончавшая, полегчавшая, её все кликали, звали «сестрица Варя», её и обнимали в шутку и по плечам хлопали, — и она в ответ любила безпредельно их всех, грубых, неуклюжих и нечистых, как они, папахи на колени скинув, в голове чесали или по

жаре не умели как аккуратней высморкаться. Она любила их, как в эти великие дни все в городе любили друг друга, — то братство всеобщее, которое только грезилось, а достанется не нам, но вот наступило, сердечное! И это нежданное множество мужской силы, столько сразу вместе, в чудесном крутом запахе, махорочном, сапожном и ещё каком-то, и вся эта сила нуждалась в ней, звала, просила и благодарила. Варя не думала пережить такие счастливые дни. Все прежние мучения её как не бывали. (А вот кончатся эти дни, кончатся питательные пункты — и так будет жалко расстаться с ними.)

Больше всех она вложила сил, больше всех хлопотала, здесь и ночевала, — и естественно стала заведующей этой чайной. Тем временем на Петербургской стороне создался комиссариат — и объявил, что какие чайные (а их уже немало возникло по городу) будут сдавать отчёты — те будут получать из комиссариата и продукты по низкой цене. Хоть отчёты были добавкой забот, но так было проще и больше получить продуктов и накормить больше, Варя взялась, зарегистрировались. Каждый поздний вечер стала бегать туда, в кинотеатр «Элит», в продовольственный отдел с отчётами да и кассу сдавать, сборы.

И всё было бы замечательно, в эти светлые дни обновлённой России, — но люди ещё не могут выдержать такого высокого братства. Вчера к вечеру вдруг явился в чайную какой-то угреватый молодой человек, вольноопределяющийся, объявил, что он назначен комендантом Петербургской стороны, и велел сдать дневную выручку ему. Варя почувствовала недоброе, вложила прямые руки с кулачками в кармашки фартука и попросила его предъявить удостоверение. Но он предъявил, и там было написано, да, что вольноопределяющийся такой-то Временным Комитетом Государственной Думы и Советом Рабочих Депутатов назначается комендантом Петербургской стороны и все граждане обязаны выполнять все его распоряжения.

Варя смутилась, но схитрила, что сборы никак невозможно сдать раньше чем через два часа, пусть он укажет куда. Вольноопределяющийся отвечал, что он и сам здесь дождётся, охотно чайку попьёт.

Тем более подозрения её укрепились! Велела дать ему чаю, а сама побежала в комиссариат. Там ответили: ни в коем случае не сдавать, а пусть придёт сам в комиссариат. Варя — назад, и передала ему. Он ответил, что идти ему поздно, но она может снести в

комиссариат его удостоверение. Варя положила удостоверение в кармашек и побежала в комиссариат, в лёгкой кофточке и платочке, вот ещё не было заботы. Там её принял сам старый Пешехонов с опущенными усами. Он покрутил удостоверение и сказал, что это липа: печать неразборчива, подписи неразборчивы, да и невозможный случай, чтобы Думский Комитет и Совет Депутатов согласно дали кому-нибудь общее поручение. Велел сборы приносить сюда, а тому передать прийти, не сегодня, так завтра.

Варя возвращалась с волнением к столкновению, но знала, что не уступит, а ещё горяченько ему задаст, она пылкая в спорах была!

Однако самозванец за это время уже сбежал.

Тоже и тарелочки сбора больше наружу не выставляли, стали из них красть.

Сегодня же после обеда появился — подъехал на автомобиле — новый человек, высокий, бледный, и сразу же предъявил документ, что он — врач такой-то, назначен Комитетом Государственной Думы комендантом всех чайных на Петербургской стороне, а помощник его — вольноопределяющийся имярек, вчерашняя фамилия, — и им поручается немедленно собрать все имеющиеся во всех чайных наличные деньги в общую для всех них кассу. Печать была теперь — одного Комитета и совершенно отчётливая, и подпись ясная, — но Варя изумилась: комендант *всей* Петербургской стороны — помощником у коменданта одних только чайных? Ясно, что их хотят ограбить, и она ни за что не даст. А больше всего жёлчью подступило это надругательство над братством.

Но она сдержалась, не стала браниться, а сказала, что придётся проехать к комиссару. Что ж, врач предложил ей место в своём автомобиле.

Теперь она прямо повела его не в продовольственный отдел, а к Пешехонову. Тот признал, что и подпись размашистую эту он знает — члена Думы Караулова. И ответил бледному высокому врачу, что вполне признаёт его полномочия, но вопрос о передаче чайных в его ведение осложняется некоторыми обстоятельствами, для выяснения которых он и просит доктора отправиться с ним вместе немедленно в Комитет Государственной Думы, вот в автомобиле комиссариата.

Врач согласился ехать, но церемонно отказался пересесть в автомобиль Пешехонова, а поедет вослед в своём.

Спросил Пешехонов — а где помощник? Помощника он где-то в другом месте оставил.

Поехали, а Варя пошла к себе.

Как будто отбились, но так дурно стало у Вари на душе: наплевали в чистое, хорошее, и тут хотят грабить, уже новые руки, и уже не показалась ей вся их чайная таким светлым праздником.

Да и заметила она, что некоторые типы из солдат регулярно ели у них по три-четыре раза в день, и оставались ночевать тут вот уже на четвёртую ночь, без винтовок. Просто жили, дезертиры.

396

* * *

В Москве сегодня утром подожгли Охранное и Сыскное отделения в Гнездниковском переулке и канцелярию градоначальника. Загорелись и деревянные амбары с архивами. Из окон горящего главного здания полетели дела, реестры. Толпа рвала их, кричала, поощряла ещё кидать, разводила костры на улице и во дворе. Пожарных не допустили тушить.

Как раз в это же время добровольные звонари били на кремлёвских колокольнях и на Иване Великом — в честь революции.

Из Московского женского медицинского института разбежались подопытные собаки: их не кормили больше и не запирали. Отощавшие слонялись, некоторые возле аптек, где запах напоминал им прежний, привычный.

В Марфо-Мариинскую обитель приехала молодёжь арестовывать великую княгиню Елизавету Фёдоровну, сестру императрицы. Она отказалась ехать: «Я — монахиня». (Уже 12 лет она монашествовала тут, после убийства своего мужа.) Из обители пожаловались по телефону в Комитет общественных организаций, а там ответили: «Ни Челноков (городской голова), ни Кишкин (комиссар Москвы) не давали распоряжения об аресте». Великая княгиня ещё заставила милиционеров отстоять молебен, лишь тогда отпустила.

Генерал Мрозовский из-под домашнего ареста написал Челнокову: «Имею честь довести до вашего сведения, что я присоединяюсь к народному движению и признаю новое правительство».

К митрофорному протоиерею Восторгову, бывшему фавориту Государя, известному вершителю церковных дел, председателю Союза русского народа в Москве, явились милиционеры арестовывать. А он: «Вполне признаю новый строй, прошу оставить под домашним арестом».

* * *

Днём возник слух, что на Москву наступает то ли сам Эверт, то ли от него — корпус какого-то неподчинившегося генерала. Обрывали телефоны всех редакций. Возбудилась паника в Комитете общественных организаций, в городской думе, в Совете рабочих депутатов.

А вообще революция в Москве прошла быстро, легко. Катание на грузовых автомобилях уже кончалось, к вечеру и толпы меньше. Трамваев ещё нет, но появились извозчики, открыты магазины. В автомобилях разъезжают милиционеры, призывая народ возвращаться к мирным занятиям.

Вечером открылись все театры.

Но к ночи — всеобщая боязнь тех разбежавшихся бутырских уголовников.

* * *

В Ревеле волнения застигли «Петра Великого» и «Баяна» у самого начала мола — и подле них кипели митинги, рабочие требовали присоединения матросов, идти с ними в город. Но контр-адмирал Вердеревский убедил матросов, что тогда толпа разграбит корабли, запасы продовольствия. Подействовало, ни один матрос не пошёл.

* * *

В Петрограде многие столовые и кафе превратились в питательные пункты для солдат, иную публику туда и не пускают.

В ресторанах появились матросы — ещё новая мода: напудренные. Расплачиваться — у всех деньги есть.

Публичные дома не успевают обслуживать солдат. Платят все законно, добычей этих дней, кто украшеньями, безделками, даже столовым серебром.

А петроградские театры все закрыты. На дверях объявления: «Спектакли отменены до особого распоряжения». «По повелению Временного Комитета вход в сие здание воспрещён. Какие-либо аресты, выемки, осмотры бумаг…»

Арестованных держат в манежах, в кинематографах, не хватает помещений. Здания не приспособлены, лежат на полу. В Крестах не стало ни отопления, ни освещения. Держат и так, ведь временно.

* * *

Прислуга бегает на митинги и, возвращаясь, рассказывает хозяевам:

— О каком-то *старом рыжем* говорят… И — перелетайте всех стран, собирайтесь.

Горничная дружит с распропагандированным писарем из штаба и считает себя образованной. Бегает к Думе, слушает речи, приносит хозяевам:

— Вильгельм — умный царь, не то что наш.

А Марина, горничная Карабчевских, бойка на язык. Она графа Орлова и раньше видела, когда хозяин его защищал. А теперь говорит:

— Объясняют так на улице, что теперь князья и графья заместо дворников будут улицы мести. То-то наш графчик к самому Керенскому шофёром подсыпался… Метлу в руки брать охоты нет…

* * *

Гуляющая по улицам публика стала всё больше семячки грызть, и на Невском. Теперь — никто не препятствует наземь плевать. По снегу — шелуха, шелуха.

Под Аничковым мостом на льду лежат скинутые разбитые гербовые орлы — металлические, которые не сгорели.

* * *

Перед закатом по замёрзшей Неве, по тропинке, между Троицким и Дворцовым мостом идёт курсистка с повязкой Красного Креста и студент. Слева от них плывёт купол Исаакия, справа виден голубой купол мечети.

Студент, на Исаакия:

— Ещё стоит, синодальное учреждение.

Курсистка, на мечеть:

— И вон, торчит без дела.

* * *

К концу дня по Невскому медленно двигался грузовик, а с него что-то читали. Потом трогались дальше, но далеко ему ехать не давали, опять кричали:

— Прочтите ещё! Не все слышали!

Автомобиль снова останавливался, и толпа густо собиралась вокруг него. Молодой румяный бритый господин актёрского вида, в шапке чёрного меха и с чёрным меховым воротником пальто стоял в кузове во весь рост, окружённый несколькими любителями. Он вытирал ярко-белым платком губы и с видом счастливой уверенности снова читал — внятно, громко, прекрасно поставленным декламационным голосом:

— Отречение от престола! Депутат Караулов явился в Думу и сообщил, что Государь Николай Второй отрёкся от престола в пользу Михаила Александровича! Михаил Александрович в свою очередь отрёкся от престола в пользу народа! В Думе происходят грандиознейшие митинги и овации! Восторг не поддаётся описанию!!

— Ура-а-а-а! Ура-а-а-а! — кричали и тут.

Опьяняющее чувство: теперь все мы — заодно. И у власти наконец честные разумные люди.

— А царь в Ставке только мешал умным генералам. Теперь война лучше пойдёт!

— Вот вы увидите: через неделю в России не останется ни одного монархиста.

* * *

На Невском же, в витрине «Вечернего времени» выставили эти последние телеграммы об отречениях. Подошли два гвардейца-кавалериста, в шинелях до земли. И старший, с унтерскими нашивками, сказал младшему:

— Читай.

Тот внятно прочёл отречение Государя.

— А дальше? — нетерпеливо прикрикнул старший. — Есть что?

— И великий князь Михаил Александрович тоже от…

— Не может быть! Прочти ещё раз.

Младший прочёл.

Совсем тихо старший сказал:

— Всё кончено. Пойдём.

* * *

В лазарете Георгиевской общины раненые, узнав об отречении Государя, плакали. С двумя ампутированными ногами, всегда бодрый, терпеливый, теперь безутешно рыдал:

— За что ж я ноженьки отдал? Царя теперь нет — всё пропадёт!

* * *

На ночь в петроградских домовых подъездах установилась обывательская охрана, кто попало и всех возрастов, — и старики, и дамы, и гимназисты.

В ночь на 4 марта над Петроградом закрутила снежная буря.

* * *

В ночь на 4 марта в заключении министерского павильона начальник Морского кадетского корпуса вице-адмирал Карцев (по долгой бороде кадеты звали его «Лангобард»), зять нетронутого морского министра Григоровича, обезумев от тщетных попыток добиться свежего воздуха (и от всех приходивших зубоскалить журналистов, новых начальников, Керенского, и вспоминая осквернение своего корпуса?), — набросился на часового и с большой силой вырвал у него винтовку. Другой часовой в комнате дважды выстрелил, пробил ему пулей плечо навылет. Третий часовой выстрелил, попал в шею сидящему тут же полковнику. И в соседней комнате выстрелил часовой, никого не задев. Вбежал унтер Круглов с поднятым браунингом и свистком во рту: если б ещё кто из арестованных двинулся — он бы свистнул, команда всем часовым стрелять.

А Карцев хотел покончить самоубийством. Когда ему перевязывали рану — он обманул санитаров, бросился ещё на одного

часового и его штыком успел себя ранить в грудь. Кричал. Его увезли в больницу.

397

Приехал Пешехонов в Таврический — а самозваный врач-комендант не появился за ним, исчез. Жаль, Пешехонов не взял себе его удостоверения с чёткой карауловской подписью! Но всё равно, надо было идти браниться с Карауловым.

Однако прежде чем он нашёл его или вообще кого-нибудь — ему вручили, раздавали тут желающим, большой полупустой лист, — в этой полупустости торжественный, — экстренное приложение к «Известиям Совета», а в нём трёхвершковыми буквами было грязно напечатано:

«ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРЕСТОЛА
Депутат Караулов явился в Думу и сообщил…»

Как — и это тоже Караулов?

В Петрограде бурлила жизнь, в комиссариате — живая работа, а тут свои заботы: «отречение от престола»?! Пешехонов понимал, что это — очень крупное, и надо воспринять, но голова, закруженная комиссариатскими делами, отказывалась.

«…в пользу Михаила Александровича, а Михаил Александрович в пользу народа…»

Это, конечно, было колоссально, сразу не сообразить, — и что значит: в пользу народа? Республика?

И ещё дальше листок уверял, что «в Думе происходят грандиознейшие митинги и овации, восторг не поддаётся описанию». Но, стоя как раз в середине Екатерининского зала, Пешехонов не видел ни оваций, ни восторга, довольно спокойно брали этот листок, а суетня была даже гораздо меньше, чем в их комиссариате, потому что тутошние помещения много просторней, и люди разминались свободнее.

Искать Караулова была бы задача, если б не был он особен своей казацкой формой да ещё терской высокой чёрной папахой. Усы открутив на бока предельно, как только могли держаться, расхаживал он вполне как на параде, ощущая себя здесь, да и в Пет-

рограде, да и во всей революции самым центральным человеком. И правда, чьи приказы больше всех по городу гремели, как не его (хоть друг друга и отменяя)? И правда, вот кто принёс в Думу сообщение об отречении? — с двумя царями-братьями третьим вошёл в историю только Караулов! Неподходящий момент ему и выговаривать. Оттянул его от других претендентов, стал внушать, — Караулов обиделся. Незлое лицо его приняло осанку. Не помнил он такого врача, но если подписал — значит, надо. Да тут их тысячу бумажек приходится подписывать, разве в каждую вникнешь?

В некотором отношении Караулов был того же корня, что и Пешехонов, — чужой тут. Как Пешехонов при всём своём журнальном редакторстве оставался простоватым мужичком, так и Караулов, несмотря на думское членство и когда-то филологический факультет, оставался казацким рубакой.

Уж теперь приехал Пешехонов в Таврический — решил и другие накопившиеся дела делать. Четыре дня назад он здесь начинал и отсюда ушёл добровольно к живой жизни в городской район, — и вот уже отпал от них до омертвления их, здешних: вся здешняя жизнь и суета теперь казались ему почему-то — теневыми, придуманными, ненастоящими.

Это впечатление ещё усилилось, когда узнал от знакомых, что Милюков и Гучков, главные члены правительства, только вчера объявленного, сегодня уже подают в отставку!

Ну, кругом голова! И правительство — теней.

Да верная-то власть была — Совет депутатов, конечно. Туда нужно было Пешехонову, во-первых, в автомобильный отдел, такой отдел был и в комиссариате, и что-то между двумя отделами показалась ему какая-то тёмная смычка, не воруют ли автомобили; он решил, своих не предупредив, нагрянуть тут с контрольными вопросами.

Потом надо было ему найти Керенского и как министру юстиции передать обнаруженный в бумагах охранки список провокаторов — не главных. Однако Керенского нигде он найти не мог. Думал — не сидит ли на Исполнительном Комитете Совета, заседающем непрерывно. Как бы не так, сказали — он никогда тут не бывает, полностью перешёл в правительство.

А зато тут раздавали горячий ужин, кстати и поел. За столом сидели свои товарищи, все знакомые, и прели в прениях. Было у Пешехонова и тут дельце. Он сел к столу между ними и спросил у Цейтлина, что за чушь говорят: приходят в комиссариат и просят

разрешения на открытие печатного органа, да разве такое требуется?

— А как же? — сказал Цейтлин. — Было такое постановление. Только с разрешения Исполкома.

Пешехонова заворошило. Но он сдержался и попросил разрешение — себе, на свой родной журнал «Русское богатство».

— Это сейчас, — сказал Цейтлин, — устроим.

Протянул руку — на столе уже лежали, оказывается, готовые такие бланки, вписал «Русское богатство», подписался за секретаря — и протянул Нахамкису подписать за председателя.

Тот подписал.

Пешехонов почувствовал, что его заливает горячим. Он взял ещё один такой пустой бланк, отсел, вписал другое, новое, название своего журнала, «Русские записки», дал по пути Капелинскому подписать за секретаря и подошёл к председательствующему Чхеидзе, попросил тихо:

— Николай Семёныч, подпишите, пожалуйста.

Чхеидзе глянул, ни слова не говоря подписал.

И тогда, в приливе, Пешехонов закричал на всё заседание, прерывая его:

— Да вы что, товарищи!? Вы нас — и завоеваний Девятьсот Пятого года хотите лишить?! Даже при царской власти с тех пор не требовалось разрешение на периодические издания! Кто хочет — тот издавай. А теперь — у вас… ?

Заседание молчало. Чей-то голос отговорился смущённо:

— Ничего не поделать, Алексей Васильич. Какая ж это будет революция — если всякая правая газета и выходи?

398

Сразу после освобождения крестьян Елпидифор Парамонов пришёл в Ростов-на-Дону из Великороссии, с севера, пешком, в лаптях. А через полвека сыновья его Пётр и Николай были среди богатейших людей Ростова, воротилы многих дел, и особенно мукомольных, на берегу Дона воздвиглась пятиэтажная мельница братьев Парамоновых, оборудованная по новейшему слову. А парамоновский особняк на Пушкинской, известный всему Ростову, был как дворец или даже как замок, за высоким каменным забо-

ром. Николай по внезапно пришедшей догадке мог встрепенуться среди ночи и гнать на автомобиле заключать новую сделку. (Корила жена: «Неужели нам мало?») Но не в одно только миллионерство ушла энергия братьев: Пётр был председатель ростовского биржевого комитета, а когда в середине войны Гучков создавал повсюду военно-промышленные комитеты, то председателем ростовского стал Николай Елпидифорович. Он ещё более брата дорожил славой оппозиционного прогрессиста, но ещё и мецената, хотел стать южнорусским Третьяковым, гремел на весь Юг, даже издавал запрещённые книги, за что отсидел короткий срок, — и это ещё добавило ему славы среди интеллигенции. Имена братьев Парамоновых то и дело пестрели во всей южнорусской печати, а в прошлом году член ростовской управы Костричин, вождь местного Союза русского народа, в своём мерзком «Ростовском листке» назвал Петра Парамонова «мародёром тыла и грабителем», имея в виду задержку муки на складах для спекулятивного взвинчивания цены, — и братья Парамоновы подавали на Костричина в суд за клевету. В ходе суда ещё возникало и обвинение, что Парамоновы продают муку в Германию, но это повисло без доказательств, однако по клевете Парамоновы дело проиграли (и поклялись раздавить этого Костричина в лепёшку). Вся прогрессивная ростовская общественность и печать была за Парамоновых, было к ним сочувствие и кое-кого из властей, вот градоначальника Мейера, — и братья Парамоновы, с их могутой, также и телесной, ростом дюжим, вырастали в крупные фигуры против петербургской власти.

А тут-то — и грянь революция, как нельзя кстати!

После бурного успеха её в Ростове — вечером 2 марта Парамонов с главой местного Земгора Зеелером в особняке Мелконовых-Езековых энергично составляли Ростово-Нахичеванский Гражданский комитет. Чтобы включить представителей всех главных общественных организаций и слоёв населения, ему предстояло распухнуть за полусотню. Поздно вечером уже пришли и представители от студенческого революционного комитета и от рабочей группы. Но эти последние сразу потребовали себе в особняке отдельное помещение, отдельно совещались и объявили, что не желают объединяться с капиталистами — сюрприз! — а у них будет свой отдельный Совет рабочих депутатов.

Не поверил Парамонов в такую нелепицу, ну конечно завтра уговорим, что́ они без нас? А ещё ж катились к ночи новые сведения из Петрограда, уже никакой не Думский Комитет и не Родзян-

ко, а создано стабильное Временное правительство, — и это по-новому освещало и задачу ростовского устройства. На утро 3 марта назначили градоначальнику Мейеру, что приедут к нему на новое совещание, чтобы собрал главных чинов.

Очень безпокоило состояние Новочеркасска, казачьей столицы. Но утром и донской официоз вышел с полным составом новостей, и окружной атаман Граббе тоже подчинился революции! И теперь это всё поплывёт по станицам, просвещая и тупые казачьи мозги. Ура, казаки обезврежены!

Поспав полночи, Парамонов ступал теперь по градоначальству как Хозяин города, ревниво посматривая, кого тут Мейер собрал. А с ним в свите были снова — Зеелер, двое городских голов и несколько левых думских гласных. (Ещё же стояла задача, как чистить или вовсе разогнать ростовскую городскую думу: на всю Россию только и было две правых думы — в Одессе и в Ростове, нигде больше такого безобразия.)

Итак: наша задача — безболезненное укрепление новой власти. Признаёт ли администрация обязательными все веления Временного правительства?

Мейер первый заявил, что — полностью признаёт. Но начальник гарнизона генерал-лейтенант Кванчхадзе уклонился от прямого ответа: он — только военный, не его дело рассуждать о правительстве, он будет выполнять приказы атамана, какие придут. Затем и прокурор окружного суда высказался, что он некомпетентен со строго юридической точки зрения. Это уже очень взволновало присутствующих, ибо походило на сговор. Тревоги добавил и нахичеванский голова: что он не может дать никаких обязательств без общего решения своей думы.

Судьба революционного Ростова заколебалась! Но градоначальник Мейер с большим тактом и настойчивостью убеждал каждого из них по очереди, что они уже действиями вчерашнего вечера отступили от своих принципов и им ничего не остаётся, как идти дальше.

Сломили. Тогда Зеелер предложил послать восторженную телеграмму Временному правительству. Но тут Кванчхадзе решительно упёрся — и пришлось ограничиться казённым невыразительным текстом.

Парамонов потребовал от градоначальника немедленно арестовать Костричина и всю верхушку Союза русского народа. Мейер обещал, что во всяком случае обезвредит их и поместит под до-

машний арест. Согласился немедленно опечатать Охранное отделение. Обещал дать и чёткое распоряжение полиции: нигде не проявить безтактности к манифестациям, какая могла бы быть истолкована как протест против нового строя жизни, а если демонстранты будут сгонять городового с поста — то ему и уходить безпрекословно. (Совершенно ясно всем, что полиция обречена, ей больше не существовать, население не может верить её искренности. И распоряжения Мейера эти — из последних. А для возникающей милиции нужен центр — и хорошо бы для этого очистить в городском саду ротонду от Союза русского народа. Хорошо.)

Казалось Парамонову — он всё предусмотрел. Но вернулся в Гражданский комитет — и член его присяжный поверенный Шик встревожил и убедил, что надо, не доверяя Мейеру, срочно слать комиссию — изъять из канцелярии градоначальства всю секретную переписку. Послали.

А весь Ростов тем временем разлился и разликовался! — нигде никто не служил, не работал, не торговал и не учился. Улицы все затопило народом — да ещё ж и весна! — и трамваи, вышедшие с утра, не могли ходить, утянулись в депо. По Садовой, по Таганрогскому, по Пушкинской, по Большому — валили манифестации, особенно из молодёжи и интеллигенции, кто с поднятыми руками, кто маша платками, кто и неся цветы, — месили калошами по тающему снегу, проваливались, зачерпывали воды, — но как были веселы! Появились и оркестры, ходили к французскому и английскому консульству. Шли митинги и в военных казармах, куда проникли гражданские. Городовые оставались на своих местах, нацепив к мундирам красные ленты. Потом кое-где рядом с ними становились добровольцы-милицейские, а кое-где и вовсе сгоняли городовых с постов.

Но на самом деле положение было совсем не такое радостное: Гражданский комитет, уже в составе 45 человек, заседал всю вторую половину дня и весь вечер, но никак не могли окончательно сформироваться, потому что Совет рабочих депутатов, занявший комнаты тут же, всё отталкивал протянутую им руку, и не только не хотел соединяться с Гражданским комитетом, но заявил, что милицию сформирует — сам, и продовольственное дело забрать в руки кооперативов и рабочих, а продовольственную комиссию Гражданского комитета — не признавал. Несколько раз Парамонов шёл садиться с ними на переговоры, и всё безрезультатно. И обидно, что там в головке — совсем не рабочие, а интеллигенты же, у них

один председатель Петренко рабочий, напоказ, — а вот так непримиримо и глубоко обособляются, разваливая всё гражданское дело в Ростове. И явившийся полицмейстер пришёл не в Гражданский комитет, а прямо в Совет рабочих депутатов: убеждать, что без полиции будут уголовные преступления и не соберутся подати. Хуже того: у солдат стала возникать своя организация, и они тоже не признавали Гражданского комитета, но слали своих эмиссаров во все полицейские участки. И ездил Парамонов уговаривать солдатских главарей — и тоже ни в чём не уговорил.

Так что ж это будет? — это будет не разумная свобода, а хаос? К этому ли были наши лучшие устремления годами?

Тут настиг Николая Елпидифоровича ещё один удар: пока он ездил — настроение Гражданского комитета тоже изменилось, и вдруг избрали председателем не его, а Зеелера.

Да это уже… Да что за чёрт?!

399

Вечером надо льдами, сугробами гельсингфорсского рейда с чернеющими силуэтами кораблей закруживало мятелью. Порошило на палубы. Часовые с головой кутались в тулупы.

Вахтенный начальник флагманского линкора «Андрей Первозванный» лейтенант Бубнов не сразу заметил, что на соседнем линкоре «Павел I» на мачте висел красный боевой огонь, а одна орудийная башня — да! развернулась сюда! на «Андрея»!

Глянул наверх по своей мачте — и у себя на клотике увидел такой же красный фонарь.

Но он не приказывал поднимать! Что такое?

Пошёл на мостик, узнать. Сверху навстречу свалился дежурный кондуктор, унтер:

— Ваше высокоблагородие! На корабле бунт! Команда разбирает оружие!

Послал кондуктора к старшему офицеру, сам скомандовал с мостика вызвать караул наверх — и спустился на палубу.

Караул быстро выбежал с примкнутыми штыками.

Но уже, в мелькании снега и ветра, при палубных светах, валила сюда по палубе вооружённая толпа не своих матросов.

Заорал им:

— Стой!

Толпа остановилась.

Караулу:

— Зарядить!

Ах, ещё заряжать! — и те бегут, скользя, сюда.

А караул мнётся, не заряжает.

Бубнов вырвал одну винтовку — сам зарядить, — но со спардека сверкнул выстрел — и лейтенант упал.

А командир «Первозванного» каперанг Гадд, только что проводив в штаб флота командира бригады линкоров контр-адмирала Небольсина, спустился в свою каюту и сел пить чай при настольном зелёном абажуре.

Но услышал — горн? — да. Да.

Поставил стакан, ещё прислушался.

Да как будто ружейный выстрел? И не один?

Насадил фуражку, вышел в коридор.

По коридору бежали боцман и кондуктор с окровавленной головой:

— Команда стреляет!.. Убили вахтенного начальника!

Наружу!

Не выйти, стреляют по выходу.

Вниз, в кают-компанию.

Тут — с десяток офицеров.

— Держимся вместе, господа!

С чем? С револьверами…

— Охраняйте вход!

И к телефону. И успел сообщить в штаб флота, на «Кречет».

С револьверами офицеры столпились у входа.

А матросы стали стрелять в кают-компанию — сверху, через палубные иллюминаторы.

Ранило мичмана, убило вестового.

Жужжали и цокали пули. Весь пол был в осколках стекла.

Мичмана положили на диван, врач перевязывал его.

Сверху слышалась исступлённая матерная брань матросов.

Выключили в кают-компании электричество.

Капитан Гадд воскликнул:

— Только — образумить! Кто за мной?

И — в коридор! Но на палубу опять не пустил обстрел.

Оттуда кричали:

— Мичман Эр! — наверх! — (Его любила команда.)

Капеpанг отпустил его:

— Может вам удастся успокоить.

Но осада кают-компании не утихла. В темноте грохали выстрелы — и пули пронизывали тонкие переборки. Ранило ещё одного офицера.

Тогда капеpанг, уже один, ринулся наружу, под обстрел.

Его — не сразило. И он в светах редких ламп быстро, безстрашно вошёл в толпу:

— Матросы! Я тут один. Вам ничего не стоит меня убить. Но — выслушайте!

— Кровопивец! Не желаем! — кричал один.

— Вы нас рыбой морили! Офицеры не допускали нас к вам жаловаться!

— Неправда! Каждый месяц я обходил всю команду. И всегда говорил: приходите ко мне, если что. Верно?

— Верно! Верно!

— Мы ничего против вас…

— Он врёт!

Охрипший капеpанг шагнул на возвышение — говорить.

А по сходням взбегала новая страшная толпа — это были матросы с «Павла», уже покончившие у себя. И теперь, с разгону, увидев капеpанга на возвышении:

— В штыки его!

И перед ними — кто расступился, а другие сомкнулись в защиту капитана.

И павловские отступили.

Тогда мичман Эр вскричал:

— А ну, ребята! На «ура» нашего командира!

И его подхватили на руки.

Но отнесли — в каземат: «Тут целей будете».

Капитан из каземата по телефону в кают-компанию велел офицерам отдать оружие и идти в каземат.

Один молодой мичман громко безумно хохотал. Его повели в лазарет, но матросы не выдержали хохота и застрелили мичмана по пути.

По кораблю там и здесь раздавались предсмертные вопли: это ловили сверхсрочных унтер-офицеров и кондукторов и убивали их.

400

Да, на рейде в Гельсингфорсе что-то начиналось. Днём произошла матросская манифестация в районе минной обороны. Непенин ездил туда, успокоил.

Отдал распоряжение по всем кораблям не увольнять матросов на берег.

День, начавшийся таким радостным всплеском, тёк мучительно. Откуда-то возник слух, что на кораблях будут безпорядки. Да почему же бы? Не помогло прямодушие адмирала, ежедневное открытие матросам всех происшествий? Не помогло, а скорей повредило: теперь, всё зная, на баках выражались открыто и резко.

Рассказывали офицеры с разных кораблей, что ощущают исподлобное накопление матросского недоброжелательства.

Но почти ничего явного за день не произошло. Команды на кораблях занимались. Блистающе солнечный прошёл день. Но так затемнилось на душе, но такая тревога обняла, что в сумерках капитан Ренгартен, весь на вьющихся нервах, сказал князю Черкасскому:

— Миша, мне кажется, мы идём к гибели. Нас может спасти только чудо.

— Ну не так уж! Ну не преувеличивай! — отстаивал Черкасский.

Шестнадцать часов назад они встречали этот благословенный день с шампанским — и чего угодно ожидали, но не такого поворота вовне и в себе. Тогда, возбуждённой ночью, нельзя было представить, что впадут к вечеру в такую тоску. Сейчас нельзя было представить, почему они могли так радоваться минувшей ночью.

Преодолевая томленье, надумали составить новый приказ по всем командам: разъяснить сегодняшнее новое положение. Которого и сами не понимали.

Но не кончили. Смутные предчувствия оказались верны.

Едва стемнело — «Павел I» поднял красный огонь и развернул орудийную башню на стоящего рядом «Андрея Первозванного».

И через короткое время «Андрей» тоже поднял боевой красный фонарь.

Крупные жесты кораблей, такие грозно-выразительные на морских расстояниях.

И капитан «Андрея» успел по телефону: мятеж!!

На обоих кораблях слышались ружейно-револьверные выстрелы.

С кем же могла быть перестрелка, если не с офицерами?

В воздух?

И кажется слышалось «ура».

И тогда в колонне 2-й бригады, линкоров, стоящая рядом с теми двумя «Слава» тоже подняла красный фонарь.

Как раз на линкорах команды ещё не знают хорошо своих офицеров, не свычены, не были в боях.

И отзываясь издали, из колонны 1-й бригады, дредноутов, подняли красные фонари «Севастополь» и «Полтава».

А «Петропавловск» и «Гангут» не подняли.

Одинокие зловещие красные глаза смотрели друг на друга через темноту. Что они значили?

Радиосообщений не было, и с «Кречета» можно было только гадать: что́ там происходит, неотвратимое?

Если бунтуют команды — что ж офицеры? Куда деваться офицерам на восставшем корабле?

Стрельба… «Ура»…

Когда Непенину доложили о бунте, он налился жаром. Поколебался, примерился:

— Какой из дредноутов может открыть огонь по «Павлу»?

Но и тотчас же сам себя осадил:

— Нет, крови проливать не буду.

Что же творилось? *Пришло* сюда…

Каменеющий Непенин велел построить на палубе, под мятелью, команду «Кречета».

И перед этим малым строем произнёс речь — тяжёлым голосом, со всей своей открытостью. Что он хотел — во всём напрямую, откровенно, — но какие-то мерзавцы мутят команды. Что он любит Россию, и служит только ей, и вместе с народом присоединился к народному правительству — чего ещё? — а поднимать мятеж, стоя против немцев, могут только негодяи.

— Да кто б там ни был! — сорвалось у него. — Пусть страной управляет хоть чёрт! Но мы должны стоять против немцев и защищать Россию! Я — всё сказал, я — весь тут, перед вами. Кто за меня — останься на месте, кто против — два шага из строя!

Кто-то крикнул:

— Ура адмиралу!

И другие:

— Ура-а-а адмиралу! —

и строй рассыпался, кинулись к Непенину, подхватили, стали качать.

Когда успокоились, Непенин обратился:

— А есть среди вас охотники, кто умеет говорить? Кто пойдёт по кораблям разъяснить? Два шага вперёд.

В этот раз ступанули многие. Все были увлечены. Непенин сказал:

— Разделитесь по пятеро. Идите по кораблям. Повторите всё, что я сказал. И скажите, что после вас следом приду я сам!

А между тем с какого-то корабля доносился стук пулемёта.

Неужели — расстреливали? Свои — своих?..

Везде кипело, убивалось — в темноте, неведомо, под этими красными огнями с клотиков.

С разных судов неслось толпяное «ура».

Стрельба прекратилась.

Перебили кого хотели?..

Крики росли и перебрасывались с корабля на корабль.

Ещё только вышли на берег посланцы с «Кречета» — как с других кораблей валили толпы, и все сюда — к «Кречету».

Вот оно! Где-то во Пскове мог отречься царь, где-то в Петрограде могло властвовать Временное правительство, — здесь, в мартовской ночи и вьюге, на тёмном ледяном море, уже принявшем первые офицерские трупы, в пустынности рейда, при красных фонарях и тонких лучиках вдоль мачт, — был свой закон, свой суд, своя революция края и гибели.

Подходящие матросы собрались в большую толпу перед «Кречетом». На митинг.

Только стрельным огнём можно было задержать их на сходнях, и то недолго.

Но не только не хотел проливать крови Непенин, а было ему всего обиднее, что он первый из крупных военачальников был готов к этой революции ещё до её начала, опережал её ход своею поддержкой, — и теперь со своими офицерами должен был ожидать расправы от собственных матросов?

Освещая фонарями судна толпу на берегу в чёрных бушлатах и безкозырках, адмирал послал пригласить на «Кречет» по пять депутатов от каждого корабля.

Крики в толпе усилились: слать ли депутатов? и кого?

Тем временем линкоры сигналили дредноутам — арестовать офицеров!

Команда «Кречета» просила разрешения поднять и им красный огонь.

И адмирал — разрешил…

Пополз, пополз наверх красный фонарь. Адмиральское судно присоединялось к мятежу!

И от минной дивизии слышна была стрельба.

Всё начавший «Павел I» теперь дал радио: «Ораторы, в воздух не говорить, немец услышит!»

Пришли депутаты на «Кречет». Выстроились на командной палубе, и адмирал говорил с ними.

Его штабным декабристам жалко было на него смотреть — так он устал, так травился, с таким трудом сдерживался от гнева. Старался вести хладнокровные переговоры, узнать, чего ж они хотят? — и депутаты объясняли один за другим: чтоб говорили матросу «вы» и относились с уважением; чтоб на улице дозволяли матросу курить…

Только-то?..

И из-за этого сейчас на линкорах убивали офицеров и кондукторов и выбрасывали за борт?

Непенина разрывал гнев к чёрному тупому строю. И, сбитый, плотный, круглоголовый, он, воспаляясь, стал кричать.

— Офицеров убили — сволочи!! И сволочи зажгли красные огни! И из трусости подняли стрельбу в воздух! А я — презираю трусость! И ничего не боюсь! И я вызываю мой флот стоять против немцев! — а революция в Петрограде сделалась и без нас!

Стояли депутаты смирно. Хорошо стояли. Слушали.

Тут как раз поднесли, и уместно было прочесть вслух, длинную социалистическую телеграмму Керенского, в конце призывавшую подчиняться Непенину, поскольку он признал Временное правительство.

Телеграмма очень успокоила депутатов.

Разрешил адмирал на завтра провести собрания команд на судах, а потом в столярной мастерской на берегу — собрание депутатов от команд.

Депутаты расходились. Один из них сказал:

— Да ничего не исполнит, что обещал.

Ренгартен схватил его за рукав, стал объяснять, давясь собственной горячностью.

О брат-народ, в каких ты предрассудках! Да как же прорваться к твоему сердцу? Да как же осветить твой разум? Как же ты не отличаешь друзей?!

(Это можно понять: нижние чины Балтийского флота набирались из петербургских рабочих, более удобных для обучения механизмам. А во флоте они зарабатывают меньше, чем на заводах, — и что́ там внушается в машинных отделениях и кочегарских командах!..)

Вокруг них собралась кучка. Ренгартен говорил, говорил — и поражался их безтолковым, кажется безсвязным и даже безсмысленным ответам. И даже тупым лицам. Он не улавливал их логики, и внутренне дичился: неужели вот с этими матросами они — равноправные русские граждане?

Охрип. Помогал ему — писарь его, вернувшийся с увещания других команд.

В конце-то концов — может быть, и можно уговорить, объясниться, понять друг друга. Но — сколько надо слов потратить! Но — какая пропасть!

После ухода депутатов Непенин сразу сдал, осел, потерял и гнев, и силы.

Посидели в полной потерянности, говорили вяло.

С каких кораблей удавалось — сообщали по радио, сколько офицеров убили, и кого. Кого вскинули на штыки. Кому разбили череп кувалдой. Только тут узнали, что контр-адмирал Небольсин застрелен на льду.

Слушали речь адмирала — и не сказали! Непенин разрывался перед ними — а они уже убили Небольсина!.. (Цусиму пережил — а вот…)

Вместе с кронштадтскими потеряли, скоро получится, — половину офицеров, погибших при Цусиме.

Здесь, на «Кречете», сами-то себя отстояли — на ночь? на полночи? на два часа?

Надо было просить поддержки. Присылки членов Думы.

Отправили телеграмму в Ставку и в Думу:

«Балтийский флот как военная сила не существует».

401

В те самые минуты, когда генерал Алексеев кончал разговаривать с Гучковым, — с другого юза стекала телеграмма великого князя Николая Николаевича.

Это был ответ, через пять часов, на алексеевскую циркулярную, предлагавшую собраться Главнокомандующим. Сегодня великий князь не торопился, как вчера, да ведь он теперь был Верховный. И тон телеграммы сразу ставил Алексеева на место:

«В сношениях с правительством выразителем объединённого мнения Армии и Флота, но не коллегиального мнения Главнокомандующих, должен быть я».

Вот был и ответ на алексеевскую затею.

Как же легко оказалось вчера столковать Главнокомандующих — и как недоступно сегодня.

Верховный налагал властную руку — и Алексееву предстояло умерить инициативу. Да оно и легче. Устал Алексеев…

А что касается Манифеста, то ожидал Николай Николаевич передачи престола наследнику цесаревичу. А сообщённая утром передача престола Михаилу Александровичу — неминуемо вызовет резню.

Вот как? Это изумляло. Почему же имя Михаила вызовет резню? Вызвать резню может только неопределённость и суета. Из чего же Николай Николаевич увидел с Кавказа такое? Что ж, теперь надо было радоваться отречению Михаила?

Или правда Алексеев чего-то не понимал. (И не надо ему понимать, голове легче.) Или промеж великих князей свой счёт и своё понимание. Пусть их.

Да тут и не раздумаешься: снова требовал к аппарату Петроград! Целый день нет их, как к вечеру — так оживляются.

Ещё что-то новое случилось? Тревожно шёл Алексеев, чуть пригребая по полу нефрантовскими сапогами без шпор.

Аппарат объявил ему: что Родзянко занят неотложными делами. (Ну и пусть, он больше не нужен.) А что Гучков — подал в отставку с военного министра!! А военными делами занимается тот некто, кто сейчас стоит у аппарата. Не сочтёт ли генерал Алексеев возможным говорить с ним?

Алексеева — как ударили палкой по лбу. Он залупал глазами. Неужели такое могло совершиться за тридцать, ну сорок минут? Что за сумасшедший дом?! Позвольте:

— Я только что кончил разговор с Гучковым. Он мне ни единым словом не обмолвился об отставке. Напротив, указывал, что все усилия посвятит на пользу армии.

И тем не менее это так.

Значит, весь разговор с Гучковым уже летел к чёрту? Да если такая шаткость в правительстве — как же быть Действующей армии?

— Если вы можете довести до сведения председателя Совета министров, то я прошу, чтоб я был ориентирован в ходе дел. Ибо отдавать распоряжения с завязанными глазами невозможно.

— Час тому назад член правительства Некрасов сообщил мне, что Гучков подал в отставку.

То есть он разговаривал с Алексеевым, уже подав в отставку, и ничего об этом не сказал?!

— Ну, возможно он взял отставку обратно. Если вы с ним разговаривали после шести часов?..

Именно после шести.

Возможно. Но из Ставки трижды вызывали — или Родзянку, или Гучкова.

— …А Гучкова в Думе не было, потому я позволил себе лично прибыть к аппарату, чтобы не задерживать вас.

Ах вот что, так это не они вызывали Алексеева, а продолжал действовать вызов самого Алексеева… Ну бедлам, они там мечутся, друг друга не видят и не слушают.

— Имеете ли ещё что сказать?

— Ничего не имею. Прошу вас на ленте отметить свою фамилию.

— Член Государственной Думы полковник Энгельгардт.

Никогда Алексеев не имел чести слышать этого имени. Что же делается в новом правительстве? И как же быть Ставке? С кем же он связался?..

Теперь, когда совещание Главнокомандующих уже было загроблено, Лукомский как в насмешку подносил ответ Эверта с опросом командармов. Эверт — согласен и торопил собирать Главнокомандующих как можно быстрей.

Да, кого-то и как-то можно было объединить. Но всё упущено.

В этих днях поразительное было — сколько событий умещается в малое время. То разговаривал с военным министром, то он уже не министр, не успеваешь дойти от аппарата до кабинета, сесть подумать, очнуться. А ведь через час встречаться с бывшим

Государем — какое стеснение в сердце. Как выдержать его доверчивый взгляд, какими словами сейчас с ним объясняться? А вот от моряков несли новую телеграмму. От Непенина.

Короткая, но продирающая. На нескольких крупных судах — бунт! Адмирал Небольсин — убит!..

«…Балтийский флот как военная сила не существует».

Как — руку отрубили одним взмахом! Сам Командующий признавал о своём флоте — ещё вчера могучем флоте — что он не существует!

Алексеев перекрестился.

Боже мой, Боже. Спаси Россию!

Вот это — уберегли Действующую армию… Целый грозный флот — и разом *не существует*!.. Что же поделалось? Как??

Коротка была телеграмма, всего три строчки, а всё никак не мог Алексеев дочитать её до конца. А конец-то был — самый поразительный. Как будто потеряв разум и последнее мужество, адмирал Непенин спрашивал у Ставки:

«Что могу сделать?»

Как немыслимо выразиться в военной телеграмме. Как не смеет произнести военный. А только в обезумлении.

Во всяком случае, не генерал Алексеев мог отсюда посоветовать. Алексееву — надо было ехать встречать Государя.

Очень противилась душа. Встала между ними — неясность, неловкость, какой никогда не бывало.

Зачем, зачем Государь уезжал?..

А теперь — зачем опять приезжал?..

Как тяжело было объяснить все шаги этих дней — и тем особенно, что они в награду окончились разочарованием. И даже обманом.

И даже разгромом.

И даже четверть часа назад до непенинской телеграммы — ещё насколько было легче!

Очень не хотелось встречаться.

Алексеев *посоветовал:* иностранным представителям — не ехать на вокзал. А чинам штаба — всем, кто хочет. И чем больше — тем лучше.

Надевал шинель — поднесли ещё телеграмму. От мешка Иванова: верно ли, что ему возвращаться в Могилёв?

Очень тут нужен. Кому теперь?..

И уже в автомобиль сел, отъезжать, — бегом поднесли ещё одно утешение от Непенина:

«Бунт почти на всех судах».

402

Долгой дорогой, вагонным покачиванием отходил Николай от пережитого во Пскове.

Он оказался как обожжён. Только сегодня ощутил насколько. И ото сна — не прошло. И от книги о Цезаре — не проходило.

За окнами двигался чудный солнечно-морозный день. Но не взбадривал душу.

С пути отправил телеграмму брату.

«Его Императорскому Величеству Михаилу».

Необычно сочлось. Но от своей руки.

«События последних дней вынудили меня решиться безповоротно на этот крайний шаг. Прости, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом… Горячо молю Бога помочь тебе и нашей родине. Ника».

Пошли ему Господь более удачного царствования!

И Мама́ в Киев отправил телеграмму. Позвал приехать в Ставку.

За день разговаривал понемногу с Фредериксом, Воейковым, Ниловым, — но всё не разряжалось. Они как-то не так понимали.

Воейков упрекнул: говорили Государю, что гвардию надо было держать в Петрограде, — надо было и держать. И ничего бы не произошло.

Но это было никак не возможно, неужели не понятно? Если гвардию бы держать в Петрограде в безопасности, то такая льгота какой бы обидой была для остальной армии! Это невозможно бы!

Как и невозможно, некрасиво было бы (советовали тоже) — отзывать из армии второсрочных солдат, создавать из них полицейские батальоны.

Текли часы. Прихмурился и день. Но не только не проходило обожжение, а — вырастало вчерашнее, вырастало по значению.

Вчера — Николай легче принял решение, чем осознавал сегодня.

А может быть — он мог бы не отрекаться?.. Вот просто сказать: нет! — и всё. Упереться. А что?.. Что б они сделали?

Обидный остался осадок от тона, каким Рузский разговаривал с ним эти дни. И как теперь пожалел Николай: зачем поддался уговорам Григория, возвратил командовать фронтом после неудовольствия и смещения. Так возвысил его, а он вот — поворачивает судьбы Империи.

Может быть, может быть, как-то можно было сделать вчера иначе. Но не первый день как тугой пеленой была обтянута голова, и даже если было простое доступное — а не видно. Вчера — не увидел.

Может быть, самый простой выход, — а не открылся.

И — к т о теперь был Николай? Кроме уже отодвинутой юности — он помнил себя всегда императором, только. И вдруг — уже нет…

Но и не просто же частное лицо, никому не знакомое, — это было бы намного легче. А был он теперь — особое пустое холодное место, выставленное на позор и насмешку всем, кто знал его в прежней жизни.

Стыдней всего было предвидеть, как он встретится с иностранными представителями при Ставке. Вот перед ними было, пожалуй, всего позорней. Ведь для них он был — сама Россия. А — как теперь они должны смотреть?

Ощущение было как будто раздетости или измазанности. Чего-то очень унизительного.

А — со всеми штабными встречаться?.. — если даже со свитой так тяжело. (Все — выражают глазами.)

Да зачем он и в Ставку поехал?.. Уж лучше скорей бы в Царское!

Глаза скользили по Юлию Цезарю — а в самом протекало, всё протекало — своё царствование. Такое, кажется, долгое, — а вот короткое, незавершённое.

Двадцать два года он стремился делать только лучшее — и неужели делал не лучшее?

И будут судить потомки. И будут осуждать каждый шаг.

Ещё до вечера обещало длиться это вагонное раскачивание вне жизни, отодвигая всё неприятное.

Но тут обманулся: в Орше в поезд вошёл лощёный Базили, начальник дипломатической канцелярии при Ставке, составлявший первый проект отречения. Он выехал навстречу, чтобы в пути обсудить с Государем, как документально оповестить союзников о случившемся.

Разбередил на несколько часов раньше. И безтактно коснулся больного:

— Мы были в отчаянии, Ваше Величество, что вы не передали вашей короны цесаревичу.

Вздохнул Николай:

— Я не мог расстаться с моим сыном.

Не понимают?..

И — кончался, прошёл свободный день, так и не принеся покоя, но даже хуже. Ощущение было — раздавленности.

Вот уже, в темноте, подъезжали и к Могилёву.

Николай заволновался перед новыми встречами, каждая ещё унизит его.

Впрочем, пока на вокзале он ожидал лишь нескольких человек, обычных встречающих — великих князей Сергея Михайловича, Бориса, может быть Сандро, если здесь, да несколько старших генералов. Но, подъезжая и подглядывая через обледенелое окно, — увидел на платформе длинный замерший офицерский строй — так много, как никогда не было, ещё и с чиновниками, конец и не виден был.

И — прошли мурашки по темени. Стало страшно? Да, и страшно. И — как будто почесть мертвецу, всему наперекор!

И — слёзы проникли в глаза: гордо за армейскую честь!

И — жалко себя: ведь он теперь — и от армейской чести как-то отключался? Он — полковником оставался ли быть? какого полка?..

И — колебание охватило: как же выйти сразу перед всеми? Каким шагом? И ведь придётся как держаться, чтобы слёзы…

Пока замешкался — а в вагон на выручку вошёл сам Алексеев. Вот спасибо!

Всё тот же простоватый, не слишком мудрый, чуть скашивая глазами — «мой косоглазый друг»… Что-то напутал в эти дни, вчера — огорчил он Николая. Но сейчас увидел его незамысловатое лицо служаки — и теплом обняло сердце, миновала досада на него. Верные армейские души! С чувством обнял его, прикоснувшись усами к усам, наискось.

Стояли в том самом светло-зелёном салоне, где вчера, близ этого времени, Николай принимал депутатов Думы. И случайно за тот же самый столик сели, Николай — на то же самое место, а Алексеев — на место Рузского.

Брови Алексеева почти закрывали глаза. Ему трудно было начать говорить.

— Ну ничего, — коснулся Николай его рукава.

Так помолчали минуту.

— Ничего, — успокаивал его Николай.

И тогда Алексеев горько вздохнул и горько сказал:

— Ваше Величество. Только что я узнал от Гучкова…

От Гучкова — не могло прийти хорошее, — ещё какое-нибудь горе? Неужели не все горя исчерпаны?..

— …что великий князь Михаил Александрович, теперь уж не знаю, верно ли, нет ли…

— Да что же? — тревожно воскликнул Николай.

— …Отрёкся от престола… Не принял.

Миша?! Не принял?! Боже! Как это может быть?..

— И — кому же?..

Алексеев сам чуть не плакал, таким горьким не видывал его Государь:

— Никому. Временному правительству. Или там Учредительному Собранию. Ещё документа нет… — И пожаловался: — Ну неужели не мог хоть на полгода принять?..

Боже мой! Всё, что столько лет держал Николай! — Миша отдал под ноги свиньям?..

Вот когда дошёл удар до конца! Николай уронил голову в руки.

403

Свечин всегда знал девиз «служить» и твёрд был в нём. Но вот наступили такие странные дни, когда «служить» стало значить устраниться от деятельности. До сих пор текло вдохновляющее накопление снарядов. Обещало весеннее наступление идти с изобилием нашей стрельбы. Однако служебная деятельность Ставки в эти дни из закономерных предрасписанных действий вдруг перешла в какое-то тайное снование нескольких ведущих лиц — Алексеева, Лукомского, Клембовского, не склонных много делиться да-

же с другими генералами Ставки, а бумаги, ими сочиняемые, отправляемые и получаемые, также выключились из нормального делопроизводства, оставляя сотрудников Ставки в догадках и напряжённых наблюдениях.

Государь, побывши в Ставке всего пять дней, — внезапно уехал, и ночью, как никогда. И дальше необычен стал каждый полуде́нь и каждая ночь, но сведения о них не объявлялись офицерам Ставки, не обсуждались ни на каких совещаниях, ни в штабной офицерской столовой, а теперь почерпывались каждым отделом — оперативным, военных перевозок, дежурного генерала — либо тогда, когда события прикасались его ведения, либо когда их офицерам доставались дежурства при аппаратах. Да кому-то что-то в генерал-квартирмейстерской части проговорил и Лукомский. А при том что ставочные офицеры привыкли обмениваться мнениями и дружно обсуждать всё интересное, — они, хоть и с опозданием, в общем успевали осмыслить ход событий.

И первым чувством Свечина эти дни была досада, стыд, каких он не испытывал даже от самых горших операций этой войны. Всё Верховное Главнокомандование русской армии — и царь, и тройка главных генералов, и кто ещё касался к управлению, — было какое-то сборище расслабленных. Вместо того, как приличествует военным людям, чтобы овладеть положением и проявить силу, они все наперерыв изыскивали, как оттесниться и уступить. Что такое с военной точки зрения был взбунтовавшийся Петроград? Хаотическая, голодная, невооружённая, неорганизованная масса, да ещё в самом невыгодном географически зажатом положении. Мятежные запасные батальоны были рыхлым сборищем необученных полусолдат, имеющих не более полувинтовки на четверых, и то не знающих, с какой стороны её заряжать. Действующая армия имела над Петроградом не то что превосходство, а — несравнимость. Глубоко покойное состояние фронта позволяло немедленно снять с него хоть полмиллиона солдат, но даже и тридцати тысяч было бы избыточно много.

И при всём этом Верховное Главнокомандование помышляло только об отступлении и сдаче. Это был паноптикум слабых и неспособных людей — что в Петрограде, что в Могилёве. Давно вереницею тянулась перед глазами выдающаяся бездарность и безликость всех назначений — и вот проступила враз параличом. Это не могло быть только промахами человекознания у Государя: даже действуя совсем вслепую, он по теории вероятностей иногда

должен был ошибаться и назначать всё-таки достойных. Надо было невиданно изощриться, чтобы во главе правительства поставить развалину, военным министром — генерала в футляре, внутренних дел — прохвоста, командующим Округом — чурбана, и послать диктатором — оглядчивого труса. Это было скорей ошибкой доктрины — учения и духа, в котором воспитывалось командование, какой-то Шлиффен наоборот: как дать себя окружить, расчленить и поскорее капитулировать. И несчастными орудиями этой противошлиффеновской доктрины были прежде всех — Государь и Алексеев. Хотя Алексеев и провёл мастерское отступление 1915 года, но одно его прихмуренное лицо полуграмотного унтера выдавало же, что нельзя этому унтеру единолично доверить судьбы России. За эти полтора года дерзкая мысль, как колчаковский десант в Босфоре, не могла проницать его дремучую грудь. Вся его деятельность была — постепенность арифметического накопления, но вот сейчас перед сердитым Петроградом он растерял и арифметическую храбрость. И что же за несчастье, что он так не вовремя воротился из болезни! — задержись бы во главе Ставки Гурко — не так бы он разговаривал с Петроградом, и вся эта революция не покатилась бы.

И чувство унижения у Свечина с каждым днём не миновало, а углублялось. Зачем был весь его — и их — военный вид, военный язык, военная манера мыслить, шашка на боку, пистолет за поясом, если во власти одряхлевших генералов-баб они были обречены носить бумажки от стола к столу и ждать решения от каких-то болтунов из Петрограда, и не мочь защитить даже свои войска от дыхания разложения?

Офицер в составе действующих войск может быть могучим — по своим распоряжениям, и может быть ничтожным — по своей подчинённости. Эти погоны на плечах и дают много, и отбирают много.

Свечин от первого дня считал, что мятеж надо давить, что все эти оттяжки, уступки, мнимое успокоение — только проигрыш армии и России. Но ещё вчера утром он никак не предвидел, до чего катастрофно покатится. Никак не возможно было предвидеть, что хмурый старик Алексеев измыслит блок Главнокомандующих для отречения Государя и что этот блок так легко и быстро составится, даже включая Эверта. Что отречение от престола российского государства будет достигнуто всего в несколько часов, без единого

выстрела, без вывода одного батальона, — этого не мог предвидеть никогда ни один нормальный человек.

Но не меньше удивлялся Свечин, какой в нём самом за эти два дня произошёл поворот к Государю. Во всю эту войну он не прощал ему ни его личного Верховного Главнокомандования, ни ещё больше — упущений от того. Свечин видел и помнил десяток крупных ошибок и десятки мелких, которые все мог царь остановить или исправить, если б не состоял в каком-то ублажённом отрешении. Именно робости, слабости, военной безталанности Свечин не мог ему простить — и думал, что в этом не повернётся никогда и на 5 градусов.

И вдруг вчера под вечер он повернулся к нему едва ли не на 90. Произошло это в тот момент, когда подполковник Тихобразов принёс в оперативное отделение промежуточную псковскую телеграмму, ответ Данилова на понукания Ставки. Там сообщалось, что ждутся депутаты, а пока в длительной беседе со старшими генералами Северного фронта Его Величество выразил, что *нет той жертвы, которой бы он не принёс для истинного блага родины.*

Это было так неделово, невоенно, не соответствовало императорской командной высоте, ни истинному соотношению сил, ни правильному направлению жертвы, это был — крик боли, когда безсердечно расплющили кисть, — но именно этот безхитростный крик и прорезáл. В этом внезапном крике выливалось само нутро как оно есть, в этом крике нельзя было солгать, — и осветилось всем, что их отдалённый, замкнутый, непонятный император — на самом деле только и имел в душе, что самого себя готов принести в жертву России.

Только не знал — как.

И сделал это наихудшим образом.

И не в силах оправдать его за ошибки, кончая этой, — Свечин вдруг потерял ожесточение обвинять его. Царь был виноват, виноват, виноват, — но он не видел, не знал, не понимал, а значит, как будто и невиновен. На этой вершине власти, которую он занял не домоганием, а по несчастью, он проступался, ошибался — и вот ошибся за целую Россию, а не было жестокости казнить его.

Стало его жалко.

И это чувство сохранилось и даже усилилось, когда несколько ночных часов они, полдюжина офицеров и злоироничный великий князь Сергей Михайлович, сидели, сидели в комнате рядом

с аппаратной, всё ожидая рокового решения, а Псков отговаривался — «для Ставки на аппарате нет телеграмм», — и наконец потекла лента об отречении. И само отреченье потом. И в несколько голосов вскричали: Михаил!

И само отречение было — такой же крик боли. Не государственно размысленное, но с отцовским охранительным движением — «не желая расстаться с любимым сыном нашим»…

Столько лет бережа сына для престола — теперь поберечь сына *от* престола?

И к чему пришлось всё это отречение, если те, кто его требовали, — тут же потребовали, чтоб его не было, скрыть?

И — как это теперь всё зависало? во что?

День 3 марта густился, переполненный не доходящими в Ставку таинственными событиями. В Могилёве средь жителей — уже слухи. А вот и прорвались и были нарасхват первые газеты, сегодня и «Русское слово» из Москвы. Пьяный разнузданный «Приказ № 1», да не какого-нибудь хоть полковника, но какого-то «Совета рабочих депутатов», — любой штатский лапоть напишет приказ, а военным его выполнять? И Приказ № 1 Николая Николаевича, — в этот день они столкнулись в Ставке, — один «приказ» на уничтожение армии, другой — на восхваление витязей земли русской. А тем временем отрекшийся Государь ехал и ехал в Ставку назад, для цели уже непонятной: не было тут ни единого дела, которое он должен был бы кому-то передавать, всё вращалось и без него. Как вырванный зуб, как оторванный палец, он тянулся вернуться на прежнее место, где уже не мог срастись.

Но именно по явной ненужности этого возврата, по быстроте растерянного падения бывшего императора, — хотя не было приказа ехать встречать, и никто не обязан был ехать встречать отрекшегося Государя, отставленного Верховного, и не в обычае было ездить его встречать, — но изо всех отделов многие пошли, и скромные чины. И Свечин, конечно. Кто бы мог проявить теперь такую низость — не встретить?

Пришло человек полтораста.

Было 12 градусов, и резкий холодный ветер задувал мелким снегом, на перроне не устоять, а поезд опаздывал. До подхода ждали в павильоне. Когда вышел с последнего полустанка — переходи-

ли на «военную» платформу, освещённую фонарями, — и выстраивались длинной-длинной шеренгой по одному, по старшинству чинов. Едва уместились на платформе.

Отдельно стояла кучка штатских, с губернатором.

Вот показался в темноте вдали треугольник огней паровоза. Ближе, крупней — с отдуванием, открытой работой штоков и медленными доворотами крупных красных колёс.

В качающемся свете, в покачке столбяных фонарей — десять тёмно-синих вагонов с царскими вензелями, ометенные снегом, олепленные ледяными сосульками с крыш, с наледью на окнах.

Поезд погребально замедлялся. Остановился.

Все генералы и офицеры стояли «смирно».

С шумом вырвался тормозной пар, заклубился в межвагоньях.

Из одного вагона выскочили два рослых кубанца, выставили к двери сходни под красным ковриком и замерли по сторонам.

И замер перрон в тишине.

Ждали выхода Государя. Но он не выходил.

И тогда ссутуленный Алексеев пошёл в вагон.

И не было их минут пять. Дул резкий ветер. Стояли, но уже не «смирно», пригревая уши.

Какие-то главные слова там говорились в вагоне, сейчас.

Потом в двери вагона показался Государь — в форме кубанских пластунов, в бараньей папахе. Сошёл на платформу. Чуть улыбнувшись, отдал общую честь всему строю и поклонился, всем сразу.

За ним выходили — Алексеев; высокий пригбенный сребро-усый Фредерикс; и Воейков, вздорно вздёрнутый.

Никак не подтягиваясь, не строя себя для момента, Государь перешёл своей обычной невыступающей походкой. Как ни в чём не бывало.

Всегда неловкому, ему, вероятно, было вдесятеро неловче сегодня: перед своими подчинёнными офицерами явиться никем, ничем.

Государь пожал руку первому генералу в строю. (Лукомский остался в штабе.)

Дальше в шеренге стали снимать перчатки.

Государь медленно переходил вдоль фронта офицеров, здороваясь.

Иногда говоря незначащую, извинительную фразу, чтобы заполнить жуткую тишину.

Иногда просто задерживаясь на секунду, глаза в глаза.

Раза два как-то странно резко вскинул голову.

Близко был фонарь, и Свечин, стоя во втором десятке, разглядел, что Государь этим движением сбрасывает слёзы, чтобы ветер сорвал их и не надо было бы вытирать рукой.

Свечин не раз видел Государя близко и при полном свете, и бывал, в очередь, на высочайших обедах, и там тоже был подобный обход шеренги, и Государь жал руку, и стоял лицом к лицу, — но то всё бывало холодно, формально, незначительно.

А сейчас при слабом свете фонаря Свечин увидел похудевшее, постаревшее, с подвешенными глазными мешками жёлто-серое, даже землистое лицо отречённого императора — и сочувственно-твёрдо вник ему навстречу глазами, и с силой и полнотой пожал руку, запоздало добавляя мужества ему.

404

Опять Родзянко! Требовал генерала Алексеева срочно!

— У аппарата генерал-лейтенант Лукомский. Если Председатель Государственной Думы может передать мне, то я могу принять.

Сразу нагрузил:

— Положение тяжкое.

О, что ещё случилось, ради Бога?!

Нет:

— Когда вернётся генерал Алексеев и подойдёт к аппарату?

— Генерал Алексеев встречает Его Величество. Я затрудняюсь сказать, когда вернётся. Но я в курсе всех вопросов и могу ответить.

Ну что ж, Родзянко и покладист, готов говорить. Да оказывается, и дела не только не тяжкие, но даже очень благоприятные — или что повернулось за последнюю минуту?

— Могу вам сообщить, что сегодняшний день проходит спокойнее. По-видимому, всё приходит более или менее в порядок.

…Вчера пришлось войти в соглашение с левыми партиями. Ценою нескольких, так сказать, общих положений заручиться их обещанием прекратить безпорядок. А то — уже начиналась форменная анархия, значительно более неудержимая, чем в 1905 году…

— Безпорядки были уже настолько велики, что грозили перейти в поголовную резню и общую потасовку населения и солдат.

(Волосы дыбом от такой картины — чтобы весь двухмиллионный Петроград тузовал друг друга! И как же? — штатские против военных или между собой тоже??)

…И вот, дабы избежать сплошного кровопролития, решили войти в соглашение с левыми. Главный их пункт был — необходимость Учредительного Собрания. Ну, там ещё некоторые требования всяких свобод. Да русский народ вполне заслужил их пролитием крови на полях битвы. И вот:

— Сегодня значительно тише. Солдатские бунты ликвидируются, нижние чины возвращаются в казармы, и город мало-помалу принимает приличный вид. Надеюсь, что скоро заработаем на оборону и на организацию необходимой победы.

Пока аппарат это всё лил — вошёл сумрачный Алексеев с больным лицом, уже подбирал и читал ленту.

Непонятно оставалось, в чём срочность вызова и чего Родзянко хочет.

…А иного выхода у правительства не было.

— Акт отречения Государя встречен спокойно, хотя, по моей просьбе, ещё не опубликован. А, вот:

— Соблаговолите сделать распоряжение о немедленном его опубликовании, а вместе с ним одновременно акт отречения великого князя Михаила Александровича…

И вот его полный текст.

— Хотя эти акты не опубликованы, но слух о них повсюду прошёл и встречен населением со всеобщим ликованием. Произведен салют с крепости новому правительству в 101 выстрел.

Завтра Родзянко передаст и текст новой присяги, которую соблаговолите привести в исполнение. А теперь — какие известия с фронта?

Не перебил бы сам себя вопросом — можно бы так и читать, и читать его до полуночи.

— У аппарата генерал Алексеев. На фронте благополучно. … Но слухи в течении всего дня проникали в ряды войск, порождали недоумение и могли кончиться худо. И…

— …безотрадно положение Балтийского флота. Бунт почти на всех судах. Боевая сила флота, по-видимому, исчезла.

Как это ему передать в каменную голову?

— Весной придётся воевать без Балтийского флота, и это может быть гибельно. А всё — результат промедлений: чинам флота не объяснили суть акта 2 марта.

Однако Алексеев уже вышел из обморочного повиновения этих двух дней, наоборот, разбередился от встречи с Государем и его ласковости. И теперь сумел послать Родзянке даже пообиднее:

— Печально и безнадёжно состояние войск петроградского гарнизона, окончательно развращённых пропагандою рабочих, против чего не принимается, по-видимому, никаких мер.

…Зараза понемногу касается и других запасных полков вокруг. Войсковым начальникам много понадобится усилий, чтобы спасти Действующую армию от позорной заразы военной измены…

«Военной измены», а не их «свободы», так ему и выговаривать.

— Все заражённые запасные полки утрачены для родины. Почти накануне начала боевых операций мы теряем немало укомплектований. Правительство должно положить предел пропаганде. Суровые меры должны образумить забывших дисциплину…

Он диктовал это всё, но как-то мало надеясь, вдруг совсем не надеясь, что председатель Государственной Думы его поймёт. И толчком сердца вышел за деловые аргументы:

— Больше пока прибавить ничего не могу, кроме слов: *Боже, спаси Россию!*

Не видно было лица, не слышно голоса Родзянки — но с ленты срывались басистые рулады необразумленной насмешки:

— Искренно жалею, что ваше высокопревосходительство так грустно и уныло настроены. Это тоже не может служить благоприятным фактором для победы. А вот я и все мы здесь — настроены бодро и решительно! Вчера получили от командующего Балтийским флотом телеграмму, что в Балтийском флоте всё успокоилось, все бунты ликвидированы и флот приветствует новое правительство.

Весёлый тон его проглядывал кощунственно. И этого человека Алексеев слушал все эти дни как баран!

Тем временем спросил у Лукомского, нет ли чего ещё от Непенина?

Родзянко в свой черёд хотел подсмеяться как-нибудь пообиднее:

— Желательно, чтобы под влиянием наших доблестных начальников фронтов и армий такое же настроение было бы присла-

но нам со всего фронта. Чтобы наконец объединённо и дружно всем народом вместе с армией, без недомолвок и взаимных подозрений, взяться за расправу проклятого немца!

Да что-то он разговорился, что-то время у него появилось, а то всё не было.

— Мы здесь тоже восклицаем: Боже, спаси Россию! У нас мало-помалу всё успокаивается, и мы в скором времени с удвоенной энергией приступим к работе на оборону!

Наконец он прервался. И Алексеев сорванным, глухим тоном мог продиктовать телеграфисту:

— Благоволите, ваше высокопревосходительство, выслушать две телеграммы. Гельсингфорс. Семь тридцать вечера: на «Андрее», «Павле» и «Славе» бунт. Адмирал Небольсин убит. Балтийский флот как военная сила не существует. Вторая: бунт почти на всех судах. Подписал Непенин. Вы видите, как приходится быть осторожным в оценке событий.

Опять не нашёл всей резкости. Но наконец отдавая назад, чего натерпелся за эти ночи:

— Что касается моего настроения, то я никогда не позволю себе *вводить в заблуждение тех, на ком лежит ответственность перед родиной*. Будьте здоровы.

Однако не прошибло Родзянку и всем Балтийским флотом, и прямым оскорблением.

— Ваше высокопревосходительство, не сердитесь на меня. Я все эти дни забываю справиться, как ваше здоровье, и принесло ли вам достаточную пользу ваше пребывание в Севастополе?

****

ЧУЖОЙ ДУРАК — ПОСМЕШИЩЕ, СВОЙ ДУРАК — НЕСЧАСТЬЕ

****

405

Напечатали отречение Николая — и остановились: Михаилова отречения в Таврическом и сами не имели, князь Львов с ним куда-то пропал. А между тем Совет министров нуждался и первое отречение иметь и видеть в подлиннике.

Надо было отвозить, дело ответственное, Бубликов, ясно, не поедет, не хочет их и видеть, — и Ломоносов охотно взялся погнать. Самому посмотреть на этих делателей русской нивы.

И повёз драгоценную грамоту.

Ошибся: надо было ротмистра Сосновского рядом посадить да двух солдат с винтовками положить на крылья, чтобы ехать пробивней. Разогнали автомобиль — люди только отскакивали. По Фонтанке хорошо проскочили, да свернули зря на Владимирскую. Узкая, несколько солдат штыками перегородили. А командует студент с красной повязкой:

— Вылезайте! Автомобиль нужен для экстренного дела!

Ломоносов сразу — собачье-решительным голосом:

— Я — по исключительно экстренному делу! Я — помощник комиссара путей сообщения! Я еду на заседание Совета министров!

— Какое именно дело?

О чёрт, не скажешь! И, чёрт, не решишься нести эту грамоту пешком, поворот русской истории у тебя в кармане.

Ещё собачистей:

— Это не ваше дело, товарищ! Вы ответите за задержку! Может пострадать сообщение с Москвой!

Это подействовало.

— Ладно, проверьте у них пропуск на автомобиль.

Проверили. Пропустили.

Дёрнули по Литейному, по трамвайным рельсам.

Перед Таврическим — автомобили, толпа. А прошли внутрь легко, стража отлучилась.

А там — залы загажены, заплёваны семячной шелухой. Сотни людей ходят, стоят, сидят. Забрались сюда и разносчики — торгуют папиросами, семячками, маковками.

И где тут может заседать Совет министров? Посылали туда, сюда, в третье место. Наконец в левом коридоре у одной двери юнкера на часах. Тут.

Не пускали. Депутат провёл.

В двух соединённых небольших комнатах — сидели, ходили — министры? нет? И какой-то у них застигнутый, испуганный вид. Ломоносов напрягся в своём достоинстве.

Провозгласилось, что привезли Манифест, — сразу подтянулись смотреть, любопытные или министры.

Надвинулся Некрасов; хотел забрать отречение себе, поскольку он над Ломоносовым министр. Нет, мы не простаки: или председателю Совета министров, или генерал-прокурору.

Но всех строго отстранил Милюков — и стал разглядывать прямо, и зачем-то на свет, как будто он особый толк знал в исторических манифестах, много их передержал в руках и ожидал тут водяных знаков.

А Ломоносов просверливал их своими метучими глазами: нет, исполины революции не такие должны быть! Недотёпы!

А Львова всё не было. И надо было ждать второго Манифеста на печать. Сидел и ждал. А тут разговор, что нужно завтра доставить Кокошкина из Москвы в Петроград, но он там сегодня не успевает к последнему поезду. И, растяпы, ахали, не знали, что делать.

Ломоносов рванулся — показать министрам настоящее управление. Взял трубку и скомандовал на Николаевский вокзал: назначить сегодня ночью экстренный поезд из Москвы из одного вагона первого класса.

Смотрели со священным почтением. Когда яйцо поставлено — так просто.

Наконец появился и князь Львов с блаженненьким лицом и какую-то путаную историю рассказывал, почему задержался.

С тем же любопытством сгрудились министры рассматривать и второй Манифест. Подтолкнулся и Ломоносов туда, среди них.

Этот был написан чернилами, каллиграфическим почерком, на ученическом тетрадном листе в линейку.

И только тут все увидели, что — заголовка-то нет!

Как же его назвать при опубликовании?

И разгорелся — учёный спор! философский спор!

Николай придал форму телеграммы начальнику штаба, и это уже остаётся. Но к отречению Михаила ещё можно было что угодно приписать рукою Набокова.

…Милостью Божией Михаил II…? …объявляем всем нашим подданным… ?

Однако вы забываете, что он не царствовал!

Нет, почему же, он почти сутки был императором!

Но раз не было реальной власти — не было и царствования…

Ломоносов из стриженого арбуза своей головы блестяще-насмешливо посверкивал на министров, не скрывая от них своего проницательного ума. А в груди скрывая презрение и — досаду, досаду.

406

Такого дня, как минувший, не было у Алексеева, наверно, во всю жизнь. Были безсонных несколько суток свенцянского прорыва, но то была чисто боевая задача, в руках были и средства защиты — и закончилось победой. А тут падали кирпичи на беззащитную голову — и ничем не охраниться. Без него произошёл обман с Михаилом Александровичем. Без него погибал Балтийский флот. Но не только это, а ещё новое мучительное стеснение разбирало грудь — перед Государем, и особенно оттого, что он не упрекал Алексеева за промахи, но смотрел доверчиво-светло и даже успокаивал. От этого добавился внутри — неназываемый стыд. Алексеев-то понимал, что — крупно промахнулся.

И сейчас, этой ночью, он не мог избежать встреч с Государем. Сперва — понёс к нему, в губернаторский дом, отречение Михаила. И Государь — читал при нём. А Алексеев стоял и, руки по швам, ждал упрёка.

Четыре дня и три ночи они не виделись — а сколько утекло. И как Государь постарел.

Но — всё так же не было упрёка. Огорчался Государь до стона:

— Что же он наделал? Кто его надоумил? Какое Учредительное Собрание? Какая гадость!

А на Алексеева и тут не посмотрел плохо.

И Алексеев вполне разделял: во время войны — какое Учредительное Собрание? Словоблудие.

И второй раз, во втором часу ночи, ещё сходил к Государю — теперь без большой надобности, но утешить его только что пришедшей с Северного фронта телеграммой генерал-адъютанта Хана Нахичеванского, командира гвардейского кавалерийского корпуса.

«…Повергаю к стопам Его Величества безграничную преданность гвардейской кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого монарха».

Государь прочёл с движением в лице и взял телеграмму себе.

Это ещё была — ночь. А как вести себя завтра днём? Попадал Алексеев в положение деликатного, шаткого неравновесия. Государь выразил желание завтра прийти, как обычно, на утренний доклад. И хотя теперь никак не могло быть никакого доклада, ибо он — не Верховный Главнокомандующий, и странно это будет выглядеть со стороны, и может быть донесено в Петроград, и великому князю в Тифлис, — но и сказать Государю «нет», прямо в его печальные крупные просительные глаза, — не было у Алексеева душевной силы.

Неравновесие было до такой степени чуткое, отзывчивое, что и Родзянке, как ни сердит, Алексеев в конце разговора послал сглаживающие слова — ведь осведомился же он о здоровьи, это любезность, так — благодарен, поправился, но остались дефекты, мешающие работать.

Неравновесие такое деликатное, что даже вот сейчас с Манифестами — как правильно быть? Задерживать их ни на час не возможно, надо рассылать по фронтам, — но и не смеет он такого шага предпринять без одобрения Верховного Главнокомандующего, — а пока придёт согласие из Тифлиса, может протечь вся ночь?

И Алексеев одновременно слал в Тифлис — текст Михаилова Манифеста и почтительный запрос, разрешает ли великий князь оба Манифеста объявить? А одновременно — писал фронтам сопроводительную к Манифестам: что сообщить их надо немедленно как армии, так и гражданским властям, и притом указывать войскам, что всё существование России зависит от результатов войны, и все воины должны проникнуться единой мыслью… И чтобы не могли возникнуть какие-либо междуусобные распри…

И в два часа ночи — рассылать. Но ещё всю ночь не успокоиться, не улечься, пока не придёт разрешительная телеграмма Николая Николаевича. И тогда — снова рассылать на фронты, что Верховный Главнокомандующий — одобрил.

А тут притянулась ещё и запоздалая телеграмма князя Львова, больше — с напоминанием, что ещё же вот какая есть власть над генералом Алексеевым.

Но не множество этих властей бередило его так, как — ужасная неловкость перед Государем. Ужасная натянутость — как теперь обращаться с ним? Не причинить ему лишней боли — но и удержать же в разумных границах, быть почтительным, но и не дать себя поставить в невыносимое положение. Что́ из прежнего — можно и теперь, а что — нельзя?

Столько месяцев дружно, покладисто работал Алексеев с Государем. Но только сегодня почувствовал — как они интимно связаны.

И болезненно.

И роково.

407

Все эти дни в штаб Особой армии под Луцком, как и во все штабы армий, втекали и втекали длинными телеграфными лентами невмещаемые новости. Всегда бывало естественно, как русские буквы, выползая из аппарата, складываются в разумные армейские сообщения. Но эти дни они складывались сперва в полуобычные слова, а затем уже в невероятные фразы. Никто не мог предугадать ни этих фраз, ни тем более всего потока событий, обрушенных с чистого неба на ровном месте. Так покойно было фронтовое сидение этой зимы, так планомерно сгущалось вооружение, снаряжение, и война как будто выходила на перевал, с которого можно было видеть и конец её, — и вдруг обрушилась революция!

Генерал-майор, квартирмейстер, с накрученными на руку лентами, как неразорванными макаронами, ходил докладывать, показывать их сперва начальнику штаба, а потом и самому генералу Гурко.

Василий Иосифович, всегда суровый, и за пятьдесят лет с быстрыми поворотами головы и взглядом, готовым к приёму неожиданностей, резко, быстро прочитывал все ленты сам, протягивал их своими пальцами, и решительный рот его под молодыми тёмными усами сжимался больше и кривей.

Удивительное было положение! За спиною громадной Действующей армии завозилась какая-то некместная вздорная смута, какой-то червь погрызал нутро тыла — а генералы стояли во главе превосходных вооружённых сил, сторожили дремлющего внешнего врага — и не дано было им обернуться, не дано вмешаться, и даже не спрашивал никто их мнения, как лишних и чужих! Состояние паралитика: голова работает, сознание чётко, а пошевельнуть нельзя ни пальцем.

А у Гурко было особенно досадливое состояние: что это меж *его* пальцами протекло, сквозь *его* энергичную хватку. Эх, не до-

жил он в Ставке всего нескольких деньков! — ну бы он эту шантрапу поворотисто пришлёпнул! И воли, и твёрдости, и быстроты ума — всего этого в генерале Гурко избывало, и будь он сейчас начальником штаба Верховного — он минуты бы не дал делу колебаться и плыть, а в отлучку Государя даже ещё свободнее. Как это вот? — распоряжением Государя вели на погрузку с Юго-Западного три гвардейских полка — и вдруг отменено? Кто мог отменить, если Государь в дороге?

Когда в начале ноября вызвали Гурко в Ставку заменять Алексеева на время болезни — он очень удивился, никак такого возвышения не ожидал. (Ему уже был обещан отпуск на спокойные три недели, и он собирался в любимый Кисловодск.) Он был младше всех Главнокомандующих фронтами и многих Командующих армиями. Возвышения не ожидал, но и сразу заявил Государю: приложу все свои силы и в этих обязанностях, но буду говорить вам всё откровенно, при каждом серьёзном деле только правду, и буду вести себя так, будто я не на временном, а на постоянном посту. И — освоился так мгновенно. Не стеснялся высказывать Государю неприятное и не скрывал своих связей с Гучковым, а, разбивая сплетни, сам завёл разговор: наша группа хотела сделать Россию полностью независимой от западных государств при ведении любой войны, вот и всё. Государь только руки развёл: так это и моё постоянное желание. Гурко: так вот ваши министры этой задачи не понимают. Освоился — и вот уже к нему приезжали в Ставку министры, и он сговаривал Риттиха с Шаховским, Шуваевым и Кригером, чтобы шло снабжение, они находились в разладе. И это Гурко первый — в России, и раньше союзников — составил быстрый и резкий отказ на хитрые германские предложения мира, чтоб не надеялась Германия так произвольно окончить войну, как произвольно начала, — и поднёс Государю на подпись. И настаивал перед Государем, что полякам надо дать не автономию, а полную независимость. И Гурко же провёл декабрьское совещание Главнокомандующих, свою реформу дивизий из 16-ти-батальонных в 12-ти, обещалось к поздней весне лишних 70 дивизий, уже пальцами ощущал победную кампанию Семнадцатого года. И он же, от имени России, вёл февральскую петроградскую конференцию союзников, обнаружил полное невежество их в состоянии российских военных дел, и стыдил их, и настаивал, что надо равномерно делиться материальными ресурсами, а не только требовать от нас усилий выше своих собствен-

ных, нам отдавая только излишки своего снаряжения. А сразу за тем неожиданно пришла телеграмма из Крыма от Алексеева, что он настолько поправился, что вернётся раньше времени, 20 февраля. Ну так — так та́к, Гурко сам владел своей инерцией: как легко вступил в Ставку, так легко её покинул — уехал к себе в Особую армию 22 февраля.

И — всё бы на месте. Но ещё доехать в Луцк не успел, как начались петроградские события. И это дёрганье гвардейских полков. (И вспомнилось, как Хабалов в феврале отказался от двух кавалерийских.) Да кто же т а м теперь?! О, карманный Беляев!

И вот, осаженный после крупного зимнего разгона, теперь нервничал в бездействии Гурко хуже, чем в разгар большого боя. Он почему-то ждал, что события снова призовут его! И когда вчера вызывали корпусного командира Корнилова принимать Петроградский округ, Гурко, хоть ему ниже должности, позавидовал: сам бы готов сейчас туда прорваться и быстро всё управить.

Но никуда никто не призывал генерала Гурко, ни его войск, Ставка затаилась, в телеграфе заминка, как вдруг минувшею ночью под самое утро пришла такая лента, что Командующего разбудили, он схватил этот скрученный шелест — и при своих штабных генералах открыто взялся за голову:

— Теперь всё кончено.

Так одномгновенно ясно ему стало: всё кончено, война проиграна!

Государь — отрёкся.

Передача Михаилу — не пройдёт гладко.

Тотчас распорядился собрать своих корпусных командиров, их восемь было в его крупной армии. Через два часа они собрались. И только Гурко начал с ними советоваться, как быть и как оповещать, — подали ему новую телеграмму: задержать первую!

Отлично! Надежда. Там, во Пскове, Петрограде, как-то потекло иначе?

Корпусные разъехались.

Потекло иначе — но как вмешаться, как помочь? Никто не звал на помощь.

Ещё больше искрутился Гурко за этот безплодный день.

А рано ночью — его разбудили опять.

Гурко вышел из спальни в пижаме верблюжьей жёлтой шерсти. Только что разбуженный, он не нёс никаких следов сна, сразу готовый к действию, — и кинул меткий взгляд на ленты, не

ожидая от этих белых петель добра. И сел почему-то не на стул, а на стол.

Принял моток и разворачивал. Полковник квартирмейстерской части, миновавший с лентой и начальника штаба, не помогал командующему прочесть, не опережал словами, зная, что он любит всё сам.

Один Манифест… Другой Манифест…

Гурко шёл глазами по ленте, и даже его напряжённое, нервное лицо отдавалось изумлению.

Та́к надо было понять: кончилась династия?!

Кончилась и монархия в России!

Закинул голову, зажмурился.

Посмотрел на полковника, как хотел бы разнести его за провинность. Отдал скрученную ленту и не велел никого пока будить.

Надо подумать.

А оставшись один — стукнул по столу несколько раз, больно для руки. Пробежал по комнате, ещё раз стукнул ладонью. Не садясь, подпёр голову руками о стол.

Что за безпомощное идиотское состояние! Ни в каком бою нельзя так попасть. Иметь полную силу, все гвардейские корпуса и ещё сверх негвардейские, — и ничего не мог сделать!

Проклинал себя, что эти дни чего-то ждал, что не попытался…

А — что??

Ну, Беляев — кукла. Но изумиться Алексееву: ведь у него в руках вся власть, все силы, — как же он мог допустить?

Как-ж-же он не вмешался?!

Теперь, отданная хаосу, отданная болтунам, — Россия потонет в крови.

Но — и своей упущенной возможности Гурко не видел. Высматривал, даже боясь её найти (и себе не простить), — но честно не находил. Пока он был в Петрограде, пока он был в Ставке — ничто подобное не начиналось.

А сейчас все возможности его были — переговариваться через Брусилова. А это всё равно что, закатив рукава для драки, начать по локоть месить говно.

Да как же можно было Алексеева с температурой допускать до службы!

Пошёл, с силой плюхнулся на кровать, так что сетка взвизгнула.

Несколько раз перевернулся с подпрыгом, ища выход.

И не нашёл.

И своей ошибки, своей упущенности за эти дни — тоже не нашёл.

Ну, значит отрезано, и не терзаться.

Впрочем, знал он свои нервы, что эту ночь ему уже не спать.

Главное — так недавно ощутимо было его всевластие.

Бурным потоком рвалась его речь и к министрам, и к Государю, и к союзникам. Он имел прямоту звездить в лицо кому угодно, и вынуждены были выслушивать. Пока протопоповская тайная полиция следила за перемещениями по Петрограду начальника штаба Верховного, за частными встречами его, и конечно спешили доносить царю, — а Гурко и не скрывался, он охотно встречался с разумными и независимыми русскими людьми. Сколько он в эту зиму виделся с Государем — ни разу не склонился угодливо, но отстаивал свои мнения до громкого голоса, до крика даже, до угрозы отставки, — и Государь всегда уступал. Гурко мог сам отменить, если был занят, высочайшую назначенную ему аудиенцию. Не вынося императрицы — уклонился явиться к ней, лишь раз побеседовали на союзном обеде. Да целыми годами Гурко был из самых независимых генералов, не терпимых за свою независимость, и даже считали его вождём дотошных «младотурок», — а он просто не умел служить, лишь отбывая службу, а не пытаясь исправить дело. Да ещё предавали суду его брата, унизили фамилию Гурко, — мог бы он хоть на искорку порадоваться сегодняшней революции?

Но он знал, что это — конец России.

Да, этой зимой он почти кричал на Государя.

А сейчас — отгневался. А сейчас испытывал — прилив боли за этого слабого человека, погубившего всех нас.

Сейчас — с каждой минутой он всё больше его жалел. Представил, как от него станут отворачиваться все обласканные, приближенные, изменять, разбегаться по всем норам…

Нет — не уснуть. И не пытаться.

Пошёл сел за письменный стол. Бумаги читать, поправлять к приказам? Тоже не идёт.

Опять вызывать корпусных? Пусть поспят, к утру может ещё подсыпят директив.

Такая завертелась мысль: сейчас вместе с рассылкой двух Манифестов по дивизиям разослать секретный запрос: пусть соберут

сведения, как отнесутся нижние чины и население района к актам отречения?

На всякий случай полезно знать. (Если, может быть, — переиграть?)

А внутри что-то росло неосознанное, Гурко сам к нему ещё не прислушался.

Читал бумаги и подчёркивал.

И вдруг выступило: вот сейчас, когда Государь свержен, унижен, покинут, — вот сейчас и протянуть ему поддержку.

Написать письмо?

Сейчас, когда все будут отшатываться, что никогда монархистами не были, заверить даже с преувеличением: что — монархист и верноподданный.

Внезапность мысли не удивила: так и всегда схватывается нами мгновенно или потом уже никогда никак.

Судьбы писем теперь зыбки? могут Государю и не передать, возьмут его в блокаду?

Послать с верным офицером. Из своего гродненского гусарского. (Гурко начинал в нём службу.)

А если всё равно тот поедет в Могилёв — так и Алексееву письмо? Не умел удержать государственных возжей — так хоть пусть заступится, чтобы в Петрограде не громили известных людей, не сажали престарелых под арест.

Так это выросло внутри, что ничего другого и делать сейчас не хотелось, не горело — а вот писать письмо Государю.

Хотя Гурко сам ещё не понимал — что писать? Предложить путь спасения, путь действия? — он не мог. А это был бы единственный настоящий смысл.

А просто — выразить. Что эти тяжёлые дни России — никому, однако, не могут быть так прискорбны, как Его Величеству. Что пишущий — да не он, а и миллионы верных сынов России понимают: Государь был воодушевлён благом России и предпочёл великодушным деянием взять все последствия на себя, нежели ввергнуть страну в ужасы междуусобной борьбы или выдать её триумфу вражеского оружия. Благодарная память народа оценит это самопожертвование монарха, который был и слугой и благодетелем страны по примеру своих коронованных предков.

И генерал Гурко не находит слов выразить своё восхищение перед возвышенностью жертвы.

И отречение за наследника, быть может, вдохновлено Богом. Через четыре года он не мог бы взять бразды правления в свои, ещё слишком слабые, руки. Получив же правильное, неторопливое воспитание до более зрелых лет, обстоятельно изучив государственные науки, приобретя знание людей и жизни, — он когда-нибудь сможет быть призван благомыслящими людьми России к принятию законного наследия.

Можно предвидеть, что страна, после горьких уроков внутренних волнений, после опыта государственного правления, к которому русский народ исторически и общественно не подготовлен, вновь обратится к Богом помазанному Государю. История народов учит нас, что в этом нет ничего необычайного. А условия, в которых произошёл государственный переворот в столице, столь неожиданный для армии, скованной близостью врага, дают основания надеяться на такой возврат.

Бóльшим не мог генерал Гурко подбодрить своего Государя: ничего более близкого он, по совести, не видел.

А легче — увидеть цену Временному правительству. Оно выпускает из тюрем осуждённых за политическую деятельность — и одновременно сажает в тюрьму прежних верных слуг Государя, которые действовали в рамках существовавших законов: назвать ли такие аресты проявлением свободы, написанной на знамёнах захватчиков власти?

Но те, кто в будущем образуют ядро, вокруг которого люди сплотятся, те, кто преследуют подлинное развитие и постоянный подъём русского народа…

О чём же это будет письмо? Без практического дела разваленное на дробные мысли? Никогда в жизни Гурко не писал таких неделовых писем. Но только кончая его, почувствовал, что выздоравливает.

Разрешите мне, Ваше Величество, обратить на всё это Ваше внимание. Помня о Вашем благоволении ко мне во время немногих месяцев, которые я по Вашему желанию провёл как Ваш ближайший помощник, разрешаю себе надеяться, что Вы так же благосклонно примете излияния сердца, охваченного скорбью в эти дни, грозящие жизни России. И поверите, что мной руководило только чувство преданности русскому самодержцу, которое я унаследовал от своих предков, всегда обладавших мужеством и честностью высказывать своим царям одну только неподдельную правду.

ЧЕТВЁРТОЕ МАРТА

СУББОТА

408

Прошлую ночь морские декабристы пылали от счастья, эту — от страдания и страха. Отказывался ум представить: что́ теперь флот? И как можно дальше управлять матросами-убийцами? И что с ними самими случится к утру?

Выручка от Государственной Думы, в виде оратора или двух, не могла прийти раньше дневных часов. Но вчера вечером — такие теперь свободы — на «Кречет» приходил для прямого разговора с правительством машинист-депутат Сакман. И оказывается, Керенский с той стороны ответил ему, что просит матросов немедленно прекратить разгром русского флота и напоминает, что вице-адмирал Непенин открыто признал власть Временного правительства и безусловно ему подчинился, а потому матросы должны верить его приказам. Впрочем, одновременно заверил Керенский матроса-депутата, что Временное правительство гарантирует и матросам, как всем гражданам, — полную свободу агитации и пропаганды.

Предстояло пережить сегодняшний день. Балтийский флот на стоянке был — отдельный мир, и ничто происходящее в России не могло сюда перенестись через ледовые пространства.

Только — радио. Что уже и Михаил — отрёкся.

Но тем более это не добавляло устойчивости здесь.

Однако Адриан Иванович, казавшийся с вечера совсем обмякшим, вызвал своих доверенных перед утром с блистающими глазами, с возвратившейся подвижностью впечатлительного лица. Плотно сбитый, он был налит, как бомба. И высевал из-под пушистых усов:

— Начавши путь — никогда не надо его бросать! Хуже нет шатаний и перемётов. Ошибкой было бы сейчас нам изменить своим убеждениям или изменить свой метод. Все эти кровавые формы,

через которые идёт движение революции, — в какой-то мере, значит, неизбежны. Продолжаем наш метод — открытое обращение к морякам. Сейчас же, раньше чем они проснулись. Вот, доработаем текст.

Доработали — и ещё затемно, в 5 утра, Ренгартен принёс на радиотелеграф обращение адмирала Непенина ко всем командам.

Чтоб не возникало недоразумений, говорилось там, Командующий флотом вновь объявляет офицерам и матросам о своём непреклонном решении твёрдо поддерживать власть нового правительства. Требует от всех чинов флота дружной работы для поддержания порядка. Верит в полное единение офицеров и матросов, отвечающих своею честью перед родиной за её будущее.

Нельзя было быть прямей, честней, открытей!

Линкоры почти тёмные стояли, с редкими лампочками, но с теми же грозными застывшими одинокими багровыми фонарями на клотиках.

Уверенность адмирала передалась его приближённым. Пошли попить горячего крепкого чайку, перед началом трудного дня.

Но ещё не кончили пить — прибежал перепуганный радиотелеграфист — и принёс ответ с неизвестного корабля, от неизвестных неспящих людей, из предрассветной мглы.

«На радио Непенина. Товарищи матросы, не верьте тирану! Вспомните о приказе отдания чести! Нет! От вампиров старого строя мы не получим свободы! Смерть тирану — и никакой веры от объединённой флотской демократической организации».

Прямая угроза ещё усилялась от неизвестности авторов. Как во всяком сигнале с корабля на корабль, была в том загадочность гигантов. Почти не поверить, что передают простые люди, какой-нибудь неспящий телеграфист, — а будто невидимое корявое чудовище, пошевельнувшее лапой.

Безумие! Полный развал! Так разумно задуманный государственный переворот, так великолепно начавшаяся революция — во что превращалась!

И рассчитывать можно было… — только на чудо?

Уже и не лечь. Уже и не успокоиться.

Влачить на себе день как рабское ярмо.

Что случится сегодня?!

Черкасский успокаивал: по теории колебательного движения повторения колебаний неизбежны, но они будут затухающими.

Тут прекрасная мысль пришла Ренгартену: пусть адмирал отдаст повсеместное распоряжение снять царские портреты. Это произведёт хорошее впечатление.

Непенин согласился. Послали радиотелеграмму, всем.

409

Очередной сменщик, прапорщик, приболел — и просил Гулая капитан остаться ещё на одну ночь на наблюдательном.

Опять никакой стрельбы не было, и так же богатырски выспался Гулай, а когда проснулся — у телефониста уже кипяток поспел.

Хлебнул.

В блиндаже совсем было серо, день пасмурный.

Телефонист дежурил смурый, лишь у своих аппаратов, ни в какую трубу не смотрел. А сунулся Гулай к окулярам — и на том же самом месте, что вчера, и даже, кажется, на том же щите дразнил новый плакат:

Царь Николя капут!
Солдаты — по домой!

Эге-е-е…

Одной пулей два раза не стреляют. Два бы раза так не шутили.

И опять на высоких тонах, как трубачи играют, тревога не тревога, а молодое чувство радости от неведомого зазвучало в Косте.

И правда, хотелось какой-то интересной перемены.

Сразу он проснулся окончательно. И готов был хоть и второй скучный день отсидеть на наблюдательном, а только с кем-нибудь поговорить бы.

Но не стал докладывать на батарею: велят опять сшибать, а — за что? Новости нам передают, спасибо.

Пусть и до князя Волконского дойдёт.

Однако что ж это такое могло произойти — и почему у нас ничего не известно?

Войне конец? — это бы неплохо, надоела проклятая. Но что такое в Петербурге и что с царём?

А пойти в пехоту. Это была отлучка законная, и докладывать не надо. Научил телефониста, как отвечать, и пошёл ходами сообщения.

Уже под ногами в траншеях везде было торено, смяли недавний снег. И сверху ничего не сеялось.

В лабиринтах ходов указателей нет, кто не знает каждого поворота — заблудится.

Тишина стояла вокруг — полная, ни выстрела, ни стука повозки, ни человеческого голоса. Не представить, какое множество людей тут закопалось в норах и дышат.

Если действительно революция — то какая ж война? Войну сворачивать. Хорошо.

Революция! Всё-таки есть в этом звуке что-то влекущее, зовущее.

Интересно, что́ Санька. Да впрочем, Санька всё больше манную кашу размазывает.

Дошёл до батальонного командного пункта. Дверь у них навешена не самодельная, а где-то в деревне снята, с фигурными филёнками.

И внутри обстроили два помещения: первое — телефонистов и связных, а за перегородкой, в том же блиндаже, ещё офицерская комнатёнка.

Солдаты лежали на соломе, сидел телефонист на чурбаке.

— Есть кто? — кивнул Гулай на второе помещение и постучал туда.

По утреннему времени думал найти только дежурного офицера, он и был, Офросимов опять, — но кроме него за столиком сидел и командир батальона — маленький остроусый подполковник Грохолец.

— Разрешите, господин полковник? — пригнулся Гулай в дверце.

— Да, да, — озабоченно кивнул тот. Он сидел за столом без шапки, без шинели, маленькая голова его лысая, а с дерзким островным чубком посреди темени.

Натоплено у них тут было. Офросимов, тучемрачный, тоже сидел без шапки, но шинель перехвачена ремнями.

Грохолец слегка кивнул, чтоб садился подпоручик. А стулья все — чурбаки с поперечными набоинами.

Гулай сел верхом, тоже шапку сняв.

По виду их он понял, что — знают. И не спросил.

Грохолец, известный своими острыми шуточками перед солдатскими строями и в офицерских компаниях, за то всеми любимый, шуточки его всегда были кнутики подстёгивающие, — и сей-

час сидел такой же маленький и острый, но вся острота его вскрученных усов и прокалывающих глаз была бездейственна.

Гулай не спросил — но и они не удивились его приходу и молчанию. Это молчание так и стояло тут до него. И от этого стало ещё понятней.

Офросимов со своей земляною силой сидел, сам себя обхватив вкруг руками, как бы удерживая не вскочить.

И это их озабоченно выжидающее сидение осадило в Гулае его радостное постукивание — и он невольно перенял их мрачность.

— Но при чём тут Петербург? — трудно выговорил Офросимов. — Да армия не допустит!

— А что именно в Петербурге, господа? — уже в полном тоне озабоченности спросил Гулай.

— У образованных нервы сдали, — выдавил Офросимов.

Со всей остротой своей и Грохолец не мог сообразить больше, чем узнал:

— Восстал петроградский гарнизон. Власть захватили 12 членов Думы. Все министры арестованы.

— А… Государь? — невольно сразу спрашивалось. (В прежней привычке Гулая было — говорить «царь», как все говорят в обществе, но среди офицеров это звучало грубо.)

— Ничего не известно.

— А откуда известно? — добивался Гулай, уж про немецкий плакат, что теперь.

— Слухи, — пожал узкими плечами Грохолец. — Но уже по всем телефонам, через всех солдат.

— Но если так, — соображал Гулай, — тогда почему ж командование прямо не объявит?

Грохолец медленно поводил головой в кивке, как бы узнавая невидимое, пришедшее:

— Начальник дивизии сейчас вызывает командиров полков — и… — и? — ещё удивлялся, — полковых священников.

И вот эти священники — как на панихиду — больше всего и убеждали.

Офросимов сидел крутой тучей.

И уже не на шутку передалось Гулаю — нет, тут не забавой пахнет. И он тоже сидел — хмурой глыбой.

А тонкий, подвижный командир батальона, при своей части и при оружии, готовый и к бою и к смерти, как всегда, — что мог?..

Вся острота его была упёрта во что-то тупое, неизвестное.

Со всеми их чувствами и мыслями ничего от них не зависело — а как решит начальство.

410

Именно в дни наибольшего напряжения — наименьшая возможность восстановить силы. Две ночи подряд полностью разрушили Рузскому, не отдохнёшь и днём. И эту третью ночь грозили развалить, — но после двух часов ночи пришёл наконец второй Манифест — и кажется, государственный кризис кончился. И Рузский велел Данилову ни за что себя не будить, лёг со снотворным, расслабился, заснул.

Данилов бы тоже охотно всхрапнул, но — должность начальника штаба, да и сложением он был куда крепче Рузского, да и моложе.

Оставалась, кажется, только техника: передать в три своих армии, и на Карельский перешеек, и в Балтийский флот все полученные свыше документы — ещё раз отречение Николая, отречение Михаила, приказ №1 Николая Николаевича, — и сды́хались, и спать ложись. Но не тут-то было.

Последовал телеграфный вызов с необычным соединением: от Западного фронта. Квецинский вызвал Данилова. И передал, что главкозап — в большой тревоге и недоверии (не объяснил — кому не доверяет, но получалось так, что Ставке): Манифест Михаила ничьей подписью не скреплён — и стало быть, недействителен. И Эверт не хочет его публиковать, пока не получит решения остальных Главнокомандующих.

Тут и Данилову просветило: действительно! Манифест Николая скреплён Фредериксом, а Михаила — никем. Неряшливость, неумелость — или тут какой-то смысл?.. Очень стал осторожничать Эверт… Однако и будить Рузского не мог Данилов взять на себя. Пусть у Эверта Манифест и полежит.

Хотя, например, все волнения в Балтийском флоте и Ставка, и штаб Северного фронта объясняли именно задержкой первого Манифеста: если бы сразу его объявили — никаких бы волнений и не было.

И с Северного — Манифесты потекли. И Ставка предполагала, что всё течёт нормально. Досылала запрос: сообщить, как будет принято объявление актов войсками и населением.

Но тут генерал Болдырев досмотрелся и принёс Данилову: в приказе №1 Николая Николаевича была фраза: «Витязи земли русской! — знаю, как много готовы вы отдать на благо России *и престола*…» — но какой же к чертям теперь престол, если мы передаём отречение Михаила?

Действительно, получалась несуразность. И Манифест Михаила, и приказ Николая Николаевича просто помечены одним и тем же 3 марта, а часы не ставятся, — и вот поплывут недоумения по всем войскам.

Болдырев предлагал: сократить «и престола», оставить только «благо России». Но Данилов и вообще был служака, и к Николаю Николаевичу у него оставалось старое почтение совместной службы, — как это сократить Верховного Главнокомандующего? мы не имеем права. В тот момент, когда великий князь писал, — престол ещё был.

Будить Рузского? Опять же нельзя. Стал звонить Лукомскому: может быть, приказ великого князя пока задержать до выяснения? Верховный сам исправит? Лукомский тоже стал в тупик: задерживать не имеем права, а может быть так истолковать — что и отречение Михаила сошло к нам с высоты престола? — Нет! будут везде тяжёлые недоразумения, кто поймёт эти тонкости? — Тогда, предложил Лукомский, пустить приказ Верховного заметно раньше Манифеста? — Но это уже упущено, мы спешили передать Манифесты. — И правильно.

Неразрешимо. И будить Рузского нельзя. И Алексеев — не согласен ничего сокращать и требовал приказ Верховного тоже рассылать.

Нет, на Северном решили подождать. Конец ночи и рассветные часы ничего не решают, приказ Верховного держали. Наконец вдвоём, Данилов с Болдыревым, решились будить главкосева.

В комнате была полутьма: уже снаружи дневной свет, но шторы. Рузский проснулся болезненно, даже со стоном. И с упрёком. Выслушал.

— Чушь какая…

Ну конечно анахронизм. Ну конечно «и престола» уже оскорбительно драло ухо фальшью.

Пока они ему объясняли — Данилов, сев у кровати, Болдырев, стоя за ним, а счастливый сон непоправимо ускользнул. Но вытянув ноги под одеялом, уже тому был рад Рузский, что не надо ему подниматься, одеваться, не надо к телеграфу идти. В 63 года зака-

чают… Бумагу он и посмотреть не взял у Данилова, он оценивал со слуха, присмежа глаза.

Анахронизм… Не только в этом «престоле», но в самом Николае Николаевиче, вздутом в качестве Верховного. Позавчера вокруг отречения столько было борьбы, что Рузский не решился возразить сразу в этом. А на самом деле это было безпомощное, жалкое движение вспять. Делали великий исторический шаг — и тут же трусливо виляли.

Вот и каркала ворона — «и престола», — а сыр падал. Поразительно неисправимый старый дурак, как можно настолько не чувствовать времени? Конечно никакой «престол» в приказ идти не может. Можно было и самим догадаться, не будить.

Так ведь — и Алексеев!.. О старательный писарь! И как же решился — собирать совещание Главнокомандующих?..

Нет, только единством с новым правительством и держимся мы теперь.

411″

(газетное)

МАНИФЕСТ НИКОЛАЯ II

ОТРЕЧЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ПОДРОБНОСТИ ОТРЕЧЕНИЯ

— Что же мне делать? — тихо спросил Царь.

— Отречься от престола, — ответил представитель Временного Правительства.

Царю тут же был дан для подписи заготовленный заранее акт отречения, и Царь подписал его.

РАДИОТЕЛЕГРАММА ЗА ГРАНИЦУ. Всем, всем, всем. — С целью предупреждения полной анархии… В короткий срок при единодушном настроении всей армии в пользу переворота… Удалось вступить в сношение с Советом Рабочих Депутатов… Попытки послать против столицы воинские части кончились полнейшей неудачей, так как посылаемые войска немедленно переходили на сторону Государственной Думы… Послы английский, французский и итальянский признали народное правительство, спасшее страну…

Энтузиазм населения по поводу совершающегося даёт полную уверенность в громадном увеличении силы национального сопротивления… для достижения решительной победы над врагом.

…Каждый из нас должен теперь забыть всё и отдаться всецело счастью родины. Теперь только изменники и люди, не любящие России, борются с новой властью.

РОДИНА ВОСКРЕСАЕТ… О, великий народ! Пришёл миг — и ты восстал, великий, могучий и прекрасный. Восстал как гигант — и цепи оказались паутиной. Что бы теперь ни произошло — мы уже утешены, этот миг заплатил нам за всё.

…Семья Романовых — род деспотов и дегенератов. Мы должны смести этот мусор до основания…

…Наивные люди боятся, что с устранением монархии может поколебаться государственное единство России. Но именно свободные политические учреждения укрепят русское государственное единство. Новое правительство возникло не самозвано: на нём почиет воля народа.

ЗА ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИМИ КУЛИСАМИ …Теперь можно приподнять завесу над этим углом русской жизни…

БОЛЕЗНЬ НАСЛЕДНИКА, как сообщают, приняла характер неблагоприятный.

СООБЩАЙТЕ О ПОГРОМАХ. Бюро Сообщений просит оповещать по телефону №…

ПУРИШКЕВИЧ объезжал сегодня полки и призывал офицеров и солдат подчиниться Временному правительству.

АУКЦИОНЫ РЕВОЛЮЦИИ. Несколько дней в Петрограде не было регулярных газет. Вчера, едва московский поезд подошёл к петроградскому перрону, — к багажному вагону бросилась толпа артельщиков. Началось сражение, которое затем перенеслось к киоскам. За несколько минут московских газет не стало. Затем в течение дня они котировались на Невском как биржевые бумаги — по 100 и 1000 рублей за номер. У кафе «Пекарь» экземпляр «Русского Слова» был продан за 10000 рублей директору товарищества «Жесть» Левенсону. Купившим газеты была устроена овация, потом их носили на руках.

ИЗВОЗЧИКИ. Извозопромышленники возбудили перед городской думой ходатайство об отмене установленной таксы. Дума удовлетворила…

Возникли и другие аукционы на революционные нужды. Сначала продавались стихи на смерть Распутина, затем — обгоревшие бумаги Охранного отделения.

В СИНОДЕ, 4 марта. Митрополит Владимир от лица всех присутствующих выразил радость освобождению Православной Церкви.

Члены Г. Д. — священники обращаются с братским призывом к православному духовенству всей России: немедленно признать власть Временного Комитета Думы и своим горячим пастырским словом разъяснить народу, что смена власти произошла для его блага и только при этом условии можно вывести Родину на путь счастья, благоденствия и процветания.

Поставщики Его Величества торопятся один за другим отказаться от почётного звания.

Лишние учреждения. Упразднена военно-цензурная комиссия…

НАСТУПЛЕНИЕ НАШЕЙ КАВКАЗСКОЙ АРМИИ продолжает развиваться. Перевал, открывающий дорогу в Месопотамию, нами занят. На Багдадском направлении…

УСПЕХИ АНГЛИЧАН В МЕСОПОТАМИИ…

В Московском Совете Депутатов. …Много аплодисментов вызвала речь французского офицера, что так же начиналась и революция во Франции… Необходимо ускорить изготовление снарядов…

Служащие московских сберегательных касс выражают безграничную радость по поводу совершившегося переворота.

…возбудить вопрос об уничтожении паспортов как документов, унижающих человеческое достоинство…

Московские парикмахеры приветствуют первого гражданина свободной России председателя Государственной Думы и выражают безпредельную радость…

К ПОБЕГУ КАТОРЖАН из Бутырской тюрьмы. …Уже задержано 1700 человек. Большинство находилось на Хитровом рынке и в харчевнях, многие сдавались добровольно. Некоторые взяты во время грабежа. Однако никто из шаек «Сашки-семинариста» и «Васьки-француза» до сих пор не задержан.

Когда арестованных полицейских вели по московским улицам, толпа еле сдерживала себя: «Сорвите с них погоны!», «Убейте их!», «Разорвите их на куски!» Милиция еле удерживала толпу от самосуда. За весь недолгий путь городовые были предметом самого злого и вполне понятного издевательства.

ЕВРЕЙСКИЙ МИТИНГ. Московские евреи на днях собирают митинг.

Новое управление Московской губернии. …Прежний вице-губернатор отправлен в Бутырскую тюрьму.

СЛОНЫ-ДЕМОНСТРАНТЫ. Вчера на Тверской — необыкновенное шествие: два слона и верблюд, на попонах — приветствия народному представительству, а за ними — на колеснице стоя, известный клоун и дрессировщик Дуров, так много пострадавший при прежнем режиме.

412

Холодный ветер не утихал, и за ночь и утром дул настойчивый, привязчивый, надувая что-то.

А когда совсем рассвело — открылся такой вид, будто Государя в Ставке не было: перед входом в губернаторский дом не было парных часовых. Перед дворцовым сквером не слонялись агенты в штатском. Только остались два жандарма у изгороди дворца.

А над зданием ратуши через площадь висел большой красный флаг.

С 8 часов утра подполковник Тихобразов вступил в суточное дежурство, занял комнату дежурного в нижнем этаже, рядом с телеграфным залом.

Проверил шифры. Обошёл первый и второй этажи.

Из окна второго этажа наблюдал сцену: перед оградой дворца собралась кучка штатских, скорее торговых, они сильно жестикулировали и, кажется, восклицали, и всё добивались идти внутрь, а жандармы их не пускали. Затем кто-то пошёл в губернаторский дом. Вернулся — и убеждал собравшихся. И наконец нехотя, неуверенно они разошлись.

За это время в штабе стало известно значение сцены: это приходили взволнованные поставщики, требуя денег, опасаясь, что Государь теперь обанкротился и не заплатит им.

Тихобразов покраснел, как если б это он сам приходил требовать.

Только бы, пока они стояли, Государь не увидел бы в окно и не узнал бы этого позора.

Но из окон своего кабинета он мог наискось и видеть.

Тихобразов волновался: придёт ли Государь, как всегда, к половине одиннадцатого, выслушивать доклад Алексеева? Это казалось невозможно! — но вместе с тем так привычно. И если придёт — то как его титуловать?

Тихобразов любил Государя. Он считал его поразительно простым и отзывчивым, как не бывают в царском положении. А пожав его руку вчера, был непомерно счастлив, как неловко при таком горьком поводе. За полтора года Государь всех их тут, в Ставке, знал, и Тихобразова называл «маленьким капитаном», даже и произведенного в подполковники.

В начале одиннадцатого он стал на втором этаже близ удобного окна и наблюдал — будет ли Государь идти.

Да! Появился — точно-точно как всегда, но шёл совершенно один, как никогда не ходил, — без дворцового коменданта, и без дежурного конвойца, только флигель-адъютант сопровождал его.

Он был, как и вчера, в пластунской черкеске, без шинели.

С офицерским умением Тихобразов точно рассчитал свой выход — так, чтобы встретить Государя снаружи близ угла генерал-квартирмейстерской части.

Но! — он не смел держать глаз вскинутыми как всегда, — чтобы не увидеть царского одиночества…

И в двух шагах перед Государем, когда остановился и тот, — Тихобразов не посмел поднять глаз выше царских уст: из страха нескромно заглянуть через глаза в душу несчастного монарха.

— Ваше Величество! — доложил он, а голос его дрожал. — За время дежурства по управлению генерал-квартирмейстерства никаких происшествий не случилось! Дежурный подполковник Тихобразов.

И повернулся во фронт, давая императору дорогу.

Государь опустил руку от козырька и пошёл в штаб.

Так лицо Государя и осталось неувиденным.

Тихобразов следовал в двух шагах за ним и оставил его внизу лестницы, ведущей наверх.

413

А спал — опять хорошо, и сон возвращал здоровье духа. Потому спал хорошо, что как ни раздавлена душа, — а ничто не совер-

шено против совести. Ужасный, крушительный шаг — а не против совести.

Ещё и потому стало много спокойней, что вечером, преодолев свою нелюбовь к телефону, просил попытаться соединить с царскосельским дворцом (это, очевидно, шло теперь не только через Петроград, но и через думский контроль). Долго соединяли — и вдруг удалось. И Николай услышал далёкий, слабый, еле внятный, непохожий — но голос своей Аликс. И — затрепетало сердце, как всегда волновался он при каждой новой встрече с ней. И — сжалось, что горько упрекнёт…

Но Солнышко Аликс не упрекнула его ни намёком, только хотела успокоить и передать любовь.

А ещё сказала, что казаки вовсе не предали, были на местах при дворце, это какая-то сплетня.

И от этого очень возродилось сердце. Ничто так не убивает, как измена. Ничто так не поднимает, как верность.

Во Пскове — ему изменили. Рузский — изменил. Оплёл, оморочил. (А как он верил ему! — и неудачу под Лодзью и на левом берегу Вислы свалили на Ренненкампфа. А виноват был Рузский.)

Николаша — изменил. Брусилов — изменил. И Эверт.

Не поворачивалась мысль упрекнуть и Алексеева. Столько работали вместе и так хорошо. Такой добросовестный, немудрящий, честный. Что-то он засуетился просто, напутал.

Сегодня утром пришла и дорогая телеграмма от Аликс, ободрительная. Вчерашняя, когда уже узнала всё.

И очень подбодрила ночная телеграмма Хана Нахичеванского. Ах, любимая гвардейская кавалерия!.. Ах, сколько верных и любимых оставлено!

Но почему подбодряющие голоса всегда опаздывают?.. Почему они не достигают вовремя?.. Как и в чёрный октябрь Пятого года…

И вопреки погоде, это редко: вчера, в ясный морозный день, стояло отчаяние колóм, холодной горой. А сегодня, в унылый ветреный, смягчилось.

Даже — проходило. Хотя в груди сплелась такая сложность — не высказать. И ещё хуже он понимал: что же произошло во Пскове?

Чего только не может вынести сердце! — даже проходило.

И дал телеграмму Аликс: что отчаяние — проходит. Чтоб и её укрепить.

А тут уже — подъезжала из Киева и Мамá, разделить его горе и одиночество.

Чего совсем не ожидал: что отречение не откроет ему пути в Царское Село. Теперь он — частное лицо, отчего же могут не пустить к семье? А вот получалось, что не пускали.

И неизвестно, кто запретил, а ехать нельзя. И неизвестно, к кому обращаться.

Сперва — туда, и чтобы дети выздоровели. А потом, очевидно, пока всё уляжется и до конца войны — надо будет уехать в Англию. Совсем недавно, в феврале, Николай написал хорошее письмо Джорджи. Он несомненно будет рад принять их всех в Виндзоре.

Что за судьба: их юная близость с Аликс началась в Виндзоре, — и вот старыми, усталыми, раскоронованными, с пятью детьми — они опять приедут туда.

Но после войны, конечно, надо вернуться в Ливадию. Ливадию-то оставят, не могут отобрать.

Чего самого простого Государь не догадался потребовать позавчера от депутатов — это безопасности, свободы передвижения — для семьи и для всей династии.

Как-то это само собой подразумевалось.

Да ведь он думал — Михаил будет царём. Кто ж мог подумать, что и Михаил отречётся?

Непонятно — в какое ж теперь состояние перешла Россия? Республика?

Продирал озноб от мишиного Учредительного Собрания. Какая пошлость — не стало в России трона!

Но уже то хорошо, что прекратились безпорядки в Петрограде. Лишь бы так продолжалось и дальше.

Значит — и не без пользы отречение. Значит — надо было.

И только обрывалось тяжко, когда вспоминал, что и любимый Балтийский флот заболел.

Но, даст Бог, оправится.

У себя на столе нашёл несколько опоздавших писем и телеграмм. Одна из них была — от английского военного представителя при Ставке генерала Хенбри Вильямса, да почти государева друга. Три дня назад отсюда посланная вдогонку, нигде не нашла и сюда же вернулась.

Хенбри писал: он — старый солдат, и Государю известна его личная преданность, только поэтому он смеет обратиться с сове-

том. А совет сам — не был уловим, ничто не договорено, но кажется так: не посылать с фронта войска против волнений, но разделить с народом тяжесть бремени власти.

Ответственное министерство?.. Вот, даже и такой друг…

Всё. Теперь тяжесть не только разделена, а вся отдана.

С Вильямсом и другими сидеть за обедом — теперь Николаю не предстояло. Вчера вечером с Алексеевым в перескакивающем разговоре определяли, в чём же будет новый статут. И определили: никаких приглашённых лиц к царскому столу, в том числе и иностранных представителей.

Оно и легче. Оно и раньше, когда темно бывало на душе, — сколько усилий требовал перед завтраком и перед обедом церемонийный обход всех выстроенных в зале гостей, человек около тридцати, — шестьдесят усилий ещё что-нибудь сказать кроме общего обеденного, шестьдесят личных взглядов, шестьдесят рукопожатий.

Дико было видеть из окна кабинета — на той стороне площади на ратуше — красный флаг. Флаг, который раньше казаки вырывали, выбивали у незаконных сходбищ, — теперь по ветру туго плескался на высоком шпиле над губернаторской площадью. И два красных же куска материи свисали до земли у входа в земскую управу.

Около городской думы расклеен был на стене какой-то крупный лист — и около него сменяющаяся толпа всё время читала. И отходила, и подходили новые. Обменивались голосами, беззвучными через ветреную площадь.

Отречение…

И Государь смотрел на своё отречение, как из засады.

А между тем — подошло время обычного доклада у Алексеева.

Пока не приехал Николаша — разве не естественно продолжать исполнять обязанности? И значит — пойти на утренний доклад?

Очень хотелось! По крайней мере, ещё сегодня пойти, хоть в последний раз! Он так привык! Он не мог отказаться в один день.

И минута в минуту, как всегда, пошёл в квартирмейстерскую часть, сопровождаемый одним Мордвиновым.

«Маленький капитан» самозабвенно отрапортовал ему перед входом.

Всё как прежде, очень подбодрил.

Внизу поздоровался Николай — с полевым жандармом, со швейцаром.

И Алексеев — тоже спустился навстречу, как всегда, на пол-лестницы, хотя замешкался.

При оперативной части доклада всегда присутствовал генерал-квартирмейстер, потом уходил, оставляя Государя с Алексеевым наедине. Но сейчас в докладной комнате кроме Лукомского был и Клембовский. Зачем же двое? Оба они состояли в Ставке недавно, Николай к ним не привык, они его стесняли. Сегодня — лучше бы наедине с Алексеевым.

Это была комната рядом с оперативным отделением. Она называлась «кабинет Государя», хотя он приходил сюда только на доклады. И — кресло, в котором Государь всегда сидел, принимая доклад, несколько венских стульев вокруг стола с зелёным сукном и пять больших стоек для карт пяти фронтов.

Как любил Николай и этот тихо-бумажный кабинет, и это постоянное расположение, этот обязательный час в своём дне, даже в воскресенье, придававший смысл всем остальным двадцати трём часам. Тягуче-скриплым голосом, как будто недовольный, никогда не торопясь, со своей методичностью, Алексеев обычно перечислял главные события, главные принятые решения, главные перемещения частей, назначения лиц, ход и потребности снабжения, — а Государь кивал, одобрял, иногда немного поправлял насчёт лиц и их наград, и — всё запоминал, по свойствам памяти своей, и вообще цепкой, и особенно склонённой к военной жизни.

И сегодня он так же сел, и Алексеев так же, а те стояли двое по углам зачем-то. Похоже на прежнее, а ощущалось — что последний раз. Алексеев не сказал — «больше не приходите, Ваше Величество», но в краткости да и пустоте фраз, сильно расставленных паузами, — а при озабоченном лице особенно выдвигались острые брови Алексеева, — чувствовалось, что доклад этот досаден ему.

Да и что, правда, было говорить о фронте, когда там даже одиночные выстрелы не звучали, не то что военные действия. Немцы не воспользовались революцией, но замерли, давая ей совершиться.

Чередили недвижные названия и закоснелые военные формулировки.

А Николаю было — всё равно хорошо. Вот это покойное сидение и слушание, и пока он сидел и слушал — ещё как будто ничто не совершилось, ничто не лопнуло, не треснуло, не упало. А когда

он встанет и уйдёт отсюда — он опять попадёт в свою непонятную, позорную пустоту.

И он хотел бы, хотел бы, чтобы доклад тянулся. Но по скромности не мог для того предпринять никакого хода.

Он с любовью смотрел на безхитростного, неблистательного, но честно преданного Алексеева, самоотверженного в труде. На его вечно надвинутые брови, наморщенный лоб, голый до темян, да и на голове еле растёт, нос картошкой, фельдфебельские расставленные и вскинутые усы.

Он — любил его. Как своё избрание, своё творение, не всем понятное.

Кажется — кончилось, и надо было… Надо было…

Николай медленно-медленно встал из кресла и сказал, волнуясь:

— Тяжело мне расставаться с вами, Михаил Васильич. Грустно быть на докладе последний раз… Но воля Божья — сильнее моей воли. Верю, что Россия одержит победу.

Крепко пожал руку (едва удержась от поцелуя).

И, уже стоя, стесняясь изложил последнюю просьбу: к кому бы теперь обратиться, с кем бы это согласовать: о проезде в Царское Село? А по выздоровлении детей — на Мурман и в Англию? Но так, чтобы после войны вернуться в Ливадию?..

414

Известие об отречении Государя произвело неожиданное движение в Сводном гвардейском полку, в защитниках царскосельского дворца: раз император отрёкся — то они теперь не связаны присягою. А раз так — то они должны подчиниться Временному правительству. И офицеры не могли спорить — они и сами стали думать так. (У них уже замечали и прежде левый тон.)

После этого не могла спорить и государыня. И она дала согласие, что от Сводного полка и от Конвоя будет послано по одному офицеру и по 4 нижних чина — «делегатами» в Государственную Думу. С вечера они и уехали, ночью были приняты там, — но, к счастью, подтверждено им: продолжать охрану дворца, — а могли бы и отменить?.. Впрочем, после этой поездки вся ситуация уже

и изменилась — невидимо и беззвучно: если они отметились в лояльности новому порядку (безпорядку) — то вот уже дворец и был взят.

Сегодня такие же делегации в Думу поспешили послать дворцовая полиция и дворцовая прислуга…

Но начальника дворцовой полиции и начальника дворцового управления — арестовали тем не менее. И не выпустили генерала Гротена. Всех их держали, кажется, в Лицее.

Доктора Боткина чуть не арестовали в Петрограде у пациента.

А среди царскосельских гвардейских стрелков творилось что-то ужасное: сами выбирали себе командиров, не отдавали чести, курили прямо в лицо офицерам, да даже и арестовывали их направо и налево.

И агитаторы от них уже забраживали в дворцовые части, присматривались.

Кто ж мог теперь разделить: где черта?..

Приехали моряки от Гвардейского экипажа — и забрали своё оставленное знамя. И требовали своих офицеров.

И в таком окружении — уже начавшемся плену — предстояло теперь жить неизвестно как долго.

С прокалывающей болью распорядилась государыня сказать конвойцам: пусть отпарывают все царские вензели.

— Да как же это, Ваше Величество?! Сердце холодает!

— Снимайте, снимайте. Не хочу кровопролития. Меня опять будут винить во всём.

А ещё — просил принять его граф Адам Замойский, так растрогавший государыню несколько дней назад своим появлением. Теперь — с тем же независимым, гордым достоинством он заявил, что отречение — снимает с него звание флигель-адъютанта, снимает обязанность быть тут, — и просил отпустить в Ставку. И кроме того, теперь он, как поляк, должен отдать себя служению Польше.

Принесли во дворец малые газетки, теперь эти гадкие «Известия» вместо всех прежних (тоже дрянных) — и в ней на всю страницу только и поместилось что — два отречения крупно, двух братьев, одно за другим.

Теперь, когда уже не было сомнения, что всё именно так произошло, ничего не остановить, можно было вчитываться в достойные, благородные фразы никиного отречения.

Или удивляться странному решению Михаила: поклониться Учредительному Собранию. Неужели так может распорядиться монарх, получивший корону? Ах, Миша, Миша, слабый человек.

А во всём этом было и облегчение: бедный Алексей не получит корону, увы, но зато теперь он спасён ото всех мытарств, спасён для родителей. Теперь — он неразрывно будет с ними.

Все уверенно говорили, и в газете промелькнуло, что революция — и в Германии! Вильгельм — убит, сын его — ранен!

Насколько государыня до вчерашнего дня не верила решительно никаким слухам — настолько теперь она не могла уже в них и сомневаться. Началась в мире — ужасная полоса бед, и вот грянула и над Вилли — не досталось ему порадоваться русской революции!

А — что в Дармштадте? А — с братом Эрни что?

Весь мир пошёл кру́гом, весь мир падает. И — почему так одновременно? Или это — масонский заговор? Безусловно так. Они и эту войну подожгли. Они и подрывались под монархии давно.

Но весь ураганный вихрь этих дней научил Александру — её безсилию. Последние годы — как рвалась она и напрягалась направлять государственный ход! Назначать лиц на должности и указывать им, что делать. Но вот открылось, что всё это было впустую, всё — тщета, и человек безсилен.

Есть ли ещё планы и бодрость у Ники? Но сама она — уже не сделает ни движения государственного. Не шевельнётся. Не существует. Научена.

А вчера поздно вечером вдруг позвали её к телефону — прямому из Ставки. О, современное чудо, о, облегчение — услышать прямой голос мужа, хотя ослабленный, как из-под земных пластов, наваленных на грудь.

Обещал, что скоро, скоро вернётся.

Голос, едва сильней дыхания, тени слов ещё различаются по каким-то контурам, а сам родной, любимый голос можно только сердцем угадать, по интонациям.

Но уже — не чувства его. И — о чём говорить, когда теперь всё подслушивают?

Как дети? Трудно: у Анастасии температура растёт, пятна всё больше, у Ольги плеврит, у Ани плеврит. Одна радость — Алексею лучше, он весел.

Знают ли дети? Нет, ещё не говорила…

Успела предупредить, чтоб не верил в измену Конвоя, это всё — недоразумение!

И успела узнать, кто же именно были те два — скота! — приехавшие вырывать отречение.

Измысленное дьявольское унижение! — послать именно этого хама, свинью Гучкова, личного мстительного врага. Ещё этой горечи недоставало в чаше страдальца!

Только растравилась разговором. Всё недосказано.

А утром сегодня — прорвалась телеграмма от Ники, из Ставки же. Он — получил её вчерашнюю телеграмму — о, счастье — восстанавливалась связь! Но у самого была фраза: *отчаянье проходит*.

Проходит? — да, слава Богу. Но то, что он, изумительно сдержанный, решился слово это поместить в открытую телеграмму, — распахнуло Александре всю чёрную бездну, пережитую мужем. Та была ещё черней, чем можно вообразить.

Сегодня днём в зелёной комнате со спущенными занавесками, где лежали все дети, дописывала вчерашнее письмо. Вчера та офицерская жена не уехала, и можно было ещё дописать с ней. Она бралась теперь ехать и дальше — в Могилёв, и передать письмо.

Боюсь думать, что́ ты выносишь? Как ты там — совершенно один? — это сводит меня с ума. (О, догадается ли тем временем — прислать письмо вот так же, с кем-нибудь, с нарочным?)

О! придут лучшие времена, и ты, и твоя страна будут сторицею вознаграждены за все страдания. Нельзя падать духом, христианство учит нас верить до последнего вздоха. Впереди — ещё воссияет светло, и Бог ещё воздаст сторицею за страдания монарха.

Вон, погибла, растерзана Сербия — это кара за то, что они убили своего короля и королеву.

Не может быть, чтобы Господь судил и России такой жребий.

Когда не хватает человеческого соображения и человеческих сил — высокие души имеют свой выход — выход в веру! И Александра — умела отдаваться этому возносящему порыву в небо. Чем было вокруг темней и сдавленней — тем ярче сиял над ней небесный колодец. Это были минуты — и часы — мистического экстаза, когда дано было ей видеть другим, высоким зрением!

Он отрёкся — но может быть именно так он и спас царство сына! Незапачканная корона ещё вернётся на чистую голову сына!

Ещё наступят хорошие времена, поворот к свету. Ещё наступят великие и прекрасные времена для всей России! Чует сердце — это всё не кончится так просто и уныло. Бог с небес — пошлёт помощь.

Недаром наступает сегодня Крестопоклонная неделя!

Когда недостаёт человеческого соображения — открывается путь, доступный лишь избранному пониманию: ч у д о !

О мой герой! Мы снова увидим тебя на престоле, вознесенным обратно твоим народом. Ты будешь коронован — самим Богом, на этой земле, в своей стране!

Вот говорят: после отречения люди вне себя от отчаяния. И среди войск — начинается движение протеста. Они все — обожают своего Государя. Я чувствую: армия восстанет! — и вознесёт тебя снова на трон!

415

Сухопутные команды потянулись с утра сегодня в порт, желая видеть адмирала, желая иметь у себя совет депутатов.

Непенин принял матросских депутатов, выслушал. Приказал приготовить для их собрания в столярной мастерской чаю и хлеба.

Потом принял офицеров, пришедших с сухопутными частями. Дал разрешение сухопутным полкам «сорганизоваться».

Понятно было, что надо протянуть немного времени, пока сюда дойдёт благодетельное влияние новой власти, даже сегодня ещё могут успеть сюда депутаты Думы. В Петрограде уже опубликованы оба Манифеста об отречении.

Но в последнюю ночь не выдержал флот! Этих убийств (ещё все подробности их, ещё все имена не были известны на «Кречете») — нельзя было отодвинуть из памяти. Но не момент был и упрекать матросских депутатов или даже задумывать кару. В этом и трагичность революционных убийств: они несудимы, неоспоримы, даже не требуют извинений: убили — и убили, всё, не повезло кому-то.

Надо было широким сердцем понять смущенье этих тёмных людей, всегда обделённых социальной справедливостью, и чью-то злую предрассветную телеграмму с угрозой убить самого адмирала, — надо было видеть всю широкую картину начавшегося осво-

бождения России и в этой картине удержать Балтийский флот до просветления.

Больше всего изумлялся Непенин этой матросской вспышке при правоте своего поведения: ведь он не пытался обманывать, он всё объявлял матросам тотчас, как узнавал сам, он первый из крупных военачальников признал революционное правительство, — а всё пошло так, как если б он упирался за царя до последнего. Почему? За что погибли его офицеры?

На такие вопросы революция никогда не отвечает, уверенная в своей правоте.

Но и Непенин не пошатнулся в своей правоте. И в правоте своих горячих приближённых — Черкасского, Ренгартена, Довмонта. Если кто был неправ, то неправ был тот, кто столько лет затягивал своё сопротивление прогрессу, свободному развитию, слиянию всех русских людей как равных граждан.

Но это всё ещё исправится, дали бы только срок. Сам Непенин же исправит у себя во флоте.

Однако с каким же лицом теперь смотреть на матросский строй — и в каждом подозревать убийцу?

Вдруг — в двенадцатом часу передался какой-то слух, не радиограмма, а слух, да как? через вестовых, со смущением, что будто… будто… на городской площади Командующим флотом объявили — начальника минной обороны вице-адмирала Максимова!

Ренгартен, краснея, доложил Непенину как полный вздор.

Что за, правда, вздор? Как это матросы в городе сами могут объявить нового Командующего?

Но не успели ни удивиться, ни посмеяться — через 10 минут по набережной подкатил автомобиль с красным флагом, и из него направились на «Кречет» — сам дюжий Максимов, с ним рядом — непенинский же штаб-офицер для поручений капитан 2-го ранга Лев Муравьёв (декабристская фамилия!) и несколько матросов, очень злобно глядящих.

Так все вместе они и ввалились к Непенину, матросы со сжатыми бровями и губами, руки на карабинах, Муравьёв с весьма безстыдным независимым видом, а Максимов с блуждающей — или даже блудливой? — улыбкой на крупном лице.

Адмиралов оставили одних, и Максимов руки разводил, объяснял с сильным чухонским акцентом:

— Вот, Адриан Иваныч! Только что я был арестован, сейчас возведён в Командующие флотом, а завтра буду повешен.

Не рассказал, как же так: из-под ареста и сразу в Командующие? Что-то им обещал?

— Отказаться — счёл невозможным, чтобы не подорвать боеспособность флота.

Матросы оставили их не вовсе одних, за дверью стояли, нависали.

Непенин сидел в полном изумлении. До позавчерашнего дня его мог сместить только Государь. Но вот Государь сместил себя сам. Не сразу можно было представить, кому теперь подчинялся Командующий Балтийским флотом. Правительству и даже морскому министру подчинения не существовало. Да в новом правительстве морского министра вовсе нет, а по совместительству Гучков. Гучков вообще-то был единомышленник всех младотурок, но проверять и поддерживать единомыслие сейчас невозможно было по телеграфу.

Однако что-то надо было решать.

Однако что же решать, если «Павел I», откуда всё вчера началось, уже разослал по всем кораблям радиотелеграмму: не выполнять распоряжений Непенина, а только Максимова?

На «Павле» был такой «центральный комитет депутатов кораблей».

Нет, сдать власть Непенин не может — это теперь компетенция… Временного правительства?

Но и помешать — как он может?

Как бы Непенин ни думал, но власти у него уже не осталось.

Однако она оставалась на его плечах и на сердце.

Во-первых, решил доложиться — уже не в Ставку, но в Государственную Думу, обо всём происшедшем.

Написал — и сам хотел пронести в радиорубку.

Но матросы у дверей не пропустили его.

Он был как бы арестован.

Телеграмму — прочли и тогда допустили адъютанта отнести.

Как же было теперь — не передавать власти?..

Решили с Максимовым во избежание двоевластия подписывать все распоряжения вдвоём.

Решили, что Максимов, взяв на автомобиль кроме красного флага ещё флаг Командующего флотом, поедет к коменданту Свеаборгской крепости установить единство действий.

При нём уехала и вся сопровождавшая группа матросов.

Адмиралу возвращалось ходить по своему «Кречету», где бурлила возбуждённая толпа, синие голландки вперемежку с серыми солдатскими шинелями.

Штабные предложили составить от имени Непенина приказ по флоту, что он приветствует новый строй.

Уже писано было и объявлено и вчера и сегодня на рассвете, но что ж? Ещё лишний раз в несомненную точку, обстоятельства таковы.

Вконец изнервленный Ренгартен пришёл рассказать, что́ печатается во флотской типографии «депутатским решением»: тысячи листовок с записью ночного разговора «депутата» Сакмана — с Керенским. И заявление Керенского, что матросам обезпечивается полная свобода агитации.

Тем временем оказалось, что «комитет матросских депутатов» не только на «Павле», но их — три в разных местах, и они разных мнений.

Черкасский предложил: пока есть связь, пока Непенину доступна телеграфная рубка (команда «Кречета» вела себя покойно) — связаться с Генеральным морским штабом в Петрограде и просить Керенского к аппарату на разговор.

Верно!

Черкасский пошёл вызывать.

Непенин старался не рассеять твёрдости. Всего несколько часов надо было перестоять!

Принесли вестовые новость, что на собрании команд в столярной мастерской избирали новый штаб флота! — и Непенина тоже выбрали в штаб.

И тут с набережной вступила группа вооружённых матросов, человек двадцать, а сорок осталось за сходнями, — и объявили, что арестуют всех офицеров «Кречета».

Им ответили, что адмиральское судно и штаб не могут остаться без офицеров.

Погудели, оставили нескольких — флагманского штурмана, инженера-механика, священника, трёх-четырёх в штабе — Черкасского, Ренгартена, Сполатбога, — а остальным скомандовали выходить, арестованы.

И Непенину.

Нечего делать. Адмирал пожал плечами, подчинился.

Верные декабристы смотрели на него с разрывающей тревогой.

И сразу же, тесной толпой человек в шестьдесят, повели их по набережной, в сторону крепости.

****

Привет тебе, заря освобожденья
От рабства подлого под игом палачей!

(«Русская воля»)

416

Вчера среди дня, неурочно, вдруг грянул над Москвою громовой колокольный звон, как пасхальный! Сперва — из Кремля, потом стали ему отзываться, отзываться из других разных мест. И покатилось, и погудело над Москвой — часа наверно два.

А Ксенья со своей ещё гимназической подругой Бертой Ланд, тоже теперь московской курсисткой, как раз гуляли — занятий-то по-прежнему не было. И многие прохожие и Берта восхищались, как это замечательно придумано: отметить колокольным звоном праздник обновления России. Некоторые шли смеялись, а другие крестились по привычке. Правда, слышали, что этот звон — подменный какой-то: не только не все церкви, но и полезли на колокольни ненастоящие, видимо, звонари: сбивались и перебивались нестройно.

Многие были в восторге, а Ксенья постеснялась возразить, что это неуместно и даже обидно: как же так, на великий пост? Хотя и сама была не блюстительница постов.

Вообще, жизнь рано научила Ксенью, где что говорить и что́ иметь право любить, не любить. Ещё с детства нельзя было жить противоположнее, чем у своих в экономии — и у Харитоновых, но Ксенья усвоила и не путала два разных поведения. А хорошо чувствовала себя — в обоих. Своей кубанской жизни она отчасти сты-

дилась — и большого богатства и, совокупно, невежества. А с другой стороны — и нисколько не стыдилась, ведь богатство пришло честными средствами, энергией и смёткой её незаурядного отца, который, будь он с образованием, не потерялся бы и среди московских крупных фигур. Да и в самом богатстве она не ощущала безнравственности — а зато какая независимость. Но высказать такое среди курсисток было невозможно, неинтеллигентно. А ещё с одной стороны — это невежество с малороссийским говором было родное, трогательное, и некрасиво-унизительно было бы говорить о нём с извинчивым видом.

Так и мимо Иверской часовни — Ксенья при Берте шла, как будто не замечала, а на самом деле ощутимо раздвоилась, — и хотелось бы подойти, послушно постоять. Все эти дни революции, рядом с шумной придумской толпой, тут теснились богомольцы, больше женщины, простолюдинки, и проходили по очереди внутрь, а там полыхало обычное множество свечей.

И ещё этот пьяный звон. И как раз под него вывели из подвала городской думы едва не тысячу пленных городовых, они покорно построились в колонну, и повели их куда-то вверх по Тверской. Стянулась смотреть на них толпа, но мирно, враждебного не кричали.

По городу разъезжали на автомобилях с призывами: всем возвращаться к мирным занятиям. И на стенах развешивали воззвание нового теперь командующего Грузинова: «Переворот совершился! Теперь дело каждого — вернуться к своей работе. Скопища мешают, кто останется на улицах — тот сознательный враг родине!» Но все только смеялись: разгулялись, во вкус вошли, правда уже по тротуарам, мостовые стали прочищаться.

Вчера же открылись и театры, и кинематографы. Вчера, в одной газете, разошлось и радостное: что убийца Сашка-семинарист арестован со своею шайкою, и Москва вздохнула облегчённо.

Но сегодня в газетах оказалось: и та шайка, и шайка Васьки-француза — все на свободе. В газетах же были и царские отречения, и газетчики бегали, вместе кричали: «Конец дома Романовых! Сашка-семинарист на свободе!»

По всем улицам сбивали, снимали гербы с аптек, учреждений и замазывали их на торговых вывесках.

Сегодня же хоронили и трёх солдат — «жертв революции», убитых на Каменном мосту. Погребальное шествие пошло из центра, поднималось по Знаменке к Поварской — и на Братское клад-

бище. Воинские чины несли сотню венков, дамы — букеты из красных тюльпанов, шествие растянулось, останавливались для речей, говорили, что хоронит — 100 тысяч человек. За погребальной колесницей шла рота автомобилистов с оркестром, школа мотоциклистов и ещё один оркестр юнкеров.

Но Ксенья с Бертой пошли не туда, а на Красную площадь, где назначен был парад войск. Тут уже публика заняла лучшие места, а кто половчей, это не для барышень, взобрались на крышу Торговых рядов, угнездились между башнями Исторического музея, на уступах Василия Блаженного и на деревьях вдоль кремлёвской стены. А уж Лобное место — это было сбитище тел.

Стоял тихоморозный прелестный день. Через пелесоватые облака иногда проглядывало солнце, то больше, то меньше.

Многие из публики пришли не поодиночке, а рядами, с какими-то невиданными знамёнами — партий или организаций, так и стояли с ними. Народ всё больше густился. А войска стояли своими рядами, и на штыках у многих висели красные обрывки. А середина площади оставалась пуста, и на ней стояли автомобили с поднятыми треножниками фотографических и кинематографических аппаратов.

Торжество начиналось у Минина и Пожарского, уже какой день утыканных красными флагами, в руке Пожарского — с надписью: «Утро Свободы». Из Спасских ворот туда вышло духовенство в золотых ризах (опять не по посту) крестным ходом, с хоругвями и большим хором. Ударили кремлёвские колокола, уже в опытных руках. Войска вскинули винтовки и замерли, в толпе многие мужчины сразу сняли шапки, другие потянулись-поколебались, третьи и не шевельнулись. Да и действительно было что-то совсем не церковное, хотя участвовали архиереи, и духовенство шло в клубах ладана. Неожиданно сильный оркестр — сразу из нескольких оркестров, заиграл марш, слышно и через колокола и перебивая церковный хор. И от Исторического музея появилась небольшая кавалькада офицеров — их-то и встречали маршем. Впереди отдельно ехал, очевидно, новый командующий Грузинов — не слишком молодцеватый, и лицо вялое, но картинный, темноокий. Они поехали туда, к Минину, спешились, начался молебен, а снова неладно: появился над площадью, отвлекая, один аэроплан, потом другой. И этот второй совсем низко летел, как бы за башни не зацепился, отвлекая на себя всё вниманье толпы. И он же сбросил на площадь что-то бело-красное — это оказался в белой обёрт-

ке большой букет красных тюльпанов — и его бегом понесли командующему. Только когда аэропланы улетели — вступил в силу, даже и на всю площадь, мощный бас знаменитого протодьякона Розова. Отслужили — духовенство пошло в Кремль назад, опять ударили колокола, оркестры заиграли «Коль славен», а Грузинов занял ещё новое конное положение, возвышаясь над пешими отцами города, левой рукой обнимая подаренный букет, и так поехал вдоль войсковых рядов и так произносил речь: возврата к прошлому быть не может, старой власти больше нет, пребывайте спокойно!

А затем началась уже совсем военная часть — перестроения, команды, оркестры, — и войска потянулись, зашагали, с красными лентами и пятнами на грудях, и это должно было быть очень долго, потому что они стояли от Воскресенской площади — и чуть не до Москворецкого моста.

Посмотрели юнкеров впереди, а потом надоело, Ксенья потянула подругу в Александровский сад. Пробежали наудачу между строями и протискались дальше вниз. Там вдоль садовой решётки стояли, ожидая своей очереди, ополченские дружины с зелёными знамёнами и «За веру, царя и отечество», только «царя» везде было зашито куском красной ленты.

А здесь, в этом долгом, узком живописном садике под возвышенной древней зубчатой стеной — невзирая и не зная никакой революции, всё так же гуляло и на салазках каталось множество детей — с няньками, с мамками, с бабушками.

Боже, что на свете интересней и неисчерпаемей зрелища этих неопытных, беззащитных малышей под разноцветными шапочками и чепчиками, каждые полгода жизни — своё поколение. С их неумелой или уже бодрой перебежкой. С их пробуждением в мире слов и понятий. С их играми, дружбой, первыми раздорами и легкоминучими слезами. И с каждой жалобой, и с каждой радостью — беготнёй к своей охранительнице.

И какая же радость — это всё выслушивать, успокаивать, помогать и направлять.

Как раз с Бертой ещё в гимназические годы в Ростове хаживали по городскому саду, присматривались к гуляющим детям и выбирали: «Какого б ты хотела иметь?» — такая у них была игра.

И сейчас с умилением и с завистью Ксенья заглядывалась на одного, другого, пятого.

Вся жизнь её до сих пор, и всё ученье, и все развлеченья могли иметь только один смысл и одну цель. Что несомненно и уверенно, единственное на земле, она хотела — сына!

Не может быть большего счастья!

И уже — очень была пора! Двадцать два года!

И уже непонятно: зачем ещё не теперь? А через год из Москвы уедет и канет в печенежскую зыбь.

417

И опять разбудили великого князя до света. И опять сенсационным сообщением, что Михаил — тоже отрёкся. Да пришёл и сам текст отреченья его.

И Николай Николаевич мгновенно понял как весть благую и даже счастливую. Сознанием, быстро пришедшим в бодрствование, он оценил, что отречение это — благо для России (как и отречение Ники). Что Михаилу — непосильно было справиться с ответственностью короны, так лучше с самого начала и отречься.

И — полнота власти Верховного Главнокомандования освобождалась от подчинения этому ничем не отличённому мальчику.

Но: мерзостью было в отречении — передавать власть Учредительному Собранию. Какому? С чего вдруг Собрание? Зачем эти французские штучки для России?

Впрочем, это дело долгое, когда-нибудь после войны. А пока все высшие усилия народа возглавит Верховный Главнокомандующий. А существует глубокое, верное монархическое народное чувство. И оно конечно обратится к избранию царя.

И — смутно, горячо постукивало сердце предчувствием.

В новой ситуации, однако, надо было дать срочные указания Алексееву. И Николай Николаевич тотчас же послал ему. Что особо теперь повелевает всем войсковым начальникам разъяснить чинам армии и флота, что они должны спокойно ожидать изъявления воли русского народа, а пока повиноваться законным начальникам.

Это — замечательно тонко получилось, Николай Николаевич не вошёл в конфликт с правительством, не восстал прямо против этого богомерзкого Собрания — но и не поклонился ему. *Изъяв-*

ление воли русского народа — это да, оно конечно будет. А понимай — как хочешь.

Уж так возбудился великий князь, теперь нечего и прилегать заснуть, слишком отличное настроение! Пружинный, готовный, перебраживал морем ковров по залам дворца, — ведь его предстояло покинуть, а очень его полюбил Николай Николаевич. Всё здесь было по-восточному пышно — и какие пышные он устраивал здесь приёмы! Вот — зашёл в ботанический сад, прошёлся под пальмами. Вот — стал в зале у громадного зеркального окна — и благодарно смотрел на утренний Тифлис, прилегший к Куре под горой, такой покорный и приветливый к нему всегда.

Уже разворачивалась южная весна, невозможно поверить, что на севере — ещё в шубах.

Что на севере хотя революция и благодетельная, жданная всеми честными людьми, — но и какие-то эксцессы, волнения, на которые жаловался Алексеев. Волновал немного и Балтийский флот, что-то там расшаталось.

Пришла от Алексеева и такая отдельная телеграмма: что отрекшийся Государь (Алексеев всё ещё называл «Его Величество») предполагает пробыть в Ставке ещё несколько дней.

Вот как? И для какого дела, зачем? Непонятно.

Но — важная ориентировка. Более всего не хотелось бы сейчас — встречаться с Ники. Никак.

Но если выехать из Тифлиса не торопясь, послезавтра, да ещё три дня в пути — так вот за это время Ники и уедет.

Уехать наскоро и нельзя: на Кавказе свой обширный церемониал прощания, и надо уметь выдержать его с любовью. Надо сохранить за собой сердца Кавказа — да и сам Кавказ, некому его передать. Вполне возможно, что, по грузинскому обычаю, город даст Наместнику прощальный обед — великолепный, достойный, обильный, долгий, какой затягивается от середины дня — и в ночь.

А пока сейчас назначена была необычная аудиенция во дворце: по просьбе милого Хатисова великий князь принимал его вместе с двумя видными социал-демократами — Жордания и Рамишвили. Странная публика конечно, член императорского дома принимал социалистов! — но таковы времена.

А очень оказались симпатичные, приличные, рассудительные люди, никакие не бомбометатели. И Хатисов же с ними какой приятный, блестят проницательные чёрные глаза. Беседа сложилась сердечная. Великий князь ещё раз заверил их в своей полной ло-

яльности новому режиму, — а Хатисов подчеркнул, что в Тифлисе не понадобилось, как в других российских городах, создавать никакого нового общественного органа с функциями правительственной власти: чистосердечное поведение великого князя устранило всякие подозрения и всякий конфликт.

О да, о да! И Николай Николаевич ещё раз заявил себя искренним приверженцем нового строя. И, как уже обещал, все должностные лица, вызывающие сомнения в их лояльном отношении к новому строю, будут уволены. А все политические — уже освобождены. А жандармские управления все упраздняются…

А каково, осведомился великий князь у социалистов, отношение рабочего класса к войне?

Те заверили, что рабочий класс желает победы над врагом

— Я так и полагал, — горячо одобрил великий князь. — Я знаю, что вы — за защиту родины. Уеду — и надеюсь, вы тут…

А Хатисов ещё раз заверил, что широкие массы приветствуют назначение великого князя Верховным Главнокомандующим, хотя… Хотя вызывает много толкований то обстоятельство, что приказ о назначении произведен не Временным правительством, а бывшим царём, да ещё в самый момент отречения.

Увы, при изменившейся обстановке это обстоятельство действительно омрачало торжество самому великому князю тоже. Только и оставалось ответить, что назначение последовало всё же до отречения, а вслед за тем санкционировано Временным правительством, — так что и можно считать его как бы назначением Временного правительства.

А едва социалисты ушли — уже нетерпеливо дожидалась мужа Стана: срочно приехал из Крыма сын её, пасынок великого князя, Сергей Лейхтенбергский, князь Романовский, — и всю эту беседу она дожидалась с ним и вот уже предваряла мужа о чрезвычайном и авантюрном предложении Колчака!

Вошёл сын, и мать осталась присутствовать.

Что же такое?? Молодой человек, промчавшийся на двух сменённых миноносцах («Строгого» закачал шторм, от Феодосии адмирал дал посланцу более крупного «Пылкого») и затем экстренным поездом из Батума, — не имел при себе никакой бумаги? Да поручение и было не для бумаги. Торжественно приняв положение «смирно», лейтенант отчеканил несколько доверенных ему фраз.

Адмирал Колчак считает положение в Петрограде — катастрофичным, в Ставке — сомнительным. Главнокомандующие всеми

западными фронтами не принимают мер против мятежа. Россия в разгар войны остаётся без реальной власти. Адмирал предлагает Его Императорскому Высочеству для спасения страны — объявить себя диктатором. И ставит в его распоряжение Черноморский флот для сомкнутия с Кавказским фронтом. Это будет — цельная нетронутая сила, с которой посчитается Петроград. Всё.

Так неожиданно, таким ударом — как буря морская в лёгкие!

Диктатором? Какая дерзость!

Но и какой военный шаг!

Диктатором? — это даже больше Верховного Главнокомандующего?

— Нет — меньше, меньше! — горячо уверяла Стана. — Это — не из рук правительства, и потому меньше! Да как можно поддаваться? Он зовёт тебя к мятежу! Ты — уже Верховный, чего ещё? Зачем диктаторство? И — как ты можешь сейчас повернуть? И против гостеприимного Тифлиса?

Для неё — уже всё было решено безповоротно.

Да, правда, — опоминался великий князь. Это — мятеж против правительства. И — как же обмануть доверие Тифлиса? И вот социалистов?.. С каким лицом?..

Нет, в реальности уже не оставалось такого поворота. Упущено. Упущено. (А обожгло — как зимой тогда предложение Хатисова одобрить государственный переворот…)

С глубокой печалью кивал великий князь:

— Увы, увы… Поедешь к Колчаку и скажешь…

— Да не поедет он в Севастополь! — вмешалась мать, уже всё обдумавшая. — Ты отказал, а всё равно будет носить характер сношений. Ты — Верховный Главнокомандующий, и ты перекомандуешь лейтенанту ехать с тобой в Ставку!

И — опять она была права.

И зачем уж, правда, Колчак — так дерзко, так неожиданно… ?

Нет-нет, о нет! — немыслимо, неразумно бунтовать против правительства, против общества, против всей России! И — против, может быть, Ставки? Так и не хватит сил.

Стана была права.

Конечно великий князь отказался.

Но — с внутренним сожалением, сокрушением, будто самое красивое — вдруг потеряно.

Нет, напротив! — надо всячески укреплять сношения с новым правительством. Странно, что три телеграммы послал вчера кня-

зю Львову — а ответа ни единого. Может быть, они чем-то недовольны?

418

ЭКРАН

Их так ведут: впереди — конвоиров нет (у матросов навыка тюремного нет).

Впереди — адмирал Непенин! Один.

Его кругловатое сообразительное живое лицо, только рот прикрыт усами-бородкой.

Но — напряжён, такого обращения он не ждал!

А за ним, в шаге, адъютант, старший лейтенант.

Ещё в шаге по бокам — два матроса.

Ленточки полощутся над бушлатами, значит быстро идут.

Да и по плечам видно.

А дальше назад — ещё матросы, это как подкова сзади.

И в обхвате её — ещё офицеры разных чинов.

Кто непроницаем. Кто явно перепуган. Никто не ждал. Никто не готов. Кто из нас когда готов к перевороту собственной жизни?

Позади края́ матросской подковы сходятся в одну густую матросскую толпу.

Вот так, толпой человек в шестьдесят, не строем, не конвоем, но сгущённо-злой толпой, с карабинами, стволы вперёд и вверх,

они ведут

кучку офицеров в середине,

безоружных, свободны бока от кортиков.

Идут матросы уверенно, жестоко зная куда.

Неотмеренный, слитный топот ног.

Такая ли форма матросская, такая ли жизнь матросская или особый их подбор, — но почему они кажутся так свирепо безпощадны?

Иные лица — уже за гранью человеческого выражения. Откуда столько зла?

А лица офицеров — кость другая? другой обиход? — при сходной же чёрной форме — развитость и тонкость.

И — смятенье сейчас, и оглядка потерянная.

О, им вместе не жить! Как же вместе жить этим двум породам?

вот, идущим в одном кадре.

Куда идущим?

Офицеры догадываются. Они же знают, как этой ночью на других кораблях…

И матросы — знают.

И не колеблются нисколько.

Если бы матросы шли строем — то не так бы жутко. А вот — толпой, плечо к плечу, почти челюсть к челюсти, ствол к стволу, идут, уверенно прут вперёд!

Топот по снежной дороге.

Понизу

одни ноги, у земли.

Тут, в ногах, в чёрных брюках, больше похожи ведущие и ведомые.

= И адмирал, с отзывчивым, подвижным лицом, позади себя ощущая этот напор и скорость, не обернувшись, чувствует их, —

и так же уверенно и поспешно идёт.

Как будто их ведёт!

Да! Как будто это он ведёт их, по своему адмиральскому замыслу.

Ведёт эту кучку, как он вёл весь флот.

Подрагивают его пушистые усы, сметливые глаза.

Как он объяснял им, расположенно и открыто! Как он верил в их души! Как надеялся на них!

Наш святой народ!

Матросы. Челюсть к челюсти.

= Там, в заднем офицерском ряду — мелькание.

Мелькание, как падение.

Мы всё время видим спереди —

мы видим крупно и близко лицо адмирала,

ещё и сейчас не разочарованное,

как он верил и надеялся.

А там позади — отталкивают офицеров матросские руки,

оттаскивают,

оттягивают в стороны, то вправо,
то влево,
куда-то за себя выбрасывают через чёрный и ленточный матросский охват, —
там дальше — конвоируют их или выбросили, мы не видим, мы видим только, как офицеры один за другим исчезают из охвата,
а сам охват всё ближе сюда, к адмиралу, всё челюстней.
На безкозырках, кто успеет, заметит: «Слава», «Андрей»…
И что за форма у матросов ужасная? — что это за ленточки, с их нежным трепетанием, так неестественные при мужских головах,
при звериных головах
такие ленточки жестокие?
= Вид Свеаборгской крепости.
= Заснеженные берега.
= Утоптанный снег на улице, по которой ведут
= адмирала с таким живым, открытым лицом, так верившего в этих чёрных героев,
как он ведёт их сейчас, не оглядываясь.
= А сзади отбрасывают последних уже офицеров,
и не вскрикнет ни один, это молчание ужасное, только топот матросов,
и адмирал шагает, уверенный, что ведёт за собой всех офицеров «Кречета», штаб флота,
а остался за ним один адъютантик.
= А за спиной адмирала — передний в охвате матрос,
революционный матрос с плакатов, из кадров, которые мы будем видеть, видеть, видеть.
= Две фигуры: невысокого роста плотный адмирал, — а позади надвинувшийся верзильный матрос.
Сейчас! Сейчас это будет!
= Ноги. Кто-то сзади бьёт под коленку второго, тонкого, значит адъютанта.
Потеряв равновесие — споткнулся, наклонился адъютант.
Спереди
= Адмирал! всё тот же, уверенный в правоте. И плакатный матрос
вскинул карабин!
= Спина адмирала во весь экран и кончик дула —

с огнём!
Выстрел!
= И опять — лицо адмирала!
ещё попростевшее, невинное, —
только теперь понявшего,
только теперь узнавшего всю истину, которую искал!
= Но уже — опускается из кадра.
Упал.
И охват матросов остановился.
Смотрят вниз. С любопытством.
И — достреливают, туда, вниз.
Выстрел, выстрел.

419

Пребывание отрекшегося царя в Ставке от часа к часу всё заметней стесняло генерала Алексеева. Вот зачем-то обставлять традиционный доклад, когда события со всех сторон набухают, напрягаются — и требуют всего внимания. Государь сам же отдал и Верховную власть в государстве и отдал Верховное Главнокомандование — и со вчерашнего дня все дела естественно обтекали бывшего царя, и Алексеев должен был участвовать в этом обтекании: не докладывать ему своих действий, рассылать фронтам нужные сообщения, распоряжения, — всё это теперь текло телеграфом на Кавказ, откуда и должно было прийти одобрение или неодобрение решениям наштаверха. (И надо сказать, что Николай Николаевич с большой подвижностью менял свои приказы: вот уже опустил «престол» и вставил «изъявление воли русского народа», читай — Учредительное Собрание. Такая подвижность была назидательна и для самого Алексеева.)

А для бывшего царя и Верховного — остановилось время. Алексееву этот последний доклад и самому сердце щемил — да и что скажут? как истолкуют? — на всякий случай позвал и Лукомского и Клембовского как свидетелей. И на самом докладе вымучивал, что́ сказать, — нечего было говорить! Пока сообщал бывшему Верховному, что за неделю не произошло никаких военных действий, — в Балтийском флоте каждый час убивали офицеров. Пока они тут закрылись в тихой комнатке — а на аппаратах и в со-

седних комнатах накоплялись грозные новости, требования и запросы.

И только одно было у бывшего Государя настоящее дело, которое он по своей застенчивой манере высказал лишь в конце и между прочим: ходатайство о проезде, отъезде. Хотя Алексеева как будто это уже никак не касалось, но правда, и Государю не оставалось иного выхода, как просить по команде. Стеснительно было оказываться в роли государева адвоката, но не было иного пути, да Алексеев и хотел, чтоб Государь уехал поскорей. (Вот ещё надвигался приезд вдовствующей императрицы после полудня — и по старому этикету надо было тратить время идти её встречать. И не хотелось старуху обижать, но можно ли теперь ему ехать? Да и времени жалко.)

Итак, очевидно, надо было составлять телеграмму князю Львову… Отрекшийся император просит моего содействия… ? Нехорошо «содействия», как соучастник… Просит моего сношения с вами… Безпрепятственный проезд в Царское Село к больной семье… безопасное пребывание там до выздоровления детей… Безпрепятственный проезд на Мурман с сопровождающими лицами…

Ну и пожалуй довольно. О возврате потом в Россию, в Ливадию, сейчас говорить неуместно. И не Алексееву.

…Настоятельно ходатайствую о скорейшем решении… так как продление пребывания здесь отрекшегося от престола императора нежелательно вследствие…

Львову он посылал уже не первую телеграмму. Как, очевидно, главному человеку в государстве пересылал ему и основные повеления Верховного. Но Львов — ничего не отвечал. И от этого становилось наштаверху как-то зябко.

А вот — приходилось телеграфировать ему же, — а кому же? То жаловался Западный фронт, а теперь Северный, — новые банды: в Режицу прибыли вооружённые делегаты рабочей партии, освободили везде всех арестованных, сожгли арестантские дела, обезоруживают караулы, полицию, офицеров, угрожают всем огнестрельным оружием…

И — кому же теперь? опять-таки главе правительства. Просить его сиятельство о прекращении подобных явлений. Но тут же и твёрдо:

…вместе с сим сообщаю Главнокомандующим фронтами, чтобы подобные шайки немедленно захватывались и предавались на месте военно-полевому суду…

Тут пришёл Лукомский: ещё вечером или ночью ожидали проезда генерала Корнилова, а он сошёл в Могилёве и здесь сейчас, не примет ли его наштаверх?

По сути, назначен был Корнилов помимо выбора Алексеева, и ехал мимо, и дела к нему прямого не было, — а получалось так, что надо принять.

Генерал Алексеев знал генерала Корнилова лишь по отдалённости: из штаба Юго-Западного фронта в своё время — как начальника дивизии, потом видел, но мельком, в Ставке, когда тот представлялся Государю после побега из плена.

Сухой, жилистый, калмыковатый Корнилов был роста небольшого, с Алексеева. Сразу так и дышало от него, что он — не из армейских красавцев, не из дворцовых угодников, ни даже из образованных, — а из тёмной скотинки, как и Алексеев, что их и роднило. (Невдохват было Алексееву, что сам он мог показаться Корнилову слишком канцелярским.)

По тёмному лицу Корнилова не заметно, чтоб он был горд новым назначением, но быстрыми узкими глазами строго высматривал своё: как ему выполнять следующую боевую задачу. А притом — неохотословен.

И Корнилов был на проезде, в минутах до поезда, и Алексеев — в бумажном вращении, голова задёргана, и по новой должности никак к нему Корнилов не относился, мог и не заезжать, — а вдруг в этой минучей встрече и при взаимной простоте — приопахнулось: да может с ним-то бы и поговорить? да может быть, едучи в Петроград, — он и есть сейчас главный и решающий человек?

И Алексеев с возникшей надеждой стал ему: не забывать, что всю эту революцию Ставка допустила лишь для того, чтобы сохранить армию неприкосновенной, для войны. А попытаться бы ему — удержать Петроград в таком виде, чтобы столица если хоть не помогала бы войне, но не мешала бы? Ведь вся зараза растекается из Петрограда, все эти банды по всем железным дорогам, прямо на людей наводят оружие, врываются в учреждения, грабят квартиры…

И даже, движением доверия, открыл Корнилову безхитростно и, может быть, опрометчиво: чтоб не слишком он там доверял гражданским вождям, они бывают очень неискренни и непрямы.

И глаза Корнилова — темно блеснули. (Что он так и знал?) Ничего в словах не выразил, а — в крепком пожатии. Что постарается.

И — разнесла их карусель.

А пожалуй, и неплохо, что его назначили.

Не знаешь, откуда теперь ждать дурных вестей. Докладывали Алексееву, что и в самом Могилёве там и сям сегодня вспыхивают какие-то *митинги* — то есть сходки, о свободе и равноправии, и что солдаты ставочных частей самовольно ходят туда. Надо ли им запретить? Правильно ли — всё запретить?..

И такое донесли: что среди нижних чинов Ставки — большое недовольство Воейковым и Фредериксом как немцем. И что солдаты якобы требуют удалить их из Могилёва, а то возможна вспышка.

Новое огорчение. Пребывание Государя в Ставке со всем своим избыточным штатом действительно становилось обременительным и действительно могло дразнить солдатское внимание. В самом-то Могилёве, как нигде, особенно надо предотвратить лишние поводы для волнений. Да, пожалуй, всем будет спокойней, если Воейков и Фредерикс из Могилёва быстро уедут.

А тут — новый толчок: доложили по телефону с вокзала, что и у них появилась такая команда-банда, с оружием и претензиями, якобы от московского совета депутатов, — но охрана вокзала не растерялась, троих арестовала, остальные упрыгнули на проходящий поезд.

У нас, в Могилёве?.. Ну, руки опускаются: если уже до Могилёва дорвались, это перестаёт быть призраком, — и что же поделать? Так и в саму Ставку ворвутся?

Так несомненно! — он вызвал Воейкова и убедил его: в такое революционное время солдатам нужны жертвы, и лучше эту жертву принести добровольно, чем быть растерзанным.

Затем сходил к Государю и получил согласие распорядиться, чтоб эти двое немедленно покинули Ставку.

Безсилие, как в болезни. Отрёкся царь, но он-то, начальник штаба Верховного, не отрекался! — а вот люди и события перестали ему подчиняться — непривычное состояние для военного человека!

Но, к облегчению, — вызывал его к аппарату Гучков.

Вызвал, только что получив тревожную телеграмму о безпорядках в Режице. А между тем волноваться нет оснований: в Петрограде довольно быстро идёт вперёд общее успокоение умов. Гучков рассчитывает, что это влияние через некоторое время скажется и на фронте.

Представить себе их Петроград — никак не возможно! День ото дня — успокоение, всё налаживается, всё входит в русло! И день же ото дня всё сильней расхлёстывается растлевающее влияние!

…Но в Полоцке захвачено 17 человек, проехавших от Петрограда, обезоруживали жандармов… Но сейчас на могилёвском вокзале… Но вчера в Смоленске гастролёры из Петрограда и Москвы арестовали командующего войсками Округа и начальника штаба… Из них разошлись по деревням и представляют опасность для тылового пространства фронта, где войсковых частей нет… Пусть это — отголоски того, что в Петрограде уже пережито, но у нас не остаётся иных возможностей, как… И вот — поехал Корнилов, надо установить порядок в частях петроградского гарнизона…

Однако Гучков — торопится в Совет министров и должен кончить беседу. Но убедительно просит Ставку, убедительно: не принимать суровых мер против участников этих безпорядков — только подольётся масла в огонь и помешает успокоению в Петрограде.

Вот как. А Алексеев-то думал в простоте: хватать эти шайки и расстреливать…

420

Как мы устроены несовершенно! Всю жизнь можно готовиться к какому-то ожидаемому моменту, а когда он наступит — непростительно недомыслить и проиграть. Как будет брать царское отречение — уж к этому ли Гучков не примерялся сколько раз! А вот на поездке во Псков, которая должна была стать торжеством его жизни, — как подорвался весь нутром, как заболел, и потерял веру в свои силы. Произвелось непоправимое: вместо того чтобы выровнить и усилить ход державного корабля, он толкнул завалить его набок, до зачерпа.

И трезво видел Гучков, не отшибло ему: это правительство, в которое он принят, ни откуда не вытекает, кроме двух десятков горячих думских речей. И вчера он подавал в отставку не формально, что мнение его осталось в меньшинстве, а потому что всё это правительство и состояние в нём сразу увиделось ему безнадёжным. Убедил его остаться Милюков. Уверял, что будет самая широкая поддержка интеллигентского класса и союзных стран. Только Милюков будет иметь дело с дипломатами, с их радужными надежда-

ми на взлёт русского патриотизма и воинственности. А Гучков — со взбунтованными солдатами, пошатнувшимися офицерами — и невыводимым из города гарнизоном, как привязанным жерновом.

Пока мотался за отречением — он здесь, в Петрограде, пропустил «приказ № 1» Совета депутатов и всё его развитие. Появился «приказ», оказывается, ещё раньше, чем Гучков сел в поезд, но его не читал, не знал, не то чтоб остановить. Только вчера к вечеру, уже после Миллионной, прочёл его тяжёлой головой — и ещё недооценил опасности, отнёс к неизбежным побочным эксцессам революции, которые забудутся всеми завтра, — лишь бы удалось не допустить вражды солдат к офицерам.

Только сегодня утром, когда «приказу» уже было полных двое суток и он в миллионах экземпляров разнёсся далеко и за Петроград, — Гучков полными глазами прочёл его, ужаснулся — и понял, что вот с этого он должен начинать своё министерское управление. С первого шага он был обвешен Советом рабочих депутатов и его «приказом», как впившимися собаками.

И с того, как показала вчерашняя телеграмма Алексеева, что фронтовой полосой лезет распоряжаться всякий кому не лень. И штатский Грузинов, самозванно захвативший командование Московским округом, назначал коменданта в Калугу, подчинённую Эверту.

И с того, что арестован возбуждённой толпой командующий Казанским военным округом (десять губерний), — и казанские бюргеры требовали теперь его смещения.

И с того, долг чести, что вдова Столыпина Ольга Борисовна просила защиты: замучили обысками и оскорблениями. И послал к её квартире охрану на несколько дней.

И вот — приехал Гучков на Мойку, в довмин, принимать наследство сбежавшего Беляева. (Верные служащие обступили его с доносом, что Беляев в последний день сжигал важные бумаги. Кто-то услужливо подавал сохранённые черновики. Гучков распорядился разобраться.)

Здесь, в довмине, стоял аппарат прямой связи со Ставкой. При нём ждала ещё свежая телеграмма Алексеева о том, что в разных местах Северного фронта появились и безчинствуют революционные банды. Говорили и по аппарату. Но ни по какому аппарату не мог Гучков Алексееву объяснить всю сложность происходящего в Петрограде, и в военном министерстве, и в груди самого Гучкова. Да укрепить надо было самочувствие честного генерала, а не под-

рывать его. Отвечал ему бодро. И — вот положение! — просил генерала: не принимать против этих банд суровых мер: в Петрограде тогда такое начнётся… Важно успокоить центр.

Он оборвал, говоря, что спешит в Совет министров. И правда, заседание уже шло, надо бы ехать, — а так ли надо? Представил он круг своих коллег: кто из них был мужчина? Или кто из них мог понять всю тяжесть обстановки?

Не поехал.

И погода была мрачная, петербургская — тёмные, тяжёлые облака, медленные хлопья снега.

Ещё была очередная восторженная телеграмма от Николая Николаевича с Кавказа. Тоже вздорный старик, этого назначения опасался Гучков.

Тут — позвонил Бубликов, не потерявший своей взрывной инициативы. Названивал такую тревогу: как бы отпущенный в Ставку царь не организовал там военного сопротивления. Отмахнулся Гучков, что Николай — совершенно безвреден.

Вот уж, боялись телёнка.

Велел не соединять себя больше ни с кем.

Время упускалось. Надо было принимать министерство, решать и действовать.

Но прежде того уже везде был «приказ № 1» — раньше, чем военный министр начал свой счёт с первого. А собственный его «№ 1» — получался скучнейший, до зевотной судороги. Что он — вступил в управление министерством; что всем чинам оставаться при исполнении своих должностей; что сохраняется весь существующий распорядок делопроизводства и направления бумаг; и как обходиться теперь без высочайшего утверждения…

Обратиться же к армии своим полным голосом — он не сумел: ещё 1 марта к вечеру составленное им воззвание к армии (составленное вовремя, в обгонку «приказа № 1», как чувствовал!) о войне до победы, — как было тогда задержано Советом рабочих депутатов, так с тех пор и не напечатано за всю его поездку, и неизвестно даже, где находится текст.

А пока он что-то делал или не делал, решал или не решал, — а в батальонах петроградских происходили самочинные выборы командиров, а иных офицеров увольняли солдатским голосованием, а каких-то даже арестовывали.

И вот Гучков должен был теперь начать с какого-то другого приказа — уступочного, капитуляционного, в чём-то подаваясь

под напором «приказа № 1», потому что нельзя было притвориться, что его нет. Что-то из «приказа № 1» неизбежно было принять — и уже выдать от министерского имени, чтоб не ломался военный строй.

Итак, начало министерской деятельности Гучкова было — сидеть над приказом Совета рабочих депутатов… и усваивать его…

Комитеты в частях? Этого он уже не мог касаться. (Не мог отменить.)

Политическое подчинение войск Совету депутатов? Не мог отменить. (Мог не упоминать.)

Невыполнение приказов Военной комиссии?.. (И его собственных теперь приказов… Боялся, что так и будет.)

Ирония… Когда-то, порываясь к широким армейским реформам, сам же Гучков и предлагал ввести в армии коллективное обсуждение. (Да не такое, конечно…) А Столыпин ему отвечал: как только армия перестанет подчиняться единой воле — она сейчас же придёт в расстройство.

Оружие под контролем комитетов, а офицерам не выдавать? Этого нельзя было даже вообразить! (Но и нельзя открыто возразить.) Это следовало обойти как дичь.

Пункт шестой — вне строя солдаты не должны быть умалены в гражданских правах? Пункт седьмой — отменяется обращенье на «ты» и титулованье офицеров?

Вот только это и можно было принять. Признать. Переформулировать и издать собственным приказом? — нет, стыдно. Но очередным № 114 по военному ведомству, продолжая беляевскую нумерацию.

Отменить наименование «нижний чин», заменив «солдатом». Отменить «ваше высокопревосходительство» и «ваше высокоблагородие», а: «господин генерал», «господин полковник», «господин ротмистр». Всем солдатам на службе и вне её говорить «вы». Отменить запрет солдатам курить на улицах, ездить внутри трамваев, сидеть в театре, посещать клубы и участвовать в политических союзах.

Этого — уже нельзя было не принять. Это — уже захватывалось властно. Да и было разумно. Да и соответствовало общественным идеалам.

А как с неотданием чести? Этого невозможно принять! Без чести — уже будет не армия! Но: и отвергнуть — обстановка не разрешает, вокруг этого слишком накалено.

Дисциплина должна поддерживаться не механической честью, но профессиональным превосходством офицеров.

Несостоявшийся главный реформатор армии, Гучков теперь должен был душить слишком нетерпеливую реформу?

Досадно, как Совет депутатов обогнал его.

Как обогнала их всех — вся революция: из рук интеллигенции вырвана чернью, и уже не взять всей власти назад.

Честь пока решил обойти. О чести — надо будет срочно запросить мнение Ставки.

Но оттого что военный министр повторил хвостик приказа Совета депутатов, а на всё остальное не стукнул кулаком, не приказал комитеты разогнать, а оружие подчинить командирам частей, а не последним солдатам, — от этого получалось… что военный министр молчаливо одобрял и весь «приказ № 1»?

Да, тут был парадокс, не разрешимый в рамках сегодняшнего дня. Но конечно с течением времени, исцеляющего разумного времени, и под влиянием жестокой боевой обстановки на фронте этот утопический военный приказ петроградских гражданских интеллигентов и сам отпадёт, отсохнет как нелепый.

О, разумеется, с трибуны ещё 3-й Государственной Думы громя военные и морские порядки Империи и произнося под аплодисменты жаркие слова о нужных усовершенствованиях (которые введут передовые разумные люди, придя к власти), — не такие усовершенствования имел в виду Гучков. Более всего он указывал уже тогда, что не видеть нам побед, пока не сменится командный состав, подобранный по принципу протекционизма и угодничества. И пока он — не омолодится.

Разве так это мечталось? Мечталась целая цепь разумных, благоплодных реформ, которые очистят воинскую атмосферу, оздоровят весь воинский организм. Прежде всего — убрать с высоких постов всех дураков или стариков, непригодных, губительных, а поставить повсюду начальниками самых талантливых, отличных и соответственных, какие только есть в русской армии. Всё вредное — устранить, всё тормозящее — пересоздать. Последовательно произвести реформы условий назначения на должности, условий прохождения службы, системы военного обучения, пополнения, мобилизации.

И вот сегодня он стал министром — но мог ли приступить к необъятному этому кругу? Шла война. Напирал Совет депутатов. Смел ли он? должен ли был теперь приступить к этой гене-

ральной чистке командного состава и грандиозным преобразованиям армии?

А может быть — и да! Отчего же? Для чего и нужны эти реформы, если не для победоносности нашей армии? Когда же нам нужнее победоносность, если не во время войны?

Нас разрушают снизу — а мы будем быстро лечить сверху!

Но — *с кем* начинать реформы? Где его буйные младотурки, рассеянные по дальним линиям фронта? Когда сможет приехать Крымов? Хагондоков? Как отнесётся Гурко? Удастся ли сварить кашу с Алексеевым? (Впрочем, много легче, чем с Николаем Николаевичем.) На кого можно положиться близко, сильно, — на Непенина: абсолютно свой, передовой адмирал. Уже хорошо, Балтийски флот он сохранит. А Колчак — Черноморский.

А в самом Петрограде, в двухстах саженях, в Главном штабе, сидел и ещё более передовой, ещё более последовательно либеральный генерал Поливанов, умница, помощник, с кем уже много обсуждено и думано по этой реформе, объяснять не надо.

Позвонил ему. Застал. И — сразу, горячо: откладывать невозможно, события не терпят, завтра воскресенье, так не положить ли начало великим реформам — просто сегодня? Вот через несколько часов и собрать в довмине — нескольких генералов, нескольких полковников генштаба?..

Созвать — Поливанов согласен был. Но сомневался, что можно провести быстро и скоро, без серьёзной подготовки.

— Да вот хотя бы… снять национальные и вероисповедные ограничения при производстве в офицеры. Запрет держится, по сути, против евреев. Это сразу даст нам большую поддержку общественности. Эффектный, очень заметный акт.

Ещё несколько месяцев назад Гучков сам был против этого. Но сейчас это будет укрепляющий шаг. Крепче станем против натиска, что офицеры — реакционеры.

Сговорились. Подобрали кандидатуры в комиссию.

Позвонил Гучков в Военную комиссию — и напал на Ободовского.

Новая мысль! Вот кто нужен! Вот удача!

— Пётр Акимович! Дорогой! Послужите России, не упрямьтесь! Я назначаю вас в комиссию по общей армейской реформе.

— Да что вы, Александр Иваныч, я же не офицер, и вообще не военный человек.

— Вот вы-то, вы-то больше всего нам и нужны, с вашей головой!

Уж молчал Гучков, но про себя-то знал достаточно: а сам он, военный министр, со всем его давним волонтёрским опытом в Трансваале, Маньчжурии или на Балканах, — разве он был военный человек?

Мысль о реформе подгорячила, обрадовала, стал Гучков набрасывать главные мысли вступительной речи на первом заседании комиссии.

Но тут поднесли ему телеграмму из Гельсингфорса: что адмирал Непенин — убит и растерзан толпой матросов!!

Гучкова — как дубиной ударило, чёрные мурашки поплыли перед глазами.

421

Забавные бывают вещи в революцию: карьеры могут взметаться и ломаться почти фантастически. Вчера после обеда, отбывая свою службу-игру в Военной комиссии, туземный кавалерист полковник Половцов, в лохматой папахе и в черкеске, пошёл с шифрованными телеграммами в Главное Управление Генерального штаба, отправить. У подъезда Главного Штаба увидел автомобиль Энгельгардта. Вот хорошо, назад до Таврического не пешком. Спросил швейцара, где полковник, узнал, что на прямом проводе со Ставкой. Вот как? Энгельгардт уже разговаривает прямо со Ставкой? Свои телеграммы сдал — и поджидал Энгельгардта. Тот вскоре вышел, очень раскраснелый и довольный. Сели в автомобиль. И вопросов подводить не надо, Энгельгардт так переполнен, что сам открыл: во-первых, что Михаил не принял престола (э-э-э, лучшее покровительство Половцова сводилось к нулю!). Во-вторых, что Гучков не будет военным министром, подаёт в отставку, а военным министром становится Энгельгардт, вот сейчас по этому поводу уже говорил с Алексеевым. И вот что — потому ли, что эти дни работали рядом, или в автомобиле оказались рядом, или понял, что за офицер Половцов:

— Плюньте вы на Военную комиссию, что это за учреждение, и ему теперь недолго существовать, — переходите ко мне, в военное министерство, будете непосредственно при мне.

Мгновенный на взвешивание, Половцов, разумеется, согласился. И потеряв интерес к Военной комиссии, вскоре ушёл домой — хорошенько выспаться и в наилучший порядок подтянуться перед завтрашним днём.

Ночью была мятель, улицы косо замело, но как-то и освежило от революционного сброда, с утра гуляющих не было, шли только по делам. Было весело, зная свою загадку, которая через час обнаружится и для всех.

А пришёл в Таврический — поворот, разочарование: Гучков остался министром, и уже обосновывается в довмине на Мойке. А Энгельгардт, застенчиво улыбнувшись Половцову, продолжает сидеть в Военной комиссии, потерявшей дух и смысл, и пишет приказ по гарнизону — чтобы все части подавали сведения о составе оружия, сколько не хватает или излишнего, да как обстоит хозяйственная часть.

Ску-чища и бездарь! Стоило для этого Половцову покидать Дикую дивизию, решиться на самовольную отлучку — и что ж теперь тут закисать?.. Вдруг потерял Половцов всякое настроение крутиться тут, в закоулках второго этажа, с низкими потолками и с ничтожными делами. Истинное главное дело ушло в другую часть Таврического, а может быть, и из дворца уже ускользало.

И Половцов в задумчивости избрал рассеянный образ действий. В своём бешмете в талию прошёлся по дворцу раз, прошёлся два, узнавал новости. Встретил комичного Перетца, полковника от журнализма, с большою важностью и с упоением перенявшего комендантство во дворце, и охотно прислушался к его болтовне.

Вот, стали привозить арестованных и из провинциальных городов — «для зависящих распоряжений», — а что с ними делать? Часть комнат при хорах пришлось очистить от арестованных, чтобы мог Совет заседать в Большом зале. Часть арестованных перетолкали в гимназию.

Перетц без шутки произносил о Таврическом: «Дворец Равноправия», «Цитадель Революции» и преклонялся перед собственной службой здесь. Восхищался самоотверженными тружениками, которые повсюду помогали. (С одной из помогавших курсисток, кажется, он стал в отношениях и более близких.) Но некоторые энтузиасты жестоко разочаровали полковника Перетца. Развернул столы «на помощь политзаключённым» какой-то Чаадаев, собрал тысячи рублей, потом исчез. А другой помогал полковнику по интен-

дантству, получил ордер на 2 400 пар сапог с интендантского склада и с ними скрылся. Потом стало известно, что он уголовный преступник, освобождённый из Крестов.

А горше всех разочаровал Перетца ближайший его помощник доктор Оверок. Окончил заграничный университет. Явился в Думу в первый же день, носился при аресте сановников, наблюдал за строгостью их содержания — и вдруг был опознан каким-то подпрапорщиком, а затем всё далее уличён — как беглый ротный фельдшер Аверкиев, сын петербургского швейцара, разыскиваемый многими следователями, грабил в Петербурге, на Кавказе, Одессе («граф д'Оверк»), судился в Харбине за мародёрство, арестован во Владивостоке, привезен в столицу на следствие — а тут освобождён революционным народом! И в самые дни революции в квартирных обысках успел награбить на 35 тысяч.

Всё — забавные вещи, Половцов очень потешился рассказами, вот как революция играет с людьми!

Однако — как же устраиваться самому?

Что-то не видно было Ободовского, а Половцов искал именно его, через рассеянье думая напряженно о своём и понимая, что уходят часы неповторимые. Постоял послушал через открытую дверь Большого зала солдатский митинг. В клубах махорки плавал знаменитый думский зал, а солдаты, с кресел, с хор, из проходов подвывали оратору, кричавшему, что «приказа № 1» — мало! что выбирать комитеты — это мало, а всех командиров надоть выбирать, вплоть до командующего народной армией! И такой шум поднялся, что советский председатель перекричать не мог и кулаком махнул на перерыв.

Но именно в том зале в перерыве и нашёлся Ободовский. Там было надышано, накурено, смотреть невозможно на рожи — но Половцов смотрел строго-невозмутимо и не обращал внимания, что солдаты не отдают ему чести. Ободовский медленно ходил со строительным инженером, и они оценивали осадку полов. Зал заседаний вместе с хорами был рассчитан не больше как на тысячу человек, а сейчас набивалось и две с половиной. Наибольшая опасность была для хор, но и полы расшатывались. А в Екатерининском зале в некоторые дни толклось по 15 тысяч сразу.

Но и — кто мог эту массу не пустить? кто посмел бы её ограничить?

Половцов улучил Ободовского и сказал:

— Пётр Акимович! Гучков вас очень слушает. Подайте ему идею, что ему нужен рядом настоящий боевой офицер и умная военная голова. Пусть он меня возьмёт к себе, не раскается.

422

В первый день, как из Крестов освободили, думалось Козьме: вот теперь вернёмся в Рабочую группу и вместе с Военно-промышленным комитетом, да с военно-техническим… Теперь-то и кинутся все спасать Россию и армию, — война-то тянет хребет, войну-то с хребта не сбыли?

А — нет. Куда там! Весь Петроград, и все рабочие, и все образованные как перепились какого бешеного зелья — никто и не мнил ворочаться к работам. Праздновали, и праздновали, и праздновали день за днём, какое-то шалопутство всеединое. А как растянется праздник — не похочется к будням, народ в себя не вернёшь, звереет, и пойдёт по разбойной части. А Козьма-то сам думал о работе, как пособить захолодалым нашим солдатикам, мол, и все так будут заботиться. А — нет. И даже сам Александр Иваныч Гучков уже не собирал боле своего важного комитета — а носился то по Питеру, то за царским отречением. И уж на что Пётр Акимыч Ободовский — запустил и он свой комитет и кружился тут же, в Таврическом. И — никак нельзя было собрать Рабочую группу, это и в голову теперь никому не лезло. Никто ни Рабочей группы не отменял, ни Думы не отменял, ни войны не отменял, — а стало нельзя, и всё. Как нет их.

И что Козьму выбрали в Исполнительный Комитет — поперву он думал, что это помеха, и одурело, и одиноко он тут вместился среди говорливцев. А теперь оказывалось: другого и места ему нет. Всё стало новое — и все стали на новых местах. И нельзя было возобновить работу на заводах никаким собственным уговором и объездом: ещё меньше, чем раньше, он мог открыто дело иметь со своим братом рабочим. А только здесь добиваться, через Таврический, через Совет.

Итак, готов он был снесть здешнюю новую заседательщину, надеясь через неё прорваться ко всеобщей работе. Но оказался он тут — как какое чучело. И для чего он тут с утра до вечера па-

рился — с каждым днём понимал всё меньше. На Исполнительном Комитете сидело их (и вскакивало, и перебегало) человек боле двадцати, не считая солдат, — и из них меньше половины выбрали на шумном стоячем Совете — как Гвоздева, кого весь рабочий Питер знал. А больше половины — назначили сами себя, промеж себя. Но — очень бойки, крикливы, и держались так, будто лучшей жизни им и не надо. Где, казалось бы, совсем не об чем говорить — тут-то они и разливались: о капитализме, о социализме, империализме, интернационализме, — точно мусорным мешком Козьме об уши хлестало. А где б надо крепко решить — тут прошмыгивали. Такое дело было ясное: пора работы начинать, неделю гуляем, это и в мирное время так себя распускать нельзя, этак ни обуться, ни одеться, ни есть никому не станет, — а в военное пуще? Защемило Козьму середь них. Несколько раз подымался и он говорить, о заводской работе, да как-то неумело выходило, и забивали его. А когда голосовали, то ещё ни разу Козьма в большинство не попал, но всегда его сторона была покрыта. Так что, коли б он тут и не сидел, и руки не подымал, — никак бы это не проказалось.

Заходил Гвоздев постоять и в толкучке общего Совета. Там говорили слова самые простые и все от сердца, — да только сердце у всех распускалось на болтовню и безделье: вылезали наверх, а несли, как пьяные, кто во что горазд. И так эта буйность раскидывалась по плечам, по головам, — сейчас, ежели встать над ними да позвать к станкам, — ведь загогочут, не пойдут.

Наконец только вчера дошёл Исполнительный Комитет вроде бы до дела: разделиться на рабочие комиссии, по разделам работы. Но и тут состроились такие комиссии — чисто языком болтать, и туда вобрались главные говоруны. А где надо работать, то Гвоздева выбрали сразу в три комиссии: автомобильную, финансовую и им же настоянную комиссию возобновления работ.

Большевики сразу загородили: приступать к работам — не время! ещё революция не кончена! ещё наш главный враг буржуазия на ногах, ещё мы не добились 8-часового рабочего дня, ни земли крестьянам, ни демократической республики. Не возвращаться к станкам, ни в коём.

Большевиков в Исполнительном Комитете, спасибо, кучка малая, но им — хоть всё вдребезги, так ещё лучше, разума у них нет. И работы не надо, и войны не надо, и правительства не надо, всех гнать! Обкладывали Гвоздева раньше — обкладывают и сейчас.

Раньше нельзя было работать: на царя, мол, работаете. А теперь — опять забороняют, нельзя.

Тогда и предложил Козьма так: пусть приступят к работе хотя бы те заводы, которые прямо на оборону работают. Но и тут большевики не согласны: мы — против разделения революционной армии пролетариата! мы — за максимум сохранения и развития революционной пролетарской энергии!

Хоть опять с ними табуретками дерись, как на Эриксоне. Для чего же тогда и комиссия возобновления?

Да тут и решение прими — так сразу не заработаешь. А — все котлы заново растапливать? А где полопались трубы? А — снег и мятели за эти дни занесли заводские дворы, железнодорожные ветки — надо разгребать, расчищать, топливо подвозить, согревать печи, да и сами цеха нахолодали, — тут от решения до работы ещё трое суток пройдёт.

Встретил в коридоре Ободовского — Пётр Акимович больше всего тужил о трамвае: пути забило льдом за эти дни, когда подтаивало, а провода порваны в 16-ти местах, вагоны кой-где набок свалены, трамвайные ручки разокрадены. А разживлять заводы — даже и надо с трамвая.

Между тем и полки некоторые очнулись, стали приходить в Таврический с плакатами: «Солдаты — в окопы, рабочие — к станкам!» Хорошо, это нам поддержка.

Да знают Гвоздева на всех заводах, везде свои люди и отзовутся. На каждом заводе есть серьёзные рабочие, кто давно б уже стали по местам, да напуганы забияками.

И сегодня на Исполнительном Комитете Гвоздев встал потвёрже и выговорил всё товарищам революционерам. Ведь посчитать — девятый-десятый день рабочий Питер гуляет. Куда ж нам разгуливаться, если война идёт? Что ж от России останется? Ни снарядов, ни патронов никто не выделывает — дивоваться надо, что немцы ещё смотрят на наше гулянье, а ударят — и в неделю до Питера пройдут. Или теперь же начинать работу — или лопнет вся наша тут говорильня.

— А на каких условиях начинать? — кричали большевики, пятеро их сидело. — Опять на старых? После такой революционной победы?!

А другие возражать не нашлись. Другие жались. Рисковое дело: всегда звали к забастовкам, а теперь к работе? Боялись даже на

Совет с таким делом выйти — кто выйдет? кто скажет? а ну, на крик возьмут?

— Да я выйду, — сказал Козьма.

— Не-е-е, — загомонили. — Тут надо товарища политически авторитетного.

Решили: завтра утром ещё раз собраться и ещё раз обговаривать.

К концу заседания поднесли вчерашние московские газеты, со всеми полными страницами — на два часа чтения. Петербург кипел событиями, а Москва описывала.

И Козьма взял газетку. Поскользил:

«Смерть Зубатова».

…2 марта у себя на квартире на Пятницкой улице застрелился знаменитый Зубатов: прострелил с виска на висок, умер мгновенно. Оставил записку — прощание с сыном, никого не винить, не мог пережить разрушения монархического строя…

И — жаль его стало Козьме. Хоть и полицейский чин — а хотел рабочим добра. Верно ведь вёл: не революция вам нужна, а заработок.

Вишь, как монархию любил.

423

Хоть и «добился» Пешехонов разрешения на свои «Русские записки», хоть не забывал о них (в отсутствие Короленко вёл их он), но даже заехать на пять минут в редакцию не мог, а только позвонил туда и особенно просил сотрудниц требовать в следующий номер очерка от Фёдора Ковынёва. Хотелось сохранить поярче картину этих неповторимых дней, которой не почувствуют кто не участвовал, — а Ковынёв умеет описать.

Всё — пришло в движение, и самое прихотливое. Это был — социальный хаос, из которого ещё предстояло создать новое достойное гражданское общество. История редко производит такие социальные опыты. Лицом к лицу с этим хаосом, в самой гуще его, Алексей Васильич переживал редкостный момент, безусловно — самый интересный период своей жизни. При малом сне и безпорядочных днях это сознание очень придавало ему сил. Вот — он

кипел в своём любимом народе, в размахе его непритворства — и чего ж ещё желать?

Даже за эти четыре дня уже многие сотрудники его по комиссариату сбились, ушли, вместо них другие, Пешехонов не успевал запоминать всех фамилий и даже в лицо не всегда узнавал, что говорит со своим сотрудником.

Тем более, что и посетители — черезо все кордоны добивались до него, и самые неожиданные.

То через толпу, выделяясь в ней, пробивался священник.

— В чём дело, батюшка?

Приехал из Финляндии:

— Вот, не знаю, как быть: поминать ли царя и всю фамилию на ектеньях аль не надо?.. По теперешним обстоятельствам вроде как не следует — но и пропускать боязно. А от начальства — нет распоряжения. Приехал в Питер — никого не найду. А вы — как скажете?

То пришли жаловаться, что в их доме после революции перестали топить. Вызывали домовладельца для объяснений.

То какая-то мещанка никого не хотела слушать, а только — самого главного комиссара. А зачем? Вот: нужно ей дрова перевезти на другую квартиру — так дайте разрешение.

— Так перевозите, пожалуйста, кто же вам препятствует?

— Нет уж, батюшка, захватят! Ты мне письменно подтверди.

— Да кто ж захватит?

— Да вы ж и переймёте! Теперь на чужое много охотников, и каждый — власть.

Пешехонов написал, но усумнился, уж свои ли дрова она перевозит, послал одного товарища пойти на место и поглядеть. Нет, всё в порядке.

Люди так выражали: «Оно, конечно, свобода, а всё как-то сомнительно».

А того «коменданта всех чайных», который так грозно заявился вчера, а потом скрылся по дороге в Таврический, — сегодня утром нашли в одной из чайных — лежал совсем расслабленный, оказался морфинист, хотя и действительно врач.

А ещё предстояло комиссариату на своей же Петербургской стороне всячески свою власть отстаивать — от самозванцев и от других властей.

Во-первых, узналось, что действует другой комиссариат, на Кронверкском. Проверили, какой-то самочинный кружок интел-

лигентов, которые, наблюдая безначалие, решили организовать власть, главным образом — продовольственную. Этот претендент оказался неопасным, Пешехонов предложил им перейти и вступить к нему. Поспорили — уступили.

Но ещё объявился отдельный комиссариат — на Крестовском острове. Пешехонов не против был бы, чтобы Крестовский и отделился, и без того район у него обширный, — но дошли слухи, что Крестовский комиссариат своевольничает, производит реквизиции, притесняет местных торговцев. Поехали проверять — оказалось, что избраны на собрании местных граждан, так что образовались демократичнее, чем Пешехонов. Но, сам демократ, не мог Пешехонов допустить такое раздвоение действий и заставил их подчиниться и проводить политику правильную.

То поступил донос, что в одном доме на Каменноостровском управляющий раздал жильцам листки — заполнить, кто имеет какое оружие и сколько. В доносе подозревалось, что это делается, конечно, с контрреволюционной целью: дом — с барскими квартирами, населён состоятельными людьми. Вызвал Пешехонов управляющего — тот подтвердил, что листки такие раздавал, но не по собственной инициативе, а по распоряжению коменданта Петербургской стороны, который в их же доме и квартирует.

Какой ещё такой комендант? Захотел Пешехонов тут же его и видеть. Предстал. Оказалось — подлинный комендант, назначенный Военной комиссией, офицер Гренадерского полка, вежливый, грассирующий князь, и комендантствует уже три или четыре дня, но, кроме этих листков, сделать ничего не успел. Пешехонов, собирая грозность, заявил ему, что двоевластия не допустит.

Так Пешехонов энергично устанавливал единовластие — но чьё же? Кто послал его самого — Совета Рабочих Депутатов.

А как же правительство — есть у нас? или нет?

424

Петроградцы могли как угодно уверять, что у них успокаивается, — но зараза анархии расползалась, и прежде всего на ближайший Северный фронт.

Высшие генералы выполнили свой долг перед революцией, помогли безболезненно сместить царя, — но революция не выполни-

ла своего долга перед генералами: она начинала сотрясать саму Действующую армию.

И никакие радостные сообщения от Временного правительства не могли утишить тревогу генерала Рузского: эти банды, уже даже проскочившие Псков, уже в ближних тылах Северного фронта, загораживали от него всё остальное. В самом Пскове какие-то солдаты автомобильной роты из Петрограда отстраняли городовых. По Пскову и местные солдаты начинали бродить безпорядочными группами. В Режице — между штабом фронта и штабом 5 армии! — вооружённая банда неизвестного происхождения делала что хотела, — бушевала в полицейских участках, на всех наставляла оружие, сжигала деловые и полицейские бумаги, обезоруживала офицеров… Такое — в армейских тылах?? Как же воевать? За всю свою военную карьеру генерал Рузский не встречал ничего подобного: микробы, которые проникают через военные перегородки и вмиг разрушают ткань. Как против них действовать? Если их не уничтожить в самом начале — они развалят всю армию, всё то условное подчинение старшим в чине и уставам, на котором держится армейская структура: если его разрушить, то не останется ничего.

Однако и действовать самостоятельно, хватать и казнить этих бандитов, Рузский тоже не решался, по сложности революционной обстановки. Какими ни оказались петроградские деятели неблагодарными и безответственными, но генерал Рузский не мог противостоять им в одиночку, он не мог один выступить в роли военного карателя — этого бы ему не простило общество. Поэтому надо было добиться единства действий всех Главнокомандующих, — и после события в Режице Рузский уже начал сожалеть, не зря ли он отказался от съезда Главнокомандующих. А теперь оставался только — рапорт Алексееву? И послали его.

Но Алексеев лишён таланта и смелости подлинного полководца, он никогда не возьмёт на себя смелое распоряжение, он конечно будет только докладывать в Петроград, и на это уйдут и часы, и дни, и неизвестно, выйдет ли что путёвое. Так что посланная Алексееву телеграмма о бандах зависнет надолго. Конечно, до Могилёва ещё когда эта зараза докатится, — а здесь она разрушала само тело Северного фронта, — и сам Главнокомандующий со штабом не защищены от них, никакой караул не защищает от этой чумы. Да красные лоскуты на солдатах уже стали появляться и при самом штабе, даже в комендантской роте. И нельзя было запре-

тить, потому что и депутаты Думы приезжали во Псков в таком же окружении агитаторов с бантами.

И оставалось Рузскому — вступить в прямое сношение с одним из своих соседей. Не с Эвертом конечно — тупым служакой и монархистом, но — с Непениным, с которым объединяли Рузского общественные симпатии и передовые взгляды. И положение их сейчас было сходно: у Непенина забурлило ещё раньше и больше. Вдвоём с Непениным они могли бы сейчас выработать и общую тактичную линию поведения.

Подумывал Рузский, как же ему снестись с Непениным короче всего. Очевидно, через Ревель. И он начал набрасывать телеграмму, которая могла бы безопасно пройти и руки шифровальщиков — а вместе с тем, от развитого человека к развитому, передать Непенину всю деликатность соображений.

Тут Данилов, тяжёлой походкой, принёс ему раздобытый экземпляр — типографскую листовку, грязно отпечатанную, того самого странного «приказа № 1», о котором они уже слышали, но не придали значения. А он каким-то образом распространяется среди нижних чинов уже в прифронтовых частях! — хотя не прислан никаким законным путём.

Вот он. Положил Данилов на стол измятый лист, прибил тяжёлой ладонью. Читали.

Это был как бы приказ по Петроградскому округу, но отданный в игнорирование командующего и всех чинов, не к их командному строю, но прямо и только к нижним чинам. В таком ли предположении, что теперь воинские части должны подчиняться не своим командирам, а Совету рабочих депутатов?

Рузский даже не верил своим глазам. Это могли писать сумасшедшие, это не могло быть допущено во время войны! Или уж тогда прислано из Германии?

Совершенно неслыханно! Эти бациллы могли убить армию в неделю.

Всё здание штаба закачалось.

Данилов выругался матерно. Рузский не употреблял таких выражений никогда.

Надо было?.. — срочно телеграфировать в Ставку, что ж ещё? И передать им текст этого приказа, они его ещё, наверно, не знают? Да опасность в том, что сходный пункт есть и в объявленной телеграмме нового правительства: что для солдат устраняются все ограничения в пользовании общественными правами. И если это

так открыто декларируется и вот т а к, как здесь, будет разрабатываться?.. Может вспыхнуть только полный хаос, внутренняя рознь, и армия погибла!

Значит, нужно внутри самой армии беззамедлительно издать — противодействующий приказ, обеззараживающий! Но разве неповоротливая голова Алексеева может найти тут решение? И все полтора года было несчастье, что он взят в начальники штаба Верховного, но в эти роковые дни — троекратно.

А как бы умело с этим справился Рузский, будь он в Ставке!.. Нельзя простить Николаю его выбор.

А, вот что! — надо копию телеграммы послать Гучкову. Военный министр — единственный умный теперь человек, с которым можно сговориться, можно работать.

Отослали Алексееву. Отослали Гучкову.

Нет-нет, ещё не то! Тонко начуивал Рузский, чего не понимал и сутки назад: в Петрограде главная реальная сила сейчас — не Родзянко, и не Временное правительство, а Совет рабочих депутатов. И надо, с высоким тактом, установить отношения — непосредственно с ним, применительно к революционному моменту. Это — не каждому доступно и не прямо, у Совета рабочих депутатов сейчас, конечно, большое самолюбие и большая предубеждённость против прежних властей. Но такая возможность уже рисовалась Рузскому. Не только умел он быть тактичен, как никто из генералов, но должно было помочь ему одно счастливое обстоятельство: в близости к нему служил ещё с 1914 года генерал Михаил Бонч-Бруевич. В первый период Рузского Бонч был тут у него и начальником штаба Северного фронта, вслед за Рузским был выжит отсюда, сильно увлёкся контрразведкой, но затем и у контрразведки возникли неприятности с обществом, особенно из-за дела Рубинштейна, — и Бонч вернулся к Рузскому, и ныне состоял в распоряжении Главнокомандующего Северным фронтом. Бонч-Бруевич под аксельбантами генштабиста был весьма свободолюбивых симпатий. Одна беда: эти дни его не было во Пскове, он в поездке, в глуши, на недостроенной рокадной дороге, — но надо вызвать его поскорей. А потому, что, говорят, родной брат его, Владимир Бонч-Бруевич, давно почти революционер-подпольщик, — теперь вынырнул в Совете и был какой-то видный деятель. А связи — всегда связи, особенно родственные. И могут оказаться наилучшими в революционную бурю.

Вызвать Бонча немедленно — и дать ему какой-нибудь высокий пост, придумаем.

Так, так. А пока подбирал Рузский слова для телеграммы Непенину. Вот бы сейчас встретиться с ним, да найти общую тактику. Только с ним заодно и можно умно действовать.

Представлял себе его выразительное, вдохновлённое лицо, быструю манеру понимания.

Офицер прибежал из аппаратной и подал Рузскому телеграмму сам, как делалось в случаях чрезвычайных.

Буквы складывались:

«В воротах Свеаборгского порта вице-адмирал Непенин убит выстрелом из толпы».

425

Дневная встреча с Мамá вместо ожидаемой тихой радости успокоения сразила Николая. Едва он вошёл к ней в вагон с холодной ветреной платформы и потянулся обнять её, ища материнского сострадания в несчастьи, уже он был поражён её строгим и даже безжалостным видом. Он не помнил её такой безжалостной, разве когда хотел отставить Столыпина, а она не допустила.

И с первых же слов Мамá уверенно впечатала ему, что он совершил страшнейшую ошибку. Она абсолютно была убеждена, что всё понимала ясно. От большого волнения перейдя на немецкий язык, внушала ему, что он и вообще не смел отрекаться, к этому не было никакой почвы, и уж вовсе не имел права отрекаться за Алексея и не смел перегружать Михаила внезапной ответственностью, от которой сам давно его отучил. И вот — обрушилась вся династия! Он обрушил и погубил дело своего великого отца. И своего деда. И своего непреклонного прадеда.

Боже мой! — всё вновь опустилось и оборвалось в Николае. Только-только стал он возвратно обретать жизненную силу, только-только в ноги его стала возвращаться способность стояния, — и снова одним ударом смято, повалено всё. Он надеялся укрепиться от Мамá, что она поможет ему затянуть душевную рану (а он потом поможет Аликс), — и вот новая рана.

Погубил династию? Он не думал так. Династия — ещё может вернуться, тот же и Алексей, Божьи чудеса неисповедимы. Николай охватывал другую сторону: через своё отречение он искал всеобщего примирения в России, как избежать кровопролития…

А вдовствующая императрица, оком своим и покойного Отца, видела только: он обрушил трон Отца! он обрушил династию! И с ней — Россию!

Но не Россию! но не Россию! — умолял Николай. Боже мой! только-только создалась первая живительная плёнка вокруг измученного сердца — и всё опять раздиралось. Едва-едва он стал выбираться из отчаяния — и снова был ввергнут туда же.

Но даже поговорить, но даже сесть, выслушать, очнуться — были они лишены. На платформе у поезда стояли встречающие — и было бы странно слишком долго к ним не выйти. А дальше — уже был назначен завтрак в губернаторском доме, и нельзя было менять распорядка, надо всем ехать туда. Теперь часа на полтора были закованы их лица, чувства и речь, всё уходило вглубь.

И сухонькая семидесятилетняя старушка, сохранившая и стройность узкой маленькой фигуры, и обворожительную улыбку, обходила строй встречающих, и сын следовал за нею невозмутимо, со светлыми глазами, так что никто не мог проникнуть в трагическое их состояние.

И потом в автомобилях. И потом за завтраком. И при посторонних говорить и улыбаться так, как надо. А в голове — смятенная буря: так что же? так что же теперь?!..

Страшны для нас даже не столько происшедшие события, а — насколько мы в них виноваты: самые мучительные терзания — от своей вины, а не от беды. Теперь Мама́ открыла Николаю его вину.

Так — что же теперь?? Боже! Снова разверзлась перед Николаем своя растерзанная, и всё ещё не находимая, но очевидно содеянная ошибка: он — мог бы? он — мог бы остаться русским царём? Он — сам неосторожным поспешным движением сбросил с себя корону?..

Но — как?.. Но что же он должен был делать во Пскове?..

Это — разрывало.

Только после завтрака остались с матерью наедине — и снова в эту боль. И хуже — в долженствование!

Со своей постоянной напряжённой силой убеждения настаивала теперь Мама́, что терзаться — это мало, но он — *должен,* он — *должен* предпринять в исправление! Он — *должен* вернуть корону себе или Алексею!

О, размозжающий безжалостный долг!.. Но — как это возможно?.. Но ведь это теперь никак не возможно!..

Невозможно себе — значит Алексею. Ведь он даже не пробовал этот шаг. Отчего бы и не удалось? Ведь трон пустует.

Перебирали пути. Хотя не находили. Мама́ считала, что с самого начала, если уезжать из Ставки, — он должен был ехать в центр своей гвардии, в Луцк, а не в Царское Село. (Упрёк.) И даже сейчас не поздно, гвардия ему верна!!

Но — как теперь выехать? Но это совсем неудобно!

Долго сидели. Путь — не находился. Но и верно же: поскольку никто трона не занял, и никто на него не претендовал — эта задача была не невероятная: возвратить трон Алексею. Алексей-то — не отрекался! Он — законный наследник, которому уже давно присягнула вся армия — и он не отрекался! Да вся армия будет в восторге! — она обожает наследника! И даже, после отказа Михаила, это был вполне естественный шаг — снова к Алексею.

Расстались с Мама́ до вечера. Николай остался, обещав ей начать предпринимать. Такой резкий ветер, не поехал на обычную автомобильную прогулку, только ходил по садику, обдумывая.

О, как давила необходимость действия, когда он так надеялся отдохнуть душой! Даже сегодня утром он, кажется, был счастлив — по сравнению с нынешним несчастьем действовать!

И — *как* действовать? Как даже — приступить? К кому обратиться?

Единственная связь с миром у Николая осталась — только генерал Алексеев. Только через Алексеева он мог.

А вот как: он и отрёкся через телеграмму, и через телеграмму же можно это исправить! Вот и всё: послать телеграмму главе нового правительства Львову, Государем же и назначенному: о том, что он переменяет своё первоначальное решение и передаёт престол не Михаилу, а Алексею!

Простое и законное перерешение! Раз Михаил не взял — он передаёт Алексею!

Обдумывал ещё, возвращаясь в дом. Несомненно так. Даже это очень просто.

Из пачки чистых телеграфных бланков на столике взял один и написал от руки, князю Львову: что во изменение ранее выраженной воли он передаёт престол всероссийский сыну своему Алексею. И подписал, как всегда прежде: Николай. Николай такой — один, даже и после отречения.

И чем скорей действовать — тем лучше. Послать эту телеграмму — и сразу сознание, что сделал всё возможное.

Без сопровождения, как уже усвоил, и не надевая шинели, а в кубанской черкеске с башлыком, Николай пошёл в здание квартирмейстерской части.

Его никто не ожидал и не заметил, никто не встречал теперь перед зданием, он сам открыл дверь, сам вошёл, — только вздрогнул внутри дежурный жандарм, вскинул честь, — а Николай уже поднимался по лестнице.

Не застать Алексеева он не мог, Алексеев постоянно сидел на своём месте в кабинете и что-нибудь писал. Так и оказалось: сцепив очки с левого уха и наклонясь совсем близко левым глазом к бумаге, быстро писал.

Николай вошёл. Алексеев встал, поправляя очки.

До сих пор даже и нетрудно — а вот сейчас вдруг трудно: этому генералу, им же на это место поднятому, такому привычному, такому милому, ворчливому, и в комнате, где они были вдвоём, с глазу на глаз, — просто протянуть уже написанную телеграмму почему-то оказалось очень неловко.

Николай замялся. Алексеев тем временем обошёл вокруг стола ближе. Недоуменно.

Чувствуя, что улыбается — и совсем не к месту, улыбкой, может быть, жалкой, Николай вынул сложенный вдвое синеватый бланк и протянул Алексееву застенчиво:

— Михаил Васильевич… Я — вот так решил… Я — перерешил… Пошлите это, пожалуйста, в Петроград…

Алексеев взял бланк, развернул, ещё подсадил очки, стал читать. И вдруг, по острому нахмуру его бровей и строгому взгляду — а у него, оказывается, очень строгий мог быть взгляд, — Николаю показалось, что Алексеев гневается.

Такого между ними никогда не было и быть не могло, но сейчас — так показалось. И у Николая сжалось сердце. И он, чтобы смягчить генерала, поспешил первый сказать:

— Я думаю, Михаил Васильич, это будет хорошо. Мы так всё исправим, всё станет на место. Утвердится.

Алексеев смотрел придирчиво-строго из-под несветлого своего лба, постоянно омрачённого думами. И чуть покосил глазами. И очень-очень тихо сказал, так что и скрипучесть голоса не прозвучала:

— Это — никак невозможно, Ваше Величество.

— Но — почему ж невозможно, Михаил Васильич? — обратился Николай просительно. — Ведь это — моё право, кому передавать престол?

Без обычной предупредительности Алексеев упёрто смотрел из-под нахмура в глаза Николаю. Сказал ещё тише:

— Но оно — упущено, Ваше Величество. Это сделает нас обоих — смешными.

Так он выглядел непреклонно, наброво, так неуговоримо, что Николай не словами, а только глазами решился выразить ему, — пока они близко и прямо смотрели. Глазами выразить тот полуупрёк, который невозможно было полнозвучными словами: «Но ведь и вы же немного во всём виноваты, Михаил Васильич. Давайте же вместе и исправим».

Они стояли молча — и смотрелись. Но Алексеев не моргнул, не смягчился, не отвёл глаз — так и смотрел неуступно, прямо.

А так как словами ничего названо не было, то он мог и не отвечать.

А Николай тоже уже не мог найтись, как ещё. Всё, что он придумал, — вот, он сделал. И теперь искал, куда ему руки деть пустые — опустить, приподнять, взяться за ремень.

Они стояли друг против друга в потерянной паузе, и неизвестно было, как из неё выходить.

Алексеев сказал твёрдо:

— Ваше Величество. Все ваши пожелания относительно Царского Села, и Мурмана, и Англии — я уже телеграфировал главе правительства.

— Спасибо.

— И только одного пожелания, простите, я не счёл возможным сейчас упоминать, по обстоятельствам момента: о возврате в Россию после войны. Сейчас это звучало бы неуместно. А когда подойдёт время, то это само собой…

— Да? — возразил или только хотел выразить возражение Николай. Само собой?.. А всё-таки обидно, почему нельзя сказать о возвращении в Россию.

А с другой стороны — почему они заговорили сейчас об этом, хотя и важном? Произошло затемняющее переключение, и всё неудобнее становилось вернуться к предмету.

Всё неудобнее. А всё — стояли друг против друга. И всё было как будто исчерпано, хоть и уходи, неудобно присесть для раз-

говора. А телеграмма осталась у Алексеева. И хорошо, что осталась.

— Вот так… — сказал Николай, потому что нельзя было совсем ничего не сказать.

— Да… — согласился Алексеев.

С неудовлетворённым чувством, но уже не в силах ничего сделать, Николай шагнул к выходу.

И Алексеев почтительно сопровождал его.

Ниже, на площадке лестницы, ожидал дежурный, подполковник Тихобразов: он пропустил вход Государя и теперь дожидался, чтобы отдать обязательный рапорт.

Государь жестом руки отклонил рапорт и стоял, подглаживая снизу вверх усы двумя пальцами.

И Алексеев стоял, как всегда послушный, руки по швам, в одной — телеграмма.

Ласково-смущённо Государь всё же промолвил:

— Михаил Васильич, так пошлите всё-таки телеграмму.

— Это — невозможно, Ваше Величество, — остро хмурился Алексеев. — Это — скомпрометирует и вас, и меня.

Государь слабо улыбнулся:

— А вы всё-таки пошлите, ну что вам стоит?..

Ещё разгладил усы, большим и средним пальцем. Не дождавшись ответа, протянул генералу руку. Пожал и подполковнику.

И медленно стал сходить с лестницы.

Необычайно медленно, как будто хотел ещё вернуться сказать. Или услышать.

Но ничего не услышав, от середины лестницы пошёл уже без колебаний.

И Тихобразов — за ним.

****

ЗА ЦАРСКОЕ СОГРЕШЕНИЕ БОГ ВСЮ ЗЕМЛЮ КАЗНИТ

****

426″

(по «Известиям СРСД»)

КОНЕЦ РОМАНОВЫХ-ГОЛШТИНСКИХ …В ТЮРЬМУ величайшего преступника, атамана разбойничьей шайки! — вот голос народа. Ещё позволяют ему издавать манифесты, и он передаёт нас своему брату как наследие!

ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ОФИЦЕРАМИ И СОЛДАТАМИ. Российская демократия будет стремиться, чтобы место постоянной армии заняла народная милиция, всеобщее вооружение народа. А в ожидании того — немедленно освободить армию от позорных порядков. Все шаги в этом направлении должны быть сделаны немедленно. Эти первые шаги и есть Приказ № 1.

ОТ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ. Граждане! Принимая во внимание, что остановка трамвайного движения сопряжена со значительным неудобством для населения… постановил возобновить трамвайное движение. Население Петрограда приглашается: не препятствовать правильному движению трамвайных вагонов… аккуратно вносить проездную плату… немедленно возвратить ручки на управление вагонов, захваченные в дни восстания…

ТЮРЬМЫ СОХРАНЯЮТСЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ …Отдан приказ о сохранении остатков политической тюрьмы…

Резолюция польских рабочих г. Петрограда. В борьбе с нашим общим врагом — царским правительством, оплотом мировой реакции… для окончательной борьбы возрождённого Интернационала…

..Петроградский комитет Еврейской Социал-Демократической Рабочей Партии (Поалей-Цион)… в помещении гимназии Гуревича общее собрание.

Петроградский комитет Еврейской рабочей партии социалистов-территориалистов приглашает тов. на общее собрание…

Москва. 3 марта по Садовой прошла манифестация портных. На знамёнах «Долой самодержавие!», «Конфискация помещичьих земель». Настроение антиоборонческое. Несколько раз провозглашено «ура» в честь возрождения Интернационала.

Ко всем служащим аптек. Текущие события требуют нашего незамедлительного участия… Кому дороги интересы народной свободы… в воскресенье — общее собрание фармацевтов…

К рабочим печного ремесла. Товарищи печники! Настал момент, когда мы должны принять участие в создании нового порядка… Сплочённым выступлением заявим… 5 марта, в театре миниатюр «Теремок»…

Товарищи гладильщицы! Все организуются и посылают представителей в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов принять участие в создании Свободной России. Неужели и теперь мы останемся позади? Соберёмся в женском Медицинском Институте и обсудим наше крайне тяжёлое положение.

ОТСРОЧКА ПАРАДА. Предположенный на 5 марта парад войскам, который должен был явиться торжеством решительной победы… — отлагается.

427

Чем ближе к фронту, тем остойчивей и уверенней чувствует себя фронтовой офицер: тут — вся наша мощь, и весь наш дом, подальше от вашей запутанной тыловой жизни. Но в этот возврат Воротынцев не встречал такого успокоения: всё в нём теперь разломилось и никак не соединялось.

А в Унгенах, уже четвёртой своей пересадке, на малом перроне трудно было и в спину не узнать дюжую фигуру Крымова — кажется, не для армии, так тяжёл! Но добирал широтою плеч, а всякая сабля на его боку казалась что-то коротковата.

Сильно обрадовался Воротынцев. Нагнал, взял за руку выше локтя:

— Алексан Михалыч!

Тот обернулся, гулко замычал:

— У-у-у… О-о-о…

Потрясли в рукопожатии.

Бороду — свёл на нет, а усы — большие, набухлые, чёрные.

Хотя оба в одной Девятой армии, но не виделись с осени. Фронт забрал 3-й кавалерийский корпус во фронтовой резерв, в тыл, чтобы тут кормить легче, а дела им сейчас не было.

Лишь на пять лет старше Воротынцева, Крымов, однако, после всех потрёпов выглядел старовато. За эти годы ему досталось. Да как всем нам.

Тогда осенью передавал Воротынцев Крымову приглашение от Гучкова, и кажется, тот ездил в Петроград. И теперь, когда всё так рухнуло со внезапной стороны, сотрясение неуложимое…

— Та-а-ак вот…

Однако Крымов, туша дремучая, не так уж был сотрясён.

— Ну что-о ж, — причмокивал. — Ну что-о ж…

Откуда — куда?

О Петрограде смолчал. Был в Москве. И Киев повидал. К себе в Девятую.

А Крымов — в Яссы, в штаб фронта.

Так вместе поедем? Через два часа поезд.

Но из Крымова так просто слова не вытащишь, это надо посидеть, вкуриться.

— Ну, пошли, — буркнул Крымов.

Сохранялось между ними ещё от Пруссии «ты».

А в зальце, занявши удобный угол, у отдельного столика сидел всё тот же рослый Евстафий, и тут же стоял походный не чемодан, но сундучок. Любил Крымов с удобством ездить. В таком сундучке сподручно и провизию уложить, и бутылку поставить, не разольётся.

Евстафий поднялся, отчеканил полковнику честь, осклабился. Узнал.

Буфетец в Унгенах был так себе, но чего-нибудь горяченького послал Крымов принести, а остальное из сундучка.

Кроме тяжести дремала в Крымове — медленность, как будто так он чувствовал, что ничего быстрей матушки-земли делать не надо. Сел попрочней на железнодорожный дубовый диван, достал из кармана большой портсигар с листовым уссурийским табаком и стал сворачивать свою кривую цыгарку.

И Воротынцев вместо своей папиросы тоже попросился свернуть медвежью. Но — прямую. Для цыгарки у него был и фронтовой мундштучок: в столичной поездке он его закладывал в чемодан, а подъезжая к Пруту, опять достал в карман кителя.

В табаке этом оказалась замечательная сладкая крепость.

Офицеры всегда говорили «Государь», только интеллигенты — «царь». Да вот и Крымов, но не как интеллигент, а на правах Ильи Муромца, что ли. Он — как и не на службе императорской, своя отдельная стихия. Судил сожалительно, как о слабом, как и не о старшем:

— А что ж царю было делать, если не отрекаться? За гриву не удержался — на хвосте не удержишься.

— Ну, не на хвосте! Вся реальная военная сила у него была.

Неподвижным сощуром смотрел Крымов куда-то мимо. Ещё затянулся. Выпустил. Присудил:

— Ежели колесо соскочило — значит, плохо было насажено.

— А Михаил?! Как Михаил мог?!

— Вот Михаил, скажи, да… — почмокивал Крымов. И рассердился: — Да что ж они наследника между пальцев упустили? Ведь наши казаки просто плачут. Теперь что ж, всю дорогу развалили, как мост взорвали.

— Ах, был бы Гурка в Ставке в эти дни!

Крымов повёл густыми бровями:

— Вот почему-то ж не Гурку назначили. А выбирать — свобода у них была.

Потянул, подымил:

— И чего во Псков закатился?

На путаную поездку царя не было разумного ответа. Даже и не попробовал обратиться за поддержкой к армии.

Неспешлив Крымов на речь, не щедр. И только теперь дошло до его новости:

— А граф наш Келлер, Фёдор Артёмыч, сегодня саблю сломал.

— Как?

И о своём корпусном командире говорил Крымов тоже чуть не снисходительно, как будто всему был хозяин сам. Но — и одобрительно:

— Провёл один полк под «Боже, царя храни» и объявил: «Никому, кроме Государя императора, служить не могу!» И — сломал.

Даже вздрогнул Воротынцев.

Граф Келлер — такого второго генерала в русской кавалерии нет! Что он выделывал с 3-м корпусом. И как всё умел красиво. Уж если выезжал — то со стягом Нерукотворного Спаса. И с сорока казаками. И у каждого — по четыре георгиевских креста. (А у самого — обе ноги раздробленные.)

— И кому ж теперь корпус?

Ещё подремал насупленно Крымов, дотянул свою козью ножку, погасил:

— Да мне хотят.

И только сейчас! Не выказывая ни гордости, ни смущения, корпус так корпус.

— Вот и вызывают в штаб.

Во-от в какой момент ехал Крымов!

— А кому ж Уссурийскую? — Воротынцев хорошо знал этот больной отрыв офицера от своей природнённой части.

— Кому ж. Врангелю, Петру.

Врангелю? Учились в Академии вместе. Стремительный ум, высоченный рост. Не остался служить по генштабу — сразу в строй.

Евстафий с буфетной девкой накинули скатерть, доставили честный малороссийский, навороченный овощами и заправленный салом борщ. Крымов с Воротынцевым сняли фуражки, пересели есть. Выпили по рюмке, сундучного.

У Крымова — поредели волосы. Всё та же крутая голова, крутое лицо, выражение грозное. А выдаётся чем-то, что покачнулась прежняя сила.

У Воротынцева болело теперь не только сегодняшнее, но отзывалось в прошлогоднем осеннем. И не удержался спросить: а как же тогда с Гучковым? чем у них кончилось?

Да, зимой в Петрограде разговаривал Крымов и с Гучковым отдельно, и с ними со всеми, у Родзянки на квартире. Так уже и выговаривали вслух — «переворот», но Родзянко запретил: я присягал, не в моём доме! А думцы вкруговую все решали: губит царь Россию, щадить его нечего.

И по открытой речи Крымова — теперь явно увидел Воротынцев, до чего ж он сам повернулся с той осени.

— И я, Алексан Михалыч, почти ведь так думал…

Крымов-то и был фигура для такого дела, да! Какой же генерал решится дивизию самовольно снять с фронта, и хоть судите меня, а были бы кони кормлены! Как дивизию вывел из войны, так мог бы и…

Но…

— Что Гучков тогда предлагал — *не наше* это дело. Он по разгону борьбы смешал свой план с кадетским, больше для Англии.

Но уж Крымов если двинулся — его тоже легко не переостановишь:

— Обещал я ему. В конце февраля. И отпуск так приготовил. Но пока пособирался, а у них там что — уже?.. Вот те на. Так теперь Гучков сам в правительстве — чего к нему и ехать? Там уже сами справились.

Спра-вились? О, если бы.

— Алексан Михалыч! Но ведь самый разгар войны. А немец дремать не будет и времени на устройство не даст.

— А что? — урчал Крымов. — Чем их правительство хуже другого? Вот Гучков сейчас за дело возьмётся, поразгонит разную бездарь из армии… Я думаю — как раз сейчас можно многое направить…

— Если бы! Но как бы — трикрат не упущено! Там, в Петрограде, говорят, офицеров всех разоружают, а то убивают.

— Ну! Ну! — не верил. — Сам-то не был, откуда знаешь?

— В Москве офицеры рассказывали, прямо с поезда!

— Вздо-о-ор. Офицеры тут при чём? Манифестации? Два дня попоцелуются, разойдутся, начнётся работа. Ерунда-а.

Да, тут можно крепко сидеть, на железнодорожном диване. И действительно, кто ни глазом *этого* ещё не видел — как можно поверить?

Да Воротынцев и сам главного не видел. Но вспоминая свой кривой шат, брод по Москве, по Киеву:

— Там — ни на что не похожее, имей в виду. И все воинские команды перестают действовать, как если б у тебя руки отмякли. Сейчас вся сила наша осталась — только Действующая армия, здесь. Конечно, если армия повернётся и только дунет — безпорядка этого как нет. Но отречение, и Михаил — лишают нас… Мы тоже стали как будто никто. Не законней этого правительства.

— Ерунда-а, — побуркивал Крымов. — Осво-оится и это правительство. Не в один день.

— Ты бы видел! Ты бы видел, как идут целые воинские части с красной простыней на поклон в их бедлам!

— Два дня побегают — уложится.

Налупился Крымов борща и пока что опять закуривал кривую.

Но чем больше разогнана крупная масса — тем трудней её остановить. Как когда-то с Карпат катились.

— Пойми! — отговаривал Воротынцев. — Если всё вот так загремит — то это хуже, чем войну бы проиграть. Вот, дай я тебе всё расскажу.

Ладно, слушала глыба дремучая.

Но ни в чём не убедился. Что Мрозовский и штаб Округа растерялся — так шляпы, г…ки, кто там и есть? А в Киеве? — так вроде и вообще ничего не произошло.

Спокойно причмокивал новый командир 3-го кавалерийского корпуса. И такая сила была в этой тяжёлой, несдвижной фигуре, что передавалось: да уж армии-то ничего не грозит! С какого пугливого глазу?..

428

Положение Гиммера в революции было настолько особое, что не позволяло ему связаться ни с какой партийной фракцией и заняться там заурядной узкой партийной работой. И положение его в Исполнительном Комитете тоже было настолько особое, что тяготила его конкретная работа в комиссиях, закатали его в иногороднюю комиссию вместе с Рафесом и Александровичем. И — в комиссию законодательных предположений.

Иногородняя — была важная комиссия, она должна была держать руку на пульсе всей России и распространить теперь локальную петроградскую революцию — на всю Россию. Нельзя было ограничиться властью в одном Петрограде и его окрестностях, приходилось брать на Исполнительный Комитет роль всероссийского центра и направлять ход дел в других городах. За сутки поступили тревожные сведения, что в некоторых городах ведут антисемитскую агитацию! Это надо было в корне сломить, посылая от петроградского Совета комиссаров.

Но при всей ясной важности такой задачи, интеллект Гиммера больше влёк его к комиссии законодательных предположений, которую он сам же и предложил. Только общим смыслом событий он должен был заниматься, только общий путь революции прокладывать. (Он это и делал — а товарищи пользовались результатами не понимая.) Каждое отдельное занятие в каждой отдельной комиссии, каким бы срочным-важным ни казалось, — была второстепенная мелочь: задачи, которые уже однажды сформулированы, названы, — не задачи, это уже техника. Истинные же задачи революции, самые крупные черты хода её — проглядываются сквозь тьму наступающего, прощупываются в пространстве будущего, — и вот предвидеть их, взять их в формулу раньше, чем они появятся на свет, — вот это и есть задача теоретика!

Остальные члены Исполкома, заключив соглашение с буржуазным правительством, успокоились, что теперь это соглашение будет действовать как бы само. Но не таков был Гиммер! Глядя на вежливое, а упрямое лицо Милюкова, выступающее твердинами то на лбу, то в подбородке, и при зорком неусыпном взгляде его, — Гиммер от самой первой подписи ему не доверял, ожидая буржуазного безсовестного подвоха. И верно! Советские депутаты, сморенные, пошли спать — а цензовые предатели в тот же час нарушили соглашение: безчестно, тайком послали Гучкова к царю — сохранить зловонное рубище презираемого деспотизма. Правильный и ловкий ход монархистов! К счастью, у них сорвалось. А ведь демократия, при внешней громкости, распылена, слаба — и вот сейчас не могла бы вступить в гражданскую войну против сплочённого монархическо-военного центра.

Но тем более осторожным, недоверчивым надо быть на каждом шагу!

Гиммер решил было для себя: продолжать систематически ходить в министерское крыло Таврического и каждым своим приходом давить на них, в каждый приход осведомляться: а как идёт выполнение обещанной программы правительства? Никем не делегированный, он сам, лично, устроит им контроль без всякой передышки!

Увы, это не состоялось: министры сняли свою штаб-квартиру из Таврического и уехали к Чернышёву мосту. И кто ж теперь должен был их проверять? Керенский? Но Керенский вёл себя безответственно и даже нечестно, он просто ни разу не доложил Исполкому, как он действует внутри правительства.

И вот теперь надо было суметь, находясь в Таврическом, — отсюда вытянуть щупальцы в их другое здание, постепенно проникнуть в самую органическую работу правительства и заложить ячейки в его недрах — чтоб они там развивались. Делать это надо двояко: во-первых, систематическим придирчивым контролем, прямо посылая своих представителей. Во-вторых — смотреть вперёд правительства и вырабатывать декретопроекты, — а потом давлением Совета понуждать к ним министров. (Для этого и придумал Гиммер комиссию законодательных предположений.)

А иначе опасность, что цензовые станут абсолютным кабинетом, ещё хуже царского правительства! Природа их — ультраимпериалистическая, их надо держать в узде. Надо заставить их про-

водить и внешнюю и внутреннюю политику не свою — но Совета! Так повести дело, чтобы наступать на имущие классы без передышки и вырывать у них всё, что можно. Революция не только не закончилась — она лишь начинается!

Так верно всё распланировал Гиммер — а всё-таки Милюков оказался и быстрей и хитрей! Не успело правительство ещё ничего нигде шагнуть — а уже послал Милюков свою радиотелеграмму «всем, всем, всем!». В субботу 4-го к исходу дня, к концу заседания Исполкома, припорхал Соколов — и принёс телеграмму, сам не понимая её значения, — и на Исполкоме никто как следует значения не придал — или устали?.. А между тем — это была возмутительнейшая фальсификация хода революции! Так изложено для Европы, будто всё загорелось из-за роспуска Думы, которую полки защищали от царской клики. Какой безсовестный оборот! — Дума носилась по волнам, как обломок крушения, — а теперь они приписывали себе ведущую роль! Волнения в войсках, родившие революцию, Милюков называл «тревожными», «угрожающих размеров», а действия левых партий — «серьёзным осложнением», каково!

От одного этого душило Гиммера бешенство. Но это были — только цветики. А ягодки — в том, что Милюков, ни с кем не согласовав (подло использовав тактичное умолчание Совета), — телеграфировал обещание дальнейшей войны («национальное сопротивление» это называлось) и сделать всё для «решительной победы». Вот как! Наша революция, понятая не как удар всякой войне (как она была на самом деле) — а как усиление её! Вместо развязки безпощадной классовой борьбы по всей Европе — залить её кровью армий! — любезный либерально-национальный переворот в пользу дарданелльской идеологии!

И ведь это передано по радио «всем, всем!» как единственный голос из России — и его услышит западный пролетариат, и как воспримет? С недоумением и отчаянием, крушение надежд на русский пролетариат!

А русский пролетариат, а Гиммер не имели своей радиостанции для опровержения! Он мог написать (и написал сейчас же, порывом) опровергательную статью в «Известия» — дал её Нахамкису. (А тот — не напечатал!)

Завился, забился Гиммер, как штопор, на месте — что делать?

Исполнительный Комитет устало, равнодушно разошёлся.

Кинулся — к Чхеидзе:

— Николай Семёнович! Но ведь этого нельзя оставить! Необходимо теперь издать обращение к европейскому пролетариату — от имени Совета! От имени русской революции! Мы обязаны обрисовать свою позицию, а то молчанием извращается и позиция Совета.

Устал и Чхеидзе, смотрел приопухшими больными глазами, счастливыми от событий:

— Ну что ж, напишите проект.

Уж знал он Гиммера: хоть и не разреши, всё равно будет писать.

429

А что ж на Дону? Сестра Маша разрывается: и с Петькой-приёмышем, она крепче всякой матери для него, — и углядеть же за хозяйством в Глазуновской, никак нельзя опустить отцовское хозяйство, тёплый угол двух братьев и двух сестёр, вот садов прикупили, построек добавили, а на все работы — пахарями, косарями, грабельщиками, пильщиками, возчиками, плотниками, и по садам, по огороду, за скотиной — всё наёмные, а вот старший из них Ергаков разбаловался, недоглядывает и недорабатывает, и врёт. Зимой работы несравнимо меньше, и всё ж: матка и три молодых лошади, вот старая кобыла должна жеребиться — надо кому-то при ней ночевать; пять коров с пятью телятами. А ещё свиньи, овцы, полтора десятка гусей, три десятка уток — эти на сестре Дуне, придурливой, детоумой, она ж и работников кормит. Зимой же и льду навозить из Медведицы; и лонешнее сено возить из лугов; и что нарублено на делянке в войсковом лесу; вот скоро налаживать топку и укрыв парников; там зайцы набегают на сады и на акацию, гложут; да со станичным атаманом сговариваться, когда кобылу вести на зимовник к кровному англичанину. Говорят, у казачек — характер американок: независимы и самонадеянны. Маша — молоток, за двух баб и за мужика, иссильно, даже изучает садоводство по Шредеру (она гимназию кончила), беззамужне предана Феде, почитает его ясней солнца, и каждый пятый день гонит ему письмо: будешь на меня сердиться за многие расходы, переплатила? а верно ли я распорядилась с тем, с тем, с тем, укажи? а вот опешила духом от болезни Петушка, и продолжать ли ему

лекарство? и привези из Питера новый термометр, этот как бы не врал. И — что с кем в самих Глазунах, как *потребилка,* рвенно учреждённая Федей, но сам-то уехал; буйными сходками начиналась — «в чём её суть состоит?», а вот за товаром некому ездить, нет в потребилке ни керосина, ни сахара, ни железа, а частник откуда-то достаёт. За потребилку — бранят станичники Фёдора. И обидно Фёдору — до горького дыму, а пока сам не поедешь, не вразумишь — ведь не поверят!

А тут — петроградское катило так, что ноги тянули на улицу, глаза нуждались смотреть и вбирать, пальцы — записывать. Хорошо, никому в эти дни не нужна была институтская библиотека: студенты Горного валили теперь то в милицию, то в патрули с Финляндским батальоном, открыли столовую для солдат, никому до занятий. Так что и Ковынёв запирал библиотеку и на целые дни уходил в город.

Не его одного неудержимо тянуло на улицы — всех! Повсюду — ярмарочная весёлость, тем ярче, чем неназначенней. Вот это и есть революционный психоз (записал): человек не может существовать отдельно, физическое стремление слиться с массой. И от одного только переталкивания, переглядывания, восклицов и общего куда-то течения кажется: уже этим и обезпечивается совершение чего-то большего. И все мы теперь заедино, и никаких партий больше не нужно!

А как сияют гимназисты на перекрестках с белыми повязками! — для них какая забава управлять движением взрослых. (И тем более в школу никого не соберёшь.) Вот мы какие — теперь и без полиции будем обходиться, новый век! «Теперь исчезнет и полицейская взятка», — услышал Фёдор Дмитриевич, и записал. Однако, как человек жизнеопытный, покрутил носом.

Ноги носили, носили по всему городу. Тяга была — везде поприсутствовать, всё увидеть и услышать. А когда слишком переполнялась память и не могла удержать всех услышанных слов — Ковынёв стыдливо заходил в какое-нибудь парадное или подворотню, или хоть просто отворачивался, стягивал перчатку из домашнего пуха и спешил записать в книжечку:

«Кучка женщин на улице спорила. Дама в пенсне и в нарядной ротонде убеждала просто одетых баб, что убивать людей на улицах не следует, что это глупые головы выпустили разбойников из тюрем. Баба рассердилась: — Глупые головы вот такое мелют. Уходи по-хорошему, пока народ твою охламону не растрепал».

«В другом месте. Оратор: — Пусть будет демократическая республика с ответственным монархом!»

Везде кучками спорили — городские пальто, и зипуны, шинели, и курсистки. Безусые юноши кричали: отправить Родзянку и Милюкова в Петропавловскую крепость как врагов народа!

Сколько за эти дни наседающей дерзости, хваткости, со стрельбой в воздух и обысками, сколько избыточного натиска, когда сопротивления никакого. Какие-то молодые штатские разъезжали на захваченных офицерских лошадях, сидели на них, как собака на заборе, видно, что никогда не сиживали раньше, но какой вид победоносный! А лошади? Голодные, грустные, измученные глаза, как будто понимают всё-всё, не только смену в седле дельного воина на озорника. Да что лошадей! — даже автомобилей жаль, сколько изгадили, испортили, бросили среди улиц.

Вспомнил, Зинуша когда-то писала: да явись вам полная свобода — вы б и не знали, как жизнь устроить.

Всё думали раньше: да когда ж массы сдвинутся?! А вот, пожалуй, и слишком сдвинулись. Не в таких красках рисовался прежде восход свободы.

И никто не находился противостоять наглоте. *Другой* стороны — вообще не было все эти дни петроградской революции, никого не нашлось ни в спорах, ни даже в робких беседах, никто не пытался высказать вслух даже сожаления о минувшем. А их много, конечно, было, ошеломлённых, но на улицах молчали, а то прятались по домам.

Нет, услышал: в 3-м кадетском корпусе сегодня утром читали перед строем царское отречение — и кадетики плакали крупными слезами. Приказал начальник: из рекреационного зала унести государев портрет — а кадеты не дали, стали у портрета с заряженными винтовками на часы. Потом начальник уговорил их мирно: под оркестр и «Боже, царя храни» отнести портрет в корпусной музей.

А в Морском корпусе, на Васильевском, была и потасовка: вошла внутрь толпа и с крупной модели парусного военного корабля стали срывать андреевские флажки, вешать красные. Гардемарины не стерпели — и с японскими винтовками выгнали толпу из здания и со двора.

Но даже детская защита вносила какое-то равновесие. Ковынёв уж нисколько не был поклонник старого строя. Однако: если старого никак не защищать, так и нового не будет.

Теперь все ждали вестей из провинции: как она? Не вздыбится на защиту царя?

К вечеру Ковынёв возвращался на квартиру измотанный и обещал себе завтра никуда не идти. Но утром невырванная раствава тянула его на улицы опять. Бродил и записывал:

« — В соседней квартире всё серебро унесли. Какие-то с повязками».

« — Обступят дом и стреляют. А ведь детишки у нас».

« — У нас нынче лестницу барыня в шляпке мела. И самое лучшее! Попили из нас крови! А теперь пускай солдатские жёны шиколату поедят».

И который же день вываливала на улицу праздная, дармоедная толпа, семячки лускать да зубоскалить, как будто ничего другого воюющей России не предстояло при свободном строе. Одно дело осталось: стояли прежние хлебные хвосты.

А Феде в этом переталкивании одно неизменное утешение: миловидные молодые женские лица. Как бы ни был занят наблюдением революционных нравов — глаз всегда выхватывал эти лица. А некоторые отпечатывались на сердце как бы навечно. Такое свойство было у Феди.

И каждая встромлялась ласковой занозой и занывала на миг. И тем дороже была ему каждая такая заноза, что ведь вот подкатывала ему пора как бы не стреножить своё сорокасемилетнее холостячество.

А видно, пора жениться, когда же? Вот приедет Зинуша на Дон.

Сегодня, в субботу, на улицы, переметенные ночной мятелью, впервые выехали извозчики — и от этого стала возвращаться городу первая обычность. Крупные газеты всё ещё не выходили, но газетчики бегали с бюллетенями и, тряся ими, кричали:

— Как царь Никола
Свалился с престола!

И работа по уничтожению гербов теперь разлилась по всему городу. Где можно было сбить — сбивали, а на вывесках — замазывали краской или заклеивали бумагой. И «поставщик Двора Его Величества» везде замазывали. Местами жгли целые вывески. На Виндавском вокзале замотали тряпками и бюст Николая I.

На Невский вытаскивали продавать заплесневелое в подвалах. Выкрикивали:

— Запрещённые книги! Луи Блан! Энгельс! Лафарг! Программы революционных партий!

Заходил в редакцию «Русских записок». Там передали: Пешехонов настаивал, чтобы Фёдор Дмитрич написал об этих днях яркий революционный очерк.

Да он и сам собирался. Но как сложится: тут надо осторожно писать, косвенно, всего прямо не скажешь.

Чего сам не видел — записывал со слов. Встретил знакомого казака — тот пожаловался: рядом с их казармой — автомобильная рота. Каждое утро слушали те через забор молитву казачьей сотни — никак не отзывались. А сегодня опосля молитвы стали в ладоши хлопать казакам и благодарить за прослушанный концерт. Насупились казаки, никто не ответил.

Шёл Ковынёв дальше — и о казачьей доле размышлял. Ведь что-то теперь и на Дону изменится, а — что? К лучшему, а — как разыграется? Ах, скорей до Пасхи дожить — да на Дон!

К вечеру натягивало мороз, ясность. Зазвонили колокола ко всенощной.

Заныло чем-то от детских лет.

Но не любил Фёдор попов.

430

Это тихое внутреннее отодвигало Веру от её окружения.

Да она-то ходила в церковь нечасто, может быть в месяц раз. А как бы настойчиво ни собиралась на молитве одна — не поднималась в то устремлённое плавание, создаваемое хором или даже только слитным стоянием сотен. Во время церковной службы как будто достраивалась защитная оболочка вокруг тебя — и хранила потом на всех путях, пока не рассеивалась.

А сегодня была как раз из любимых годовых служб — вынос креста. Вера-то хаживала в разные церкви, няня же только в Симеоновскую, их приходскую, не любила она церкви менять, а тут и идти-то квартальчик по Караванной, мостом через Фонтанку — и уже сразу налево синий куполок и шпиль. Няня шла всегда прежде службы, занять своё постоянное место у левого столпа, у иконы «Сошествие во ад», — и страдала, если оно оказывалось заня-

тым. Она любила предслужебный простор в церкви, поздороваться со знакомыми и самой обойти все любимые иконы, приложиться и поставить свечки, не через плечи передавая. Так и сегодня она ушла раньше, Вера после библиотеки уже внагон ей.

Вошла — уже тесно: служба к выносу креста никогда не малолюдна. Но проход нашёлся, поставила две свечи в двух подсвечниках и пробралась ближе к няне, не вплотную. Есть своя добрая магия в постановке свечи: переим огонька от другого воскового тела, от другой неизвестной руки и души и потом нежное оплавление свечьей ножки, тоже от помощи дружественного огня, и утверждение свечи в её отдельной чашечке — начало её короткой жизни, столько раз поэтически сравнённой с человеческой жизнью, и сравненье это глубоко. Ты поставила свечу, отошла, но безтелесные нити между тобою и ею остались: она в убыстрённом и пламенном виде отдаёт Небу свою (и твою) жизнь, свою и твою молитву, — и в чём-то провидит и предсказывает твою, пусть ещё не короткую, судьбу. И Вера любила, если оставалась близко, ещё послеживать глазами за своею свечой, не утерять её в десятке похожих тесных — и вздыхала, когда, отгоревшую, её гасили с тонкожалобным сизым дымком.

Вера вошла после начального каждения, когда благоухало и ладанными клубами ещё воспарялось всё храмовое пространство. В подвоскресную службу меняются чёрные ризы Поста на цветные — и вот они были красные сегодня тут. Конечно, не те алые, дерзкие цвета, испестрившие городскую суету, но благородно-бордовые, а всё же красные… Как будто вторглось и сюда.

Но и плыло — «Благослови, душе моя, Господа» в кадильных струях, и внешний мир отодвигался и мельчал. То, что пелось тут, было только малым отрывком величественного псалма, сотрясшего Державина, — только о велелепоте, в какую облекся Господь, и о водах, как пройдут они посреди гор, и это уже была панорама от вершин к ущельям, а сколько ещё сверх оставалось во псалме: и как шествует Господь на крыльях ветра, коснётся гор — и они дымятся; и как не поколеблется Земля во веки и веки; и как поит Господь полевых зверей, произращает траву для скота и пищу для человека; и сотворил Луну для указания времени и Солнце, знающее свой закат; и как мятётся всё живое, когда Он сокроет лицо своё, и как умирает живое, когда Он отнимет дух.

Слава Ти, Господи, сотворившему вся.

Между тем, предводимый дьяконом с толстой свечою, священник обошёл храм вдоль стен, в отступ молящихся окадивши все главные иконы, и ещё с амвона веерообразно кадилом, — закрыл врата в светящийся рай, отрезав нас на этой земле, с чем есть мы сами.

Но, однако, какая твёрдость нам сообщена: Земля — не поколеблется вовек, молитесь отдатно и уверенно. И воспламеняются революции, и гаснут революции — а мир Творца стоит.

Густым дьяконским басом, как бы и не дающим себе всей силы, потекла мирная ектенья с привычными возгласами, ритмично отзываясь утешительными «Господи, помилуй», — о свышнем мире, и мире всего мира, и о Синоде, а дальше, как тысячи-тысячи привычных раз, никого бы не удивляя, должно было потечь «О благочестивейшем, Самодержавнейшем, Великом Государе нашем» и о супруге, о матери его, наследнике и всём царствующем доме, — отданные богослужению не ожидали тут какой спотычки, но кто-то успел подумать за этот день, оборотливый Святейший Синод дал поспешную команду (ну да не более же поспешную, чем отрекался сам царь)? — и вот уже гудел дьяконский бас:

— О велицей богохранимой державе Российстей и благочестивом и благоверном Временном правительстве ея.

Вера как увидела сразу усмешки своих друзей и знакомых, и ей стало стыдно, ибо не нашлась бы возразить. Конечно, раз царя больше нет, его должны были прекратить омаливать — но может быть не с такой поспешностью? В этой «благочестивости», так нескладно приложенной к Временному правительству, где все и креститься забыли, была комическая услужливость. Отодвинутый, умельчённый внешний мир протянул руку и сюда.

Но Вера не столько сама испытала толчок, сколько отдалось ей за няню: а няня?? Покосилась на неё через несколько плечей — а та тоже повернула голову к Вере, как никогда не крутилась с тех пор, что Вера выросла из ребёнка, — и гневное изумление было на нянином сухом лице.

И по всей церковной толпе прошло движение, огляды, перешёпты.

…Няня шла в церковь — исцелиться от гнева этих дней. Перед самым домом их, через площадь, в Михайловском манеже, согнаты были, как скот, наарестованные люди, говорили — уже с тысячу там заперто. И к церкви-то шла — мимо цирка, а туда вотеснялась толпа на сходку, и на всех наляпано красное лоскутьё,

а сходка там кажный день по два-три раза, вот и во время всенощной, небось в церковь не пойдут. А в церковь вошла — стоят солдатиков несколько, а гляди — с красными лоскутами. Подошла к ним и сразу: «Да вы что, лешебойники, в уме? куды пришли? а ну, посымайте!» Двое — сняли, а другие двое потоптались — ушли. Пошла прикладываться к иконам — под иконой Преображения ещё какая-то неряха подколола большой красный шёлковый бант. Тут же няня неколебно его сняла, понесла в мусорницу, потом подумала — отдала к свечному ящику. Укрепилась на своём месте, народ собрался, звонить кончили, раскрыли царские врата, закадил батюшка вокруг престола, служба началась — и чаяла няня теперь просветлеть после этих дней окаянных. И тут — пристигло её на ектенье. Она — как ахнула, только немо. Она — верить такому не могла. Там в городе пусть чертобучатся как хотят — но как же это т у т подменили? что ж, нас и в храме хотят облиховать? да куда ж душе деться, не из храма же вон? Что это, и церковь отпала? Теперь и церковь будет ненастоящая?.. Да царь же — живой, как могут за него не молиться?.. Может дальше передвинули? Нет, дьякон читал: «О пособити и покорите под нозе их всякого врага и супостата». Так под кого ж покорить — под этих же супостатов?..

Уж так сбило, смешало всё! — но служба текла своим чередом, вот пели «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых» — это стояло! к нечестивым не пойдём, и аллилуйя раскатывалось. А там — «Да исправится молитва моя», — няня успокаивалась.

«Ибо утверди вселенную, яже не подвижится…» Не подвижется и от ваших бунтов.

Но дыханье затаила на сугубой ектенье: да хоть теперь-то! Нет, пропустили Государя опять, вместо него опять — благоверное правительство.

Ну, знать не нашему уму… А вся служба — та же, неизменная. Куды нам деться? Сами втихую молиться будем.

А — Егорию каково? за него помолиться.

…А Вера думала: да по-настоящему нет противоречия между тем, что в городе и что в храме: ищут братства и там и здесь, только разная форма выражения, разный уровень понимания и разный успех. Здесь — уже достигнуто, а там — ещё долгий путаный путь.

Умягчала, умягчала несравненная вечерняя молитва: «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам…»

Слышала «Господи, помилуй» — чуть подпевала свозь губы — два самых ёмких молитвенных слова, что́ только не помещается в них. Вступало: «о всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленней», — молилась тут за брата Георгия, да не только тут, а во всякой молитве, и утром, и вечером, — и за угрожаемую жизнь его, и за смятенную его душу.

Но и, с отчаянием же, — о себе. И — о *нём*. Чтобы решилось это мучительство как-то же, чтобы решилось, как укажет Господь, и если можно, то откроет путь, а если нельзя, то завалит зримо.

«Господи! пред Тобою все желанья мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя».

И если нельзя — то отринь до конца, что нельзя, а если можно, то вразуми — что можно.

Она не смела ничего просить прямо, ибо путь и был загорожен явно. Но душа не хотела перестать надеяться.

Между тем померкли лампы, вечерня переходила в утреню.

А священник в чёрной рясе перед закрытыми вратами, с головой и плечами сокрушёнными, читал свои тайные молитвы за всех.

И снова потекла мирная ектенья — и нанесла тот же немирный удар по ошеломлённой няне и, наверно, по многим тут.

Но задумчиво-повторительно успокаивал хор: «Благословен грядый во имя Господне!» — как отбирая всех здешних от разочарований этого мира.

Зажглись ярко лампы — и грянул тропарь сегодняшнего праздника «Спаси, Господи, люди Твоя». Оказался и хор уже переучен, и теперь, не без сбива от непривычки, замявшись, вывел — не «победы благоверному императору нашему», а — «победы богохранимой державе Российстей и христолюбивому воинству ея на сопротивныя даруя».

Для няни это должно быть всё же приимчивей: и держава Российская, и христолюбивое воинство. И никакого временного правительства.

Торжественно выносили огромное Евангелие в драгоценном окладе, с посверкиванием камней. И мощным голосом дьякона:

«…Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых…»

Ещё не знали…

Но мир храма торжествовал над внешним. Ничто не могло протянуть лапы остановить этот воспаряющий праздник в накалившемся запахе горячего воска, где вперёд искупалось и всё дурное, что могло случиться во внешнем мире.

А в распахнувшихся царских вратах священник неповторимым древним жестом, приветствуя первый утренний луч, косо раскинул вздетые руки:

— Слава Тебе, показавшему нам Свет.

Подходил высший момент сегодняшней службы: протяжное «Святый Боже, Святый крепкий», и все уже знали, хотя и не всем было видно через раскрытые врата, что священник вознимает с престола большой крест, увитый цветами, и, больший чем голова его, возлагает к себе на голову.

А вот и вышел с ним на амвон, предшествуемый двумя отроками с большими толстыми свечами и дьяконским каждением. Вот бережно спускался по ступенькам и под хор «Спаси, Господи, люди Твоя» двинулся к центру храма и там уложил крест в цветах на аналое. Окадил его, обходя. Земным поклоном пал перед ним на ковёр. За ним второй священник. За ним дьякон.

И вдруг, за хором, чутко, все в храме уже уверенно знающие и каким-то дивом не вырываясь, не отставая, не украшая тех лучших голосов, но подпирая их мощью, взняли полнозвучное, взмывающей земной силой не похожее на всё тонкое и прекрасное, что пелось до сих пор:

— Кресту-у-у Твоему-у-у по-кло-ня-ем-ся, Влады-ыко-о!

Это была — как волна, покрывающая всех тут и до того цельная, что как будто она и перенесла Крест по воздуху, не роняя, — на аналой посреди храма.

Нет, не волна, а соединяющая сила, которую действительно ничто на Земле не может сломить.

— Кресту-у-у Твоему-у-у по-кло-ня-ем-ся, Влады-ыко-о!

И падал весь храм в едином земном поклоне — и снова вставал. И снова победно —

— Кресту-у-у-…

Потом хор пел один — «Животворящему древу поклонимся» — а в толпе возникла толчея, но братственная, взаимоуступчивая, толчея до тех пор, пока она выливалась в струйку к аналою, где покинут был простор для падения ниц и затем целовать большое серебряное распятие в круге неколющих цветов.

Твоим Крестом разрушится смерти держава.

431

Если во всей Государственной Думе был Родичеву соперник по красноречию, то только один Василий Маклаков. Но Маклаков брал тоном как бы доверительной беседы, со множеством аргументов (не пренебрегая и противоположными), мягкостью (деланой или истинной), даже красотою глаз и внезапной улыбкой серьёзности, — все приёмы, рассчитанные на аудиторию избранную и не слишком большую. Речи Родичева были — скок рьяного иронического интеллекта, который в начале и сам не знал, куда его донесёт (как нанесло на дуэль со Столыпиным), лишь по пути незадуманно находил в себе силу и пищу. К речам он никогда не готовился, и даже лучшие его были — которых он не успевал обдумать, но движим был силой чувства, а если тема не увлекала его страстно, то речь и не получалась. В его речах никогда не терялась насмешливость ума и нередко рождались летучие афоризмы, сохранявшие потом свою отдельную жизнь. Всё это тоже имело особый успех в аудитории возвышенной, но напор, убеждённость, яркость, громкость были так сильны, что не только в Думе и не только перед интеллигентами, перед земцами, — но в любой аудитории Родичев не мог не иметь успеха, и кадеты считали его своим единственным массовым оратором. Пока он говорил — он держал всех слушателей под властью своего слова.

Правда, главный день революции — 27 февраля, застал Родичева в Москве, где назначена была у нотариуса продажа его лесного участка, приносившего ему больше безпокойств, чем дохода, — как, впрочем, и другое его имущество. Пока он возвратился в Петроград — уже протопали через Таврический главные солдатские колонны, и так не досталось Родичеву произносить речей ни с крыльца, ни в Екатерининском зале. А между тем он рвался их произносить. И когда вчера услышалось о тревожном положении в Гельсингфорсе, тут сразу его коллеги решили, что на успокоение надо ехать Фёдору Измаиловичу: и потому, что там придётся речи произносить перед большими толпами, и потому особенно, что Родичев был известен своею приверженностью финляндской независимости, знал суть финляндского вопроса и имел там много друзей. (Как, впрочем, он ещё тесней был связан с независимостью польской; говорили, что он любит и защищает Польшу больше, чем сами поляки.) Итак, 3-го вечером его быстро, даже без особо-

го заседания правительства, назначили министром Финляндии — и он поспешил на Финляндский вокзал, откуда ночью должен был пойти первый после революции поезд.

Но поскольку существовал ещё и Совет рабочих депутатов, то не доверено было Родичеву одному представлять Петроград, а ехал с ним вместе пошловатый Скобелев из богатой бакинской молоканской семьи, а со Скобелевым — и ещё матрос с георгиевским крестом, и ещё, в солдатской шинели, фельдшер. (В долгие годы ожидания будущей революции — вот не думал бы Родичев оказаться в такой компании, представляющей всю Россию. Но спасительная ирония никогда не давала Фёдору Измаиловичу слишком унывать.)

Родичеву было уже 62 года, а Скобелев — вдвое моложе, но старался держаться важно (скрывая свою неодарённость) и важно задавал вопросы:

— Господин министр! А каковы ваши полномочия? Мы требовали от правительства, чтобы ваши полномочия были — арестовывать офицеров, если это понадобится.

Такие полномочия мог себе Родичев предоставить, но брезгливо. Он ехал — успокаивать и убеждать.

Поезд оказался готов не сразу, ещё готовили его среди ночи, ещё пришлось полежать на голых диванах у начальника вокзала, не очень уже по костям и возрасту Родичева.

А в вагоне досталось ещё хуже: никак не натапливалось, всю дорогу. И в купе уже даже не лежать, а сидеть пришлось, в шубе. Не лучшим образом готовился Родичев к завтрашней роли.

Само по себе взволнованное море людей его не пугало — он жаждал увидеть эти тысячи голов и громко, и звучно, и ярко переубедить их! Что первые неустоявшиеся дни революции колебнулись к анархии — он считал естественным. А теперь задача честного оратора — помочь этим людям отрезветь от хмеля, помочь утвердиться их исконному тяготению к труду и порядку. Адмирал Непенин как человек военный, хотя и развитой, — какой-то общественно-революционной широты охватить не мог, но вот и поможет ему Родичев со своим безотказным умением убеждать. Ни в коем случае не становиться на потворство низким инстинктам толпы — и для показа, для демагогии никого не дать арестовывать!

Родичев был слишком давним и слишком заслуженным деятелем русского Освободительного движения, чтобы разрешить принизить его в великие дни революции. Это он был автором той пе-

тиции тверского земства о конституции в 1894 году, на которой споткнулся тогда царь-новичок. Ещё в конце прошлого века Родичеву за то перегородили быть председателем губернской земской управы. В первый год этого века его выслали из Петербурга за протест против разгона студенческой демонстрации. Годом позже едва не стал он редактором «Освобождения». И потом — четыре Государственных Думы и сколько речей, — можно сказать, ни один важный вопрос русской жизни за 20 лет не обошёлся без суждения Родичева и выступления его (а ярче всего, незабываемей всего он говорил речи против смертной казни). И справедливо, что и сейчас он призван разъяснить разбуженному народному сфинксу истинный светлый смысл происходящего движения.

Да и перед военными он мог распрямиться ещё молодцом, вспоминая, как и сам, после университета, 40 лет назад, воевал в Сербии волонтёром против турок.

А нанести визит в гельсингфорсский магистрат, а произнести историческую речь перед финским сеймом — и никто не сможет лучше него.

Уже рассвело, когда, в шубе и шапке, углубясь в угол купе, стал Родичев дремать.

А уже — знали по линии о поезде депутатов. И с какой-то утренней станции на всех остановках их стали встречать, иногда с музыкой, — и приветствовали как вестников свободы. Выходили с ответами, а спутники Скобелева раздавали толпе возбуждающие петроградские листовки, которых изрядные кипы, оказывается, с собою везли. Получалось — как бы от лица министра. А не было власти запретить.

Так — долго тащились, и уже было изрядно за полдень, когда, за одну остановку до Гельсингфорса, вошла в вагон делегация из финской столицы — ни одного офицера, а несколько звероватых матросов и солдат. И верзила-матрос на безпокойство Скобелева о контрреволюционности части офицерства сказал:

— А которых надо арестовать — так мы уже арестовали.

— Да как же вы могли решиться? — изумился Родичев.

Матрос посмотрел отъявленно-разбойно:

— Успокойтесь, господин депутат. Вам ещё сегодня много придётся волноваться.

Ничего не объяснил, но предсказание его быстро сбылось.

На перроне Гельсингфорса встречали их офицеры — сухопутные (без шашек), морские (без кортиков), и гражданские власти,

но во главе военных оказался не вице-адмирал Непенин, а вице-адмирал Максимов со скрытным, затемнённым лицом, который представился Родичеву и пригласил его сразу на вокзальную площадь, где выстроены многие части гарнизона, они ждут объяснения, что происходит в Петрограде, — а потом придётся ехать по кораблям и казармам.

— А где же адмирал Непенин?

Малоинтеллигентное лицо Максимова ещё плотней закрылось, глаза отвелись:

— Адмирал Непенин — убит, час назад. Я вступил в командование вместо него. По желанию матросов.

Таким странным голосом сказал, будто сам убивал Непенина.

— Как?? — потерял Родичев пенсне, оно слетело на шнурке.

Да тысячу «как» он мог теперь спросить — никто и не брался ему отвечать, и времени уже не было. (Он так и не понял, что митинг не начинался сейчас только, а уже шёл и без них, и кричали об офицерах-буржуях, офицерах — царских приспешниках на дармовых хлебах, попили нашей кровушки, наступил наш черёд, а адмирал Максимов клялся толпе служить верой и правдой.) Уже выводили депутатов на обширную привокзальную площадь, излюбленную ещё в революцию Пятого года, где вот левая часть карре серела солдатами, правая — чернела матросами. (И кто-то из этого же карре час назад убил командующего флотом?!..) Перед одними рядами стоял красный флаг, перед другими андреевский. Уже взвели приехавших на сколоченную трибуну и уже объявили, что речь произносит депутат Государственной…

А у него в голове — как раскололось, и один глаз всё время видел чёрную пасть, а другой — серую пасть. А ещё его — как дубинкой ударили новостью по ногам, сшибли, но не упал он, а остался висеть, словно на шнурке своего пенсне, и теперь как раскачивался над толпой, всё плыло, — а надо было провозглашать речь. Провозглашать — потому что разброс толпы был, как ещё не приходилось Родичеву раскидывать голос. Из высокой раскачки он должен был говорить им — о чём же? Ничего не зная о здешнем, он не мог на него отзываться. Он мог рассказывать только о петроградском. (А ещё — нужно ли это было им?)

Однако вытянула привычка — и Родичев полил речь звонко, даже и не отдавая себя порядку слов, они складывались сами гладко. С чего в Петрограде началось. Как разбежалось изгнившее царское правительство. Как Думский Комитет был вынужден… А по-

том — об отречении царя. А потом — о царском брате, который — только от Учредительного… А ныне у власти — Временное правительство, и будет развивать свободы народа… Вы же, солдаты и матросы, соблюдайте воинский строй, дисциплину, чтобы мочь нам победить злейшего врага России. Русскому войску и русскому флоту — ура-а-а!

Нет, так банально, так бледно он не помнил когда произносил речь, — но и чёрная, и серая половины кричали со всех сторон тысячегласное «ура».

А потом стал к речи Скобелев, этот полный неумелец, и вязал что-то неразличимое в рельефе, — но и ему кричали «ура» ничуть не меньше. И — матросу сопровождающему. И фельдшеру. И настолько ненужна оказалась элоквенция, что зачем и Родичев приезжал — неизвестно.

Он — пока остаивался в молчании рядом, он хотел бы расспросить Максимова, кого-нибудь, но не место. Хотел бы разглядеть матросские лица, но так далеко не видел. А если бы видел? Народные лица бывают так расположно обманчивы. И усумнишься: правда ли час назад здесь совершилось злодейство?

Все речи произнеслись — и к трибуне со всех сторон бросились, но не для того, чтоб их растерзать, а — почётно снести на матросских руках к автомобилям с красными флагами. И автомобили тронулись в гавань.

Теперь Максимов сидел рядом с Родичевым. Так и не объяснил о Непенине, но сообщил, что на рассвете в городе разграбили арсенал, а днём убивали на улицах и на миноносцах офицеров. Говорил он как-то нечисто.

Надлежало же им объезжать сегодня броненосцы, а завтра миноносцы. На броненосцах давно работы нет — и сутками идёт политическое обсуждение.

А в сухопутных полках?

Максимов уклонился ответить.

Довольно изрядный был морозец, автомобиль открытый. На палубах выстраивали матросов вкруг. И всякий раз первый оратор был Родичев. Но он стал уже в себя приходить. Адмирала Непенина не было, однако флот — был, Россия — была, и надо спасать и его и её перед лицом Германии. И снова возвращалась к Родичеву его ораторская свобода, горячая уверенность: не могли благородные чистые слова не подействовать на тёмно-взволнованную массу, не освободить её от злых чувств, не помочь

растерянному младшему брату вытянуть ноги из анархической блажи.

И Родичев разошёлся, от корабля к кораблю говорил всё лучше, всё подъёмистей.

На всех палубах выстраивались команды, при малом числе офицеров или вовсе без них, и когда стояли офицеры — Родичев следил за их более понятливыми лицами и внятнее видел воздействие своей речи. Да он — о них первых и стал говорить теперь на каждом броненосце: что убивать офицеров — значит действовать на радость германцам, что флот не может воевать без офицеров, а без флота не может воевать Россия — и тогда её растопчет безжалостный враг. Итак, любя Россию и спасая её… Даже если есть отдельные офицеры — сторонники царской власти, то они же не сторонники немцев! А бывали и противники царя раньше в армии — но воевали со всеми заодно, как русские. А здесь кругом — финны, все смотрят на вас — и по вас будут судить обо всём русском народе! Да союзники отвернутся от России, если… Какой позор!

«Ура» кричали замечательно, и восхищены были лица немногочисленных офицеров — и бодрость, уверенность оратора-победителя возвращались к Родичеву.

И так всё непрерывно, с броненосца под красным флагом на берег и с берега снова на броненосец, весь занятый своими речами, Родичев никак не успевал ни поговорить с офицерами кораблей (а те не подступали к депутатам сами), ни даже со спутниками. Уже и света убавлялось, а что же произошло за этот самый день — он только по случайно донесшимся фразам, по обмолвкам, по проговорам что-то узнавал. (Максимов был всё время рядом, но не помогал понять.)

Что пока они ездят здесь — а в пехотных полках стреляют и режут офицеров.

Что убили командира миноносца «Меткий».

Лишь на флагманском малом «Кречете» депутаты зашли в кают-компанию, и здесь офицеры непенинского штаба взбудораженно рассказывали им, что убито офицеров пятьдесят-шестьдесят. Что сегодня утром и их всех тут арестовали и повели во главе с Непениным через Свеаборг, но всех офицеров матросы постепенно оттёрли, а Непенина…

Максимов мешал выслушать до конца, говорил, что ещё куда-то ехать.

И тут же на трапе столкнулись, как матросы уводили с «Кречета» арестованного старшего лейтенанта Будкевича. Родичев как встряхнулся от максимовской опеки, силы его воспряли воинственно, и он потребовал: за что арестовали? Отвечали ему, что на «Кречете» сами никто не знают, но с «Петропавловска» второй день сигналят приказание арестовать его, иначе будут бомбардировать «Кречет».

А шли теперь депутаты — в Морское собрание, на сходку делегатов всех кораблей и полков. Родичев отчётливо закричал, что берёт всё на себя, — и велел вести Будкевича вместе с ними в Морское собрание.

Там сразу нашли депутатов «Петропавловска», спросили их, — никто не знал Будкевича, никто его не требовал.

Так спасли офицера.

А тем временем открылся Совет матросских и солдатских депутатов.

Максимов объявил, что, избранный экипажами, он уже получил телеграфное утверждение от военного министра Гучкова. Что он будет считать Исполнительный Комитет Совета прикомандированным к своему штабу, не будет принимать без него важных решений и передаст ему часть действий внутреннего распорядка.

Через «ура» и голосование приветствовали своего избранного адмирала.

Снова речь говорил Родичев — о победе над Германией, но уже и в отчаянии. Сразу же после него штатский социал-демократ говорил против империализма.

После прений решено было всем кораблям — опустить боевые знаки. (Родичев и не разбирался, что они подняты. Это значило: флот считал себя с Петроградом в войне?) И — освободить задержанных офицеров. (Однако: сколько было их? Никто не говорил.)

Тут подошли и доложили Максимову рядом, что с «Дианы» свели на берег капитана Рыбкина и лейтенанта Любимова — и убили обоих.

Родичев — зарычал на Максимова (энергии в нём откуда-то всё прибавлялось) и повлёк командующего флотом сейчас же на «Диану».

Поехали. Взошли по трапу.

Всю целиком команду построили, уже при электрических лампочках. Родичев нервно осматривал их, даже пошёл вдоль рядов —

и тут с ужасом близко увидел глаза выпученные, тусклые, непроницаемые.

Неужели — таким он и произносил все речи сегодня?..

Все стояли здесь свои, и убили свои, не чужие, — но никто не признавался. И даже клялись — что не убивали. А это всё — Исполнительный Комитет Свеаборга.

Оказалось: «Андрей Первозванный» не спустил боевого красного огня и, значит, не освобождал офицеров.

432

У каждого было своё министерство, и он там побывал, и уже переехал или переезжал в устроенную казённую квартиру или решил, когда будет туда переезжать (Шингарёв — так и вовсе не будет), — но где же было им собираться на совместные совещания? В Таврическом уже было немыслимо. И приняв предложение Львова временно заседать в зале совета министерства внутренних дел у Чернышёва моста — они навсегда покинули кров той Думы, которая выдвинула их почти всех, оставили её загрязнённые залы думским же непристроенным остаткам и набирающему численность Совету рабочих депутатов.

И куда ж это они теперь, выходит, перебрались? Да всё к тому же Протопопову? Злосчастная связь! Ещё не остыли те стулья, как он заседал тут со своими приспешниками.

Началось заседание министров в полдень — а протянулось почти до полуночи, с одним часовым перерывом в сумерки. Кое-кто из министров, Гучков, Милюков, Керенский, или не с начала приехали, или уезжали по делам, возвращались, а остальные сидели, как вкованные в эти кресла, многие совсем не представляя, с чего им начинать в своём министерстве: какую-то здесь бы получить ясность. Но, странно, привыкшие к заседаниям и знающие порядок, — они теперь кружились в неостановимой и путаной карусели, так за весь день и не поняв: есть ли у них повестка дня и чего же они хотят?

Известный кадет Набоков, друг Милюкова, взялся быть управляющим делами Временного правительства, наладить им канцелярию и так создать твёрдые рамки правительственной деятельности. Но и канцеляристы появлялись сегодня только впервые, и пер-

вый вёлся протокол, ещё приблизительный, даже не решили, как его вести: вносить ли разномнения, соотношение голосования или только итог?

Они все понимали, что надо начинать с вопросов принципиальных, крупных, и тогда разъяснится всё остальное. Но ни в одной голове, запорошенной суетою, клочностью, раздёрганностью этих дней, не прояснился ни один вопрос — даже как его сформулировать. Да они сегодня только первую ночь как выспались, а усталость ещё и не ушла.

А ведь — было что-то наверно? Ох, было.

Сидели вокруг большого стола, натягивая значительность на лица.

Да вот, кажется, был большой вопрос, куда же больше? — Учредительное Собрание!

А именно: в каком помещении будем его созывать?

Хоть и немало всяких помещений в столице, но на мысль сразу приходил Зимний дворец.

Зимний дворец и сам по себе был большая проблема — что теперь с ним делать? Объявить национальной собственностью — это конечно. Да что там вообще есть? Его изнутри никто не знал и не видел, были как-то раз депутаты ещё Первой Думы в тронном зале на встрече с царём.

— Я, я! — гимназически-радостно выскочил Керенский. — Я осмотрю дворец и вам доложу.

Ну что ж, хорошо. Так сразу решился один крупный вопрос.

А второй крупный вопрос прояснялся: надо же как-то обратиться ко всей стране? До сих пор выступали в Екатерининском зале, с крыльца Таврического, послали на Запад радиотелеграмму «всем, всем, всем», — но надо же и России представиться: какие же события произошли в Петрограде, как возникло новое правительство и какова его программа? (Кроме тех восьми пунктов, какие вынудил Совет.) Да уже доступали к премьер-министру и к министрам делегации офицеров, что необходимо широкое осведомление масс; что и солдаты, и народ уже начинают прислушиваться на улицах к обвинениям от ораторов, что Временное правительство — изменники, желают предать народ старой власти, противодействуют республиканскому строю! Временное правительство должно срочно и в миллионах экземпляров рассеять эти обвинения, иначе офицерам становится невозможно ему служить.

Однако писать большое обращение — не так легко. За столом вдесятером его не напишешь. Надо кому-то одному поручить.

Милюков — уже написал радиотелеграмму. Обременённому Гучкову — даже и предложить неудобно. Тем более — министру-председателю. А Керенский — слишком в движении, он входит-выходит нетерпеливо, ему надо успеть во много мест, да и чего он совсем не умеет — это писать, уже заметили, только — говорить. Очень бы пристало поручить писать воззвание министру просвещения, всеми уважаемому Александру Аполлоновичу, несомненному светиле. Когда свирепым реакционером Кассо был Мануйлов отрешён от ректорства в Московском университете — за ним повалила в отставку вся либеральная профессура, считая невозможным работать не при нём, а сам Мануйлов был тотчас приглашён в «Русские ведомости». Но с годами заметили между своими с огорчением, что как-то не просиял он в «Ведомостях», и даже оказался натурой не боевой, и это особенно сказалось в нынешние боевые дни. Кому ж ещё писать, кто ж ещё лучшее перо? А вот сидел тускло, сжато, и почему-то отказывался, — да кажется, он занят был теперь увольнением всех тех профессоров, пришедших при Кассо.

И вот по принципу исключения оставалось… Очаровательно улыбался добрейший министр-председатель: не поручим ли писать воззвание Николаю Виссарионовичу?

Лишь бы было имя названо (и не моё), всем понравилось. Некрасов ещё подхмурился, но и важно. Писать, сочинять — тоже и не его труд, но сразу решил: возглавить, а посадить за это дело кого-нибудь другого.

Принято.

Гучков сидел мрачный, подперев голову локтями о стол. Надо было бы говорить о «приказе № 1». О наглости Совета депутатов. Что так не может работать ни военный министр, ни всё правительство. Но Гучков ещё и сам не разобрался во всех обстоятельствах и фигурах, ещё не испробовал и всех своих возможных сил. Что нагружать на этих безпомощных штатских? Сделать они всё равно ничего не могут.

Изо всех его размышлений и проектов этих суток только один можно было выразить ясно, зато в духе революции и всем приятное: при производстве нижних чинов в офицеры — отменить национальные, вероисповедные и политические ограничения. То есть: открыть дорогу в юнкерские училища и в офицерство — евреям.

— Да, да! — оживился, приободрился и министр просвещения. — Так же немедленно отменить и процентную норму для евреев в учебные заведения! И восстановить право на продолжение образования уволенным по политической неблагонадёжности.

Одобрили единодушно.

А других крупных вопросов — никто сразу не усматривал.

Вот у Керенского (он торопится) несколько вопросов по юстиции. Во-первых (он предлагает устно, нет времени разработать документ, это потом): надо учредить Высший Суд для высших должностных лиц.

Хорошо, учредить. Поручить разработать.

И — кого именно назначить ему в товарищи. (Ускакал.)

И вниманьем заседания поспешил завладеть Терещенко. (Он уже сообразил свой выход: всё, чего он не понимал, надо было спрашивать у соединённого правительства. И если что окажется не так — так они и отвечают, не он.) Сперва он подбодрил своих коллег: создание правительства народного доверия уже отозвалось самым благоприятным образом на кредитоспособности России. Не только Англия и Америка, так неохотно дававшие деньги царю и так обрадованные теперь нашим демократическим строем, но и японский денежный рынок теперь открывается нашим государственным займам!

Великолепно.

Для этого надо подтвердить, что наше Временное правительство ненарушимо отвечает по всем денежным обязательствам прежнего? Да, придётся.

А пока… Надо бы увеличить Государственному банку право выпуска кредитных билетов, ну… на 2 миллиарда рублей? По тексту отречения Михаила Временное правительство имеет такую полноту власти. Ну что ж. Записали. Одновременно — экономия: прекратить отпуск кредитов на какие-либо секретные расходы. О, никаких секретных расходов, конечно! отныне всё будет открыто. Потом: нельзя ли сократить расходы из военного фонда? Гм, гм… (Гучкова нет, ушёл.) Это — совместно рассмотреть министру финансов и военному. Субсидии жертвам войны? Пока, неделю, продолжить как идут, а там обсудим. А все назначенные при старом режиме государственные пенсии? Господа, пока придётся сохранить, мы не можем так круто… Они всю жизнь тянули бюрократическую лямку, обременены семьями. А ведь многих придётся сме-

стить с должностей, — но значит, надо платить им пенсии? Не оставить же их, как раков на мели.

А что делать с Государственным Советом? Ему теперь делать нечего. Но и там есть достойные члены — и почему ж от революции они должны лишиться содержания или пенсии?

И хотелось бы, очевидно, — выплачивать добавочное вознаграждение всем служащим правительственных учреждений. Ведь такое сложное время… Принято.

Но тогда приобретает значение и нормальное поступление налогов, пошлин, податей. В такое бурное время могут перестать платить. Не составить ли обращение к населению об уплате налогов?

Нет-нет, подождём… Это — неприятное обращение, может подорвать авторитет нашего правительства на самом первом шагу.

А вот: передать в министерство финансов собственность Кабинета Его Величества…

Да, господа! А кому ж передадим всё имущество министерства Двора? И заведывание дворцами? И управление Уделов?

Назначить специального комиссара Временного правительства.

Господа, господа! Комиссаров нам ещё очень много нужно назначить, и в самые разные места: а — в Управление государственного коннозаводства? А — по ведомству Человеколюбивого общества и учреждений императрицы Марии?

И надо же утвердить всех прежних комиссаров, назначенных ещё Думским Комитетом, если ещё находятся на тех постах.

А сидит среди министров, как равный им, но рядом с князем Львовым, серый безцветный Щепкин, управляющий министерством внутренних дел, поскольку сам князь Георгий Евгеньич, при его загруженности и ответственности… Так вот, подсовывает он ведомость князю, и князь (он же председатель Земского союза) ласково объявляет, что надо утвердить текущие расходы Земсоюза, ну, тут 175 миллионов рублей…

Возражений нет.

А что делать с Главным Управлением по печати? Упразднить! Никакой цензуры никогда больше не может быть в России! Оставить, может быть, бюро иностранных вырезок.

А что делать с Главным Комитетом по охране железных дорог? Ну, разумеется, упразднить.

И — кто что вспоминает. Надо уволить военно-санитарного инспектора. Хорошо, да состоится такое постановление. Надо отменить, просил Родичев, уезжая, общеимператорское законода-

тельство по Финляндии. Отменили. (Ещё ни у кого ни одного письменного наброска, все запросы сперва принимаются, а потом поручается разработать проекты.)

Спешит с предложениями и Некрасов, догадываясь, что нельзя упустить случая: он подготовит увеличение содержания всем работникам железнодорожного транспорта. Да, они заслужили.

Шингарёв почти не участвует, обременённый своими мыслями, и смотрит свои бумаги. И вот что он видит и что предлагает: хотя министр земледелия в узком смысле не должен заниматься продовольствованием Империи, — но сейчас, пока нет отдельного министерства продовольствия, некому больше этого поручить, как ему же. И он — берёт. Что ж, все согласны.

А ещё он предлагает: прекратить безумное разорение немецкого землевладения, лучших культурных хозяйств. Остановить выселение немцев.

А не будет это выглядеть непатриотическим актом?..

Это — только выводы пересказать просто, но сколько же здесь сомнений, опасений и побочных соображений! Ушло пять, ушло семь, ушло девять часов заседания первого свободного общественного кабинета.

А нет ли ещё проблем и по министерству внутренних дел? Милейший, уступчивый, ясноглазый князь Георгий Евгеньич понимает, что некоторые — есть и, пожалуй, надо будет их тоже коснуться. Вот Охранное отделение? Ну, это само собою упразднилось в первые дни. Отдельный корпус жандармов? Безусловно, упраздняем это пятно, постановляем сейчас же. Железнодорожную полицию? Ну, поскольку они все входят формально в жандармерию — упраздняем и её. (Отлично можно будет послать их всех в армию.)

Ещё оставалась такая деталь: а — в провинции? О, очевидно, мы единым решением упраздняем полицию по всей стране. Как и всегда требовала Дума, их можно всех послать в армию.

Но тогда — и градоначальников упразднить повсюду?

Да, разумеется, и их.

И губернаторов. И вице-губернаторов.

Да, да! Всех сразу, по всей России, отрешить циркулярно единой телеграммой.

Кто-то пискнул: а имеем ли мы такое право, полномочны ли мы?

А нашим полномочиям — нет границ, до Учредительного Собрания.

А есть ли у министерства внутренних дел подготовленные кандидаты для управления каждой губернией?

Нет, таких кандидатов нет. Но и недемократично было бы назначать их сверху или готовить заранее. Для простоты: пока назначить всех председателей земских управ — по восьмидесяти земским губерниям, по восьмистам уездам — комиссарами Временного правительства, вот и весь выход!

Итак, решено: губернаторов, градоначальников и всю полицию — отстраняем. И это вполне согласуется с нашей демократической программой. Прежняя полиция совершенно невыносима! А кому очень нужно — ну, пусть на месте создаёт народную милицию.

— Да господа! — лучезарно улыбался князь Львов. — Зачем вообще нам какая-нибудь полиция? Зачем вообще в свободном государстве — полиция? Неужели сознательный народ нуждается в ней?

Как учил Лев Толстой: вся беда — от власти. Не надо никакой власти.

Никто не возразил.

Ну, а оставшийся административный механизм — можно, в пределах терпимого, и сохранить. Для поддержания всё-таки нормального хода жизни в стране.

Князь Львов если и испытывал некоторую неловкость на новом месте, то утешал себя, что всякая деятельность в конце концов всегда удавалась ему. Постепенно удастся и эта. Постепенно одержит верх и благоразумие политических деятелей, и глубокая мудрость русского народа, божественное начало, живущее в его душе.

****

— АКУЛЯ, ЧТО ШЬЁШЬ НЕ ОТТУЛЯ?

— А Я, МАЧКА, ЕЩЁ ПОРОТЬ БУДУ.

****

ПЯТОЕ МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

433″

(изложение революционных событий по газетам)

…Когда политика, названная диктатурой безумия, поставила страну на край пропасти, — инстинкт народного самосохранения проложил себе дорогу.

…Старый строй, окружённый ненавистью и презрением, трусливо прятался в своих подземельях.

…Объявление Хабалова о достаточности муки в Петрограде было провокаторское: идите, мол, громите лавки, это вам торговцы не дают. Но народ понял, куда его заманивают, с презрением отнёсся к выходке Хабалова и погрома не устроил.

…Уже на второй день, 24 февраля, полиция успешно расстреливала народ, было много убитых и раненых.

…Полиция три дня не стреляла из провокации: полиции нужны были эксцессы народа — и тогда бы загрохотали приготовленные в Адмиралтействе орудия, затрещали бы пулемёты с крыш, и столица утонула бы в крови. Однако народ и войска отлично разгадали программу Протопопова и никаких не только эксцессов, но даже отдельных шероховатостей не наблюдалось.

…Первую стрельбу нарочно спровоцировало правительство — чтобы, ссылаясь на угрозу революции, потребовать от союзников согласия на сепаратный мир.

…Безумец Протопопов усеял крыши домов пулемётами… Ещё к 14 февраля крыши домов, пожарные каланчи были вооружены пулемётами… до тысячи пятисот пулемётов, которые должны были расстреливать народ.

…Стрельба первых дней была, очевидно намеренно, безрезультатной.

…Подошли стрелявшие в народ солдаты Преображенского полка, их схватили — и под шинелями преображенской формы оказались полицейские казакины.

…Конные городовые, переодетые солдатами, несколько раз бросались на толпу, но толпа была такая густая, что поделать ничего не могли — отскакивали и уезжали прочь.

…Как установлено, в первые дни революции полицейские стреляли в народ разрывными пулями… И получали 100 рублей в сутки на человека.

…26-го стреляли в народ не волынцы и литовцы, а полицейские агенты, переодетые в форму этих полков.

…Кирпичников — студент и сын профессора.

…Самокатчиков не хотели оставить в живых, но по просьбе публики они были только арестованы.

…В 2 часа ночи городовые из-за ограды Александровского сада из пулемётов расстреливали народ вдоль Невского. А чтоб их не было видно — надели белые балахоны, потом при обыске и балахоны эти нашли.

…Уж как они полицию ласкали, какие щедрые подарки сулили ей за расстрел народа! — по 800 рублей за всю работу, а потом сказал пристав: по 200 рублей в час.

…Теперь разъясняется то упорство, какое чины полиции проявили в революцию. Оказывается, Протопопов обещал каждому чину полиции по 1000 рублей пособия и ещё 100 руб. прибавки к жалованью. На эту цель он получил несколько миллионов.

…Втащили пулемёты на крыши, страшно сказать — даже на церкви.

…Всюду стояли скрытые пулемёты. На колокольне Андреевского собора привязали пулемёт к языку церковного колокола, чтобы легче было стрелять. Оскверняли святыни, глумились над православной верой.

…800 пулемётов были отняты у фронта для обстрела народа! Протопопов установил их на вышках. Там же — и запасы продовольственных продуктов. Все удобные места на крышах церквей и зданий были использованы для засады. Но благодаря ли неумению обращаться с пулемётами или невозможности стрельбы сверху вниз жертв было очень мало.

…Готовились расстрелять Петроград, разбросав по его крышам 1300 пулеметов. История этого неслыханного предательства будет, конечно, выяснена во всех подробностях.

…Больше всего жертв было около гимназии Гуревича.

…Министры, прятавшиеся в Адмиралтействе, скрылись.

…С генералом Штакельбергом расправа была короткая: он вздумал отстреливаться из револьвера, его расстреляли на набережной и выбросили в Неву.

…У императрицы нашли проект сепаратного мира с Германией.

…Только почему-то в эти дни в Таврический дворец не приходило духовенство, не благословило народ на борьбу со старым режимом. Этим поступком оно подорвало доверие народа, как бы само себя упразднило.

…Бывшие сановники, владыки, встретились в том самом павильоне, откуда с хохотом смотрели на муки исходившей кровью родины.

…Волнения в Балтийском флоте. Флот, по-видимому, ещё не отдавал себе отчёта в сущности великих событий. Команда неясно понимала, что весь офицерский состав восторженно становится на сторону народа.

А. Ф. Керенский просил матросов немедленно прекратить разгром русского флота, нужного русской демократии. Стоявший у телеграфного провода матрос-депутат объяснил, что волнения произошли по недоразумению. Число убитых и раненых чинов выясняется.

…Наша великая Февральская революция прошла тихо и безкровно, к великому нашему счастью.

434

Ничем не тревожима шла батарейная жизнь: не стреляли немцы, не стреляли мы, совсем тихо на передовой.

Позавчера из бригады просочился странный слух: что в Петрограде было кровопролитие, и убитых и раненых — 20 тысяч. Ни с чем не сообразно, совсем не поверили.

А вчера из пехоты пришло: что в Петрограде перемены в правительстве. Ну, значит, что-то, наверно, есть, узнаем. Потом Чернега принёс такой слух: что Родзянко хотел царицу заключить в

монастырь, но она укрылась в английском посольстве, а теперь уехала в Англию.

Что-то, наверно, всё-таки произошло. Саму царицу офицеры сплошь не любили: хоть бы она и не путалась с этой скотиной Распутиным, но уже то, что допустила слухам идти и разъедать русскую судьбу, — нисколько бы не жалко, если б она в Англию уехала. Но как это может быть? а где же тогда Государь? Какой-то вздор козячий.

И заснули офицеры, настолько не придав значения, что когда рано-прерано поутру сегодня подпоручика Лаженицына вызвали к командиру батареи — он и не вспомнил этого ничего, а так как на фронте стояло тихо — то и подумал, что на разнос, в чём провинился, или куда-нибудь ехать срочно.

Землянка подполковника Бойе была саженей полтораста назад от орудий, по пути к штабу бригады, в маленькой куще деревьев. Денщик постучал, доложил и исчез. Лаженицын вошёл по дощатому полу, откозырял. Землянка была откопана глубокая, по росту подполковника, и оконце порядочное, на восток. Перед самым оконцем приделан стол, на нём бумаги, и за ним же сидел подполковник в кителе, в пенсне.

Очень неживо он голову повернул к Сане, был более чем угрюм. Показал ему сесть на стул сбоку. Саня понял, что дело плохо, вид разносный. Сел.

Показал сесть, а ничего не говорил. Неопределённо смотрел, и не на Саню. Ну да ледок и всегда был в нём.

Тут Саня заметил, что бумага на столе сверху была — не обычная деловая, рукописная или машинописная, но — отпечатанный типографский листок. Однако неприлично было ему скашиваться и читать заголовок.

Подполковник тоже не начинал. Вот обернулся. Близко было совсем, без фуражки, и свет достаточный, — и вдруг увидел Саня по ту сторону пенсне не те леденоватые, полунедовольные глаза, а больно захваченные. По этим неожиданным, небывалым глазам первый раз он видел подполковника растерянным — и испытал жалость к нему, ещё не понимая ничего. Ясно, что этот вечно твёрдый человек попал в беду и, может быть, метаться бы готов, если б не привычка к сдержанности.

Но подполковник не нашёл слов. А взял листок. И переложил его к подпоручику. Сказал даже не шёпотом, почти без звука:

— Прочтите.

И Саня прочёл крупное:

ОТРЕЧЕНИЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II

Что-о-о-о?

С чего это вдруг? Ни грома, ни грохота — отречение?!..

Читал быстро про себя. Да, народные волнения… значит, верно говорили… Сочли мы долгом совести облегчить народу… Он читал, не каждую фразу схватывая… Не желая расстаться с любимым сыном нашим… заповедуем брату нашему… И — всех верных сынов отечества к повиновению царю…

Значит — Михаил.

— Переверните, — сказал Бойе.

Саня перевернул листок, а там тоже было отпечатано и такой же крупностью стояло:

ОТКАЗ ОТ ВЛАСТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Вот это да!

И почти не читая — сразу к концу: так что же? кому?

И оказывалось: Учредительному Собранию, оно и решит образ правления.

«Учредительное Собрание» — эти слова приходилось Сане слыхивать не раз — как название небесного явления, спускающегося на землю. Не по саниному направлению ума, но так и осталось в сознании — священное облако.

Неохватываемое, неожиданное — кажется, происшедшее было слишком крупно, чтобы сразу его понять. Что же, конец вообще монархии? Республика?

А Бойе — недвижно высился перед Саней, — высокий жёсткий воротник, в нём — отдельная узкая голова под скромным бобриком, на лице — старо-застывшие вскрученные усы, нисколько не помягчевшие, не опустившиеся и сегодня, — а глаза потерянные. Овлажнённые.

Сколько же он над этим уже просидел? Не так же рано утром получил? Значит, с вечера?

Саня — сам должен был первый что-то ему сказать?

Бойе — голосом неозвученным, а доверительно, как никогда с подпоручиком не снижался:

— Я боюсь, Манифест дан не добровольно.

Брови ровные, как следы, натёртые от козырька:

— Есть странности в слоге.

Чуть перекосились:

— И почему — во Пскове?

И больными глазами искал найти подтвержденье догадки:

— Может быть — заставили подписать? Может быть — Государь несвободен?

Да, правда, почему так? Что изменилось? и почему во Пскове?

И Бойе доверился:

— Если б я мог этого не оглашать — я выждал бы сутки. Может быть, всё исправится, разъяснится?

В самом деле. Так он — и держал? Может быть — и не с ночи, может быть со вчерашнего дня, выжидал, что разъяснится?

И — не он один ожидал? Может быть и в корпусе, в армии?..

Но — всё равно растечётся, неизбежно. Телефонисты — всегда всё будут знать раньше.

Бойе был переполнен.

— Вам это трудно понять, подпоручик. Наша бригада без императора не была ни одного дня. Никогда.

Саня не ухватил: почему — бригада? Ведь и Россия не была?

Но — Гренадерская артиллерийская бригада генерал-фельдмаршала графа Брюса!

— В Девятьсот Пятом вы были мальчик. А мы — уже это пережили, в Москве.

Даже смотреть полными глазами Бойе было больно.

— Подпоручик. Я, своим горлом, прочесть не могу. Выйти с этим к батарее — я не могу. Пожалуйста, голубчик: постройте батарею и… Постарайтесь прочесть.

— Слушаю. Прочту.

Саня ждал — ещё распоряжений?

Да, вот ещё — приказ великого князя, возвращается в Главнокомандование.

Подпоручик встал, все бумаги в руке. И — не отрубисто, а с сочувствием, как над больным:

— Разрешите идти, господин полковник?

Бойе молча медленно кивнул. Дважды. Или трижды. Кивнул будто не головой одной, а невидимо весь пошатываясь.

Или прощаясь с подпоручиком навсегда.

У Сани мелькнула мысль… Но он не смел её выказать полковнику.

Ни даже, встретив командирова денщика снаружи, — посоветовать ему приглядывать.

Подполковник остался с собою, и помочь ему было нельзя. Иногда люди среди людей остаются неизбежно одни.

По протоптанной снежной тропке подпоручик поспешил к батарее — но, ещё не выйдя на прогалину, под последней берёзой кущицы остановился.

Он спешил, как будто всё знал. А остановился, как будто знал не всё.

Поднял голову — и сквозь бледно-сиреневые голые ветви берёзы увидел то ли растягиваемую, то ли нерастяжимую облачную пелену, — ещё солнце не взошло и не прояснилось, как пойдёт день.

Саня так легко принял поручение прочесть — но только сейчас, остановясь под утренним неразборным небом, задумался: чему же доводится пройти через его горло. Как он это понимает? И как читать?

Прежде чем строить батарею — хотел ли он с кем-нибудь поделиться?

С Устимовичем? — нет.

С Чернегой? — почему-то не хотелось, несмотря на бойкий ум его: какой-то неожиданный угол от него мог врезаться.

И даже: самому — перечесть ли? Или сразу строю?

От Бойе он вынес трагическое чувство — и это было бы одно чтение. Но вообразил в первой шеренге строя ироничного Бару с тонкой усмешкой на губах — и смутился. Для него — диктовалось другое выражение и чувство, не то, как читал бы Саня при самом Бойе. Да и — для Чернеги.

Так и не перечтя, сложенные бумаги держа в опущенной руке, Саня стеснённо пошёл к батарее. Внутри себя — он не нашёл никакого ответа.

Первого встречного солдата послал за фельдфебелем.

А фельдфебелю Заковородному, ко всякой службе всегда готовому, приказал немедленно построить всю батарею.

435

Стоял Арсений в первой шеренге, на правом фланге своего третьего взвода, — а подпоручик, читая, — от него наискосяк ша-

гов семь, против среднего второго взвода. Близко. И Арсению виделось и слышалось хорошо, что подпоручик и сам читает неутвержно как-то.

Построил фельдфебель батарею к ветерку спиной, а у подпоручика подворачивало бумагу из рук.

С первых слов проказилось про какие-то волнения внутри народа — батюшки, что это, где? Да не в нашем ли Тамбовском уезде? Да как там, наших ли не потеснят?

Но дальше об том никаких разъяснений, а: войну надобно доводить до победы. То и так ясно.

И сразу после того бултыхом: почёл за благо отречься от престола государства российского — и из того понятно стало, что это всё пишет — царь, поначалу не оголосил поручик — от кого это имени?

Ба-атюшки! Голова не успевала управляться: да чего ж это он на нас рассерчал?

А не желая расстаться с любимым сыном нашим — заповедуем брату.

Так ежели волнение внутри народа и войну до победы — что ж всё на брата? А — сам? А — нас?

Но и тут не было дальших пояснений — а да поможет Господь Бог России, и — Николай.

Быстро катушку умотал. Царь сменился, как шапку переменяют — не ту надел на выбеге.

Сколько Арсений себя помнил — всегда один и тот же царь был. Как это — другой? А ежели бы помер царь — так наследник, а куда ж наследник подевался? Всякое хозяйство сыну передать — это порядок, а брату — чудно что-то, это когда в семье все мужики повымирают, только.

Но из бумаги не выказывалось, чтобы царь умирал.

Хотя — бумага ещё не кончилась. Подпоручик вскользь по рядам глянул — то ли спрашивал, поняли, то ли об чём своём думал, — оно б тут как раз хорошо бы второй раз прочесть да пояснить, от чего и к чему дело деется. Но — не стал второй раз читать и от себя ничего не сказал, а набрал воздуху — и дальше.

Тяжкое бремя возложено на меня братом. (Значит — от брата.) Опять — про войну, про волнения народа, — знать, где-тось заклинило, затолмошилось. Но чего брат решил — как-то путано было, а — призывал благословение Божие и всех подчиниться

правительству, пока не будет ещё кое-то *тайное* и *равное*. И под конец — Михаил, накоротке, всё.

Чего-то угрозное пробежало: тайное. Равное — так, это по справедливости, но почему ж тайное, от кого тайное? Доброе дело тайно не бывает, только худое.

Подпоручик и сам остановился, как в недоумёке, у него на лице всё. Опустил бумагу и вроде от себя сказать хотел. Ну, скажи, скажи, ай как надо!

Нет, не сказал.

И — тихо, тихо батарея стояла, никто голосу не подал. Да ведь из строю не положено.

А подпоручик ещё прошёл глазами по первой шеренге, думаючи (и на Арсении тоже-ть задержался, прямо в глаза), — и тогда сказал уже не читким голосом, а помягше:

— Так вы поняли, ребята? Государь отрёкся от трона в пользу брата Михаила. А Михаил — в пользу Учредительного Собрания, какое оно установит правление, — царь ли, не царь.

Пождал.

Понятно не стало, но Арсений промолчал: несуразно вылезать, само прояснится.

А близ его — Шутяков, фейерверкер второго орудия:

— Так кто же царь теперь, вашбродь? Непонятно.

Вот это и непонятно. Слушали.

— Царь теперь, — мягонько наш подпоручик, как он всегда, и губами сулыбился, как сам в том виноват, — царя теперь, значит, нет никого.

Ну-у-у-у? — Арсений как мехом выпустил. Совсем никого? Да как же это может быть — никого?

— Да — царь-то кто? — вслух у него вышло.

И — к нему подпоручик, тоже вроде дивясь:

— Никого.

Стояли.

Молчали.

Хотелось, чтоб он ещё пообъяснял.

Непонятно. Как это — без царя. Одну голову отъяли — другу приставьте, помилуйте.

Да! — вспомнил подпоручик. И ещё одну бумагу стал читать: Верховный Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич приказывает всем начальникам внушить нижним чинам

стойко держаться против врага и спокойно выжидать народного решения о выборе царя.

Ах, ну так выберут! Это — так. Пождать, стойко держаться — это дело. Откуда-тось опять Николай Николаич взник, но его знали. Николай Николаич — порядок, он солдата не выдаст.

А всё ж — и от подпоручика ждали.

Он посмотрел ещё по шеренгам, сказал:

— Так вот, братцы. Такая воля царя.

И махнул фельдфебелю листиками — распускай, мол.

А сам — пошёл тропкой туда, в командирову землянку.

Ждали, может от фельдфебеля чего — он иного не придумал, а: «Р-разойдись».

И — кто ступил медленно, нехотя.

Кто ещё стоял.

А Бейнарович сразу заголдонил, не об царе, а там — покурить или как с завтраком.

Молчали.

Расходились батарейцы, всяк себе. Расходились — не объявил фельдфебель, какое теперь занятие. Как бы — праздничный день, никакое. А впрочем, рано ведь — ещё завтрак не прикатил.

Ещё ступили — и сошлись Арсений с Шутяковым.

Шутяков — постарше Арсения, борода уширенная, хотя короткая, и сам коренаст. Основательный в службе Шутяков и хозяин дома, верно, ах. Стал против Арсения — меж фейерверкерами свои разговоры, не теснились к ним, — и тихо:

— Ну? Как понимаешь?

— Да-ть, вот, — причмокнул Арсений, — поди пойми.

— Во время войны — как же отрекаться? Как ж эт' он? Ну?

Вот только и нукнешь.

А Шутяков:

— Много главных должностёв немцы занимают. Вот они и скинули.

И тише:

— А можа — приказ подложный? Быть такого не можа, а?

Разминались, расступались, перехаживали, все в растере. И друг ко дружке, и так вобща:

— Как же так Государь император корону сымает — так и от армии отказалси?

А ведь помнили его, самого царя, в Гренадерской бригаде: не в эту зиму, а в ту — приезжал на Узмошье, и даж по землянкам хо-

дил, на нашей батарее, правда, не был. Не то что в думке одной — где-то царь возвышенный, а вот — тут у нас, своими ногами.

— Покинул?

— Одначе гляди как обернулось.

— Вот, ядрён колпак, без царя остались.

— Нельзя без царя! — качал головой молчаливый сухонький Занигатдинов.

— Как ж эт' он так сразу сплоховал? — спросил и Сидоркин со шрамом под левым глазом.

— Подскользнулся на ровном месте.

Прави́льный арсеньева орудия Завихляев — в бороду:

— Место-то ровное, да видать, наскользили его.

А Шутяков своё, вкруговую:

— Не, братцы, верно сказывали: вкруг царя — измена. Вот она и объявилась.

И ещё переминались бы, гадали, да зашумели — кухню увидели. От передков сюда катила таратайка, из трубы додымливая.

Заспешили, засновали за котелками.

Повар Исаков, маленький, поспешный, завязал возжи, соскочил и с обычного места, позади орудий, застучал уполовником об свою железную стенку. Да хоть и не стучи, уже подходили.

Получали по полкотелка гречневой каши, крутой, хорошо удобренной, — и расходились по землянкам, кто где привык, татарове — к себе. Кому на наблюдательные идти — садились тут, на пеньки, штанами ватными, поперву свой котелок выесть — потом на тех получить и нести. Арсений, когда сверху не мокрило, — всегда садился на сошник своего орудия, тут ел.

Шапки сняли, перекрестились — не сплошь — и зачерпали. Забирали ложками гречневую крутизну со смальцем — и в роты́. Завтрак ли, обед, — дело святое, тут не до гуторки.

Носили, черпали, кто деревянной ложкой, кто железной.

Однако и за кашей думать не перестанешь.

А что ни думай, одно было Арсению ясно: царя-то нового надо поскорей, нельзя во время войны замедлить.

Носили, черпали, а Сарафанов и спроси:

— А чо ж теперь с наследником буде, братцы?

С юнцом-то — что?

— Да-а, — отозвался Арсений, — почемуй-то его не хотят.

— Так сам отец не схотел, — густо подал из бороды Завихляев.

— Рази сам отец? Другой кто?

Вот это — странно Арсению: чтоб сам отец родному сыну наследства не хотел передать — как это может быть?

— Другой кто?

А присел невдали и старший фейерверкер Дубровин, начальник разведчиков, с безусым ещё лицом, ранний, да умный:

— Наследник, мужички, уже царствовать не будет, всё.

Так — а кто же тогда?

— А другого — так надо скорей выбирать. При войне — да как же без царя? Скорей бы.

А Бейнарович, вроде Сидоркину по соседству, а и ко всем закидывая, бодро:

— Мы его помазали — мы его и размазали.

Шутяков на него взволчился:

— Молчи, злодыга. Не ты помазал.

Вовсе неохватно: откуда навалилось? что оно такое?

Без головы в дому.

****

НЕДОЛГО ТОЙ ЗЕМЛЕ СТОЯТЬ, ГДЕ УЧНУТ УСТАВЫ ЛОМАТЬ

****

Толпе холопов прирождённых
Страшно отсутствие господ —
Кто ж будет восседать на тронах.
Давить страну? душить народ?

436

Начиналась Крестопоклонная неделя. Крест голгофских страданий, вынесенный в центр храма, становится в центр мира. Выносился крест вчера при всенощной — а Николай, за своими мука-

ми, даже просто забыл. Вчера вечером, когда разыгрывалась мятель, он обедал вдвоём с Мамá в поезде — и снова, снова надрывно говорили о том же, и никак он не видел выхода вернуть трон Алексею. Открыть военные действия? Этого он не мог переступить и от начала. А теперь — что можно было делать, когда вся армия в руках революционеров? (Это — отговоркой от Мамá.)

А сегодня — утишенным, безветренным, снежно-убелённым утром проснулся — и сразу вспомнил о Крестопоклонной. И подумал: Боже мой, как мелки все наши заботы по сравнению с Голгофой! Что решит или откажет какое-то временное правительство, пустят туда или сюда, что напишут в революционных листках — всё это прейдёт. И его отречение от престола, даже если это была ошибка, затемненье ума, — тоже прейдёт. А Голгофа — останется вечно, как главная жертва и главная тайна.

Среди людей — правосудия не бывало и нет. В апатии, в унынии — надо предавать себя только на волю Божью. Молитвы — никто у нас не может отнять. А в ней — вся чистота и всё облегчение.

И с радостным светом в душе Николай поднимался, чтобы ехать в церковь к обедне. Ничего не взял в рот.

За окнами площадь была убелена, чиста от ночного снега. Снег свежо прикрыл верхи сугробов, лёг пышным наслоем на решётки, на заборы. Градусник показывал мороз, и не было у решётки вчерашней досадной кучки глазеющих мальчишек, прямо против губернаторского дома, — теперь, когда никто не мог отогнать их. Но согнал мороз.

А городовой стоял на месте. Однако — неуставно одетый в простой полушубок.

И два красных флага у входа в ратушу.

И, может быть из-за мороза, отречные Манифесты, расклеенные на стене городской думы, тоже мало кто читал. Или уже знали все.

Вчера, когда с матушкой ехали в автомобиле по городу, — её колол каждый красный флаг над зданием и каждый красный бант на чьей-нибудь груди. А Николай уговаривал её не обращать внимания. Зато ведь, при их проезде, некоторые становились во фронт, отдавали честь, иные штатские снимали шляпы, а один старик на улице на колени стал. Но никто не кричал «ура», как прежде. У матушки остались резкие впечатления от первых дней революции в Киеве: проходя мимо её дворца, манифестации так громко кричали «ура» — казалось, вот-вот ворвутся в ворота. А гарни-

зонную охрану отменили, и всего оставалась во дворце полусотня конвойцев.

Ах, такое ли произошло в Кронштадте! такое ли в Гельсингфорсе! — прямые убийства, и многих.

Уже подходило время ехать в церковь — вдруг раздались на площади звуки военного оркестра. И приближались.

И это не был марш, уместный военному оркестру, но была — марсельеза?

Вражеская музыка звучала у самого здания Ставки!

А впрочем, с марсельезой — он был в военном союзе…

Из окон спальни (где никогда уже не появится сын) было хорошо видно. На площадь втекала армейская колонна — и её Георгиевское знамя впереди и единственные оранжевые погоны с чёрными полосками открывали, кто это. В полном составе и в строю, с оркестром и всеми офицерами, со всеми георгиевскими крестами на солдатских шинелях, — маршировал Георгиевский батальон! — эти храбрецы, отобранные изо всей армии для охраны Ставки и для парадов.

Да когда ж они вернулись? — ведь Государь посылал их в Петроград.

Теперь ведь ему ни о чём больше не докладывали.

Они выходили на площадь с Днепровского проспекта без большой надобности — только показать своё плечо — и тут же поворачивали на Большую Садовую, уходить.

Но почему ж и они — с революционной музыкой? Боже, до чего дошло…

Скребущее чувство от этой музыки.

Правда, красных лоскутов не было на них. Ничто не заслоняло георгиевских крестов.

Они маршировали — выразить радость? Радость — от устранения своего любимого Государя? Радость — от внедрения республики?..

Лица их были — боевые, бодрые, даже весёлые, — и руками они сильно отмахивали.

На отмахе как бы стряхивая, стряхивая всё прошлое…

И толпа радостных мальчишек сопровождала строй.

У Николая навернулись слёзы. Если уж — эти?.. если уж — цвет армии?..

Тогда он верно сделал, что отрёкся.

Но как же, царствуя, — он этого не замечал? Было ли это и раньше?

И этот батальон он посылал первой силой против революции!..

И — на этой же площади, неужели на этой же площади? — прошлой весной, под проливным дождём, служился длиннейший молебен перед привезенной Владимирской Божьей Матерью, и стояла многотысячная богомольная солдатская толпа, и весь этот Георгиевский батальон, — и все терпеливо молились, крестились, и Государь с наследником, и потом прикладывались долго, под потоками дождя?

Всё — на одной площади…

Дал им всем пройти, уйти — лишь потом поехал в церковь, в штабную.

Как всегда незаметно вошёл с левого бокового входа и стал на своё обычное одинокое место на левом клиросе.

Неделю назад, тоже на воскресной литургии, он стоял здесь, ещё коронованный. И вот — опять, как ни в чём не бывало…

Стройными рядами стояли конвойные казаки, от пилонов до пилонов, против царских врат, оставляя проход посередине.

Немало штабных офицеров и городские молящиеся, тесно. Служило трое священников с дьяконом.

Сперва Николай чувствовал спиной внимание множества молящихся. Потом — всё меньше, и ушёл в молитву. И становился на колени с той простотой, как это делает одинокий, никому не видимый богомолец.

Он молился, чтобы Господь простил ему ошибки, какие были, — и прежних лет, и последние. В них не было злого умысла никогда.

Молился, чтобы Бог принёс России заслуженную победу в этой войне — и расцвет после войны.

Чтобы Бог простил и всех тех, кто приносит России беду неумышленно.

И горячо — о своей семье.

И обо всех верных, знаемых и незнаемых.

Служба шла как всегда, веледостойно. Хор малый, но превосходный. (Николай и не любил в церкви концертного пения, при нём всегда пели самое обыкновенное.) Вдруг какую-то фразу произнёс запнувшийся бас дьякона, — фразу со сбитыми словами, не

уложилась в уши. И было там «благочестивейшего» — а «Великого Государя» не было.

И — проступила избыточная пауза. На весь храм.

Замер храм.

Молчала вся церковь и хор. Как не бывает.

И у Николая — дыхание остановилось: молчали — из-за него! Божья служба препнулась — из-за него…

Но вот — вознёсся обычный возглас «о пособити и покорити»…

И дьяконов бас рокотал дальше уверенно: о граде сем и стране, о плавающих, путешествующих, недугующих, пленённых. И — о избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды.

Так не от трона только он устранился… Он устранил себя и из Божьей службы. Из народных молитв.

Вот она, Крестопоклонная…

И после Евангелия молитвы за Государя — вовсе не было.

А когда в конце Николай, по обычаю, подошёл первый к целованию креста — протопресвитер молча выставил ему крест. Не сказал ни слова напутствия.

437

После убийства адмирала Непенина, после «приказа № 1» — генерал Рузский одеревенел. Ощутил себя буквально деревяшкой, кидаемой волнами. Хлынуло — и не удержать, мы смяты валами сзади — и всё. И — всё…

Ещё добивают из Выборга: бурлит и Выборг, арестован комендант крепости генерал Петров. И эти сообщения достигают не одного же штаба фронта, они распространяются всеобще, о них узнаю́т все. Стрела мятежа вылетела из Финляндии — и в спину тому же Пскову.

В городе становилось всё тревожнее. Зараза шла от железной дороги. На том самом псковском вокзале, где двое суток назад стояли императорские поезда в пустынности перрона, и ещё при полном порядке, и только первые красные банты из Петрограда раздавали дерзкие листовки, — вчера вечером уже кипела тысячная

толпа, не подвластная никакому надзору — ни гражданских властей, ни военной комендатуры. Не осталось местечка ни на путях, ни на вокзальной площади, ни комнаты внутри вокзала, куда бы желающие из толпы и неизвестные приезжие не имели доступа и не могли бы распоряжаться. Но более всего — разоруживали офицеров, — всех на станции, и подъезжающих к вокзалу, и в мимоидущих поездах, втекая для того в вагоны. Одни офицеры отдавали добровольно (но и после сдачи оружия должны были быстро скрыться), а кто сопротивлялся — с тех силою срывали шашки и револьверы, избивали, а то и сшибали с ног. Начальник распределительного пункта полковник Самсонов сопротивлялся — и был убит.

Так же и один из запасных пехотных батальонов, прослушав Манифесты об отречении царей, двинулся к тому, что всё дозволено, и пошёл громить пищевые склады на товарной станции.

Даже крупный, решительный генерал-квартирмейстер Болдырев почувствовал себя неуютно. А уж на жёлтом худощавом, маленьком Рузском и лица не было. Действовать против революционной толпы оружием? — Рузский бы считал самой большой ошибкой. И это Болдыреву нравилось: для такого необычайного момента и поведение должно было быть необычайное! — только какое?..

Но если бы штаб Северного фронта и вздумал бы безпорядки во Пскове давить — то неизвестно какими силами: не виделось такой надёжной части. То, что кипело на вокзале, могло в любую минуту ворваться и в сам штаб фронта, а охрана штаба была незначительная, да и на неё нельзя было положиться, что она не примкнёт к разбою: даже штабные писари собрали вчера вечером собрание и обсуждали, отдавать ли офицерам честь и носить ли красные банты. Вся работа штаба, бумаги штаба и весь персонал его командования — подлегли под угрозу внезапного врыва толпы, разоружения и разгрома.

А из жалкой Ставки никаких директив. Алексеев молчал.

Болдырев понимал, что ниоткуда со стороны помощь не придёт. Но как вывернуться самим?

В тревоге, если не в дрожи, штаб провёл ночь. Но обошлось, не ворвались.

А утром узнали, что за ночь пропаганда против офицеров уже покатилась по боевым частям, по всему фронту. Заколебалась земля подо всем Северным фронтом. Стали сочинять циркулярную телеграмму в штабы армий, мёртвому припарка.

Пока сочиняли — в штаб прибежали сказать, что в городе мятежные солдаты арестовали генерала Ушакова, начальника псковского гарнизона, и с ним сколько-то офицеров! И будто — генерала Ушакова потащили топить в реке Великой.

И — так же могли ворваться сейчас к ним и арестовать их всех!

Данилов — мешком. И Рузский — мёртвый, руки совсем обвисли. И — надо было спасать начальника гарнизона, и — не мог он приказать действовать против революционной толпы! И — некому приказать.

Но даже — и много минут размышления не было им дано. Новое известие принесли: воинские части самочинно выходят на парад на городскую площадь! И туда же валит толпа гражданских.

Закачался и весь древний Псков! Что же делать? Такого — и вовсе нельзя допустить, но что делать?

А Болдырев — ощутил задор, и решимость, и догадку. Даже — и не спросил своих генералов, и не объяснил, только рукой успел махнуть и кинулся вон. И в открытом автомобиле покатил на назначенную площадь.

У Болдырева был могучий голос, природный дар. Голос — это не меньше, чем мускулы. Бывают положения, когда голос больше всего и выручает человека. В революцию.

Гудела и кишела площадь. В солнце и в лёгком морозце, по двум сторонам бездействующего трамвайного пути самовольно строились части гарнизона. Из них только кадеты, юнкера школы прапорщиков и полевые жандармы имели обычный воинский вид, всё остальное было — безформенное, не в строгих шеренгах и рядах, сборище в шинелях, а ещё с краю к этой каше пристроились гимназисты и реалисты.

И — пестрели тысячи красных пятен от ленточек, от лоскутов. И там и сям торчали в воздух красные флаги. И даже ополченцы бородатые на простых палках подняли красные тряпки. (Где ж этого красного награбили и нарвали!)

И — все головы обратились к автомобилю, так он кстати появился, будто принимать парад! — неизвестно, кто и принимал бы его. А генерал Болдырев в идущем открытом автомобиле поднялся в рост — и стал громко здороваться.

Войска отвечали довольно стройно, от этого ещё не отвыкли. Болдырев, на ходу сочиняя, стал колокольно-густо поздравлять войска со свержением самодержавия, наступлением свободы, установлением нового государственного строя. Слышал в ответ —

«ура» и «ура». Выкрикивал несомненные лозунги, вроде «да здравствует Россия!» и «да здравствует русская армия!», — и слышал в ответ ревущее и единое. Крикни он дальше в наступленье на немцев или на грабёж тылов — толпа была, кажется, готова. Голос его — до звука все слышали округ. Тогда он выкрикнул надежду, довольно безсмысленную, что охрану порядка во время парада примет на себя население, — и услышал совсем уже бешеное «ура».

И тогда он остановился в центре и рискнул удивиться: почему пришли кто с оружием, кто без? Как же их показывать Главнокомандующему?

Войска охотно стали расходиться по казармам, потом с оружием стягиваться и строиться вновь. За это время и в этом движении, перемешивании, переталкивании — энергия благодетельно разряжалась.

А Болдырев успел съездить к Рузскому — предупредить, убедить и позвать.

Затем стал форменно командовать упорядоченным парадом — а хлипкий Рузский шатко принимал его.

И в наступившей потом тишине голосом вялым, слабым, не доходящим в глубину, стал произносить о счастливом, свободном новом строе, о необходимости дружной спокойной работы и даже о вреде питья денатурата.

****

Восторгом святого восстанья
Опять зажигается мир.
Обещан за пламя страданья
Народу торжественный пир!

(Ф. Соллогуб)

438

Только тот умеет и смеет командовать, кто умеет прежде подчиняться. Мудрая иерархия всего мира составлена так: ты звено между старшим и младшим, и только тогда ты можешь вести, если

ты ведом. И чем в человеке сильнее воля, тем радостней он отдаётся мировой иерархии сил. А мякоти нуждаются в иллюзии независимости.

И чем крупнее кусок бытия, тем больше он нуждается в иерархии и единстве власти. Вся Вселенная — прежде всего. (Хорошо ощущаешь законы вселенной — в Ледовитом океане, в гребной шлюпке с поморами, при свежем ветре между льдинами, посеверней Новосибирских островов, откуда устье Лены — недостижимый плацдарм цивилизации.) И такой кусок, как Россия, — из первых.

И потому адмирал Колчак так уверенно предложил Николаю Николаевичу — всероссийскую диктатуру. Россия не может болтаться во сто и в двести направлений. Если трон опрокинулся и поплыл — должны другие твёрдые руки взять страну.

По расчётам — только утром вчера мог достичь великого князя посланец Колчака. И не раньше вчерашнего полудня можно было получить телеграмму согласия.

Но раньше того пришло отречение Михаила. Оно достигло Севастополя с таким казусом. На ленте пропечаталось: «А сейчас передадим вам манифест Михаила Александровича» — и тут же прервалась линия. И основательно прервалась: ни через полчаса, ни через час не починили её.

И — напряглось сомнение, надежда. Может быть, это — не перерыв линии, но изменилось в Ставке? или с самим Михаилом? Что можно было предположить о непереданном манифесте? Что-то очень важное новое!

Но — никак не повтор отречения, которое притекло, когда линию исправили.

И вот — Россия осталась совсем без царя, вообще без Верховной власти! Власть передавалась — никому…

Так прав был Колчак, угадал положение и нетвёрдость, неготовность Михаила, когда погнал гонца.

Но тем более всё ещё можно спасти, объявив диктатуру великого князя! Республика? — введенная на полном разгоне войны, — это крах.

Однако ответ из Тифлиса не шёл, не шёл.

А по исправленной линии, косвенным путём, через Ставку, рассылались приказы того же великого князя — и уже как Верховного Главнокомандующего.

…Неисповедимо назначенный, он осеняет себя крестным знамением и призывает чудо-богатырей… Повелевает всем начальникам и чинам армии и флота спокойно ожидать изъявления воли русского народа…

То есть Учредительного Собрания.

То есть это уже и был ответ Колчаку.

Только к вечеру вчера пришла прямая телеграмма из Тифлиса, но не от великого князя, куда там, — от герцога Лейхтенбергского. Лейтенант докладывал своему адмиралу, что не может возвратиться в Севастополь, так как Верховный Главнокомандующий повелел ему следовать с ним в Ставку.

Это и был уже последний выразительный ответ.

Да так и предчувствовал Колчак в великом князе: под латами рыцаря — слабую душу.

Упущенный шаг. Пожалеем…

Великие князья… И сколько же их.

Но не жалел, что посылал. Всякий путь надежды должен быть испытан. Всякий тупик должен быть доказан.

Оставалось — подчиниться новому правительству? Оба Манифеста клонили к подчинению.

Но — что это будет за правительство? И куда оно поведёт? Пришла телеграмма от какого-то князя Львова. Да, по-видимому, династия кончила своё существование, начинается эпоха новая. И каково бы ни было правительство — мы обязаны перед родиной.

Итак — в самый разгар войны царь отрёкся. Но война — не отреклась, её никто не отменил. И мы должны выполнять боевую работу как раньше.

Всего несколько дней назад такая была, в общем, простая, чёткая задача: быть умнее, сильнее и доблестней немца и турка и это превосходство овеществить на море и его берегах. И если молодой адмирал талантлив (а он талантлив) — то искать такие пути, и найти.

Но откуда ни возьмись — свалилась революция, как валун на спину ползущему солдату. И по-прежнему под огнём, и по-прежнему головы не смея поднять, воин теперь не мог ни вперёд переползать, ни убраться назад, ни двигать свободно конечностями.

Так почувствовал Колчак себя со своим флотом.

А сразу видимо было только — издать приказ: что теперь особенно возможен неожиданный удар врага, противник захочет воспользоваться событиями в Петрограде, надеется на волнения у нас, — и требуется бдительность и спокойствие в выполнении долга.

Но сперва — ничего не происходило. Волнений не было. Спокойно шла служба на кораблях, спокойно в береговых командах, как будто ничего особенно нового они не узнали.

Но теперь уже нельзя было остановить лавины агентских телеграмм и привозимых пачек столичных газет. А в газетах — взмутительных обращений.

И вот — на суше и на кораблях стали стягиваться кучками. Пока ещё малыми. И толковали, замолкая при офицерах. Пока ещё негромко.

А ведь именно Черноморский-то флот и знал бунты — в 1905 и даже в 1912. И если *начнётся* тут — то будет страшный раскат.

И вдруг на лучшем линейном корабле «Императрица Екатерина II» матросы предъявили командиру — требование! — убрать с корабля офицеров с немецкими фамилиями!

Так начинается.

Сегодня ночью мичман Фок, прекрасный молодой офицер, дежурил по нижним помещениям корабля. Когда он проверял дневальных у артиллерийских погребов, матросы обвинили его, что он собирается взорвать корабль.

В безсилии оправдаться, в отчаянии — мичман пошёл в свою каюту и застрелился.

Утром адмирал Колчак тигром кинулся на «Екатерину», построил команду — и с пылкостью и гневом разносил её за глупость. У нас в России — масса людей с немецкими фамилиями, и они часто служат лучше нас. Вот умер недавно славный адмирал Эссен…

Команда прочувствовалась, просила прощения.

Но первая жертва — легла.

В характере Колчака было: не только не ждать, чтоб опасность миновала, но всегда бросаться навстречу ей, искать её, чтобы с ней столкнуться, имея собственное движение.

И пока он слал вынужденную телеграмму новому правительству, что Черноморский флот и севастопольская крепость — всецело в распоряжении народного правительства и приложат все силы

для доведения войны до победного конца; и Гучкову как морскому министру отдельно (он, по крайней мере, всегда хотел флоту добра, а может быть сейчас согласится на босфорскую операцию?..); пока это всё, — распорядился адмирал немедленно собрать на берегу в казармах полуэкипажа на Корабельной стороне по два представителя от каждой роты — с кораблей, береговых команд и от гарнизона.

Телеграфили, сигналили — и представители рот собрались меньше чем за два часа, недоумевая: такой не было во флоте формы встречи и формы обращения адмирала.

Собралось — человек триста, чернели и серели на скамьях. Адмирал вышел перед ними на помост и заговорил звонко и как бы радостно. (Встреча с бедой всегда вызывала в нём ощущение как бы и радости.)

Он объяснял им, как понял, к тому и не готовясь, слишком прост был рисунок: царя больше нет, но война продолжается. В Петрограде — новое правительство, которое и будет думать о нужных изменениях. Они и притекут, когда это понадобится. Но пока что — война продолжается, и нам остаётся: строгая служба, бдительность к врагу и полная дисциплина. Сохраним же силу против немцев!

Так неизбалованы были матросы речами, да ещё адмиральскими, — появление Колчака прошло очень хорошо. Хлопали в ладоши. И вид, и лица — обещали всё исполнить!

Раздался вопрос: вот есть «приказ № 1», исполнять ли его? Уже слышал Колчак об этой белиберде, переданной по радио из Царского Села, и ответил:

— Пока он не утверждён правительством — он для нас не закон. Почему приказ петроградского совета депутатов может быть обязателен в Севастополе или в Одессе?

По окончании — Колчак не придумал их строить снаружи, а выходил в автомобиль мимо чёрной гурьбы.

Доброжелательны, в осмелевших улыбках двигались лица, и глаза пялились рассмотреть совсем вблизи адмиральскую невидаль. И один высокий губошлёпистый матрос вдруг прогудел:

— Вот, ваше превосходительство, в кой век проняли вы нас своим вниманием! А что вы нас раньше так не приглашали? А заведёмте, чтоб мы всегда вот так собирались!

На него свои же крикнули, чтоб не смел, что он, очумел? А другие подгудели, что — да. И — глаза, глаза испытательно горели на

адмирала, — в соотношении, какого он не помнил с мичманской службы.

— На военной службе — не положено, — улыбнулся, только и нашёлся Колчак.

На улицах Севастополя зеленела татарская жимолость, уже благоухало, вот-вот зацветёт миндаль. Стоял ярко-голубой солнечный день. Высокие берега бухты в молодой траве. Моторная шлюпка, вспенивая синюю воду с солнечными бликами, несла адмирала к «Георгию». А он ещё всё испытывал это простое народное движение, доверчивое, но и настойчивое прикосновение.

На военной службе так не положено, но вот же он провёл. В этом была и смелость находки, открытие общения! Но в этом была и угроза: за этим эпизодом провиживались сотни таких.

Даже весёлый вскарабкался он по трапу.

А едва вступив на палубу — увидел флаг-капитана оперативной части, без лица.

Что ещё?

Шифрованная телеграмма.

В Гельсингфорсе убит матросами вице-адмирал Непенин!

Как влилось чугунное во всё тело и отняло движения.

Догрёб ногами до каюты, погрузился в стул.

Адриан!

Брат-адмирал!..

Как спасти — командный состав?

Как спасти Черноморский?..

439

В Ростове весна всегда прорывается рано, каким-то тревожным духом — ещё в феврале. А сейчас, опустясь с широты Минска, Ярослав был тем более поражён ударом тепла и весны, смешанным запахом тающего снега, конского навоза и первых почек. При внутренней тревоге, с которой он приехал, этот мягкий удар пришёлся ему и самым желанным, его он и искал! — и самым больным.

Он приехал в отпуск как будто к маме, сестре и брату, — на самом деле даже к самому Ростову больше, чем к ним. Потому что

при камнях его, в нишах его и проходных парадных, на бульварах и в провале между Садовой и Пушкинской (и в каждом переулке по-своему) задержалась, осела, как неразогнанный дневным солнцем туманец, — какая-то несытая тайна его юности. И эту тайну он приехал дознать, собрать ладонями, перешептать снова. Где он сам за это время ни воевал, ни прошёл, а тайна — странно — осталась именно только в этом городе. Нигде в другом месте одинокое шатание не могло так душу уводить и щемить, как здесь. Только отсюда, оказывается, он мог исследить и найти. Только здесь, где это розовело на восходе, — могло разгореться и жаром. Так он был устроен.

У него не было ни невесты, ни ждущей любимой. Но сразу несколько нежных и острых воспоминаний он вёз в груди, и они распухали в ворох надежд. Ни одно из них не было подкреплено свежею перепиской, но мнилось — все эти девицы на прежних местах, и каждая готова продолжать с ним оттуда, где они остановились.

И так поехал он трамваем за Крепостной переулок в Нахичевань к Ларе — а она, оказалось, уехала со всею семьёй. И с большой надеждой он искал на Тургеневской Тому — и застал её помолвленной. И ещё одно застарелое нежное знакомство — Нюша Кочармина — повлекло его ранним утренним местным поездом в соседний Новочеркасск. Но Нюша и вовсе оказалась замужем, и Ярик, конечно, не пошёл по новому адресу. А познакомился с братом её Виталием, кончающим гимназию, а на будущий год хочет в Ростов в университет. Такой светлый умный юноша, звал его заходить к Харитоновым, когда будет в Ростове.

Никого не нашёл! Но все уличные углы, впадины, тупички, скамьи под акациями, сейчас голыми, мреяли Ярославу, что помнят, остались верны, благодарят за возврат.

А на улицах уже продавали для кого-то букетики фиалок и подснежников. И такие свежие, цветущие, уже в весеннем опоминаньи мелькали лица девушек, прелестные как нигде.

Необъяснимо, но почему-то он должен был искать только на следах своей юности.

Один случай днём на Садовой поразил Ярика. Солдат при костыле с двумя георгиевскими крестами и с медалями на шинели, народ перед ним расступался. Вдруг он подошёл к вышедшей из магазина даме и, козыряя, что-то сказал. И дама быстро достала из ридикюля и дала ему ассигнацию. Ярик остановился, поражён-

ный: раненый георгиевский кавалер просит милостыню? Невиданно! Но тут же к солдату подступил штатский и, взяв его под руку, стал тянуть прочь, что-то говоря. Солдат упирался. Стали останавливаться прохожие, раздались голоса: «Куда ты его тянешь?.. Герой! Он кровь за нас проливал!» Закричала другая дама, что от фараонов житья не стало. Штатский, видимо полицейский агент, кричал, что это вовсе не солдат, а мазурик переодетый, «мы его знаем! он и не хромой!». Полнолицый бритый господин в богатой шубе и шапке: «Кто это мы?» — и требовал, чтобы агент показал удостоверение. У края тротуара стояла баба с деревянной лопатой, сказала Ярику: «Моего сыночка убили, а эта сволота понаехала, зарабатывает, жалобит людей». Но толпа густела, кричали в несколько голосов, и все на агента. Ярик шагнул вступить, но тут агент достал турчок и резко засвистел. И с угла сюда заспешил рослый городовой. Агент сорвал колодку с крестами с шинели жулика. Хорошо одетая толпа стала расходиться и слышалось: «Опричники!»

Мало того, что спекуляция жулика, но эта нескрываемая ненависть к полиции поразила Ярика.

Между тем мама, не признавая, не ощущая, что он командир роты, — целиком хотела захватить в дом своего неразумного упрямого мальчика, со страхом щупала рубцы его ранений у плеча и в ноге, властно хотела иметь его подле себя. С уважением слушали домашние, и Дмитрий Иваныч, рассказы о фронте, притихла и Лялька пятилетняя, а Ярик неполно им открывал, чтоб не пугать маму. Да разве вмещался тот его мир, те два с половиной года — в эту неизменённую квартиру?

Но и мама же сшила ему в подарок, заказала по старой мерке, френч и светло-синие офицерские диагоналевые рейтузы по форме мирного времени. Оказалось, Ярик похудел, на боках ему широковато, но уж и не время для ушивки. А хотелось пощеголять по Ростову в новом френче со вшитыми галунными погонами, а то и на шинели и на гимнастёрке у него были фронтовые матерчатые. Отнёс нашить галунные и на шинель. Так ведь к этим рейтузам не подходили и сапоги его, подбитые мехом и смазанные жиром, — пошёл (с Юриком) покупать и щегольские сапоги с твёрдыми голенищами.

Четырнадцатилетний Юрик жадно не отходил от брата и всё расспрашивал, расспрашивал. Он рос не изнеженным, но зовким на всё военное, верный оруженосец. Уже сейчас бы ему быть в

кадетском корпусе, а не в реальном, — да не хватит на него этой войны.

Но и все разговоры их с братом, и весь семейный обычай вдруг сотряслись: грохнула петроградская революция и посыпалась, посыпалась на Ростов стаями новостей. И что в ком оставалось своё, затаённое, собственное, — всё отлило, ушло в землю, съёжилось, а груди разрывало вдыхать и выкрикивать, и горла кричали, лица сияли, руки размахивали, — и хотя известна была ростовская публика крайним выражением и радости и брани, — но сейчас даже привычный Ярик изумился.

Застигни его эти известия в своём полку — он принял бы их сурово-недоуменно, наверно сейчас там так. Да чему ж тут радоваться: разве можно такое во время войны? Нельзя вообразить, чтобы в их ротных землянках офицеры их батальона, да даже и солдаты, вдруг испытали бы кружащий, обезумелый восторг и надрывно бы орали, что у них больше нет ни царя, ни Верховного Главнокомандующего, а неизвестно что. Даже когда командир полка уезжал в отпуск, вполне замещённый по всему порядку, — и то в полку ощущалась постоянная недостача. А тут — перед самым весенним разгаром боёв… ?

Но родной Ростов кипел, большей радости просто не могло свалиться на этот город, да ещё совпавши с весной, — и надо ж было Ярику пережить это всё здесь, и оказывается, этот город ни на миг не переставал быть ему родным. Как с милого лица радость невольно переходит к нам, так она начинала закруживать и Ярослава.

Да ещё если б не своя семья вокруг! Но вся родная семья — мама, Женя, Дмитрий Иваныч и Юрик — ликовала вокруг него в этих же комнатах.

И Ярик заглатывал своё недоумение.

Мама стала такая торжественная, блеклые глаза её как будто вернули часть прежней голубизны, и выпрямилась приплечная сутулость. Положила руку Ярику на плечо, снизу вверх:

— Как жаль, что папа не с нами и не может порадоваться. Это — самые счастливые дни моей жизни. Не думала дожить! И ты — здесь в эти дни! особенное счастье!

Гимназия Харитоновых два дня не занималась. Изменяя своему чопорному обычаю, Аглаида Федосеевна выходила праздновать на улицу — не на свой балкон, а переходила Соборную площадь до Московской, а то и шла до Садовой, и стояла на краю тро-

туара, вплотную к идущим шествиям, и чуть кивала, и чуть улыбалась, — а её седую фигуру кто же не видел и не узнавал! И со всех сторон к ней подходили, кланялись и поздравляли её бывшие гимназистки.

И Юрика, вместе с его реалистами, как понесло в этом ликовании, и закрутило, и закрутило! Он бегал на гимназические возбуждённые сходки и подпевал хорам на улицах, и был упоён. Раза два хмуровато намекнул ему Ярослав, что радоваться бы не слишком, — но летящую душу брата это не задело.

Скорей усумнишься в своём собственном представлении, поразясь: с каким же малым усилием, почти без крови и как мгновенно свалился государственный строй, ещё неделю назад казавшийся вечным, — вот ещё неделю назад тащил агент этого жулика, поди сейчас попробуй, отбери кого у толпы! Чего ж этот строй тогда, правда, стоил? Так и действительно права была мама всегда, а Ярослав питался романтикой?

Только когда несли уж мусор: «ах, все наши военные несчастья были от Царского Села, а теперь пойдёт лучше», — Ярик осаживал, не стеснялся.

Да что Ярик! — в 200-тысячном городе не выставился вообще ни один недовольный, ни один противник переворота! То существовали какие-то «правые» и казались сильными — и вдруг они исчезли все в один день, как сдунуло! — и их газета, заняли их типографию, а «Русский клуб» поспешил признать новое правительство. Вообще не оказалось в Ростове ни единого человека среди начальства, кто верен был бы царю! — такого и никто бы раньше не предположил. Вся полиция признала руководство Революционного комитета, а тем временем из тюрьмы успели сбежать и рассыпались по городу двести уголовников. И вот уже, приветствуя революцию, шагал строем гарнизон, части — во главе с офицерами, оркестры играли марсельезу, — а поручик Харитонов стоял среди публики вдоль края тротуара и растерян был, как понимать. Солдаты целовались со студентами. Начали сдирать гербы и двуглавых орлов. И от той же марсельезы не стало спасения и в театрах: играли её перед всеми спектаклями.

Нахичеванские армяне — вели себя куда приличней и сдержанней ростовчан: такого всеобщего обниманья и целованья на улицах не было у них, а ведь пылкие люди. Была у них осмотрительность, совсем утерянная ростовчанами.

Но даже и в Новочеркасске, уж на что царском городе, противники переворота даже не высунулись, а ликовали такие же, как в Ростове, студенты, интеллигенты.

Нет, что-то не то. Сказал маме, что надо в полк, время быть на месте. Властна была мама, но не из хлопотливых матушек. Может и обиделась, не показала. Не уговаривала. Но денька два ещё с нами?

В полк-то в полк, но весь приезд Ярика в Ростов, ещё сбитый этой перемутной революцией, оказался так неудачен в своём собственном. Обманули родные камни, затосковал. Надо было как-то иначе ехать.

А задумал теперь: на обратной дороге — да заехать в Москву. Московские места — тоже свои, три года военного училища. И тоже — воспоминаний.

Потому ли, что смерть всегда впереди, — старое родное всё хочется и хочется видеть.

Да ведь и Ксана там, печенежка.

Вдруг представил себе белозубую эту печенежку с мягкими плечами — и сердце забилось.

Забилось по-новому. Но не выдал никому.

440

Довольно было Саше только раз появиться в Таврическом дворце, спросить, кто тут вызывал «офицеров-социалистов», — и всё разъяснилось. Его отвели к лейтенанту Филипповскому, моряку, который сразу и узнал его:

— Да где же вы были? Куда ж вы пропали?

И Саша с удивлением узнал, что он — совсем не песчинка, затерянная в Петрограде, но вполне замеченный важными людьми человек. Прежде всего, он — «офицер революции 27 февраля», их таких перечесть на пальцах, и Филипповский не забыл, что Ленартович брал Мариинский дворец. Затем он, как сам себя теперь заявлял, «офицер-социалист», что тоже было большой редкостью, всего малая кучка была и таких. И так он здесь был нужен почти позарез — и промахом его было, что он ушёл из Таврического и несколько дней тут не показывался.

Ошибкой было, что он влип в этот комиссариат Петербургской стороны и погрузился там в смену караулов, спасение складов, разнятие драк, ловлю грабителей, самовольно обыскивающих, — а теперь бы предстояло убирать опрокинутые столбы, фонари, помогать трамваю. Дело его было, конечно, не там (вчера же сходил и уволился) — а вот здесь.

Много, много тысяч офицеров красовалось в России — заносчивых, грубых, глупых, грозных, но много ли среди них социалистов? Сейчас эта гордая масса (в которой Саша задыхался несколько лет) сотрясена, сбилась как стадо, угодничает, притворяется перед восставшим народом, подписывает униженные документы — но естественно, что солдатская масса не верит ей — и права! Разве это старое офицерьё может существовать без царя?

Однако армия не может обходиться без офицеров — и с кого же первых натягивать это революционное офицерство, если не с социалистов? Подобно тому, как юристы-социалисты призваны в новые мировые суды, — так офицеры-социалисты должны сплотить искренное революционное офицерство. Кадровое будет сейчас тесниться и даже сметаться с пути — а вверх взлетать будут даже из рядовых, как во всякую революцию, как в Великую Французскую простые конюхи становились генералами.

Всё это объяснил ему Филипповский, — и Саша радостно впитал, принял — и к действию. Ни «офицеров революции 27 февраля», ни офицеров-социалистов (каким оказался тут и прапорщик Знаменский, начальник караула бывших министров) не оказалось достаточно для заметных действий. Но вот была цель: расколоть офицерство и ото всей его тёмной, монархической, затаённо-враждебной массы — отделить хотя бы тех, кто сознательно стоит за республику и готов заявить об этом вслух. Заявивши вслух — они уже и отколоты от остальных, а те, оставшиеся, почувствуют себя за обречённой чертой.

Итак, что ж? — Союз офицеров-республиканцев, гласный. Но если просто так объявить запись — сейчас попрёт и всякая скрытая монархическая сволочь, приспособиться к новым обстоятельствам.

А сделать вот как: члены-учредители — только офицеры революции 27 февраля, и никто больше. Для всех остальных вступающих — мало признавать республиканскую программу, но надо представить рекомендацию двух уже состоящих членов Союза. А желательно — и референцию нижних чинов той части, где он служит.

И — завертелось дело! Во многом упало на Сашу: составлять обращение, отдавать его в газеты, сходить раза два в Дом Армии и Флота, наконец — собрать, это уже сегодня, общее собрание членов и принять общие положения Союза.

Увы, собралось в Таврическом всего человек двадцать. Ну что ж, для начала. Трудны и условия приёма. Так даже и лучше.

Председательствовал подвижный Филипповский. И он же будет представителем Союза в Исполнительном Комитете Совета. И он же заверяет офицеров-республиканцев в доброжелательности к ним Совета рабочих депутатов, откуда и будет делегировано в Союз несколько солдат и рабочих.

Солдат и рабочих? К нам сюда? Были — поморщились, а Саша понимал вполне: именно так! в этом — время. Сплачиваться с народом — так сплачиваться!

Итак, цель Союза?

Саша предложил: продолжение и углубление революции!

Некоторые испугались.

— Но победа над царизмом разве закреплена? — искал он понимающих.

Решили: установление демократической республики. Пропаганда в армии республиканских взглядов.

Взгляды — мало. Саша предложил:

— Организация армии на демократических началах. Содействие в этом.

К этому — шло. Кому и не нравится — всё равно этого процесса предотвратить нельзя.

Да, на одних взглядах не удержишься. Революция требует дела — и быстрого. А что даёт последовательная демократизация армии? Армия превратится из царской классовой — в подлинно народную. (В конце концов, в других словах, но сашина идея и прошла: продолжение революции.)

Решили выпускать и свою газету. Назвать её — «Народная армия». И главным редактором — Масловский. (Он сидел тут, в президиуме, как самый старший, самый умудрённый, но почему-то кислый, насупленный.)

Но тогда — и свои журналисты нужны?

Что ж, владея теперь оружием, Саша отроду владел и пером, да наверно не хуже Мотьки Рысса.

Что б ни шептали, а мы докажем: что единение армии с трудовыми массами никак не может ослабить её боевую мощь.

У Саши-то своей роты, своих подчинённых не было — и он честно не представлял, что́ там в казармах творится.

441

А чудовище всё росло! — оно было уже явно за полторы тысячи человек! (И двое из трёх — солдаты, так что рабочее чёрное терялось в серых шинелях.) Когда они начинали вваливаться — не дрожал ли весь Таврический дворец? — а Белый зал распирало. А ведь он уже рухался однажды, теперь как бы не второй раз. С таким Советом Исполнительный Комитет всё меньше мог работать и начинал сильно побаиваться его, совсем неуправляемый орган. Неосмотрительную норму первых дней — один депутат от роты, надо было теперь отменить, чтоб не было этого солдатского превосходства, — но как отменить? как об этом решиться сказать? — могут просто смести объявляющего вместе с Исполнительным Комитетом.

Они заседали вчера с полудня и до позднего вечера, сперва солдаты отдельно, потом вместе с рабочими, и за весь день почти ничего не успели обсудить, кроме отношений с офицерами, что одно и задевало солдат, — да и этих отношений они ни к чему не привели, а только тесен становился им уже и «Приказ № 1», всё не могли решить: выбирать себе новых офицеров голосованием или уж пусть какие есть. А всю свою остальную уродливую повестку дня, если её так можно назвать, они перетащили на сегодня.

А тут назрел другой опасный вопрос: о возобновлении работ на заводах. Об этом заседал сегодня в полдень Исполком, слушали настояния Гвоздева, слушали, конечно, возражения большевиков, — очень боязно было выйти с этим вопросом перед рабочей массой, но и откладывать нельзя. И — решились. Председателем на Совет сегодня послать лихого Соколова, ему всякое море по колено, а докладчиком вытолкнуть туда уважаемого Чхеидзе — его имя всё-таки знают, и каждый день его слышат с крыльца, у него подход есть, пусть он своей старой головой всё и примет.

А что осталась вчерашняя повестка дня, так ещё лучше: пусть весь пыл выпыхнут на чём-нибудь другом, а возобновленье работ протолкнуть к усталому концу.

Из Белого зала уже слышался топот, крики, вопли и аплодисменты чудища.

Этот зал! — видевший все десять лет думских сражений, разоблачений, запросов, и страстных, и тонко-язвительных, и грубо-проломных, и занудно-холодных речей, и ругательных перекриков, и обструкций, и изгнаний на 15 заседаний, и пухло-лебяжью фигуру Муромцева, и отлитое изваянье Столыпина, и слабоголосого Горемыкина, расслабленного угодливого Штюрмера, озадаченного Голицына (только ни разу — самого Государя, лишь портрет его неподвижный до последних дней, а теперь — лишь обвислые обрывки по краям да корона над пустою рамой), — этот зал, где десять лет восклицали интеллигенты и баре, что не слышит, что слышит, что услышит их Россия, этот зал, где так слаба, ничтожна была социал-демократическая группка, — и вот теперь избыточно наполненный неподдельной смурой народной толпой, а на родзянковской скальной кафедре из резного дуба — одни социал-демократы, и тот трагикомический Чхеидзе, соединяющий оба зала, прежний и нынешний, звавший открыть русло улице — а теперь в неуходящем счастливом изнеможении, что дожил до этих дней.

Какой напор улицы! Все депутатские кресла амфитеатром, все ступенчатые проходы между ними, все колончатые хоры для публики, все барьерные ложи — Совета министров, Государственного Совета, журналистов, и все проходы к трибуне, и последний простор у восьми распахнутых дверей, и в дверях, и за дверьми — солдаты, солдаты, солдаты (уже с винтовками редко), рабочие сидя и стоя. Все в шапках, косматых папахах, треухах, шинелях, бушлатах, тужурках, и облако махорочного дыма во всём объёме зала, к стеклянному потолку (и окурки, набросанные под депутатскими пюпитрами). И самый неграмотный тут понимает, что этот барский белокаменный зал с недоглядным освещением потолка деланым светом — не для него же, чухломы, строился, — а вот теперь он заседает тут, махорку покуривает важно и слушает, чего там с вышки.

А туда так и лезут, как на приступ, — и этот с приветствием Совету депутатов, и энтот с приветствием Совету депутатов, а тот — от Москвы, рассказать, как дела у них, а тот — от дальнего полка, как у них. Слушаешь — не наслушаешься, антиресно!

Но помнят и лезут с другою заботою, поважней: *похороны жертв*! Ведь пули дурные летали по Питеру, и скольких зацепило,

а кого и наповал. И где ж теперь мы их положим, наших лучших героев?

Лезут, доказуют: а на самой той площади у царского дворца, чтобы память была вечная, как мы царя осилили. И видней того места в Питере нет. — А мостовая ж там? а столп? — А мостовую — вскрыть, а столп — обойти, и площадь усеять дорогими святыми могилами.

— …Как символ крушения гидры Романовых!

Ура-а, ура-а! — и чернобороденький с вышки руками правит, доволен.

Но лезут другие: не! А лучше разроем Марсово поле.

— …На Марсовом поле, товарищи, при самых могилах жертв мы воздвигнем по всем правилам огромаднейшее здание для российского парламента. И там будут столбы светиться, и телеграф, и это будет центр управления Россией!

Не-е, не-е! Желаем подле дворца!

А похороны обрядить — на сей же неделе (а то морозы спадут — трупов не додёржим). И чтобы фабрики, заводы до тех пор стояли, не работали, — для почтения.

А тут — какую-то тётку, уже сильно в годах, через толпу ведут, протискивают — и туда же, на вышку. А она — нисколь не стесняется, глаз не тупит, посматривает по всем сторонам. И объявляет чернобороденький, что вот ещё великая минута: перед рабочими и солдатскими депутатами выходит

— …наша святая революционерка! женщина, борец, страдалица и мученица! Приехала из изгнания! Каждый из вас с юных лет хорошо знает и чтит её имя! — Вера! Ивановна!! Засулич!!!

И уж так от души поддал — как не отозваться? — из зала рявкнули в глотки, в ладоши, и ногами подтопывая.

— …её нетерпеливо ждал к себе назад наш пролетарий!

Пролетарий — это который в трубу пролетел, нет ни шиша своего.

Так постепенно спускала, спускала пар напёртая масса. И, ловя уже опадание силы в зале и усталость, — Соколов с почётом не меньше засуличского подвывел вместо себя на кафедру — любимого всем пролетариатом председателя Совета рабочих депутатов — Николая Семёновича Чхеидзе.

А Николай-то Семёнович, может, сотую речь за эти дни произносит, а каждую — всё с новым волнением. И не потому, что натолкали ему товарищи по Исполкому, что самый жгучий вопрос, что

надо дипломатично, что надо не вызвать ярости масс, а потому что: сколько ни входи в этот зал — а колотится сердце, сверкают глаза, как тут поносил социал-демократов Марков 2-й; сколько ни подымайся на эту трибуну — а рябит перед глазами визитками, галстуками, бабочками, крахмальными воротничками, и только по часу дозволялось резать рабочую правду им в глаза, — а вот теперь наступило наше счастливое безграничное время! И всё это перебуровливается, перекипает в груди, а через горло уж в каком там звуке проскочит, но все понимают…

Товарищи! Товарищи… И вот теперь, что же? Мы победили врага! Мы победили врага? Мы повергли его окончательно и теперь можем работать спокойно, не боясь нападения? О нет, не можем. И ещё долго не сможем! Потому что в настоящее время мы ведём *гражданскую войну*! — и о спокойной работе не может быть и речи. Но, товарищи, вот мы уже решили день назад, что надо возобновить изготовление противогазов. Ведь наши товарищи сидят в окопах и могут погибнуть от газов, несмотря на славную революцию. И вот теперь Исполнительный Комитет пришёл к заключению возобновить и другие работы. Но — как возобновить? Но, разумеется, так возобновить, что, стоя у станков, каждый момент быть начеку и каждый данный момент быть готовым выйти на улицу и показать свою силу. Но тем не менее мы можем и сказать, что мы — достаточно подавили нашего злейшего врага. Это — мы совершили! И исходя из позиции, которую мы занимаем вне заводов, — мы можем теперь пойти и снова на заводы — но, повторяю, с решимостью по первому сигналу выйти опять с заводов на улицу! Вот что нам подсказывает политический момент, товарищи. Ещё вчера нельзя было этого сделать. Но теперь враг настолько обезоружен, настолько обезсилен, что нам пойти на работы и стать у станка нет никакой опасности. Это подсказывает положение в военном отношении. Но самое важное для нас — это, конечно, организация. Последнее время, надо признаться, мы работали на заводах и фабриках без достаточной организованности. Это, товарищи, оправдывалось нашим порывом к свободе при невыносимом царском режиме. Но, товарищи, в настоящее время это никак не допустимо. Поэтому вы не только занимайтесь вашей специальной работой у станков, а — сильно организуйтесь!.. И на каких же условиях, товарищи, мы можем опять работать? Да было бы смешно, если бы мы пошли продолжать работу на прежних условиях! И пусть об этом знает бур-

жуазия, которая находила такую поддержку у старого правительства! Едва мы станем на работу, да, мы тут же станем и вырабатывать те условия, на которых работать! Но стать, товарищи, — нам надо, потому что есть и тот мотив, что прежняя власть, которая вершила судьбы России, она довела и хозяйство до полной дезорганизации.

Так своим хриплым, но сердечным пением Чхеидзе оправдал надежды ИК — и собрание не взбесилось, не восстало, не грохнуло возражениями.

А тут подставили выступать — наборщика, трёх солдат, одного рабочего, которые все «за», от Исполкома Ерманский, Пумпянский, — и все они толковали, что товарищам рабочим надо к работам приступить.

Правда, полезли и большевики с межрайонцами: потерпев пораженье на ИК, они пытались теперь повернуть всё собрание, и не Соколов был тот председатель, кто хотел бы и мог остановить их.

Доводы их были сильные: что Николай II по-прежнему гуляет на свободе. А революция — слишком подозрительно безкровная. Временное правительство слишком мягко к врагам. А раздача земли до сих пор не решена. А рабочий вопрос — совсем обойден, вот никто не говорит о 8-часовом дне. И что есть заводы, не согласные приступать!

Но правилен был расчёт Исполкома, что собрание ещё с начала разрядило свою главную энергию — на похороны жертв и на Веру Засулич. Да уже все голодные, обедать пора. И противогазы — показались понятны. Да решал дело и солдатский в зале перевес: к станкам-то становиться было не им.

И большевицкие ораторы не повернули зала. И когда с трибуны высунули уже готовую резолюцию от ИК, прочли её один раз, и оговорено там было, что кто из рабочих занят в *непосредственно организационной работе* (все депутаты, кто тут сидят, и кто в милиции, и кто на какую новую должность пристроился), те к работе не приступают, — так это нам по нраву! Проголосовали, и сколько насчитали, за тысячу, — те все «за», а только три десятка против.

А потом, уже расходясь, друг у друга спрашивали: так это что решили? когда приступать? Да прям не завтра ли, с понедельника? Да как это мы своим выложим? Ведь за десять дён отвыкли, не

соберёшь. Так если рабочим приступать — тогда и солдатам на ученье??

Ишь ты, шустрые какие! — уж и с завтрева им! Ежели б ещё поманешечку…

****

ПРИНЯЛИСЬ ГУЛЯТЬ — ТАК НЕ ДНИ СЧИТАТЬ

****

442

Вчера к вечеру ехал Пешехонов в автомобиле по Большому проспекту — и навстречу увидел громадную толпу, которая двигалась с гамом и визгом от Каменноостровского. Алексей Васильич остановил автомобиль, выскочил навстречу — что такое?

Толпа была в основном женская и страшно ликовала, размахивала руками, но не угрожала никому. Оказалось: это — домашняя прислуга, кухарки, горничные, прачки, высыпали после общего митинга и катили по улице, невиданно ощущая себя в силе и хозяевами!

Пробуждению таких чувств можно было только порадоваться? (К толпе присоединялись и мужчины, прохожие, — и в хвосте заметил Пешехонов того гордого всадника первых дней, увешанного лентами, — а теперь плёлся за прислугой в жалком виде, пьяненький.)

Но приехал Пешехонов в комиссариат — ещё новость: по всей стороне расходятся чьи-то прокламации, приглашающие весь народ в воскресенье на Невский для демонстрации.

Это ещё зачем теперь? Большие толпы с неразгаданным устремлением вызывали у него тревогу: они могли громить.

Связались с Советом рабочих депутатов, оттуда ответили — провокация, приглашайте граждан воздерживаться от демонстрации, очевидно контрреволюционной.

Так и слухи ползли: что это — контрреволюционеры нарочно зазывают народ, а завтра начнут в него жарить из спрятанных пулемётов.

Но уже поздно было печатать и клеить по улицам свои отговаривающие объявления, да и не поверил Пешехонов никакой контрреволюции, не придал значения слухам и надеялся, что демонстрация не состоится.

А сегодня (воскресенье не воскресенье, комиссариат бурлил как всегда) часов в 11 утра донесли, что от Новой Деревни по Каменноостровскому движется громаднейшая толпа, больше десяти тысяч, и всё увеличивается по пути — и очевидно, валит на Невский.

Вот так та́к! Никаких мер предупреждения не принял — а вот теперь валила — и что же делать? и остановить нечем! Не пускать же в ход оружие! Да и нет такого отряда, загородить.

А толпа — всё ближе, и вот сейчас — поравняется, смотри — и комиссариат разнесёт.

Сидели и ждали в опасениях.

Но что-то не шла. Да куда ж подевалась? Послали разведать — оказывается, завернула в «Спортинг-палас».

Что делать? Надо спешить туда, а то и «Спортинг-палас» разнесут.

Пешехонов пошёл с двумя-тремя, за себя он как-то ни разу не боялся, он только боялся провалить комиссариатское дело.

Десять не десять тысяч, но очень много. И — митинг. Это уже хорошо: если митинг идёт, то разносить дворца не будут.

Одним аплодируют, другим свищут.

Ораторы — со стола. Дотолкались туда, подсадили Алексея Васильевича, взлез и он.

С разных мест узнали его, встретили аплодисментами.

Пешехонов повеличал их «народным собранием», приветствовал от имени комиссариата, поздравил с завоёванной свободой, вот — со свободой собраний и слова, которую они теперь осуществляют. Заявил, что революционная власть стоит на страже этой свободы и никому не даст её нарушить, что комиссариат счастлив охранять такое многолюдное собрание. Просил он и граждан со своей стороны — не нарушать ничьей свободы, терпеливо выслу-

шивать ораторов, в каждую речь вдуматься, потому что обстановка передо всеми — самая сложная.

Всё сошло хорошо, ещё поаплодировали, и Пешехонов слез со стола.

Но не успели они выбраться наружу, как услышались в толпе возбуждённые крики. Что такое? Кто-то заподозрил в своём соседе полицейского шпика — и вот уже вцепились несколько в этого человека и хотели его рвать, вся публика туда тискалась.

Сотрудник шепнул Пешехонову: «арестуйте». Счастливая идея! Стали кричать, раздвигать толпу, продираться в центр свалки.

Пешехонов грозно арестовал заподозренного, а самых сильных крикунов назначил тут же конвоирами — вести «шпика» в комиссариат. И того, кто опознал шпика, — тоже чтобы шёл с ними.

Собрание успокоилось и продолжало митинг.

В комиссариате опросили всех свидетелей, и оказалось, что никто этого человека не знает и ничего доказать не может.

Отпустили свидетелей, а через полчаса и «шпика».

А митинг продолжался весь день до позднего вечера, но уже без мордобоя.

443

Как приятно пользоваться доверительными услугами — графа! И всегда вкусно, аристократически поесть (кухня графа, передвижная, в подсобной комнате министерства юстиции, и винный погреб графа). И вообще — раздвинуть рамки жизни, узнать до сих пор не известные, лишь измечтанные её слои.

Очень покладистый, славный граф Орлов-Давыдов! И к тому же очень богатый. И Александр Фёдорыч убедил его дать щедрый куш Совету рабочих депутатов. (Надо их чем-то ублажить, так и лязгают зубами на Керенского.)

И много было в Петербурге мест, прежде никак бы не доступных Керенскому, — а теперь они распахивались! Одно такое место — Сенат! Второе — Зимний дворец!

И то и другое решил Александр Фёдорыч пролететь сегодня, в воскресенье. (Ещё успел с утра распорядиться арестовать Вырубову.) Но — не разодевался для этого, а так и поехал в чёрной куртке

австрийского образца, как бы френчике, несколько поношенном, и со стоячим глухо застёгнутым воротом (достал ему тот же граф). Никто так не носит, ни на кого не похоже, уникальная одежда — и демократическая, и революционно выразительная. И не надо три раза в день менять крахмальные воротнички — не видно.

Прежде — каким надо было быть уважаемым и пожилым адвокатом, чтобы подняться до права входа в заседание какого-либо сенатского департамента или отделения, — а вот он, молодой адвокат, — только назначил по телефону, и, несмотря на воскресенье, все старцы Сената собрались в большом зале, и при порывисто-трепетном входе Керенского — встали! (Озабоченный граф спрашивал утром: «А если они вас не признают?» — «Тогда мы — не признаем их!»)

Одно из назначений Сената — регистрировать и распубликовывать все издаваемые кем-либо законы, только с этого распубликования они становятся законами. Так и вчера утром опубликованные Манифесты царей об отречении — ещё ничего на самом деле не значили и никакими законами не были, пока не пройдут через Сенат. (И сенаторы могли вчера целый день изумляться.)

Но и наверно никогда, от самого петровского сотворения Сената, законы не доставлялись в него лично министром? Привозил курьер в конверте, тут секретарь записывал название закона в журнал, будто бы «слушали — постановили распубликовать», и отсылал дальше конверт в типографию. Нет, никогда Сенат не видывал министра, привозящего закон!

Но и никогда же не бывало такого ослепительного, обаятельного и легендарного министра!

Но и никогда же не бывало такого судьбоносного события в Российской Империи, как отречение от престола — да сразу и царя, и всех его возможных наследников!

Событие — стоило приезда!

А приезд — стоил того, чтобы весь 1-й департамент собрался в большом зале вокруг стола подковою. А перед столом — два трона, старое кресло, ещё Павла Первого, и маленькое кресло для наследника. В 1-м департаменте первоприсутствующим считался сам Государь, и в знак того всякое заседание открывалось стоя.

Но Керенский того не знал, никто ему не объяснил. Он вошёл своей стремительно-пружинной походкой (за ним — два прапорщика, вооружённые до зубов) — и увидел два десятка сенаторов в

шитье, позументах, орденах, почтительно подковообразно встречающих его. Керенский нашёл вполне естественным, что старцы стоят. Но так как они продолжали стоять и когда он поравнялся с тронами и оглядел их, то он наконец кашлянул:

— Э-э-э, господа… Может быть, вам угодно будет сесть?

Старцы сели, как бы неохотно. А Керенский обнаружил близ трона высокий пюпитр, зашёл за него и обратился с краткой, но весьма значительной речью. (Речи стали даваться ему просто как блинчики.) Сказал о значении Манифестов, о значении Сената — и предложил их ему на хранение на вечные времена, и теперь ответственность за их сохранность будет вечно лежать на Сенате.

Он протянул лёгкую руку к одному из прапорщиков — пакет влетел ему в руку. И уже другой рукою министр поманил, позвал, кто бы из сенаторов…

И один старец взял пакет, вынул драгоценные Манифесты, развернул их — и все снова встали, так что и министру в чёрном френчике не пришлось сесть. И надтреснутым голосом стали читаться исторические тексты. И с одобрением склонив набок умную бобриковую голову, министр дал себе труд терпеливо прослушать тоже — он, кажется, и наизусть начинал эти тексты знать.

Затем было спрошено старшим старичком: кто против распубликования?

И вдруг Керенский молниеносно догадался:

— Минуточку, господа, минуточку! Я — выйду, чтобы вас не стеснять.

И — с удовольствием, скользя по паркету, сильно размахивая руками, вышел за дверь, прапорщики за ним.

Но и пяти минут не прошло, скорее четыре, — его пригласили вновь. И, так же стоя подковою, представили ему, что 1-й департамент не имеет возражений.

И Керенский ещё благосклонней расположился к старцам. И, не желая теперь покинуть их в робком состоянии и претендуя понравиться им ещё больше, — да он был в расположении и состоянии нравиться вообще всем на земле, — сказал:

— Благодарю вас, господа сенаторы! Я только за этим и приезжал. А ещё я хочу сказать вам, что я не какой-то там Марат судебного ведомства, как обо мне уже ходят городские слухи, но я хочу, чтобы Сенат был настоящим Сенатом. Работайте и при мне, пожалуйста. Работайте по совести, свободно, как думаете, не оглядываясь и не прислушиваясь, чего хотят на стороне.

Подумал. Так славно говорилось. Почему-то очень понравилось ему здесь. О чём бы ещё сказать?

— Да! — вспомнил. — Ещё вы получите скоро указ… Я учреждаю Чрезвычайную Следственную Комиссию для расследования противозаконных действий высших должностных лиц — бывших министров, высших сановников, а может быть, — зачем-то соскользнул он, сам себя не проверяя, с ним бывало так, — сенаторов?.. И вот тут, господа, — голос его позвончел и ещё поюнел, — тут я должен предупредить, что я буду безпощаден! То есть, — исправился, — что над виновными будет справедливый суд.

И какая кошмарная картина развернётся перед следствием!

Может быть — дрогнули, но всё так же хорошо стояли и слушали (всё не было повода сесть), и даже смотрели слёзно-восхищённо (когда они видели такого молодого, деятельного, кипящего министра?!), — даже полюбил Керенский этих старичков, и хотелось сказать им ещё что-нибудь. Оглянулся, не висит ли ещё где портрет отрекшегося императора? — портрет как раз не висел, очевидно заменяли троны.

— Троны эти, да… — определил Керенский, и сам уловил в своём голосе почему-то сожаление, — троны надо будет вынести.

У себя-то в министерстве он уже вчера распорядился отнести на чердак все прямые и косвенные портреты, а чинам ведомства запретил носить какие-либо ордена или ленты, заслуженные при старом режиме. Однако старичков-сенаторов жалко было лишать их игрушек, очень уж импозантно выглядело на них. Об орденах — не добавил.

Ещё мог он им, конечно, объявить, что готовит политическую амнистию, и как успешно идут по его плану аресты сановников, начиная со Щегловитова, и что прекратил дело об убийстве Распутина и велел дать знать сосланным князю Юсупову и Дмитрию Павловичу, что нет препятствий к их возврату…

Но за ту минуту, что министр задумался, старцы предприняли своё действие, уже подготовленное ими. Выступил важный высокий сенатор Врацкий с апоплексически красным лицом и стал ещё новым дребезгом читать — как бы резолюцию Сената: Сенат выносил глубочайшую признательность Временному правительству за почти безкровное установление внутреннего мира, за быстрое восстановление законности и порядка в нашем дорогом отечестве.

Так они тоже радовались перевороту вместе со всем народом? Превосходно!

Хорошо, хорошо, мелко-часто покивал им на разные стороны Керенский, хорошо, принимал он ото всего Временного правительства — за эти дни он уже почувствовал, что значит собою больше, чем отдельный министр, и даже чем часть правительства, и даже в отдельных случаях являет собою как бы целокупное правительство. (Отчего и терялась ему надобность ездить на все их заседания.) И воскликнул:

— Господа! Я почту своим долгом передать ваше заявление Временному правительству. Я счастлив, что на мою долю выпало внести документы первостепенной государственной важности — в это учреждение, созданное гением великого Петра!

Взлёт! полёт! перелёт! — вот что ощущал все эти дни и каждый час Александр Фёдорович. И вот он уже был на переезде-перелёте в Зимний дворец, прихватив с собою и знакомого либерального сенатора Завадского, которого решил включить в Чрезвычайную Комиссию.

Зимний дворец! — почему-то всегда безумно хотелось тут побывать! Как нервы дразнит — стоит в самом центре города, сколько раз проезжаешь мимо, — а что там внутри?

На заднем сиденьи автомобиля разговорился с сенатором — и с большим удивлением впервые узнал от него, что Зимний дворец не является личной собственностью императора, как, например, Аничков и царскосельский, а лишь предоставляется в пользование царствующему Государю. Так это только облегчает теперь формальное взятие дворца в ведение Временного правительства! (Сенатор отмечал, что из отречения Государя не вытекает его отказ от частновладельческих прав, так что, например, Аничков…)

Тут автомобиль остановился внезапно, и солдат, сидевший рядом с шофёром, куда-то пошёл.

— Что такое? — поразился Александр Фёдорович.

Шофёр ответил, что солдат велел подождать, пока он купит газету.

Александр Фёдорович почувствовал, как вспыхнуло жаром его лицо перед сенатором.

— Что за безобразие! — вскричал он тонко. — Поезжайте немедленно дальше, пусть идёт пешком!

Шофёр неуверенно тронул. А Керенский уже и раскаялся: а вдруг этот солдат — из Совета депутатов или имеет там связи? Он может злословить, и это отразится на репутации министра.

— Ну хорошо, подождём минуту,— остановил он шофёра.

И действительно, солдат вернулся с газетой и на переднем сиденьи стал её читать. Поехали.

Зимний дворец! Какое особенное чувство — полновластно войти в него, через главный конечно вход, с набережной! Что за невиданная мраморная лестница в два разомкнутых марша, сходящихся наверху, и с мраморными вазами на балюстраде.

Навстречу поспешали предупреждённые дворцовые лакеи (или, может быть, мажордомы?), поспешали с такою важностью, как если бы были и сами младшими министрами, зная цену себе и представляемому дворцу, однако и приехавшему молодому человеку:

— Ваше высокопревосходительство…

— О нет, о нет! — протестовал Керенский, — просто: господин министр.

А какой был взлёт простора до потолка — как небо! Пятнадцать? двадцать человеческих ростов?! Декоративные окна, стрельчатые своды, под самым потолком обнявшиеся скульптуры, а ниже их, венчая лестницу, манили высокого гостя полированные темногранитные колонны.

Вот что: министр распорядился собрать всю дворцовую обслугу — в тронном зале! (Известно было, что такой есть.) А пока — вверх! и вглубь! и дальше! Осмотр! На крыльях!

О, какое наслаждение проходить властью по этим пустынным роскошным залам при сверкающих полах, а на стенах — старые картины в тяжеленных рамах, а на стенах галерей — исторические генералы, а у стен в углах — резная мебель, а над головой — узорные люстры.

Положительно странно было бы вводить сюда 600—700 дурно воспитанных членов Учредительного Собрания. Нет!

— Скажите, а где у вас тут Малахитовый зал?

Важные разодетые лакеи вели, вели, сзади поспевал сенатор, тоже как услужник министра.

Керенский нёсся вперёд, как завоёвывая эти лакированные просторы. Вот для чего этот дворец — жить в нём, обитать! Как это удобно! И как это исторически и величественно!

— А где была спальня Александра Третьего?

Александр Фёдорович задумал: в дальнейшем непременно так устроить, чтобы здесь пожить. Царской семье уже тут не бывать.

Вспомнил предсказание Гиммера ему вчера: «Через два месяца у нас будет правительство Керенского».

Только через два месяца?

Пронеслись — и заскочили в другую анфиладу, всю занятую лазаретом. Ну, это дело известное, лекарственные запахи, бинты, больные, постели, плевательницы. Но уже попал — и велел собрать близкую кучку медицинского персонала, держал к ним речь: пусть никто ничего не боится!

Подозвал какой-то лежачий раненый. Керенский демократично подошёл. Тот шёпотом пожаловался, что за эту неделю стал суп невкусный.

Потом, потом! Кругом, назад!

— В тронный зал!.. А где у вас хранится корона, скипетр?

В величественном сумрачном зале была уже собрана многочисленная дворцовая челядь — стояли густо, но в отдалении от трона.

Керенский взошёл на две ступеньки трона (не выше) и оттуда объявил:

— Господа! Отныне этот дворец становится национальной собственностью, а вы — государственными служащими. Мне сказали, что вы опасаетесь издёвок, угроз от народа, — ничего не бойтесь! Великая Безкровная Революция произошла ко всеобщему нашему благу!..

444

Начался сумасшедший дом с Петрограда, но вот уже сумасшедшим домом становилась и вся воюющая Россия. Не стало Балтийского флота! Начал разваливаться и Северный фронт: в самом Пскове Рузский уже не был хозяином, а на всё у него находились только телеграммы к Алексееву. А вот уже и до Брусилова стало докатываться, уже и он телеграфировал: остановить печатанье откровенных телеграмм о том, как убивают адмиралов, генералов, офицеров. Уже и у Брусилова, как у Эверта, хозяйничали в тылу самозваные вооружённые «делегации», арестовывающие военных начальников и бунтующие солдат к избранию новых. В самом Могилёве отставили губернатора, меняли администрацию, назначили губернского и уездного комиссаров, в городской думе снимали старинные портреты Павла I, Екатерины II, Александра I, по городу там и сям возникали возбуждённые сборища, особенно

еврейского населения. В Могилёв воротился с Ивановым Георгиевский батальон, — но от его прибытия не спокойней стало в городе, а будоражней. Сегодня с утра он прошёлся с музыкой по Днепровскому проспекту, губернаторской площади — и пошагал дальше по городу. За ним — электротехническая команда с красным флагом, за ней и штабная — уже с красными лоскутами! Собиралась и толпа, пошла к городской тюрьме «освобождать политических» — но оказалось, что их содержалось всего трое и они были освобождены ещё позавчера. Стягивались на Сенную площадь — «там будет объявлена революция». И приходилось что-то объявлять?

Генерал Алексеев с утра колебался, съездить ли на обедню в штабную церковь, затем оставил это намерение — и не видел другого выхода, как назначить от себя через два часа общее построение могилёвского гарнизона с разъяснением событий. Разослали распоряжение. Назначил — на Сенной же площади, чтоб не оскорблять Государя видом под его окнами, и так маршруты шествий назначить, чтобы не шли через губернаторскую площадь. Решение было правильное: так Алексеев сорвал самочинную сходку, упорядочил её. Поехал туда на автомобиле со штабными чинами. Военный строй стоял прилично. Густилась и толпа вокруг. И конвойцы, и все солдаты Собственного железнодорожного полка были в императорских вензелях. Дежурный генерал огласил оба Манифеста и приказ Николая Николаевича по армии. Солдаты кричали «ура». Алексеев с балкона общественного здания, напрягая горло, наставил:

— Солдаты! Вот какой переворот совершился по воле Божьей. Призываю вас честно и верно служить новому правительству. Не забывайте, что перед нами стоит страшный враг. Всякая армия сильна единением. Мы должны довести войну до победоносного конца!

Затем и от городской думы выступили — о значении момента и необходимости сохранять спокойствие. Так всё и обошлось прилично. Нет, Ставка ещё пока была спокойным местом. Тут ещё никого не обезоруживали, не было нападений и посягательств.

Но после парада начальник конвоя Его Величества граф Граббе явился к Алексееву с разумной просьбой: конвою — снять императорские вензели и переименоваться в «конвой Ставки Верховного».

Это верно. Вензели — что ж теперь удерживать.

И такие ж предстояло Алексееву соскрести и со своих генерал-адъютантских погонов…

Отрекшийся Государь совсем-совсем не представлял, как изменилась обстановка за эти дни. Как она менялась каждый час. Он — ничего не понимал, если мог вчера лепетать о возврате отречения!..

И большие, грустные, упречные глаза так доверчиво смотрели, надрывая душу. Пока был императором — не так виделось, что глаза его беззащитны. Это — теперь открылось.

И уж тем более не понимает Государь, как он стесняет Ставку своим пребыванием здесь. Вот он вчера приходил два раза в квартирмейстерскую часть, а все видят, революционные элементы в самом штабе, особенно нижние чины. Чтобы предупредить ещё возможный его приход? и чтоб не обижать, — Алексеев сегодня послал Государю копии сводок о военном положении. А чтобы сдвинуть его отъезд — повторно телеграфировал Львову и Родзянке, прося ускорить рассмотрение просьб отрекшегося императора и командировать представителей правительства для сопровождения поездов его до места назначения.

Как понимал Алексеев, бывший император уже не может ехать сам по себе, без нагляду.

Генерал Алексеев, никогда не служивший без прямого начальника над собою, вот оказался в эти грозные дни — одинокий и самый старший. Государь — беззвучно отвалился. Правительство новое хотя и образовалось, но какое-то уклончиво-переменчивое, неизвестно, как от него добиться дела. А новый Верховный сидел за три тысячи вёрст, за Кавказским хребтом, и ни почувствовать не мог здешней обстановки, ни влиять на неё верно. А Главнокомандующие — только вот слали грозные рапорты и требовали остановить гангрену, ползущую на армию.

А — что оставалось Алексееву? Его держали за руки — не расправляться с гангреной. Ему оставалось тоже — лишь жаловаться кому-нибудь по телеграфу.

И он — жаловался. Сегодня днём дал Гучкову очень серьёзную телеграмму: правительство должно же наконец заговорить и указать всем воинским чинам, населению и местным гражданским властям на преступность таких деяний, как аресты воинских начальников и избрания солдатами новых начальников! Военное министерство и в собственной опубликованной программе допустило самый неопределённый опасный пункт о полноте обществен-

ных прав у воюющих солдат, — этот пункт должен быть либо немедленно уничтожен, либо разъяснён разграничением солдатских прав и обязанностей. Алексеев — просто вопил к военному министру, что надо энергично спасать военную дисциплину в самый кратчайший срок и до конца войны оставить привычный строй службы и отношений.

Ушла телеграмма — и как завязла в болоте: час за часом, ответа не было.

Правительство как будто желало продолжать войну? Но ничего не делало, чтоб сохранить армию.

Отклик пришёл из Тифлиса, но помощи в нём не содержалось: повелевал великий князь генералу Алексееву объявить в самых категорических выражениях Львову и Родзянке, что и он, великий князь, требует от них категорического обращения к войскам, иначе и он, великий князь, безусловно не ручается за поддержание дисциплины, следствием чего явится неминуемый проигрыш войны.

А ещё велел Верховный Главнокомандующий его высоким именем объявить войскам, что никакие такие «делегации» не посланы правительством, а все подосланы врагами России.

Там, далеко, ему не чувствовалось, как это здесь никого не убедит.

И вот прошло шесть беззвучных, безотзывных часов — и Алексеев погнал Львову-Гучкову-Родзянке новую телеграмму. Что какие-то неуловимые элементы создают солдатские организации на Северном фронте, наблюдается их попытка стать хозяевами во Пскове. Дабы не допустить позора России, новому правительству необходимо наконец проявить власть и авторитет: срочно, определённо и твёрдо сказать, что никто не смеет касаться армии. А военный министр должен воззвать, что основной долг армии — сражаться с врагом внешним, а никакие делегации не имеют права вводить перемены в нормы войсковой жизни. Нужно спасти войска от развала всеми силами и способами!

Они там все были на местах и на отзыве, пока шла речь, как получить министерские посты. А получив — заглохли, онемели. От того, что делалось на фронте, от Свеаборга и уже до Киева, правительство воюющей страны должно было сотрястись, отвечать на телеграммы каждые десять минут, приходить к аппарату через полчаса! Но в заколоженном отупевшем Петрограде не хотели ни понять, ни откликнуться.

И спустя ещё три часа, уже вечером, Алексеев послал новую телеграмму всё тем же троим и всё о том же: что армия катится к полной небоеспособности, грозит проигрыш войны. И приведёт к роковой катастрофе всякое промедление в присылке текста новой присяги. Брожение в армии можно объяснить исключительно тем, что для массы простонародья остаётся непонятно истинное отношение правительства к воинским начальникам.

И — как об стенку горох. Правительство — молчало.

А действовать смело сам военными средствами — генерал Алексеев не решался, после отговоров Гучкова.

445

Где же та множественность путей, которая открывается в обширной талантливой стране перед талантливым человеком, наконец пришедшим к власти? Такого обременённого, унизительного положения, какое застигло Гучкова в первые же сутки на посту военно-морского министра, он никогда не мог бы представить, это не почерпнуть было ни из какого опыта. В Кронштадте и Гельсингфорсе убивали, говорят, по каким-то заготовленным *спискам,* — и лучших боевых офицеров, совсем не в хаосе обезглавили флот! Но ни тех убийц, ни даже убийц Непенина Гучков не мог арестовать, расстрелять, ни даже наказать, ни даже побранить, но писать по морскому министерству приказ такой, какой согласится выполнить революционный сброд: «…порядок в России повсеместно восстанавливается. Повинуйтесь своим начальникам, так же, как и вы, признавшим произведенный народом переворот…»

Сегодня было воскресенье, — но какое кому теперь воскресенье? Все министры ехали по своим министерствам, а после трёх часов должно было заседать и всё правительство. (Да как оставаться дома? — в трёхсотый раз опять какая-то нависшая необъяснённость, тяжёлые взгляды жены, — ещё на это тратить нервы в такой момент! Придумал: переедет один в министерскую квартиру при довмине. Выглядит естественным шагом: надо находиться при прямом проводе.) И Гучков с утра поехал в довмин.

Тут ждали его телеграммы. От Эверта и Брусилова — об арестах военачальников и самовольных выборах. Из Моздока: смещён атаман Терского войска. Из Читы: смещён атаман Забайкаль-

ского войска, да не казаками, а каким-то общегражданским комитетом. А в 171 пехотной дивизии солдаты арестовали весь штаб. Да вот рядом, в Сестрорецке: солдаты арестовали всех офицеров!

Что же делать?

Да Гучков охотно бы сейчас порвал с Советом депутатов! Начал бы с ними открытый конфликт, — это было в его натуре, грохоту побольше! Ему даже легче так.

Но ведь всё правительство отшатнётся, он так и видел этих трусов, а есть и министры-заискиватели перед Советом.

И потом: раз петроградские воинские части уже захвачены Советом — к чему такой конфликт может повести, если не к гражданской войне? А как отважиться поднять её, когда идёт война внешняя?

Не хватало опоры во всём армейском пространстве. Надумал Гучков послать запросы в Ставку и на все фронты: как воспринят ими разосланный вчера приказ № 114, какие есть соображения? (Учесть их при дальнейших шагах.)

Тут доложили, что генерал-лейтенант Корнилов прямо с вокзала явился к своему министру.

Отлично! Звать.

Невысокий, чёткий, с фронтовою свежестью — обдал свежей надеждой и Гучкова. Сух, ничего лишнего в фигуре, только — для войны и разведки. Знаменитый на всю Россию генерал, год пробыл в австрийском плену, бежал в шинели австрийского солдата, портрет его обошёл всю Россию. Лицо настолько простоватое, ещё и под короткой незамысловатой стрижкой, — может сойти за простого унтера, не принять его никак за генерала, ничего общего с той аристократической белой костью, одинаково ненавистной простым солдатам, Совету или Гучкову. Да калмыцкое или бурятское в лице, светло-оливковая кожа, узкие глаза, проверяющее недоверие с огоньком, — о, да отлично он будет разговаривать сейчас с распущенными массами!

Когда вопрос не поддаётся решению теоретическому — его можно решить личностью?

Конечно, общего развития, общего охвата событий от него не жди. Ни даже стратегического кругозора. Но таких операций ему и не предстоит. А личная храбрость — вне сомнений. Верный исполнитель. Замечательный выбор!

Как хозяин Военной комиссии Гучков с большим правом мог сказать сейчас (хотя не он придумал):

— Лавр Георгиевич! Это — я выдвинул вашу кандидатуру. Я очень надеюсь...

Один георгиевский крест на груди, один — под шеей, никаких больше орденов не носит. Унтерские и усы, с извивом, никак не фиксатуаренные. Хмуро-серьёзный и как будто нисколько не польщённый принятием Округа, слушал как задание на местную разведку.

И эта правдивая его военность, без интеллигентских мудростей, окончательно подкрепила Гучкова: вот такой военной косточки и не хватало сейчас в столице.

Объяснил ему положение: настроение частей, агитация, «приказ № 1», положение офицеров, Совет депутатов, обязательство не выводить гарнизон, — да он сам всё увидит лучше. И вот, надо найти путь вернуть дисциплину. Без всяких внешних средств и с кипящим этим материалом — создать опору для Временного правительства. Что касается личных назначений и смещений — неограниченные полномочия, устранять непригодных, а приглашать хоть с фронта.

Уговорились встретиться завтра-послезавтра. И на том Корнилов, так и не улыбнувшись ни разу, не расслабясь, поехал в Главный штаб.

А не успел уехать — принесли Гучкову только что наклеенную на бумагу ленту новой телеграммы Алексеева. Просил Алексеев: никакими реформами не заниматься, оставить в покое привычный строй службы и отношений. Он был встревожен так, что это ломало тон служебной военной телеграммы, он настаивал на энергичных правительственных мерах для искоренения заразы разложения войск — прежде чем она полностью перекинется из тыла на Действующую армию. А сама правительственная программа, обещание общественных прав солдатам во время войны, — грозит гибельными трениями. Алексеев просто писал, что надо *спасти* военную дисциплину.

Сидел Гучков над этой телеграммой — а ответить было нечего.

Следовало бороться с первой минуты? Ещё вчера бы — начисто о т м е н и т ь «приказ № 1»?..

Но ничего б это не дало, не подействовало б. Алексеев не может представить, как тут, в Петрограде, запуталось. Алексеев не может же хотеть гражданской войны для спасения дисциплины.

Так что ж? На третий день — да с грохотом уйти из министров?

Но как тогда все его реформы, все его мечты? Если будут уходить такие, как он, кто ж останется Россию направлять?

Тем временем ехать надо было на дневное заседание правительства, и так уже опаздывал. Сегодня, когда меньше дел, так и поехать, в иной день не соберёшься.

Так, за несколько часов в довмине ничего решительного не совершив, Гучков в расстроенном состоянии поехал к Чернышёву мосту.

Тут уже начали.

Сел к овалу большого лакированного стола, где место было, — не почувствовал, что сел в кругу своих. Как будто и в одном штурме власти шли, а — все порознь.

Обсуждали что-то нудное, для Некрасова: создать при министерстве путей сообщения комиссию в 15 человек, конечно оплачиваемую казной… И — создать при министерстве путей сообщения объединённый транспортный отдел, тоже оплачиваемый, чтобы лучше распределять грузы.

А — как до сих пор распределяли годами?..

Чёрт его знает что, сидела дюжина любимых избранников народа и ковырялись, как дети в песочке, когда трясло всю страну и армию и каждая минута была дорога, чтоб не развалиться государству на части.

Милюкова, конечно, не было, не дурак он тут сидеть.

Князь Львов со своей идиотской елейной улыбкой вёл заседание как приятнейшее. Перекинул Гучкову по столу две телеграммы.

От Николая Николаевича, Львову. Сидя за Кавказским хребтом, обещал установить дисциплину во всей армии. И надеялся, что правительство вернёт заводы на работу.

Тон каков и какое понимание обстановки! Ну, сидишь пока за хребтом — и сиди.

Вторая, сегодняшняя. Чтобы все правительственные пожелания шли через Ставку, а сам он отдал категорическое распоряжение, дабы…

Нет, такой индюк Верховным Главнокомандующим Гучкова совсем не устраивает.

Тем временем докладывал Некрасов, что от него требуют прекратить курсирование литерных поездов. (Переполох шёл от приезда императрицы-матери в Ставку.)

Затем обсуждение коснулось и Гучкова: великий князь Михаил Александрович (как состоящий теперь у правительства в фаво-

ре) просит принять меры к охране членов императорского дома. Надо принять. Охрана? Это — дело военного министра.

Получалось, что так. Ещё нагрузка.

Но императорский дом — рассыпан, рассыпан, кто только где не живёт. А — Царское Село?

Ещё забота.

Тут появился Керенский, как торопливый именинник, без которого всё задерживалось. И сразу оказалось необходимым предоставить ему слово. И — упивчивым голосом он стал сообщать о своих сегодняшних похождениях: как он устроил торжественное заседание Сената да как посетил Зимний дворец и какие у него впечатления.

Князь Львов благоглупо-одобрительно улыбался.

Подосадовал Гучков, что приехал на заседание. А кончил Керенский — устроили перерыв.

И только в перерыве, только потому, что остался на перерыв, услышал из кулуарных разговоров такую мелкую новость, которая на заседании даже не обсуждалась почему-то: что от имени Совета депутатов Чхеидзе представил Львову постановление, чтобы царь и царская семья были немедленно арестованы!

Львов колебался. Даже и Керенский. Министры шептались по двое, по трое, и не было ничего решено.

Но, шут подери! Гучков, бравший отречение, имел перед бывшим царём и моральную ответственность! За что его арестовывать? — он легко сдался, добровольно отрёкся. Не пытался мешать революции. И никаких законов не переступил. Вот прислал просительные пункты — ехать в Царское Село и в Англию. И отчего ж не отпустить, он будет безвреден?

Озабоченно и решительно Гучков возражал князю Львову.

Да Львов и не настаивал, разве он хотел ареста царя? Но ведь вот как уверенно требуют! А за ними заводы, и гарнизон.

Чёрт бы их всех побрал! — гарнизон — не за военным министром?!

О, какой же скалой давил Совет!

А если арестовать — то на кого же падает арест, как не опять на военного министра?

И в мрачности Гучков уходил, — тут принесли князю Львову ещё телеграмму, он глянул — и передал:

— Это бы вам естественно, Александр Иваныч. Воззвание бы, наверно, надо…

Телеграмма была с тройным адресом — Львову, Родзянке и Гучкову, значит такая ждала и в довмине.

И опять от Алексеева! Старик места не находил от тревоги и настояния. Самоуправные солдатские группы на Северном фронте. В Выборге. Во Пскове еле держится власть Рузского, а убит полковник. Наконец, должно же правительство проявить власть и высказаться определённо. Спасти войска! Продолжение развала — конец войны! И дать общие разъяснения о новом государственном строе.

Князь Львов тоже так считал: если сейчас всем хорошо объяснить — то всё прояснится, и все подобреют.

— Напишите хорошее воззваньице, Александр Иваныч.

— Да кому-то уже поручили? Некрасову?

— А вы бы ещё одно, по своей линии, — улыбнулся князь.

Да ведь и действительно уходили драгоценные часы!

Ехал опять в довмин, меся и разбрызгивая автомобильными колёсами побуревший снег. Ехал — с решимостью, с напряжённой волей.

Но — что именно делать?

И теперь ещё — этот арест царя? А — с Царским Селом? А если — на них там нападут?

446

(Провинция по тогдашним газетам. Фрагменты)

* * *

Вся губернская и уездная Россия узнала о перевороте сперва по железнодорожному телеграфу, за подписью неведомого Бубликова. Потом — обычным телеграфом, за подписью Родзянки. Телеграммам этим везде поверили сразу, имя Родзянки внушало уверенность.

Прежде этих телеграмм ни в одном городе никаких событий не произошло.

* * *

Нигде не встретили революцию послушливей, чем в **Екатеринославе**. Губернатор издал постановление: «Всякие выступления против нового правительства будут всемерно преследоваться и караться по всей строгости». Городская дума постановила: поставить в думском зале мра-

морную фигуру нашего земляка Родзянки. В городе поставить памятник Освобождения с фигурой Родзянки в центре. Городскую площадь назвать именем Родзянко. В думе расширить представительство евреев и рабочих.

* * *

В **Харькове** военная цензура ещё и 2 марта запрещала печатать известия из Петрограда, объявляя их подложными, но они передавались по телефонам через частных лиц. Толпы народа окружали редакцию, телеграммы читались сотрудниками с балкона. Манифест об отречении был получен поздно вечером 3-го и в конце спектакля драматического театра объявлен со сцены редактором газеты. Несмотря на ночь, новость быстро разнеслась по городу. 4 марта общественный комитет вступил в управление городом, и губернатор был арестован. Чины харьковской полиции приветствовали избрание Временного правительства и выразили твёрдую веру, что только народные избранники обезпечат стране верный путь к победе. Решено полицию оставить. Заведывать полицейскими участками посланы адвокаты. Студенческая боевая дружина арестовала начальника гарнизона и нескольких офицеров. Студенты-медики прекратили занятия впредь до удаления профессоров, назначенных старым правительством.

* * *

Ревель. Из местной тюрьмы освободили свыше 800 заключённых (из них оказалось: политических двое, остальные уголовные). Немедленно по освобождении они бросились громить окружной суд и увлекли за собой толпу, другие — разоружать полицию. Здание суда сожгли дотла, в огне погибли все уголовные и гражданские дела, бумаги нотариуса и архив. По всему городу полились погромы, грабежи и убийства. Тогда снова выдали оружие полиции и жандармерии — и в несколько часов в городе наступило спокойствие.

* * *

В **Твери** губернатор Бюнтинг, известный как ярый реакционер, видя угрожающую толпу, идущую на его дом, соединился по телефону с епископом и исповедался. Толпа ворвалась, арестовала его. Заколот солдатами по пути на гауптвахту. Разгромлен старинный дворец и винные склады. Весь день на улицах безпорядочная стрельба, были убитые.

* * *

Ярославль. 2 марта создан комитет общественной безопасности. Губернатор, жандармерия и полицейские чины арестованы. Полиция снята с постов. Прекращена продажа денатурированного спирта, чтоб

удержать пьянство. Когда было получено царское отречение, Совет рабочих депутатов сперва запретил печатать его, опасаясь, что оно подложное.

* * *

Кострома. На родине бояр Романовых революция победила без единого выстрела. Вице-губернатор бежал, губернатора вели по улицам под обнажёнными шашками. Вся администрация арестована, полиция обезоружена, сожжён архив жандармерии. Епископ отслужил молебен, костромское духовенство решило не поминать семью Романовых.

* * *

Нижний Новгород. Тысячные толпы у нижегородского кремля. Городской голова вышел к манифестантам и объявил, что город присоединяется к новому правительству. Начальник гарнизона первым из администрации отрёкся от старого правительства. Губернатор заявил, что подчиняется, но был арестован, а за ним добровольно последовала жена. Командир пехотного полка выстроил полк и сказал: «Я католик, но осеняю себя православным знамением». И провозгласил присоединение полка к новому правительству. Караул тюрьмы поднял красный флаг и освободил политических заключённых. Толпа добилась также освобождения уголовных (1300 чел.). Полиции не стало. Разбито несколько лавок. Толпа срывает царские вензеля со всех зданий. Арестовано всё полицейское управление, весь прокурорский надзор, начались аресты полиции по уездам. Граждане просят убрать нехристианского пастыря архиепископа Иоакима, давшего укрытие чинам жандармского управления. Группа дворян — за присоединение к новому правительству.

В память революции городская дума решила построить здание народного университета и сразу собрала от купцов 700 тысяч рублей.

* * *

Казань. Университетская студенческая сходка постановила, что уличные выступления недопустимы. Губернатор и командующий Военным округом генерал Сандецкий телеграфировали Временному правительству о подчинении. Но Сандецкий арестован.

* * *

В **Саратове** ещё 1 марта восторженно встречены редакционные летучки о событиях в Петрограде. В редакциях днём и ночью — тысячи народа, требуют новых известий. К думе подошли манифестации, подхватили на руки городского голову и гласных и так, с рук, они говорили речи. Оркестры непрерывно играли «народную марсельезу» — и под марсельезу толпа несла на руках освобождённых политических. Ис-

полнительный комитет заседает безпрерывно. Начальник гарнизона генерал Заяц присоединился. Арестована вся старая власть от губернатора до городового, 250 чинов полиции, а также предводитель дворянства. Арестованы лидеры чёрной сотни. Три епископа примкнули к новому правительству, группа духовенства обратилась с горячим воззванием к пастырям разъяснять значение Учредительного Собрания. Желая послужить родине, чины полиции просят отправить их на фронт.

* * *

Царицын. Ошеломляющее впечатление и необычайное оживление после агентских телеграмм. Чины сыскного отделения и начальник тюрьмы оказали сопротивление при аресте, отстреливаясь из-за баррикады. Священник Горохов в церкви произнёс зажигательную речь с призывом стать на защиту старого порядка и восстать против нового строя. Арестован по распоряжению Исполнительного комитета. Изо всех полицейских участков дела выброшены на улицу и сожжены. Охрана города поручена студенческому батальону. Неумолчно играет оркестр военной музыки.

* * *

В **Моршанске** гимназисты весело повалили за солдатами на манифестацию со своим гимназическим знаменем из тёмно-синего бархата с золотом, где вырезали дыру на месте двуглавого орла, и с красным знаменем «Да здравствует свободная школа».

* * *

Орёл. Забыто всё обычное, жизнь в городе забурлила, главная улица переполнена народом. Приходили полки и команда выздоравливающих с музыкой и с криками: «Ура! Свобода!» При освобождении тюрьмы получили свободу и все уголовные. Среди них был и генерал Григорьев, предатель крепости Ковно, он уже сел на извозчика, но его заметили и не дали уехать.

* * *

Тула. Солдаты спали, толпа подняла их ночью. Арестованы все власти и начальник гарнизона (но дал клятву верности новому строю и освобождён). Разгромлены все полицейские участки, арестована вся полиция. Направлен воинский отряд для подавления сопротивления в Богородицке. Все вокзалы от Тулы до Москвы в красных флагах.

* * *

Воронеж ещё и 3 марта был в руках старой власти. Но вечером прибыл поезд с воинской частью из Петрограда, и они водворили новый порядок: обезоружили станционных жандармов и энергично снимали

городскую полицию. Охота петроградцев за полицией продолжалась весь следующий день. После этого состоялись митинги.

* * *

В **Курске** настроение восторженное. Губернатор бежал в Крым. Вице-губернатор безпрекословно подчиняется комитету. Полиции оставлено холодное оружие. Сподвижники Маркова-Второго скрылись. «Курская быль» закрыта за вредное влияние. Архиепископ Тихон заявил, что вполне сочувствует совершившемуся перевороту и благословляет действия нового правительства.

* * *

В **Рязани** губернатор взял подписку с редактора газеты ничего не печатать о событиях. Но это не спасло его, и вице-губернатора, и жандармских чинов, и начальника гарнизона от ареста через несколько дней. Арестован и командир полка, препятствовавший нижним чинам участвовать в освободительном движении. Распущены многие уголовные преступники.

Во **Владимире** арестован губернатор, его жена и некоторые чиновники с немецкими фамилиями.

* * *

Вятка. Петроградские события явились полной неожиданностью. На улицах толпы ликующего народа, полиции не видно. Епископ Никандр обратился к пастве с воззванием довериться Государственной Думе. Газета «Епархиальное Братство» вышла с аншлагом: «Привет тебе, народ освобождённый!»

* * *

Суздаль. Председатель уездной земской управы стал во главе полиции и отказался признать новое правительство.

Арзамас. Исправник вооружил всю уездную полицию и не желает признать власть Временного правительства.

* * *

В **Уфе** епископ Андрей (Ухтомский) издал послание пастве о подчинении Временному правительству.

В **Екатеринбурге** епископ Серафим в соборе назвал Думский комитет — шайкой бунтарей.

* * *

Ташкент. О перевороте объявлено с особой торжественностью. Генерал-губернатор Куропаткин, получив телеграмму князя Львова, собрал войсковые части, учебные заведения, представителей правитель-

ственных учреждений, русское и туркменское население — и лично объявил о происшедшем, а затем был отслужен молебен и принят парад. Ещё до отречения царя Куропаткин призвал подчиняться Думскому Комитету.

* * *

Астрахань. Казачий Круг объявил, что Астраханское казачье войско отдаёт себя в полное распоряжение Временного правительства. Избран новый наказной атаман, казачий хор исполнял марсельезу. Общественный комитет поздравил казаков с переходом на сторону народа.

В **Баку** арестованы главы Союза русского народа и их архив.

* * *

Херсон. В каторжной тюрьме 1700 каторжан обезоружили стражу, овладели тюрьмой, освободили ещё 200 каторжан из другого отделения. В это время у ворот тюрьмы собралась волновавшаяся толпа, взломала ворота и освободила ещё 300 арестантов-уголовников. Более 2000 освобождённых рассеялись по городу. При отсутствии достаточных сил администрации поимка бежавших затруднена.

* * *

Одесса. На улицах тысячи людей с летучками в руках обменивались впечатлениями. Собрание чинов полиции в присутствии рабочих обсуждало возможность искренного служения полиции новому строю. Из тюремного замка освободили политических заключённых, оказалось 7 человек. Опасались черносотенных эксцессов. Запрещены собрания Союза русского народа и Союза Михаила Архангела. Реакционная «Русская речь» превращена в прогрессивную «Свободную Россию». Газеты полны статей о заре новой жизни. По базарам поползли слухи, что теперь в России будет восстановлено крепостное право. Начальник штаба Округа генерал Маркс преподнёс красную розу «одесской прессе от свободной армии».

* * *

Киев. Освобождаемых из Лукьяновской тюрьмы забрасывали цветами. Среди освобождённых — знаменитая анархистка Таратута, приговорённая к 20 годам каторги и уже бежавшая однажды из одесской тюрьмы. Производятся предварительные аресты в порядке целесообразности. Толпа требует ареста инакомыслящих. По городу произведен ряд обысков в поисках Маркова и Замысловского, которые, по слухам, приехали в Киев. Городская дума постановила включить в свой состав 5 представителей еврейского населения. Организуется объединённый совет еврейских общественных организаций Киева. На городских базарах всего в изобилии, но распускаются тёмные слухи. Чёрные силы не спят.

447

Ещё новое огорчение: вчера от каких-то неназванных офицеров штаба попросили флигель-адъютанта Мордвинова передать Воейкову, что против него и Фредерикса в Ставке царит сильное возбуждение, и среди солдат тоже, почему-то их двоих считают виновниками всего прошлого, — и уже предрешается их арест. И оттого им советуют обоим как можно скорей уехать из Могилёва.

А — кто эти офицеры штаба, Мордвинов и сам не знал, ему передали через третьи уста.

Вдруг вот так — взять и уехать? В такое время — куда? И какое заблуждение: при чём тут Воейков? при чём Фредерикс?

Затем Воейкова пригласил к себе Алексеев и тоже подтвердил об этом возбуждении, и так обидно выразился, что в революционное время народу нужны жертвы, и чтоб не стать этими жертвами — зятю и тестю надо побыстрее уехать. Если уедут — вероятно, ничего и не будет, а иначе может восстать гарнизон.

Затем Алексеев явился и к Государю — с докладом о том же: что задержка обоих в Могилёве может вызвать опасность и для самого Государя. Затем пришёл и сам несчастный Воейков, угнетённый: как быть? и куда ехать?

Жаль было его, ещё больше жаль преклонного безпомощного старика Фредерикса, с его многолетней верностью, а теперь разгромленным домом, больной женой в госпитале, — куда же им ещё ехать?

Но раз и разумный Алексеев говорил, что они всех раздражают, то, конечно, безопаснее им уехать. Хуже будет, если их арестуют.

Ехать, разумеется, не в Петроград. Можно — в Пензенскую губернию, в имение Воейкова, пробираться кружным путём, чтоб и в дороге не задержали.

И советовал Алексеев для их же безопасности, незаметности — ехать порознь. Решено было, что Фредерикс поедет на юг — через Гомель, а Воейков — на север, через Оршу. Но как незаметно, если у Воейкова — большой багаж, он как раз оборудовал тут хорошую квартиру?

Свита — начинала таять…

Даже час от часу — заметно пустело пространство вокруг Государя. Вот — не стало приглашённых к завтракам и обедам, а ведь там всегда были люди из Ставки попеременно, или генералы и полковники, приезжающие с фронта. Ставка оставалась рядом — но чем она занималась? — теперь проваливалось в пустоту. Агентских телеграмм тоже не стали Государю доставлять — чтобы не расстраивать его? Сказал Алексеев: там совершенно возмутительные выражения. Может быть и верно. Но — пустело очень.

Раньше были ежедневные подробные письма от Аликс — теперь прервалась и всякая почта с ней. Опустынело. Что там с ними? Что она чувствует и думает? Оставались одни телеграммы — и то с большими задержками, кружным путём, наверно через Думу, через враждебные руки — как огрязнённые. И даже простые поцелуи и заботы о здоровьи неприятно было посылать. Одну такую телеграмму Николай даже зашифровал их семейным шифром.

И только как яркая вспышка прорвалась с Юго-Западного телеграмма от графа Келлера, командира 3-го кавалерийского корпуса: что он не признаёт революцию и ломает свою саблю.

Дал ответную: «Глубоко тронут. Благодарю».

Едва отрёкся — как быстро уходило и всё могущество, и всё окружение. Лишь одинокие благородные голоса.

И как же дорого было, что матушка — здесь. С кем бы сейчас беседовал эти безконечные часы, кто бы другой согрел сердце! (Звал из Киева и сестёр, Ольгу и Ксенью, но они не смогли приехать.) Мамá решила не уезжать в Киев, а оставаться здесь до конца, «пока сын будет в Ставке».

День выдался сегодня ясный, но сильно холодный. После обедни к завтраку приехала Мамá. После завтрака долго тихо сидели с ней, неторопливо разговаривали. Хенбри Вильямс уже послал своему правительству телеграмму о плане Николая поехать в Англию. (Удивляет, что ни слова от Георга.) Как только семья уедет в Англию, так и Мамá, разумеется, сразу уедет в Данию, а уж там они будут видеться. Мамá уговаривала и их ехать не в Англию, а в Данию.

Сейчас приехала женщина из киевской прислуги и рассказывает, что после отъезда Марии Фёдоровны во дворец явилась комиссия от революционного комитета — искать безпроволочный телеграф, по которому она якобы сносилась с немцами. Искали

долго, и один особенно рьяный член свалился с балки чердака и расшибся. Теперь Мама́ даже боязно туда возвращаться.

Боже, какое безсилие! Три дня назад он был император всея России, царь польский, великий князь финляндский, — а вот не мог защитить от безчинства собственную семью!

Пожалуй, разумнее Мама́ уехать дальше, в Крым.

Отпали государственные заботы — и росло значение забот семейных. Уговорились, что каждый день она будет приезжать в губернаторский дом к завтраку, а сын к ней — каждый вечер в поезд, обедать.

После отъезда Мама́ гулял в садике. Хотелось поехать за город, но не решался дразнить лишний раз своим видом, своей поездкой. Увидеть, как отворачиваются знакомые?

А вот кого ждал Николай, раз возвратился в Могилёв Георгиевский батальон: милого старика Иванова! Днём поступил от него доклад, что ждёт приёма. И теперь, после дневного чая, уже смеркалось, — Николай принял генерала.

Вошёл, выправленный, несмотря на старость, на выкаченной груди — все 15 орденов, устойчивость в седой бороде, жизненный корень, отважный, честный, преданный взгляд. Теперь, когда все отворачивались, вот эти преданные слуги стали сердцу втрое и всемеро дороже. Николай быстро пошёл к нему навстречу, обнял его и даже замер на миг в его бороде.

Он мог бы и ничего не рассказывать! — Николай всё понял.

Но честный старик непременно хотел объяснить шаг за шагом свой трагический неудачный поход.

Прежде всего — о настроении Георгиевского батальона. Государь изволил слышать сегодня, как они прошли? И даже видеть? Так вот, опираясь на этих разбойников, и предстояло устанавливать порядок, каково? И такой же их генерал Пожарский.

Но самое главное — не прибывали назначенные полки. Кто-то где-то в штабах умышленно их тормозил, замедлял перевозки. Генерал Иванов не хочет никого лично обвинять, но тут был умысел. И потом этот несчастный случай в Луге с лейб-Бородинским полком! — из самых лучших, из самых надёжных! Но кто ж ожидал такого коварства мерзавцев, кто ожидал таких приёмов! А разошёлся подлый слух, будто Бородинский полк присоединился к мятежу!

И вот, когда генерал Иванов пробился в Царское Село и тут бы как раз начинать действовать, — у него не оказалось сил!

А мятежниками — набит весь город, и они озоруют, для них ничего святого.

Конечно, если бы грозила опасность царскому дворцу — Иванов рассыпал бы там в снегу и уложил бы весь Георгиевский батальон. Но, к счастью, как раз дворцу не угрожала никакая опасность — и Конвой и Сводный полк оставались на месте, и мятежники уважали и боялись их.

Бедный старик волновался, ожидая суждения Государя, не совершил ли он где-нибудь промаха, не оступился ли где, — но Николай успокоил его, благодарил, ни от кого нельзя ожидать сверхчеловеческого.

Да, но главное же! Главное, что он дошёл до дворца — и мог лично передать несчастной государыне поддержку и помощь от её царственного супруга!

И на чёрных глазах старика были растроганные благородные слёзы.

Боже мой, так с этого надо было и начинать! Николай Иудович видел государыню своими глазами? разговаривал с ней?

Да, конечно! Целых два часа! Государыня-то и велела ему уезжать назад.

Боже мой! За всю эту страшную неделю единственный человек, кто сам её видел и вот мог теперь рассказать! Так рассказывайте же, рассказывайте, дорогой! А больных детей — тоже видели?

Нет, была глубокая ночь, и, как ни хотела Ея Величество показать детей, — не стоило их будить. Но как мужественна государыня! В каком самообладании она и ясном суждении обо всём. В такие грозные минуты оставшись одна и при больных детях — как она владеет многочисленным населением дворца, всею службой, прислугой и охраной.

Ничего радостней и облегчительней для Николая не мог произнести генерал! Подумать, он собственными глазами видел её! А — как она выглядит? Похудела, нездорова? Очень безпокоится о нём? Говорила ли — получает письма? А не возникла мысль — переслать письмо с генералом?

Ваше Императорское Величество, кто же мог предположить, когда ваш верный слуга сможет достичь вас? Не ляжет ли он раньше на какой-нибудь станции распластанным трупом от шашки солдата-бандита? Да вот, буквально сразу после того, как вернулся из дворца — узнал, что готовится крупное нападение на станцию,

и с артиллерией, уже окружают эшелон. И начальник станции — в заговоре с мятежниками, чтоб эшелон не ушёл. Только предусмотрительностью и крутыми мерами удалось вывести батальон из-под удара.

Но всё равно, и без письма, через рассказ старика-генерала, дохнуло на Николая родным, ободряющим, — он с гордостью ощутил неуклонную свою подругу.

Старый опытный генерал цеплялся за каждый железнодорожный перегон — чтоб не уйти далеко, чтобы ближе к Царскому Селу и Петрограду собирать силы. Но ведь именно тогда Его Императорское Величество изволили сменить распоряжения, не действовать до собственного приезда, — и, покорясь августейшей воле, генерал Иванов был понужден к выжиданию. Укрепясь в Вырице, предполагал держать этот рубеж или даже двигаться в направлении Гатчины. Но сутки не было никаких более указаний, все идущие войска были остановлены без ведома генерала. А затем 3-го числа пришло распоряжение Ставки, но почему-то через Родзянку, — уходить в Могилёв. Не верил, ещё запрашивал Ставку.

Глаза генерала, переполненные преданностью, выражали этот мучительный поиск решения. Бедный, честный старик, сколько же он натерпелся и какие усилия предпринимал, не по возрасту.

А на обратном пути передали, что на станции Оредеж его ждёт шумный *бенефис* от солдат и рабочих, будут требовать, чтобы батальон присоединился к революции. Приготовился дать серьёзный бой. Но на перроне стояла кучка рабочих лишь человек во сто — и не предприняли действий.

И так он ехал к вечеру 3-го, ещё ничего не зная об отречении. И только в ночь на 4-е, на станции Дно — сказал ему комендант, и то через пассажирские слухи.

Генерал зарыдал. Эти слухи пришлись ему тяжче собственной смерти. Неужели ничего нельзя было спасти? Зачем же Ставка, зачем же великий князь Михаил Александрович поддались злодеям из Государственной Думы?

Николай успокаивал его теперь, волнуясь и гордясь его преданностью.

Батальону — генерал и не объявил тогда, ещё надеялся! Но в Орше получил витебскую газету уже с обоими отречениями.

Он и сегодня был этим болен. Воротясь в Могилёв, он простился со своим батальоном, пожелал ему хорошей службы при новом правительстве — но сам куда теперь?.. Что ж ему делать здесь, при Ставке, когда его Государя больше нет и старый генерал-адъютант осиротел?.. (И на могилёвском вокзале — безпорядки, переселился из вагона в городскую гостиницу. И тут его какая-то толпа требовала.) Очевидно, поедет в Киев, где его помнят, где его ценят по прежней службе.

Да, но и в Киеве не безопасно.

Безпомощен был Государь помочь своим верным слугам…

В крепком объятии и поцелуе простился с Николаем Иудовичем, ещё раз благодаря, благодаря.

Дал вторую за сегодняшний день нежную телеграмму Аликс, всё время думая о ней и чувствуя её.

Тут доложили, что просит приёма по важному делу неизвестный офицер лейб-улан. Он вручил Государю письмо генерала Гурко.

Когда Гурко служил начальником штаба, Государь поёживался от его крутости, от прорывов на громкость, — гораздо приятнее было с тихим покладистым Алексеевым. И сейчас письмо он взял в руки с предубеждением. А оказалось — хорошее письмо, тоже хороший генерал, готовый верно служить. Как жаль, что в дни отречения все такие генералы куда-то исчезли.

Некоторые места в письме — тронули, даже слёзы навернулись. Но особенно поразила мысль Гурко, что отречение за наследника, быть может, вдохновлено Богом. Что сейчас наследник не мог бы удержать бразды, а в более поздние годы, быть может, и вернётся к трону, призванный благомыслящими людьми.

Эта мысль оказалась мила сердцу Государя (надо поделиться с матушкой): не так-то он и ошибся, может быть! Промыслительны пути Господни.

Уже было время ехать на обед к Мама́, на вокзал.

Тут пришли прощаться удручённый старик с зятем, верные Фредерикс и Воейков. Фредерикс был совсем согнутый, совсем потерянный — плакал, что должен на старости лет покинуть своего любимого Государя в беде, и дом сожжён, и семья разорена, — и брести куда-то в неизвестность.

Сердце сжималось, так было его жаль. Но — для него же лучше, надо покориться, не стоит спорить.

Обнял их со слезами.

448

Путь в министерство оказался прегражден ещё и парадными излишествами. Когда вчера Шингарёв приехал на Мариинскую площадь вступать в управление — солдаты охраны пожелали встретить его особенно почётным образом: по своему почину выстроились перед зданием, взяли на караул и рявкнули: «Здравия желаем, господин министр!» Шингарёв смутился, никак не ожидал, улыбался мягко: «Благодарю вас», — а они тогда опять кричали: «Рады стараться!» «На благо Родины», — уговаривал их Шингарёв, как будто это им предстояло теперь окунуться в министерскую гущу.

А поднявшись в здание, обнаружил всех сотрудников, собранных на общий приём. Что делать? Поблагодарил их — и сейчас же:

— Господа! Каждая минута дорога. На благо родины! Расходитесь по местам, пожалуйста!

Эта встреча могла быть и искренной, а могла быть и старым чинопочитанием, — коробило.

Ужаснулся: как велик его кабинет, с окнами на Мариинскую площадь.

А министров стол тоже не оказался разверст к работе, но загромождён красиво разложенными приветственными телеграммами — ему лично как вступающему министру земледелия. И правда трогательно, но и правда же невозможно!

— Это всё — убирайте, убирайте скорей! — распоряжался Андрей Иванович секретарю, хотя не мог проминуть строчку там, здесь, ещё в третьей.

Расчистил — и в бумаги! В сводки поступлений! В подшивки распоряжений! Да даже и в сметы, ибо всё движется финансово.

Действительно, он чувствовал себя подготовленным: и прежними спорами с Риттихом, и последними днями в Продовольственной комиссии. Да он и всегда умел быстро разбираться даже и в самом незнакомом деле.

Сейчас он всё больше видел, что дело — не в Петрограде, где возникли все споры, тревога и революция: затягивающей хлебной петли тут не было отнюдь, хватало теперь хлеба и на месяц вперёд. Но та же самая «хлебная петля» грозила затянуться вокруг фронтов, где тревога

ещё и не открылась. У фронтов не было запасов продовольствия, на Юго-Западном особенно, из-за трёхнедельных заносов. Положение было тяжёлое, но в гораздо более расширительном, глубоком и длительном смысле, чем Шингарёв себе представлял. Полтора миллиарда пудов зерна — избытка над потреблением России — томились в амбарах и клетушках в глуби страны, — но как их было взять? Расстроился сам механизм закупок-перевозок и психология производителя. А ко всем препятствиям надвигалась ещё и долгая распутица после многоснежной зимы.

Да затруднения министра начинались не только на российских пространствах, в непроницаемости деревенского мира, теперь — эта Продовольственная комиссия, направляемая Советом рабочих депутатов? Министр не мог допустить, чтоб им крутили из Совета депутатов. Всё подсказывало — опередить и выдвинуть какую-то ещё новую, свою организацию, подвластную лишь министру. В губерниях и уездах придётся создать местные продовольственные комитеты да и посты продовольственных комиссаров. Система — была нужна, потому что у министерства земледелия не было своей для сбора продовольствия — оно не было к этому предназначено, оно искони не занималось продовольственным делом, в том не бывало нужды: от производителей к потребителям продовольствие само перетекало через сеть торговых агентов. Если недавняя система рассылки многовластных уполномоченных была исключительно неуклюжа и вредна и теперь подлежала отмене, — то тем настоятельней, в догадках и импульсах суматошных революционных дней, напрашивалась система продовольственных комитетов сверху донизу.

А ещё обнаружил в столе Шингарёв ужасное обязательство прежнего правительства: используя встречный пустой тоннаж союзников, отправить в Англию в 1917 году — 50 миллионов пудов пшеницы и сколько-то много спирта. Испытывая хлебный кризис — ещё отправлять хлеб в Англию?! И — что же мог решить, да решить он не мог, но — выставить правительству что мог Шингарёв? Конечно: не отправлять ни зерна! Но на это ни за что не согласятся его коллеги. Да и сам он — как будет выглядеть перед английскими парламентариями? (Эта яркая прошлогодняя поездка в Англию и Францию ещё картинно стояла в памяти, в душе. Тогда — такая любовь распахивалась к союзникам.)

Да разработаться, углубиться в дело — было некогда: как не налажено было министерство, так не налажено было и всё Временное правительство, — и чуть не половину бодрственного времени требовалось проводить на его заседаниях. А распорядительную работу в министерстве перекладывать на своих заместителей.

Стеснённый всеми предположениями и проектами, поехал Шингарёв к Чернышёву мосту на вечернее заседание правительства. Предстояло ему теперь в два приёма часов шесть, до поздней ночи, просидеть.

И час за часом там текли вопросы, которые решились бы и без него.

При всей своей доброжелательности не мог, однако, Шингарёв смотреть на юного миллионера Терещенко, лощёного франта, глупого баловня, почему-то — какими-то тайными влияниями, так и не объяснёнными? — занявшего финансы вместо него. Всё-таки было обидно — именно здесь вот, рядом заседая. И ни одним замечанием не выказал Терещенко какого-либо опыта или соображения во взятом деле.

Наконец дали слово Шингарёву. Вероятно, и другие устали, скучали, и другим не так уж требовалось слушать дела земледелия и продовольствия — но Шингарёв порадовался разделить тяжесть с коллегами.

По поставкам зерна в Англию он сочувствия не встретил: все считали, что выполнить такое обязательство — долг чести нового правительства.

Пожаловался Шингарёв, что транспорт не обезпечивает снабжение фронтов, — темнолицый Некрасов ревниво, самолюбиво выставился, что транспорт — налаживается. Некрасова Шингарёв и никогда не считал умным человеком, и не видел обогащения правительства в том, что ему, молодому и неопытному, поручили в такие дни транспорт России.

В заседаниях Шингарёв почему-то говорил хуже, чем в общественных речах, где вдохновляет аудитория, и уж конечно хуже, чем работал. Он и замечал, что говорит слишком длинно, надо короче, нельзя все мелочи тут обсудить, заседание всех тяготит, но и так неизведанно, так безопытно было его положение в земледелии, что хотелось знать меру сочувствия коллег и получить, может быть, советы от них. Вот — тоже немаловажный вопрос: с осени прошлого года, от волнений в Семиречьи, осталось много разрушенных общественных зданий и пострадали русские семьи, — так можно ли на восстановление и для безплатной помощи им сейчас ассигновать миллион?

Но — скука и нетерпение выражались на всех лицах. Семиречье было такое отдалённое, отвлечённое — а тут рядом кипела,

не устоялась петроградская революция. Да таких вопросов — куда нужно потратить деньги, у всех полно.

Вот и Коновалов, поправляя пенсне на дородном носу, спешил советоваться и получить согласие. Для престижа нового правительства весьма важно теперь оплатить всем рабочим казённых заводов все дни их участия в народном движении. Это — много миллионов, но иначе мы поступить не можем.

Терещенко-то готов был платить. Но другие министры осунулись: если платить заработную плату за революцию, за демонстрацию — то во что это может обойтись дальше?

Милюков (эти дни почему-то похолодавший к Шингарёву, то ли не стало общих дел по фракции), ни разу не вынесший на обсуждение ничего крупного из иностранных дел, сидел с выражением плавающего всезнания. Но теперь тоже оживился: правительства Великобритании и Соединённых Штатов просят разрешения на вывоз из России лёгких кож.

Тут встрепенулся и Керенский, до того тоже погружённый в мысли: вот что, необходимо безплатно предоставить Совету рабочих депутатов казённую типографию для их изданий.

Уже хотели согласиться автоматически, но всё ж раздались возражающие голоса: ведь требованиям Совета конца не будет?

Тут самого Керенского князь Львов стал нежно-уговорно вовлекать в проект: ехать в Москву, там большой размах общественного движения, а не всё правильно понимается, надо авторитетно объяснить.

Так показалось, что между ними уже был сговор, потому что Керенский, не успев удивиться и ни о чём более не спросив, с порывной готовностью и сразу согласился ехать.

А ещё большой, если не важнейший оставался вопрос: обращение нового правительства к народу, его первое программное обращение. Некрасов представил проект (впрочем, писал не он, а Набоков), — но Мануйлов, тогда отказавшийся, теперь стал профессорски язвительно возражать, придираться и к важному, и к мелочам. Тогда поручили ему и дорабатывать — с помощью Кокошкина, и просить Винавера. Трём профессорам. И это должно быть не рядовое воззвание, но великое и продрагивающее!

Поздно уже было, которая безсонная ночь, головы не работали.

449

Во многих прежних революциях и революционных попытках многое изучил Ленин (для революции только и родился и жил он, что ж другое знать ему лучше?) и имел своих излюбленных лиц, моменты, приёмы и мысли. А видел своими глазами единственную одну — не с начала, не всю, не в главных местах, — и в ней-то не принял никакого участия, поневоле только наблюдал, делал выводы и послевыводы.

А была другая — в другой стране и ещё при его младенчестве, с которой он ощущал сердечную роковую связь, как бьётся сердце при имени возлюбленной, род необоримого пристрастия, боли и любви: её ошибки — больнее всех других; её семьдесят один день, как высокие решающие дни собственной жизни, — перещупаны по одному; её имя всегда на устах: Парижская Коммуна!

На Западе если ждали объяснений, если признавали его мнение важным, то — по русской революции Пятого года, и он регулярно докладывал о ней, чаще всего — 9 января, в дату, самую приметную для западного понимания. Но о той, из-под рук уведенной у него революции, говорить было скучно (а что ревниво вывел в оспаривание Парвуса и Троцкого, то лучше было пока вслух не говорить). О Парижской же Коммуне никто его не спрашивал, многие могли рассказать достовернее, но его самого тянуло к ней прильнуть — истерзанное место к истерзанному, рана к ране, как будто друг от друга они могли зажить. И когда всем — участникам революции и неучастникам, пришлось по одному, укрытно, тайно бежать из проигранной России, — женевской гнилой зимой 908 года, павший духом, рассоренный со всеми единомышленниками, раздражённый выше всякой нервной возможности, он одиноко прильнул писать об *уроках Парижской Коммуны*.

Так и в нынешнюю нервную зиму, затасканный по кружковым шушуканьям Кегель-клуба, ощущая в себе физическую робость выйти перед большим наполненным залом, перед множеством людей, — вдруг получив устроенное Абрамовичем приглашение в Шо-де-Фон прочесть реферат о Парижской Коммуне в годовщину её восстания, 5 марта (вокруг Шо-де-Фона ещё с гугенотских времён жило много бежавших французов, и коммунары бежали к ним туда же, и были все их потомки теперь), — Ленин согласился с высшей охотой.

А тут налегла эта весть о новой русской революции и с каждым днём всё больше раскручивалась.

Трёх суток не прошло от первого непроверенного известия из России (трёх суток — сплошных, потому что не было сна все три ночи, но ушла головная боль, вот удивительно! ушло всякое болезненное состояние, так резко прибавилось сил!), а сколько же за эти 70 часов пробежало, прогорело, прогудело через грудь и голову, как через дымоход большой печи! Так мало зная, выкраивал из обрезков, составлял картину за картиной — к а к т а м ? и на каждый вариант давал решения. Его решения, при его теперь опыте, все были безупречно верны, но всякий раз обманчива картина, и последующие телеграммы опровергали и изменяли предыдущие. А *своей* надёжной информации из России у Ленина не было и не могло быть никакой.

С годами узнаёшь самого себя. Даже без интеллигентского самокопания нельзя не заметить некоторых своих свойств. Например, инерцию. В 47 лет нелегко даются кидания. Даже увидев, угадав правильные политические шаги — не сразу разгонишься. А когда разгонишься — остановиться так же трудно.

Громовая новость из России не сбила вмиг с прежнего движения, не забрала в одну минуту, — но забирала, забирала всё сильней. И уже первая ночь прошла в муках своей ошибки: почему, почему не переехал в Швецию полтора года назад, как звал Шляпников, как предлагал и Парвус? Зачем остался в этой безнадёжно тупоумной буржуазной Швейцарии? Так казалось ясно все годы войны: ни за что из Швейцарии! пересидеть здесь до конца. А сейчас так стало ясно: ах, надо было уехать вовремя! Для раскола ли шведской партии, для близости ли к русским событиям — но в Стокгольм! Туда можно и вызвать кого-нибудь из России.

И раньше это можно было сделать совсем незаметно — через Германию конечно, единственным разумным путём. А сейчас, когда все зашевелились, забурлили, обсуждают, — незаметно вышмыгнуть уже нельзя, ах чёрт!

Однако и бездействовать нельзя ни минуты: что там удастся, не удастся, а действовать надо начинать! И утром 3-го, едва проснувшись, захлопотал отсылать испытанным путём фотографию для проездного паспорта — Ганецкому. (Бедняга Куба тоже натерпелся: в январе был арестован за нелегальную торговлю, выслан из Дании.) И следом же дал телеграмму, объясняя открыто (как будто б сами не догадались, зря, сорвался, от нетерпения): фото-

графию *дяди* (значит Ленина) немедленно переслать в Берлин Скларцу, Тиргартенштрассе 9.

Надо было мириться со всей компанией Парвуса незамедлительно, больше никто не мог помочь и вывезти его.

Утро 3-го принесло и новые телеграммы: будто бы царь отрёкся!! (Да возможно ли так стремительно? совсем без боя?? да что ж могло его заставить?? Э-э, тут какая-то западня. А кто — вместо него? Нет Николая, так будет другой, поумней.) И будто создано Временное правительство (а надёжно ли арестованы царские министры?) с Гучковым, Милюковым и даже Керенским (луиблановщина презренная, до чего ж эти лжесоциалисты любят всунуть задницу в буржуазное кресло).

И — что за восторг у эмигрантских болтунов? — уж тут ни один рот не закроется до вечера и до утра, розовое блеянье. А вдуматься: полную неделю заливали Петербург рабочей кровью и — как во всей европейской истории, 1830-й, 1848-й, вечная доверчивость масс! — отдали чистенькую власть этой буржуазной сволочи, этим Милюковым-Шингарёвым. Какой старый шаблон!

В эмигрантской читальне пусть вываливают языки, но истинный революционер — насторожись! напрягись! следи! Т а м сейчас такого напутают, всё отдадут в поповском умилении, ведь настоящих тактических голов нет ни у кого. Жгло, что сам — не там, невозможно вмешаться, невозможно направить.

Всю зиму не вспоминал Коллонтайшу, но вот за несколько дней стала она — из главных корреспондентов, переместились события к ней туда. И, едва отослав фотографию Ганецкому, сел за письмо Александре Михайловне: разъяснить, как *мы* будем теперь. Наши лозунги — всё те же, конечно: превращать империалистическую в гражданскую! А что кадеты у власти — так это даже-даже-даже хорошо! Пусть, пусть милейшая компания обезпечит народу обещанную свободу, хлеб и мир! А мы — посмотрим. А мы — вооружённое ожидание! Вооружённая подготовка к более высокому этапу революции. И социалистам-центристам, Чхеидзе — никакого доверия! никакого слияния с ними! Мы — отдельно ото всех! Мы — только *отдельно*! Мы — не дадим себя запутать в объединительные попытки. И вообще: будет величайшим несчастьем, если кадетское правительство разрешит легальную рабочую партию, — это очень ослабит нас. Надо надеяться, что мы останемся нелегальными! А если уж навяжут нам легальность, то мы обязательно сохраним подпольную часть: в под-

польи — наша сила, подполье совсем покинуть нам нельзя! Мы должны будем вырвать у кадетских жуликов *всю* власть. И только тогда будет «великая славная» революция!.. Я — вне, вне себя, что не могу тотчас же ехать в Скандинавию!

А 4-го с утра все сведения опять обернулись: кадетское правительство совсем ещё не победило, царь — нисколько не отрёкся, но — бежал, но — неизвестно где находится, а по шаблону всех европейских революций совершенно понятно: собирает контрреволюционную тучу, он собирает свой Кобленц. А даже если это ему не удастся, он может выкинуть вот что, да, вот что: он, например, убежит за границу и издаст манифест о *сепаратном мире* с Германией! Да, очень просто! И они же очень коварные, Романовы. (И на *его* месте *так* и надо делать, блестящий шаг: мужицкий царь-миротворец!) И сразу — народное сочувствие к нему в России, кадетское правительство шатается и бежит, а Германия — Германия перестаёт быть союзником нашей революционной партии, мы им уже больше не нужны… (О-о-о, ехать в Россию надо ещё сильно подождать, ещё там делать нечего. И зачем послал Ганецкому телеграмму? — глупость какая, дал след.)

Александра Михална, боимся, что выехать из этой проклятой Швейцарии нам не так скоро удастся, это очень сложное дело. Мы лучше всего поможем, если будем вам из Швейцарии посылать советы.

Итак, товарищам, уезжающим из Стокгольма в Россию, надо дать чёткую тактическую программу. Это можно представить тезисами… Рука уже пишет тезисы… Главное для пролетариата — *вооружиться*, это поможет при всех обстоятельствах: сперва раздавить монархию, а потом — кадетских империалистических грабителей… А, Григорий! Помогайте, садитесь. Значит, новое правительство не сможет дать народу хлеба, а без хлеба их свобода никому не нужна. А хлеб можно только *силой отнять* у помещиков и капиталистов. А это может сделать только рабочее правительство (только *мы*)… Да! дописать Коллонтайше: познакомьте с этими тезисами Пятакова и Евгению Бош. (Пришла пора — нельзя пренебрегать и поросятами. Сейчас никем нельзя пренебрегать. Сейчас вот кто бы пригодился — Малиновский! ах! замарали человека, не отреабилитируешь. А он в лагерях военнопленных очень положительную работу ведёт. В январе ещё раз заявили, в его защиту. Надо — спасти, надо — вернуть.) Дальше… Вот важная мысль: надо не упустить пробуждать отсталую прислугу про-

тив нанимателей — это очень поможет установить власть Советов. Что значит подлинная свобода сегодня? Это, во-первых, перевыборы офицеров солдатами. И вообще — всеобщие собрания и выборы, выборы во все места. И отменить всякий надзор чиновников над жизнью, над школой, над… А нынешняя свобода в России — крайне относительная. Но надо уметь её использовать для перехода на высший этап революции. И ни Керенский, ни Гвоздев не могут дать выхода рабочему классу… Ладно, почта скоро закрывается, надо нести отправлять.

Но смотрите, Григорий, обещают амнистию? Амнистия — всем, значит и свобода всем левым партиям? Неужели решились? Плохо. Это плохо. Теперь легальный Чхеидзе со своими меньшевиками развернётся — и займёт все позиции, все позиции раньше нас. И опять нас обгонят?..

Нет, нет! Нельзя сидеть сложа руки, надо что-то готовить. И быстро! Поедем не поедем, революция ещё и назад может покатить, сколько раз так бывало, ничему доверять нельзя, — а мы должны на всякий случай готовить путь. И вот что… Сегодня — суббота? Плохо. А всё равно: катите-ка в Берн назад, да, поезжайте немедленно назад, а больше некому: постарайтесь застать дома Цивина, сегодня поздно вечером бы самое лучшее, а то он на воскресенье куда-нибудь уедет. И пусть — прямо идёт в немецкое посольство. В понедельник! Надо же это кольцо заклятое прорывать. Почему Ромберг сам молчит, никого не посылает? Удивляться надо. Они должны быть заинтересованы больше нас: мы можем хоть обдумывать путь через Англию, а у них же никакого другого выхода нет без нас. И научите Цивина так: ни в коем случае конкретно обо мне и вас, что вот именно нам двоим нужно ехать, но что многие бы хотели, между ними и мы. Так позондируем — какие возможности?.. Что надо просить? Допустим, чтобы Германия сделала публичное заявление, что она готова пропустить в Россию всех, кто… кого влечёт туда свободолюбие. Вот так. Для нас такое заявление было бы вполне приемлемой основой.

А вот ещё! Все эти дипломаты — они же дубины, они в революционном движении ничего, никого не различают. Пусть Цивин придаст нам весу. Пусть скажет загадочно, так: революционное движение в России *полностью* руководится из Швейцарии. Каждая важная акция должна быть прежде всего решена в Швейцарии. Буквально: в России не делают ни одного важного шага, не получив указаний от нас. И поэтому в нынешней обстановке… Поня-

ли? Ну, поезжайте. Мне завтра тоже на поезд рано утром, в Шо-де-Фон, на реферат.

Такое настроение было к Коммуне три дня назад — а вот, растеребилось.

Сегодня утром, по спешке и рассеянности, Ленин надел шапку совсем затрёпанную, не ту, — и в Шо-де-Фоне председатель профсоюза принял его за бродягу, не хотел верить, что это и есть ожидаемый лектор.

Днём (воскресенье) в клубе часовщиков читая по-немецки — не по писаному, по коротким тезисам развивая свободно — реферат «Пойдёт ли русская революция по пути Парижской Коммуны?» перед двумястами собравшимися, Ленин плохо ощущал своих слушателей, что им интересно и чего они ждут, он как будто потерял чувствительность — не видел зала, не ощущал бумаги в руке и обронил чувство времени. Да больше: он потерял нежность к своей исконно любимой Коммуне и, затягиваемый, незаметно сам всё более затягиваемый, уже сливал два опыта двух революций, не столько в формулировках, сколько в забегающих мыслях и чувствах, два опыта — Коммуны и э т о т, внезапно расцветший, — обманный? или единственный, всею жизнью готовленный: не повторить нам ошибок Коммуны, её двух основных ошибок: она не захватила банков в свои руки и была слишком великодушна: вместо повальных расстрелов враждебных классов — всем сохраняла жизнь и думала их перевоспитывать. Так вот, самое гибельное, что грозит пролетариату, — это великодушие в революции. Надо научить его не бояться безжалостных массовых средств!

Что там вывели часовщики Шо-де-Фона, а сам Ленин всё больше захватывался тревогой: ведь время утекает! Пока читается тут реферат, а там, в Петербурге, что-то утекает неповторимо, кто-то жалкий и недостойный всё более вцепляется во власть.

Тут на трибуну заступил французский лектор, а Абрамович собрал всех здешних русских, и, пока было время до поезда, минут 25, Ленин стал и им читать что-то вроде реферата — да всё о том же, только теперь уже без сравнений, прямо — что забирало и их и его, и прямыми же словами кончил:

— Если понадобится, то мы не испугаемся повесить на столбах восемьсот буржуев и помещиков!

Поезд покачивал, а он — всё думал и думал. В Петербурге нет настоящей силы. Сила — это царь с его аппаратом, но их вытолкнули. Сила — это армия, но она прикована к фронту. А кадеты — никакая не сила. А Совет депутатов — много ли весит? как он там? И большая опасность, да почти наверняка, его захватывают сейчас чхеидзевые меньшевики. В Петербурге — пустота, в Совете — пустота, и засасывающе ждёт, зовёт — *его* силу. И если бы успеть взять Петербург — можно было бы потягаться и с армией, и с царём.

Так — ехать? Решиться — ехать??

Побалтываемый быстрым бегом поезда, во втором классе, Ленин сидел у окошка, отражаясь в его темноте вместе со светлой внутренностью вагона, смотрел, смотрел, не замечал, как давал билет на проверку раз и другой, не слышал, как проходили, объявляли станции, — думал.

Ехать?..

То состояние, когда не видишь, не слышишь — сидят ли тут ещё в вагоне другие. При окне — один, в поезде — один, и потому Инесса — не в Кларане, Инесса едет с ним рядом. Как хорошо, давно так не говорили.

Понимаешь, ехать — никак нельзя. И не ехать — никак нельзя… А вот что: а не поехать ли вперёд пока тебе? Ты и ничем не рискуешь. И тебя везде пропустят. (Это — вполне невинно, это — не противоречие: кого любишь — того и посылаешь вперёд, естественно, о ком больше всего заботишься — вместе с тем человеком и о деле заботишься. Так — всегда, а как же иначе? И если не отказала прямо — значит согласна.)

Скоро год как не виделись. И уже как-то оно распадалось… Но в день знаменательный, коммунный, счастливый, болтаемый в поезде бок о бок с Инессой, — он тепло и радостно почувствовал прежнюю близость её и неизбежную надобность её, так почувствовал, что два слова сказать ей всамделишных — вот сейчас загорелось, до завтра нельзя отложить!

И на одной станции выскочил, купил открытку. На другой — бросил в почтовый ящик.

…Дорогой друг!.. Прочёл об амнистии… Мечтаем все о поездке…

Определённо — да: мечтаем. Вот сейчас отчётливо: мечта!

…Если поедете — заезжайте. Поговорим…

Ну правда же, ну надо же повидаться… Миг-то какой! Приезжай!..

…Я бы дал вам поручение узнать тихонечко в Англии, мог ли бы я проехать…

Англия, конечно, не захочет пропустить: враг войны, враг Антанты. Но как бы её обмануть, Англию?

Впрочем, через Францию-Англию-Норвегию ехать — это может уйти и месяц. А новая власть за это время отвердеет, найдёт свою колею, покатится, — и уже не расшатаешь её, не свернёшь. Надо спешить, пока не затвердела.

Так же и война: привыкнут люди, что война и при революции продолжается, и тоже не свернёшь?

Потом: немецкие подводные лодки. Уж такого момента дождавшись — и теперь рисковать? Могут только дураки.

Ночью, уже у себя на Шпигельгассе, перерывисто спал. И через сон и через явь всё настойчивей начинала нажигать эта мысль: ехать? Поехать?..

450

В неметеной аудитории женского медицинского института, на полу окурки, а из пяти лампочек трёх нет, выкручены, — заседает впервые собранный выборгский районный совет рабочих и солдатских депутатов. В рабочих куртках, в шинелях, повтиснулись на скамьи перед пюпитрами как зажатые, хоть отдери насадку. Человек шестьдесят — ещё не все знают, ещё не все делегатов прислали.

Выборгский совет — очень для нас важный, его надо захватить. Да так, по знакомым лицам, Каюров и Шутко смекают, что наверно за большевиками будет большинство. Но лидер меньшевиков по кличке Макс, важный интеллигент, всё же устроился за кафедрой делать первый доклад.

Но не сказал и нескольких фраз — дверь распахнуло скаженно, как ветром — стук об стену ручкой! — и вошли в чёрных бушлатах два матроса, а на боках у них, не по форме, большие маузерные кобуры. Первый — долговязый, звереватый, сильно небритый, второй — по плечо ему, голова как тыква.

И от двери, в четыре руки сильно размахивая, быстро туда — на возвышение, где председатель и докладчик. А оттуда, повернясь, звереватый грозно:

— Товарищи! Мы сейчас — из Кронштадта прямо!

Им захлопали.

Председатель успел вставить:

— Предоставляю вам слово.

А долговязый уже хрипел-гудел:

— Товарищи! Четыре дня назад революция освободила меня из Шлиссельбургского замка. Оставил там сдачу, семь лет каторги. И поехал сразу свой Кронштадт смотреть. И — что увидел?

Света не хватает, не так хорошо его лицо видно, но запрокинул голову, как задыхаясь:

— В Кронштадте царствует и управляет — контрреволюция! Совет депутатов обпутали, прислали Пепеляева, комиссара от Думы. Руки в карманах матросам не держать, революция окончена, анархию прекратить, война до победного конца. В Морском соборе служат молебен по завоёванной свободе. Пепеляев заседает в офицерском собрании, кадки с цветами, приглашённым матросским депутатам подают на круглых столиках в чашечках чай с печеньем. От Гучкова телеграмма: свобода завоёвана, спустить боевые флаги, враг у ворот, а агенты разрывают единство нации. Товарищи! Буржуазия у власти, а мы на задворках?

Для того и послали туда большевики мозговитого Семёна Рошаля, ещё не справился?

Из зала кричат:

— А что, офицеров повыпускали?

Тыква, внушительно:

— Не, сотни две ещё под арестом. Выводят их улицы подметать, грузчиками работать.

А долговязый:

— Товарищи! Кто же возьмётся за Кронштадт, если не Выборгский район? Вы должны немедленно слать в Кронштадт стойких и надёжных! Надо перетряхнуть там всех и вырвать заразу с корнем! Иначе мы останемся с ревóльверами против фортов и кораблей.

А его-то кобура, окажись, и расстёгнута была — и он выхватил над головищей огромный маузер:

— Надо немедленно разогнать гидру — и захватить крепость!

Тут Макс решился вежливо возразить:

— Но это всё не нас касается, товарищ. Вы — идите в Петроградский Совет.

Звереватый обернулся на Макса, потряс револьвером — вот сейчас пришьёт его на месте:

— Я знаю, кого касается! Я — знаю, куда пришёл! К херам ваш меньшевицкий холуйский Петроградский Совет! Ещё проверим и этот Совет, кто там заседает! Мы — не верим Чхеидзе, не верим Скобелеву, пошли вы все к трёпаной матери! Форты и корабли — наши кровные! Не спускать боевых флагов! Революция — только начинается! На кого направим орудия — на того и направим. Мы! Сами!

И тыква — кричит собранию, глаза кругом напрокате:

— Са-а-а-ами!

И — захлопали им, захлопали.

Долговязый спрятал маузер.

И — к чертям пошла повестка дня, доклад Макса, — стали выбирать надёжных товарищей для Кронштадта.

Каюров и Шутко уже допёрли, что это и есть тот Ульянцев, которого судил в октябре военный суд, Шляпников их защищал забастовкой, а три дня назад послал Ульянцева в Кронштадт.

Хотя там — Рошаль, и тоже не один, ну пусть и эти охотников набирают, сильней наша сила будет!

451

Начальник псковского гарнизона генерал Ушаков был спасён в последнюю минуту — но отнюдь не силой и волей Главнокомандующего фронтом. Уже его волокли — стрелять, рубить или топить в Великой, — как подскочили два молодых образованных солдата и неистово кричали, останавливая. До штаба фронта теперь в пересказах это дело дошло так. Ушакова тащили за то, что он был строг и жёстко держал гарнизон, рассыпая наказания. А молодые солдаты задержали толпу свидетельством, что они сами лично получили от генерала Ушакова помилование невиновному солдату. И толпа сразу смиловалась и отпустила генерала, даже прося у него прощения.

Ушакова успели спасти — а вот Непенина никто не спас.

И спасут ли Николая Владимировича Рузского, если потащат и его?..

От самого парада его ломила жестокая мигрень. И — не мог успокоиться, ни в каком занятии.

Такой необезпеченности и неуверенности, как сейчас, он просто за всю жизнь не испытывал.

Рузский и по себе всего более склонен был впадать в настроение мрачное и даже в отчаяние. Но принуждал себя не проявлять.

Мнилось — что-то успокоили сегодняшним парадом. Ничего подобного: к вечеру опять вспыхнули безпорядки и насилия. На улице схватили адмирала Коломийцева, георгиевского кавалера, — разъярённые солдаты неизвестной части оскорбляли его и поволокли под арест. Прибежали доложить Главнокомандующему — но что мог сделать Рузский, кого послать? На комендантскую роту при штабе и на ту не было надежды. И если не постыдились тащить адмирала — то что мог бы поделать с ними и сам Рузский, со своими тремя георгиевскими крестами?

Да вся обстановка — в отношении Петрограда и революции — была слишком деликатна, чтобы позволить себе опрометчиво, грубо действовать. Ни от Ставки, ни от нового правительства Рузский не имел приказа действовать определённо подавительно. Да если б и имел — он не посмел бы противопоставить себя моральному авторитету революции.

В нынешней катастрофической обстановке самой правильной и самой тактичной была находка Рузского: ему, Главнокомандующему, прибегнуть прямо к петроградскому Совету рабочих депутатов, найти понимание — у него, и просить поддержки — у него. Вот только дождаться возвращения Михаила Бонча.

Так думал он, но вдруг неприятнейшим диссонансом — подали ему привезенное из Петрограда, чуть ли не солдатом, письмо — от Бонча! — только от того, второго, революционного, Владимира. И тот (неизвестно по какому праву так прямо обращаясь) весьма развязно и с тоном превосходства спрашивал: насколько искренно воинские чины Северного фронта приняли новый государственный строй?

Вопрос — в упор, и вопрос, конечно, прежде всего о самом Рузском, — и генерал даже вспыхнул от обиды. Такое спрашивалось — о нём, который, можно сказать, и создал этот новый государственный строй, потрудясь для этого больше, чем сам Петроград! (Впро-

чем, надо понять и революционера: почему он должен доверять царскому генералу?) Вопрос подвергал сомнению революционную лояльность Рузского — и его нельзя было оставить без ответа!

А Михаил Бонч — всё никак не ехал и не ехал из командировки!

В плохо защищённом штабе, когда революционная стихия мела по улицам Пскова, особенно ощущалась реальность власти петроградского Совета и неизбежность оправдываться.

Обвинение было так серьёзно, весь момент такой острый и переклончивый, — Рузский решил ответить Бончу открытой телеграммой. В расчёте всё же на родственную связь — не Председателю Совета, а именно Бончу.

Что он сам, генерал Рузский, и подчинённые ему армии и воинские чины вполне приняли новое существующее правительство — впредь до решения Учредительного Собрания. Однако и просит он содействия, чтобы… как помягче их назвать?.. *уполномоченные* и другие лица Совета, прибывающие в пределы Северного фронта, прежде чем обращаться к рабочим или войскам, обращались бы предварительно к Главнокомандующему, дабы установить полную связь. Что Псков как ближайший пункт к Петрограду имеет огромное значение, и всякие волнения в нём совершенно недопустимы. Между тем приезжают… гм… *делегаты* и обращаются непосредственно к населению и войскам…

Нельзя было выразиться мягче, но и вместе с тем отстоять же положение штаба фронта.

А на улицах Пскова продолжали хватать и хватать офицеров — что делалось?!

А перекатя Псков, волна насилий и необузданности катила к Риге! к Двинску! В Сумском гусарском полку — командир полка исчез, видимо был убит тайно? А другой полковник того же полка — убит открыто. В Режице вспыхнул бунт гусаров. Из разных мест фронтового расположения телеграфировали об арестах или убийствах военных комендантов, начальников гарнизонов или командиров отдельных частей!

Уже завтра это могло доброситься и на передовую, до самых действующих частей на Западной Двине.

Да Двинск — разве не был почти передовой? Загорелось и там: солдаты арестовали генерала Безладнова — и Командующий 5-й армией Драгомиров не мог воспрепятствовать.

В самый штаб фронта солдатская толпа не ворвалась ни разу (они с этим местом не привыкли иметь дела, ничто отсюда не коснулось их прямо), — зато втекало офицерское отчаяние: возможно ли дальше служить и командовать? Просто оставаться на своём служебном месте стало требовать от офицера больше нервов, чем в открытой атаке: здесь грозила не смерть только, но позор, унижение — хуже смерти! И что же можно делать против толпы собственных солдат?

А если наступит массовый паралич офицерства — какая тогда армия?

Рузский впал в самое мрачное состояние. Искать непосильный выход — предстояло именно ему, потому что фронт его был ближе всех к Петрограду, первый испытал налёт — и первый должен был найти защиту. А ждать решительное и спасительное от нынешней Ставки, — кто теперь Ставка? Да к ним, до Могилёва, докатится не сразу, они и будут киснуть в ожидании.

Но во Пскове нельзя больше ждать, а — либо устоять под ударом событий, либо рухнуть. Ещё таких дня три — и никакого Главнокомандования в руках Рузского вообще не останется. Да сама нервная организация Рузского не давала ему бездейственно ждать.

Ответ от Бонча из Совета, однако, не приходил. Да нельзя было и надеяться твёрдо. А между тем главное спасение — несомненно не в правительстве, а в Совете.

И подумал Рузский так: не надо ждать ответа от Бонча. Надо энергично и прямо обратиться в сам Совет. Но — солдатскими устами, вот находка! Послать в петроградский Совет прямую солдатско-офицерскую делегацию и объяснить Совету всё устно, чего нельзя описать.

Сейчас же составить. И безотлагательно отправить. Они съездят за один день — и всё спасут. Объяснить Совету неформально: как губителен для Действующей армии «приказ № 1». Не могут же депутаты Совета хотеть развала русской армии! Они просто, в понятном порыве к свободе, сами не понимали, что делали, когда издавали. А сейчас Совет поймёт, призовёт успокоиться, — и всё успокоится.

А засим, засим — не мешает Рузскому обратиться само собой и к Временному правительству, и к дремлющему Алексееву. Никто из них не может помочь отдельно, но, может быть, помогут все вместе? Послать одинаковую телеграмму всем сильным людям

правительства — князю Львову, Гучкову, Керенскому, копию Алексееву, так будет соблюдено и чинообращение, и голос призыва достигнет по самому короткому пути. Напомнить, что весь начальственный состав полностью признал новый государственный строй. (Обидней всего, что факт этого признания, особенно штабом Рузского, как бы пропал впустую.) И вот — возникает опасность развала армии перед самым весенним наступлением. И этот развал неизбежен, если не последует немедленное авторитетное разъяснение центральной власти.

Приготовил на завтра делегацию. И велел рассылать телеграммы.

Умно это всё Рузский рассчитал.

И вдруг — появился генерал Бонч! — приехал! наконец-то! В полном самообладании, и всё одобряет.

И тотчас назначил его Рузский — начальником псковского гарнизона вместо Ушакова. Уж если этот не уладит!..

452

Развивались мысли Гучкова так: если придётся устраивать охрану Царского Села, то и откладывать этого нельзя, нужно теперь же. Просто сегодня же, пока ничего не случилось. И, очевидно, не через кого это устроить лучше, как через нового командующего Округом. А ему всё равно надо съездить посмотреть на царскосельский гарнизон. А неплохо вместе с Корниловым поехать и самому Гучкову. Не то чтоб это было так нужно для дела, но томился он от застылости всех остальных дел, от безсилия своего, и пустой воскресный вечер, и домой не хотелось.

Позвонил Корнилову и пригласил его приехать вечером для поездки в Царское Село.

Ещё один вспомнил долг: семья Вяземских. Позвонил Лидии, сестре убитого. Можно было проведать их сегодня, но завтра, узнал, отпевание в Лавре. Туда и обещал приехать.

Как быстро разобщает смерть. Как быстро увлекает нас жизнь от долга мёртвым. Четыре дня назад? — неужели только четыре? — не угоди пуля в Дмитрия, он был бы сейчас адъютант военного министра, всё время рядом, всё время необходим. Но она уго-

дила — и вот только по обязанности завтра нужно оторвать время поехать в Лавру.

С удовольствием ждал опять повидаться с Корниловым. Очень обнадёживал этот генерал, особенно непохожестью на тех чванных, возвышенных царских генералов, которых всех теперь надо было рассеять. Действительно, замечательно найден, демократичен, прост. (Кто это, Половцов первый предложил? И самого Половцова, умницу, верно будет пристроить на личную переписку министра, требующую знания военной среды.)

Ну, наладится как-нибудь.

Поехали с Корниловым в автомобиле, по шоссе, светя фарами. В городе снег был — месиво, ехали тяжело, а за городом хорошо укатано санями, твёрдо, легко.

В автомобильной езде в ночную пору — от причудливости ли света фонарей, тоже есть что-то успокаивающее. Покачивается свет, и предметы в свету. Начинает казаться: дело не так плохо, как было минувшим днём. Наладится, пересилим.

У Корнилова в обращении присутствовала невозмутимость. Нисколько не горячился, о чём бы ни говорил. Или нужно было ещё привыкнуть к оттенкам его выражения.

Но, пожалуй, был мрачнее, чем днём. За день он успел не так мало: узнал свой штаб, отменил назначенный до него парад войск в честь революции, принял новоизбранного солдатами командира Измайловского батальона и подготовил свой вступительный приказ.

Выборный командир Измайловского батальона — а как его теперь не принять, отставить? — один напитал генерала Корнилова живыми сведениями. Батальон — ещё благополучный, убили только двоих офицеров да два десятка сместили. Всем заправляет второразрядник из петербургских образованных, заседания офицеров не происходят без представителей комитета. В первом приказе по батальону что же пришлось говорить? Благодарность за избрание, счастье от переворота, выпущен на свободу могучий русский дух, от которого должно задохнуться всё немецкое…

— А что, Лавр Георгиевич, в этом есть правда? — с надеждой поддержал Гучков.

Ведь действительно немецкое, остзейское нас давило двести лет. На этом можно будет искать общий язык с солдатами. И от немцев — сильно почистить армию, хоть, допустим, все они верны.

И ещё так придумали измайловские выборные офицеры: немедленно приступить к созданию «железной просвещённой дисциплины». Но, мол, казарма — наша святыня, и пусть рабочие не учат нас военному поведению.

Ещё больше понравилось Гучкову:

— Замечательно сказано! Это надо будет перенять. Железная просвещённая!

Нужда скачет, нужда пляшет. По нужде придумали перепуганные офицеры, как приспособиться к новым обстоятельствам, — и неплохо! И в приспособлении теперь только и может быть выход, когда всё упущено и так уже разляпано. Но под воздействием идущей войны должно ж это как-то соединиться.

Гучков повеселел. Может быть, как-то всё и спаяется на русском духе, на патриотизме.

Не слишком отзывчив был Корнилов, не погорячился согласиться.

— А почему парад отменить? Это хорошая форма объединения.

— Плохая форма, — отозвался Корнилов. — Кто принимать будет? Вы? Я? А рядом — Совет депутатов? Без Совета — невозможно. Так лучше никакого парада совсем. Объеду по батальонам.

Быстро он разобрался, верно. Ай да генерал. А на вид — темноватый.

Сидели на заднем сиденьи рядом, и при свете ручного фонарика прочёл Гучков проект завтрашнего приказа по Округу. Это было коротко, и язык — куда сдержанней измайловского, не обещал Корнилов слишком многого. Великий русский народ дал родине свободу — русская армия должна дать ей победу. Народ вам много дал — но и много ожидает от вас. Явитесь радостным оплотом новому правительству. Да поможет нам Бог!

Он — и прав. Наклоняться пред солдатом нельзя. Он и прав.

Да, постепенно выработается манера, обращение. Даже, может быть, в своём 114-м приказе Гучков и переторопился.

Корнилов попал в плен потому, что оставался с арьергардом, прикрывал отступление. Попал тяжело раненный. В австрийском плену изучал их армию, их пособия для солдат — искал слабых мест. Затем как-то изобразил болячку, с которою перевели в госпиталь, а оттуда бежал вместе с одним чехом, австрийским солдатом. Шли горами, лесами — в Румынию. Питались ягодами. Измучи-

лись, изодрались. Спутник попался — и расстрелян. Корнилов успел перейти к румынам в ночь под объявление войны — иначе б не перешёл.

Всё в нём было добротное, настоящее, военное.

А родом? Родился — на Иртыше, в детстве — бедность, отец — казак, мать — бурятка. С 13 лет — в Сибирском военном корпусе, потом Михайловское артиллерийское училище. Долго служил в Туркестане, на Кавказе, вёл разведку в Афганистане, все тамошние языки изучил. Был военным агентом в Китае.

Какой самородок. А лет ему? 46, моложе Гучкова. Но начни по спискам выбирать новых начальников — ведь пропустишь, не заметишь.

Знакомиться с царскосельским гарнизоном? Можно было — объездом их казарм, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го гвардейских стрелковых полков, а можно — в ратушу, где, как известно, заседает сборище всех тутошних агитаторов. (Поехали в ратушу.) В Царском Селе — большой гарнизон, потому что множество казарм было тут настроено за годы.

Но уж быть в Царском Селе — зачем и ехал?.. Зачем ехал? — всё прояснялось Гучкову, зачем ехал сам: повидать царицу!

Они, такие всевластные неделю назад и так его ненавидевшие, — разъединены, не могут увидеться. А Гучков — поехал к *нему*, взял отречение, теперь — к *ней*.

Явить себя? Посмотреть на неё?

Он сам не понимал точно зачем, но была страсть, болезненное наслаждение, как провести по больному, но выздоравливающему месту.

Связь ненависти в чём-то похожа на связь любви: она избирательно соединяет двух людей, с острым любопытством друг ко другу.

С императрицей они виделись единственный раз, в 905 году, когда он вернулся из Манчжурии — и понравился. Подозрения и ненависть разгорались потом, всё заочно. Гучков знал — и никогда не дрогнул, не уклонился.

А она? Что она чувствует сейчас? Что почувствует, когда он войдёт? Он нуждался её увидеть — как испытать боль!

Но приехали в ратушу совсем не рано, а тут было в разгаре заседание депутатов — это новоявленное заседание нынешних дней, когда жаждали только говорить и слушать, всё равно кого, о чём.

И вдруг — такой подарок: военный министр и командующий Округом! Собрание — в восторге, собрание — приготовилось слушать. Корнилов, за несколько часов с поезда, совсем ещё к этому не привык: почему он должен выступать — не перед строем? И что он должен объяснять своим подчинённым, когда всё будет в приказе?

Но природная простота подсказала ему, как говорить, а держался он совсем не превосходительно — и в нём почувствовали своего и ревели овациями.

А уж Гучков-то говорить умел! За последние дни повыступал он в казармах и помнил несчастный опыт в депо. Уже умел он и избегать, умел и нравиться. И о чём бы ни говорил — всё хорошо, всё шло: о великой победе народа, о заре счастья, о составе нового правительства, об ожидающих демократических преобразованиях, часть которых уже и начата, о новой железной просвещённой дисциплине и о победе над лютым внешним врагом. Всё шло с равным успехом, и прерывали радостными приветствиями. (Только сам для себя Гучков не знал: зачем он на это силы тратит, зачем он здесь стоит и говорит, как во сне.)

Потом разбирались в дислокации частей, кто где какие караулы несёт, кто близ дворца, — Корнилов читал караульные предписания и поправлял. На всё это изрядно времени ушло, и, когда подъехали к Александровскому дворцу, миновав пикеты, — было уже за полночь. Во дворце светилось не так много окон, а может быть задёрнуты были многие.

Новый стиль отношений: не спрашивая ни министра, ни командующего, с ними увязались на трёх автомобилях члены революционного Совета, они тоже желали проверять дворец. Как быстро это хамство пробуждается в народе — и вот дали ему пробудиться. Как с военным парадом: проще совсем отменить посещение, чем делить его с Советом.

Но уже неотклонно вело Гучкова на эту встречу.

Хотя по телефону за полчаса они предупредили о визите — тут часовые отказывали пропустить их во дворец. Вызвали начальника караула. Двойственное положение: части, охраняющие дворец, хотя и признали новый строй, но подчинялись только своему коменданту генералу Ресину.

Вызвали его. Не пропустить военного министра и командующего Округом было невозможно, — но заодно попёрся и револю-

ционный Совет, полторы дюжины со своими красными бантами. (Кому не хотелось побывать во дворце, повидать, потом рассказывать!)

В вестибюль к ним уже спускался по лестнице, сохраняя осанку, но явно перепуганный, старый сухой граф Бенкендорф, с моноклем. Назвал себя, обер-гофмейстер, и спросил, что угодно.

Ещё заранее Гучков предупредил, что все разговоры должен начинать Корнилов: слишком явно было бы и неприлично, если бы вёл он сам.

Но и Корнилов говорил неохотно, более обычного нахмурясь.

Он сказал, что им нужно видеть… бывшую царицу.

— Но очень поздний час, господа, — жалостливо возражал Бенкендорф. — Ея Величество, вероятно, почивает. Или при детях. Вы знаете, все дети больны тяжело.

Да, этот поздний час получился неудачно, в планы он не входил. Но уже придя сюда, нельзя было уехать без свидания.

Гучков твёрдо держал посадистую голову и брови, ничем не подавшись. Корнилов покосился, понял, сказал:

— Но нам необходимо её видеть.

— Хорошо, извольте, попытаюсь, — нехотя, смутясь отвечал Бенкендорф. И пригласил их за собой.

Корнилов, страдая от революционной депутации, видимо, куда больше притерпевшегося Гучкова и ещё не пригладясь под петроградскую демократию, хмуро командно отчеканил им без «господ» и без «товарищей» — чтобы больше не шли за ними.

И так это уверенно прозвучало, что «делегаты» послушались, не пошли.

Но и по вестибюлю расхаживали уже так, что первый этаж вряд ли был от них оборонён.

Промелькнули слуги в галунных кафтанах, чулках и башмаках.

В промежуточном полузале ожидали не садясь. Бенкендорф по рассеянности упустил спросить, какова цель их визита, и Гучков сейчас подумал, как императрица должна быть встревожена, напугана и позднотой, и неожиданностью, и тем, что это *он*. Дрожащими руками одевается.

Но столько гнева накопилось в нём за эти годы, что он не только не пожалел её, а нащупав в кармане тёмно-зелёные очки, наде-

ваемые днём, когда приходилось ездить в автомобиле при слепящем снеге, — вдруг почему-то снял пенсне, а их надел.

Не почему-то — внутри так повернулось, что это будет ей необъяснимо и страшновато. Вот, он был хозяин её — если не жизни и свободы, то настроения и быта. И даже больше хозяин, чем она когда-нибудь с трона имела власть над ним, независимым русским деятелем.

С Корниловым эти минуты не сказали ни слова: могли их тут и слышать, да из непривычного круга был этот генерал, с ним не разговоришься. Стоял хмуро-монголый, сухой, прямой, как в строю, не имея потребности перенести тяжесть на одну ногу.

Вошёл Бенкендорф, совсем жалостный, и объявил, что они будут приняты в липовой гостиной, это через несколько комнат. Повёл их.

Когда Гучкова как председателя Думы принимал Государь — он бывал и в этом дворце, но как-то иначе его водили. И сейчас не без интереса он посматривал на проходимую обстановку, даже и ему, как солдатам из революционной депутации, было любопытно: над всем существующим вознесенная жизнь — какая она?

А было — не царское, а как в большом деревянном помещичьем доме, не больше.

Вошли в липовую. Здесь было мало мягкого, но нежная липовая панель по стенам, и желтели липовые ручки кресел.

Не сели и здесь.

Бенкендорф ушёл в другую дверь, напротив.

И вскоре же её открыл, пропуская императрицу, — но одетую, как нельзя было ожидать, в простое серое платье сиделки, а на голове косынка с красным крестом.

А за ней шёл кто-то ещё — пожилой, седоватый, высокий, красивый мужчина в торжественном чёрном костюме. По романовскому типу лица Гучков понял, что это кто-то из великих князей, но не вмиг сообразил, кто и откуда он взялся, потом понял — Павел, он живёт тут рядом.

Бенкендорф закрыл дверь, уйдя туда.

Четверо, такие разные, они стояли в произвольных местах гостиной, не составляя ни квадрата, ни ромба. Стояли, встретясь как бы случайно и для всем непонятной цели.

Даже рядом с Павлом императрица казалась высокой — и выше обоих пришедших.

Всё та же неизменяемая, столько виденная с фотографий, жёсткая, холодная величественность, а когда-то красота? Но для истинной красоты тут никогда не хватало игры жизни.

Величественность — но и сильно усталая. Но не давала себе эту усталость выразить, вообще — ничего выразить, кроме своего несравнимого устояния, хотя б её августейший супруг и отрёкся. От скорбного вида, от сжатых тонких губ создавалось выражение брезгливой презрительности, недоброжелательства.

Была совсем бледна — с пятнами нервного румянца на щеках.

Павел выступил больше, а она сделала от двери всего лишь два шага, до посетителей оставалось десять. И не только не возникло протянуть руку, но даже и к мебели не относясь никак, и вообще никакого обряда не предлагая, спросила отчуждённо, с блистающими глазами:

— Что вам угодно, господа?

Павел принял сколь можно важный вид. Он стоял в стороне и вполоборота к царице как высокого класса дворецкий, как строгий наблюдатель за церемониалом.

Вдруг Гучков ощутил, что этот красный крест на её сестринской косынке смущает его. Его собственная жизнь была часто переплетена именно с красным крестом. С этим знаком на рукаве он расхаживал и по маньчжурским долинам на той войне, и по галицийским местечкам на этой. Этот же самый красный крест, обращённый теперь к нему со лба императрицы, посылал ему какой-то смущающий привет. Он пришёл к этой заносчивой женщине как к своему вечному и самому крайнему врагу. А красный крест излучал ему странный сигнал, что они — из одного братства.

Отчасти этим смущённый, отчасти он не мог же открыть, что цель визита — никакая.

Но Корнилов вытянулся и в крайне почтительном тоне сказал:

— Ваше Императорское Величество! Мы с военным министром проверяли надёжность охраны дворца и вашу безопасность со стороны Царского Села.

И сразу — какая-то струна отпустила в ней! Уменьшился рост. И голова уже не держалась так закинуто твёрдо.

— Да, — уронила она металлированно-устало. — Эти дни творился большой безпорядок в Царском. Много стреляли, грабили,

кричали. Я очень прошу вас, генерал, как сделать для больных детей покой. И чтоб не нападали на охрану дворца.

Одному генералу, Гучкова как не замечая. Гучков оказался вообще в стороне.

Но так терялся весь смысл его прихода. И он вступил тоже в разговор, замечая, что вздрогнула императрица от его голоса. Он не назвал её «Ваше Величество», не назвал никак. Он не умягчал своего голоса — а может быть и умягчил? — сам не овладел моментом. Смысл слов его оказался мягок, и это невольно выразилось в голосе:

— Временное правительство поручило мне узнать, есть ли у вас всё необходимое? Какая нужна вам помощь? Может быть — детям лекарств?

Столько лет без единого доброго оттенка он думал о ней, то закипал, то клялся, что низвергнет её. И приехал, тоже не имея в виду сказать мягкое, но лишь проверить — она-то ли смягчилась от падения? А выговорилось так, будто он приехал проявить великодушие или даже помириться.

И она — с удивлением обернула к нему удлинённую голову с возвышенной причёской, угадываемой под косынкою. Её брови расступились из застылой надменности: этот ужасный человек в эти ужасные дни приехал не позлорадствовать, но предложить детям лекарств?

Детям — лекарств? В этом не могло быть ни насмешки, ни лицемерия. Детям — лекарств? — бальзам для матери.

— Благодарю вас, — ответила она уже совсем иначе, но не называя Гучкова никак. — Лекарств у нас вполне достаточно. И докторов. А вот только — покоя.

И с новым соображением добавила (голос у неё был низкий, красивый):

— Тут, в Царском Селе, есть мой госпиталь, куда я сейчас лишена доступа. Если можно — позаботьтесь, чтоб он ни в чём не нуждался.

И полминуты они посмотрели друг другу в глаза, как не приходилось двенадцать лет, и с удивлением не нашли прежней силы ненависти в себе. У неё — глаза потеряли надменный сверк, были простые человеческие, усталые. У него — закрыты дымчато-зелёными очками, неизвестно какие. Но кого же ненавидеть — этого ли мешковатого, совсем не военного министра, негрозно предло-

жившего лекарств? Эту ли примученную, приниженную сорокапятилетнюю женщину с пятью больными детьми?

Вдруг почему-то вспомнилось и укололо раскаянием, что ведь он приписывал ей и распространял по обществу письма, которых она, оказалось, не писала.

Неугаданным видением пронеслось между ними, что всё прошлое могло быть и ошибкой — и по дворцу не бродили бы сейчас с красными лоскутами дикари.

О госпитале — Гучков обещал.

И во власти этого ощущения — принадлежности к какому-то общему слою с установленными правилами, он неожиданно для себя, но сохраняя голос от предупредительности, спросил, нет ли ещё каких-нибудь желаний.

И императрица тотчас использовала:

— Да! Верните свободу невинно арестованным — генералу Гротену, Путятину, Татищеву, Герарди.

Ого! Чуть покажи мягкость — и уже она требовала?

Гучков на это не ответил.

Разговор вдруг оборвался, не имея дальнейшей темы и смысла.

И так, не присев, и не обратясь друг к другу никак, и не поздоровавшись в начале, и лишь чуть поклонясь в конце, — они исчерпали всё.

Простоявший с неподвижной важностью великий князь Павел двинулся их провожать. И в следующих комнатах, следуя рядом, сказал:

— Ея Величество ещё не довольно объяснила вам, как её крайне безпокоят войска, окружающие дворец. Они кричат, поют, теперь и открывают двери, позволяют себе заглядывать внутрь. Просто чёрт знает что себе позволяют. Не угодно ли вам будет призвать солдат к благопристойности?

Гучков ответил, что пришлёт своего офицера.

Павел чуть склонил голову и отстал, так и не подав им руки. Кажется, было движение подать, но он боялся остаться с протянутой.

И Гучков уходил совершенно недовольный: ничего он с этого не взял, только обещал, вся затея посещения стала казаться ему дурацкой.

Если смотреть на события вперёд — надо готовить обстановку для возможного ареста.

И он поручил Корнилову: найти и назначить нового надёжного начальника царскосельского гарнизона.

453

ЭКРАН

Красный крест.
Всем известный, прямой, квадратный,
предельно простой геометрически, не с прогибами сужения, как Георгиевский, ни с одним удлинённым концом.
Крест всемирного милосердия.
= Только расположен не привычно ровно, а чуть перекошено, будто сдвинут, свёрнут по оси.
Заметней.
Ещё заметней.
= Да он медленно кружится вокруг своего центра.
Вот уже по диагонали стали его стороны,
уже и прошли диагонали.
Вот снова выровнялся —
и тут же ушёл.
= Уже сильно заметно его вращение,
всё на глазах.
Он просто кружится, приколотый точкою в центре.
= Заведенный не своею силой — он
кружится — и всё быстрее.
= Уже так быстро, что не успеваем за его положениями —
уже не крест, и не милосердия,
восемь ли концов у него?
двенадцать?
шестнадцать?
Рябит — и сливается! —
в красное колесо.

ШЕСТОЕ МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК

454″

(по свободным газетам, 5—7 марта)

НОВЫЕ МИНИСТРЫ. Прежде всего это честные люди. И кроме того это — умные, сильные, стойкие люди. Россия не могла сделать лучшего выбора. Наш долг — отнестись с полным доверием… Не жалкие фигуранты ничтожного, прогнившего насквозь, опереточного режима, а выдающиеся представители русской общественности, опирающейся на безспорное уважение и доверие страны.

…Теперь нам нечего волноваться. Новое правительство, облечённое народным доверием, примет все меры. Как непохожа честная декларация Временного Правительства на лицемерные обещания старой власти! Нам удался головокружительный скачок от абсолютизма к полной демократии…

…Контрреволюция в любой момент может поднять голову, будь то в тылу или на фронте. Зоркие взоры власти должны быть направлены в обе стороны.

…И даже не страшно слушать о разногласиях между двумя основными силами переворота: какая-то твёрдая уверенность, что будет найдена средняя линия поведения, и в Берлине не придётся радоваться нашим раздорам…

…Имеются ли какие-нибудь основания к тревоге, безпокойству? Трижды нет! Все течения русской демократии относительно конечных целей войны сойдутся в страстном утверждении наших ближайших военных задач. Возродилась вера в победу России!.. Если когда-нибудь лозунг «всё для войны» имел смысл, то именно теперь.

Гельсингфорс, 4 марта …Некоторые офицеры, не пожелавшие признать новую власть, были ночью, говорят, убиты. Приехавшим делегатам удалось быстро ликвидировать напряжённость… Часть офицеров немедленно присоединилась к ликующей массе. Исполнительный Ко-

митет энергично приступил к ликвидации приспешников старого строя, о которых во время общей суматохи совершенно позабыли.

…Опасаться, что новые взаимоотношения в армии в чём-либо вредно отразятся на боевом фронте, — не приходится: там розни между солдатами и офицерами нет и в помине, немецкие пули там их сцементировали в единый монолит… Нельзя не приветствовать мысль Совета Рабочих Депутатов — образование выборных комитетов.

(«Биржевые ведомости»)

…Органы старой полицейской расправы сожжены революционным народом, а между тем правонарушения за неделю революции умножились.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЖАНДАРМЫ, охраняющие станции, мосты и движение, что с ними делать? Министерство путей сообщения предполагает отдать их для привлечения в войска.

Граждане! Не распространяйте ложных слухов! Русская печать свободна, она всё скажет народу.

У ЕВРЕЕВ. В субботу при громадном стечении молящихся было совершено богослужение в московской синагоге. Раввин Мазе вместо прежде совершавшейся молитвы за царя произнёс новую молитву за новое правительство. Затем произнёс речь, что сбылись лучшие чаяния русских евреев, потому что эти чаяния всегда полно совпадали с лучшими чаяниями лучших русских людей. И то, что совершилось, наполняет радостью неизрекаемой еврейские сердца.

САМОУБИЙСТВО С. В. ЗУБАТОВА. Застрелился один из ревностнейших… Не вынесла мрачная душа холопа реакции яркого света свободы. В последние дни покойный страшно тосковал, видя разрушение монархического строя… Недавно обещал Бурцеву свои мемуары…

МОСКОВСКОЕ ДВОРЯНСТВО. Экстренное собрание. Дворяне должны всячески содействовать новым властям, подчиняться распоряжениям комиссаров…

…Телеграмма на имя Родзянко: «Вологодское дворянство верит, что новое правительство выведет Россию на новый светлый путь.

…Внутренний враг сражён, но не уничтожен! Медведь ещё не убит, он только оглушён…

Бегство Кшесинской. На крыше её дворца оказались пулемёты…

…Разногласия и споры будут потом. А теперь — не надо омрачать светлые дни нашего преображения. Россия вернула себе былое народоправие!

…Есть пессимисты, которых всё пугает, особенно Совет Рабочих Депутатов.

…Группа московских дьяконов и псаломщиков, собравшись в эти исторические дни торжества евангельских истин, приветствует зарю народившейся правдивой жизни…

ОБРАЩЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ. «Братие, граждане! Нижние чины полиции постоянно находились всей душой вместе с народом. Если кому и не угодили, то исполняя волю высшего начальства, оставаясь безвольными рабами. По первому зову мы бы явились для исполнения общегражданского долга. Обращаемся к вам не озлоблять против нас ближних, так как мы много претерпели физически и нравственно».

Арестованные городовые собрали между собою по подписке на нужды революции 215 рублей.

…Сахаром Петроград оказался обезпечен на весь март. Обнаружены огромные запасы мороженой рыбы и птицы.

Судьба «Московских ведомостей». В редакции — полная растерянность. Все сотрудники, за исключением сравнительно немногих, заявляют себя сторонниками нового режима и намерены выпускать газету со статьями, соответствующими духу времени. Отправили телеграмму Львову и Керенскому, приветствуя новое правительство.

…Служащие низшего оклада тюремного ведомства отправили приветственные телеграммы министру юстиции Керенскому и Временному Правительству.

…Не надо праздновать! Пусть радость рвётся из сердца, а приступить к работе…

…Общее собрание служащих по делам печати. Член Комитета в своей речи сказал: «Когда старый строй рухнул и обновлённая Россия созидает формы нового строя, — нет места для робких половинчатых душ, и поэтому служащие по ведомству должны проявить своё политическое лицо и убеждённо сказать, что видят в новом правительстве спасителя России».

Служащие цензуры приняли резолюцию, приветствующую свободную печать.

…Все граждане, любящие Россию, стоят за новый строй. А те, кто не с ними, — должны считаться изменниками и предателями.

(«Русская воля»)

ПРИКАЗ по войскам г. Москвы, 6 марта. …Производится продажа нижними чинами обмундирования, сапог, белья, выданных для воен-

ной службы… Заготовка их стоит родине больших денег. Священный долг каждого воина…

Командующий военным Округом
подполковник Грузинов

…Петроград и Москва выполнили за Россию великое всенародное дело — и России сёл, деревень и провинциальных городов ничего более не остаётся, как стать под знамёна новой власти. Главное сделано, всё пойдёт хорошо. Выковывается новый порядок.

…Центральный Продовольственный Комитет обращается к чести и достоинству каждого гражданина, просит ограничить себя в потреблении продуктов первой необходимости и делать закупки только по действительной надобности, а не в запас… Ваше экономное потребление будет лучшим содействием правительству в его работе.

…В петроградской городской думе готовится переименование улиц, мостов: все Александровские, Николаевские и т. д. будут «Свободы», «27 февраля» и т. п. Создана особая комиссия.

АРЕСТ САШКИ-СЕМИНАРИСТА. Этот человек-зверь, не знающий ничего святого… После выпуска из Бутырской тюрьмы… Все преступники, желая вызвать к себе доверие, нацепили красные бантики…

НИКОЛАЙ II ПЕРЕЕЗЖАЕТ В АНГЛИЮ В ближайшие дни должен выехать из Могилёва в Царское Село, откуда вместе с семьёй переедет в Англию.

…Вышла разгромленная старым режимом социал-демократическая «Правда». Привет голосу пролетариата, отныне свободному!

(«Биржевые ведомости»)

Спешно продаётся **особняк фешенебельный**, аристократическая улица.

Сибирский кот чистокровный продаётся.

****

КРАСНОМУ УТРУ НЕ ВЕРЬ

****

455

Всё меняя поезда, удаляясь от Петрограда и приближаясь к своему верному полку, Кутепов готов был бы счесть и собственный бой на Литейном, и арест преображенских офицеров, ту зеркальную комнату и тот разброд в Таврическом — каким-то бредом, ещё бы раз проснуться — и не было ничего? — и в полку даже не поверят, когда он будет рассказывать? А не бредом — так уже их там усмиряют, или уже идут туда твёрдые войска, дело ещё двух дней?

Как вдруг на одной из станций — поражён был известием, что Государь отрёкся от престола!?

Выдумали?.. Нет, Манифест. И государев брат — тоже отрёкся.

Всё. Как воздух выпустили из груди.

И от огромного Фронта — никто не пришёл разогнать неопытную, необученную, разнузданную гарнизонную толпу, а — конец Династии?

Конец России?..

И мы, безсмертный Преображенский полк, — чья же мы теперь гвардия?..

Твёрд ещё наш штык трёхгранный,
Голос чести не умолк.
Так вперёд, вперёд, наш славный
Первый русский полк… ?

Когда после Японской войны Кутепова переводили в гвардию — у него была напряжённость и стеснение: высшие дворяне, белая кость, чуждый ему мир высших классов. Сам худоватый потомственный новгородский дворянин, настораживался он среди них быть потерянным, приниженным, и сердцем не принимал их запоздалые претензии на затопляющее превосходство. Казалось ему: уже нигде он не будет чувствовать себя так хорошо и родно, как в своём 85-м Выборгском полку.

Но были строгие законы военной службы, и, струнно придерживаясь их, Кутепов достойно вошёл и был достойно принят в Преображенском. Вскоре его поставили начальником учебной команды — и за годы между войнами он воспитал и подготовил более половины нынешних унтеров-преображенцев, а унтеры — опорная сетка всего полка. Мобилизационное расписание остав-

ляло его в Петербурге — Кутепов выпросился на войну, как в своё время на Японскую. Уже давно он не отличал себя от Преображенского полка ни в чём, а теперь, бой за боем, сроднялся с ним кровью. В первом же бою, в августе Четырнадцатого, ему раздробило ногу. Полк отходил, Кутепов не мог подняться и вынул револьвер отстреливаться насмерть. Но солдаты-преображенцы, сами раненные, вытащили его. После ранения едва воротясь в полк, он был ранен осколком гранаты в другую ногу. Летом Пятнадцатого кинулся с ротой в контратаку из батальонного резерва, увидя, что полк обходят, получил рваную рану в пах, но, и лёжа на носилках, не велел выносить себя из боя, а продолжал командовать ротой. После третьего выздоровления ему дали командовать ротой Его Величества.

Перед ним убитый капитан Баранов считал, что, командуя государевой ротой и нося царские вензеля, он не имеет права ложиться при перебежках. Это и был дух Преображенского! Штабс-капитан Чернявский в предсмертном бреду напевал слова полкового марша. Гвардия не залегает, гвардия идёт открыто! (И сколько же за то нас налегло, налегло!) Не потому, чтобы, приняв разумность этой гордости, — никогда в бою не прилечь, а складывались так бои прошлого года: на деревню Райместо никак иначе и не мог наступать его 2-й батальон, как болотом, открытыми подступами, по колено в воде. И в знаменитом бою под Свинюхой-Корытницами, опять из резерва, на этот раз корпусного, и опять без команды, своим соображением, Кутепов стремительно повёл свои полтора батальона сквозь заградительный немецкий огонь, лишь лавируя меж ним по возможности, для быстроты не залегая и не стреляя — было не до залёга, а — пробежать скорей эту огненную версту и встречно сойтись с наступающими немцами. (И золотые офицерские погоны все открыто сверкали под солнцем.) И немцы — отхлынули, оставляя пулемёты и пленных. В Свинюхинском лесу Кутепову подчинили несколько рот измайловцев и егерей — и он продолжал наступать к Бугу, а немцы рвали мосты через Буг, оставляя по этот берег свои орудия и штабеля снарядов.

И — куда же пошли теперь все эти бои и вся эта кровь?

Под растопт и плевки взбесившейся столице?

Свиньям в корыто?..

Стоял Кутепов у вагонного окна на последних перегонах к Луцку — и задыхался от горечи. Вся жизнь его, вся его служба, всё про-

житое было сотрясено, — да какая вся жизнь, ведь только 35 лет, с чем же — дальше?

Только и была надежда, что, достигнув своего полка, найдёт он здесь крепость.

А стояла гвардия в тех же гиблых местах, как поставил её Брусилов в июле Шестнадцатого на реку Стоход, заросшую осокой среди болот и малых лесков, лишь немного сдвинулись от тех Свинюхи и Корытниц, где столько гвардии было перемолото в сентябре. Стояли в такой же мокреди, особенно наблюдатели в некоторых местах — по колено в жидкой грязи, отдыхающие в блиндажах не спали, а вычерпывали воду, и даже в штабе полка натекло столько воды, что нарубили ещё брёвен на пол и так ходили по ним. Правда, сегодня, ко дню возврата Кутепова, немного подморозило и подмятелило, все тут радовались.

А дело в том, что, как их отозвали с пути в Петроград, преображенцы 3 марта вернулись на свои 30 вёрст от Луцка — но недолго понаслаждались резервом: почему-то их снова поставили на передовые, на новые три недели.

И, на первый взгляд, Кутепов как будто встретил, что и ожидал: в полку ничто не изменилось, солдаты прекрасно несли службу, был полный порядок и чинопочитание. Уж конечно ни единого красного лоскута.

Но — не узнать было настроения офицеров. Все подавлены, мрачны, — нет, убиты, убиты страхом за будущее — России, и Государя, и государевой семьи — хотя государыню тут не любили, и за будущее гвардии, и своё, и только и заняты раздирающими разговорами, попытками понять, постройкой фантастических планов и опровержением их тут же. События — обрушились, развалили всё, что построено в головах, — и теперь только начинало-начинало еле складываться.

Да как же ловко подгадали с переворотом! — старых офицеров стало мало, почти нет, молодые — из разночинцев. Временное правительство — английские ставленники, враги России. Английскими деньгами свергли законного Государя.

Да, Государь — патриотичен, самоотвержен, пожертвовал собой… Но, но… И пусть он отрёкся за себя — почему за Алексея? Как он мог оставить нас без монарха?

Кутепов приехал — первый живой вестник в полк из Петрограда, его вобрали с жадностью, каждое слово и эпизод, чтобы представить эту непостижимую, обезумевшую столицу. До него в полк

приходили слухи совсем нелепые — и ничему нельзя было верить, и ничего опровергнуть. А когда рассказал, — то горше всего обидело тут всех, оскорбило — поведение своих преображенцев, офицеров, там, в запасном батальоне: они-то — как же могли? Нас — не вызвали, не допустили, но они-то — были там! Как же было не попытаться! Какая же они гвардия?

Командир полка, генерал-майор Дрентельн, подробно расспрашивал своего помощника о каждом из офицеров, о каждом. И отозвался так:

— В отношении молодых меня, во всяком случае, утешает, господа, что они ещё не присягали полковому знамени и ещё не имели чести нести службу в боевых рядах преображенцев. Ясно только одно: все они нарушили присягу, и я запрещаю их приезд сюда из запасного батальона.

Кутепов-то видел их всех вживе — и отчасти допускал понять, как им в петроградской обстановке можно было и растеряться. Хотя — и прощения нет.

— Да петроградский гарнизон, господа, вообще весь — зараза и должен быть отрезан от армии!

— Да, но тогда и весь Петроград! И мы ничего не узнаем о наших близких…

Раздирающая безвыходность гвардии, чем мучились не только офицеры, но и унтеры, но и солдаты-старослужащие, проклинали: отчего же в ту ночь их не погрузили и не повезли? Воля Государя — да, не сметь судить, но всё же: какой в этом смысл, что мы протоптались безнадобно здесь, а не оказались в Петрограде? Неужели там бы — мы не вернее послужили России, чем здесь сидеть в залитых водой окопах?!

Позавчера, когда пришли сразу два отречных Манифеста, — офицеры как сошли с ума, старики же рыдали навзрыд.

А ротные должны были разъяснять нижним чинам. Что?

Даже не первый, государев Манифест — но Манифест Михаила Александровича подкашивал всякую веру в грядущее.

И что же — наши все схоронённые?..

Учредительное Собрание? Армия — дворянство и крестьянство — от голосования будет устранена. Зато будут голосовать все освобождённые от войны — можно представить, что они наголосуют.

И — когда это всё случилось? Когда наконец превосходно вооружение, изобилие снарядов — да разве и на продовольствие

можно жаловаться: разве армию плохо кормят? Да что и где в России рационировано? Разве это сравнимо с Германией или с Англией?

Да пока и сейчас ещё не поздно, пока эта анархия не перекинулась в армию — это был бы ужасный зверь, перед которым не устоит ничто! — может быть, ещё успеть разогнать эту чернь? Пойти походом на Петроград, уничтожить всю эту сволочь?

Упущен, упущен момент.

Но хорошо бы до конца понять: что же всё-таки думают наши нижние чины? Разделяют ли они действительно наше отчаяние? Понимают ли значение всего? Не заразятся ли и сами петроградским примером?

Конная гвардия — та нахмурилась, насупилась против переворота — не то что до последнего кавалериста, но даже до последнего коня.

И всё же: невозможно жить — и не подчиняться никакому государственному порядку. Но: возможно ли подчиниться Временному комитету Думы или Временному правительству — звуку пустому?

Все эти дни лучом света и одной надеждой было — назначение великого князя Николая Николаевича. Всё же — есть на кого опереться! Великий-то князь устоит на страже исконных устоев Российской Державы! И великому князю — должен сказать своё слово и Преображенский полк! Ото всех офицеров послали ему телеграмму в Тифлис.

Тем временем получили приказ Верховного Главнокомандующего, что он подчиняется и призывает всех подчиниться Временному правительству.

Ну, так — так та́к. Повелено, так нечего и рассуждать.

Стало как будто легче, хотя — от чего?

Дрентельн, сильно прихрамывающий, с ногой хуже, сказал Кутепову:

— А я — так посылал письмо и Государю. С поручиком Травиным. А он не возвращался — и я безпокоился очень: ведь кому попадёт в руки? ведь как истолкуют? И Травина действительно задержали. Но к счастью не обыскали. И он в отчаянии привёз назад.

— А может быть, в Ставку кого-то послать? Что полк по-прежнему предан, скорбит об отречении, готов выполнить *всё, что прикажут*?

Прищурился Дрентельн:

— Алексееву? Послать — можно. Если б знать, что ему пригодится.

— А к тому времени в Ставке будет великий князь.

— Верно. Полковника Ознобишина пошлю.

456

Что можно было увидеть из Ставки? Из Главного морского штаба, из центра столицы, какой-то флаг-капитан Альтфатер систематически доносил, что в Петрограде полный порядок, и в Ревеле тоже, и это спокойствие из Петрограда всё более распространяется на Балтийский флот. Убили Непенина, много офицеров, — а морской штаб доносил, что офицеры возвращаются на свои корабли, с принесением им извинения и сожаления, судовые команды клянутся сохранять порядок. Но казалось бы, если судовые команды раскаялись, то надо выдать убийц Непенина и судить их, без этого не может восстановиться прочная дисциплина? Однако чувствовал Алексеев, что даже заикнуться об этом теперь уже невозможно, а надо как-то восстанавливать, игнорируя всех убитых и всё разгромленное.

А политики? Известный Родичев что там в Гельсингфорсе ухватить успел — но смело предлагал немедленно восстановить самостоятельные финские войсковые части, которые-де заменят в Финляндии расстроенные русские части и привяжут финнов к России, каким-то неизвестным образом. Был это опасный вздор, забывался горький опыт минувшего, как раз наоборот, тогда-то финны и выступят вместе с немцами против России. Однако же вот, Родичев нисколько не стеснялся предлагать такую чушь, и надо было спешить донести этот проект Николаю Николаевичу, пока он ещё последние часы в Тифлисе, а потом связь прервётся.

Что и видел, что мог бы решить, — то не смел, но должен был пересылать и пересылать запросами на Кавказ, даже с Чёрного моря полученное от Колчака. А ответы Николая Николаевича были всё ожидательные. Ну, наконец сегодня выезжал, дня через три будет в Ставке.

Препятствием к возврату великого князя оставалась только задержка в Ставке отрекшегося Государя. Торопил и князь Львов,

что пребывание Николая II в Ставке вызывает тревогу общественных кругов, желательно ускорить отъезд его из Могилёва. Да самого Алексеева как тяготило! Вдруг Государь отправил в Царское Село какую-то шифрованную телеграмму, и в Таврическом переполох. Да постоянная неловкость от двусмыслия, что у начальника штаба с бывшим Верховным могут быть какие-то скрытые сношения. (И были они. Вдруг Государь передал Алексееву конфиденциальную просьбу: нельзя ли дать ему почитать «приказ № 1»? Просьба была пустяковая, но деликатность — в самом сношении, и кого же попросить напечатать копию на царской бумаге? Догадался попросить скромного Тихобразова и приватно отослал Государю.)

Неловкость была даже только от незримого ока, от воображённого (теперь уже не виделись) мягкого взгляда Государя, где и упрёка не было, а только благодарность.

Тот взгляд, совсем растерянный, безо всякого упрёка за отказ, с каким принёс он позавчера свою невозможную телеграмму об отмене отречения. (Телеграмму ту Алексеев спрятал подальше, чтоб не смутить никогда ничей ум.)

Пока Государь был здесь — неловко было и снимать его портреты в штабе. А вместе с тем и держать их далее уже становилось неблагоразумно.

Но и Государь, ожегшись на своей последней поездке, не хотел теперь ехать, не получив гарантий.

И вот сегодня утром, к счастью, они пришли. Князь Львов утвердительно отвечал на все три просьбы Государя, переданные Алексеевым: правительство согласно на проезд отрекшегося царя в Царское Село, пребывание там по болезни детей, а затем и проезд в порт на Мурмане.

И сразу Алексееву полегчало. И он немедленно сообщил великому князю на Кавказ.

457

Можно было бы удивиться (и поучиться) тому такту, разумности и великодушию, с которыми Николай Николаевич управил революционными событиями на Кавказе. Везде бы так провели

революцию, как он, — никаких не было бы безпорядков и колебаний.

Полтора года своего наместничества и Главнокомандования на Кавказе Николай Николаевич провёл примирённо со своим новым местом, вполне нашёл здесь себя и не порывался в Россию, не сумевшую его отстоять. Но буквально за последние два-три дня он почувствовал себя здесь всё вырастающим, всё вырастающим и уже не у места, — ощутил потребность разделить свои чувства с Россией ещё прежде, чем вернётся к ней сам.

Такой цели лучше всего служат газетные корреспонденты. И вчера он с удовольствием принял у себя во дворце для беседы корреспондента прогрессивного «Утра России». И обласкал его, очень милостиво с ним говорил. Заявил ему свою надежду, что тот отметит: есть в России такой край, где события протекли совершенно спокойно. Новое правительство сразу признано, и Верховный Главнокомандующий, во всём объёме своей власти, не допустит нигде никакой реакции ни в каких видах.

— Я думаю, — улыбнулся великий князь, — этим сообщением вы доставите многим радость.

— Ваше Императорское Высочество, — ещё искал польщённый журналист, — русским читателям хотелось бы слышать ваше авторитетное слово, насколько происшедшие революционные события приблизили нас к победе.

Не мог великий князь отказать и в таком авторитетном слове! Он ответил, освещаясь сознанием своего жребия:

— Доверие русского общества всегда поддерживало мою работу. С Божьей помощью я доведу Россию до победы. Но для этого необходимо, чтоб и все осознали свой патриотический долг. Если новое правительство окажется без поддержки и не в силах предупредить анархию — это будет чудовищно!

Некоторые грозные признаки всё же проявились в некоторых географических пунктах России — и это безпокоило великого князя.

Это уже, собственно, не корреспонденту надо было говорить, тут надо было предупредить само правительство, князя Львова. А князь Львов странно не отзывался на несколько уже телеграмм. Но нечего делать, вчера Николай Николаевич отправил ему ещё телеграмму. От Алексеева всё время приходили жалобы на какие-то приказы, идущие помимо Ставки. И вот напо-

минал великий князь, что для победы безусловно необходимо единство командования. И так как правительству не может быть не дорого благоденствие России и окончательная победа, то надеется Верховный Главнокомандующий, что все распоряжения или, верней, пожелания правительства относительно армии будут направляться только в Ставку. А уже сам Верховный Главнокомандующий…

Ехать в Ставку — да, но почему же так неприлично молчало правительство? Не только не было ответов, но заметил великий князь, что до сих пор не было опубликовано утверждение Верховного Главнокомандующего Временным правительством. Это, конечно, простой промах, они не привыкли и закружились, но Сенат-то знал своё дело, почему он не публиковал назначение, подписанное Государем? Итак, все в России знали, все считали великого князя Верховным, но никак это не было официально подтверждено. Странное положение.

И от этого великий князь испытывал потребность как-то добавочно укрепиться. Ему пришло в голову разослать через Алексеева ещё такой приказ:

«Для пользы нашей родины я, Верховный Главнокомандующий, признал власть нового правительства, показав сим пример нашего воинского долга. Повелеваю и всем чинам неуклонно повиноваться установленному правительству».

И чтоб Алексеев отправил копии правительству. Это был выразительный шаг, как бы косвенное, но публичное письмо всё тому же Львову, показывающее всю лояльность великого князя, но и — назначьте же официально, что ж вы медлите!

Знали б они да оценили, с какой лояльностью великий князь отверг мятежное предложение Колчака. А ведь он мог бы, о, он мог бы совсем иначе!..

Алексеев — одна была инстанция, безпрекословно подчинённая великому князю: всё рассылал, обо всём докладывал. Но Алексеев — тоже закрытая фигура, при Ники он привык к самостоятельности, был фактически Верховным, а теперь предстояло ему попасть под сильную, ломающую волю великого князя, — может ли он хотеть того? Не метит ли в Верховные сам?

Немного поскрёбывало великого князя, но по обязанности он должен был держаться гордо и весело передо всеми. И минувшей ночью дал ещё одну телеграмму князю Львову: что сегодня выез-

жает в Ставку, предполагает быть там 10 марта — неизвестно, насколько свободен путь, нельзя составить точного расписания, ещё будет телеграфировать с дороги. Очень будет рад приезду министра-председателя к нему туда для личной встречи чрезвычайной важности.

Ехать — да, уже пора, но и Кавказа не мог великий князь оставить осиротелым. Вчера, в воскресенье, надо было почтить присутствием большой воинский митинг на площади — тысяч шестьдесят офицеров, солдат и населения, все восторженны, порядок образцовый, выступил начальник штаба Кавказской армии, призывая к доверию и порядку, затем другие офицеры. Митинг и парад — вот были проявления великодушной революции.

А ещё надо было — обратиться к населению Кавказа с прощальным отеческим словом. Помощники, владеющие пером, два дня составляли такое воззвание, и наконец, довольный им, великий князь подписал. Здесь выразилось то чувство, кое испытывал он и желал сообщить народу. Государственная Дума, представляющая собою весь русский народ, назначила Временное Правительство. Между тем Германия зорко следит, когда наши чудные, но смущённые армии не смогли бы оказать ей противодействия. Между тем растут безпорядки, и это грозит армии, но конечно не на Кавказе. Народности Кавказа с достоинством патриотов и мудрым спокойствием отнеслись к политическим событиям. Так и следует им состоять после отъезда Наместника: не слушать тех, кто призывает к безпорядкам, но внимать лишь распоряжениям правительства — и тогда с Божьей помощью наши сверхдоблестные армии довершат своё святое дело, а народ русский, благословляемый Богом, выскажет, какой государственный строй он считает наилучшим. Обращаясь к вам, народности Кавказа, я хочу, чтоб вы знали, что мною повелено всем должностным лицам повиноваться новому правительству, а всякие попытки противодействия будут преследоваться со всей строгостью законов.

С гордым и тёплым чувством великий князь покидал Кавказ. Какая-то часть сердца оставалась тут.

Сегодня утром прошёл и в свою наместническую канцелярию и объявил служащим, что, увы, не успеет устроить их судьбы, но надеется это сделать по возвращении на Кавказ после войны, когда он, может быть, поселится здесь как простой помещик, так как имеет на Кавказе свой клочок земли.

В эту минуту и сам поверил: а что ж, может быть, и поселится? Хотя не худший клочок земли с дворцом он имел в Крыму, и огромное любимое имение Беззаботное под Тулой со знаменитой псарней.

Ехать — да! уже властно звал его воинский долг! — но разве с этими женщинами уедешь вовремя? Сборы Станы и Милицы растягивались безконечно, и уже с утра стало ясно, что сегодня они никак не успеют, может быть к ночи.

И так образовался лишний день. Ещё один лишний день повьётся штандарт императорской фамилии над дворцом. Но программа прощаний уже была выполнена, нечем заняться, ещё раз принял услужливого Хатисова, с которым так сроднили прошедшие месяцы, и благодарил, благодарил за всё.

Однако лишний день приносил и лишние, и мрачные известия. Из Беззаботного пришло сообщение, что имение разгромлено мятежной толпой, главным образом винный погреб.

Ого-го! Ка-кая же смута! Да что же смотрят власти?! (Правда, после этого они там сконфузились и теперь поставили на охрану 12 юнкеров.)

Кто знает, как пойдёт в разных частях России, а может быть, и неплохо иметь запас на Кавказе, где его так любят.

А тут — и в самом Тифлисе сегодня солдаты стали разоружать постовых городовых.

Ну что за безобразие!

И образовался в Тифлисе Совет рабочих депутатов. Это хорошо.

И офицеры одного полка, арестовав своих начальников, предложили Совету свои услуги.

А это что такое??

В Нахаловке образовался и Совет солдатских депутатов.

А Стана и Милица всё не были готовы, и не успеют и к завтра!

Решили с братом Петей: всё равно жёнам ехать не в Ставку, а в Киев, пусть остаются, и Петя их сопроводит. А Верховный примет дела — и тогда вызовет их всех.

В Ставку! Возбуждала, звала, манила деловая и военная привычная обстановка Ставки — истинного места, где Николай Николаевич и должен был находиться всю войну без разрыва — если бы не зависть наказанного теперь Ники, поджигаемая вечной ненавистью Алисы к Стане.

458

(Как в провинции было. Фрагменты)

* * *

От Петрограда по всем железным дорогам быстро разливался новый станционный вид: на перронах — солдаты с красными лоскутами, потом и без поясов, потом и с отстёгнутыми хлястиками, подчёркнуто распущенные, с вызывающими выкриками.

А в поездах солдаты без билетов стали густо заполнять вагоны всех классов. И только «спальные вагоны международного общества» некоторое время почему-то ещё внушали к себе уважение.

* * *

В **Твери** в толпе, штурмовавшей дом губернатора, было много пехотинцев из запасного полка. Как только губернатора свели с квартиры — солдаты ворвались грабить, пили коньяк, вино, хватали сахар. Кроме губернатора на улицах убили нескольких городовых. А солдат Ишин заколол штыком полковника Иванова, командира 6-й запасной батареи, тут же стащил с убитого лаковые сапоги (ради них и убил) и на снегу переобулся. Никто его не тронул.

Была сожжена губернская тюрьма, а арестанты разбрелись по городу, свободно грабя в отсутствие полиции.

* * *

На берегу замёрзшей Волги маленький **Ровненск**, Самарской губернии, изобилующий неотправленным зерном и просмоленными конопаченными баржами. В два часа ночи самарский дежурный предупреждает всех на телеграфном проводе быть готовыми к приёму особоважной государственной телеграммы. Ровненский молоденький телеграфист Иван Белоус, полный сожалений, что не был вечером в клубе, не танцевал падеспань и падекатр с милыми девушками, — принимает ленту — и лезут глаза на лоб: отречение царя!!! Он даже не может всего понять, не понимает как следует — и вдруг такое тяжёлое чувство! Спешит разбудить в этом же здании начальника конторы. Тот читает написанный бланк и дрожащими руками сверяет его с лентой. Потом обегает дома начальства — и через полчаса маленькая телеграфная контора едва вмещает их всех, поднятых с постелей, ошеломлённых, бледных. В тревоге они перечитывают, обмениваются, спрашивают — но ответить им некому. Вот ещё спит, ничего не знает их городок, они узнали на несколько часов раньше — а что толку? что они могут сделать? Государь отказался от них…

На следующий день появляется на улице толпишка с никогда не виданным в Ровненске красным полотнищем. Директор училища, толстый холёный барин с красным бантом и красной повязкой на рукаве, читает вслух Манифест, громит «старый режим» и восхваляет наступающую свободу.

Тех, кто ночью был на телеграфе, не видно ни одного. Город остался без власти.

* * *

В знаменитое **одесское** кафе «Фанконе», по шику не уступающее парижским, ходила самая элегантная публика. Вдруг с улицы послышался шум, пение «Вы жертвою пали», и показалась процессия с красными флагами, человек двести молодёжи довольно неряшливого и необузданного вида. Публика в кафе встала от столиков, подошла к зеркальным окнам, среди неё тоже и молодые люди, и барышни. Стояли, смотрели. Процессия прошла, не очень сюда и глядя.

Повеяло чуждым и страшным. Вернулись к кофе, шоколаду, пирожным, но совсем без прежнего настроения. И скоро разошлись.

* * *

В **Саратове** революция началась с убийства городовых. Мертвецкие были заполнены их трупами. На всех углах митинги. Площадь против тюрьмы запрудила толпа и несла на плечах деятеля, а тот показывал над головой добытые ключи от тюрьмы.

В университетском госпитале плакал раненый солдат. «Что плачешь?» — спросила его сестра. «Царя жалко». Она была из помещичьей семьи и просвещённая, ответила: «Ничего, обойдётся».

* * *

В **Витебске** губернаторский швейцар Михаил плакал по отрекшемуся Государю, как по покойнику. А в столовой самого губернатора не раздалось сожаления, но толковали, что скорей бы пришёл к власти Николай Николаевич. И уже тогда не будет больше повода для сплетен о царице. Передавали уличные события — избили одного городового, свалили с ног священника, — витебский городской голова Литевский оправдывал: «Надо понять народ, ведь столько лет давили его!»

Полиция оставалась на местах и ждала распоряжений губернатора, а он всю надежду возложил на великого князя, — приберёт их к рукам! Сам же пока старался быть как можно демократичней. Чиновники озирались: серьёзно это всё или пойдёт по-старому? — но на всякий случай отодвигались и отворачивались от одиозных фигур прежней власти. Витебские либералы ходили с поднятой головой: мы победили! По улицам толпами ликовала еврейская молодёжь и в агитации не имела успеха только среди крестьянского привоза на базаре.

* * *

А с **царицынским** священником, о. Гороховым, было всего вот что. Не призывал он ни к какому восстанию, а по окончании литургии, разоблачившись, обратился к молящимся со словом о происходящих правительственных переменах и что по чувству совести духовного лица он не решается изменить присяге, данной престолу, — оттого не находит теперь возможным продолжать служение алтарю. Тогда выступил местный юрист, что с передачей престола отпадает и данная под присягой клятва. Отец Горохов тем временем удалился из храма. Вскоре к нему на квартиру пришёл военный патруль и арестовал.

* * *

В **Пензе** старые власти арестованы, а новозаменяющие (вместо вице-губернатора — помощник присяжного поверенного Феоктистов, революционер) стояли с красными бантами на дощатой трибуне, обтянутой кумачом, а внизу под ней — начальник гарнизона генерал-майор Бем. С трибуны, оттесняя цензовых, кричали какие-то революционные — о свободе, которая теперь полетит через проволочные заграждения фронтов. Мимо шёл парад войск, «примкнувших к народу». В его строй врывались возбуждённые интеллигенты, жали руки офицерам и солдатам. Три полка прошли — ничего, вдруг из четвёртого выбежало несколько солдат и с криками: «Вот тебе увольнительная записка!» — стали избивать генерала. (Его строгий порядок был — не допускать хождения солдат по городу без увольнительных записок.) Изорвали в клочья всё, что на генерале было, и оставили под трибуной голый труп. Подбегали другие солдаты и били труп ногами.

Тут же редактор газеты держал речь к войскам — и избрали нового начальника гарнизона.

Тем временем толпа освободила тюрьму — больше 500 арестантов, много каторжных. Извозчики безплатно повезли их по городу, в их халатах и войлочных шапочках, они трясли разбитыми кандалами и кричали народу.

По вечерам Пенза стала рано гасить свет и запираться от грабежей. Город затопили пьяные солдаты без поясов.

* * *

В **Екатеринбурге** неизвестные штатские и солдаты стали самовольно стягиваться в городскую думу на митинг, оттесняя гласных: «Если вы с нами не согласны — то на поддержку демократии придёт 126-й полк!»

Следующий митинг — в театре. Мало штатских, почти нет женщин, а зал переполнен солдатнёй так грозно, что вот произойдёт катастрофа. Актёр, стоя на барьере бенуара, называет громко: «Губернатора… архиерея… полковых командиров… жандармов…» — а пьяный прапорщик со сцены взмахивает шашкой после каждого: «Арестовать!.. Аре-

стовать!..» — и зал ликует. Актёр кричит: «Занять телеграф! телефон! вокзал!»

Тем временем в маленькой комнате театрального буфета железнодорожник Толстоух открывает тайное заседание революционно-демократической головки: «Каждый, кто сейчас не согласится, будет убит на месте. Немедленно рассылаем наряды арестовывать власть имущих и полковых командиров».

Присутствуют и несколько радикальных членов городской думы. Вырвавшись с того заседания, обсуждают между собой: предупредить ли полковых командиров? Пожалуй нет: это будет истолковано как донос.

* * *

Иркутск. При первых известиях о перевороте в Петербурге иркутская администрация замерла, не подавала признаков жизни. Взоры населения обратились к политическим ссыльным как своим теперь вожакам: все увидели в них власть, и состоятельные круги, известные промышленники и адвокаты не пытались её перехватить, но на их лицах было к революционерам почтительное выражение. Гарнизон в 40 тыс. человек не сопротивлялся подчиниться возникшим революционным органам. От имени ссыльных Ираклий Церетели и Абрам Гоц сами отправились во главе отряда для ареста. Генерал-губернатор Пильц, сгорбленный старик, встретил их испуганными поклонами. Ему объявили, что он, арестованный, будет содержаться в этом же доме, и он рассыпался в благодарностях, что всегда был уверен в «благородстве идейных людей».

* * *

В **Ачинске** три дня чествовали Брешко-Брешковскую, освобождённую из минусинской ссылки. По пути её на вокзал войска потоком брали на караул, а перед коляской валил народ с хоругвями.

* * *

В городке **Зея**, за Амуром, вскоре после царского отречения местные интеллигенты созвали большое собрание жителей, всё больше простой народ, золотоискатели. Предложили выбрать комитет, назвали Абрамова, коренного сибиряка, удачного золотоискателя, одного из пионеров края. Он поднялся в богатырский рост:

— Я могу служить царю, но как его нет — отказываюсь от всякой общественной работы.

Слова его покрыли «ура» и аплодисменты.

Царские портреты остались висеть почти во всех домах.

* * *

Кадеты **Хабаровского** корпуса встретили революцию с негодованием. Вынужденные убрать портреты Государя из ротных зал, перенесли

их в классы. Изображения Государя стали клеить на внутренние крышки парт, а на портупеи — двуглавых орлов и императорские короны. Когда комиссар Временного правительства назначил парад гарнизона — на площадь, разукрашенную красным, кадетский корпус вышел под трёхцветным флагом и без единого красного банта.

* * *

В **Самарканде** ликование гимназистов было так обязательным, что даже сын прокурора просил дома сделать ему красный бант. Сын местного адвоката всю войну продержался тыловым офицером и тогда льстил прокурору — теперь костит его при публике, а прокурор виновато улыбается под сотнями глаз. Среди демонстрации едет колесница, убранная кумачом, и стоящие в ней раскланиваются. Ходить с красными бантами заставили всех бывших правителей, они жмутся и угодливо улыбаются каждому встречному солдату. Уже весна в разгаре, но их сады лишили полива, и те сохнут.

* * *

В **Новочеркасске** днём 1 марта в войсковом соборе шла с обычной торжественностью традиционная панихида по Александру II. Но уже передавали по городу телеграмму Бубликова, в городе возникла тревога. 2-го марта прорывались ещё слухи, возникло большое возбуждение в интеллигенции и в рабочем районе Хотунке, где стояли и два запасных полка. В ночь на 3-е в революционно-явочном порядке возник Исполнительный комитет в 40 человек из членов думы, военно-промышленного комитета, земгора, студентов, присяжных поверенных и больничных рабочих касс. Исполнительный комитет с добавлением революционных офицеров, как есаул Голубов и поручик Арнаутов, сам взял в свои руки телеграф, телефон, почту, «Донские ведомости», конфисковал архивы жандармского управления, атаманской канцелярии — затем и арестовал атамана за его «неискреннее и двусмысленное отношение к государственному перевороту», заставив передать донское атаманство — воспитателю донского приготовительного пансиона войсковому старшине Волошинову.

Манифестации шли мимо архиерейского дома — и старый архиерей крестил в окно народ. А люди потемней собирались в войсковой собор молиться. Плакали.

В шести верстах, **в Персиановке**, директор сельскохозяйственного училища Зубрилов, действительный статский советник и донской дворянин, собрал учащихся в рекреационном зале и, сильно возбуждённый, объявил, что монархия пала, произнёс восторженную речь: что монархия только задерживала развитие страны, а теперь Россия пойдёт вперёд семимильными шагами.

В станице **Глазуновской** ударили в набат. Люди стали сбегаться с вёдрами и вилами — на пожар. И тогда два урядника и два бывших

стражника (у троих — в прошлом судимость, смещение с должности за вымогательство и взятки, а то и тюрьма), подбитые нахожим интендантским солдатом и хорошо накачавшись самогону, — объявили себя исполнительным комитетом, а станичного атамана и заседателя — долой. Потом в станичном правлении стали разбивать шкафы с бумагами, звали народ делать обыск у попов и учителей и разделить меж собой их съестные припасы.

* * *

В середине дня надзиратель **полтавского** реального училища — хиленький, рыжеватый, с петличками коллежского секретаря, вошёл в два старших седьмых класса и пригласил их выйти тихо в актовый зал. (Уж они слышали кой-что и без того.) В зале постоянно висело три портрета — Петра I, Александра III и Николая II, — сейчас все они были завешены белыми простынями. Но и красного — нигде ни лоскута. В углу кучкой стояли учителя и инспектор Розов, преподаватель русского. Ввели ещё, так же тихо, группу старших семинаристов, старших учеников коммерческого училища, стайку гимназисток из соседней гимназии. Еле слышны были переговоры.

Инспектор Розов ледяно объявил об отречении Государя.

Кто желает сказать?

Его известный любимец семиклассник Сурин, красивый, стройный, с румянцем на щеках, вышел на подиум и с экзальтированными движениями заявил:

— Мы — больше не учащиеся реального училища, и никакого другого! Мы — свободны от контроля такой сволочишки, как инспектор Розов! Мы понесём революцию по городу! по губернии! по всей стране!

Реалисты перепугались, как снега им насыпали за воротник.

Инспектор плакал в углу.

Выступил журналист местной газеты и наставлял учащихся не снимать фуражек при встрече с учителями на улице: это символ рабства, а они — свободны теперь.

* * *

В **Киеве** в ночь на 4 марта, первую после отречения, образовались банды: срывали вывески с двуглавыми орлами, уничтожали национальные флаги. Толпа смотрела угрюмо. Из неё раздавались угрожающие выкрики.

Утром 4 марта на Крещатике — ликующая, кричащая толпа, очень много красных флагов и плакатов. («Война дворцам».) Жуткая громадная толпа однородного характера, духа радости и злобы. Выделялись солдаты в расстёгнутых шинелях, днепровские матросы. Рабочий услышал, как два старика, выбираясь из толпы, жалуются друг другу, что

страшно, — стал их ругать и бить кулаками. На тротуарную тумбу взлез офицер, расстегнул китель, колотит себя в грудь и кричит, что он счастлив сбросить с себя шкуру царской собаки.

Жена богатого киевского ювелира Маршака (купец 1-й гильдии, все права, все сыновья с высшим образованием), узнав о революции, вышла на балкон без пальто и шляпы, привешивала красную материю как флаг: освободились от рабства!

Киевская полиция раньше других учреждений на общем собрании выразила готовность служить новому строю.

* * *

В **Темрюке**, в устьи Кубани, было реальное училище, выпускники которого потом учились в крупных городах и на каникулы привозили революционный дух и песни — местной гимназии, прогимназии, собиравшим много молодёжи из станиц. Так что и здесь, в далёкой глуши, гимназистки понимали, что самодержавие отжило свой век, пели «Вихри враждебные» и «Дубинушку».

В один из первомартовских дней ученицы 7 класса что-то заждались своего учителя математики, всё не шёл. Всегда он был хмурый (не любил преподавать математику, а любил музыку, хороший скрипач), — тут вошёл радостный и, размахнув руки, поздравил учениц с революцией! Это было громоподобно. Полагалось ждать её впереди, но никто не ждал дожить до неё так быстро. Учитель стал вспоминать перед ученицами свои студенческие годы в Москве — и засиделись на перемену.

Но какой может быть следующий урок! — теперь сплошная перемена. Растеклись по всему зданию. Учительницы сами не могли ничего объяснить, да они уже не отличались от учениц во всеобщем ликовании.

А тем временем пришёл школьный сторож и принёс новость, что в городе собирают всех на Александро-Невскую площадь. Многие девицы загорелись, поджигали других идти. Так заразительно было: пойти на необычное сборище, услышать необычайные слова. Никто из начальства не смел и удерживать, как бы не назвали реакционером или черносотенцем, хуже этого быть не могло.

Пошла и Вера, но на первом же углу услышала оратора, рассказывающего гадости об императрице, — и в ней сжалось тревогой и отвращением. И она не пошла на митинг, а свернула, побрела задумчиво, и вышла к их маленькой станции, где пустынно было на перроне. Взяла Веру пустота, как когда у неё умер папа, несколько лет назад.

А вскоре к ней подошла одноклассница Люба, с которой она даже и не дружила. И та спросила:

— Ты — *тоже*?

Не сказала, что — «тоже», но вдруг объединило их это. И они взялись тесно под руку, как перед бедой грозящей, и, почти не обсуждая,

побрели по Упорному переулку, тоже пустынному, и смотрели издали на белые колонны своей гимназии и на белый Свято-Михайловский собор — и всё не могли расстаться друг с другом, как будто что-то особенное открылось в каждой — и соединило их.

А вся масса *посунула* на митинг.

459

Деревенское зимнее время всегда богато свадьбами. Но в эту зиму в Каменке не справили ни единой.

И масляна прошла без гулянья и без гона рысаков. Выехали два-три любителя — и осеклись, увернули.

После осеннего загрёба мужиков в солдаты — заметно обезлюдело село. И тянулась, тянулась проклятая — глотала, и не было ей конца. Забрали и ещё молодых, призывной год.

Декабрь-январь простояли морозы ровные, а с февраля закрутили мятели, какие редко так свиваются, — и вились две недели сподряд. Так заметало, что по три-четыре дни никакого пути не было никуда. Потом мятели сгунули, но и в начале марта никак не чуялась весна. При морозах посыпал снег — то через день, то каждую ночь. Скот и лошади по сараям стояли смирно, не выказывая обычного предвесеннего безпокойства. Мужики доправляли сбрую, ещё не выходя к плугам, ходам и сеялкам. А бабы дотокали начатое, кончая ворох зимней своей работы, а кто частил-постукивал швейными зингеровскими машинами (с дюжину было их на село, купленных за сто рублей на сто месяцев в рассрочку). Только дети не сбивались со счёта, что вот в этот четверг необминно будут жаворонки печь, усдобняя скучную постную еду. Да колотили скворечники из тёсу или из дупел, — кто постарше, тот сам, а кто приставая к деду.

Упала жизнь — упала и торговля. Там и здесь по округе не состаивались непременные ежегодные ярмарки по известным дням, и уже видно было, что и в Каменке мартовская не состоится. Некому было покупать, некому продавать, — и на ляд эти деньги? И на воскресных сельских базарах опустевал один ряд за другим, и даже берёзовых веников, шедших раньше по три на копейку, теперь не укупишь и одного за пятак.

И Евпатий Бруякин не закупал новых партий никакого товару, и месяц от месяца пустела его лавка, хотя всё ещё избывала многим — и необозримо было, как можно кончить торговлю и куда деть всю эту пропасть товара. Да не промахивается ли он в своём предчуяньи? Замерло дело, да, но пока война, а потом закипит опять? Никакая угроза всё ж ниоткуда не выпирала. Обмануло ли сердце?

Хватает забот и других, хоть и с детьми, особенно со старшей дочерью Анфией. Две меньших уже вышли, а она нет. Вот исполнилось ей 24 года, пересидела в девках. С детства она имела большую страсть к учению, и отдавал отец её в тамбовскую гимназию. Гимназии кончить ей не пришлось, а всего-то получилось от Тамбова — запутал Аню студент Яков, сын тамбовского купца, и втравил её читать бунтарские книжечки, а сам сел в тюрьму. И эти книжечки Евпатий сжигал у дочери не раз, а она снова доставала их, уже и без Якова. Она была заглядная невеста, и собой видна, и приданое большое, но сколько ни сватались к ней — всем отказывала, а хотела только за Якова. А его и след простыл. И она — пересиживала, и стала сохнуть, болеть и ныть, — и что теперь с ней делать?

Правда, в лавке работала исправно, она-то больше всех и торговала. Старший сын — на земле, теперь женился, и готовились его отделить, призыву он не подлежал как кормилец. Но младший, Колька, и учиться не хотел, а тянуло его не по возрасту на безпутство. Так и над ним болело отцовское: вырастил не в дело, как лучше б и не растил. Дети наши — горе наше.

А Кольке — да, уж так не сиделось в этой школе! Уж так он тут был покрупнее всех, даже когда играли в войну, наши против немцев, снежками или палками (и школьный сторож Фадеич составлял им военные планы, чтоб завсегда выигрывали русские), — тоже было ему не в охотку, даже стыдно играть. Он ведь уже состоял в компании Мишки Руля (хотя вот самого Мишку забрали недавно в армию). А главное — каким кавалером вырос! Это уже все девки почуяли, и стал он у них в большой моде: расшумаркали небось, какой он теперь. И все, все они ему нравились, как из одного яйца вылупленные, и каждую из них он готов был равно любить. Страсть с Марусей-солдаткой оборвалась: воротился из плена её муж калечным. Маруся плакала, и хотела продолжать встречи с Колькой, тем боле что мужа определили на годичные

курсы садоводов. Но Колька Сатич — не схотел: зачем ему путаться с замужней, когда ему девочки открывались? Трое таких на эти святки взялись сторожить избу стариков, уехавших в гости, — и, «чтобы не было страшно», позвали трёх парней, те два старше Кольки. И была там Алёнка с белыми косами ниже пояса, и так это завлекало после чёрной Маруси. Полночи гадали на картах, на бобах, и отливали в воде желток, и в зеркало глядели, и кидали за ворота башмачок. И как это кончится — нельзя было угадать. А за полночь старшая девка объявила: «Вам, ребята, пора домой, а нам пора спать». Одной девке показала спать в запечьи, себе забрала кровать, Алёнке кинула на пол войлок и тулуп — и со смехом потушила лампу. И разобрались нáтрое. И когда Алёнка потом шептала на войлоке: «Что ты сделал??» — Колька уже новым голосом развязности и победы: «Эт' не я сделал, это мы вместе, не робей!»

С той ночи новая радость обагрила ему душу — и он понимал о себе только с выражением героя, и все его планы зарождались только в любви к девушкам. А вот — отец ругал и гнал в школу и в школу, — хотя и Анфия отговаривала его, что учителя не учат, а стараются скрыть истину: что весь мир — это борьба за существование и подбор приспособленных.

И сегодня в понедельник сидели в классе, десятка полтора, разных возрастов, мальчики и девочки. С морозного дня светило солнце весело внутрь — а Юлия Аникеевна, тонкая, как осочка, расхаживала попереди парт и вела диктовку:

— И на цветах и на траве душистой блеснёт роса, посланница небес.

Юлия Аникеевна уже второй год у них учила, сама из Тамбова. А был и второй учитель, щуплый, с лицом в угрях, подёргивался, и злой, — его все дружно не любили и звали Судроглаз. Они делили классы так и этак, переменялись.

Тихо. Скрипели перья.

Посланиться? послониться к траве росистой?.. Колин сосед по парте не очень-то кумекал тоже, но Коля подсматривал слова наискосок у передней девочки, она писала крупно, ясно и всегда знала как. По-слан-ни-ца, вон как.

Такая тишь — ни одного шороха, ни голоса, ни стука, ни грюка — нигде по школе, ни снаружи. Такая тишь, какая висела над Каменкой всей этой зимою, и особо после этих мятелей, когда не успевали набить дорог.

И Юлия Аникеевна, впечатывая ноги в эту тишину, в валенках совсем безшумно по нескрипучему крепкому полу, и с чувством, как она всегда диктовала, входя в эти слова, даже слишком отчётливо:

— И тканию тумана серебристой оденется темнокудрявый лес.

Вдруг — открылась и стукнула тяжёлая входная дверь. И по коридору раздались шаги громкие, уверенные, пугающие, как не должны бы в школе.

Юлия Аникеевна вздрогнула и остановилась на полуслове. Глядя на неё, и все ученики обезпокоились.

Шаги — сюда.

И дверь — рванули. И не спрося дозволения, чего Юлия Аникеевна никогда не попускала, — вошёл молча, совсем молча, как в пустую ригу за вязанкой соломы, а не в полный учениками класс, — чернобородый Плужников в овечьей мохнатой шапке, в чёрном перехваченном полушубке и бутылочных сапогах.

А сзади него поспевал Судроглаз в трёпаном пальтишке, без шапки. Но не для того, чтоб остановить его не врываться. И тоже на Юлию Аникеевну не обращая внимания.

Учительница стояла изумлённая, не успевая спросить. Но с чем-то страшным только они так могли войти — и ученики затаились. Стало ещё тише, чем было.

И Плужников подошёл к передней стене, поднял две руки, взялся за чёрную лакированную раму царского портрета — и сдёрнул его!

На пол звякнул гвоздик.

Учительница прижала книжку к груди и побледнела.

А Судроглаз пошёл к такому же рядом портрету царицы, но не доставал. И обернулся, без спроса взял стул Юлии Аникеевны, неуверенно встал на него — и сдёрнул второй портрет.

И, не возвращая стула и ничего не объяснив, — взяли портреты и выносили, оставив замерший класс.

— А Владимир Мефодьевич?! — воскликнула учительница, — вам разрешил??

Владимир Мефодьевич был попечитель земской школы и рядом земской больницы, обе построив на свои деньги.

— Мы теперь и без Владимира Мефодьевича! — резким насмешливым голосом, как он умел, отозвался Судроглаз.

И ушли в коридор.

Плужников не хотел обижать учительницу, не нарочно он так сделал, а порывом. На него самого эта новость свалилась, на первого в Каменке, всего полчаса назад. Ещё не знало ни волостное правление, ни урядник.

Свалилось — ничем не предупреждённое, как с ясного бы неба валун. Но за полчаса он в себе уже переработал — и узнал, что всю жизнь к этому был готов.

Потому что: не Царь был — а царёнок.

Узнал первый — и сам же первый должен был что-то и сделать. И первое, что придумал, — снимать портреты.

Что-то рядом тарантил ему зуёк-учитель — Плужников его и не слышал. Он стоял, расставив ноги, перед школой на холме над селом — и окидывал его всё, в ярком солнце, занесенное снегом, незыблемо покойное, ничего не ведающее, — и думал, как сейчас прогрохочет через него царское отречение? Что будет с урядником? Что загуторят мужики?

Он стоял над своим селом, где и всегда был первым, а сейчас ещё раз ему надо было первенство взять.

Плужников так понимал: спадают косные оковы — и наша сила, почитай, теперь развернётся пуще. Теперь-то — мужикам и надо самим захватывать свою жизнь.

Вот когда и придёт мужицкая правда!

Мимо него пробегали, и по тропкам вниз, отпущенные ученики.

460

Ещё два дня безполезно проискал Керенского по Петрограду ходатай за арестованных религиозных. Снова пошёл в Таврический, — в Екатерининском зале лежали солдаты, задравши кверху ноги, ещё больше сорной бумаги на полу и окурков, склад валенок, — а Керенского не было, и кто-то сказал, что он теперь в Мариинском дворце. Добросовестный толстовец отправился в Мариинский, но там швейцар заверил его, что Керенского не только нет, но и не было ни разу.

Несомненно он был в Петрограде, и во многих местах, где-то носился в кипучей, разнообразной деятельности, его рвали на ча-

сти, но Булгаков достичь его не мог. Тогда он решил уезжать в Москву, а перед тем ещё раз посетить Гиппиус и Мережковского, где его знали. Там пригласили выпить чашку чая, и не расспрашивали, а объясняли ему: Гиппиус — что свобода уже становится захватанным словом, а как бы не было резни, потому что Совет рабочих депутатов не даёт вздохнуть Временному правительству; а Мережковский — что раньше того немцы придут и они-то и будут резать. Булгаков улучил момент, вставил о своих неудачах с Керенским. И Философов, который сидел там же, предложил: жена Керенского, Ольга Львовна, милая, интеллигентная, всегда была помощницей мужа во всей его общественной деятельности. Можно отправиться к ней домой, рассказать всё дело и просить поговорить с мужем.

— Верно! — воскликнула Гиппиус. И сразу подошла к телефону, соединилась с квартирой Керенских. Но прислуга ответила, что барыни нет дома, а мальчики в школе.

Тогда литераторы написали письма — и Керенскому, и Керенской, с просьбой принять и выслушать секретаря Льва Толстого. И подбодрённый Булгаков отменил свой отъезд. А сегодня утром отправился сразу на квартиру Керенских.

Он доехал на извозчике до тихой Тверской улицы за Таврическим садом, в улице этой не было ни экипажей, ни пешеходов, никаких следов и революции. Означенный дом оказался старым трёхэтажным зданием, на котором во многих местах облупилась грязная серая краска. И подъезд — грязноватый, непритязательный. И швейцара нет.

Но вышла какая-то девочка и показала дверь на первом этаже. Булгаков был глубоко тронут этой неприхотливостью знаменитого человека, которым сейчас жила и восхищалась вся революция.

На двери — медная дощечка: «Александр Фёдорович Керенский». Но такие безлюдные были и дом, и лестница — казалось Булгакову, когда нажимал на пуговку звонка, что никто не отзовётся. Однако дверь открылась, и мешковатая сонная прислуга в тёплой кофте и тёплом платке на голове, как будто за спиной её в комнатах был мороз, подтвердила, что Ольга Львовна дома. Булгаков передал ей письма, визитную карточку и просьбу принять его ненадолго.

Прислуга ушла, возвратилась и впустила в маленькую гостиную:

— Барыня просит обождать вот здесь.

Нет, это не гостиная была, но приёмная очень скромного адвоката. Две японских вышивных картинки на стенах. Простенькая мебель. Впрочем, через дверь виднелась другая комната — больше и обставленная комфортабельней. А откуда-то ещё из глубины слышался молодой женский голос, видимо от телефона.

Вскоре Ольга Львовна вошла и сюда, торопливо. У неё были волосы в пробор на стороны, высоко, но и косо открывавшие лоб. И эта косость, передаваясь в крупные глаза, а затем косоватый и рот, создавала выражение какого-то постоянного удивления на её лице.

— Простите! — заявила она сразу же. — Но принять вас теперь я не могу. Сейчас звонили, моему мужу сделалось внезапно дурно, он в обмороке, и я должна ехать к нему в министерство юстиции!

Булгаков понял, что его разговор состояться не может. Но:

— Госпожа Керенская, может быть, я как раз могу быть вам чем-либо полезен в данный момент?

Она оживилась поддержке:

— Нет ли у вас знакомого доктора? По телефону сказали, что нужен доктор.

Булгаков изумился: герою революции, министру юстиции — дурно, и в министерстве близ него не могут схлопотать доктора иначе как через жену?

Увы, он не постоянный житель Петрограда, но в министерстве не может быть без доктора, да наверно уже и нашли!

— А у вас нет извозчика?

— Ах, я только что отпустил его!

— Не знаю, как я доберусь, — тревожилась Керенская, и лицо её выглядело ещё более удивлённым, растерянным.

Ольга Львовна накинула лёгкую дешёвую шубку с белым мехом на воротнике и обшлагах, вышли на улицу. Та по-прежнему была пустынна. Зашагали к Таврическому.

Чтобы к молодому излюбленному герою России доставить его жену — Булгаков ощущал на себе полномочия остановить любой автомобиль, высадить седоков из любых саней, — но не было ни тех ни других, никого!

Быстро шли по снежным утоптанным тротуарам, не слишком широко и расчищенным тут, только что на двоих, с Таврической стало пошире.

— Алексан Фёдорыч, наверно, очень переутомился за эти безумные дни? Сколько ж он спит? Может ли спать?

Сильная тревога промелькнула по лицу Ольги Львовны, очень бледному, как видно на свету, она сама измучилась:

— Ах, ещё бы! За последнюю неделю он не спал ни одной полной ночи. Да просто не ложился в постель. — (Не могла же она сказать чужому, что он вовсе дома не бывал! Что она сама караулит его в Думе, изнемогая от безсонницы…) — Можете себе представить его состояние? И сколько пережито!

— Да вы и сами измучены! Совсем измучены! — теперь доглядел он.

— Да, — пыталась улыбаться Ольга Львовна, — должна разрываться во все стороны. А сколько звонят по телефону! Поверите, утром просто одеться не могу — звонок! звонок! Надеваю один чулок и бегу. Надеваю другой — опять звонок, опять бегу!

Наконец настигли ваньку. Стоял, запаренная лошадь пыхала боками.

— Знаешь, где министерство юстиции? На Екатерининской. Езжай, пожалуйста, да поскорей.

— Не могу, барин, лошадь занудилась.

— Ну, хоть довези до другого извозчика! Мы к больному торопимся!

Сели. Потянул ванька помаленьку. Ещё быстрей ли, чем пешком. Как в насмешку!

Достигли другого извозчика — пересели. Но и у того заморенная лошадь, не лучше.

Автомобиль, автомобиль! — хотел Булгаков увидеть и остановить.

Наконец за спиной услышали автомобильные гудки. Шёл, с красным флагом на носу. Булгаков соскочил, кинулся наперерез автомобилю, там рядом с шофёром — студент.

Загородив дорогу и руки протянув — остановил.

— Товарищи! Товарищи! Вот — супруга министра юстиции Керенского. Её нужно немедленно доставить на Екатерининскую улицу, министру дурно!

У седоков автомобиля тоже переполох: министру дурно? Студент спрыгнул, вежливо подсадил Ольгу Львовну.

И умчались.

Булгаков расплатился с извозчиком и уже не торопясь побрёл по тротуару, размышляя: какой фатум всё мешает ему в его деле?

С Керенским теперь возможен даже трагический исход, но если он и выздоровеет, то, очевидно, нескоро и нелегко. Так что не приходится ждать приёма ни у него, ни даже у супруги.

А больше обратиться не к кому, он не знал. И значит, надо уезжать из Петрограда.

Оставались часы, теперь уже совсем для себя, и Булгаков пошёл в Академию Наук, пешком, экономя на извозчике. Там, в рукописном отделении, обещали ему показать подлинную рукопись лермонтовского «Демона».

461

С какого-то момента стало Председателю Думы немного-немного полегче.

Он сам так привык нести на себе всю скалу России, что даже не сразу заметил это облегчение в плечах, оставался напряжён и продолжал свою гигантскую работу. И самый момент этого полегчания заметил вослед, когда уже направил плавный поток событий. (Слышал себе похвалу, что он был «старый Кутузов нашего переворота»: когда всё зависело от его единого слова по телефону, он ни разу не ошибся в тоне, музыке и расчёте.)

В тот день Родзянко представлял так, что два акта отречения впервые будут торжественно оглашены на публичном заседании Государственной Думы. Таким образом Дума проявила бы себя как носительница Верховной власти, перед которой ответственно Временное правительство. Но кадеты и их юристы резко возражали, что это только рассердит левые элементы, возбудит их против Думы, и они станут требовать демократического Национального Собрания.

И как же собирать Думу, если левое крыло противится? Все увидят раскол. Очень обидно, а пришлось отказаться.

Итак, что ж? Россия стала ещё не республикой, но чем-то аморфным, переходным, в ожидании Учредительного Собрания. Когда оно соберётся — нет сомнения, что его председателем будет избран Родзянко, и от него во многом будет зависеть определение будущей судьбы России и формы правления её. А в случае республики не миновать ему быть первым президентом России.

А пока — начиналась уже не революционная, а более обычная жизнь с нормальными и ночами. Временное правительство, назначенное Михаилом Владимировичем, начало работать и уехало из Таврического. А тут остались: Государственная Дума, Временный Комитет её, ну и, малоприятное соседство, — Совет рабочих депутатов. Тем более малоприятное, что он занял все залы и многие помещения, так что у Думы остались только три-четыре комнаты да библиотека, которую ещё удалось отстоять.

В библиотеке и собирали позавчера — нельзя сказать, заседание Думы, но — частное совещание членов её. С вопросом: что надо делать членам Думы? Оставаться ли в Петрограде и принять все меры для поддержки Временного правительства? Или разъехаться по местам своего избрания и там разъяснять населению смысл совершившихся событий, которого не понять живущим вне Петрограда? Заодно и помочь подвозу хлеба? Склонялись, что лучше побыть здесь. Но и образовали бюро, для записи желающих ехать (кто-то и сам разъезжался, без разрешения). А крайне правые члены Думы вообще скрылись и не появлялись в Таврическом от самого 27 февраля. Уследить и управить было невозможно.

Сам Родзянко эти дни был непомерно занят. То надо было ответить Ставке на её наивные протесты против «Приказа № 1»: разъяснить, что не надо волноваться, приказы Совета не имеют никакого значения, потому что он не входит в состав правительства. То надо было принять крестьянского ходока, раненого унтера из Тверской губернии. То надо было читать безконечные поздравления, пожелания, целый дождь телеграмм со всей России, вся Россия верила только в Государственную Думу, и как же иногда удержаться и не ответить?

А тем временем, хотя и меньше, чем раньше, в Таврический валили и валили всякие приветственные делегации штатских или военные строи — и как было лишить их животворящего ответного слова от Думы? Но не стало и думцев, желающих отвечать, — и доставалось всё Родзянке и Родзянке. А бывали моменты и опасные. Пришёл один из флотских экипажей, держался агрессивно, а юные мичманы произносили зажигательные речи, и один из них тут же, в присутствии Председателя, безо всяких обиняков заявил, что Родзянку как заведомого «буржуя» надо расстрелять. (А матросам — только кинь клич, пожалуй…)

Не только личная опасность — к ней Председатель уже привык, но больно ранила его эта безсмысленная кличка «буржуй», вся эта травля, пускаемая левыми против свободолюбивой Государственной Думы, что она «буржуазная, реакционная, цензовая, третьиюньская» и хочет вернуть падший строй.

И какие ж требовались Председателю такт, выдержка, самообладание, чтобы при таких разбушевавшихся страстях столицы сохранять равновесие и не допустить возникновения кровопролитной борьбы! Да не к одной столице! — он ко всей России обязан был обращаться, Россия ждала могучих воззваний — и может быть, это было главное назначение Председателя. Чей голос авторитетней его! За эти дни он много подписал воззваний. Что свершилось великое дело… Что могучим порывом народа… Но враг, встревоженный падением старой власти, питает коварную надежду… Братья офицеры и солдаты, не допустите несогласия между вами!..

А то пришлось писать специальное воззвание и к судостроительным докам в Николаеве: …Множество тайных кроющихся врагов среди вас. Не прекращайте постройки новых судов, ибо Германия хочет восстановить у нас старый режим… В опасную минуту командир корабля призывает всех стоять по местам!..

Во всех воззваниях призывал Родзянко русских людей терпеливо ждать близкого Учредительного Собрания, которое и решит все-все вопросы. Но если задуматься: Учредительное Собрание придёт как бы на смену Думе? Что ж тогда Дума, и как же ей существовать дальше?

А Временное правительство поспешными назначениями членов Думы во все затычки — ещё более ослабляло Думу.

Нет! Нельзя допустить ей ослабнуть или уменьшиться во значении! Надо было снова тряхнуть её парламентским величием!

И на 6 марта, днём, назначил Родзянко общий сбор всех ещё не разъехавшихся думцев. И уговорил Шингарёва и очень просил Керенского — приехать выступить. Выступлениями министров частное совещание Думы в библиотеке возвышалось до значения общего официального заседания всей Думы.

В тесном помещении встреченный общими дружными аплодисментами, Председатель обратился к депутатам с краткой речью, в которой указал, что аплодисменты эти должны быть направлены по адресу всей Государственной Думы,

— …а я являюсь лишь выразителем настроений и желаний Государственной Думы, которые я сумел угадать и почувствовать.

Далее Председатель сообщил думцам, что общее положение в стране внушает спокойствие:

— Во всей России нет и признака волнений или событий, которые возбуждали бы опасения. Правда, было получено сообщение о брожении в Гельсингфорсе, но я послал туда телеграмму с призывом к спокойствию — и в ответ получил просто восторженную телеграмму, от адмирала Максимова, в которой Балтийский флот под новым командованием заявляет о своей полной готовности.

Уже сидел тут и усталый Шингарёв с неподстриженной бородой, с поношенным туго набитым портфелем (по пути ли из министерства в Совет министров или наоборот), поднялся к маленькому столику у книжной полки — такой привычный оратор для всех них, с его разговорной манерой выступать, глуховато-приятным убедительным голосом при улыбке, — и сделал сообщение о положении продовольственного дела в стране. Что в деревнях нет самодеятельных организаций и не хватает сил на всю работу. Сообщил, как привлекает кооперативное движение, как создаются местные продовольственные комитеты, какие уже сделаны воззвания, — и предложил, чтобы Государственная Дума также обратилась бы с воззванием к сельскому населению с призывом прийти на помощь родине.

Совещанию понравилась эта мысль, а текст воззвания поручили выработать… да кому ж, если не Председателю?

Шингарёв, увы, не мог остаться, тут же уехал, а совещание перешло к другим важным вопросам.

А как быть с Временным Комитетом Государственной Думы? Из 13 его членов пятеро вошли в правительство — и уже практически, физически и юридически не могли быть членами Комитета. А один член, Чхеидзе, не держался не только членом Комитета, но даже и Думы. И что ж теперь с Комитетом, потерявшим половину членов? Раздавались голоса: не настаивать на его сохранении. Но Родзянко отверг такое решение, ибо как помыслить Россию оставшейся без Верховной власти? Да и распределение всех поступающих пожертвований на революцию целиком лежало на Комитете. Председатель настаивал укрепить деятельность Комитета и произвести довыборы. И одержал победу: избрали недостающих, и так, чтобы число не стало снова 13.

Очень ждали на совещание Бубликова, желая послушать его отчёт о бурных действиях в революционные дни. Но Бубликов всё прощался с железнодорожниками, не мог быть здесь.

Что ж, не покладая рук, стал Родзянко работать с литературными помощниками над порученным воззванием.

Граждане России, жители деревни! Нет больше старой власти, расточавшей народное достояние! Могучим порывом… Вам, землепашцам, надлежит немедленно помочь — зерном, мукой, крупою и прочими продуктами. Братья! Не дайте России погибнуть! Везите немедленно хлеб на станции и склады! Не выдайте родины! Везите и продавайте хлеб добровольно, не ожидая распоряжений. Везите хлеб сейчас же! С Божьей помощью — за дело!

Подписывая, Михаил Владимирович смутно вспомнил, что среди кипенья дел этих дней он почти такое же воззвание, точно о хлебе и почти в таких словах, кажется уже подписывал? — Шингарёв подносил.

Но то — он подписал, наверно, как председатель Думского Комитета или от себя самого, — а это подписывал от хозяина земли русской, Государственной Думы.

462

С наступлением революции закон всеобщей нехватки дельных людей, кажется, ещё усилился. Уж кого-кого, но военных-то в России роилось множество — неужели и их не хватало?! А вот у революции — во всяком случае не хватало. И, штатский геолог, Ободовский подписывал даже приказы на овладение столицей. И он же успокаивал кровожадную солдатскую делегацию, желавшую убийства офицеров.

А Гучков, ставши военным министром, потянул Ободовского ещё и в комиссию по реформе военных уставов, в субботу на Мойку, в довмин, на заседание этой комиссии под председательством генерала Поливанова. И там за длинным столом Ободовский сидел среди одних военных, на полковничьем конце, — но даже и с генеральского конца никто над его присутствием не трунил. Рыхловатый Гучков, задумчивый и даже угнетённый, прокламировал, что намерен привлечь к руководству армией и флотом самые передовые элементы, оздоровить и преобразовать армию, не нарушая воинского духа и дисциплины. Многие реформы, отвечающие насущным нуждам армии, провести в самом спешном порядке, но и не вызвав замешательства в армейских рядах. Состав таких ре-

форм и приёмы их проведения Гучков и доверяет разработать собравшимся.

Да сразу и ушёл.

Идея была, конечно, верная и даже замечательная. Сколько негодного да и корыстного коснеет в армии, забивая собою все каналы продвижения для тех, кто понимает современную динамику и может соответствовать ей. И действительно: кто же и может осуществить мгновенную очистку от этого застойного мусора, если не Революция?

Хотя и десятижды эти дни озабоченный, Ободовский оставался счастлив от этой прекрасной, единодушной революции! Когда она начиналась — он ещё не верил, он боялся анархии, массовой резни. Но дни проходили — кровь реками не полилась. И кажется, стало улаживаться с офицерами. Вот теперь и найти новые формы отношений в армии, закрепить истинное братство воинов?

Два крыла комиссии — осторожное генеральское и революционное полковничье, стали встречно нащупывать, о каких же реформах им надлежит вести речь. Кое-какие Гучков уже объявил в приказе 114, обойдя лишь один неберомый вопрос об отдании чести. И Ободовский, сторонний штатский, тоже не мог вообразить, что бы за армия без отдания чести. Энгельгардт, взнесенный минувшими днями, требовал, что надо начать со смены некоторых Главнокомандующих. Генералы ядовито возражали, что приглашённые полковники не уполномочены быть высшей аттестационной комиссией. На том и покинули общий план реформ, открыли устав внутренней службы и стали просматривать его статьи.

Были поразительно затхлые. Солдату запрещалось курить на улицах, бульварах и скверах. Не разрешалось посещать клубы, публичные танцевальные вечера, ни даже трактиры и буфеты, где подаётся распивочно хотя бы пиво, — непонятно, где солдат мог выпить пива? Запрещалось посещать публичные лекции, участвовать в публичных торжествах, а в театры ходить — только с разрешения командира роты. Внутри трамваев разрешалось ездить только унтер-офицерам, а солдатам — только раненым, остальным — на площадках. В поездах — только в третьем классе, на пароходах — только в низшем. И даже книги и газеты могли иметь — только с подписью командира роты, если не из церковной библиотеки.

Теперь-то, когда революция уже сама всё взяла, только и оставалось писать против этих пунктов: отменить, отменить, отме-

нить. Но — до сих пор? Но если считать защитников отечества своими гражданами, даже только своими подданными, — как можно было до сих пор обуздывать их на этом полускотском уровне? Всегда кипел против такого Ободовский, — и даже сейчас, вослед, кипел. По своему свойству ничего не делать поверхностно, а уж взявшись раз, то горячо, — он теперь вникал во все эти пункты, и возмущался, и голосовал с другими.

Но и себя Пётр Акимович не мог слишком сюда отдавать. Он честно просидел и проучаствовал тут длинный субботний вечер, а у самого колотилось: заводы! Хоть и притянули его сюда, но и там нельзя покинуть. Революционное торжество затянулось, а трамвай стоял (сегодня пустить не удалось: в воскресенье рабочие не хотели чистить пути), а военные заводы стояли, а война тем временем давила. И главный вопрос революции сейчас, конечно, не куренье на улицах, не обращенье к солдатам на ты, но: как и когда приступят к работе заводы?

Это решалось в воскресенье в Таврическом, и Ободовский несколько раз подходил к дверям думского зала, пока шла там стоголосая перекличка и переголосовка, — а когда наконец прошла успешно, — они с Гвоздевым потрясли друг другу руки.

Странно и здесь: расперевернулась целая революция, сменился весь государственный строй России, но организацию оборонных работ как тянули они с Гвоздевым, так и продолжали, хотя Козьма за это время даже и в тюрьме побывал, по безумию Протопопова. Теперь Ободовский, разрываемый военными обязанностями, нет-нет да и влетал в комнату, где устроился штабок Гвоздева.

Теперь преграда Совета рабочих депутатов больше не мешала работе! Кажется, с понедельника можно было двинуть заводы в дело? Как бы не так. Разыгравшаяся вольница революционной недели не улеглась теперь и по указке Совета. Рабочий класс, разгулявшийся по улицам с винтовками, что-то не хотел скучно возвращаться к станкам. Десять дней назад промышленность на разогнанном ходу безперебойно подавала обильное вооружение. Но тряхнула революция — и всё остановилось.

Не успевая распрямить плечи, с сенной копёнкой, свешенной на лоб, перехаживал Гвоздев по своим двум малым комнаткам в Таврическом, от телефона — к представителям, присланным с завода, и к своим посылаемым туда. И — всё менее успевал за разрывом событий.

Главный-то бой революции — вот он, начинался: каково теперь победителям снова влезть в чумазую шкуру? И правы же во многом — но и совсем не правы, если помнить о германской армии на русской земле.

463

И что ж наприказали в этом Приказе № 1? Все поняли по-разному, в каждом полку поступали по-своему, отовсюду текли запросы — как именно понимать? И застонала, жаловалась Военная комиссия, которая всё считалась подчинённой и правительству, и Совету.

Всё же члены Исполнительного Комитета чувствовали стеснение, что с Приказом перемахнули. Да многие и роптали теперь, что они и не слышали, это без них. А Соколов пустозвонный — нисколько не раскаивался, на него не навалишь, — да у него всё свои какие-то дела, на Исполкоме редко просиживал больше часа кряду, подкалывало его бежать дальше. А сегодня на заседании обсуждали, какое бы дать к Приказу такое пояснение, чтоб не уронить своего прежнего распоряжения, но и немного попятиться. Можно назвать тоже Приказом, уже № 2.

Из дебрей возникших кривотолков, отменил ли Совет депутатов армию или армия остаётся, теперь надо было выйти с достоинством, как будто лишь разъясняя дальше. Итак, это будет приказ опять — войскам Петроградского округа, но и — для сведения рабочим Петрограда. Разъяснить, что солдатские комитеты, да, должны избираться во всех воинских частях, но этим комитетам отнюдь не поручено избирать офицеров (хорошо, что вычеркнули тогда). А комитеты эти — для организации солдат, для общественных нужд и для участия в общеполитической жизни. Вопрос же о выборности военных начальников передан на рассмотрение специальной комиссии. (На самом деле никакой такой комиссии не было, но что иное сказать? А — как быть с выборами офицеров, уже произошедшими во многих полках?) Все же выборы офицеров, до сих пор произведенные? — должны остаться в силе… К тому же Совет и признаёт за солдатскими комитетами право возражения против того или иного офицера. А в общественной и политической жизни солдаты обязаны подчиняться своему выборному

органу — ИК Совета рабочих депутатов, как это и указано в Приказе №1. (Так что особенно и извиняться не приходится.) Военным же властям солдаты обязаны подчиняться лишь по военной службе. А чтоб устранить опасность вооружённой контрреволюции — петроградский гарнизон не будет выводиться из города, и оружие у петроградских солдат не должно быть отобрано.

Большевики, конечно, зашумели: что это — капитуляция перед Временным правительством, что это — низведение комитетов. Но — далеко они не набирали себе большинства.

Кто же подпишет? Исполнительный Комитет, вообще. Можно заставить подписать и из Военной комиссии. А подпись военного министра? — очень, конечно, была бы желательна, да вот — не складывались с ним отношения.

Но даже и сильней — игнорировать его. Сейчас вот готовый Приказ №2 отправить с курьером в Царское Село на искровую станцию, да скорей по радиотелеграфу и разослать всем-всем-всем — всем воинским частям, всей Действующей армии, кто уловит.

Погнали гонца.

Непомерный Совет с сегодняшнего дня разделили: солдат отделили от рабочих, и помещаться в зале легче, и вздора меньше, и пусть собираются только через день те и другие. В Белом думском зале сегодня и собралась солдатская секция — и свои, навязанные в Исполком, солдаты, ни к чему для дела (после трёх дней никуда они, конечно, выключаться не захотели), — теперь ушли туда.

Так в Исполнительном Комитете стало попросторней, а то ведь дошло уже до тридцати членов, еле хватало стульев. Правда, несколько человек постоянно не сидели за столом заседаний, но толпились у закусочного стола, спиной к заседанию, и подкреплялись, разумеется безплатно: члены ИК покинули свои обычные занятия, чтобы здесь заседать ежедневно, и имели право более чем на такое содержание. Сегодня обещали принести и горячий обед.

Но председателя Чхеидзе эта возня у закусочного стола раздражала, она сбивала преданность революционному делу. И Чхеидзе несколько раз протестовал и призывал к порядку.

Всё же не отпадал вопрос: как повлиять на Гучкова? Его позиция очень загадочна: он ведь и не участвовал в переговорах о власти, и держится как будто выше всяких обязательств. Он открыто

и надменно нарушает доброжелательный стиль отношений между правительством и Советом, какой поддерживают другие министры. Например, Некрасов сам просил командировать к нему в министерство представителя Совета для участия в принципиальных решениях. А Гучков уклоняется от всяких прямых сношений. Так заставить его?!

Нарушить свою гордость, послать к нему делегацию? Да! И сегодня же, не медлить! Вот, с Приказом № 2. И послать делегацию самую крепкую, которая сумеет потребовать. Прежде всего, конечно, — Стеклова. (Его теперь выдвигали всюду, где нужен советский таран, уже ощутили в нём силу.) Затем Скобелева. (Становился и он постоянным представителем Совета всюду и везде.) А вот и Соколов! — как раз вкатился в заседание — в комиссию его, он же Приказ № 1 писал, пусть и выражает министру убеждения. Ты же специалист, так и доводи до конца!

Соколов — охотно! Побежал звонить в канцелярию военного министра.

Но кого-то же послать и для смягчения, дипломатически? Гвоздева, они с Гучковым работали вместе, тот его знает хорошо. (Сам Гвоздев — в другой комнате, в комиссии по труду.) Да кого-нибудь из офицеров. Филипповского — он и наш, и в Военной комиссии, и в курсе всего. Ну, и одного солдата.

Нести Гучкову Приказ № 2 — и требовать? подписи под ним! Мало! Пусть вот он от себя, а не от Совета устанавливает всеобщую выборность офицеров! А что ж, товарищи, мы должны быть последовательны в своих демократических принципах: как можно признать офицерами всех назначенных старорежимных?.. А Гучков даже отдание чести уклоняется отменить.

Решили.

Теперь Чхеидзе имел важное сообщение. Ему было поручено провести переговоры с правительством об арестовании всего дома Романовых. Приходят тревожные слухи: сейчас Николай почему-то в Ставке и свободен там, а по слухам, собирается в Киев и как бы не в Крым. Чхеидзе заявил правительству о решении Совета и настаивал: немедленно к исполнению! Правительство — и возражать не возражает, а вялое, ни к чему не способно. Один из благоприятствующих министров (кто? Некрасов…) заявил, что правительство готово облегчить Исполнительному Комитету, если он захочет арестовать сам.

А — сами они?! Не хотят ручки пачкать?

Нет, заставить их самих! Это, товарищи, очередной буржуазный манёвр: перетолкнуть арест на нас. Мы — конечно можем, мы — всегда успеем, но они правительство, и они первые обязаны. Николай Семёнович, настаивайте, чтоб они сами!

Последние сведения: Николай Романов желает прибыть в Царское Село.

Это хорошо, тут его взять ничего не стоит. А в Ставке могут быть трудности, там генералитет, контрреволюционное гнездо.

А другие Романовы?

С другими Романовыми слегка подождать, а то спугнём. Не всех сразу.

Но что делать с Николай Николаичем? Ведь они под сурдинку отдали ему Верховное Главнокомандование!

Совету депутатов не присылаются обязательные экземпляры военных приказов, а надо бы. Уже три дня, как по всей армии гуляет приказ Николай Николаича, и вот он только теперь тут. И что ж он строчит? Что он назначен волею Государя императора! И председатель Львов — тоже волею императора! И перечисляет министров, получается — и они волею императора. Вот как они свои чёрные кольца плетут. А мы — всё пропускаем.

Так заставить правительство этот приказ немедленно отменить! Гучкову, поручить делегации: отменить!

Николай Николаича самого надо отменить. Как можно доверять ему армию? Он же в два счёта и вернёт нас к старому режиму!

Это подкоп цензовиков: вверить армию недобитой династии!

Не допустить Николай Николаича до Ставки, перехватить!

Но не раньше чем самого Николая.

Так вот почему и надо спешить с арестом царя.

Стеклов-Нахамкис, и без того крупный, ещё стоял в рост позади сидящих — и громил тем более внушительно:

— Да такие ли приказы они пишут? А приказ Алексеева вы читали? — «чисто революционные разнузданные шайки»! — это он о делегациях из Петрограда, которые разоружают жандармов! «…Иметь на всех станциях гарнизоны из надёжных частей под начальством твёрдых офицеров»! Вы понимаете, что значит «надёжных» и «твёрдых»? Да ещё: захватывать живьём, тут же назначать военно-полевой суд и приводить в исполнение немедленно! А? Содержательный документ! Бравый генерал! Такого — свернуть в бараний рог самого немедленно!

Нельзя, возражали ему, никак нельзя сразу всех. Если Николай Николаича убирать — нельзя тут же снимать и Алексеева. Это мы такой развал вызовем, что и на свою голову.

— Нет, привести его к покорности революции! — пылал Нахамкис. — Хорошо, я приведу его сам!

И он сделает! Все товарищи удивлялись, куда стёрлась его обиходливость и скромность последних лет, — так и выпирала динамичная революционность.

Да разве в одном Алексееве дело? Надо всю генеральскую корпорацию перевоспитать и переродить. Конечно возмутительно, что Временное правительство даже не приступило разоружать реакционных генералов!

Пусть делегация требует с Гучкова!

Тем временем отлучился и Чхеидзе пожевать. Теперь, вытер усы, возвращался к председательскому концу, вопрос о допуске прессы.

За дверью давно дожидались три журналиста буржуазных газет. Впустили их. Сесть не предложили. (И такие ж, как мы, и совсем не такие.)

Общество журналистов и редакторов возбуждает вопрос, чтобы Совет разрешил выходить в свет абсолютно всем изданиям, без ограничений. Общество считает принципиально недопустимой какую-либо цензуру после революции.

А вопрос касался, собственно, не всех изданий, за черносотенные ни у кого б и язык не повернулся хлопотать, — но касался «Копейки», у которой «Известия» отобрали типографию, и ей негде стало выходить. И касался «Нового времени»: ей как газете правой тоже запретили выходить, но она вчера самовольно вышла. А на сегодня и впредь — запретили ей. Так вот…

Нити опять сходились к Нахамкису. Над «Известиями» шефствовал он. Ладно, он посмотрит, может быть можно и «Копейке» предоставлять станки. А «Новое время» и все правее — да, запретил он, как председатель издательской комиссии Совета.

Но «Новое время» и первым же номером своим показало, что оно вполне повернулось к революции лицом и одобряет её, — и за что ж его запрещать?

Ну, если повернулось, так пусть выходит.

Однако редакторы заговорили и вообще против цензуры. И нашлись сочувственные им голоса из правого крыла Исполкома — Цейтлин, Богданов, Брамсон: можно! вот отменим, и всё. Да если

разобраться, то свобода слова — даже самая здравая политика: правые издания при нынешних обстоятельствах не будут иметь ни материальной, ни моральной почвы, они безславно зачахнут в несколько дней. Наоборот, если мы загоним чёрную сотню в подполье, мы только устраним врагов из собственного зрения.

Но центр ИК склонялся к большевикам: запретить безусловно.

Однако не Нахамкису пришлось ответить. Чхеидзе выглядел растерянным и мрачным. Действительно, в Думе он всегда защищал полную свободу слова — но допустимо ли для искренного революционера дать свободу слова и черносотенцам? А теперь вдруг он взорвался (и ручка вылетела у него из руки на пол, описала дугу и воткнулась там). И вскочил, выкатил глаза, жестикулировал и кричал:

— Нэ-эт, мы нэ́ позволим! Когда идёт война — нэ дадым оружие врагу! Когда у меня есть ружьё — я его нэ́ дам врагу! Я ему нэ скажу: вот тебе ружьё, на, иды, стреляй в меня! А скажу: а нэ хочешь… ?

Смеялись.

464

Это изумляло генерала Рузского! Гибла армия во время войны — без всякой войны! — и как будто не касалось никого. За ночь какие сведения притекли в штаб Северного фронта — то опять о насилиях над офицерами, арестах, — и возникновении солдатских комитетов. Эти солдатские комитеты так и схватывались, куда листовки приходили. И пусть бы уже комитеты, но если б они были смешанные, с офицерами вместе, то могли бы помочь управиться с обстоятельствами, вразумить солдатскую массу. Однако они, по этому идиотскому «приказу № 1», были чисто солдатские — и углубляли пропасть враждебно.

А Ставка — молчала.

И правительство молчало. На красноречивейшую телеграмму Главнокомандующего — ответа не было.

Самоуверенность ли такая? Растерянность? Слепота, глухота?

А тут принесли в штаб копию чудовищной бумаги: писари интендантского управления его же штаба написали коллективное письмо военному министру и послали с ним делегацию в Петро-

град. Просили они ни много ни мало: снять с поста начальника снабжения генерала Савича и ещё нескольких офицеров штабных управлений — «для спасения нашей дорогой родины устранить их немедленно с соблюдением изолирования», — и даже указывали министру, кого следует назначить начальником санитарной части фронта.

Всё это был дурной анекдот (впрочем, пришлось гнать телеграмму министру в обгон и в опровержение), но Рузского ранила тёмная неблагодарность: Савича (кажется, только за то, что он прекратил штабным нижним чинам отпуска и командировки в Петроград) называли «яростным черносотенцем», понятия не имея, что именно Савич был в числе трёх советчиков императора 2 марта, которые и убедили его отречься.

Таков рок народной темноты. Не исключено, что и Рузскому придётся испытать на себе эту неблагодарность.

Делегация Рузского в петроградский Совет уехала. Во главе поставил умных офицеров, умеющих говорить убеждённо, и с ними послал нескольких благоразумных солдат.

Отправил — и был доволен каких-нибудь два часа. Во Пскове самом как будто потишело.

Но тем временем пришёл обыкновенный почтовый поезд из Петрограда и привёз ответ Рузскому от Совета депутатов в самой неожиданной форме: в грязноватой печати «Известий Совета Рабочих Депутатов».

Генерал Рузский и в руки бы не взял и не стал бы об эту газетку мараться, но заметили штабные, поднесли Болдыреву, а тот принёс Главнокомандующему.

Фамилия его была почтена в небольшом заголовке, и приводился полностью его вчерашний ответ на запрос Бонча-революционера. Но тут же следовал и ответ редакции, — и ответ был как палкой по голове.

Язык, на котором невозможно объясниться, возразить, отстоять свою точку зрения, — язык, который сносит всё как половодье, всё переворачивает. С первых же слов неожиданный грубый тон свысока:

«Очевидно, Рузским ещё не усвоена для него новая тактика пролетариата».

Переворот понятий: существовала извечная первичная тактика пролетариата, а Главнокомандующий — мошкой на периферии.

«Будучи твёрдо-организованными и железно-дисциплинированными, мы — (кто эти «мы»? и довольно страшноватые) — не только не боимся свободы действий, слова и организации в любом месте России, в том числе и на фронте — (они-то не боятся!), — но наоборот, думаем, что именно это быстро даст громадную спайку между нашими товарищами солдатами и рабочими».

Так они — «наоборот думали». Между *вами* спайку — возможно, но Армию тем временем распаяют.

«Мы стоим за полную демократизацию армии, а потому нам несвойственно бояться свободы граждан-солдат».

Приехали бы посмотрели на эту свободу.

«Необходимо, чтобы генералы — *и в том числе Рузский*, желающие действительно присоединиться к восставшему народу и армии, твёрдо помнили бы, что Великая Русская Революция…»

Болезненная точка Рузского была всегда — не попасть в унизительное положение. Он весь напрягался, предугадывая такой момент и предотвращая — какой-нибудь невольной даже непочтительностью — даже на приёме у Государя или великого князя, чтобы только отстоять и подчеркнуть свою независимость.

И вот сейчас он пылал — от унижения, от позора и своего бессилия. Он написал человеческое дружелюбное письмо — ему отвечали газетной статьёй! Он всегда боялся унижения от надменных аристократов, — а оно прикатилось лохматое, растрёпанное, в грязи размазанных букв — от Охлоса!

«Генералу Рузскому, очевидно, не приходит в голову, что его собственные полномочия, исходящие от власти старого порядка, ещё должны быть подтверждены новой властью».

Так и опустились руки. Надо было так понять, что Совет депутатов намерен его сместить?

Что ж, у кого-кого, но у Совета, кажется, власти на это хватало.

Неделю назад Рузский был полновластный Главнокомандующий, увешанный орденами, из немногих доверенных генерал-адъютантов, — а вот какой-то неизвестный солдатский сброд готовился голосовать, не убрать ли его.

Два пальца полезли в нагрудный карман, вытянули жёлтый стеклянный мундштучок, другие пальцы, дрожа, стали вставлять сигарету, — но и зажечь он не собрался, нельзя было оторваться, не дочитать этой совсем маленькой, слившеся-грязной громовой колонки.

«На более правильной точке зрения стоит его ближайший помощник генерал М. Д. Бонч-Бруевич, который в своей телеграмме по тому же адресу сообщает, что он готов служить родине, но всякая его новая работа должна быть утверждена представителем власти нового правительства…»

Вот это был дуплет! Надёжный, близкий (и по жёнам дружны) Бонч-генерал, кого Рузский ждал как избавителя, назначил начальником гарнизона (впрочем, он хочет быть снова начальником штаба фронта), успел снестись с Советом помимо Рузского? И теперь, хваля, противопоставлял его Рузскому — Совет? или свой же брат, революционер Бонч?

Подписано было: «Прим. ред.»

Понимай, что — Бонч, но — не докажешь.

И какое нелепое, неграмотное противопоставление, в чём обвинение? Что Бонч-генерал признаёт новое правительство? Так разве Рузский не признаёт? Да Рузский в тысячу раз больше, добыл отречение!

Даже не так сепаратная взаимопомощь братьев обидела (хочет ли Бонч при новом режиме стать Главнокомандующим?) — как вот эта нелепая неграмотность, неквалифицированность обвинения, невозможная в газете респектабельной, куда доступно послать опровержение, а тут — что можно было? Грязные буквы в строчках почти сливались — и были непробиваемы.

А между тем тысячи солдат его же фронта сейчас это читают, и будут читать — и заподозрят в чём-то тёмном, с той же темнотой, которая только и доступна толпе.

Глупейшее состояние безсилия и обиды.

И на что теперь можно было надеяться с его посланной делегацией? как её примут в Совете?

Из устойчивого стояния в твёрдо-костяной военной иерархии вдруг почувствовал себя Рузский безпомощным комочком, затянутым в генеральский мундир. В любую минуту мог отказаться повиноваться ему — его Фронт, его комендантская рота, его штаб, — и что он мог тогда приказать, делать? Что вообще он м о ж е т ? Все его возможности — принятая условность армейского подчинения.

Которая вдруг рухнула.

Но и в этом состоянии не оставил его Совет рабочих депутатов отойти от удара. Рузский вышел в штаб, — а там была новая телеграмма, от Совета, с развязностью последних дней, что к Главнокомандующему может обращаться кто угодно. Телеграмма сообща-

ла, что Совет депутатов теперь высылает «приказ № 2» в дополнение к «приказу № 1».

Почему же всё-таки *приказ*? Кому и от кого — приказ?

И в заголовке же стояло, что это приказ — по петроградскому гарнизону. А высылался Северному фронту.

«Приказ» был такой безтолковый, что трудно вчитаться и понять. Как будто останавливалось самовольное избрание офицеров? Но и тут же подтверждались все результаты уже произведенных выборов. И подтверждалось право солдатских комитетов *возражать* против избрания любого офицера!

Так это было — лучше предыдущего «приказа» — или хуже? Из огня да в полымя.

Армия! — самая прочная из организаций общества, почти достигающая состояния полной твёрдости, — теперь плавилась и растекалась. Оседали и ползли — все командующие, штабы, все начальники и офицеры.

И единственно, что ещё оставалось штабам, это: пока цела была телеграфная проволока — слать друг другу последние телеграммы.

И Рузский — послал опять Алексееву. Прося наконец и уведомить: что же стало с чередой предыдущих телеграмм?

Странно, что никак не поддерживал Гучков: кажется, только что вместе дружно получали отречение, — а уехал и не отзывался.

465

Казалось верным одно: Совета депутатов — как бы не признавать. Не заявляя о том открыто, но — как бы. Не лебезить перед ними, как Некрасов, Львов, даже Милюков.

Но кроме Петрограда была ж ещё вся Россия. И оттуда лился поток телеграмм, не вбираемый и на большой стол военного министра. Телеграммы приветственные, расприветственные, верноподданные (все они затягивали в бездействие, отнимали время), — но и телеграммы о смещении старых властей — начальников гарнизонов, комендантов, воинских начальников. И ходатайства всяких новорожденных комитетов — утвердить их новых ставленников, взамен смещённых. А проходил день — и тот же комитет, разочаровавшись в первом своём кандидате, сообщал, что снял

его, и просил утвердить следующего. А ещё — много писем анонимных и кляузы на начальников, об их контрреволюционности, и на сами же комитеты. И разве можно из Петрограда пытаться во всём разобраться — да в один день? да в час один? Да даже разобравшись, неведомым образом, — всё равно ничего нельзя ни исправить, ни изменить. А пытаясь изменить, можно и самого себя выставить как контрреволюционера. Всё это — заочно, всё — не видно, всё — быстро, и самое простое было для Гучкова: подряд все местные решения подтверждать. И изменённые — снова же подтверждать.

Так, захлёстнутый, Гучков невольно становился сотрудником и союзником всех, ему неизвестных, комитетов, рассеянных по России.

А тогда что ж он так упирался против первого и главного, в Петрограде?..

Жил и спал в довмине. Посмотрел, что на сегодняшний день записано, — не вырвешься, обещал, а зачем? — ехать в Академию генштаба и поприсутствовать на Особом Совещании по обороне. И — раннее время назначено, уже и ехать.

Встретил министра начальник Академии усач-генерал Каменев, и выстроен был полуэскадрон, команда преображенцев и конечно команда обязательных писарей. (А самый революционный из них библиотекарь ещё сидел, не вышибленный, в Военной комиссии.) К ним и пришлось держать первую речь по обычаям нового времени: благодарить за службу, только при их содействии и можно довести войну до победы. («Ура!», «постараемся, господин министр!» — «рады стараться» отменено.) Затем — в штаб-офицерскую комнату, перебросился с преподавателями — встревоженными, непонимающими, да нет времени много говорить, да нельзя всё называть своими именами — везде есть неверные люди, ненужные уши, к вечеру будет знать Совет. (Да и смотрят штаб-офицеры недоверчиво: что за штафирка пришёл их направлять?) Затем — в драгомировский зал, где собрались и профессора, и слушатели. Снова речь. Уже вырабатывалась автоматика речей, и если надоедало о светлом будущем — всегда и безошибочно можно о мрачном прошлом, как мало снарядов было при Сухомлинове, на орудие два в день, приветствовать восход и заход солнца. Обрисовал положение России сейчас — совсем не плохое. Просил приложить все усилия для родины — офицеры кричали «ура» и вынесли на руках к автомобилю.

Вернулся в довмин. Назначил на Главное управление Генерального штаба своего генерала вместо Занкевича, того — понизил в генерал-квартирмейстеры. (Уже поступил донос от писарей Главного штаба, что Занкевич — «неискренен к революции», был правой рукой Хабалова и с ним давил народное движение. Занкевич нигде ничего не давил, кажется речь одну произнёс у Зимнего дворца, — но донос был, и конечно не последний, а ветер доносов такой, что к нему нельзя не прислушаться.)

Да, ещё же ждалось от правительства обращение к Действующей армии. Довминовские литераторы уже составили проект, надо было подписать Гучкову и Львову… Несокрушимый оплот, геройская русская армия… Светлое будущее России на началах свободы, равенства и права… Повиновение солдат офицерам — основа безопасности страны… Иначе — пучина гибели… счастье ваше и ваших детей…

Правильные были мысли, умелые перья, но пересилит ли этот клочок — всю лавину?

Подписал и отправил Львову.

Тут подошло время ехать выступать в ОСо.

Эти Особые Совещания совсем недавно казались такими важными — без них не выиграть войны. Однако совершилась революция — и из правительственных кабинетов сразу увиделась ненужность этих громоздких совещаний, на которые царские министры справедливо неохотно ездили.

Новое собрание — новая требуется форма речи. Здесь — общественно, не по-армейски. Но это ещё привычнее. Встретили — громом аплодисментов, встали. Наконец-то — народный военный министр, и дело обороны в верных руках! От такой встречи и Гучков почувствовал воодушевление и произнёс, кажется, яркую речь. Вот он имеет сведения со всех концов России — везде народ уверенно берёт власть. Повсюду совершенно спокойно. Как силён народ, когда он сам распоряжается своею судьбою, стряхнув с себя дряхлые признаки прошлого! Ныне — отпали всякие сомнения в прочности нового режима. И армия так же с восторгом приветствует новое правительство. Теперь победа в наших руках, теперь никто наверху нас не предаст.

Новый шум аплодисментов, все растроганы, а Гучков, садясь, понял, что речи мог и не говорить, всё лишнее. И заскучал, заскучал. Ещё надо было для приличия сколько-то посидеть здесь. Тянулся день пустой и, по сути, тяжёлый.

Тут его вызвали к телефону, нашли. Сообщал адъютант Капнист, что Исполнительный Комитет Совета рабочих депутатов имеет к военному министру серьёзный разговор, приглашает министра посетить Таврический, либо готов прислать делегацию к нему в довмин.

Сам? Конечно не пойдёт. Ни шагу к этой сволочи навстречу. Но отказать в приёме нет оснований. Назначил в конце дня.

А сейчас — пора была ехать на отпевание Дмитрия Вяземского.

Автомобиль оставил у входа в Лавру. Пока прошёл, спрашивал, в каком храме, — уже начали.

Отпевали в правом приделе. Десятка два склонённых голов он увидел со спин. Свечи в руках. И некрасивую овдовевшую Асю, с замерло вскинутыми бровями, у изголовья длинного гроба в цветах. (Цветы и от Гучкова принесли раньше.)

Пылали четыре подсвечника по углам гроба.

Взял свечу. Прошёл серединою несколько вперёд. (Не без мысли, чтоб видели, что он здесь.)

Так труден был этот переход — от забот министерства, сотен телеграмм изо всех городов и от совещания с аплодисментами, — а тут, в малолюдьи, полумраке, свечном озареньи — одинокий расчёт человеческой жизни, у которой свой масштаб, свой путь, свой конец, сквозь революции или без них.

В юности потеряв старообрядчество, не пристал Гучков и к правящей вере, да вообще он не верил в Бога, но считал полезным, нужным, соблюдал некоторые правила, Пасху и Рождество, как все в России. А год назад, умирая, — и причащался, да.

Сперва он вошёл со втолпленными мыслями — об армии, что Николая Николаевича нельзя пускать на Верховное, что Совету нельзя уступать, и как умелее провести с ними встречу. Так он стоял со свечой, по виду молебно, а внутри — отобранный прочь.

Но постепенно чтение псаломщика, возгласы священника и небесный распев «Покой, Господи…» — входили в него, умиряюще. И неловко опускаясь на колени, как не собственной волей, ощутил на всех плечах, и долею на своих, косновение той властной всепростёртой руки, под которой мы все можем вознестись или расплющиться, как расплющивался он сам год назад. И смотрел близко перед собой на свечу жизни, длины которой до конца никто не знает: носился Дмитрий рядом с ним весёлый, ловкий, отважный, не зная, что уже огарочек.

И все эти дни отгонял Гучков, а теперь распахнулось в нём несомненно: ведь этим юношей он вертел, втянул его в заговор, брал в революцию — а вот и подвёл под смерть.

А — другое затоптанное воспоминание: Мясоедов?.. Обвиняя его когда-то в шпионаже, — Гучков искренно верил. Не доказав, смыл дуэлью. Но какая находка была, когда обвиненье всплыло снова само собой, без Гучкова, — и радовался свалить на этом Сухомлинова. В борьбе владеет нами такая несомненность. Но когда умирал в прошлом январе — вдруг соткался и воплотился перед ним повешенный — невидимо, где-то там, — Мясоедов.

А всё-таки если — не виноват?..

Перекрещивался, когда все.

Панихида кончилась, прощались с умершим. Гучков пристал к рядку, дошёл — и близко увидел сохранившееся, немного изумлённое выражение этого длинного лица. Спортсмена. Молодца. Поцеловал в гладкий лоб, у венчика.

Ася осталась у головы покойного. А семья стояла в стороне, Гучков подошёл к ним. Рыданий не было. Статная, величественная мать убитого стояла прямая, неподвижно и невидяще. Усадили её.

Маленькие ещё не понимали, что произошло.

Все эти дни и часы ждали и сейчас ещё чаяли дождаться из имения их Лотарёва, из Усманского уезда, старшего брата — Бориса Вяземского с женою Лили. По его телеграмме и оттягивали отпевание, но поезд его всё опаздывал.

Гроб был цинковый, под запайку. Уже решено было: не хоронить Дмитрия здесь, в Лавре, но, по его предсмертному желанию, этой весною отвезти в отцовское Лотарёво и там положить рядом с отцом в склепе.

С сестрой Лидией Гучков вышел на паперть, посмотреть, не подъедет ли Борис.

Тут, при полном свете, возвращалась в сознание революция. И Лидия, с грубовато-решительным лицом, низким голосом, не съёживалась от неё, но находила какую-то горькую сладость:

— Меня с детства почему-то очень всегда задевала французская революция, как прямо относящаяся ко мне. Мне казалось, что в каком-то другом воплощении я в ту эпоху жила во Франции. Может быть, мне и голову отрубили там… Казалось, что если меня загипнотизировать, то я в Версале покажу двери и переходы, не известные проводникам…

Нет, не ехал Борис. Звала Гучкова на заупокойную литургию в девятый день.

Да и сегодня был уже не третий, а пятый.

Ещё сказала Лидия, что сегодня к ним на Фонтанку безтактно приезжал граф Орлов-Давыдов, добровольный прислужник Керенского, — и добивался у Мамá, не отдаст ли она Осиновую Рощу (бабушкино имение, по финляндскую сторону от Петербурга) для содержания арестованной царской семьи. Мамá возмутилась — она не тюремщица, и решительно отказала. Но разве решено — арестовать?..

Гучкова взбесило: что за дерзкий шут Керенский, так это он всё готовил?! Гучков и сам уже стал понимать, что задержание и охрана царской семьи неизбежны, он и сам вчера дал Корнилову инструкцию, — но почему это делает Керенский?!

Чёрт знает, что у нас за правительство: всё идёт по шушуканьям и частным встречам, по двое, по трое.

466

Гучков, которого она лишь накануне называла скотом за то, что он ездил вынуждать отречение Государя, грязный человек, который мог пускать в обществе сплетни или фальшивые письма, — этот Гучков, придя к власти, зачем бы явился во дворец в половине первого ночи, попирая все следы этикета не то что к императрице, но к женщине?

Государыня так и поняла: приехал арестовать!

В этот момент она нуждалась в защитнике, в свидетеле, кого-то поставить рядом, хотя и не мог он ничем защитить, — и быстрая счастливая мысль была: вызвать Павла (а больше и некого)! Велела камердинеру Волкову тотчас телефонировать великому князю и просить приехать немедленно!

Павел уже лёг, но понял, поднялся, собрался быстро — и вместе с пасынком приехал ко дворцу за три минуты до приезда Гучкова. Государыня почувствовала себя уверенней.

При всём отвращении и негодовании — как могла она не принять приехавших? У себя в спальне перед образом она прочла молитву к Богородице, быть может свою последнюю в свободном со-

стоянии, и вышла с Павлом, оставив в задней комнате на диване замерших от страха Лили Ден и Мари.

И — первая фраза генерала Корнилова сняла её страх и разъяснила положение. Она с симпатией поглядывала на калмыцкий сухой тип боевого генерала, знаменитого своим побегом. У него был — смущённый вид.

Государыня даже нашла, что и у Гучкова, несмотря на его отвратительные тёмные очки — зачем среди ночи нацепленные? — был тоже смущённый вид.

И фразы его тоже показались мягкими. Хотя потом она вспоминала, не могла вспомнить, как он выразился, вроде того: «Мы приехали посмотреть, как вы переносите своё положение?» Не так, но кажется, смысл фразы был хуже, чем она восприняла в тот момент.

А он приехал, значит, не из злобного любопытства, а из желания ей облегчить?..

Жалела потом: забыла пожаловаться ему на стеснения телефонной связи с Петроградом.

Воротясь, успокоила своих, отправила их спать (Лили спала теперь в розовом будуаре, рядом со спальней государыни, не допуская оставить её одну на первом этаже), — а сама ещё долго, всю ночь не могла успокоиться от этого посещения.

В спальне её было много икон, на всех стенах, — и горело несколько лампад.

Искала между ними успокоение.

Ещё прибегала камеристка рассказывать, что по дворцу во время визита расхаживали революционные депутаты с красными лохмотьями на грудях и дразнили слуг «рабами», и высмеивали их придворные ливреи.

Настолько не спалось, что вышла в кабинет — и, при верхнем свете, в глубокой ночной тишине, остановилась перед портретом Марии Антуанетты над своим столом. Откинув голову на заплетенные ладони — соединилась взглядами с ней и стояла недвижно.

С этим портретом, подаренным ей во Франции 7 лет назад, когда они с Государем посетили апартаменты Антуанетты и Людовика XVI, — государыня с первого мига почувствовала какую-то магическую связь. Ещё с детства судьба этой королевы выступала для неё из судеб других королев. Вся французская революция, с детства ученная как концентрация безчеловечного зверства, ещё

не имела никакого отношения к России, — а Александра воспринимала Антуанетту как свою затаённую сестру. В чём не оболганная? даже в распутстве и краже, — вся ложь, вся ненависть, вся месть так густо пришлись на эту гордую женскую голову, — какое благородное сердце не забьётся в безсилии, что уже нельзя облегчить её участь?

С тех пор постоянно висел здесь этот портрет. Но только в самые последние дни Александра прозрела, что связь их — более роковая: что положение их — сходно.

И теперь, закинув голову, она уже для себя искала из этих крупных глаз с загадочным выражением — ещё тогда не перестрадавших, а как будто и предчувствующих. Удлинённое, но и полное, покойное лицо, безо всякого мелкого женского кокетства. Строгость и ум.

Как и у Александры Фёдоровны.

«Не понятая своим народом…»

Любимый Богородицын образ она положила на ночь под подушку.

Забылась уже на рассвете.

Поздним утром вышла к Лили — та уже знала утренний обход Боткина и сказала, что у Ольги есть симптомы, угрожающие воспалением мозга.

О Боже!

А второе — милая преданная Лили не скрывала своего живого безпокойства. Она тоже дурно спала эту ночь — и задумалась, что при таких визитах и в таком положении нельзя безпечно продолжать хранить дневники. А у государыни — не только свой, но и — завещанный ей дневник её покойной фрейлины княгини Орбелиани, — и в обоих дневниках много интимных подробностей о разных людях, которые соприкасались со дворцом.

— Я мучаюсь, — говорила Лили, — я советую вам страшный вандализм, — но решаюсь из чувства преданности. Эти дневники, Ваше Величество, вам остаётся теперь только сжечь.

Государыня очень взволновалась. Её мысли к этому не шли, она не привыкла ни к чьему контролю над собою, — но сейчас совет Лили толкнул её, как морской вал.

Что-то сразу ударило её и убедило: нельзя было представить себе эти дневники в руках революционеров! Или — Гучкова?..

Боже, жечь дневники — это жечь саму себя. Двадцать лет ежедневных минут откровенности, главные чувства каждого дня,

непрерывная реальная нить своей жизни, — и в огонь? Своими руками!

И ничего не оставалось другого.

Пошли с Лили в красную гостиную (там тоже Мария Антуанетта с детьми — гобелен, подарок французского президента), сели у ярко пылающего камина и — начали жечь с дневника Орбелиани, отодвигая государынин.

А тот был в девяти томах, и все в кожаных переплётах, тяжёлая была задача — отрывать.

И ещё тяжелей — перед покойной, как измена.

Даже — свой будет простительнее жечь.

У государыни и всё было в кожаных переплётах, все до единой книги (английские — бледно-фиолетовые, французские — зелёные, русские — красные, немецкие — голубые), так и все тетради, и дочерей тоже. Теперь эту кожу надо было подрезать ножом — и рвать перед собой, как древние раздирали одежду на груди. Как разрываешь собственную душу.

Огонь брал, брал своё уничтожительно, безвозвратно, за ним не поспевали руки. А мысль обгоняла: а переписка?

А переписка? Письма — ещё наследника престола и жениха, письма первой любви, первой весны?.. И письма мужа к жене — двадцать два года?

Уже начинало пугать не то, что придётся сжигать, а то: успеют ли сжечь всё вовремя, до нового прихода *их*?

Ещё же были письма к Ане — шесть ящиков у Ани.

И письма от Ани.

Успеют ли сообразить обо всём, что нужно жечь?

Распорядилась камердинеру Волкову перенести и поставить на стол дубовый сундучок с письмами Государя.

Открыла их, разворачивала, читала — не было сил метать в огонь.

Изнемогало сердце.

467

Раньше: сам не сделаешь — никто не сделает. А с революции вдруг все повалили в знатели и делатели. И каждый оратор на любом крыльце. Вот она и есть свобода, так наверно и надо: как из

мешка рассыпалось, и все свободны во все стороны, кто раньше и раззявиться не смел. И весело было от этого Шляпникову, но и растерянно. Оказалось, что только в глубинах, как рыба невидимая, он плавал хорошо. А на поверхности — воздух заглатывал, а не брал. Вся общая жизнь пришла в такое текучее, передвижное состояние — голова Саньки Шляпникова не успевала. А тут-то — партии и нужно единое мнение, ой-ой, ещё даже как! Без единого мнения — что это и за партия, это будут не большевики!

И до революции вопросы не поворачивались так остро и быстро. А сейчас дюжина их, один другого сложней, и по каждому надо определить правильную тактику. Вот всё изъедало его: свергать или не свергать Временное правительство? Три дня назад Петроградский комитет постановил не свергать. Но в измученном нутре всё говорило, что это — ошибка. Как же так — не свергать? Да на чём же и выросли большевики, что помещиков и капиталистов надо свергать, — и вдруг нет? Да нельзя этой цензовой банде дать укрепиться — надо их постоянно выжигать и выгонять, иначе сядут новыми царями на нашу голову.

И снова собрал своих, Залуцкого и Молотова, и уламывал их час, на Ленина ссылался, наконец вытряс из них новую резолюцию Бюро ЦК: наша задача — демократическое правительство, то есть диктатура пролетариата и крестьянства.

И с этой резолюцией заставил ПК вчера ещё раз преть и голосовать. И снова провалили. Не подчинялась больше партия Шляпникову!..

Ну, не идёте на восстание — всё равно будем создавать большевицкую вооружённую силу. Тут как раз городские цензовые власти копошились создать вместо разогнанной полиции — единую милицию, подчинённую городской думе. А вот выкусьте — единую! А мы создаём свою отдельную — рабочую гвардию. С первого дня революции уже набирали оружия побольше. (Шляпников и сам один раз отобрал винтовку у жандарма.) Звали солдат не сдавать оружия в свои части, а отдавать нам, — и многие солдаты отдавали охотно. И при разграбе Арсенала поднабрали. Пригодятся эти винтовочки! А как Исполком назначил Шляпникова уполномоченным по вооружению рабочих (перехитрил соглашателей, они не поняли, чем это пахнет), то теперь и пошёл он, как бы от Совета, спорить против городской думы. Он хорошо знал, чего хотел: объединяться нам с городской милицией, надевать на рукав их дурацкую белую повязку? — это предательство рабочей гвардии. Ре-

гулированием уличного движения мы заниматься не будем. Наше дело — вооружённый оплот революции. (Ещё пойдём рядами железными!)

А в городскую милицию уже записалось добровольно 7 тысяч человек, больше студенты, юнкера, но и рабочие, кто не разбирается. Много таких чистеньких мальчиков из буржуазных семей было на совещании, в Шляпникове сразу почувствовали врага и закидывали его вопросами: зачем же раздавать столько оружия милиции, если его недостаёт на борьбу против немцев? Мол, вообще милиции не нужно оружия, достаточно белых повязок. (Смех один, зачем тогда и вся милиция?) И, мол, зачем вооружать милицию, когда рядом есть солдаты?

Солдаты, отвечал Шляпников, сейчас есть, а потом пойдут на фронт или по домам. А в случае необходимости революционного момента — кто будет защищать? И он, и свои, кто присутствовал, — не уступили, и баста. И сила — за рабочими. И постановили, что студентики с белыми повязками в заводские районы к нам ни шагу, у нас своя вооружённая сила.

Одна сила пролетариата — винтовка, вторая — печать. Изо всех забот не терял он эти дни — восстановить большевицкую «Правду». И вчера — выпустили первый номер, безплатный, 100 тысяч экземпляров, — попорхал по воскресной столице!

Газета — это даже сильней, чем сама партия: раскрываешь газету вразворот — не угадаешь, стоит ли за ней какая сила, — а строчками рубит правильно! Буржуазная печать порхает с цветка на цветок: идите, солдаты, умирайте, а мы, как прежде, будем барыши получать. Но — чувствуется неуверенность во всех их голосах. И только «Правда» одна с первого номера задышала хрипло, по-рабочему. Всё у неё сразу просто и честно: и что́ — долой, и что́ — давай. Это станет теперь единственное место в России, где можно будет открыто выражаться о Временном правительстве тоже. Чего ещё нельзя пока осуществить в жизни, чего даже в собственной партии не удаётся провести, — то всё будем печатать в «Правде», доберём всё невзятое, как понимают неуклонные большевики и горячие ребята-выборжане. О чём ни напишет «Правда» — это будет решающая суть дела. И Демьян Бедный вложил душу, правильные стихи! И будем печатать побольше *резолюций* (хоть где их и не было): когда это идёт не как статья журналиста, а как солдатская резолюция — это грозно звучит для всех буржуазных поджилок!

Печать — это грозная сила.

И ещё как усилить наши большевицкие ряды: партийный устав накладывает некоторые требования к поступающим — отменить. Сейчас надо любой ценой завлекать в партию всякого, кто только захочет пойти. Отменить даже членский взнос.

А ещё надо бы не дать оппортунистам из Совета прекратить заводскую забастовку. Совет складывает оружие перед капиталистами! После такой удачной революции как же можно просто возвращаться на заводы — и не получить твёрдых выгод? Возмущалось в Шляпникове рабочее сердце: вся эта головка Исполкома никогда ни часу у станка не стояла и не понимают, что значит для рабочего вместо одиннадцати часов — восемь. Но всё ж не решился дать на этом бой: сейчас всякая разрозненность рабочего класса учтётся врагами революции как признак его слабости. Ладно, прекратим пока забастовку, чтоб не истощаться. Возвратиться на заводы — но временно, зорко следя за правительством, чтобы в любую минуту по первому сигналу снова покинуть станки, и — революция продолжается!

За всеми этими головоломками Шляпников не стремился отсиживать ежедневные заседания Исполкома, да ещё в середине дня, — только и могли сидеть, кому делать нечего, болтают впустую.

А придёшь — так какую-нибудь неприятность прицепят:

— Алексан Гаврилыч! Вот тут балерина Кшесинская ждёт, по поводу возврата особняка, — это к вам, объяснитесь с ней сами.

Ах, попался! Мерзавцы-соглашатели, сами приказать большевикам не смеют, так теперь натравили женщину на Шляпникова.

Смущённый, он вышел к ней. Готов был создавать железную Красную гвардию — а вот поди объяснись с постаревшей балериной.

В Питере с революцией возникло много новых нужд и организаций, а зданий не увеличилось, и была большая нужда в зданиях. Большевики узнали, что Кшесинская из своего особняка сбежала, с бриллиантами, сыном и гувернёром, — её гаражи и подсобные помещения занял бронедивизион, а дом стоял пустой, ещё и мало разграбленный, — и решили быстро туда перекинуть ПК, по соседству, с их чердака на Бирже труда. Конечно, не для партийной ра-

боты строился дом, а для любви и отдыха, — так роскошно никогда не мечтали большевики устроиться. Правда, в стенах как будто шорохи какие — нет ли потайных ходов?

Но и вот что значит — торжествовала уже буржуазная власть и пошлость: Кшесинская осмелилась из своего бегства воротиться и даже вот явилась в Таврический дворец требовать своих прав! Не попалась она 27 февраля!..

Впрочем, отчасти и с любопытством вышел Шляпников обшарить глазами бывшую любовницу царя — не всякий день увидишь.

В коридоре стояла женщина маленького роста, вся в чёрном, но с особенным умением, привлекательно одета. Хотя немолодая, но и невольно стараясь нравиться (совсем неуместно, но без этого не могут бабы во всех классах), выдавала она ещё не стёртыми чертами и движениями, что сильно была хороша в молодости, кто в этом толк понимает.

С ней был адвокат, барски одетый, только представил: «Матильда Феликсовна», а говорила она сама. Обращалась без признака странности или неловкости, что две недели назад она проехала бы в автомобиле мимо этого прохожего мещанина, взгляда бы не бросила на его заурядную физиономию с примитивными усами, — а теперь говорила с уважением и убеждённостью, что это — из первых вельмож нового государства, от которого всё зависит.

Она смела только просить и просить. Прежде всего просила — не верить всему дурному, что о ней пишут и говорят. Она — живёт своим трудом; это неправда, что вела спекуляцию, в банке у неё всего 900 тысяч рублей, и это можно проверить. И бумага при ней, вот, подписанная Керенским: что она совершенно свободна и никакому аресту не подлежит.

А теперь просила она: помочь ей водвориться в собственный дом. Там — несметная толпа, и он разграбляется.

Шляпников умел довольно непроницаемо выглядеть, как и сидел в Исполкоме против соглашателей. Но отвечать этой женщине было трудно. Даже хотелось сказать ей что-нибудь утешительное, — а что же он мог? Не могли же большевики теперь отдать дом, — а куда самим? Да где такой хороший дом найдёшь?

А она готова была расплакаться, еле удерживалась.

Он вежливо ей отвечал, что конечно постарается помочь. Но дело это трудное, не от него зависит. Дело в том (тут, на месте,

придумал план): дело в том, что там стоит ещё команда броневиков, а ей перейти некуда.

Но Кшесинская это предусмотрела и обошла его! Оказывается, она уже побывала в штабе Военного округа и в Военной комиссии и всё уладила, там нисколько не возражают против ухода броневиков. Везде отвечали ей, что дом захватили большевики, а не военная власть.

Шляпников вдруг почувствовал, что краснеет: ведь так оно и есть, и что скажешь?

Нет-нет, настаивал он, — броневики, а не большевики.

Но тогда! но по крайней мере! умоляла женщина дать ей разрешение хоть посмотреть свой особняк! хоть понять, всё ли там на месте! А в крайнем случае — собрать её имущество в часть комнат и выделить ей помещение для жилья. А броневики во дворе — пусть будут.

Тьфу! ещё трудней выворачиваться.

— Так кто же вам мешает, пожалуйста, там всё открыто, — врал Шляпников. Она изогнулась, старо-грациозно:

— Я вам сознаюсь, что я боюсь так просто пойти туда. Я прошу вашей защиты и содействия!

Вот попал. Промычал Шляпников, что да, посодействует.

А едва отцепясь — пошёл к телефону, скорей звонить в особняк, предупредили бы броневую команду: чтоб они всё брали на себя и не соглашались бы уходить ни за что, с них спросу нет. И не пускали бы барыню дом смотреть.

468

Но что-то мешало толстовскому секретарю так сдаться и согласиться. Ведь люди страдали в тюрьме ни за что, единомышленники! Да что всё Керенского? — опять решил искать Маклакова, — он и бывал у Льва Николаевича, и сам же талантливо защищал в «процессе толстовцев», вот и знакомы. А в газетах писали — он назначен комиссаром по министерству юстиции. Очень может быть, что сейчас и заменяет больного Керенского. Зайти наудачу в министерство юстиции, может он там ещё?

В министерство на Екатерининской вошёл — и хотел у швейцара спросить о Маклакове, но почему-то спросил сперва:

— Что, братец, министр сейчас не здесь?

— Так точно, здесь.

— Кто? Алексан Фёдорыч Керенский?!

— А кому же быть-то? Так точно, они.

— Но ведь утром с ним был обморок?

— Был обморок, миновал, теперь принимает.

— Принимает?!

— Так точно, пожалуйте наверх! — бакенбардистый швейцар уже брал с него пальто.

Поражённый Булгаков поспешил наверх.

Приёмная была велика, и там толпились многие, всё какие-то в сюртуках и пиджаках, не видно было ни одной министерской униформы с орденами, — куда делись?

Только курьер у закрытых дверей в следующую комнату стоял строго в мундире. Булгаков приступил к нему, показывал письма от знаменитых литераторов и просил доложить. Курьер скрылся за дверью.

Прошло небольшое время. Вдруг дверь от министра с силою распахнулась настежь. Это — курьер её распахнул, и он же выкатился оттуда как вышвырнутый — и тут же вытянулся во фронт, боком ко двери.

Волнение перебросилось во всю приёмную, все шарахнулись по бокам, сдунутые, — и образовался проход.

Послышался странный частый стук, как бы дерева о дерево, это стучала о пол палка идущего, — нет, палка бешено летящего человека, кого-то догоняющего, хотя и держал в левой руке палку, а правую руку — в чёрной перевязи.

Молодецкие офицеры-адъютанты, придерживая шашки, спешили за министром с двух сторон.

Исчез, пронёсся министр с палкой, исчезли адъютанты, — а ожидающие так и стояли проходом, почтительно замерев.

Шептали:

— К телефону… Пошёл говорить по телефону…

И так — стояли, не нарушая прохода. Пока не повеяло какое-то встречное дуновение — и встречным вихрем открыло выходную дверь — и революционный министр с лицом, бледным до синевы, при чёрной перевязи и отстукивая палкой, пронёсся к себе в кабинет, так исступлённо спеша, что настигал узкой головою — вперёд, скорее!

И адъютантики, придерживая шашки, увивались за ним.

Но у самой двери вдруг — стоп! — министр остановился. Его остановила несдержанная дама в чёрном бархатном манто, даже секунду прохода улучая обратить на себя министра.

Она говорила поспешно — а министр стоял к Булгакову как раз затылком, коротко стриженным, не выше его и ростом. Он пожал плечами, что-то ответил даме и уже наклонился кинуться в кабинет, как Булгаков, почти для себя неожиданно, вскрикнул:

— Господин министр!

Керенский как захваченный, как изумлённый, круто повернулся к Булгакову своим узким вдохновенным бледно-синим лицом — и впился в него, как бы спрашивая одну секунду: этот ли дерзкий?

— Алексан Фёдорыч! — спешил теперь Булгаков, волнуясь и не сглатывая: — Я — бывший секретарь Льва Николаевича Толстого. Я имею к вам письма от Зинаиды Николаевны Гиппиус, от Дмитрия Сергеевича Мережковского. Они очень просят вас принять меня и уделить одну-две минуты для беседы по неотложнейшему делу!

От перечня блестящих имён улыбка гордости не укрылась на безусом, безбородом лице Керенского. Он едва задумался, обернулся на первопопавшегося из адъютантов и, двумя вскинутыми пальцами руки из перевязи описав в воздухе неподражаемо свободные, как всю жизнь употребляемые две петли, в сторону дамы и в сторону Булгакова, выстрелил на выдохе, почти уже без гласных букв:

— Этих двух.

И — скрылись. И — дверь закрылась. И — снова, преградою, вытянулся курьер.

Проход смешался. Возбуждённо заговорили, завидуя счастливчикам.

И тут же — дверь открылась. И узкий офицерик-адъютант, весь сияя от порученной ему обязанности, но и с выражением отчаянного превосходства объявил:

— Господа! Министр имеет в своём распоряжении только полчаса. — И только даме и Булгакову, отменно вежливо: — Пожалуйте.

Вошли. Но это не оказался кабинет, а лишь предваряющая комната с секретарями, в простых же пиджаках, без каких-либо служебно-мундирных намёков.

В кабинет пропустили даму. Булгаков ждал своей очереди — но тут из приёмной вошёл чрезвычайно самоуверенный, эффектно-элегантный старый господин с бритым лицом, а пышно-львиной головой, тоже в штатском. Он положил свой портфель на проходном столе и всем видом показывал, что он здесь — свой, и пойдёт сейчас он. И действительно, выскочивший адъютант, увидев его, тотчас пригласил к министру на смену даме, а Булгакову объяснил:

— Министр примет сначала господина Карабчевского.

Ах, Карабчевский! Знаменитый адвокат и даже, кажется, глава коллегии?

Величественная дама вышла в слезах. Секретари подсунули ей стул, один из них стал что-то внушать ей подбодрительно, а она рыдала, рыдала.

Булгаков подумал: а наверно, это жена какого-нибудь арестованного крупного сановника, просила облегчения участи, министр отказал. И наверно, аргументировал ей, что тысячи «лучших людей» России переиспытали то же, — и отчасти он прав. И по самому Булгакову, когда он кратко сидел в тульской тюрьме, плакала сестра. Вот как всё в жизни умеет оборачиваться поучительно.

Прошли и те полчаса, и больше, наконец Карабчевский важно вышел со своим портфелем — и Булгакова пригласили вступить.

Он вступил — и увидел Керенского, сидящего, соединив пальцы здоровой и больной кисти, опершись о подлокотники министерского высокого и глубокого кресла, но не за письменным столом, а на середине кабинета. И кажется, приглашал Булгакова в такое же кресло, стоящее вполуоборот.

Но тут ему доложили, что его зовут к телефону — и опять к другому — из Таврического дворца. Внезапным, как бы отчаянным движением Керенский ударил по подлокотникам, выскочил, узкий, из широкого кресла — и бросился к выходу, без палки, успев однако крикнуть:

— А вы подождите здесь!

Фатум — всё мешал, всё препятствовал, но, кажется, надежда была.

Булгаков оглядывался и изучал кабинет. Было комфортабельно, но и просто. Кресла старинные, но даже с весёлым оттенком. Пересидели здесь многие, и Щегловитов, — а вот теперь Керен-

ский. На стенах довольно явно выделялись более светлые прямоугольные пятна — в тех местах, где были, наверно царские, портреты, и вот сняты теперь.

Министр вернулся, шлёпнулся в кресло с удовольствием и принял письма литераторов. Он вынимал их из конвертов порывисто-лёгкими движениями, хрустя разворачивал, то ли читал, то ли только на знаменитые подписи, а Булгаков смотрел на подвижную высокую его шею, властную складку губ, маленькие глаза, равномерный ёжик по голове.

Но когда Керенский стал читать письмо, совсем и не длинное, — то, от всей бешености своего темпа жизни, он казался не в состоянии вникнуть в его простой смысл, и, как если б оно было на незнакомом языке или неразборчиво написано, стал нервно быстро спрашивать:

— О чём оно? О чём оно?

Булгаков стал излагать своё задушевное: отказавшиеся от воинской службы, самые чистые люди — неужели могут остаться в тюрьмах? Амнистия не должна же их обойти! Но они причислены даже не к религиозным преступникам, а к уголовным и…

Керенский быстро и сильно хлопнул себя по лбу, как бы бья комара:

— Как же мне это в голову не приходило! — И сразу вскочил, как если б сиденье кресла поддало его сильной пружиной, и побежал к двери и тотчас вызвал одного, который оказался не просто секретарём, но — товарищем министра.

Познакомились.

Товарищ стал уверять, что войдут, войдут в амнистию и эти, уже вошли, акт уже составлен.

— Как? Он уже готов? — вскричал Керенский. — Так дайте мне его скорее на подпись! Я желаю подписать!

Булгаков взволновался, ожидая, что станет сейчас свидетелем великого момента в российской истории.

Но нет, акт оказался ещё не настолько готов.

— Так поспешите, поспешите! — нервно торопил Керенский, как бы кусаемый или сам изнемогая в тюрьме. — Поспешите закончить и пришлите мне его во всякое время дня и ночи, и где б я ни оказался — в Совете министров, или в Совете депутатов, или уже на вокзале, или…

Только не назвал — дома.

ДОКУМЕНТЫ — 15

Телеграмма из Цюриха в Стокгольм
6 марта 1917

Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки временному правительству. Керенского особенно подозреваем. Вооружение пролетариата — единственная гарантия... Никакого сближения с другими партиями.

Ульянов

469

Заседание Исполнительного Комитета тянулось много часов, на изнурение, только и обореваемое сладким чаем, бутербродами и потом горячей рисовой кашей с маслом. Члены Исполкома уже, кажется, и не надеялись, чтоб заседание можно было провести как-нибудь быстрей, кажется, к тому уже и не стремились, вяло сидели, вяло говорили, а вопросы текли и текли, их было двадцать, наверно, в повестке. Отвлекались, переговаривались, входили-выходили. При голосованиях не просчитывали, сохранился ли кворум. Новая комната оказалась мало удачной: прямо напротив гуденье и рёв Белого зала, и нет предохранительной передней, а уже находят и тут, и врываются какие-то делегации, ходоки с жалобами.

Добивалась и делегация с Северного фронта от генерала Рузского. Но велели ей подождать, не разорваться же Исполнительному Комитету на одни военные вопросы.

Долго и довольно радостно делал доклад Скобелев о своей поездке в Гельсингфорс и Свеаборг. (Говорил всё о себе, с трудом можно было догадаться, что там ещё и Родичев что-то значил.)

В экстренном порядке заседание два раза прерывалось — по поводу трамвайного движения, которое должно было открыться завтра. Один раз: как избежать давки, ведь кинутся все, как бы установить при посадке очередь? Другой раз: звонили из городской думы, что остаются недочищенные рельсы, сегодня не успевают, нельзя ли завтра рано утром? Но можно ли приказать рабочим выйти на работу рано утром? А если не послушаются? Никто

не может отдать такого распоряжения, кроме Исполнительного Комитета.

То обсуждалось назначение генерала Корнилова на Военный округ, и что надо с самого начала взять его под контроль, назначить к нему нашего постоянного представителя — и пусть попробует возразить.

А ещё: сместить — начальника телефонной сети Петрограда, сомнительная личность.

Хотя все эти вопросы и могли считаться политическими, но не затрагивали ничьих партийных интересов, не вызывали споров между фракциями, решались мирно.

Делегация от генерала Рузского настаивает, чтоб её приняли.

Ну ладно, уже проучили генерала. Пусть идут.

Вошли: капитан, поручик, один унтер и два солдата. Вошли не в ногу, но чётко стуча сапогами. И не искали, где б им сесть, а стали тесной группкой. По старшинству заговорил капитан — громко, убеждённо, складно. Иногда и поручик вступал со своими примерами. А нижние чины только малым гулком да краткими восклицаниями, но давали полную поддержку своим офицерам. А ещё — стояли они так тесно, дружно, по-военному, как будто это первая разведочная группа была, а дальше мог повалить сюда весь Северный фронт.

И что ж они рассказывали! Что творилось от Приказа № 1 на их фронте, в дальнем и ближнем тылу. Офицеров обезоруживают солдаты. Отстраняют от командования. Арестовывают. Разносят военные канцелярии. Растерзали полковника. Топили в реке генерала.

Как охваченная гангреной больная нога — то уже не армия становилась, она отпадала.

От этого вступа делегатов, от этих крутых военных речей — ошеломлённые сидели члены Исполкома, где кого прихватило, и не успевая оспорить события, настолько точно они назывались.

Да такая анархия — не приведёт ли к реставрации старого порядка? И всё это обрушится на Совет? Только одно выручало:

— Мы Приказ № 1 сегодня разъяснили. Мы издали Приказ № 2.

— А — какой, разрешите узнать? — уже требовал капитан. Чхеидзе кивнул, и Капелинский невоенным голосом прочёл вслух.

И офицеры попятились в изумлении.

— Что, опять не так? — исполкомовцы почувствовали неладное. И засуетились:

— Товарищи! Так задержать и изучить Приказ № 2!

— Как его задержать, когда он уже передан с искровой?

— А — зачем же он передан? Он же только к Петрограду относится!

Вот, пропустили… Не сообразили…

— Так товарищи, надо сейчас же передать новую телеграмму, разъясняющую те оба приказа!

— Но это надо ещё составить… !

— Но вот идёт наша делегация к Гучкову, пусть там…

Да, что-то не то… Да, надо как-то согласовать с военным министром…

И — задержать пока Приказ № 2!

И — одного человека послать во Псков с разъяснениями!

Да разве только во Псков?..

Надолго сбилось обсуждение. Объявляли перерыв, отпускали делегацию. А собрались опять — нет, так просто от военных вопросов не отделаться.

А в Кронштадте? Там продолжается как бы непрерывный мятеж. Не только подрывают комиссара Временного правительства, но и авторитет Совета.

Кто это там баламутит? (На большевиков.)

Командировать и туда!

Да во все воинские части, ко всем воинским властям надо постепенно посылать своих комиссаров, так, чтобы везде было око и зуб Исполнительного Комитета.

Да как мы можем работать, когда у нас Военная комиссия — не своя, не доверенная? Надо менять её состав: выводить оттуда офицеров-реакционеров, а вводить офицеров-республиканцев, вот образовавшихся. Да и просто солдат.

Но подпирал вопрос о представительстве в Исполнительном Комитете некоторых социалистических групп. Это вопрос был конфликтный, чреватый обидами, его надо было деликатно разобрать. Каждая малейшая группировка, возникающая или пробуждённая, хотела иметь своих представителей в Исполнительном Комитете. Но и Комитет не может дальше раздуваться, всем подряд дать согласие невозможно. Но в некоторых случаях неполитично отказать. Выслушивали претензии, повели прения. Большевики напирали дать по одному месту латышской и польсколитовской социал-демократии. (А от них Стучка и Козловский, оба большевики.) Разгадали манёвр, держались: в Петрограде,

при чём тут польско-литовская? Вот добавили ещё одно место народным социалистам. И дали по одному совещательному голосу сионистам-социалистам и сионистам-территориалистам. Еврейским же социалистам-серповцам, после долгих прений, отказали даже и в совещательном голосе. Не нашлось защитников у анархистов и анархистов-коммунистов, — и этим группам тоже отказали.

Нервный Гиммер, подрагивая кадычком, требовал обсудить предварительный проект обращения к международному пролетариату. Но это обещало затянуться, и сложно, уже охотников не было, зевали. На завтра.

А ещё вопросы финансовые, и докладывал о них заунывный Брамсон. Но слушали его с оживлением.

Во-первых, известно, что комитет Веры Фигнер очень успешно собирает деньги на помощь вернувшимся политическим заключённым, жертвуют многие богачи, собралось уже полмиллиона рублей. И странно было бы, чтобы такая колоссальная сумма находилась бы в руках частного комитета, а не под руководством Исполнительного Комитета.

Надо предпринять шаги. Поручили.

Во-вторых: надо подумать, товарищи, и о членах Исполнительного Комитета. Ведь многие из нас покинули всякие занятия, свою основную работу, и целыми днями сидят здесь. Стало быть, они — мы все — должны состоять в штате и получать содержание, это естественно и законно. А кроме того, у Исполнительного Комитета уже немалый подсобный штат — секретарей, машинисток, экспедиторов, и по комиссиям, — и что-то же надо всем кушать?

Возникло некоторое разномыслие. Одни считали, что Временное правительство должно принять Совет депутатов в постоянный государственный штат. Другие возражали, что, по диким буржуазным представлениям, Совет рабочих депутатов является учреждением частным и не может содержаться государством.

— Но в таком случае затребовать от него ассигнования в качестве ссуды?

— Ссуды? — пискливо хохотал маленький ртутный Кротовский. — Неужели мы должны им отдавать? Мы их держим в руках, мы им диктуем условия — и мы у них берём ссуду? Что за чепуха? Только — безвозвратно!

Его поддержали: ссуда — это нехорошо, это внесло бы подчинённый элемент в наши отношения с правительством.

Постановили: затребовать от Временного правительства безвозмездно на содержание Совета рабочих депутатов — сколько?

Кто-то предложил 200 тысяч — над ним только рассмеялись.

Тогда 500 тысяч?

Капелинский вкрадчиво предложил: не меньше миллиона.

Что́ миллион? На сколько может хватить миллиона?

Шехтер предложил: два миллиона.

Подумали, переглянулись — вроде как ещё мало?

Сформировалось: пять миллионов!

Но Нахамкис, вовсе не садясь, у него привычка появилась такая — при его здоровом росте ещё стоять за чьей-нибудь спиной, как гора, отвесил спокойно, густо:

— Десять миллионов.

Все даже ошелоумили от такой цифры, даже и непонятно, зачем столько.

— Вы не представляете размаха нашей будущей работы, — одной рукой крупно развернул Нахамкис.

А… что… может быть? Зачем — это прояснится со временем. А Временное правительство пока держится очень любезно.

Хорошо: десять миллионов!

Записали.

А вот ещё благоприятное обстоятельство: сообщают, что в Ораниенбауме нашими людьми взято под охрану много золота, серебра и прочих драгоценностей. Так вот и отлично. Довести до сведения Временного правительства: можем передать им это золото, но только по получении требуемых ассигнований.

470

Теперь на ужин приходили как с боёв — ещё распалённые, не отговорившись. А после боя мужчины бывают всегда особенно голодны. Да ещё сколько их каждый день привалит! Уже по опыту предыдущих дней Сусанна велела кухарке готовить втрое, и горничная в кружевной накрахмаленной наколке еле справлялась носить к столу.

Сама Сусанна эти дни бывала в городе, и дома был же у неё под рукой неизменный телефон, — но уж самое наипоследнее

узнать и порадоваться можно было только от вечерней компании мужа. И сын Марк так уже втравлялся в эту яркость и остроту, что не исчезал допоздна в своих студенческих компаниях, а тоже тянулся сюда послушать, очень восприимчивый.

Приходили обычно гурьбой, пешком (в эти безпокойные дни Давид не выводил автомобиля из гаража), — шумно разговаривая уже на лестнице, и в дверях, и в прихожей, кроме мужа — то Мандельштам, то ещё два-три адвоката, ещё два-три журналиста: журналисты ходили на такие ужины оттачивать в разговорах свои сегодняшние ночные статьи. И Ардов, украшение «Утра России», известный остроумец и парадоксалист, на высокой ноте договаривал:

— Да, господа, мы теперь *обречены* победить в этой войне! Проиграть эту войну мы теперь никак не смеем — это значило бы опять подпасть под реакцию. Ни пораженчество, ни пассивное оборончество уже стали немыслимы. Совершив революцию, мы подписали свою судьбу!

— Мы подписали свою судьбу, — возразил Давид, — ещё в Четырнадцатом году, когда приняли войну и, значит, обязаны были вести её как честные люди. А — *что*? что правительство дало нам взамен?

Дёрнув свисающую с потолка длинную ленту звонка на кухню, сразу усаживая гостей за стол, Сусанна решительно требовала рассказа последовательного, а не конца спора, так не годится. То непокидающее ощущение Чуда, как в три дня внезапно совершилось всё, ожидаемое годами, — его не комкать, но перебрать по пёрышку, не пропустить.

Прикрыв белоснежными салфетками золотые цепочки при карманах жилетов, некоторые громкие занялись холодцом, а в рыбе костей много, — другие же постепенно рассказывали.

Обживаем Английский клуб! Старинный особняк услышал иные речи и увидел новых людей. Только что кончилось пленарное заседание Комитета общественных организаций. Появился там и много фигурил, конечно, Грузинов: «я сделал», «я горжусь», «я безконечно счастлив» — уже становится уморительно, как он лезет в московские бонапарты. После парада в субботу, который он принимал с букетом тюльпанов, уже просто по-клоунски, совсем голову потеряв, написал в приказе: «мои войска».

Хохот от тарелок.

Но между прочим, смешно-смешно, а он довольно ловко укрепляется. Подстроил делегацию от своего штаба, которая умоляет теперь правительство назначить Грузинова постоянным командующим, иначе войска Московского округа не одолеют Вильгельма. Такая подвижная революционная обстановка, как сейчас, очень способствует внезапным ловким выдвижениям.

Впрочем, всё это зубоскальство в газеты завтра не попадёт: общий лозунг — единение, благорасположение, а всю брань — на старый режим.

Да, но что же по-серьёзному, господа?

А по-серьёзному, был очень крепкий спор: что делать с царской фамилией? Ведь Николай отправился в Ставку, и его мамаша тоже, и кажется, туда едет и Александра, а Николай Николаевич назначен Верховным Главнокомандующим, — и тоже туда? Так вся контрреволюция собирается в Ставке? Это надо пресечь!

И это сразу всем передаётся: уж слишком легко дался переворот! уж таких чудес не бывает! конечно, какие-то козни плетутся. Но это так ясно, о чём же спорить? Обезопаситься от Николая, конечно!

Ну, российская традиция благодушия! Уже готовы простить, забыть, снизойти. Нашлись возражатели, свою резолюцию готовили в отдельной комнате. Но нашей стороны было подавляюще, и приняли так: довести до правительства, что необходимо подвергнуть царя и членов его семьи личному задержанию и ни на какие ответственные посты не назначать лиц из царской фамилии!

Разумно. Само напрашивается.

Но не так легко об этом в собственной квартире разговаривать: несколько раз, когда входила с подносом горничная Саша, Сусанна делала предупреждающий знак гостям, и разговор прерывался. Саша — тупо обожала царскую чету, её комнатка была вся обвешана иконами и царскими портретами, всегда смеялись у Корзнеров, что в случае погрома прямо Сашу саму и выставлять к окну или против дверей. После отречения она рыдала вот уже третьи сутки, кухарка — та ничуть, и видела же Саша, что хозяева ликуют, и это создавало в доме грозную тяжесть, а не время было ссориться с прислугой. Да постепенно смирится.

— Господа, господа! — искал тоста, электризованно перебирая пальцами, Эрик Печерский из «Раннего утра», и при горничной иносказательно: — Мы не должны повторять буквально всего,

что было во Французской революции, не всю целиком историю, но повторим из неё всё то, что было в ней прекрасно!

Выпили так. Саша вышла.

— Господа! — искал Держановский, из «Утра России». — А спросим так: среди великих князей и великих княгинь — есть ли вообще невиновные? Со всей их наигранной фрондой Распутину — разве они своим молчанием не обманывали страну? Их всех должно постичь наказание!

— Да даже и Юсупов — и тот как открылся теперь в своей телеграмме!

— Какой? Какой, господа?

— «Утро России» запросило его по месту ссылки высказаться о перевороте. Что ж он ответил? — Ардов просто кипел: — «Будучи нижним чином, не считаю себя вправе высказывать свои политические взгляды для печати». Какова наглость? И это — убийца Распутина?

— Плевок в лицо печати!

— А я нахожу, господа, что это мило! И остроумно, — не согласилась Сусанна.

А каковы придворные? Ну, это паноптикум. Начали перебирать. Нилов — убеждённый черносотенец. Бенкендорф — упорный черносотенец. Фредерикс — закоренелый черносотенец. Воейков — вдохновитель всех черносотенных начинаний. Апраксин — открытый член Союза русского народа, ядро черносотенной придворной партии.

О, сколько надо чистить!

Да только ли в придворном кругу? А сколько сейчас перекрасившихся в революционной толпе? С красными бантиками в петлицах — сколько недавних друзей полицейского участка? Эти все ядовитые корни надо обнаружить и вырвать!

Да вот и сегодня в заседании выяснилось: бывший градоначальник как будто арестован, сидит в Кремле, но в роскошных палатах, и там он имеет сообщение с дворцовым управителем и ни в чём не нуждается.

А телефонами? Теперь дано распоряжение снять некоторые подозрительные аппараты. А переговоры с местностями, лежащими вне Москвы, подвергнуть цензуре. Потому что деятели старой власти…

Давид напомнил телеграмму от московского мещанства: молят Всевышнего, чтобы завоёванная народом свобода не была

утрачена. Живучий мещанский страх! Робкие мысли вчерашнего сумеречного дня.

— Осторожней, господа! А — что в провинции? Вы её знаете, провинцию? А как она себя поведёт? Будет ли она наша?

— Господа-а! — настаивал молодой белокурый Фиалковский, протеже Давида. — И провинция будет наша, и всё будет наше, только не задохнитесь от головокружительного скачка, совершённого нами. Ведь мы сделали скачок от абсолютизма и сразу к полнейшей демократии! — кто это выдержит? Молниеносен был переворот — но ещё молниеносней перестройка внутренней жизни! Новый министр юстиции (кстати, он завтра будет в Москве, хорошая новость!) решительно изгоняет «неправду чёрную» из русского суда. От бездарных клевретов старой власти администрация переходит к людям общественного навыка.

Ещё и более их всех умел горячиться Мандельштам, но на кадетских съездах, когда он подрывался под Милюкова. А здесь, среди своих, где был он старший и уважаемый во всех отношениях, он говорил с убедительной сдержанностью:

— Нам, привыкшим всю жизнь быть в оппозиции и в революции, — нам, господа, трудно ещё осознать, что мы стали материальной силой, стали правительством. И — таким сильным правительством, каким прежний режим только мечтал стать. Налицо — та сила власти, поставленной народом, для которой нет никаких преград. Все партии одинаково понимают основания свободы — и поэтому в народном кабинете не будет разногласий, а только напряжённая созидательная работа. Весь государственный механизм теперь в наших руках! И уж теперь из наших твёрдых рук не вырвать свободы никому!

— Если только, если только… не помешает народная темнота. Ведь народ ненавидит всех, кто носит немецкое платье, воротнички и галстуки.

— А не будет ли противоречий с Советом депутатов? — спросил озабоченно Марк.

Никаких. Всё, что конфликтовало эпизодически, — разъяснилось как недоразумение.

— Больше действовать через прессу! — кричал Эрик Печерский, он немного перебрал в рюмках, и вообще сбивался быстро. — Её голос громок, и она вся теперь заодно. К ней не могут не прислушаться, и она поведёт общество! Русская печать! — на какой недосягаемой высоте она всегда стояла! Мы все говорили с

горлом, сдавленным железной рукой. У всех у нас на памяти — циркуляры, штрафы, запрещения. Мы все воспитаны на подвиге. Нашу эпоху надо воспевать в гекзаметрах!

Но Держановский, неспособный к гекзаметрам, шутливо жаловался:

— Всю жизнь я писал о чёрной сотне. А с кем теперь бороться, господа, дайте тему! Не осталось с кем бороться!

Хорошо продвигались в еде, приобретая с тем и основательность, — Сусанна удовлетворённо озирала стол, более всех довольная. Её радовало пребывать в объёме силы, среди сильных и победителей, больней всего она мучилась прежде, если наблюдала трусливую слабость окружения.

Кажется, и новости уже подходили к концу. Ещё рассказывали о герое журналисте Лисковиче, как говорят (вопреки другой, официальной версии), он с кучкой солдат взял Бутырскую тюрьму (пуля начальника тюрьмы пролетела мимо его головы) — а затем и Пречистенский участок.

А мысли неслись вперёд, развивал опять Мандельштам: что ставши властью, мы больше не нуждаемся в тех забастовках и беспорядках, которыми разлагали прежнюю правительственную силу. Теперь это всё надо прекратить и все силы народа бросить на работу. Укрепить добытую свободу на твёрдом порядке.

И снова Ардов, жалея так зря упустить свою блестяще найденную и так хорошо принятую фразу, накатом через стол:

— Мы теперь — *обречены победить*! Напоминаю вам, господа: идёт война! И если недавно мы могли думать хоть об «условном мире», то теперь мы вынуждены воевать, обезпечивая свою свободу! Забыта усталость, мучительное раздвоение русской души — и снова загорелись наши сердца! Да только теперь и сможет Россия воевать — без раскола, без предательства, без уныния. Настоящая война — только теперь и начинается, вместе с революцией! Друзья! Высшего счастья мы уже никогда не испытаем в жизни: наша вера исполнилась, Россия — действительно великая страна, и это видит весь мир! Этот воздух — нас пьянит. Наши головы кружатся, как кружилась голова у Камиля Демулена, когда он приколол к своей шляпе каштановый листок и крикнул: «В Бастилию!» Господа, мы слишком видим похожесть наших двух революций…

И Сусанна видела! Она — видела и чувствовала, и даже выразить могла бы дальше, глубже и острей, чем подхмелевшие муж-

чины здесь, за столом, — но она не нуждалась выступать вперёд со своим. С неё довольно было, что она эту красоту ощущала, и даже ярче, чем видение Камиля Демулена, — она ощущала всю совокупную красоту Происходящего, в котором действительно можно было умереть от счастья, как в любви.

Стоило жить, чтобы дождаться такого времени!

Тут отозвали её к телефону.

Хотя говорящая назвала себя и можно было голос угадать, но Сусанна с большим трудом оторвала душу, переносилась, всё не могла понять, кто это.

Алина Владимировна возвратилась из Борисоглебска и теперь жалостным, пугливым голосом спрашивала: как с её мужем?

Сусанна всё никак не могла до конца перенестись и сосредоточиться. Она конечно не забыла, что, несмотря ни на какие революции, — главные радости людей или главные страдания их всё равно остаются от сердца. И вот уже — чувствовала она жалость к Алине, особенно при малой возможности помочь. Да, он звонил однажды. Но — не застал. И потом не пришёл.

Уговорилась встретиться с нею завтра, всё расскажет подробно.

Но: самой ей, после этого красного вихря, уже странно было вспомнить: зачем она ездила с этими патриотическими концертами? Какую вину и перед кем она отрабатывала?

471

По тихим долгим зимним вечерам, без стрельбы, без ракет, в землянках певали песни, зубоскалили, подсмехались над кем.

Но в эти дни такое настигло, что ни песен не стало, ни смеха. А лежали батарейцы по землянкам — и разомлевали. В размышлении.

У них как бы нара была земляная, несрытая земля, длиннотою — с сапогами самому долгому, Благодарёву, а по ширине — на семерых. И так лежали они рядом на соломке, от жердяной стенки до жердяной, — головами все в глубину, ногами — сюда, к слазу. Когда потеплей — разувались, когда похолодней — сапог не стягивая, а то валенок. А всего простору было у них — вокруг печки валенки уложить да дрова. И под оконцем — столик манёхонький,

кому когда письмо написать или хлеб разложить, да чайник лужёный стоял, — а обедали на коленях.

Дух стоял жилой, как в избе. А кто смолил цыгарку, то, по уговору, — к печурке ссунувшись и принагнувшись, чтоб утягивало.

Любимое солдатское дело — чай кирпичный потягивать, но и с тем отхлебались засветло. Гасника попусту не жгли, чтобы воздуха не портить, да и керосин бережа, а лежали себе на нарах, хоть и не дремля, да в печурку подкидывали, от неё огонь перебегливый. Сейчас-то — малый совсем, дотухало. Тепло.

Ещё вчера они день целый перетаптывались, домекивали: как же это царь так сразу и сплоховал.

И как без него устроится?

— А ведь невредный был у нас царь, робята.

И как с мальчонкой-наследником, неужто вовсе обойдут? И так доводили:

— Кто-ндь да будет вместо, как это без царя?

— А вот каков новый бу-удет!..

Вечерами, вчера да и сегодня, — как легли в землянке навзничь — так будто их возом сена опрокинуло и накрыло. Опрокинуло, а не придавило: ворох-то весь живой, разбережливый, разборный, если руки приложить, приложить.

Разбирали.

Больше — про себя каждый: у всякого ить своя избушка, своя семьюшка, и как это всё у нас — другому не передашь.

Почему и похоже на сенный воз: оглушило да не раздавило. И потянуло — запахом родным, луговым.

Жаль-то жаль без царя, но и раздумались батарейцы: а ведь это, браты, так просто не обойдётся, не. Ежели царя не стало никакого — то кто ж будет войну теперича направлять? Выходит — никто? А она сама идти не может.

Так не иначе — будет замирение?

Уже вчера к вечеру они стали это смекать, а сегодня всё боле их разбирало. Вот и сейчас, лежали в тёплой тьме, привычными боками на бугроватом ложе, да на спину опять, да — перед собой во темь, свои картины угадывая. А от времени к времени кто и выскажи:

— Не, браты, так не пройдё. Знать, замиренье будет.

Правда, толковали днём офицеры, ещё новый опять приказ Николай Николаича — мол, всё для пользы войны.

Да так оно так — а Николай Николаич не царь, великий князь всего лишь. И как ему скажут — так будет, не он располагает.

И Ясенков нетерпёжный, от молодой жены оторватый, сам-то ещё мальчик розовый, как просит у старших:

— Мужички, а ведь будет замиренье?

И не сразу, через молк, Завихляев ему отпустит как из бочки бородяной:

— Бу-у-дя. Теперь — будя.

И чем боле Сенька думает — тем душистей ему запах луговой, тем живей и возвратней — родная Каменка. И так это во теми перед глазами раскрытыми взыграет — как будто уже и дома. Ведь — заложил он Катёне с осени третьего, стыдливо в письме помянула: середь лета ждёт, месяцок за Петров день — значит, к Пантелеймону.

В саму страду — и рожать, ну!

Однако и не мыслил, и не бредил Арсений прежде того времени её повидать, ещё когда, когда! А теперя — если замирение, да по домам распустят? Ещё брюхатенькую её застать, сладость-то какая — на живот ей руки класть и слушать, как ножкой в стенку постукивает.

Те двое — без него родились. Этого бы — при нём!

Разживилось, ах, разживилось, распёрлось чувство домашнее, — да как же близко вдруг руками объять — и Катёну, и Савоську с Проськой, и работу отцову.

Соображал Сенька: а какой порядок дел у бати сейчас в хозяйстве? чего сейчас ему первей всего делать надо?

Воротиться бы — да зажить на своей земле. Да ещё добрать бы землицы — от Вышеславцевых али от Давыдова. Простору бы!

Чу! Идёт кто-то. Так закружился Арсений, что не сразу опять в землянке себя узнал. А — идут по земляным ступенькам вниз.

Дверь торкнул — а голос скрежеватый, Сидоркина:

— Во, братцы, чего я слышал.

— Ну, чего?

Сидоркин меж их ног уже сел.

— Дверь-то придавил?

— Вот чего я, братцы, слышал. С перевязочного Васятка пришёл — так там сестра милосердия рассказывала. Слышьте, из царского дворца из царицыной комнаты — нашли секретный прямой кабель в Берлин. И по нему она Вильгельму все наши тайны выговаривала.

Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!

И про Гренадерску нашу? А мы тут лежим, ничо не знаем.

Ну, дела-а-а.

— Да ведь немка она, сердце к своим и лежит.

— Да-а-а, — потянул Арсений. — Да-а, братцы. Теперь-то — не иначе замирение будет. Некуда деваться.

472

Итак, явились.

Как ни желал бы Гучков совсем их не признавать, отменить, вымести из реальности прочь, — они существовали и явились. И расселись в его кабинете.

Гвоздев — один тут был исконный рабочий, имел право прийти от Совета рабочих депутатов. Ну, ещё вот глупейший солдат с залихватскими усами и непонятным бубонным выговором, ну, ещё он — от солдат. Но кого других тут подсунули вместо народа?

Морской лейтенант, сидевший в его же Военной комиссии, — вот, пришёл от той стороны. (Выгнать его из комиссии.)

У Гучкова повторилось в груди то стеснение, когда на лужском вокзале он должен был заседать с какими-то развязными полуучками-автомобилистами, игравшими собою в Народ.

Ещё Скобелева тут — он знать не знал, но и не́ не знал, так, отдалённым очерком, всё же член Государственной Думы, невыразительный болтунишка с крайней левой скамьи. Но вот этот присяжный поверенный Соколов, с чёрной щёткой упругой бородки, перекатчивый, как шар, и что-то очень весёлый, слишком не к месту, — к чему и почему здесь он, пришёл обсуждать военное дело? И ещё более почему — вот этот дюжий Стеклов-Нахамкис, по фигуре — главный в делегации, да и в кресле вразвалку как главный, и европейский покрой костюма. Значит, пересидел войну благообразным корректным господином, и вдруг — подброшен революцией. И вот расселся властно разговаривать с военным министром о судьбе армии, да с апломбом военных суждений, как будто он старый кадровик, а министра принимая как бы за дурачка, да ещё же в агитационном духе: что армия царизма была вооружена и организована только для подавления рабоче-крестьянского движения, солдаты стонали под игом безчеловечной и про-

тивонародной дисциплины, а «приказ № 1» восприняли как освобождение от гнусных сторон милитаристского ига.

Такой *façon de parler* настолько, кажется, уже был у них принят, что не казался смешон и не мог быть оборван как неприличный. И через колючки этого мурлыжного агитаторства надо было вести деловой разговор, — да может быть самый важный разговор всей этой революции.

А рядом с собой Гучков не мог посадить такого прямого отрубистого генерала, как Корнилов, ибо всё испортит.

Но Скобелев? — ведь всё-таки же член Думы и сиживал в одном зале с людьми? К тому же только что вернулся из Гельсингфорса, видел тамошние убийства, видел, но тела убитых не зазеркалились в его пустых зрачках. Болтал, что матросы и солдаты потом проявили сознательность. И подкручивал веретенные усики.

На Скобелеве значилась глупость как бы прибитого, а из Соколова пёрла глупость пустозвона, он всё время старался говорить, всех перебивая, даже и Нахамкиса. У него бумажка была в руках, и он с неё читал. Сперва отрывки из какого-то ещё нового «приказа № 2», которым они в Совете очень гордились и сегодня уже разослали по всей армии.

То есть как по всей армии?? — подкололо Гучкова. — Каким образом?

А с военной радиостанции в Царском Селе.

И радиостанция не удосужилась спросить разрешения министра, а Совету сразу подчинилась!?

Сбитый неожиданностью, Гучков со слуха плохо воспринял суть этого нового приказа, кажется, в чём-то они, слава Богу, отступали от «приказа № 1»? Но Соколов не давал ему ни усвоить, ни отдышаться, а с той же бумажки читал требования Совета к военному министру: собственным приказом министра подтвердить… А не только малую часть, как это он сделал в приказе № 114… И особо отменить — всякое отдание чести. И…

Что, что? Так Гучков ещё мало сделал?! Он выдавил из себя столько в поддержку этого разбойного проклятого «№ 1» — и всё мало?? Они не давали ему проигнорировать их штатское идиотское в форме «приказа», — нет, он должен был теперь *от себя* подписать и издать их идиотство! Они не допускали даже ничьей, нейтралитета, — но должен военный министр первым же приказом уничтожить всю армию — а затем вести войну.

Впрочем, и о войне у Нахамкиса был припасён лозунг:

— Самая гнусная изо всех войн, известных в истории.

И — нагло улыбчато, лицо подплывшее, щурился на военного министра, как на прихваченного прищепкой, рассматривал его с любопытством, любовно припоглаживая бороду. Он — один изо всех них был, не скрывающий ощущения торжества от власти. Он и в кресле полубархатном сидел не просто, а — попирал его объёмистой спиной и задницей.

— …и, — продолжал Соколов с бумажки, — создать третейские суды для разбирания споров между солдатами и офицерами…

Споров между солдатами и офицерами?

— …и установить для офицеров по всей армии — выборное начало!

Вот с чем они пришли!

Метнул Гучков на Гвоздева. Но тот — вслух не говорил, такие всегда молчат. Забит он был среди них, и союзником тут не сослужит.

Союзников — не было. Совет рабочих депутатов припирал Гучкова к стенке.

Но полыхнула в нём его бешеная неукротимость, из лучших движений жизни, он их любил в себе, тот гнев, который выносил его в высших речах, бросал в дуэли, и с председательской кафедры Думы — да в Монголию! Он встал — и с силой хлопнул приотворённой дверцей письменного стола. Дверца ударила — и связка ключей звякнула на пол. А сам Гучков схмурился на Нахамкиса и повелительно крикнул:

— Садитесь на моё место! Командуйте! — На Соколова: — Или вы? И сами с собой ведите переговоры!

И вторую дверцу прихлопнул ногой.

Пошёл к задней двери, а ею хлопнул уже наотмашь.

Никто не успел ничего ответить, смолкли.

В кабинете был адъютант, он подобрал ключи и пришёл вослед Гучкову в заднюю комнату.

— Нет, вы заприте тумбочки и средний ящик прямо при них, это компания такая, не стесняйтесь!

Нет, надо было самому ключи поднять и в морду им кинуть. Потому что вызвать на дуэль из них никого нельзя.

От этого хлопанья сразу как будто спали все тяжести. Что его так держало, что он так вяз среди них? Да пошли вы к чёрту! Одно действительно достойное движение — швырнуть всё и… Выгнать их всех из парадного на Мойку, и…

И что?

В гневе ходил по небольшой комнате.

По гордости, по непростимости старого дуэлянта ни за что бы больше слова с ними не сказал!

Но. Он вспоминал, какая слякоть всё Временное правительство. Ведь не было сильных смелых людей, и если сейчас он разорвёт — то все отшатнутся.

И поддержки всей большой Армии Гучков тоже не чувствовал. Ещё не научился ощущать Армию как часть себя. На это нужно время. Нужна поездка на фронт.

Вот прихватили революцией так прихватили…

Вот опоздали с переворотом так опоздали…

Ни сил, ни союзников. Вся поддержка — поток восхищённой либеральной и бульварной прессы двух столиц. И всё.

Устоять — не на чем, и он во власти *их*.

Из кабинета в дверь постучали.

— Да, войдите!

Вошёл Гвоздев. С очень виноватым видом, как будто он главный и нахамил.

— Да что ж, Алексан Иваныч, — пробурчал глуховато. — Не сердитесь, они подберутся. Обстановка, знаете, новая, все не у места, все ерепенятся…

Ах, этому хозяйственному Кузьме — да командную бы волю! Но и в Рабочей группе вертели им социал-демократы, и здесь. Почему у хороших людей настоящей силы нет?

Смотрел прямо в его виноватые соломенные глаза.

— Как же так, Кузьма Антонович, но вы понимаете, что армия так не может существовать?

— Ничего, Алексан Иваныч, не мутясь и море не становится. Погодите, всё уставится. Воля буйная, всех тянет… На заводах то же… Уставится.

И тёплые глаза его это обещали. Да может и правда? Воля буйная, раззудись плечо. А потом уставится. Опомнятся. Не сумасшедший же наш народ.

Уговорил Кузьма Гучкова вернуться в кабинет. Да ничего ему и не оставалось. Но возвращался он туда в более сильной позиции, чем вышел? или в ослабленной?

Соколов — уже без весёлости, дулся. И Нахамкис не так развалился, ровней сидел.

Смотрел на этих делегатов и удивлялся: неужели эти все годы они велись на одной с ним родине? Прожил Гучков 55 лет, имел соперников и врагов, но всё среди имён названных, которые вместе с ним и составляли как будто Россию. А вот, достигнув высоты министерского кресла, должен был считаться не с теми со всеми, а с этими новоявленными мурлами. Вот это и есть революция: иметь дело с неравными, низкими для себя.

Нет, нельзя давать пути своему презрению. Гучков не мог их сломить, не мог своею властью отменить уже растекшийся «приказ № 1», это ничего бы не дало, а только сделал бы себя смешным. Оставалось — убеждать и настаивать, чтоб это отменили они.

Стал убеждать. Аргументы его были простые и верные, но на какую почву падали? Что он ручается: офицерство не может стать орудием реакционного переворота. Офицерство — служит родине. Но оно не может служить, если из-под него выбита почва. Если на каждое офицерское распоряжение требуется санкция выборного солдатского комитета, а то и Совета рабочих депутатов.

Нахамкис перебил: то есть — единственной власти, вышедшей из недр революционного народа!

Из недр не из недр, — но перестаёт существовать армия, если офицеры не распоряжаются оружием своей части. Армия становится опасна не для врага, а для собственного населения. «Приказ № 1» должен быть немедленно отменён как безсмысленный. Или, альтернативно, объявить, что армия распускается по домам, — это во всяком случае будет безопаснее для страны. «Приказ № 2»? — ещё раз давайте посмотрим, я плохо уловил.

Ещё раз читали и смотрели соколовскую бумажку. Офицеров не избирать? — но кого избрали, пусть так и будет? А чья это комиссия решает выборность офицеров? — мы ещё с ума не сошли. Комитеты могут возражать против назначенных офицеров? Нет, это балаган, а не армия. Такие исправления — хуже того первого «приказа», там о выборности офицеров ничего не говорилось, а тут — и о ней. Нет!

Глупый усатый солдат Кудрявцев сидел, раззявя губы.

Неглупый лейтенант Филипповский — молчал. Ну скажи же, ты понимаешь! Что за порода людей.

И в холоде почувствовал Гучков, что эту обрушенную кучу хлама — сдвинуть не может.

Потому что: распустить армию — это не была угроза для них. Они охотно могли войны и не вести.

Уйти в отставку? — не решение: развал и пойдёт гулять по армии. Но это был приём, который их озадачивал: они не представляли, чтобы «буржуазный» министр не держался за пост. И не знали, не умели, кого бы сюда поставить.

Так, угрозой отставки, немного их отодвинул. И настаивал с новой энергией: отменить «приказы» и № 1 и № 2.

А — какие реальные реформы взамен того произведёт военный министр? Пусть проведёт своим приказом все солдатские права.

Многого хотите! Вот, создана комиссия генерала Поливанова, заседает и сию минуту, хоть пойдёмте туда. Будет произведена чистка реакционных генералов. Комиссия постепенно всё изучит и всё устроит, что можно.

— То есть так, чтоб устроить всё по-новому, а оставить всё по-старому? — опять зубоскалил Соколов.

Гвоздев стал высказываться в пользу армейского порядка.

А Нахамкис, для того ли чтоб инициативы не терять, приплёл сюда распоряжение Алексеева разоружать банды на станциях и судить военно-полевым судом. А это — не банды, а революционные ячейки, и дело их — передовое дело революции. Так — уже ли отменён приказ Алексеева? И: будет ли отменён приказ Николая Николаевича?

(Ка-кой? Этот безудержный великий князь за три дня намахал несколько приказов, какой же там из них? Сам Николай Николаевич был уже отвергнут и обречён, но унизительно говорить здесь, этим.)

Дай им волю, они отменят и все армейские приказы, и всех нас.

А пойти с ними сейчас на компромисс — значит уже навсегда открыть право Совету вмешиваться в дела военного министерства.

И, в новом варианте своего ухода, Гучков поднялся с лицом отречённым, по возможности безразличным, и объявил, что он — уже сказал всё, что мог, и оставляет их без него рассмотреть его… предложения. (Однако не выговорил язык назвать их требованиями или условиями.)

И, оставив делегатов, вышел в ту же заднюю комнату, но уже без хлопанья.

Гучков понимал, что — не пересилил их, не хватило его напора, завяз. Истратился в споре, обезнадёжел.

Слабость своей стороны поражала его. Никогда прежде ему не рисовалось, что с первых же дней он окажется в таком безпомощном переклоне.

Где же в России те люди, которыми стоит великая страна? Великая, великая, а на любое дело начни скликивать — и нет никого. Загадка русского характера!

Пришёл адъютант, звать Гучкова. Сказал: уже все были согласны отменить и «приказ № 1» и тем более «№ 2», лишь бы неконфузно для Совета, — но Нахамкис остался непреклонен и преградил.

Всё же. Всё же надо было ещё торговаться — и что-то взять.

Ну, пусть ваши «приказы» остаются, но только для петроградского гарнизона. (Уж тут погибло, не удержать.) Опровергните: они не относятся к фронту!

(Как будто сегодня между тылом и фронтом можно провести чёткую границу…)

Согласимся, если военный министр как можно скорей проведёт новые отношения офицеров и солдат.

Отступать было неизбежно. Вопрос — докуда. Реформировать армию — Гучков же и сам собирался. Распустить комитеты — уже нет сил ни у кого в стране. Теперь задача: нельзя ли их обуздать?

Да. Такой приказ будет составлен. Да, будет представлен Исполнительному Комитету на утверждение. Но — ограничьте же и вы «приказы» № 1 и № 2.

Наступал малый дух примирения. Выразил и Нахамкис, что они, собственно, и приехали — установить нормальные отношения, а не ссориться. Стало обсуждаться: а нельзя ли распутать это всё единым общим воззванием, чтобы подписано было обеими сторонами?

Смотря что написать.

Совету надо: декларировать о победе над старым режимом. Что к старому режиму возврата не будет.

Это — так и есть. Это — можно, хорошо.

Дальше пусть: рознь между офицерами и солдатами может помешать укреплению свободы.

Это — очень хорошо.

Офицеры, признавшие новый строй России (а других и помыслить нельзя, и терпеть нельзя!), пусть проявят уважение к личности солдата-гражданина. А уж если офицеры этот призыв услышат,

то *приглашаем* и солдат: в строю и на службе выполнять воинские обязанности. Вместе с тем Исполнительный Комитет сообщает, что Приказы № 1 и № 2 не относятся к армиям фронта, — для них военный министр обещает быстро разработать правила отношений между солдатами и офицерами. (Разработать, разумеется, в согласии с Исполнительным Комитетом.)

Не уволился. Не выгнал. И вот, незаметно, — соглашался с ними.

А может быть — не так уж и плохо? Что-то всё-таки отвоёвано.

Только вот *подписывать вместе* с Советом — Гучков не мог! Слишком омерзительно.

Подпишут — от Военной комиссии. И можно указать: воззвание составлено по соглашению с военным министром.

«Приказ №3»?..

Испытывал Гучков истощение. Изнеможение. Уныние.

****

ЗАРУБИ ДЕРЕВОМ НА ЖЕЛЕЗЕ!

****

473

Ничто, наверное, не может сравниться с состоянием человека, который всю жизнь томился по своей прирождённой деятельности, а деятельность изнывала без него от обсевших её бездарностей, — и вот наконец они соединились!

Так чувствовал себя Милюков на посту министра иностранных дел — не случайно его заняв. Революция обязана своей победой отнюдь не стихии, но Государственной Думе и Прогрессивному блоку, которые подготовили атмосферу переворота и дали ему свою санкцию. Гневное народное движение долго вели и выве-

ли — Дума и Блок, а их вёл Милюков, — и вот законно вышел на своё новое положение.

Как-то молодеешь сразу на десять лет. Насколько бодрей и уверенней всё видится!

Наконец-то, после стольких лет, да может быть вообще впервые в своей истории, Россия перед просвещённой Европой могла не стыдиться своего высшего дипломатического представителя: он был европейского уровня. Наконец-то было кому достойно и равно объяснить Европе всё происходящее в России и перспективы её. С сердцем, открытым для союзников, преданным и искренним, но и с пониманием глубоким объяснить им этот как бы загадочный, как бы неожиданный взрыв: страна измучилась от неумелого, дурного ведения войны и воспряла против него. Высшее чувство народа и армии — продолжать эту войну до полной победы совместно с верными союзниками!

Приходили первые европейские газеты с откликами на революцию — и Павел Николаевич с большим удовольствием прочитывал долгие колонки восторгов: наконец-то в России у власти стали передовые умы!

Наслаждение вызывала у Павла Николаевича вся плавная, респектабельная внутренняя процедура министерства иностранных дел — и не намеревался новый министр менять этот отличный порядок. Менять лиц? Но большинство тут к месту. Есть, конечно, и штюрмеровские ставленники, с этими постепенно разобраться и очистить. (Только не мог Павел Николаевич отказать себе в удовольствии немедленно отчислить нашего посланника в Швейцарии Бибикова, который прошлым летом невежливо обошёлся с лидером Прогрессивного блока, когда тот гостевал в Швейцарии.)

И большое наслаждение испытывал Милюков от общения с послами, особенно с английским и французским, своими давними искренними друзьями. Сэр Джордж Бьюкенен по убеждениям и симпатиям так просто был как член Прогрессивного блока, разделял негодование, как ведутся в России дела, и пожелания реформ. Милюков и другие думские лидеры минувший год частенько посещали английское посольство и чувствовали себя тут вполне посвойски.

И в эти дни, хотя официальное признание новой России державами несколько задерживалось, тут неизбежна дипломатическая инерция, — встречи с послами приятнейше происходили. Французский посол Палеолог даже приходил в Таврический — тре-

бовать декларации верности союзникам. Отдельной декларации? В этом пункте союзники проявили понятное безпокойство, но и может быть маленькую нервную безтактность, с несколько избыточной энергией опережая и настаивая, что мало будет выразить *надежду* на продолжение военных усилий, надо их *гарантировать*, и публично повторить о прусском милитаризме, об общности союзных целей, как это делалось при старом правительстве.

— Но вы не представляете, — пытался возражать ему Милюков, — как нам трудно с нашими социалистами. Ведь мы не можем идти с ними на разрыв, иначе будет гражданская война.

Француз не представлял и не понимал: их-то социалисты все поддерживали войну.

А сэр Бьюкенен в эти дни не выходил из дому, по простуде, и при устоявшихся личных дружеских отношениях Милюков счёл вполне допустимым вчера самому посетить посла. Бьюкенен откровенно говорил, что есть соображения, замедляющие шаг признания Временного правительства союзниками. Прежде чем сделать этот шаг, британское правительство должно получить уверенность, что новое русское правительство готово продолжать войну до конца и восстановить дисциплину в армии.

Ах, кое-чего не видно и с европейских высот. Дисциплина в армии не могла же не расшататься, если этим путём только и совершён переворот. Это — эпифеномен революции. Но это расстройство — временное, и аффрапирующее поведение солдатской массы уже сглаживается. Что же касается целей продолжения войны — вот, министр иностранных дел твёрдо и ответственно заверяет английского посла, что война будет продолжаться *in optima forma*. Однако он просит сэра Джорджа иметь в виду, что в публичных заявлениях о войне правительство должно соблюдать исключительную осторожность — ввиду крайних левых.

Да сэр Джордж и сам глубоко уверен в благоприятном результате русской революции для общего союзного дела: поскольку революция пошла сверху — анархии не должно возникнуть. Окрылённый гражданской свободой, русский солдат сумеет постоять за демократические начала всего мира. Самодержавный реакционный режим никогда не внушал английскому правительству симпатий. И всё же дипломатическая осторожность требует подождать от нового правительства совершенно недвусмысленных заявлений о продолжении войны.

Неофициально беседовали и о будущем государственном строе России. Милюков полагал, что монархия ещё не совсем потеряна. — А отчего же такие крайности, вот уничтожают императорские эмблемы? — Ну, потому что надо дать удовлетворение народному сознанию, поэтому арестовывают и министров. Но монархия типа английской — это лучшее, что можно предложить для России. Милюков надеется, что Михаил своим благородным отказом приобрёл большие шансы снова быть избранным в государи.

Ещё менее официально — об ушедшем царе. Дело в том… что́ с ним делать? Он теперь повисает на Временном правительстве обузой. Он, очевидно, будет просить убежища у английского короля. Это усматривается из его просительных пунктов, которые генерал Алексеев передал из Ставки: пока пребывать в Царском Селе, до выздоровления семьи, а затем право выезда через Мурман. И, сказать откровенно, для Временного правительства это был бы самый лучший выход: не охранять, не защищать от левых. Никому абсолютно не нужный и абсолютно безвредный, уезжал бы он, право, в Англию, и снялись бы сразу многие проблемы, Временное правительство могло бы двигаться свободней. А в Англии, под сенью мощной демократии, он стал бы беззвучным частным лицом. Мы были бы крайне благодарны, если б английское правительство… Что думает сэр Джордж?

Сэр Джордж, худой, седоватый, с красным лицом, очень английским и очень энергичным, уже думал об этом, разумеется. Да, он полагает, что король Георг пригласит своего двоюродного брата. Сэр Бьюкенен судит отчасти потому, что, вот, у него в руках — телеграмма от короля Георга к сверженному Николаю. У посла есть физическая возможность переслать её в Ставку через английского военного представителя там. Но сэр Джордж… стал испытывать сомнения: удобно ли передавать такую телеграмму сверженному монарху в обход нового правительства?

И он считает, вот, наиболее правильным — предложить её передачу министру иностранных дел.

М-м-может быть и наиболее правильным, но не слишком радостным для Павла Николаевича. Обстоятельство з-з-затруднительное.

А что в ней?

«…События минувшей недели очень расстроили меня. Мои мысли неизменно с тобой. Остаюсь навеки твоим верным и преданным другом, каким, ты знаешь, я всегда был…»

Всё так, и это замечательно. К счастью, она политически неопределённа. И подаёт надежды на приглашение — однако, заметим, самого приглашения нет…

Всё так, и замечательно, но предпочёл бы Павел Николаевич этой телеграммы не видеть. Не знать. Не взять. Элиминировать, как бы вообще не существовавшую. Потому что: если о передаче такой телеграммы станет известно, а станет известно, Совету рабочих депутатов… Слова сочувствия короля Георга могут быть в революционной России ложно истолкованы…

Между двумя дипломатами и старыми приятелями, впрочем, всё понятно.

Что в телеграмме нет приглашения, сэр Джордж, разумеется, отлично видит. По реальности английской обстановки это… это предприятие весьма рискованное. Настроение левых членов парламента… И не последний вопрос: кто же будет его в Англии содержать?

Ну, это — не проблема, бывший император, вероятно же, имеет достаточные личные средства. Во всяком случае, официальная просьба: чтобы сэр Джордж позондировал в Лондоне относительно британского убежища бывшему царю.

Хорошо, немедленно будет послан шифрованный запрос.

На самом деле обстоятельства складывались ещё более вынужденными и спешными, чем Милюков мог выразить послу, опасаясь создать у него неблагоприятное впечатление о своём правительстве. Отъезд бывшего императора в Англию если производить, то надо было не то что в неделях, но в часах. Уже знал Милюков, что происходит негласное давление Совета через Чхеидзе на Львова: всю династию Романовых арестовать, не то Совет депутатов произведёт арест сам!

Труднейший вопрос. Давно ли с Советом депутатов заключили полюбовное соглашение, и там не предвиделись подобные ультиматумы. Но вот Совет клал свою тяжёлую руку вне всяких соглашений — и не было такой устойчивости у правительства, чтобы остаться нечувствительным.

Труднейший вопрос. Он не выносился пока ни на открытое заседание правительства, ни даже на закрытое, когда ночью оставались одни, — но обсуждался конфиденциальным образом, и в первую очередь, конечно, между князем Львовым и Милюковым.

А сегодня перед вечерним заседанием правительства князь в своём кабинете наедине скорбно пожаловался, что давление Сове-

та продолжается, они непримиримы, и князь не видит, как можно было бы устоять. Даже заикнуться невозможно им о какой-то отправке в Англию, он и вымолвить так не решился им. А разговор идёт: почему император не арестован до сих пор? И даже отпущен в Ставку, где он может злоупотребить своей свободой.

Ай-ай… А ещё ж задержали шифрованную телеграмму от царя к царице, хотя он может быть только нежности шифровал. Так тем более теперь безтактно и опасно пересылать царю телеграмму Георга. Да, держать бы царя тут под боком, в Царском Селе со своим семейством, — и отсюда, как только придёт согласие английского правительства, их можно было бы быстро посадить на корабль либо переслать через Швецию.

Но Совет настаивает на ответе, и нельзя дальше его не давать, князь уже не может дальше оттягивать.

Нисколько не был Павел Николаевич кровожаден и не желал он такого оборота революции, уже багрово потягивающего на свой французский аналог, — однако и… однако и… что же было делать? Не становиться же в конфликт с Советом в этом самом невыгодном, невыигрышном вопросе, на котором не соберёшь ничьих сочувствий.

— Что ж, Георгий Евгеньич… Что ж… Придётся… как бы арестовать. Да и препроводить в Царское Село. А там посмотрим. Что ж, распорядитесь.

— А вот, Павел Николаевич, Керенский поедет сейчас в Москву — я думаю, он прозондирует и настроение Белокаменной, куда склоняется чаша весов?

Да этот попрыгун разве прозондирует?

На заседаниях правительства старался присутствовать Павел Николаевич ежедневно — не потому, что были у него какие-то вопросы, могущие только тут быть решёнными, — его-то вопросы все решались в пределах его министерства, — но для самого правительства, для авторитета его, чтобы придать ему вес, ибо Милюков здесь самая значительная фигура, — а без него тут и пустынно бы выглядело. Да и в чём-нибудь могут сильно ошибиться.

Однако, присутствуя, он почти все часы молчал — как бы даже не в кресле, а паря над этим столом заседаний, весь переполненный, как хорошо идут дела в его собственном министерстве, как достойно и умно он представительствует Россию и как прекрасно будущее России в победоносной теперь войне, и даже в забытьи рисовал себе картины будущей мирной конференции.

А вопросы на заседаниях бывали удивительно мелочные, особенно у Некрасова, который сутяжнически изворачивался, как бы вырвать больше в пользу своего министерства и своих. Вот и сегодня клянчил назначить к нему, кроме уже имеющихся двух товарищей министра на ставках, ещё и двух комиссаров Думы на правах товарищей министра, а так как ставок больше не было — то с суточными. (А едва разрешили ему — встал вопрос: почему же нельзя другим министрам, стали просить и другие.) Три дня назад он первый торжественно объявил, что упраздняет всякую охрану железнодорожных сооружений, — а теперь обнаружил, что объекты сами собою не охраняются, — и просил правительство предоставить некоторым служащим права по охране. Но вводить в нынешний момент новые правила охраны выглядело бы реакционно.

С сожалением давно уже видел Милюков, что этот его кадетский левый лидер — даже просто глуп (не говоря, что интриган и неискренен). Но уже выдвинутого в партии на видное место, и вот теперь в правительстве, — обречён был Павел Николаевич не осаживать, но поддерживать. Интересы кадетской партии не могли забываться: это оставалась в России единственная несоциалистическая партия (всё, что правее кадетов, было снесено февральским потоком и исчезло). И от неё — пятеро членов были в правительстве, но порадоваться сотрудничеству с ними Милюкову не предстояло.

Скучнейший Коновалов выкатывал на заседание правительства всю программу, как широко и последовательно он думает уступать рабочим — в длительности рабочего дня (хотя в войну можно бы и поработать), в страховании, в легализации стачек, — а ещё раньше того объявить обо всех уступках публично, чтоб успокоить массу.

Шингарёв — никак (и никогда) не мог преодолеть в себе ограниченности провинциального интеллигента, вот теперь вяз в дебрях продовольствия, как раньше в финансах, и предлагал совершенно невозможную, оскорбительную для союзников меру — отказаться от обещанных Англии поставок пшеницы. Так что Милюкову пришлось вмешаться и указать на полную недопустимость.

Мануйлов? Но что говорить о Мануйлове? Его посадили на просвещение всего за то, что когда-то он пострадал от властей. И вот теперь только и мог он просить назначить ему сильного товарища — да субсидий.

Ещё только один кадет-умница был в комнате — это Набоков. Уже не удалось вставить его в министры, но удалось сделать его управляющим делами правительства, на самом деле весьма важная должность: он руководил штатом секретарей, вёл и сам главный протокол, всегда присутствовал на всех заседаниях (и оставался на секретные). Он был действительно единомышленник, европеец, постигающий все проблемы, — и Милюков, никем среди министров не понимаемый, с удовольствием оглядывался в его сторону, на узкое с усиками всегда настороженное лицо, острые умные глаза или след язвительной улыбки.

Вот — и улыбки по поводу воззвания, написанного Винавером, а Мануйлов с гордостью читал перед министрами:

«Свершилось великое! Могучим порывом… Моральный распад власти, погрязшей в позоре порока… Временное Правительство считает своим священным долгом осуществить народные чаяния… И верит, что дух высокого патриотизма окрылит наших доблестных солдат… Только в дружном всенародном содействии…»

Милюков и Набоков иронически переглядывались. Набоковский вариант был суше, деловей и короче. Винавер и многословен, и отстаёт от событий, живёт прежним, опять что-то много и некстати о 1905 годе и, конечно, о Первой Думе, в которой состоял он сам. Ну пусть, не из-за этого же спорить, и не раскалывать фронт кадетов.

Приняли.

Протеже князя Львова нудноватый безцветный Щепкин пока прекратил всякую почтовую и телеграфную цензуру. И очень просил кредитов, кредитов для комитетов и комиссаров на местах. Решили дать.

Ещё одна невыразительная бледность — государственный контролёр Годнев, докладывал, что Совет рабочих депутатов настаивает прислать в государственный контроль и держать там своих представителей — следить за расходом государственных средств.

Министры не только одобрили, но даже обрадовались: великолепно. Это может разрядить тягостную обстановку с Советом. А финансовых сокрытий у правительства не предвидится никаких.

А ещё же были и церковные дела, в этой стране попавшие в сферу правительственную, ну, тут надо терпение. Мрачно-горящий Владимир Львов с отчаянной решимостью (и очень похожий на лающего полкана) стал докладывать о мероприятиях, необходимых к оздоровлению церкви, и просил поручить ему же предста-

вить (ещё их не было у него!) соображения: о преобразовании прихода, о переустройстве епархиального управления на общественных началах, о восстановлени деятельности Предсоборного присутствия…

Да, какую-то кость надо было кинуть и православию.

Тут уже не первый раз коснулись, что надо тактично использовать народные верования для укрепления воинской службы. То есть, иными словами, составить новый текст воинской присяги или, если хотите, клятвенного обещания вместо старого императорского. Да поручить Гучкову… Да нет его до сих пор.

Уже они два часа просидели, а Гучкова всё не было! Довольно невежливое неглижирование коллегами, хотя можно представить, что и погряз в делах.

Сложные отношения оставались у Павла Николаевича с Гучковым. Рационально понимал, что Гучков ему здесь — единственный реальный и стоющий союзник. Но столько прежних обид между ними стояло, недоброжелательств, что тяжёл был поворот к нему сердца.

А вместо Гучкова влетел тоже сильно опоздавший Керенский. Уже про него полагали, что он совсем не придёт: вчера вечером постановило правительство, что не кому, как Керенскому, по его экспедитивности, надо ехать в Москву — разрядить некоторое тревожное там и соревновательное к Петрограду настроение. Через несколько часов ночным поездом он уже должен был и уехать. А вот — ворвался!

Ворвался — почти безумным порывом, как если б все на иголках тут сидели до него, только и ждали, ворвался — успокоить, обрадовать, бегом от двери к креслу. И, мало смеряясь, что, может быть, какой-то другой вопрос тут обсуждали, может, кто-то имеет слово, полузадыхаясь и освобождённо сказал:

— Привёз, господа!

И свалился в стул, отдохнуть минуту.

Даже и загадочно было: что ж такое он мог привезти? Ещё одно отречение? Но уже все отреклись, кто мог.

Уж здесь, в правительстве, мог бы он оставить свои актёрско-истерические повадки и вести себя по-деловому. При клоунском поведении ещё эта нескрываемая заносчивость и самовлюблённость стали Милюкова сильно раздражать. Даже особенно по темпу, по этой дергливости раздражал его Керенский: раньше, борясь за власть, Павел Николаевич и сам бывал нервен. Но теперь, до-

стигнув кормила, прилично было вести себя солидно, соответственно высокому положению в огромной России.

А Керенский получил-таки внеочередное слово и, захлёбываясь, всё так же радуя и радуя коллег своим присутствием, самим собой и своими свершениями, быстро доложил — и перед собою тряс листами: проект указа об амнистии! (Той самой светлой желанной Амнистии, которой требовали они во всех четырёх Думах как главного народного блага, — а вот в какой фиглярский момент и с какими ужимками пришла она.) Больше — для политических, но с приманчивой добавкой для уголовных: тем уголовным, которых стихийно освободил из мест заключения сам народ, — если они теперь добровольно явятся, будет сброшена половина оставшегося срока. А также сократится срок и тем уголовным, которые сами не освободились, — чтобы в тюрьмах не возникло недовольства и взрыва.

И когда оставалось министрам всего только кивнуть согласием препроводить указ об амнистии в правительствующий Сенат для опубликования, а Керенскому оставалось жаворонком взвиться — и на поезд, — в этот самый момент дверь открылась — и медленно, тяжёлыми ногами, вошёл хмурый Гучков.

Вошёл — так занятый мыслями или так больной, что даже вида извинения перед присутствующими не придал себе. Втащился — всё напротив Керенскому — так медленно, так трудно, что мог бы, кажется, и до стула не дойти.

Дошёл, сел. И печально подпёр рукой свою отяжелённую голову.

Недоумевали, поглядывали.

Но воздух занят был трелями Керенского, он звеняще говорил о своей поездке, как он всё хорошо сделает. Потом зачем-то огласил приветствие Временному правительству от чинов своего министерства. И вдруг, не спрося разрешения, или так быстры и понимательны стали его взгляды на князя Львова, — с тем же рыжим новым портфелем, облегчённым от листов амнистии, — выпорхнул — и был таков. На поезд!

Но присутствовал теперь Гучков — и пользовались этим. Вот, Александр Иваныч, относительно проведения новой присяги. Вот, Александр Иваныч, необходимо отдельное обращение к солдатам и офицерам русской армии. Вот, Александр Иваныч…

А Гучков сидел всё с тем же мрачным неприятием или непониманием, или ещё неприсутствием? (Это была, по сравнению с Ке-

ренским, другая крайность неприличия, которую Павел Николаевич также осуждал.)

— А что? — спросил он глухо. — Керенский — скоро вернётся?

Саму фамилию произнёс с пренебрежением.

— Александр Фёдорыч в Москву уехал, — ласково-зазывательно, особенно к Керенскому ласково, объявил князь Львов. — Вернётся — послезавтра утром.

— Только? Как это? — очумело смотрел Гучков. — А вопросы не ждут.

— Так вы сами опоздали, Александр Иваныч, — сиятельно сожалел добрый князь.

— Я — с Советом заседал, — мрачно сказал Гучков.

— С Советом? — удивились, оживились все. — И что же?

— Хорошего — мало, — глухо, почти равнодушно ответил Гучков. — Но я считаю, что по министерству юстиции у нас положение ещё тревожней, чем по военному. Я не понимаю, как так в Москву? На два дня? Неужели министр юстиции решил все дела? Так я должен докладывать за него? Извольте.

Он заложил ногу за ногу, уселся прочней, обвёл через пенсне нескольких министров, но задержался на Милюкове и так стал говорить, как будто ему одному, даже не министру-председателю:

— Совершена революция во имя свободы личности, но действительная свобода личности отнюдь не наступила. Печать не имеет свободной деятельности, ряд органов запрещён. Нет никаких гарантий неприкосновенности граждан. Если мы не имеем физической силы это осуществить, то мы должны, по крайней мере, обратиться с воззванием к населению — не допускать самих себя до произвольных арестов, выемок и обысков. Я получаю жалобы из многих мест, — да наверно и вы тоже? Мы должны всё же разослать местным властям циркуляр, что аресты не могут производиться без судебных полномочий, и законность задержания должна каждый раз проверяться прокурорским надзором. Господа, это всё функционировало при императорской власти — и как же это стало таким трудным после победы свободы?

Сняв подозрения с Милюкова, который, конечно, менее всех за это отвечал, — Гучков стал смотреть — … но на кого же тут смотреть?

Многие и глаза отвели.

— Я даже думаю, — сказал Гучков хрипло, — не воссоздать ли нам какой-то орган, заведующий общей безопасностью населения?

Ну, он не мог же иметь в виду — *новую Охранку* ?! Но может быть… новую полицию?

— Губернаторов мы всех отменили, полицию мы всю распустили, охрану железных дорог сняли… А между тем, господа, — он всё-таки искал, чьи глаза его встретят, но уже ничьи не встречали, и никак не попадались лучезарные глаза князя Львова, — а между тем… ведь идёт война?

Он — спрашивал. Он — как будто не совсем уверен был, выстрелы сюда не доносились.

474

А утро понедельника принесло телеграммы все едино, без противоречий: о т р ё к с я царь! отрёкся — несомненно! И он, и Михаил, вся династия, вся шайка — о т р е к л а с ь !!

Реставрации — не будет!!

И вопрос зажёгся теперь только: к а к ? Путём — каким? Каким способом? Да побыстрей! Теперь и часа нельзя промедлить — скорей туда! Не опоздать! Захватить руль! Исправить, направить, скорей!

Сегодня Цивин у Ромберга. Хорошо. Но это ещё пока… зондировка, запросы, ответы… «Глухонемой швед» было кинуто три дня назад, тоже Ганецкому, несерьёзно. Серьёзней — фотография для паспорта (хорошо, что послал): может ли она сегодня быть уже у Скларца? Нет конечно. Послезавтра. А потом — рассматриваться в министерстве, в генштабе. *Они* должны бы и не ждать, должны бы сами догадаться и поторопиться — послать, предложить. Молчат. Дубины. Лестница бюрократическая.

Или — дорожатся, чтобы больше взять? Тогда — ничтожные политики. Вперёд, на большом участке пути — реальный союз, сепаратный мир. А там, а там… Прусские юнкерские мозги конечно не уследят за спиралями диалектики. Разве они видят дальше сегодняшних своих окопов? Что они знают о мировой пролетарской революции? Дальше, конечно, мы их переиграем, на то мы и умней. Но пока что им бы только сепаратный, да оттянуть себе прибалтийские губернии, Польшу, Украину, Кавказ, — так это мы и сами отдаём, давно говорим.

И Зифельд не идёт. И Моор не отзывается.

Но — Парвус? испытанный умница Парвус! — что же он? Израиль Лазаревич! Я сижу в этой Швейцарии, как в заткнутой бутылке! Вы же понимаете, *вы*-то знаете, как надо успевать на революцию! Почему не получаю предложений ехать? Делается ли что-нибудь?..

В комнате на Шпигельгассе — как в норе, солнца — никогда в окне не бывает.

Та-ак… Та-ак, одуматься некогда, что-то обязательно упускаешь. Что там делает в Петербурге Шляпников? Он неумелый. *Тезисы* к ним потекли, но это когда ещё… А вот что. Надо сжато повторить телеграммой. Телеграмму в Стокгольм, партийная касса не разорится. Надя, кто пойдёт телеграмму сдаст: наша тактика — никакого доверия новому правительству! никакого сближения ни с какой партией! только — вооружение! вооружение!.. Платком укутайся, бронхит!..

А вообще-то, на всякий случай, если немцев не дождёмся, надо готовить путь и через Англию. Пусть, например, Карпинский готовит: берёт проездные бумаги на своё имя, а фотографию приложим мою. Мою, но в парике, а то по лысине узнают. Срочно ему писать! Срочно в Женеву! Кто отнесёт на почту? Ладно, сбегаю сам.

Сильный холодающий ветер дул по узким переулкам, и когда порыв усилялся, да навстречу, — прямо останавливал. А хорошо идти — поперёк, против! Так привык всю жизнь, так шёл всегда — и не раскаиваюсь. И другой жизни не хотел бы!

Тот же ветер взнёс по переулку наверх, домой, — и как раз вовремя: зовут к телефону на другой этаж. Кто б это мог? Почти никто того телефона не знает, для исключительнейших случаев.

По тёмной лестнице.

Инесса!! Прямо из Кларана! Голосок — как переливы рояля под её пальцами…

— Инесса, как давно я тебя не слышал!.. Любимая!.. А я вчера с дороги послал тебе откры… Надо немедленно ехать, нам надо всем ехать! Я готовлю тут разные варианты, какой-то сработает обязательно! Но, вообще, надо разведать и английский путь. И может, удобнее всего было бы тебе… Что?.. Неудобно?.. Ну, я не настаиваю никогда, ты знаешь… Не уверена, что вообще поедешь? Вообще?? Колеблешься?.. (Какой-то сбой, мысли не сходятся. Когда долго не видишься — и всегда сбой, настроения не прилегают, а тут ещё и по телефону.) …Почему же нет? Да как же

можно вытерпеть! …А я был — совершенно уверен! Мне в голову не… Да, нервы, конечно… Да, нервы… (По телефону о нервах не разговоришься, франк минута.) Ну, ладно… Ну попробую как-нибудь, да…

Ах, лучше б и не звонила, только настроение опустилось… Оборвала и настроение, и план…

Как же испортились отношения, не узнать. И — отчего? Уж портиться бы — отчего? Уж как он ей выстилает, как уступает, — кому, когда?..

Удивлялся, что *втроём* — и держится. Вот и не удержалось…

Занозилось, заныло от этого разговора, ничем заняться себя не заставишь. Сел к окну, где посветлей, на коленях писать программу действий для петербургских, они ведь сами никогда ничего… За окном ветер просто ревел, и в щели дуло, каких раньше не замечал. Март, а печку бы истопить? Скажут хозяева — уголь перетрачиваем. Пальто накинул.

Начать надо с анализа обстановки. Точной обстановки он не знал и не мог восстановить по скудным газетным обрывкам, но хорошо понимал по общей теории, и ничего другого в Петербурге происходить не могло… Произошло в России чудо? Но чудес не бывает ни в природе, ни в истории, только обывательскому разуму кажется… Разврат царской шайки, всё зверство семьи Романовых, этих погромщиков, заливших Россию кровью евреев, рабочих… Восьмидневная революция… Но имела репетицию в 1905 году… Опрокинулась телега романовской монархии, залитая кровью и грязью… По сути это и есть начало всеобщей гражданской войны, к которой мы призывали…

Недоговоренное с Инессой — мешало работать. От звонка поднялось — и не улегалось. Как-то взаимонепонятно, ершисто… Колет…

Естественно, что революция разразилась раньше всего в России. Этого и надо было ожидать. Этого мы и ждали. Наш пролетариат — самый революционный… Кроме того, весь ход событий ясно показывает, что английское и французское посольства с их агентами непосредственно организовали заговор вместе с октябристами и кадетами…

Что ж, мы уедем — а она останется? Совсем — останется? Ведь события могут так раскидать, разделить…

В новом правительстве Милюков — только для сладеньких профессорских речей, а решают пособники Столыпина-вешате-

ля… Совету рабочих депутатов надо искать союза — не столько с крестьянами, но в первую голову — с сельскохозяйственными рабочими и с беднейшими крестьянами, отдельно от зажиточных. Важно уже сейчас раскалывать крестьянство и противопоставить беднейших — зажиточным. В этом гвоздь.

Ну, просто ураган! И как будто снег срывает. Уже и от окна света нет, опять лампу…

Нет, не успокоиться, пока снова не написать Инессе. Вот прямо сейчас и написать.

…Не могу скрыть от вас, что я разочарован сильно. Теперь надо — скакать, а люди чего-то «ждут»… Через Англию под своим именем — меня просто арестуют… А я был уверен — вы поскачете!.. Ну, может быть, здоровье не позволяет?.. Но нам бы важно хоть попробовать, узнать, как дают визы, какой порядок?

И вот уже нытьё облегчилось, отлегло, а зацепилась и потянула новая идея, использовать это письмо:

…Да тут только задуматься: около вас там живёт столько социал-патриотов и разных безпартийных русских патриотов, и богатых! — почему же *им* не придёт в голову простая мысль ехать через Германию? — вот *им* бы и попросить вагон до Копенгагена. Я не могу этого сделать, я — «пораженец». А они — могут. О, если б я мог научить эту сволочь, этих дурней быть поумнее!.. Вы — не подскажете им?.. Думаете, немцы вагона не дадут? Держу пари, что *дадут*! Я — уверен просто! Конечно, если дело будет исходить от меня или от вас — всё сразу испорчено… А — в Женеве нет дураков для этой цели?..

Вот к этому и свелась теперь вся проблема: не Францию-Англию разведывать, нет, ехать только через Германию, конечно! Но: как, чтоб не от себя, чтоб это возникло от кого-нибудь другого?..

Если кто сомневается, можно хорошо убедить так: ваши опасения — курам на смех! Да неужели же русские рабочие поверят, что старые испытанные революционеры действуют в угоду германскому империализму? Скажут — мы «продались немцам»? Так ведь про нас, интернационалистов, и без того уже давно говорят, раз мы не поддерживаем войну. Но мы делами своими докажем, что мы *не* немецкие агенты. А пока надо — ехать, ехать, хоть через самого дьявола.

Но — кому внушить инициативу? А без этого — и возможность будет, а ехать нельзя. Нам одним, первым нам, *от себя* — нельзя, в России окажется трудно.

Так и прокатился день, не дав решения и выхода…

А за один этот день — что-о там в России наворочено!

Туда, в ревущую тьму, прислониться к тёмному стеклу — мелькало, мелькало, неслись косые пули! Вот *такое* и в Петербурге сейчас. Бешено выло в трубе, стучало где-то на крыше, никогда не стучало, что-то оторвало. Ну, закручивало!

Как будто вот последние часы упускаем, последние часы. Писать им, писать дальше:

…Милюков и Гучков — марионетки в руках Антанты… Не рабочие должны поддерживать новое правительство, а пусть это правительство «поддержит» рабочих… Помогите вооружению рабочих — и свобода в России будет непобедима! …Учить народ *не верить словам*!.. Народ не пожелает терпеть голода и скоро узнает, что хлеб в России есть и можно его отнять… И так мы завоюем демократическую республику, а затем и социализм…

Раскрутилось внутри, вытягивало жилы рук и ног от бездействия. А — пойти в эту бурю, выходиться! Иначе ведь всё равно не заснуть. Пусть ветер потолкает, продует.

Внизу лестницы — запахнулся, старую шапку нахлобучил крепче. (Спросил председатель шо-де-фонского профсоюза: «Это что за пилот?»)

Сразу — как толкнуло, как понесло, ну настоящий ураган! А — по сухому, снега мало. Фонари все видны, а небо тёмное. Брян-нь! — выбило стекло из уличного фонаря. Черепицей стучит, тут и на голову свалится.

Узкие, узкие, узкие улочки старого города, в какую сторону ни иди — лабиринт. Заблудишься тут, как мышь, не вырвешься на просторы петербургских площадей.

Управляли Россией 40 тысяч помещиков — неужели ж мы столько не наберём и не управим получше?..

На Нидерхофштрассе, улице ночных гуляний, прохожих почти никого, все забились за светлые окна. И барахтается в ветрище безпомощный — нагнутый, вялая, рыхлая, знакомая фигура… Григорий!

С вокзала? Приехал опять?

— Владимир Ильич, много важного, решил приехать.

— Ну, что Цивин? Был у Ромберга?

— Был сегодня. Сейчас расскажу. Тот обрадовался!

Один туда качнётся, один сюда, руками от ветра отбиваясь, шапку хватая. Побрели назад. Говорить трудно, но и не терпится.

В Берне весь день заседал эмигрантский комитет по возвращению на родину, и Зиновьев там от нас. Ну и что, как?

Говорильня, говорильня, перебирали все варианты — и через союзников, и через Скандинавию. А Мартов предложил — через Германию!

— Мартов??

— Через Германию!

— Мартов??

Воздуха нет кричать.

— Да! В обмен на немецких военнопленных в России!

— Ма-артов??

— Получить согласие Временного правительства… Через Гримма — в переговоры со швейцарскими властями…

Что за удача! Какая удача! Предложил — Юлик, не мы! Так и назовём — п л а н М а р т о в а ! А мы — только присоединяемся.

Первое слово — сказано!!

475

И ещё снова он не позвал.

Но и хорошо: душе и голове нужно время, чтобы всё уложилось, нашло свои места. И было бы готово расти дальше.

Потому Ликоня так и смялась, что всё шагнуло слишком быстро.

Теперь — не потеряться у него. Зачем ему нужна потерянная?

Постеснялась говорить своё. А — надо. Сколько б движения и воздуха ни было в его мире, но и то особенное, узкое, в чём Ликоня, — ему не лишнее.

Иначе бы — в театры он не ходил.

Ликоня не стала артисткой, но право же, лучший аромат — она собрала.

Пейте меня! Выпейте меня! Во мне есть.

Однако прошёл день. И ещё один. И ещё один. А он не звал.

Да как он занят! За те часы, что Ликоня была у него, — два раза ходил к телефону. И потом эти все дрязги — на улицах, с правительством — они же его касаются. Даже её саму потащили на какое-то нелепое кормление солдат.

Но он — не уехал из города! (Она проверяла в гостинице.)

Забыл?..

Но был так нежен — это не могло так сразу пропасть!

Днём утоляет и лечит рассудок.
Вечером — нет.

Что же тогда? Может быть — что-то с ним? От этих событий? О, только б ему не было плохо! только бы с ним — ничего!

Пойти самой? Телефонировать? Простите мне мою смелость?

Второй раз! Невозможно!

Скорей бы всё выяснилось.

Усы и борода у него — с чем-то солнечным, не только даже с цветом. Он сам — как обломок солнца. По России катается. (А хочется — опять на колени к нему! Утерять под ногами землю. Замереть, ничего не говорить. Когда у него на коленях — он весь совершенно её.)

А вдруг — больше ни дня не будет с ним вместе?

Но и жизнь нельзя оценить, минуя боли жизни.

…Чтобы рвал меня на части
Ураган!

476

Гучков просидел заседание правительства до конца, не назвавши вслух ничего о сюжете с Осиновой Рощей, — и никто не назвал! А скользкий Керенский исчез.

Вот, заседание окончилось, делопроизводители уходили — должно было начаться секретное? Но тоже нет. Как будто исключительно благоприятно и покойно всё разрешалось, — спокойнейший князь Львов с милой, доброй улыбкой встал, кому-то кивнул, кому-то руку пожал — и направлялся в свой министерский кабинет, да тут нагнал его Милюков, пошли вместе.

Нет, обернулся, с видом что-то забывшего:

— Александр Иваныч! Вы зайдёте ко мне?

Да ничего другого Гучкову тут и делать не оставалось. Пошёл за ними.

И вот были втроём, и князь приглашал обоих садиться и распоряжался подать им чаю.

О чём Милюков хотел говорить — не говорил. Сел молча, окаменил шею и держал свою самоуверенную голову с каменоватым взглядом через очки (он менял то очки, то пенсне, в очках был проще).

Но зато князь был мил и предупредителен, улыбкой приглашая к разговору, отчасти как будто робел.

А Гучков не любил помягчать своей крутости:

— Георгий Евгеньич! Что у нас творится? Довольно странно. Сегодня днём совершенно случайно и от частных лиц узнаю, что посланцы Керенского рыщут по столице, ищут удобного места для заключения царской семьи. Разве такое решение принято? Когда? кем? Мы вчера с вами об этом говорили — и ещё не было. И заседания об этом не было? Или я пропустил?

С готовностью, пониманием ласково улыбался князь:

— Александр Иваныч, поверьте, я и сам ещё сегодня утром этого не представлял. Но среди дня Александр Фёдорович должен был принять некоторые предупредительные меры… Подумайте сами, как будет выглядеть, если Совет депутатов арестует царя без нас? Что мы тогда будем за правительство? А Совет очень настойчив в этом вопросе. И московский Комитет общественных организаций тоже требует ареста царя.

Дверь раскрылась тотчас за лёгким стуком, и, не дожидаясь отзыва, в кабинет вошёл смуглый Некрасов с удивляющей лёгкостью: если премьер-министр беседовал с министром иностранных дел и военных, — министр путей сообщения мог бы и повременить.

Но он — или привыкнув к своему заместительству у Родзянки? — шёл как вполне свой здесь и, не спрашивая, тоже сел.

А князь, кажется, и доволен был ковременностью этого входа:

— Вот Николай Виссарионович вам засвидетельствует, что сегодня в Совете вторично постановлено арестовать Государя, и даже поручено Военной комиссии. Так что нам… Что же нам остаётся, Александр Иваныч?

Про Военную комиссию мог бы Гучков услышать и раньше, тоже не слышал.

— Но всё же, Георгий Евгеньич, я в правительстве — не слишком побочный человек, и можно было бы изыскать как-то обсудить со мной… и вот, с Павлом Николаевичем? — вопросительно в его сторону, похоже, что и тот не знал? но сейчас весьма недвижен,

слишком мало затронут оставался, — …прежде нежели министр юстиции начнёт распоряжаться? Я не могу попадать в такое глупое положение.

А князь разве спорил? Он только искал глазами, как бы ему уступить, — голубыми, безгрешными глазами и при ласковом голосе:

— Александр Иваныч, любезнейший мой, но ведь это даже для самого Государя лучше. Это охранит его от возможных эксцессов, от нападения каких-нибудь диких масс. Это даже — лучший способ его защиты, чем мы могли бы придумать другой! — Почмокал. — А кроме того… кроме того… — князю самому было больно выговорить, — кроме того, вы знаете… начинается расследование… И если что-нибудь будет обнаружено… так оно даже естественно… А как вы понимаете?

И в самом деле — как же Гучков понимал? Он прав был в своём возмущении, что его обошли, но неправ по сути: а что же придумать другое? Ведь он и сам с собою уже не видел другого выхода, он и в заговоре своём предусматривал арест царя.

А Милюков — чурбанно-равнодушно сидел, будто для министра иностранных дел слишком мелок был вопрос ареста бывшего Государя.

— Так надо принимать решение правительства? — пробурчал Гучков. — Почему ж на заседании обошли?

— Этого требует предосторожность, — глухим голосом, но живо вмешался Некрасов. — Чтобы не разгласилось. А тут нужна подготовка.

Да, да, князь был согласен с деловитым министром путей сообщения. Он именно так и думал. Да он и выглядел как нянь баюкающий: не надо тревожить.

Тоже верно.

А ведь это была собственная ошибка Гучкова: сам же он зачем-то отпустил царя в Ставку, просто растерялся. А эта поездка в Ставку и вызвала наибольшее общественное раздражение. И может быть — никакого бы ареста и не потребовали. (И — за что? И как некрасиво для Гучкова…)

А теперь, может быть, и выхода нет, да…

Переглядывались министры. Переглядывались молча.

И может быть, прав Милюков: по сравнению с общими вопросами совершённой революции — неужели так важен этот отдельный частный вопрос?

Да ещё саднил в Гучкове изнеможительный спор с делегацией Совета, ещё он не успел тут рассказать министрам, — да и нужно ли? Когда он представил себе всю огромную неразбериху и растерянность в вооружённых силах — спорить ли было об аресте царя, да не принципиально, а больше из самолюбия, почему этот мальчишка, наглец Керенский, так дерзко действовал, не спросясь?

Но вот что… — всем им теперь было ясно видно — …какой же к чертям Николай Николаевич может стать теперь Верховным Главнокомандующим? И Совет не допустит, и общественное мнение не допустит, да и для самих уже нелепо — и к чему он нужен? Зачем за него держаться?

По своим военным владениям — Гучков нисколько в Николае Николаевиче не нуждался. Пусть пока и командует Алексеев. (Если не будет противиться чистке армии.)

Ну, тем более — остальное правительство не нуждалось в великом князе.

А он — уже выехал из Тифлиса, наверно.

Так задержать его в дороге! — до Ставки нечего и допускать.

Но вот об этом как раз — Алексеева предупредить надо. И проще всего сейчас же, ночью, по аппарату.

Князь Львов захотел поехать вместе с Гучковым и сам объявить Алексееву, что тот будет пока в обязанностях Верховного.

Ну что ж.

Глаза князя светились светом ангельским:

— Но о Государе — говорить Алексееву не будем. Даже наоборот, всё по-прежнему.

477

Вечером Алексеева вызвали к аппаратному разговору с Петроградом.

Это был — неуловимый до сих пор князь Львов. Он начал с того, что в столицах стало спокойно, порядок повсюду водворился, утешительные вести поступают и из других городов — всё благодаря своевременно принятым мерам. (Как бы благодарность Алексееву за помощь в дни отречения?) Насчёт проникновения в армию революционного течения — меры тоже приняты: вчера напе-

чатано объявление к населению, сегодня печатается обращение к войскам. И в ответ на тревожные телеграммы Алексеева выезжают сегодня ночью на все фронты депутаты Думы с официальными полномочиями.

Но кажется, уже не объявления нужны, а пулемёты…

Печатная строка тянулась ровно, а как будто дёрнуло её, и пошло что-то другое, от другого человека:

— Прошу принять во внимание, что догнать бурное развитие невозможно, *события несут нас, а не мы ими управляем*.

Даже вечно насупленные брови Алексеева — и то как будто ползли вверх. Вот этих петроградских перескоков он всю неделю понять не мог. Как будто люди с ним разговаривали — ненормальные.

А дальше опять всё гладко: сегодня же будут командированы представители для сопровождения императорского поезда. Проезд будет полностью безопасен, но уже сейчас желательно знать, как Государь будет следовать с Мурмана. Сегодня князь Львов получил телеграмму от Верховного Главнокомандующего, что он предполагает прибыть в Ставку 10-го. И ответно телеграфировал ему — об общем положении вещей и о личной встрече в Ставке.

Что глава правительства и Верховный Главнокомандующий так сразу поладили — очень радовало Алексеева, будет легко работать.

И вдруг — опять как передёрнуло ленту, и на ровной полоске потекло вкось и вкривь. Князь Львов уже больше недели употребляет все усилия, чтобы склонить какое-то течение в пользу великого князя. Но его наместничество совершенно отпадает, а…

— Вопрос Главнокомандования становится столь же рискованным, как и бывшее положение Михаила Александровича. Остановились на общем желании, чтобы Николай Николаевич, ввиду грозного положения, учёл создавшееся отношение к дому Романовых и сам бы отказался от Верховного Главнокомандования. Подозрительность по этому вопросу к новому правительству столь велика, что никакие заверения не принимаются…

Вот это да!! Алексеев уселся прочней, кидало.

— …Я считаю такой исход неизбежным, но великому князю не сообщал, не переговоривши с вами. До сегодняшнего дня я вёл с ним сношения как с Верховным.

А почему? — непродоумевал Алексеев. — Почему ж не великому князю первому и сказать? Пока он ещё был в Тифлисе, не в

один же час они решили, можно было бы посоветоваться с ним, ему было бы удобней остаться в Тифлисе.

— Общее желание, — кончал Львов, — чтобы Верховное Главнокомандование приняли *вы* — и тем бы отрезали возможность новых волнений.

Тряхнуло Алексеева ещё раз. Но не обрадовался старик ничуть, и если застучало сердце, то не от честолюбия. Отвечал:

— Характер великого князя таков, что если он раз сказал — признаю, становлюсь на сторону нового порядка, то уже ни на шаг не отступит в сторону и исполнит принятое. И армия уже знает о его назначении, получает его приказы и обращения, к нему большое доверие в средних и низших слоях армии, в него верили. И для нового правительства он будет желанным помощником, надёжным исполнителем. Вы можете с полным доверием относиться…

Почему вдруг так спешили? Почему не хотели дождаться приезда великого князя в Ставку?

Изменение не следовало. И Алексеев опять:

— Отстранение же его вызовет обиду. А если уж такая перемена почему-либо признаётся среди правительства необходимой — то лучше выждать приезда великого князя сюда и здесь поговорить вам лично с ним. Только тогда, если установится решение, — можно будет обсудить вопрос о заместителе… Так, чтоб не было трений с Главнокомандующими, вопрос тоже деликатный…

Львов не спешил отвечать. Что-то он думал не с того конца, какие-то мысли кривые. Алексеев собрал все силы убеждения:

— Бог приведёт, с каждым днём положение правительства будет становиться более прочным, авторитетным. Тогда, если явится надобность, замена в будущем будет безболезненна. Благовидные предлоги всегда найдутся. А в данную минуту армии нужно спокойное течение жизни. За несколько дней она уже привыкла к назначению, знает человека, встретит его с доверием. Мы все с полной готовностью сделаем всё, чтобы помочь правительству стать прочно в сознании армии. Но — и вы помогите нам пережить совершающийся некоторый болезненный процесс в организме армии: сохраните Главнокомандование за великим князем. Поддержите нас нравственно, дайте воззвание, что для России нужна армия дисциплинированная, поддержите авторитет начальников, что они поставлены Временным правительством.

Если в Петрограде уже всё упрочилось — то зачем торопиться менять? Если, напротив, у них всё шатко — то как же можно рисковать такою сменой сейчас?! Очевидно, надо объясниться устно.

— Командировать к вам моего генерала? Или же будет можно развить весь наш разговор при личном свидании?

Наконец потекло и от Львова:

— Дорогой Михаил Васильевич, вы должны ответить по существу — сейчас. Все ваши соображения вполне разделяются всеми членами правительства. Дело здесь не в личном доверии или недоверии нашем к Николаю Николаевичу, а совсем в другом. Если бы месяц назад! — а теперь дело другое… Участь нашей великой задачи стала решаться больше тылом, чем армией. А после величайшего совершённого переворота, размеров которого никто не ожидал, — тыл решает всё! События рождаются психологией масс, а не желанием правительства. И мы считаем, что устранение великого князя ещё не даст крушения всего дела, а назначение его — может дать такие явления в тылу, которые… Ведь вот благородное решение великого князя Михаила Александровича спасло его и нас от новой бури. Мы не смеем рисковать! Лучшим исходом был бы такой же великодушный акт со стороны Николая Николаевича. Если б он своим высокоавторитетным голосом призвал армию подчиниться новому Главнокомандующему — это ещё больше подняло бы его популярность. А соображение о личной обиде? — в благородном сердце Николая Николаевича? Я уверен, что не может возникнуть… Сейчас с вами будет говорить Александр Иваныч Гучков.

И он тут! — роковой человек Алексеева. То никого не дозваться, то все тут.

Потекло от Гучкова, но не в ответ на отчаянные запросы Ставки:

— Комбинацию с Главнокомандованием великого князя я раньше находил желательной и возможной. Но события идут с такой быстротой, что теперь это назначение укрепило бы опасное подозрение в контрреволюционных попытках и опасно заставило бы народные массы сохранять боевую позицию. Лично я убеждён в безусловной лояльности великого князя в отношении нового порядка, но невозможно это внушить народным массам.

Вот этого Алексеев и не понимал! Кто ж были ещё народные массы, если не солдаты, которые любили великого князя и ждали его?

— …Поэтому высказываю твёрдое убеждение в совершенной необходимости отказа великого князя — в пользу вашу. Его благородный патриотизм пусть продиктует ему это решение — и оно поможет нам водворить успокоение в умах здесь, в центре.

Ну, если они так тверды — не отбиваться же без конца? Не предлагали же звать ещё кого-нибудь нового, и самому Алексееву не предстоял какой-то прыжок, он оставался на том же месте.

— Если так, то к 10 марта приезжайте в Могилёв сами, чтобы в словесной беседе с великим князем всю деликатную сторону… А при выборе заместителя надо обсудить вопрос…

Алексеев не гнался за таким постом, но занять его — конечно мог. Однако представил себе открытое негодование Рузского и затаённую за улыбкой кусающую злобу Брусилова.

— …не остановиться ли на лице одного из Главнокомандующих? к которому народные массы могут отнестись с бóльшим доверием, чем к человеку, работавшему начальником штаба у Государя? Новое назначение должно быть принято и всеми Главнокомандующими без неудовольствия.

И будет осложнение с румынским королём — как ему подчиниться очередному генералу?

Гучков отвечал с решительностью:

— Положение столь серьёзно, что все вопросы о деликатности должны быть навсегда устранены. Великий князь поймёт всю необходимость шага. Никого другого, кроме вас, мы не видим. Если мы теперь упустим время, то через несколько дней обстановка может ещё измениться. Вы можете удесятерить доверие к вам правительства и свою популярность в народе, если примете ряд решений. Например: если б вам удалось немедленно устранить генерала Эверта, полная неспособность которого… И если в дальнейшем примете широкие меры устранения заведомо неспособных генералов, то ваше положение упрочится быстро и твёрдо. Но их надо принять безотлагательно. Никогда я не был так уверен в своей правоте, как давая вам эти советы.

Быстро усвоил гражданский Гучков пост военного министра! Разгонять генералов? Растерялся Алексеев от такого напора:

— Все такие меры в данную минуту… Как начальник штаба не имею права принять, ибо мне это не предоставлено законом… Уже объявлено великим князем, что 4 марта он вступил в должность… Сперва надо изменить положение служебное, а засим только… те или другие решения… И примите во внимание нашу

бедность выдающимися силами генералов. *Широкие меры* встретятся с недостатком подходящих людей. Заменять одного слабого таким же слабым — пользы мало…

Но Гучкова не поколебало: он так же рвался вперёд:

— Вполне понимаю, что вы не можете провести эти меры тотчас, но нам нужно ваше внутреннее решение. Можем ли мы рассчитывать, что вы поддержите совет великому князю об отказе от Главнокомандования? Совершенно не могу согласиться относительно затруднительности найти даровитых генералов для замены ряда бездарностей. Такие новые назначения, произведенные с одного маха, вызовут величайший энтузиазм и завоюют громадное доверие!

Широко-о шагал! Широко-о!..

— Но приезд князя Львова и мой в ближайшие дни в Ставку совершенно исключён. Мы будем в состоянии переговорить с великим князем только по телеграфу. Понимаю всю затруднительность вашего личного положения, но прошу вас дать согласие. Если мы с вами не примем этих решений свободно и добровольно, то они будут нам навязаны со стороны.

Вот как они поворачивали! Не только с ними согласиться, но ещё и собственными руками всё сделать. Но ещё на себя и взять всю тяжесть объяснения с великим князем? — да ещё в дурацком положении заместника…

— С глубоким огорчением я должен буду говорить с великим князем… Я полагаю — вы пришлёте ему письмо, а уже затем дополните разговором по аппарату… Лично я очень хотел бы остаться в моём нынешнем положении. И готов честно сотрудничать с каждым, кого избрало бы правительство на должность Верховного… Конечно, долг прежде всего, и придётся принять неминуемое… Хотя в моём здоровьи после болезни остались некоторые…

— От имени князя Львова и своего повторяю, что, кроме вас, никого у нас не имеется в виду. Письмо великому князю будет послано. Покажите ему эту ленту…

Уже и кончался разговор? А к ним обоим было столько много, Алексеев добивался их несколько дней… Но через весь навал неожиданности вспомнилось только одно:

— Потревожу вас неподходящим посторонним вопросом. Граф Фредерикс приказал отцепить свой вагон в Гомеле и просит разрешения ехать в Петроград. Если возможно, разрешите стари-

ку: он совсем уже утратил память и способность распоряжаться даже собой.

Гучков:

— Советуем графу Фредериксу пока не возвращаться в Петроград — никаких гарантий его безопасности. Передайте графу, что с его семьёй всё благополучно, подробности поздней.

И без того было хлопот, но втесался ещё этот граф Фредерикс: вослед пришло сообщение из Гомеля, что граф, бедняга, арестован там.

Обезумевшего старика было жаль, да перед собою не мог отвести Алексеев и собственную вину, что его туда отправил: вероятно, перезаботился, никто бы Фредерикса в Ставке не тронул, ничего б не было.

И пришлось ещё этой ночью давать князю Львову новую телеграмму: чтоб не держали несчастного Фредерикса под арестом.

СЕДЬМОЕ МАРТА

ВТОРНИК

478

Нет, ещё только от аппарата отойдя, Алексеев почувствовал, что отказывался недостаточно резко, надо было резче.

Нисколько не был он обрадован предложенным назначением в Верховные. Во все эти дни революции, при всех своих шагах и решениях, ни минуты он не имел в виду своего личного возвышения. И перед великим князем совестно: очень легко может подумать, что это — самого же Алексеева интрига.

Человек должен занимать свойственную ему высоту и свойственный ему объём, — только тогда он чувствует себя наилучше. Зачем бы ему ещё подниматься? Сиротливо, как на сквозняке.

Да у великого князя авторитет какой выдающийся. Смело он повелел Алексееву собрать сведения с мест о том, как принято его назначение Верховным, — и отовсюду откликались, что — с удовольствием, радостью, верой в успех, и даже восторженно. Даже в разбурлённом Балтийском флоте поняли так, что возвращается сильная твёрдая власть и наступит порядок. Четырнадцать городов, средь них такие, как Одесса, Киев и Минск, уже прислали на имя Верховного приветственные телеграммы и выражали уверенность в победе. Во всеобщем трясении этих дней великий князь был единственная скала и опора, единственная надежда! — и именно его неосторожно, торопливо, тайно толкали, свергали руки самого правительства! Это было чудовищно неуклюже. Как будто не правительству больше всех требовался порядок!

А для простых солдат, привыкших к звучанию имени? — это будет совсем необъяснимо.

И ещё — чего от него Гучков хотел? Массовой смены генералов, с одного маха?..

Поздно в ночь Алексеев окончательно решил, что откажется. Перед аппаратом он сплоховал. Уже вызывать их снова поздно, но завтра утром…

Так был застигнут врасплох, что самого важного и не сказал: что это ещё за «приказ № 2», мало «№ 1»? — и опять от Совета рабочих депутатов, и опять в обмин Ставки! Как будто здесь не армия была, а балаган.

Не то что ночь, а десять ночей можно было не спать от одного этого! Ах, не сказал! Теперь же, ночью, надо было слать телеграмму. Им всем опять, в них не разобраться, — и Родзянке, и Львову, и Гучкову (хотя Родзянки, главного искусителя, что-то не стало слышно).

Телеграфировать, что вынужден их просить, дабы никакие распоряжения общего характера не направлялись бы непосредственно на фронты. Для армии не могут быть обязательны распоряжения никому не известного Совета рабочих депутатов, не входящего в состав правительственной власти, — и они не будут объявляться войскам.

Да впрочем, мало он послал им жалоб? Всё безполезно.

…С грустью должен прибавить, что многочисленные мои представления правительству… Такие «приказы» грозят разрушить нравственную устойчивость и боевую пригодность армии, ставя начальников в невыразимо тяжёлое положение… без способов бороться…

А, да что там: …Или нам нужно оказать доверие — или заменить нас другими…

А не назначать Верховными…

Разошёлся в сердитости Алексеев, как ещё не был.

А — сам военный министр что приказывает? — ведь это не какой-то Совет депутатов — а он тоже всё разрушает: отмена титулования, курение, карты, клубы, политические общества для солдат, — и даже намеревается отменить отдание чести! — сумасшествие какое-то… И на его № 114 — уже непоправимо изданный, но с опозданием присланный зачем-то в Ставку на отзыв, — тоже надо отвечать. Раскалывали армию по самый корень — и спрашивали, как посмотрят Главнокомандующие! Все офицеры Ставки, кто прочёл, были единодушно возмущены. И вместе с Лукомским уже начал Алексеев составлять ответ — и теперь глубоко в ночь продолжали. Писали обстоятельно.

…Что совершенно отменить отдание чести недопустимо: армия превратится в милицию низкого качества. Большинство старших начальников уйдёт с военной службы, и неоткуда будет набрать хороший офицерский состав. Можно отменить отдание чести, становясь при этом во фронт, но первым должен приветствовать обязательно младший. Ослабить титулование, курение, трамваи, клубы? что ж… Но участвовать солдатам в собраниях с политической целью совершенно недопустимо: господствующее значение в армии получат крайние левые идеи. В нынешних событиях армия не приняла никакого участия, но, вовлечённая в политику, может быть вовлечена и в государственные перевороты, и трудно предвидеть, в какую сторону. Ради победы надо стремиться, чтобы армия оставалась спокойной. Не надо, чтобы мысли её были заняты политическими вопросами…

Пропала ещё одна ночь. Лёжа в постели, придумывал аргументы и даже полуязвительные, как ему казалось, фразы, потом накидывал шинель на бельё, садился к столу — и ещё вписывал ровные, чёткие, убористые свои петельки, крупнеющие от сердитости.

…Если армия втянется в политику, то не позже июня Петроград может оказаться в руках германцев…

И вот, кажется, что остроумное придумал Алексеев: вопрос Гучкова об отдании чести разослать всем Главнокомандующим, а те чтобы разослали до командиров полков. И пусть все командиры полков отвечают! — но не Алексееву, которому и так всё понятно, — а самому Гучкову! Пусть град этих писем, конечно отрицательных, грянет на голову Гучкова!

Это хорошо придумал, первый раз заулыбался.

Всё разбереженное кружилось в голове, заснуть нельзя — и приказ №114, и приказ №2, — а зашёл среди ночи в аппаратную — там лежит ещё новая дикая телеграмма от Квецинского: что Эверт получил телеграмму от Пуришкевича, будто «приказ № 1» — фальшив, злостная провокация, и это удостоверено министром юстиции Керенским и самим Чхеидзе из Совета депутатов, и спрашивает Эверт, можно ли объявлять войскам?

Это б радость была, да какая! Но, по суматохе этих дней и по собственной трезвости, Алексеев теперь не поверил. Пуришкевич — он психопат, вполне мог и напутать.

Озаботился невмоготу, начисто спать не мог.

Ему пришла в голову и такая мысль: пока он только наштаверх — он не вызывает бури недоброжелательства. Но если в нынешней безумной обстановке его вознесут в Верховные, тут все полезут на стену, и первое же — *общество*, ему припомнят, чего не припоминают сейчас, например его секретную директиву прошлой осени: что многими учреждениями Земсоюза ведётся революционная пропаганда и необходимо установить за ними самое строгое наблюдение, а если факты подтвердятся, то и закрывать. И сейчас если эту директиву кто вытащит, то что поднимется?

А тут ещё — обидеть Николая Николаевича. А тут ещё — разозлить Главнокомандующих. Нет, нет! — ни с какой стати не хотел Алексеев брать этого поста.

Кой-как забылся к рассвету. А утром, не дожидая дальнейших событий, послал в продолжение аппаратного разговора новую телеграмму Львову и Гучкову: просил оставить в силе назначение Николая Николаевича! Получаемые от войск донесения показывают, что его приняли с радостью… (И про два флота, и про 14 городов…) Вопль наболевшей души всех начальников, кто любит родину и армию… В такие минуты подвергать хрупкий организм армии новому испытанию, перемене, малопонятной для простой массы солдат…

Так написал: верю… нет, *верую*, что вы примете в соображение всё высказанное. Именно теперь нельзя жертвовать порядком и сплочённостью армии!

Послал — и ждал всё утро. Ставку Правительство дёргало при всяком вздоре, а само на всё важное молчало, такую манеру выработали.

А между тем служебный день шёл и с неожиданных сторон приносил своё. На приём к Алексееву попросился английский военный представитель Хенбри Вильямс, он же и старший среди союзных представителей. Алексеев ожидал тревожных расспросов об армии — и заковался.

Но английский генерал пришёл не с этим. Он принёс длинное письмо начальнику штаба от имени всех своих коллег, а устно пояснил, что все они предлагают свои услуги для охраны Государя императора при его возможном возвращении в Царское Село и дальнейшей поездке. Чтобы какие-нибудь революционеры не оказали ему препятствий в дороге.

Вильямс стоял в позе официальной и с холодной английской сдержанностью, — но предлагал совсем не заурядный внеслужебный шаг, движимый несомненной преданностью свергнутому императору, всегда крайне ласковому ко всем союзным представителям.

Однако незаурядно этот шаг выглядел и с русской стороны. Он выглядел бы как жест недоверия Временному правительству, сообразил Алексеев.

И ответил, что такая мера стеснила бы самого бывшего Государя в его новом состоянии частного лица. И она ничему бы не помогла, ибо не от чего Государя охранять, ему ничто не грозит.

По уходе англичанина, внимательно читая его письмо, Алексеев узнал, что тот вёл вчера переговоры с императрицей-матерью, чей поезд всё ещё стоял на могилевском вокзале, — и эта идея как бы не матерью внушена? Может быть, и сын о тех переговорах не знал.

Скорей бы она уезжала, не место ей в Ставке.

Скорей бы и Государь…

В бумаге было ещё и другое предложение союзных генералов: им издать общий меморандум о поддержке Временного правительства.

Это, пожалуй, имело большой смысл. Это хорошая идея.

Да какой выход оставался для России, если не всячески поддерживать и укреплять нынешнее умеренное правительство? Уж какое б дурное оно ни было и каким бы способом ни угнездилось у власти, но если не оно — то самые крайние разнузданные силы и общий разгром.

Даже не любя, даже не хотя, Алексеев должен был теперь служить этому правительству верой и правдой.

А если уже союзники предлагали публиковать о своей поддержке, то раньше должна была от Ставки быть такая телеграмма, чтоб её могли поместить в газетах.

Это нужно, да, теперь он понял.

Сел, посочинял. Недолгая работа.

…Все команды штаба и все части могилёвского гарнизона сохраняют спокойствие, дисциплину, преисполнены стремлением довести войну до победного конца… И провозглашают громкое «ура» дорогой России и её Временному правительству…

479″

(по социалистическим газетам, 5—7 марта)

МЫ ЖДЁМ ОТВЕТА. По какому праву на свободе тот, именем которого творилось всё насилие над русским народом? Почему он свободно разгуливает по России, допускается на фронт?.. В груди вчерашних владык не может не клокотать лютая ненависть к народу, стряхнувшему иго… В руках обломков старой власти — колоссальные богатства, которые будут брошены щедрой рукой на борьбу со свободой. В их руках — все военные тайны, знание слабых мест России. Им есть что рассказать Гогенцоллернам! Разве Бурбоны не вонзили отравленный нож измены в спину Французской революции?.. Мы ждём ответа!

…Почему Временное правительство не заявило публично, что акт «назначения» царём Львова в качестве премьера недействителен? Надо снять с премьера пятно, что он — «царски-законный министр». Иначе правительство расписывается в своих монархических симпатиях.

Наибольшая опасность для революции — разъединение её сил раньше, чем самодержавие будет сломлено… Чтобы все попытки прежних душителей народа… Если на месте одной отрубленной головы вырастет другая… Полушёпотом, полукраснея восклицают: «бедный Николай»…

…На улицах открыто ведётся агитация за Михаила. Но для народа недопустим возврат к монархии. Монарх всегда выражает интересы тех групп, которые при выборах были бы побеждены… Обезвредить династию и её тайных союзников!..

К ОТВЕТУ!.. Тиран ещё на свободе!.. Николай со всеми чёрными силами может осуществить заговор контрреволюции. Мы знаем из истории народных революций... Николай и его холопы должны быть немедленно преданы суду народа.

…таким образом, петроградским рабочим предстоит оставить улицу, где они в течение недели работали над созданием народной свободы, и вернуться к станкам? Но можно ли думать о продуктивной работе, если перед рабочими снова станет плотной стеной произвол предпринимателей?.. Прежде всего потребовать немедленной выдачи денег за те дни, которые они провели вне фабрик и заводов, завоёвывая свободу для всего народа. Позором навсегда покроет себя тот, кто осмелится это оспаривать…

ЗАБАСТОВКА ПРЕКРАЩЕНА — РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Воспрещение черносотенных изданий. Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов постановил воспретить выход в свет всем черносотенным изданиям, как-то: «Земщина», «Голос Руси», «Колокол», «Русское знамя». Газету «Новое время» за то, что вышла без предварительного разрешения Исполнительного Комитета, закрыть впредь до особого распоряжения.

От железнодорожных жандармов Председателю Государственной… Совету министров… Совету Рабочих…

В Комитете наших делегатов не приняли и отказались гарантировать нашу безопасность и жизнь… Просим признать нас гражданами российскими… Большинство из нас с благодарностью правительству пойдёт в Действующую Армию на передовые позиции.

…Оживление погромной агитации в Полтавской и Киевской губерниях… В поражениях армии и падении абсолютизма винят безправных евреев.

Товарищ Урицкий телеграфирует из Копенгагена… Не дают виз и другим революционным эмигрантам. Не пора ли гражданину Милюкову проявить побольше энергии?

…На Охте и Пороховых народная милиция занялась парализованием местной власти. В неё проникла чернь, пользующаяся оружием для реквизиций.

…От всех юнкеров есть делегаты в Совете Рабочих Депутатов, кроме Николаевского училища. Чем объяснить подобное явление? Отсталостью юнкеров в политическом отношении? или начальство их держит в ежовых рукавицах? Стыдно, юнкера, в такое время не принимать участия в строительстве народного счастья!

Таинственный автомобиль... Ежедневно меняет номера... Мчится с бешеной быстротой, ночью с потушенными огнями, систематически стреляет в народ...

...состоится собрание портных, портних, скорняков, шапочников... Ввиду исключительной важности момента в жизни страны, все товарищи портные и портнихи сочтут своим долгом явиться...

ГОТОВЬТЕ ЗНАМЁНА! — для участия в торжественных похоронах жертв революции!.. Трупы жертв не предавать земле до общих похорон.

Товарищи парикмахеры, мастера и подмастерья! В дни великого созидания мощи народной на развалинах старого строя — спешите организовать союз!

Рентгенологи Петрограда приглашаются…

В Литейном театре — общее собрание Бунда…

Товарищи фармацевты и фармацевтки! Грянула буря! Наступил момент строительства нового государства. Соберёмся и обсудим создавшееся положение… Мы против конституционной монархии…

ХУЛИГАНСТВО. «**Воззвание.** Товарищи воры, воротилы, грабители, взломщики, аферисты, шантажисты, ханжисты, политурщики, мародёры, карманники, форточники, чердачники и прочая братия. Мы много поработали в первые дни революции и нам надо собраться, чтобы избрать представителей в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов для заседаний. Объединяйтесь, товарищи, в объединении сила! Собрание для избрания депутации имеет быть в среду в 12 ч. ночи на Обводном канале под Американским мостом. ***Группа сознательных деловых***».

Распространяемая по городу, эта прокламация показывает, что чёрная сотня организуется для борьбы с революцией. Ни для кого не секрет, кто эти заговорщики: Марков 2-й и Замысловский на свободе…

…Предлагается всем, самовольно отлучившимся из 175 пехотного полка, вернуться в полк в ближайшие дни. В противном случае считать их сторонниками старого режима.

ТОВАРИЩИ! ЧИТАЙТЕ «ПРАВДУ» ВСЛУХ НА УЛИЦАХ,
НА МИТИНГАХ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ДРУГИМ!

…Не признавать никаких соглашений с буржуазией! Временно утверждённое правительство признаём неудачным и надеемся, что это будет исправлено.

(«Правда»)

…Мы будем бороться за немедленную ликвидацию войны путём массовых действий рабочих всех стран. Мы будем стоять за создание Третьего Интернационала на место разрушенного войной Второго…

В ЖЕЛЕЗНЫЙ ФОНД «ПРАВДЫ» поступило…

480

И наконец Белокаменная приходила в себя от восхитительных дней. Комитет общественных организаций издал воззвание к учащимся средней школы, что вполне понимает их горячий порыв, но не надо вносить разлада в государственную жизнь — а с понедельника следует вернуться к школьным занятиям. Его другое воззвание было: кто имеет более 20 пудов муки, пусть представит сведения о своих запасах. Впрочем, обнаружилось, что в Москве муки и без поступлений должно было хватить на 2 недели, а поступления

подкатывали ко всем вокзалам, а Тамбовская и Саратовская губернии из уважения к стольному граду — подарили Москве каждая по 300 тысяч пудов ржаной муки. Тем временем снова открылись все первоклассные рестораны (повара и официанты прекратили революционную забастовку). Пошли трамваи, все украшенные красными флагами и лозунгами. Командующий Грузинов воззвал о необходимости отобрания воинского оружия, кому оно не может принадлежать. Восстановила свою деятельность биржа. На квартире Рябушинского было принято решение собрать в Москве Торгово-промышленный съезд. Разрешили открыть бега, без тотализатора, однако. Во всех церквах отслужены были молебны, а священники произнесли проповеди о переживаемых событиях. Восстановилась театральная жизнь в той мере, как могла преодолеть добровольный самозапрет театрального общества: не давать спектаклей на Крестопоклонной неделе, — но где спектакли состаивались, там оркестр играл марсельезу и устраивался общий митинг артистов и публики. Кинематографы работали все, и на экранах появилась сенсационная фильма «Тёмная сила», о Григории Распутине, которую снимали для Америки, не предполагая, что её узрит и отечество. В Лиховом переулке на квартире Монархического союза был произведен обыск, а квартира начальника Охранного отделения Мартынова была разгромлена и разграблена. Решили не освобождать арестованных городовых, околоточных надзирателей и приставов. Историк Мельгунов приступил к разборке полицейских архивов, а на Петровке 16 создана комиссия о несудебных арестах, дабы упорядочить аресты. Напротив, губернатор граф Татищев и вице-губернатор граф Клейнмихель, давшие подписку о верности новому правительству, были из-под ареста освобождены. Упразднялся навеки чёрный кабинет при московском почтамте, и устанавливалась временная цензура телефонных разговоров с некоторых подозрительных аппаратов, а иные были вовсе сняты. Из городской думы, сердца этих революционных дней, выехали наконец и Комитет общественных организаций, в Леонтьевский переулок, и Совет рабочих депутатов, на Скобелевскую площадь, — и в опустевшем пострадавшем здании думы подметали, скребли, мыли стены и окна, и елозили полотёры.

И в самые эти оздоровительные дни разнёсся слух, что в Москву едет знаменитый революционный деятель, сам министр юстиции Керенский!

И это оказалась правда! До сих пор лишь второстепенные члены Государственной Думы приезжали что-либо пояснить о событиях, да свои деятели ездили в Петроград посмотреть да подузнать. Раненная своим непревосходством, Москва ревниво следила, как всё важнейшее варится на берегах Невы, — и хоть Учредительное Собрание замышляла перетянуть к себе. А вот — ехал сюда самый яркий, самый популярный, самый левый из министров! — ехал явиться и осветить! А в частности, как предупреждала печать, ознакомиться с местными судебными установлениями. А ещё в частности — войти в непосредственные сношения с рабочим классом Москвы и ознакомиться с его взглядами на текущий политический момент.

И на Николаевском вокзале, украшенном, как и все вокзалы, красными флагами, к полудню собрались для встречи представители Комитета общественных организаций, представители Совета рабочих депутатов, представители московской городской управы, и комиссар юстиции Москвы Муравьёв, и, конечно, от московской адвокатуры, от совета присяжных поверенных, от судебной палаты, от окружного суда, — а ещё построен был почётный караул юнкеров Александровского училища.

И вот, к подкупольному перрону, видавшему столь много славных приездов из Петербурга и Петрограда, — подошёл экстренный поезд из паровоза и двух вагонов — и на площадке второго вагона стоял первый в России министр-гражданин! (Как он был молод, как он был строен, как шло ему лёгкое пальто с меховым воротником и мягкая шляпа!) Сняв перчатку, он заранее безо всякой заносчивости показывал свою доступность, помахивал пальцами встречающим. Тут раздалась команда капитана взводу юнкеров:

— Для встречи слева, слушай, на-краул!

Юнкера взяли на караул. Барабанщик забил встречу.

Александр Фёдорович мило кланялся, прикладывая пальцы к шляпе.

Не только он: глубже на площадке стояли и тоже прикладывали два любимца Москвы — Челноков и Кишкин, тоже приехавшие из Петрограда, а на днях давшие образец гражданского поведения: Челноков, назначенный Родзянкою комиссаром Москвы, не счёл возможным состоять по назначению при наступившей эпохе свободы — и добровольно уступил комиссарство избранному Кишкину. Но даже их двоих почти не заметили при встрече.

Едва сойдя со ступеньки вагона скользящим движением ноги, гражданин-министр расцеловался с длинным тощим князем Дмитрием Шаховским (у обоих стояли слёзы в глазах) — и с представителем железнодорожных рабочих, который назвал Керенского товарищем. А от прапорщика принял большой букет красных тюльпанов, перевязанный широкой муаровой лентой.

Князь Шаховской, с большими ясными глазами, знаменитый кадет, секретарь выборгского заседания 1906 года, дрожа от охватившего волнения, долго не в силах был выговорить даже слово. Наконец начал:

— В эти знаменательные дни, которых русский народ никогда не забудет, вы доказали, что самый ярый радикализм, самый пылкий дух можно вложить в живое дело и воплотить в реальные формы! Вы доказали это своим горячим личным примером! От имени Москвы и от имени… я приношу вам самую горячую… Благодаря именно вам мы уберегли наш город от кровавых эксцессов. В Москве всё спокойно, всё в образцовом порядке, вы убедитесь сами.

И — ещё раз пылко расцеловались.

И затем Керенского приветствовали от городской магистратуры. И затем — от Совета рабочих депутатов —

— …как господина министра юстиции, но и нашего дорогого товарища…

И вручили ему письмо от председателя Совета Хинчука. Министр, освободясь от букета, тут же прочёл письмо, и умное лицо его осветилось решимостью:

— Я отсюда еду немедленно к вам!

Это — меняло предположенный распорядок, и смутило представителей судебных властей, прокуроров, комиссара юстиции, приветствовавших министра от имени, от имени и ещё от имени…

Но Керенский, принявший весьма официальный вид, заявил:

— Прошу меня не ждать. Я буду и в суде.

И затем, отвечая на все приветствия резким, далеко слышным голосом:

— Товарищи!.. Господа!.. У меня нет слов, чтобы выразить, что я переживаю! Но я лично — я только исполняю свой долг. Я знаю, что русский народ — великий народ, и русская демократия — великая демократия! Для них — нет ничего невозможного, а я… я только являюсь их орудием. Да, для меня величайшее счастье, что

эти дни я мог действовать наверняка. Я шёл прямой дорогой, ибо хорошо знал и крестьянство, и рабочий класс, и вообще весь русский народ… Вот, я приехал от имени Временного правительства, пользующегося всей полнотою власти, приехал передать вам привет от нас, министров, и заявить, что мы отдаём себя в распоряжение нации и будем исполнять её волю до конца! И вот, я приехал спросить вас: а идти ли нам до конца?

— До конца! до конца!.. — загудела толпа, принявшая к этому времени громадные размеры. Здесь толпились солидные, раскормленные общественные деятели, и немного офицеров, и много солдат без строя, рабочие, мещане, студенты и гимназисты.

И, закинув голову движением роковым, принимая эти клики как глас народа, Керенский шагнул ещё и обратился к почётному караулу:

— Господа офицеры, юнкера и солдаты! От имени Временного правительства я приветствую русскую армию, навсегда освободившую Россию от тиранической власти! Отныне у нас только один народ — народ вооружённый!

Прошёл гулок восхищения.

— Старая рознь между офицерами и солдатами, между армией и народом — отошла в вечность. Мы все теперь — граждане! — раскинул он над собою одну руку в лайковой перчатке, другую без перчатки. — Мы все теперь — сыны великого свободного народа.

И — пошёл, пошёл, легко, свободно, не зашёл в парадные комнаты вокзала, а сразу на улицу, где ждал его автомобиль.

С ним рядом заняли места как адъютанты — два офицера, прикомандированных от командующего войсками.

И под крики «ура» и рукоплескания автомобиль тронулся от вокзала. В Совет рабочих депутатов, на дружеский и негласный разговор революционеров.

Корреспонденты газет тем временем бросились в редакции.

481

После убийства Фергена, в тот же вечер, хромающего капитана Нелидова под большим конвоем, чтоб его не растерзали по пути, отвели в свою 2-ю роту, и советовали или объявили, что он те-

перь совсем не должен выходить из ротного помещения, ни даже на свою квартиру в офицерский флигель, а постоянно находиться и жить в ротной канцелярии.

Впрочем, и над трупом Фергена солдаты 4-й роты потом жалели и даже, были, плакали — и, приведя растерзанное тело в порядок, положили в гроб, отнесли в полковую церковь, служили панихиду. Но пришла мать штабс-капитана — и почему-то не выдавали ей трупа, и снова надругались над ним.

Голова уже переступила черезо всё, что можно было понять, не понять, Нелидов жил уже как бы не он, и всё равно. И пожалуй, в ротной канцелярии безопасней, хотя здесь никогда не один, а как всякий солдат в казарме, и в голове гудит, гудит постоянно.

Сразу же пришлось ему выручать ротного фельдфебеля, уже сильно избитого. В роте существовал ящик, куда складывались собственные деньги солдат и при этом записывались в тетрадь, а когда солдату надо было — он брал. Фельдфебель и хранил этот ящик и вёл эту тетрадь, всё это заведено было против краж. Как начались безпорядки — фельдфебель прекратил выдачу денег, за что его и избили. Теперь распорядился Нелидов все деньги пересчитать и раздать на руки.

Хотя солдат никто как будто не преследовал, но все в роте были крайне возбуждены и даже напуганы — боялись этих самых рабочих. Говорили Нелидову откровенно: это *вольные* не велят нам козырять и чтоб мы не поддавались ехать на позиции — а мы на позиции не прочь, да и козырять нам нетяжко. Объяснили ему теперь солдаты, чего он раньше и не предполагал: что Выборгская сторона все прошлые месяцы была утыкана дезертирами, которые жили по поддельным паспортам от подпольщиков, иногда по финским паспортам, свободным от мобилизации, — и вот эти дезертиры среди рабочих сейчас громче всех и на горло брали.

У рабочих у всех заимелись винтовки и даже автомобили — а в роте винтовок почти не было. На ночь выставляли против входных дверей стол для дежурного и дневальных, а на него клали заряженные две винтовки, стволами ко входу.

Нелидов послал взять из клиники разобранные там винтовки и ещё сумел добыть с арсенального склада — тогда рота стала спокойней.

Теперь его как командира роты вызывали сидеть на заседаниях батальонного комитета — идиотское, нудное и безконечное

сидение. Почти непрерывно выступали, сменяя друг друга, двоетрое солдатских заправил, вышедшие наверх не по грамотности, не по уму, а по нахальству, — и теперь они несли любую чушь. Но ни одного жизненного вопроса комитет разрешить не мог, и обсуждение самых пустячных длилось часами. Иногда уже приближалось, вот почти решено, — тут выступал кто-нибудь из троих, что ещё упущено, надо добавить, — и опять размазывалось на часы.

И только один вопрос решился единогласно и быстро: в батальоне лежал приказ об отсылке очередной маршевой роты на фронт. Решили: своей роты не отправлять, а набрать и послать вместо себя арестованных городовых. Об этом послали делегатов в Совет рабочих депутатов. И даже — в Москву и в Казань, чтоб и тамошних арестованных городовых забрать сюда, в счёт.

Тем временем во всех ротах постановили, что солдатские занятия должны быть в день только два часа. Тогда и все хлебопёки, сапожники, шорники, обоз — тоже стали работать лишь два часа. Всё в батальоне остановилось. Писаря перестали выписывать наряды — и из гарнизонных складов перестали отпускать муку и продукты. Никто не хотел и чистить выгребные ямы, они переполнялись и зловонили. Приходили к Нелидову взводные и отделённые командиры и просили освободить их от должностей: они не только не могли никого ни в чём заставить, но превратились в батраков для своих подчинённых, и всё, что надо было принести или сделать, — должны были делать сами.

И тогда батальонный комитет решил возвращать всех офицеров, кого найдут, — на места. Стали ходить по городским квартирам разбежавшихся прапорщиков и уговаривать их — вернуться в батальон. Капитана же Нелидова выбрали заведующим хозяйством батальона. Он принял, поставив условием, что всех назначит сам и чтоб его распоряжения не обсуждались комитетом.

И комитет принял.

Теперь разрешили Нелидову перейти жить на свою квартиру. Особенно были все довольны, что он сумел выдать солдатам очередное месячное жалованье.

И может быть, только по этой своей популярности он смог вчера спасти капитана Дуброву: солдаты учебной команды, все его ненавидящие, как-то разведали, что он лежит в Николаевском военном госпитале. Отправились туда на грузовике, выволокли Дубро-

ву из палаты, из госпиталя, никто из врачей не смел помешать, и повезли на грузовике в свои казармы, избивая по дороге и здесь избивая на гауптвахте. И готовились его расстреливать тут же, у дровяного штабеля, — Нелидов еле успел туда дойти, с палочкой, остановил их и убедил, что надо отослать в Государственную Думу, таков закон. (Дуброву один раз уже и спасли там.) На искровавленное лицо капитана при полуотнятых руках и ногах страшно было смотреть.

И так вчера в полном изнеможении и даже в омертвении всех чувств Нелидов впервые пришёл ночевать в свою квартиру — впервые с той страшной ночи, когда увели Сашу Фергена и через десять минут вбежал Лука с воплем, что капитана подняли на штыки.

Ещё живым казалось место, где Нелидов последний раз поцеловал Фергена в ледяные губы.

К себе самому уже было полное равнодушие, хоть пусть и расстреливают, — а пока не расстреливают, так лечь и заснуть.

Но не успел и сапог снять — раздался звонок, правда нормальный и без грозного стука. Лука открыл — и вошёл капитан Степанов — только что с поезда, только что вернувшийся с Кавказа! И была в нём ещё неломаная свежесть отпускника.

Да он знал ли, что здесь творится?

Знал… То есть знал вообще о петроградских событиях, но ничего путём о батальоне.

— Швейцар флигеля тебя видел?

— Да.

— Ну так, брат, сейчас же исчезай. Твоя рота — тебя приговорила к расстрелу, тебя сейчас арестуют. Сашу Фергена так убили, знаешь?

Побледнел. Да ничего он не знал, он же прямо с вокзала.

Нелидов спешил ему рассказать, но и спешил отправить, чтобы спасти. Решили, у каких знакомых он будет, на Петербургской стороне, — и он исчез. Уже потом спохватился Нелидов, что надо было шашку у него отнять, на сохранение. Да сами всё ещё не привыкли, дико.

Не успел Степанов уйти — нагрянул десяток солдат:

— Где Степанов?..

— Не знаю, ушёл.

Сидел Нелидов и подёргивался: вот сейчас услышит стрельбу или прибегут, скажут, что растерзали, как Фергена.

Но не шли, слава Богу, не шли, и Нелидов, изломанный всеми передрягами, ведь десять дней это уже длилось, так и заснул, мертво.

А сегодня рано утром его разбудил свой фельдфебель, умоляя спасти капитана Степанова (он же и был их 2-й роты). Оказывается, от своих он вчера вечером успел уйти, но на Гренадерском мосту его задержали гренадеры — отняли шашку, допрашивали, опознали полк и вернули ночью сюда, в казармы. И на него накинулась кучка негодяев из 2-й роты, стали оплёвывать, избивать и хотели расстрелять.

Но как раз эти сутки их рота несла караул по батальонной гауптвахте — и фельдфебель (которого Нелидов сам недавно выручил) сумел убедить обидчиков, что расстрелять лучше завтра утром, увёл от них капитана Степанова на гауптвахту и посадил — но под надёжных часовых, которые его не выдадут.

И всей власти капитана Нелидова было: срочно послать в Государственную Думу надёжного унтера, чтобы сейчас прислали сюда автомобиль со своим конвоем — и переняли бы Степанова под арест туда в Таврический.

Еле успел автомобиль.

482

Сегодня Агнесса с Адалией под ручку пошли смотреть, как впервые пустят трамваи.

И зрелище стоило того! Сперва появилось несколько служебных вагонов, обтянутых красной бязью, к одному были прицеплены две открытые платформы, на них сидела воинская музыкантская команда и всё время не переставая играла марсельезу! Этот трамвайный поезд ходил по городу под одни сплошные овации. Все прохожие останавливались и любовались. На Невском и на больших улицах население встречало манифестацию трамваев обнажёнными головами.

А потом пошли уже обычные пассажирские трамваи, но все с плакатами: «Земля и воля» — «В борьбе обретёшь ты право своё!» — «Да здравствует демократическая республика!». А из некоторых вагонов марсельеза доносилась изнутри.

Агнесса и Адалия, не таясь, вытирали слёзы. Открыто, по Невскому, под общее ликование — «В борьбе обретёшь ты право своё!»… Как это описать?

А кому не выпало дожить? Святые герои! За то, чтобы мы теперь могли жить, они отдали своё самое драгоценное!

Прекрасный сон! Искупаются все мученики за свободу!

На некоторых остановках вокруг трамваев собирались митинги, и трамвай тогда задерживался. Отходил трамвай — митинг рассыпáлся. Но умилительно было общее доброжелательное, солидарное настроение, коллективная радость, когда все друг друга любят — дух революции! — и вот отчего так хорошо, как не могло достичься при старом режиме никаким принуждением. Вот уже и наступает всеобщее братство!

А день — белоснежный, после мятели на понедельник, морозный, солнечный, радует небо голубое. Сёстры отшагивали, иногда приходилось под музыку. Неужели — с в е р ш и л о с ь ?..

Это слово «свершилось!» — во всех воззваниях, во всех газетах, им наполнен воздух, — громоподобное слово, — а каким другим и можно выразить?! Революция — победила!! Поймите, братья, — победила! Развалилась казарма сословий! Кто только не угнетал личность! — племя, клан, каста, сословие, церковь, семья, государство, национальность, — всё теперь сброшено! И личность встаёт из этого хлама, из этих цепей!

На Невском, на солнышке, у стены дома, расстелив по утоптанному снегу брезентик, какой-то дядька разложил стопочками, продаёт — запрещённые книги. Покрикивает, предлагает. Смотри, Даля, смотри! — Кропоткин, «Речи бунтовщика»! Лавров! Карабчевский — «Дело Сазонова»! Толстой против церкви! Ницше — «Антихристианин»!.. Сёстры — к нему, наклонились, перебирают дрожащими руками, счастливыми пальцами. Смотри же! смотри! Если б нам сказали десять лет назад — что вот так, на Невском, на брезентике, открыто будут продаваться?.. — и не налетает городовой?

А публика неблагодарная — тоже не налетает, уже всем хочется новей…

Да ведь в этом книжном лотке сфокусирована эпоха!

Пошли счастливые дальше.

А все эти разбитые, замазанные гербы?!

Или: Мариинский театр хочет установить автономию от государства! Разве не символ?

Чего боялись многие наши? Не дожить до революции, или что она своей кровавостью не оправдает надежд. И вот — всё не так!!

По Садовой — и пошли на Михайловскую площадь, где тоже большой разъезд трамваев. И там встретились, остановились на солнышке (всё-таки морозец забирает) со знакомыми Адалии — интеллигентная брачная пара, хотя просто либералы, пингвин и гагара, но лично вполне честные. (Адалия знавала таких, у Агнессы таких не бывало.)

Они: *кого* же мы боялись? *Кто* это так цепко держал нас когтями двуглавого орла? Как легко нам досталась невероятная победа!

Агнесса отбрила им: нет! Совсем не так легко, свободу принесли нам те, кто пали в тёмные годы. Высокая цена.

Муж-пингвин застыдился: да, мы неблагодарно упускаем… Но где же было набраться обывателю политической практики? Ведь до сих пор политикой можно было заниматься только героям. А вот — народ пошевельнул плечами, и…

Народ? Как теперь согласно: все славят «народ», всё сделал — народ, и как-то забыли об интеллигенции! А между тем: от Радищева до Спиридоновой, 150 лет жертвенной борьбы — чьей же? А — народ? Что он такого сделал? Всё-таки можно бы быть благодарным интеллигенции больше.

Проворчала гагара: как можно было уголовных распускать. Тут отповедала Адалия:

— Да разве они виноваты, что социальные условия бросили их в водоворот преступлений? А теперь им в тюрьме обливать слезами нашу свободу?

Пошагали сёстры домой, Агнесса сказала в сердцах:

— Меня что возмущает, что сегодня каждый обыватель «отряхается от старого мира» и намекает о себе, что только по счастливой случайности не казнён при старом режиме!

Ах, пусть. Но как захвачена молодёжь! Как горды, что это всё совершили они. Вероника теперь окончательно спасена, она — в животворной струе. Общество помощи освобождённым политическим — нельзя было ей найти лучше! Прямая связь с традицией!

Да теперь может и Саша отстанет от этой дрянной купеческой девчёнки?

483

И как же замотали исполкомцы, ловкачи: и сами не взяли власти, и другим не дали. И не мог Шляпников относиться к соглашателям с откровенностью, скрытничал с ними и подозревал подвох на каждом шагу, да так оно и было. Против блока оппортунистов не вытягивала партия большевиков в Исполкоме. Но знал он, что неприятен им, мешает, — и доволен был, что мешает, и сидел, полюбимому руки скрестя на груди, молча.

Сегодня Шляпников необходимо должен быть тут потому, что в повестке стоит вопрос о рабочей милиции, по которой он считается главный уполномоченный. А ещё будет обсуждаться вопрос о возврате в Ораниенбаум 1-го пулемётного полка.

А пока все с живостью и волнением обсуждали слух, что по каким-то железным дорогам какие-то переодетые жандармы перевозят кипы погромной литературы — и какие надо энергичнейшие меры принять, чтобы воспрепятствовать перевозке. Шляпников молчал. Не поверил он ни на грош этой панической истории: все жандармы были насмерть перепуганы, искали, как жизнь спасти, а не перевозить опасное. И — на каких же именно дорогах? и кто эти кипы видел? почему не отобрал? и почему ни одной брошюрки для примера не доставили? — откуда ж узнали, что погромная? Но очень нервные тут были все верховоды.

Потом начали обсуждать «Известия», по докладу Нахамкиса. Ещё три дня назад Шляпников бы должен был ухо держать востро, и вмешиваться, и захватывать влияние, — но теперь была своя «Правда», и кати́тесь вы… Понятно, что они так волнуются: от газеты вся сила зависит. Теперь давал Исполнительный Комитет Стеклову дис-кре-ци-онную власть над газетой, значит: действовать по изволению, как его левая нога захочет. И в редакцию набрал — дружка своего Циперовича, Базарова, Гольденберга, и ещё меньшевиков. Ну, ещё там и Бонч, хоть и трус и изменник, а заставим на нас поработать.

С Бончем тоже теперь разбирался персональный вопрос: взял да отполировал в газете генерала Рузского, тот устроил Исполкому истерику, — но и принять сторону генерала не могли меньшевики, а и с Бончем ничего не могли сделать по нерешительности.

Теперь ещё крупный вопрос: о похоронах жертв революции, уже отложенных на десять дней, а теперь ещё на неделю: нельзя на Дворцовой площади! Вмешался Горький с художниками и архитекторами.

На Горького Шляпников стал в обиде. Все последние годы, кажется, был заодно с большевиками, с кем же? А в эти дни закружилась ли голова, все его признавали своим и чествовали, да вообще в мозгах у него сидело некрепко, — и присоединился он к златоустам классовой гармонии, любителям единства, — и отказался сотрудничать в «Правде», так бедной литературными силами, что бы значило ей имя Горького! Звонил Шляпников усовестить его — ответил: «Помогаете врагам революции!» Мы — врагам революции? Это — наша пролетарская честная «Правда»? Буржуазным дурманом застило голову ему самому. Какую-то свою отдельную радикально-республиканскую партию затевал.

Ну, наконец о пулемётных полках. 2-й пулемётный удовлетворился казармами на Охте и никому особо не мешал, а вот 1-й пулемётный разорял Народный дом и, самое главное, его уборные, уже начали солдаты испражняться на бульваре вокруг Народного дома, — так что к наступающим дням весны это грозило превратиться в заразу в центре города.

Всё — как будто так, с уборными ничего нельзя исправить, и невозможно сейчас, ещё при снеге, первым революционным строительством начинать разрывать бульвар и строить новую канализацию. И натурально жить полку там, где для него оборудованные казармы, в Ораниенбауме. Всё как будто так, но 1-й пулемётный, расположась на Кронверкском наискосок от ПК, — уже сильно приклонил ухо к нам, наши там поработали, — и обещает стать боевой силой большевиков — да ещё вооружён пулемётами! — и как раз его дать вывести из города? Ни за что! Для этого Шляпников и собрался биться, но не слишком громко и широко, чтоб не дошло до фронтовиков: фронтовики, со своей стороны, обижаются, почему этих не ведут на фронт, а тем всё время воевать? Да и тут пересилить большинство голосованием он тоже не мог. А стал подпугивать исполкомцев пулемётчиками: ведь не стерпят! а ну — повалят с пулемётами на Совет?

Боя-ались.

И высмеивал собственными же их доводами: как же они сами придумали, добились не выводить революционного гарнизона, а

теперь выводят? Кто ж будет им верить? И другие части взбунтуются? Да любой батальон смахнёт вас тут всех.

Но эти ловкачи были из тех, которых и в ступу загнав, там не утолчёшь пестом — увернутся. Сейчас же, тут же, они придумали и постановили: послать требование военному министру, чтоб Ораниенбаум также был объявлен районом Петрограда и оттуда тоже не имел бы министр права никого послать на фронт без разрешения Совета. И таким образом этот вывод полка станет совсем и не выводом, а даже расширением завоеваний революции. И чтобы пулемётный полк, уйдя в Ораниенбаум, имел бы своих постоянных представителей — тут, при Петроградском Совете.

А главное, заявил Чхеидзе, и вот откуда он был такой безстрашный: имеется заявление товарища Пешехонова, что сам полковой комитет пулемётчиков имеет желание вести полк в Ораниенбаум, но нужно им приказание от Совета.

Заёрзал Шляпников на стуле: дело плохо, обморачивают наших там ребят. Но здесь — ничего сделать не мог, записали постановление: просить 1-й пулемётный полк сего же числа выступить в Ораниенбаум и (как главное!) впредь без разрешения Исполнительного Комитета не дать себя никуда посылать. И поручили Скобелеву немедленно отправляться в Народный дом и там объявить. Самое страшное, это они понимали, — объявить.

Шляпников тихо вышел и быстро послал гонца на Кронверкский: там как раз сейчас при ПК на Бирже труда собирались активисты из 1-го пулемётного. Пулемётчиков? — не отдадим!

484″

(по свободным газетам, 7 марта)

ЗАЯВЛЕНИЕ КНЯЗЯ ЛЬВОВА …Принял представителей печати…

— Конечно, не для интервью и для лишних слов теперь время. Временное Правительство работает день и ночь… Не меня поздравляйте, господа, а великий русский народ, чьё величие проявилось в Великой Русской Революции. События так велики, так потрясающе грандиозны, что никаких слов не нужно. Невероятная яркость и быстрота переворота… народный гений совершил чудеса, ошеломил весь мир своим величием и своим великодушием к прошлому. Над Россией засияло солнце,

мы все в лучах этого солнца… В Петрограде уже всё расчищено для новых идей. Но Россия велика, и не везде могли понять смысл ошеломительного переворота. Кое-где на периферии произошли незначительные эксцессы. Тяжёлые недоразумения разразились лишь в Балтийском флоте. Наша задача — в каждом гражданине создать веру в светлое будущее России, — и в таком духе постепенно перевоспитать многомиллионное население.

…Впервые Россия становится вровень с передовыми странами Европы, впервые вводится у нас западно-европейский строй…

…Центральный Продовольственный комитет закончил подсчёт всех наличных запасов муки. Петроград в течение ближайшего времени вполне обезпечен хлебом.

…Под влиянием происшедшего переворота настроение крестьян коренным образом переменилось. Крестьянство, проникнутое доверием к новому правительству, при высоком патриотическом подъёме повезёт хлеб…

АМНИСТИЯ. УКАЗ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА…

…Отблеск праздника возродившейся страны должен озарить и жизнь общеуголовных преступников…

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕСПУБЛИКА!

КОНЕЦ РУССКОЙ БАСТИЛИИ …Шлиссельбургская крепость подожжена. Пробил час русской Бастилии! При трудности определить, кто является политическим, освободили уголовных и воров-рецидивистов. Старый каторжанин Орлов, которому ничего не стоило зарезать человека за целковый, теперь рыдал, как ребёнок.

СНЯТИЕ ЦАРСКИХ ПОРТРЕТОВ …Царскую усыпальницу в Петропавловской крепости сделать Пантеоном погибших революционеров. Царей выбросить, а дорогие нам святые прахи свезти туда.

Рассказ генерала Рузского. …Для меня было неожиданностью, что литерный поезд царя направился во Псков. Я распорядился, чтобы прибытие царя прошло незаметно… Поразительно, с каким хладнокровием и невниманием отнеслись к пребыванию царя население и войска… Я лично держался от царя в стороне, избегая с ним встреч и разговоров… Я не решался высказывать царю своё мнение, не имея решительно никаких директив от Исполнительного Комитета…

РАСПУТИН И ДВОР. Выясняются чрезвычайно интересные детали…

СРЕДИ ЕВРЕЕВ. Телеграмма объединённого комитета еврейских общественных организаций Москвы…

В ближайшую неделю будет созвано совещание представителей Бунда по всей России.

Еврейский студенческий митинг всех высших учебных заведений Москвы…

…Причт, староста и прихожане Благовещенской церкви сокрушаются о легковерии к слухам, будто стреляли с их колокольни и снято оружие. …Просят дать покой верующему населению принять молитвенное участие в текущих событиях.

…Северная столица идёт как бы по великолепному государственному инстинкту.

…Редакция завалена письмами по поводу нового гимна…

БРАЧНЫЕ ЦЕПИ. Необходимо немедленно разорвать ещё одни цепи, цепи брачные, под тяжестью которых томились и томятся тысячи людей, которые ошиблись в оценке друг друга.

Досадная опечатка вкралась в предыдущий приказ подполковника Грузинова по войскам г. Москвы. Напечатано: «Затем стройными рядами проходили мимо меня мои войска», нужно читать: «мимо меня народные войска».

…Собрание служащих сберегательных касс шлёт земной поклон рабочему классу…

…Председателю Государственной Думы. Общее собрание легковых извозчиков Москвы приветствует новое правительство России. Много жертв унёс старый режим…

ПОТЕРЯН БАГАЖ. 27 февраля на Николаевском вокзале я передал свой багаж неизвестному, который…

ДВЕ ПАРЫ ВОРОНЫХ рысаков нарядных продаются…

485

О чём говорилось в московском Совете рабочих депутатов при закрытых дверях — не узнала пресса, естественная скрытность революционных деятелей. Но в 3 часа дня Александр Фёдорович Керенский на автомобиле въехал в Кремль. (Его сопровождал присяжный поверенный Муравьёв, мгновенно назначенный председателем Чрезвычайной Следственной Комиссии.)

В громадном Овальном зале Судебных Установлений, с его великолепной потолочной лепкой и люстрами, собралось и уже ждало второй полный час так много представителей судебного ведомства и присяжной адвокатуры, как только могла выставить Москва и вместить этот зал. Впрочем, при таких редкостных событиях никакие часы ожидания не тягостны, а стечение лучших умов само себя интеллектуально питает. Уже известно было, что новый министр круто не переносит все ордена прежнего режима как ордена ложные и все ведомственные формы как оскорбительно тиранические. Итак, хотя никто из чинов судебного ведомства ещё не был разжалован, — все они явились как лица сугубо штатские, лишённые званий и орденов, и только единою строгою чернотою костюмов рознились от многоцветных пиджаков независимой присяжной адвокатуры.

Ещё в вестибюле Керенского встретили эти десигнированные председатели департаментов судебной палаты и прокуратуры. По другую сторону ковровой дорожки тут же собрался в полном составе совет присяжных поверенных, лучшие умы и языки Москвы.

Молодой стройный министр (в австрийской куртке, но в этот раз с проблеском белого воротничка) милостиво и с большой любезностью покивал в одну сторону, покивал в другую, пожал несколько случайных рук и стрелою направился в зал, все остальные за ним.

Помнил ли когда-нибудь Овальный зал такое переполнение и столь бурные длительные аплодисменты — ещё будут спорить историки. Аплодисменты никак, никак, никак не хотели смолкнуть.

— На стол! на стол! — раздались воодушевляющие голоса.

И Керенский, как бледный ангел в чёрном, взлетел на стол. Речь его прозвучала лаконично, но как ясно осветила она вперёд прожектором всю его многообещающую программу! И какие переливы святого волнения свободы теснились в струе этого голоса при несколько отрывистой дикции.

— Господа судьи! Господа присяжные поверенные! — (Он переставил их вперёд.) — Господа прокуроры! Родилась свободная Россия, и вместе с нею родилось царство закона и свободной судейской совести. Старый порядок ниспровергнут навсегда и безвозвратно. Я надеюсь, что те из судей, которые служили старому режиму, найдут сейчас ответ в своей совести, смогут ли они отдать себя служению делу истинного правосудия или исполнят свой служебный долг и уйдут! Я хотел бы, чтоб наступление царства

правды не заставило меня прибегать к экстренным мерам и тем омрачить нашу общую радость.

В столь вежливой форме предупредив закоснелых, как можно решить проблему несменяемости судей, министр обернулся в ту сторону, где более теснились адвокаты:

— А в вас, господа присяжные поверенные, я горячо приветствую единственное сословие, геройски и до конца охранявшее в России светильник правосудия!

Единственное сословие России! И как это было правдиво! И как заслуженно светились адвокатские лица!

Отдельно к прокурорам министр не обратился, но сразу:

— А вам, господа служащие канцелярий, а вам, господа курьеры, я даю слово, что впредь вы будете пользоваться всеми правами, которыми должны пользоваться все свободные граждане свободной России. Организуйтесь для защиты своих интересов!

И спорхнул со стола.

Затем уже судьи и прокуроры были ни при чём, а в помещении совета присяжных поверенных собрались одни адвокаты, все свои, и атмосфера очень потеплела.

— Товарищи! — говорил министр, и любовь была в его голосе. — Право у нас в России только и осталось в одной вашей… нашей корпорации. Впрочем, едва ли нужны лишние слова. И просто… позвольте мне у вас просто отдохнуть…

Это сердечное обращение растрогало адвокатов. Наступила величайшая непринуждённость. Министр сидел за столом заседаний, пошевеливая ошейник глухого воротника, а адвокаты толпились со всех сторон и красноречиво напоминали наболевшие вопросы, когда-либо ими же красноречиво поднятые. Один из них был — о женщинах-юристках.

— О да, о да! — оживился усталый министр. И решительно обратился к председателю совета. — Я прошу вас немедленно начать приём женщин в сословие. — Он посмотрел на наручные часы. — Если можно — даже сегодня, постарайтесь.

Присяжные поверенные живо интересовались, какая будет расправа с царём.

— Господа, — возразил министр, — в такой момент не должно быть нервирующих разговоров. Представители династии в руках правительства, в моих собственных руках, — и неужели мы способны на компромиссы? Но! не должно быть места и инстинктам мести.

Коснулись, как организовать торжественную встречу возвращающихся из Сибири. Министр отнёсся очень поощрительно и особо указал на необходимость встречи «бабушки» русской революции Брешко-Брешковской:

— Она моя учительница в эсерстве и мой друг. И когда она проедет через Москву — дайте мне знать, я сам её встречу в Петрограде.

Тут оказалось, что и среди присутствующих есть присяжный поверенный, отбывший ссылку в Сибири. Министр порывисто расцеловался с ним. Вообще, министр был мил, обаятелен, населил восторгом присяжных поверенных. Он просил их и впредь не стесняться и свободно делать ему указания на необходимые реформы или вопросы.

Но увы, дела звали его дальше, вся Москва нуждалась в нём. Под бурные овации министр вышел-вышел-вышел, на кремлёвском дворе сел в автомобиль и со своими офицерами-адъютантами поехал на съезд мировых судей.

Они его все ждали давно и все без формы, как и было предупреждено, но в чёрных сюртуках. Все стояли, и председатель съезда приветствовал Керенского речью: о том, что мировые суды действуют более 50 лет…

— …и блестяще! — вставил министр (хотя уже распорядился обойти их временными судами из рабочих и солдат).

И вдруг стремительно нагнулся, рукою до полу, думали — он обронил что-нибудь, — нет, это он низко поклонился мировым судьям, всегда шедшим по правде и совести и так донесшим факел до наших дней.

Он, кажется, много хотел тут сказать, но посмотрел на часы и заторопился. Ему надо было мчаться в электротеатр «Арс» на Тверскую, где его ожидали более тысячи делегатов московского гарнизона. По дороге сопровождающие офицеры досказывали ему, как развивается движение в гарнизоне, как уже не первый раз офицеры и солдаты тут заседают вместе, а позавчера после заседания пошли из «Арса» по Тверской, под марсельезу, взявшись под руку вперемежку, — и так, привлекая восторг населения, до памятника Скобелеву, где были речи, и затем к университету — сообщить студентам своё решение о войне до победного конца.

В огромном театре все поднялись — защитное сукно, солдат больше, и многие, по-военному, не сняв шапок, и встречали министра густым хлопаньем, а он прошёл на сцену и стоял — тонкий,

скромный и безконечно-значительный. А когда наконец аплодисменты утихли — он встрепенулся к речи, и звонкий голос его достигал последних рядов амфитеатра.

— Я, министр юстиции Керенский, член Временного правительства, более чем товарищ вам, — ибо я не только убеждённый демократ, но я и убеждённый социалист, и я думаю, я понимаю нужды народа. Скажите, могу ли я сообщить Временному правительству, что московская армия — наша, что она верит нам и сделает всё, что мы ей скажем?

И вся аудитория загудела: «Верим! Ваши!» — и снова гулкие хлопанья.

И — ещё говорил Керенский, как пришло время в пробуждающейся армии показать не дисциплину внешних приказов, но железную дисциплину долга перед родиной. Нужно колоссальное самообладание. Вот исполнилось пламенное желание: командный состав и солдаты слились в единстве!

То ли речь уже кончалась, то ли была заминка обдумывания, но в перерыве министерского тенора раздался из зала бас:

— А почему Николаю II разрешён проезд в Ставку?

— Заверяю вас, — властно отозвался Керенский, — Николай II находится полностью в руках Временного правительства. В Ставке он не имеет никакого значения.

— А правда, что Верховным Главнокомандующим назначен Николай Николаич?

— Вопрос о Николае Николаиче, — отвечал Керенский, — тоже обсуждался Временным правительством. И могу вас заверить, что, если правительство обнаружит в этом отношении колебания, — я не задумываясь уйду из его состава!

Не успели понять — в каком направлении, какие колебания, — вдруг министр зашатался, как тростинка, — к нему кинулись, офицеры из свиты подхватили под руки, еле успели не дать ему упасть — и опустили в кресло на сцене, с пепельным лицом, опущенными веками, в обмороке.

Зал загудел: что сделали с любимым народным министром? Да не умирает ли он?..

Ему бегом несли стакан, попить и побрызгать.

Кто-то стал объяснять над рухнувшим бездыханным, что министр уже неделю не спит, не отдыхает…

О! Каково ж напряжение революционной энергии!

Да — не спит ли он?

Да, кажется, он просто заснул.

Но! — вот уже зашевелился! Он испил воды. Он даже, кажется, улыбнулся изнеможенно.

И вот — уже поднимался!

Уже поднялся?

Да! Он уже говорил опять, и голос его набирал прежнюю звонкость:

— Господа! Откуда эти разные слухи? Не придавайте им значения! Уверяю вас, со стороны династии нам не грозит никакой опасности. Все они находятся под неослабным надзором Временного правительства, и будьте спокойны: пока я нахожусь в министерстве, — голос его уже был грозен, удивительно было это мгновенное преобразование, — никакого соглашения со старой династией быть не может! Династия будет поставлена в такие условия, что раз навсегда исчезнет из России! Создавайте новый народ — а всё, что осталось позади, отдайте мне, министру юстиции!

И снова это был властный, пронзительный министр, от которого ничто в стране уже не могло укрыться.

Тут на сцене электротеатра появился и командующий Округом Грузинов. Его тоже встретили овацией, а он сообщил аудитории, что войска московского гарнизона всё более настойчиво желают видеть его, Грузинова, не временным, но постоянным командующим. Что делать?

Министр отнёсся очень отзывчиво:

— Это великолепно! Я обещаю поговорить в правительстве, чтоб именно так и было!

486

Подполковник Бойе двое суток так и не вышел на батарею, чего никогда не бывало. Сидел ли безвыходно в землянке? отлучался куда? Не только солдаты его не видели, но и офицеры. И последний батареец мог догадаться, что подполковник волчится на отречение.

Но чёрное его отчаяние никак не передалось Сане: ну не монархия, так «рес-публика» — «дело народа», святое слово, ещё привольней люди живут? Когда Саня с Котей учились в одесском учи-

лище — 40-летний юнкер-«дед», учёный землемер, подсаживался к роялю, и были ж юнкера, кто ему подпевали:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
За героев его,
За его идеал.

Скорей на Саню подействовали строгие лица солдат при чтении манифестов и как потом расходились в молчаливые кучки без обычного мельтешения и шуток.

А Чернега — как будто и совсем не придал значения, легко балагурил о разном. А Устимович и сам пришёл как солдат — с вопросом, с озарением под густыми валиками бровей:

— Солдаты поговаривают — будет мир теперь, а? Наступление отменят?

И так это светилось в нём — Саня не нашёлся погасить.

А газет не было, вместо них прикатывали слухи. То: в Австро-Венгрии революция, Венгрия отделяется. То: царь — скрылся, новое правительство его всюду разыскивает, а в Петрограде — 12 тысяч убитых, ужас!!

Потом прорвалась одна московская газета с блекловатыми фотографиями новых министров — лица как лица, вполне обывательские, никаких сверхлюдей.

И тут же пришёл приказ по Западному фронту: уменьшить ежедневную дачу хлеба.

А боевых не то что действий, но и шевеления не стало. После наших событий противник и вовсе стрелять перестал — не то что из орудий, но ни даже пулемётной очереди, и работ никаких.

И пришло Сане в голову: а не снять ли пока боковой наблюдательный, оставить один передовой против Торчиц, облегчить дежурства? А командира батареи всё не видно. Пойти пока присмотреться самому.

День был в пеленистой мглице, может где-то недалеко шёл снег. Морозец небольшой, но Саня надел свою кавказскую бурку — была она ему как родная душа со своего Кавказа, ласковый тёплый мех, на наблюдательном и спать в ней хорошо. Не гнался Саня за тем воинственным видом, какой придавала бурка, но какую-то силу сообщала она. Хотя — заметна очень, и в обычное время остерегаться высунуться в ней.

На боковом наблюдательном застал на дежурстве старшего фейерверкера Дубровина. Любил его: понимает стрельбу, интере-

суется топографией. Он был награждён серебряными часами «за отличную разведку» и с важностью сматривал на них. На дежурствах не ленился, всё набирался полезного. Смуглое, всегда серьёзное, даже хмуроватое его лицо не казалось мальчишеским, хотя ещё не росло на нём.

Сейчас он передал подпоручику журнал наблюдений. В общем — передовые линии спали.

Подпоручик достал свой любимый цейс, стал медленно обходить знакомую местность. Неизменно занесенные снегом запущенные решётки и каменные кресты на православном кладбище, как бы безлюдном (а там хорошо врыты и замаскированы долговременные сооружения). Еле дымят такие изученные Скарчевские окопы. По закрытому скату, слышно, прогнали тележку — значит, к мосту на Щаре.

В глубине блиндажа у телефона сидел Улезько, здешний житель, вот уж, наверно, странное чувство воевать у себя дома. А Дубровин стоял у смотровой щели, грудью к земляному косяку, рядом с подпоручиком. И спросил тихо:

— Ваше благородие. А хотите, я может вам сейчас любопытную штуку достану?

— Какую, ну тащи.

— К пехоте надо сходить.

Ушёл. Улезько подрёмывал на чурбаке с трубкой. Минут через десять Дубровин вернулся. И на дощечку перед наблюдательной щелью, хорошо освещённую, положил — прокламацию? Небольшой листок грубой бумаги, на нём крупно: «Приказ № 1».

Чей? Саня глазами вниз: Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Что ещё за командование? Стал читать.

…Во всех батальонах, батареях немедленно выбрать комитеты от нижних чинов… Винтовки, пулемёты должны находиться под контролем комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям…

— Что они? С ума сдвинулись? — сказал подпоручик вслух, и не мог не накрыть листовку воспретительной ладонью. И оглянулся на Улезьку.

Дубровин с невозмутимыми щеками:

— Да уж знают. Все уже знают.

— Как? А мы ничего не знаем.

— От пехоты. По Перновскому полку их не одна ходит. Перновский гудит. И у ростовцев, кажись, есть.

— Да откуда взялась?

Дубровин сумрачно и носом шмыгнув:

— Лих её знает. Из тыла привезли. Может отпускные.

— Так это же глупость! Да и при чём тут мы? Это — Петроград, к нам не относится.

Снял ладонь, стал читать дальше.

…Вне службы и строя, в своей общегражданской и частной жизни солдаты… Обязательное отдание чести вне службы отменяется…

— А что́ у нас — не служба? — спрашивал подпоручик Дубровина, будто тот и писал приказ. — У нас всё служба.

К отданию чести Саня тоже с трудом когда-то привыкал, но теперь так понимал, что без чести — не армия.

…Отменяется титулование — ваше превосходительство, ваше благородие…

— Ну, это другое дело.

Эти «вашбродь» — какие-то тряпки заношенные.

…Воспрещается грубое обращение с солдатами.

Очень правильно.

…Воспрещается обращение к ним на «ты»…

Усмехнулся:

— Был такой словарист Даль, пишет: тот учитель, который гордится, что называет учеников на «вы», — лучше бы научил их обращаться к себе на «ты», тогда б он знал русский язык. «Вы» — не русское обращение, и совсем для нас неловкое. В старину говорили: *ты*, Великий Государь, не прав!

Однако листовка лежала под пальцами. Доложить начальству? — так это не в нашей батарее. Дубровин принёс — Дубровин и унесёт.

Оглянулся на Улезьку. И различил в полутьме внизу его уже не дремливое, но любопытное, от щели освещённое, добродушно-соблазнённое лицо.

487

Итак, предстояло обратиться ни много ни мало — к народам всего мира, сразу! И хотя под этим воззванием стоять будет подпись всего двухтысячного Совета Рабочих Депутатов — Гиммер

ощущал, будто его собственный тонкий и слабый голос должен прозвучать на всю Европу и дальше. Он, когда брался, в соревнование с Милюковым, исказившим смысл нашей революции, ещё не почувствовал всей трудности.

Привлечь бы Горького! Вот чьё могучее слово, высокого художника, могло бы взволновать и захватить народы! Позвонил Гиммер Алексею Максимовичу и попросил его написать такое воззвание. Тот согласился.

Но ещё пока он напишет — а у Гиммера самого руки тянулись к перу. Да ничем другим в Исполкоме он теперь и заниматься не мог, раз уж замаячила, замучила его великая задача. И после того как Чхеидзе подсказал неплохую фразу — пусть народы возьмут дело войны и мира в свои руки, — Гиммер записал её и так начал строить воззвание. Он не сомневался, что Горький напишет сверххудожественно. Но разве сумеет он предвидеть все подводные камни выражений, столкновения разных социалистических фракций и крыльев самого Исполнительного Комитета, чтобы мимо всех этих скал благополучно провести проект? Нет, только Гиммер мог все эти рифы видеть и миновать.

Главная трудность была: выдержать честный интернационализм и циммервальдизм, ни в коем случае не дать пищу и опору оборончеству — но суметь провести это воззвание через Исполком, где оборонцы составляли большинство, а значит — бросая им какие-то куски. Но бросая эти куски, ни в коем случае не дать левому крылу Исполкома обвинить автора хоть в тени шовинизма, этой явной заразы для всякой честной революционной публики. Надо было под микроскопом рассматривать каждое своё выражение. Но и ещё: надо было не забывать, что кроме народов всего мира это воззвание будут читать и русские солдаты, а они мыслят о немце по-старому, как только о враге.

Вообще «солдатский вопрос» и вообще все солдатские вопросы и дела вызывали у Гиммера кошмарное отталкивание, томление духа, как только кто-нибудь поднимал их на Исполкоме, а это случалось каждый день. Он активно и наступательно сознавал, что солдатская масса — это величайшая помеха, крайне вредный и весьма реакционный элемент нашей революции, хотя именно участие армии и обезпечило её первоначальный успех. Общая вредность в том, что это была форма вмешательства крестьянства, его незаконное, глубоко вредное проникновение в недра революционного процесса, который должен был принадлежать одному проле-

тариату. Хотя крестьянство и представляло собою, увы, большинство населения, но, жадное до одной лишь земли, направляя все свои мысли к укреплению лишь собственного корыта, крестьянство вполне имело все шансы продремать главную драму революции и никому бы не помешать. Пошумевши где-то в своей глубине, подпаливши сколько-то соседних усадеб, поразгромив помещичьего добра, — получило бы крестьянство свои желаемые клоки земли и утихомирилось бы в своём идиотизме сельской жизни. Но из-за того что шла война и крестьянство было одето в серые шинели — оно вот тут, над самой колыбелью революции, стояло неотступно, тяжкой массой, и все с винтовками! — с ним легче было говорить о наступлении, чем о мире. Даже здесь, в Петрограде, солдатская масса просто не позволяла говорить о мире, просто на штыки готова была поднять каждого как «изменника» и «открывателя фронта».

Было отчего возненавидеть эту солдатчину и с тоской видеть, как непроглядные мужики в серых шинелях забивают собой думские залы — и в них тонут лица передовых пролетариев!

И вот: надо было так составить воззвание, чтоб и эту солдатчину не перепугать и не оттолкнуть.

Вчера днём так получилось: Гиммер мучился над своим текстом, а тут прислали готовый текст от Горького. И решительно не было ни единого тихого уголка во всём Таврическом, где бы присесть поработать. И пришла такая парадоксальная мысль: всё равно везде шум, а отправиться на заседание солдатской секции в Белом зале, и там, в этом чужом окружении, может быть даже и лучше мысли придут: как же к этой серой массе подладиться?

А заседание, как всегда, от назначенных двух часов ещё не открывалось, не собрались, хотя кресла были все полны, кто дремал, кто ходил, курил, кто группами митинговал, — дремучая масса, можно себе представить, какие там глупости среди них выговариваются, как они растеряны от обстановки!

Но не толковать с ними пришёл Гиммер, а поднялся на секретарскую огороженную площадку, быстро согнал оттуда робкого солдата, сел, вынул из кармана трубку горьковского текста, потрёпанную складку своего — и стал работать, иногда отфыркиваясь от табачного дыма. Возвышенное положение над собранием както символизировало его роль направителя этого моря.

Стал читать — величественные красивые слова Горького просто накатывались как океанские валы! — но видно, видно было

сразу, что это превосходное воззвание не пойдёт, оно всё было в плоскости мировых культурных перспектив. Вставками, поправками? Нет, тут ничем нельзя было спасти дела. Итак, надо было продолжать на своих клочках подготовлять большой манёвр.

Тем временем собрание солдатской секции началось, но Гиммер долго не слышал его, даже и стука председателя-прапорщика Утгофа над головой, и доклада Скобелева, как он ездил в Гельсингфорс и что там. (Да ничего особенного там, разве во Французскую столько крови пролилось?) Потом долго доизбирали в свою Исполнительную Комиссию, уже человек за 80, ослы! — а попадали туда многие прапорщики, подпрапорщики да писари. Когда же пошли прения и Гиммер вслушался, то ещё раз изумился солдатскому идиотизму: они не могли подняться ни до какого крупного политического вопроса, а только о своих гражданских правах (а зачем они им нужны? вот, действительно, разбудили!), да в истерике размалёвывали тяготы солдатской жизни, и все по очереди одно и то же, а председатель-прапорщик подзуживал их, и так они разгорелись, что требовали отменить всякое вообще офицерство. Тут даже и Гиммер вчуже понимал, что это глупость, и Исполнительный Комитет из лояльности к правительству не мог бы согласиться.

Всё это сидение тут вчера только и убедило Гиммера, насколько безпросветно найти не то что общий язык с солдатами, но хоть какие-то выражения, сносные для их ума.

А над своим воззванием он терпеливо работал — и вчера до конца дня, и сегодня с утра. Признавали и другие товарищи, что воззвание Горького как ни красиво — а не пойдёт. И Гиммер корпел и ввинчивался в свою композицию, набок язык заворачивался от предчувствия, как это будет проходить в Исполкоме: справа ли, слева ли поддержат, — а противоположная сторона сразу загудит возмущённо. По лезвию, по лезвию — и можно протанцевать, надо уметь.

А сегодня Алексей Максимыч — и сам пришёл, хмурый, в Исполнительный Комитет. Гиммер забезпокоился, что Алексей Максимыч так заинтересован в своём воззвании и теперь ведь обидится, если сказать ему, что… Но нет, он не по воззванию пришёл, а было у него поручение от комитета художников: что вздорно решение Совета депутатов хоронить жертвы революции на Дворцовой площади: нельзя её разрывать, и нет там места, и разрушен будет архитектурный комплекс. А только — на Марсовом поле.

И потирал снизу усы в озабоченности, и смотрел на одного, другого деятеля.

Да Исполкому всё равно было, где хоронить. Но как раз шёл Чхеидзе в Белый зал председательствовать на рабочую секцию, сегодня там была очередь рабочих. Взял и Горького, пусть сам и обратится к массе.

Горький уверен был в силе своего убеждения. Пошли, проталкиваясь через стоящих, — и наверх.

Нельзя сказать, чтобы вход писателя был замечен залом, хотя и посадили его на секретарское возвышение.

Ещё заседание не началось, а зал уже был задымлен до тумана. Всё чёрная рабочая одежда.

Но Чхеидзе не мог начать, как хотел, потому что сразу и надрывно полезли со внеочередными заявлениями. Первый, Блейхман, от имени петроградских коммунистов-анархистов: немедленно убить всех арестованных старых министров. И отменить всё, что сокращает нашу свободу; и выдать им оружие и патронов, так как революция не закончена; и материальную поддержку. Следующий депутат: что хочет за подписью ста присутствующих товарищей немедленно огласить судьбу Николая II, и не только его одного, но всего царствующего дома, это экстренный вопрос! В широких массах рабочих и солдат, завоевавших для России свободу, возмущены, что низложенный Николай Кровавый, жена его, и сын маленький, и мать находятся на свободе, разъезжают по России. Почему мы должны узнавать, что Николай едет заниматься цветами в Ливадию? Немедленно потребовать, чтобы Временное правительство засадило всех членов дома Романовых под надлежащую охрану!

А после этого заговорил Чхеидзе торжественно, навёрстывая почёт, недоданный Горькому:

— Товарищи! Перед вами стоит человек, который вышел из вашей среды и показал миру, какая мощь и творческие силы заключаются в пролетариате.

Слегка похлопали, как каждому, но не поняли, кто такой.

— Это Алексей Максимович Горький! — гортанно нагонял Чхеидзе своё упущение.

Горький стал напорно убеждать о месте похорон.

Хорошо слушали, никто не кричал против.

Горький отговорился, довольный, что убедил.

А стали голосовать — отказали. Не желают.

ДОКУМЕНТЫ — 16

СПРАВКА

Выдана причту Благовещенской церкви в том, что обысками 1, 3, 4 и 6 марта в церкви ничего подозрительного не найдено. Слухи о подземных ходах и оружии в церкви оказались неосновательны.

Председатель Василеостровской народной милиции *Соломон*

Секретарь *Каплун*

488

Комитет общественных организаций был в Москве как бы своё здешнее временное правительство — то есть уважаемые, всем народом излюбленные и выдвинутые общественные деятели (неприятно одёргиваемые только Советом рабочих депутатов). Правда, управлять они могли лишь одною Москвой, но сужденья иметь могли обо всех делах государственных, и так, например, вчера в пленарном заседании по предложению одного профессора обсуждали: почему царь Николай II находится в Ставке, почему Николай Николаевич назначен Верховным Главнокомандующим? И приняли резолюцию, что Комитет находит необходимым подвергнуть царскую семью личному задержанию. — Или о Московском военном округе, охватывающем 10 губерний, также было составлено ими суждение: ходатайствовать об оставлении командующим — милого Грузинова.

Пленарные заседания их последние дни обыкли проходить в старинном Английском клубе, давнем центре московского свободомыслия, к тому же очень удобном в отношении помещений, залов и хорошего ресторана. И сегодня к концу дня они все уже собрались там и заседали, когда среди сидящих прошелестела весть:

— Приехал! Приехал!

И председательствующий Прокопович тотчас прервал очередного говорящего и торжественно объявил:

— Товарищи! — (Это сладкое слово они уже употребляли вместо «господа».) — Сейчас мы будем иметь честь приветствовать…

И — двери распахнулись, и в них, как любимый публикою артист при появлении задерживается на миг дать разразиться руко-

плесканиям, встал Керенский (а за ним виднелся всё тот же Грузинов). И, о боже, что поднялось! какие бурные аплодисменты, какие клики «ура», «браво» и «да здравствует Керенский»! Много минут собрание просто не могло успокоиться. И растроганный министр всё кланялся, всё кланялся, благодаря.

Когда же все расселись и воцарилась тишина, то первым выступил новоизбранный комиссар Москвы Николай Кишкин, с растрёпанной бородкой, очень энергичный, некогда врач, но уже давно-давно видный общественный деятель.

— Я только что вернулся из Петрограда, вот в одном поезде с министром, и, — горячо, — могу засвидетельствовать, что если бы не было Керенского, то не было бы и всего того, что мы имеем, здесь и по всей России! И золотыми буквами должно быть записано его имя на скрижалях истории!

И поднялась овация ещё на пять минут.

Затем Кишкин вкратце пытался передать, что же делается в Петрограде.

— Когда я ехал туда, меня волновал вопрос, так ли всё чувствуют и понимают в Петрограде, так ли бьются их сердца, как наши? И вот, когда я встретился с князем Львовым, я задал ему первый вопрос: понимает ли он, что теперь нельзя идти старыми путями? Он ответил: «да, конечно», и что теперь все законы должны выходить из народной массы, что законодательствовать должен сам народ.

Затем Кишкин образно описал первые дни событий в Петрограде и что творится там сейчас. Москва легче перенесла, дружнее сорганизовалась, тотчас же после переворота забились все артерии её муниципальной жизни.

— В Петрограде другое. Он ещё не спаялся, в нём ещё дух растерянности. На Москве обязанность — зажечь Петроград! вдунуть в него жизнь! Мы должны отсюда ударить его свободным лозунгом. И мы, москвичи, совершим это, и результаты отразятся не только на России, но и на всём земном шаре. Русская революция двинет весь мир, и мы должны в это верить!

Как только произнёс он «земной шар» — так сразу закружилось, закружилось в головах, и представилось это величественное шествие революций по всей Земле, — и собрание залилось аплодисментами.

А самый-то главный юбиляр — но не забытый, нет, а в ожидании минуты своей, сидел у всех на виду в президиуме, в потёртой

загадочной куртке, поощрительно склоня свою умную голову с коротким бобриком, с голым лицом артиста.

— Я ещё не кончил, господа, — настаивал Кишкин сквозь аплодисменты. — При прощании премьер-министр протянул мне бумагу, и когда я её прочёл — я сказал: «Свершилось!» Это была бумага от генерала Алексеева, где он от имени низложенного царя просит князя Львова разрешить ему взять семью и уехать в Англию. Вы видите: революция победила!!

О, едва он это произнёс! О, что поднялось в зале!

И, как на пенистых волнах, над собранием взнёсся Керенский. Уже казалось, ничто не могло быть сильней, но это ожидалось ещё сильней!

И какая тишина наступила! Но в ней, увы, министр уставшим слабым голосом попросил разрешения говорить сидя.

Но и сидя — он некоторое время молчал, даже сидя не мог говорить — таково было истощение народного героя. Дальние ряды встали, чтобы лучше видеть гражданина народного министра, и даже стали взлезать на кресла, чего никогда не знал Английский клуб. Тишина становилась всё напряжённее, всё напряжённее, уже просто невозможно, только скрип кресел. Все взоры были обращены на министра — худощавого молодого человека с измученным, бледным лицом и воспалёнными, но полными энергии, да, полными энергии глазами. И вот наконец он заговорил слабым голосом:

— Граждане Москвы… Как только оказалась возможность, Временное правительство послало меня сюда. Нам и мне хотелось поскорее увидеть своими глазами, что творится здесь, в сердце России. Я должен сказать, я поражён Москвою. И по возвращении в Петроград передам Временному правительству моё восхищение всем виденным у вас.

Немного он оживал от слабости.

— Позвольте мне — не говорить речь. Такое ли время сейчас, чтобы говорить речи? Я просто передам вам, что происходит в России. Отовсюду к нам поступают сообщения, что Россия охвачена единым желанием освободиться от старого строя. Нам кажется, что опасности контрреволюции уже не существует.

Вздох облегчения в зале.

— Говорят, необходимо обратить самое серьёзное внимание на царскую семью. Эти опасения смешны. Нам самим пришлось оказывать помощь всеми покинутым детям бывшего монарха, по-

слав им сестёр милосердия и врача. Я могу определённо сказать, что вся старая власть отдала себя в наши руки. Мною уже организована Чрезвычайная Комиссия для расследования действий старой власти, которая откроет перед страной полную картину разложившегося режима, и мы заклеймим его. Картина повсюду исключительно отрадна. В последние дни, правда, сознаюсь, мы пережили один ужас: в Балтийском флоте разгорелись было волнения. Мы — тотчас же направили членов Думы, я лично говорил по прямому проводу с матросами, и в результате всё стихает и ликвидируется. Министр земледелия вчера сказал мне, что продовольственный вопрос теряет свою остроту. Финансы укрепляются, ибо заграница обещает нам любую финансовую поддержку. Организация транспорта находится в таких верных руках, как Некрасов, и этого достаточно, чтобы с уверенностью глядеть в будущее.

Так уже не было и никаких безпокойств? Нет, всё-таки были:

— Единственно, что меня теперь отчасти безпокоит, — это Петроград. Если можно так выразиться, то, уехав из Петрограда в Москву, я как бы из тёмного душного каземата попал в просторный зал, наполненный воздухом и светом. Конечно, в Петрограде всё постепенно смягчается, но безчисленные учреждения департамента полиции, пронизавшие столицу насквозь, не дремлют. Например, каждую ночь в городе появляются бронированные автомобили и расстреливают наших милиционеров, исчезая безследно. Стараются развить свою деятельность и провокаторы. Нам известно также, что принимаются определённые меры и против некоторых членов Временного правительства.

Некоторых!? Его-то в первую очередь, конечно! Террор — против революционера? Поднять руку на народных избранников — о, какое же злодейство! Так вот ещё отчего был устал и разочарован этот голос, теперь дорогой всем нам:

— Я предлагаю общественным организациям Москвы устроить ряд поездок по провинции и в Петроград. Необходимо напитать их волей и духом нации.

Кажется, нашло отклик, пробежало по рядам: а что? и поедем! Напитаем.

Наконец и о себе:

— Я вошёл в правительство против единогласного постановления Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов, — вошёл потому, что я знал, что именно нужно стране: идти к Учредительному Собранию. В правительстве я — единственный предста-

витель демократии, но должен сказать, что мы действуем солидарно. Всякое предложение по социалистической программе принимается без возражений. Мы все решили забыть нашу партийность. Я это говорю откровенно, в порядке моих личных впечатлений.

Так и не нашёл сил встать, так и говорил сидя. Уж вытягивались, уж крутили головы, чтоб не упустить его движения.

— О себе же должен сказать, что мне выпала тяжёлая доля направить по нужному пути министерство юстиции. Но я — не изменю своим принципам. Мои принципы — это вера в человека, вера в человеческую совесть. И вы знаете, когда мы не спали в течение шести суток, когда мы не знали, стоит ли день или ночь, — вот тогда мы и увидели, что такое человек и человеческая совесть.

(Слушайте, слушайте! Это поразительно!)

— И если, господа, дело пойдёт так и дальше, то мы создадим такую славу нашему государству, что голова кружится!

Сквозь аплодисменты Прокопович, надрывая голос:

— Не имеет ли кто вопросов?

— Наша просьба — долой смертную казнь! — закричали.

А доктор Жбанков, стоя на кресле, произнёс и длинней:

— Отмена смертной казни — мечта демократического мнения! Оно удивляется: прошло восемь дней революции — и почему казнь до сих пор не отменена?!

Министр выставил отпускающе руку, зал затаился и услышал:

— Акт об отмене смертной казни уже составлен, и по приезде в Петроград я его подпишу. Через три дня о нём узнает вся страна.

О вездесущий! Он и в этом успел! Заревели новые восторги, и уже не все слышали, как представительница Лиги равноправия женщин добивалась участия женщин в выборах Учредительного Собрания, а измученный министр отвечал ей, что он лично, конечно, сторонник равноправия женщин, но проведение принципа в жизнь может потребовать значительной технической подготовки.

Прокопович умолял наконец отпустить министра — ведь у него ещё несколько заседаний сегодня!

Его отпустили. Но тут же, до выхода из клуба, перехватили журналисты: что будет с Государственной Думой? (Функционирует. Он сам вчера выступал там.) — Соберётся ли Учредительное Собрание до конца войны? (Гораздо раньше.) — Как произошло отречение Михаила? (Сел на диван и нашёл силы рассказать подробно.) — Как с провокаторами? (Имеет ценные нити.) — Национальный вопрос?

Министр не мог не усмехнуться, но радостно:

— Господа! Сейчас такая масса работы, что нужно быть гением, чтобы выполнить её в короткое время. Но мы всё-всё-всё помним, и вопросы польский, еврейский, латышский, грузинский — все будут скоро решены!

У подъезда Английского клуба Александра Фёдоровича ожидала огромная толпа. Когда он появился, пошатываясь, вся эта тысяча обнажила головы и раздалось громовое «ура».

****

СУЕТЛИВ ВОРОБЕЙ, А ПИВА НЕ СВАРИТ

****

489

В захолустном Могилёве не могли и раньше создать парадности, только поддерживали Губернаторскую площадь. А теперь разливалась красная мерзость, загубляя и её. Писари, шофёры, техники, штабная челядь и георгиевские кавалеры ходили, бродили с красными лоскутами на грудях, на фуражках, или красными шарфами под кожаными куртками, в одиночку и группами, или стягивались там и сям модные *митинги*, где нахальные местные молодые люди выкрикивали: «самый свободный солдат!», «проклятье свергнутому режиму» и голосили к «углублению революции». И над городской думой и над казёнными учреждениями висели красные флаги, ещё, правда, пока не над зданьями Ставки. Честь ещё отдавали, но иногда, кажется, с замедлением, как бы ожидая, чтоб офицер отдал первый. И в одном облупленном здании заседал Совет солдатских депутатов. Алексеев разрешил созвать и Совет офицерских депутатов, и искать столковаться с солдатами.

И какой же был выход? Выход был не у Свечина, выход был у Алексеева: разогнать эту всю банду, вплоть до Петрограда, пока революция ещё не упрочилась. Хотя посланные полки вернули на места, но их можно так же легко двинуть снова — пока все фронтовые части, сотни полков, ещё не тронуты заразой, а Петроград — квашня, там силы нет никакой. И задача все эти дни облегчается тем, что Государь в Ставке, — можно Манифест отыграть назад с той же лёгкостью, как он был дан: Верховный вождь снова со своей армией и посылает её, куда хочет, какие препятствия? Немцы? Уверен был Свечин, что они сейчас не шевельнутся, хоть полфронта снимай. А ждать, что из новой власти разовьётся что-нибудь полезное, — никак не приходилось. Сидеть под этой новой слякотью — было оскорбительно.

Но — сам Свечин никогда не был водитель войск, а — штабной мыслитель. Он — понимал, а сделал бы кто другой. И над ним все были такие же — совсем лишний в Ставке Клембовский, и генерал-чиновник Лукомский, да такой же, в общем, и Алексеев, да такие ж его и Главнокомандующие — что Рузский, что Эверт, что Иванов, — все они безкрылые топтуны куропаткинской школы, удивительно все обминули скобелевскую!

Уже полтора года Ставка прочно сидела в Могилёве, с четырьмя вагонами одноконной плетущейся конки, с двумя кинематографами, множеством еврейских лавочек вокруг стен Братского монастыря, а извозчики поили лошадей у водонапорной башни, — впрочем, в губернаторском доме, где теперь Государь, когда-то революционерка стреляла в губернатора. Офицеры Ставки жили в реквизированной гостинице «Бристоль», имея собрание в переделанном кафе-шантане. Для минувшего спокойного года штаты были избыточны: в одной генерал-квартирмейстерской части без Лукомского 2 генерала, 14 штаб-офицеров и ещё несколько обер-офицеров. И прошлые месяцы не слишком были напряжены руки к работе, а теперь и вовсе ослабились, ото всей обстановки. Только убеждённые энтузиасты приходили вечером поработать до одиннадцати. Иные же и во время дневных занятий разговаривали о назначениях, о повышениях и наградах, о постороннем, почитывали газеты, рассказывали анекдоты. (А в дипломатической канцелярии и морском штабе даже складывали разрезные картинки.) Алексеев сам работал неотрывно, но другим замечаний не делал. Не делали и ниже, так оно и плыло. Только Гурко тут всех подстегнул и погонял.

Некоторые офицеры Ставки, особенно не служившие при Николае Николаевиче, но понаслышке, очень ждали теперь его приезда, надеясь на его крутой нетерпеливый нрав, как он Распутина обещал повесить, — неужели же смирится перед расслабленным Петроградом? Он — не размазня, как Алексеев. Иные повесили в кабинетах портреты великого князя.

Но не Свечин. Он-то хорошо знал, что великий князь — одна декорация.

А между тем продолжал оставаться в Ставке отрекшийся Государь, безцельно, — и уже начинал стеснять своих бывших подчинённых. Можно было встретиться с ним во дворе, на площади, на улице, — увеличивалась неловкая напряжённость. Распространялось в воздухе, что теперь предосудительно, если не опасно, выказать рьяную верность или почитание — показаться смешным? старомодным? противореволюционным? — это ощущение быстро входило, скрадывая впитанную вековую верность трону.

А раньше всего проявилось в обслуге. Передавали в Ставке, что придворный парикмахер отказался подбривать отрекшегося императора — и вызывали другого, из города. Самому Государю — не сказали, конечно.

Но хотя к стратегии ослабели все взоры — она продолжала нависать и жить, и кто-то должен был заниматься её выкладками, и это был генерал Свечин и группа с ним, отчасти по долгу, отчасти по интересу.

Вообще, в кампанию Семнадцатого года Россия вступала неузнаваемо снабжённой и уверенной. Но расстройства подстерегали со всех сторон.

Зимой война как будто и замерла, но не совсем. На несчастном Румынском фронте, губительном прирезке к русскому фронту, при румынской неразберихе общей и особенно в железных дорогах, куда вдаль не хватало нам подъездных путей, — ещё ползимы наступали немцы. Как изувеченный орган, хотелось бы этот румынский фронт даже отсечь от здорового тела, освободиться. Но напротив, в ноябре на конференции союзников в Шантильи (наши представители не ожидали, сплоховали) был принят совершенно идиотский план кампании 1917 года: все русские силы гнать именно туда, в это худое горло, на Болгарию, чтобы вывести из строя именно её. При хороших дорогах это, может быть, было России и выгодно, путь на Константинополь, но при нынешних…

Гурко, приняв должность, тотчас спохватился и деятельно боролся с этим дурацким планом, с этим насилием союзников над нами, как всегда, — но отменить его и получить равноправие наступать на главных немецких фронтах удалось лишь на петроградской конференции в феврале — и только с этого момента можно было планировать сражения на главных полях, а до того обязаны были вести подготовку в сторону Болгарии.

Когда же перенесли внимание на германский фронт, то выявились разногласия между Главнокомандующими: наносить ли один мощный удар и тогда на каком фронте? или несколько? Решено так и не было, и Главнокомандующие составляли каждый применительно к своему фронту. Но с прошлого года понравился успех Юго-Западного против слабых австрийцев, и это склоняло (и больной Алексеев прислал такую записку из Крыма) поручить главный удар снова Брусилову, а другим — подсобные.

Наконец с февраля пошла и эта разработка, как всегда не столько сводясь к увлекательным жирным стрелкам напробой линии фронта, сколько к числу людей, лошадей, штыков, сабель, орудий, снарядов разных калибров и типов, вагонов, паровозов, топлива, металла для ремонтных работ, рабочей силы, которой уже не хватало во внутренних губерниях России из-за чрезмерной мобилизации (тут грешил и Николай Николаевич, и Алексеев, и Государь), а значит — к привозу инородцев Туркестана, китайцев, персов, а затем же кормлению их всех в прифронтовой полосе, а значит опять — к подвозу, продовольствию, неубранному хлебу и заготовке дров.

А весь февраль ещё бушевали вьюги, прервавшие снабжение именно Юго-Западного фронта. И фронт дошёл до состояния, которого не бывало с начала войны: когда муки оставалось на 10 дней, сена-соломы на два, а зернового фуража даже меньше чем на день, и чуть прервись ещё подвоз — мог бы начаться падёж лошадей. (Если, конечно, верить донесениям Брусилова, а каждый фронт приуменьшает свои запасы.)

И вот — началась петроградская революция. Остановились, уже две недели, все главные военные заводы, прекратился поток снаряжения. Проволочить фронт ещё и через это расстройство — сильно удлиняло подготовку.

Свечин продолжал разрабатывать наступление — да будет ли оно?

Разгадывали и германские намерения: воспользуются ли нашим разбродом? Хотя и подвозили немцы боеприпасы к Северному фронту, кое-где аэропланы отметили подготовку дорог, — но ничего похожего на тот бум, как кричали газеты, пугая публику, что немец идёт на Петроград. Наша революция — им кстати как нельзя.

Но прикатила опасность не от немцев, а от дорогих союзников. Французское и британское командование в согласии назначили день общего наступления на Западном фронте — 26 марта, а наступление русских армий должно начаться если не в тот же день, то лишь короткими днями позже, чтобы не дать противнику распоряжения резервами.

Свечин только посвистал. Оставалось меньше чем три недели! Если бы не случилось революции — это было бы допустимо, хотя и с мятелями, перебоями, всеми сложностями затянувшейся зимы. Но — теперь?.. Если революционный развал пойдёт вот так и дальше — станет сомнительным не только *когда*, но и — вообще способна ли будет наша армия перейти в наступление?

Однако же и за горло брали союзники — и что теперь Алексееву отвечать? Как будет выворачиваться старик? — сегодня такой осунувшийся, больной, с захмуренным лицом.

Сегодня уходил Свечин на обед с тем, чтоб вечером не прийти.

Частная жизнь даёт нам выход изо всех безвыходных положений.

С октября он не ответил ни на одно взывающее письмо жены, а завёл себе тут расчудесную любовницу. И пошёл теперь к ней.

Она — полька была. Какие во всём мире бывают одни только польки. Кто не знает — тому не описать.

490

И наконец вчера — долетело родное дыхание от ненаглядной умницы Аликс! — всё, как металась она, как мучилась, — на пересложенных листках из подкладки шубы извлекла капитанская жена, — не боялась, преданная, привезти. Письмо от Аликс, и записочки от Марии, одной здоровой. Уединясь, целовал их. Три и два дня разделяли от писанья до прочтенья — а зияла целая проваль-

ная вечность. Павел привёз ей жестокую весть об отречении — но и та не сломила её мужественное сердце и тем более не нарушила её обычное высокое понимание жизни: «Господь Сам милует и спасёт их». Вопреки событиям, она верила, что всё будет снова хорошо, и даже снова он будет на престоле.

А что? Всё может быть. Всё в Божьих руках.

Главное, верно замечала Аликс: он не нанёс ущерба самой короне. Пожалуй, он это и чувствовал, — но сказала первая она.

И даже на следующий день, когда в Царское Село новости приходили всё хуже, арестовывали офицеров близ самого дворца, заменяли их выборными, — Аликс верила, что войска очнутся.

Она не верила другому: что их куда-нибудь, когда-нибудь отпустят. Эти дни и Николаю казалось странно: ведь он — частное лицо, почему не пускают ехать? Но вот — отпускали. Пришло разрешение от правительства на его вопросы о Царском Селе и об отъезде в Англию. От самого Георга ответа ещё не было, — но какой может прийти, кроме самого радушного? И Хенбри Вильямс уверен, что английское правительство не будет возражать против приезда русской царской четы.

И скоро, осиротевшие, они будут тихо грустить где-нибудь на широкообзорном балконе Виндзора.

Боже, сколько свежести и сил добавилось от драгоценных писем! Обняло душу. Снова можно жить. Обогащённый, взволнованный, Николай гулял в садике раз и второй раз, выхаживался.

Своими письмами Аликс разрешила его от прошлого — поняла и простила, без его объяснений.

Переполненный, как отблагодарить, придумал такую телеграмму (теперь поучишься хитрости!): «*Благодарю за подробности*», — и она догадается, что дошли тайные письма! Остроумно. И ещё, о чём можно: «Здесь совсем спокойно», — значит, нет дерзких наскоков, оскорблений — да и революции самой нет. «Старик с зятем наконец уехали в деревню», — пусть порадуется за старого Фредерикса, облегчится сердце хоть за них двоих.

Хотя на самом деле, нет, не легко добраться нам до успокоения: сегодня передал Алексеев, что Фредерикс арестован в Гомеле. Бедный, бедный, дряхлый! С каким сердцем могут арестовывать такого? И откуда такая ненависть? И в чём он виноват?..

В Могилёве было спокойно, да, — только очень тоскливо. Невыразительные лица свиты не располагали ни к какой откровенности. Да и не привык Николай ни на кого — кроме жены и мате-

ри — перекладывать свои страдания и обиды, никому открываться. Да что он успел усвоить от отца, так именно эти качества монарха: самообладание и спокойное достоинство.

И как же эти дни облегчила Мамá своим приездом! Как уютно завтракали и обедали с ней, и проводили вечера. Последние годы мнилась натянутость между Мамá и Аликс, Мамá многое не одобряла (Аликс же никогда не осуждала её) — но вот всё снова было хорошо, прощено и понято.

А сегодня с утра явились в губернаторский дом два совсем юных офицерика — один конвоец, другой лейб-гвардии Московского полка, — каждый ещё с одним многосложенным спрятанным письмом от Аликс! Они добирались пять дней! — им трудней, чем женщине, в офицерской форме нельзя было ехать свободно, пришлось переодеваться. Сперва поехали во Псков, добились, что их принял Рузский, и сознались ему (напрасно), что везут письма от государыни к Государю. Мерзкий Рузский только усмехнулся: «Поздненько, господа». Наконец добыли солдатские шинели и ехали под видом «революционных хулиганов».

Эти письма оказались ещё на день раньше — ещё в самый день отречения, ещё в большем жару и неразберихе, но в верном предчувствии — как же безошибочно сердце Аликс! — что хотят Государя куда-то заманить и дать подписать какой-то ужас. Писала о растерянности Павла, о гадостях Кирилла.

Вспомнить своё безсильное, безвластное положение тогда у Рузского — действительно в западне, — было мучительно и стыдно. Но за минувшие дни Николай так уже отъединился от прежней власти и возвысился в такое чистое настроение — он, как покойник, потерял уже способность на кого-нибудь обижаться. Чтó была ему эта вся власть? — разве когда-нибудь она служила ему источником радости? Всегда только в тягость. Чего стоили ему одни только эти увольнения и снятия с должностей — каждый раз как убиваешь человека. Сам для себя — Николай ничего не потерял с властью.

Освобождённый от власти, он уже и не мог радоваться провалу своих бывших врагов. В обезумелом вихре второго марта выражала надежду Аликс, что Дума и революционеры отгрызут друг другу головы, пусть они теперь попытаются потушить пожар. А Николай — не хотел теперь неудачи новому правительству, напротив — удачи, хоть пусть и припишут его неспособности, а своему таланту. В том и был весь смысл его отречения, чтобы поско-

рей наступил покой в русских сердцах и по лику Руси. Если бы покой не воцарился — то значит, он отрекался зря.

В эти уединённые дни — то в успокоительную мятель, как вчера, то под мягко падающим снегом, как сегодня, в эти тихие ставочные дни, когда в его дом не доносилось ничто из кипевшего в соседнем штабном, ни петроградские агентские телеграммы, он и сам их не хотел, а только безличные, ни к кому не обращённые, спокойные сводки о том, что фронты дремлют, — в эти дни Николаю всё больше излюбливалась такая высокая прощающая точка зрения, когда не видно подробностей на каменистых сегодняшних тропках, а через горные цепи и горные цепи открывается голубой туман величественного будущего. Что он отдал власть в государстве — уже нисколько не щемило его. Главное — он не примирился ни с чем, чему противится совесть.

Ничтожны мы все перед Богом — и безсильны перед мировыми событиями.

Пусть поведут Россию эти образованные самоуверенные люди, пусть. Может быть, они на то и имеют право.

В этом новом высоком настроении Николай нашёл в себе решимость встретиться уже не только с Вильямсом, но и с остальными шестью военными представителями союзников. Теперь он поборол в себе боль о прошлом, неловкость пережитого падения, отпал стыд, и оказалось вовсе не тягостно. Все представители были участливы, с глубоким пониманием. А серб — плакал.

Боль доставляла ему единственно — передача Верховного Главнокомандования. Особое, исключительное место, к которому Николай считал себя рождённым и так тянулся. Ревновал он — к Николаше. Как и в Четырнадцатом, как и в Пятнадцатом году, всё сталкивала их судьба на этом единственном месте — кому вести вооружённые силы России, — и никак не получалось на двоих, а кто-то кого-то должен был вытеснить. Сейчас — даже губернаторский дом невозможно было поделить, Николаша явно затягивал свой приезд, чтобы дать Николаю уехать. И Николаю невозможно было медлить здесь дольше. Встречаться — никак не хотелось.

Но и эту последнюю ревность — к Николаше, Николай старался в себе пересилить.

Да, вот уже подошла и грустная пора — уезжать. Перед вечером пришёл добрый Алексеев объявить, что завтра будет приготовлен поезд — и удобно ехать, никаких препятствий больше нет.

Так и всему, всему на свете наступает конец. Сегодня после чая Николай со щемящим чувством стал укладывать вещи — свои и сына, которому уже никогда сюда не приехать, никогда тут не играть. А он любил…

В доме кое-где начали укладывать дворцовое имущество — сервизы в ящики, упаковывали старинное чайное серебро, сворачивали ковры.

Всегдашняя тоска от разорения гнезда.

Печально собирался Николай, но внутри него нарастало другое — самое высокое прощание, — не с губернаторским домом, не со штабом, не с Могилёвом, — но со всею 12-миллионной Армией, — и кто сидел в окопах, и кто подпирал фронт изблизи, и кто шагал в маршевых ротах, и кто лежал по госпиталям и ехал в санитарных поездах, и кто ещё только обучался в запасных полках, — со всем этим единым могучим, храбрым существом, так преданным ему до сих пор, как большой добрый зверь.

Душа не давала обминуть это самое главное прощание.

А состояться оно не могло иначе, как приказ бывшего императора к своим войскам.

Это — не сегодня впервые, это уже несколько дней в Николае созревало.

И, предвидя, что даже за несколько дней мог измениться воздух, сама терминология, и не желая неумышленно резать уха, Николай просил Алексеева — нельзя ли прислать ему эти новейшие «приказ № 1» и «приказ № 2».

И сегодня от Алексеева прислали их — тщательно отпечатанные на лучшей «царской» бумаге, держимой в Ставке лишь для документов, идущих на государево рассмотрение.

Но оба «приказа» оказались и по смыслу бред, и по форме своей невоенной, и даже особенно разила их нелепица, будучи отпечатана на царской бумаге.

И не стал Николай расстраиваться, вникать и отемнять свою душу.

Нет, никто не нужен был ему в помощь, чтобы найти слова к нынешнему моменту. В его новом состоянии слова эти были удивительно понятны, сами лились, — он записывал их по фразе, ещё потом вынашивал на прогулке в садике.

…В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска! (И слёзы застилали — непереносимо.) В последний раз… обращаюсь к вам… Да поможет Бог новому правительству вести

Россию по пути славы и благоденствия… Да поможет Бог вам, доблестные войска, отстоять нашу Родину от злого врага… Уже близок час, когда Россия со своими доблестными союзниками… Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы… Кто думает теперь о мире — тот изменник отечеству, предатель его… Повинуйтесь же Временному правительству… слушайтесь ваших начальников… Да ведёт вас на победы святой великомученик и Победоносец Георгий…

491

Великий князь Андрей Владимирович не участвовал прямо в убийстве Распутина, но о разных заговорах толковал и с братьями, Кириллом и Борисом, и с другими великими князьями, и в январе по желанию Государя должен был недобровольно уехать из Петрограда в вакации на Кавказ, где в Кисловодске уже и лечилась его мамá ото всех великокняжеских расстройств этой зимы. И сюда-то пришли потрясающие вести из Петрограда, и единственное светлое — назначение дяди Николаши Верховным Главнокомандующим. Это одно давало надежду на исправление положения. К тому ж Андрей Владимирович послужил эту войну в штабах и считал себя военным. Очень ему захотелось повидать дядю Николашу до его отъезда в Ставку. И он помчался поездом в Тифлис. Но лишь потому ещё застал его там, что сборы тёти Станы и тёти Милицы затянулись, впрочем дядя так и не дождался их. Встретились с ним сегодня прямо на тифлисском вокзале. Вагон князя Андрея перецепили к поезду дяди. Тут был и Серёжа Лейхтенбергский, только что из Севастополя.

Из белого открытого роллс-ройса, проминувшего шпалеры войск, учащихся с красными флагами, полицейских с красными бантами, великий князь, ощущая, как все любуются его воинственным полководческим видом, изумительным ростом и сложением рыцаря, вышел на вокзальной площади, прошёл на перрон. Здесь ждала его провожающая группа — от городского управления, от наместничества, военные. Порядок поддерживался юнкерами.

Побеседовал с безпокойным французским полковником. Поцеловался с экзархом грузинской церкви. Поцеловался с генера-

лом Юденичем. (Не очень его любил.) Поцеловался с привычным Янушкевичем. Со ступенек благодарил всех за горячие проводы и доверие в победоносном окончании войны. Вошёл в вагон, уже полный цветов.

И из окна чуть помахивал, чуть помахивал четырьмя пальцами кисти, передавая кивками горделивой головы, как он всё знает, всё понимает, всё сделает.

И — покатил, покатил поезд живописнейшей дорогой под солнцем — сперва зелёным раем Закавказья, затем скалистым узким набережьем, через правые окна — Каспийское море, через левые — отроги объезжаемого Кавказского хребта.

Вскоре после отхода поезда дядя Николаша позвал князя Андрея к себе. В полузатенённом салоне он сидел за столом — в своей манере, сохраняя и сидя всю воинственность и готовность вскочить, — и пил прохладительное, холодный гранатовый сок. Показал Андрею сесть и сразу:

— Я рад тебя видеть. И рад, что ты с мамá в Кисловодске. Повелеваю тебе там и быть. До моих указаний никуда на фронт не уезжай. — Дядя уже чувствовал ответственность и распорядительность за весь императорский дом. — Всему семейству правильно оставаться на тех местах, кто где есть. Однако я конечно не могу ручаться за вашу безопасность. — И своими крупными прорезистыми, выразительными глазами, такими яркими и в команде и в гневе, тогда чуть с безуминкой, он повёл: — Меня самого могут арестовать каждую минуту.

— Как?? — подскочил Андрей перед Верховным.

Живое лицо дяди Николаши умело выразить многие оттенки, вот — полновстречие ударов судьбы, а острые концы усов и всегда выражали настороженность.

— Да, — произнёс он могильно. — Знай. Всё может случиться даже со мною самим. Я ещё не уверен, что мой поезд пропустят и я доеду до Ставки.

— Да что же? дядюшка?! — напуган был Андрей уже до крайности.

— Вот так, — говорил Верховный мрачно, как проиграв сражение, и нагоняя ещё новую мрачность. — Что делается в Петрограде — я не знаю, но там всё меняется, и очень быстро. Утром, днём и вечером — всё разное, и — всё хуже. И — всё хуже. И — всё хуже! — говорил он с расстановкой и с ударениями. И всё мрачнее выглядел.

Князь Андрей так и захолонул: а он-то ждал от дяди избавления всей России, а также императорского дома. Но если — настолько всё хуже и так быстро в один день?

В этом нервозном состоянии, отпивая гранатовый сок со льдом, стали вспоминать февральские дни.

— Скажу тебе под глубоким секретом. Несносный Колчак предлагал объединить фронты и противостоять новому правительству. Это что-то невозможное! Я отверг!

Сидел с гравированным лицом, смотрел в окно.

— А по приглашению Алексеева я советовал Ники отречься. А он мне даже не ответил. Его манера, ты знаешь… А ведь я ему говорил! Я всё ему говорил! — то сидя, то ходя рассуждал дядя Николаша. Его длинные ловкие руки так и изламывались, то в локтях, то в кистях, и застывали на мгновение, выражая извороты фраз. — Последний раз, 7 ноября, в Ставке я разговаривал с ним преднамеренно резко, желая вызвать его на дерзость! Но ты знаешь его: молчит, пожимает плечами. Я ему прямо сказал: «Мне было бы приятнее, чтоб ты меня обругал, ударил, выгнал, чем — твоё молчание. Опомнись, пока не поздно! Дай ответственное министерство — пока ещё время есть, а потом уже не будет!..»

Стоял во весь рост и щурился орлино:

— Но ведь ему насказала Алиса, что я хочу захватить его трон! Потому он и отправил меня на Кавказ. Спрашиваю: да как же тебе не стыдно было поверить? Ведь ты знаешь, как я тебе предан, я воспринял это от отцов и предков!.. А он всё молчит. И тогда — я понял, что всё кончено. В ноябре я потерял надежду на его спасение. Мне стало ясно, что рано или поздно он корону потеряет.

И с тех пор… Ну да что там!.. Он шёл против всего общественного мнения России — в ослеплении доказать твёрдость своей власти. А ведь он — и не виноват. У него чудное сердце, прекрасная душа. Но не могли терпеть — *её*! Она его и погубила. А теперь в газетах распространили, что у неё нашли проект сепаратного мира. Вздор, конечно, но её могут и растерзать. Народная ненависть накипела.

Дядя Николаша грозный ходил по салону, народная ненависть заразила и его.

Постепенно успокоился и признался, что большое облегчение испытывает: успел получить от Алексеева телеграмму, что Ники из Ставки сейчас уезжает. Хорошо. Никак не хотелось бы теперь встретиться с ним.

Вот ведь: захватил себе пост Верховного по несправедливости — и наказан. Всего лишился. Божья воля.

Ничего, ещё всё можно будет исправить. Россия — любит дядю Николашу. Армия — обожает его. Общественное мнение — всегда за него, как было в Девятьсот Пятнадцатом. У всех вера, что он приведёт их к победе. И — приведёт!

— Да вот сейчас, за день до отъезда, были у меня два грузинских социалиста. Из самых крайних левых, конечно. И что ты думаешь? Вошли — извинились за свои костюмы. Называли меня — только «ваше императорское высочество». Откровенно говорили: всю жизнь мечтали о социальном перевороте. Но их мечта была — конституционная монархия, а не теперешняя анархия. Этого — они никак не хотели! И они не допустят до республиканского строя: Россия к этому ещё не созрела. Что ты думаешь? — и с социалистами вполне можно иметь дело.

Смотрели в окна. Менялись пейзажи, полугорные, зелёные. Шёл поезд, шла жизнь, уводя их в будущее. Хорошо думается в поезде, на его ходу.

— Постепенно я всё налажу! У меня — будут по струнке! — жесточел дядя Николаша. — Твои братья… Я буду откровенен как всегда. Явка Кирилла в Думу — всех возмутила. Это — пакость. Если бы после отречения — ну, допустимо. Но — *до*? Долг чести и присяги! Какой же он офицер? Переходить на сторону врагов Государя? Где же кровь наших предков? Где сознание достоинства? А — Борис? — Дядины глаза засверкали молниями. — Как будто симпатичный мальчик, а на самом деле говнюк. Какой он походный атаман? Его имя среди всего казачества стало ругательным, проклятьем. Где бы он ни проехал — смрад оставляет. Мне представили счёт парохода за его проезд из Энзели в Баку. Весь переход — 12 часов, а счёт на 10 тысяч рублей. Масса вина и… Если всё такое подтвердится в Ставке — я его от походного атамана отставлю, хватит позора! Распутник! Такую славу я не могу терпеть. И династия тоже. Конечно, уход совершим деликатно. Подаст рапорт — по здоровью. И я — *повелеваю*! слышишь? — дядя прокатил большими овальными глазами, и движение одной кисти у него было, как останавливал бы полк на параде, — чтоб ни Борис, ни Кирилл не заявлялись в Кисловодск к мамá. Ты это уладишь, найдёшь необидную форму. Теперь мы все должны быть очень осторожны, очень!

Андрей слушал с почтением и восхищением. Он привык уважать военный чин, а ещё соединённый с неподкупностью и власт-

ностью, как у дяди. Он верил, что дядя — спасёт всех и вся. Но всё-таки в отношении большого их семейства дядя многого не знал, тут, в кавказском отрыве, он не пережил этой раздирающей зимней истории после убийства Распутина, — а с Андреем Кирилл да и Дмитрий были советчики чуть не каждый день.

Время расстилалось, и Андрей стал рассказывать дяде всё, всё.

Тут получилась растрава. Государь был накалён против семейства разными слухами. А Аликс, конечно, не упускала случая разжечь. И как же не стыдно было поднять шум из-за убийства такого грязного негодяя! На совещании с дядей Павлом решили: требовать от Ники дело прекратить, никого не трогать, Дмитрия оставить в Усове, в противном случае — могут возникнуть самые невероятные осложнения! И Сандро отправился в Царское, но не добился освобождения ни Дмитрия, ни Феликса. Тогда всё семейство собралось у мамá подписать коллективное письмо Ники, поставили 16 подписей, — но на Ники и это не подействовало, он ответил с поразительной логикой: «Никому не дано право заниматься убийством, знаю, что совесть многим не даёт покоя, удивляюсь вашему обращению»! Так он намекал на всю великокняжескую семью, что и другие замешаны! А сами — устроили скандальное ночное отпевание Распутина в Чесменской богадельне, — и Аликс, одетая сестрой милосердия, поехала присутствовать. И ещё скандальней — задумали хоронить его труп в Фёдоровском соборе! — гвардейские офицеры клялись, что ночью выбросят тело вон! — потом решили хоронить в часовне на земле Вырубовой. А бедного Дмитрия — выслали в Персию.

И что же за совпадение! — именно вот этой железной дорогой, только навстречу, Дмитрий и ехал совсем недавно, обливаясь слезами. Он нежный, слабый, какая жестокость сослать его в Персию! А невинного Николая Михайловича за промахи слабого языка — так внезапно погнать в деревню! На Новый год весь Петербург перебывал у него, прощаясь. Нет, дядя Николаша, мы должны забыть семейные распри и в нынешний опасный момент быть все солидарны!

Увы, увы, мой мальчик. Это — Александр покойный разбил семью, и нам уже никогда не объединиться. (К нему лично дядя Саша был очень несправедлив: исключил из свиты, лишил вензелей, сделал задвинутым генералом.)

На больших остановках собирались толпы — приветствовать проезжающего великого князя, — и дядя Николаша выходил на площадку со своей безподобной строевой выправкой — бросал

несколько слов, — и всё отзывалось в «ура». Да что за порода представительная была в нём — каждым движением и каждой неподвижностью — воин! Как выразительно он олицетворял династию! Видя его, не могла толпа, не могли солдаты не верить в победу! В Пятнадцатом году все его армии отступали без снарядов, позорно гонимые, — кого угодно тогда бранили, но только не его, невозможно было подумать о нём худо, он лишь возносился! О нём рассказывали легенды: в одном месте успел раскрыть измену, в другом — расправился с генералом за его леность и плохое обращение с солдатами. Народ жаждал вождя и героя!

Дядя Николаша очень возбудился триумфальными встречами на станциях, потвердел, повеселел.

Князь Андрей уходил из вагона дяди Николаши, снова приходил, обедали вместе, ещё и князь Орлов, тучный, с вельможными повадками, Влади, как звали его все великие кнзья. Многие годы он был крайне близок к Государю, начальник военно-походной канцелярии у него, ближайший советник, — но потом отдалялся, и даже в опалу, извержен был из свиты тогда же, когда дядя Николаша из Ставки, и вместе с ним приехал на Кавказ помощником Наместника. И так они сжились, что вот дядя Николаша тянул его с собою в Ставку назад.

Свечерело. В сумерках, а потом в темноте поезд трубил между Каспием и Хребтом, под утро князю Андрею надо было отцепляться в Минеральных Водах, — попрощался с дядей Николашей, но долго не спалось, а под ровный стук поезда в своём вагоне долго беседовал с Влади.

Орлов вспоминал Манифест 17 октября, как Фредерикс, да все были согласны с Витте и уговаривали Государя подписать, а Влади умолял не подписывать: если и уступать, то не сейчас, когда вынуждают. Но уговорили и Трепова-труса, — и акт был подписан. В тот вечер все разъехались, а Государь просил Влади не покидать его, сидел в кабинете с поникнутой головой, и крупные слёзы падали на стол: «Я чувствую, что потерял корону, теперь всё кончено». А Влади уговаривал его: «Нет! Ещё не всё потеряно! Только сплотить всех здравомыслящих, и ещё можно дело спасти!» Но вот — не сплотили.

Сколько помнил князь Андрей — дядя Николаша тоже был там в те дни и тоже уговаривал подписать. Но сейчас Влади не называл так. Он только выразить хотел то, что к потере короны давно уже шло.

Разговаривали по-французски. Князь Андрей спросил:

— Скажите, вы думаете — для него теперь всё потеряно? Он уже никак не вернётся на трон?

Орлов принял загадочный вид:

— Может быть… Но только без *неё*.

Поезд выстукивал, выстукивал в темноте — вещее.

— А скорей всего, я думаю, — великий князь.

— Вы думаете? — встрепенулся князь Андрей.

— Да. Он дал понять тифлисскому городскому голове, что — согласен возглавить Россию… Даже — ещё раньше всех событий.

— Ещё раньше??

У Андрея Владимировича была жилка историка-летописца, и он стал выведывать у Влади: когда же раньше? при каких обстоятельствах он мог говорить об этом с тифлисским городским головой?

Под клятвой и вечной тайной Влади открыл: ещё под Новый год голова приезжал с поручением князя Львова: если бы совершился переворот, то согласился ли бы великий князь возглавить Россию после этого?

И великий князь, видя, как безнадёжно идут русские дела, — едва-едва удержался от согласия.

В Ростове-на-Дону поезд великого князя приехала встречать и новочеркасская делегация, какой-то дикий есаул Голубов. Великий князь пожал им руки. Они рассказали о перевороте в Новочеркасске и что с собой сейчас привезли арестованного атамана Граббе, не сразу признавшего их Исполнительный Комитет. Великий князь согласился взять атамана к себе в поезд — и увёз.

492

Колчак мало сказать любил русский флот больше себя — он был впаян во флот. Не меньше военного — в полярный. Во все русские корабельные корпуса, бороздящие море. Флот — это единое, многосоединённое, быстродвижное живое существо. Сухопутная армия распадается на полки, роты, на людей, — вряд ли можно лю-

бить её такой цельной любовью, как флот. Колчак воскресал с каждым распрямлением Балтийского флота во время войны.

А получив отличный, стройный Черноморский — и не суметь спасти его вот сейчас? Не может быть. Не плестись за событиями, а стать впереди них.

Позавчерашний импровизованный сбор представителей от команд сказался неплохо. Доносили с одного, другого, третьего корабля: настроение улучшается. Команды заявляют, что надо воевать и подчиняться офицерам.

Настроение можно назвать: возбуждённо-мирное.

Балтийские события до сих пор почему-то не разнеслись по Севастополю, как не заметили их. И подробности не приходили, выручает, что мы далеко.

Полиции не стало, но по всему городу — воинские патрули. Повсюду честь отдают — безукоризненно.

И оставалась спокойною Керчь. И спокойно на Дунае.

Но достигнутый выигрыш может быстро растаять. Его надо теперь возобновлять.

Из Петрограда везли газеты с обезумелыми воззваниями рабочих и солдатских депутатов — о гражданских правах нижних чинов. Не подожгли с первой искры, бросали следующие.

А что это обещает — сверхсложной конструкции флота, где всё на математическом расчёте непотопляемости, непроницаемых перегородок, остойчивости, корпусных обводов, плавучих и скоростных качеств, законов навигации, девиации, — и на всё это хлынет толпа варваров и революционных невежд?

Правительству нужно было действовать не в днях, но в часах: что существующие законы остаются незыблемы до всяких нововведений. Но правительство — закисало, и метко угадывал в нём Колчак безнадёжную слабину. И слабина — в Ставке. А великий князь, отвергнув диктаторство, теперь где-то едет, едет — и тоже ничего не сделает, уже видно по первым пышным словесам приказов.

А Совет рабочих депутатов — будет совать огонь под паклю.

Но в воле Колчака, но в силе Колчака, но по уму Колчака — спасти Черноморский флот. Чтоб он не взорвался и не погруз, как «Мария». Сохранить в высоте развёрнутым свой флаг с Георгием Победоносцем в центре Андреевского креста. Перебыть, перебиться каких-то, может быть, две-три недели — и скорей вывести в море на операцию. Хоть — придумать операцию. (Да даже необходи-

мо провести демонстрацию силы перед Босфором, чтобы противник не считал нас в развале.)

А десант на Босфор — вытянул бы всё!

Необычна угроза флоту — необычно должно быть и решение, никакими тактиками не предусмотренное. Как его увидеть?

Не вышло мирному Югу стать против бунтовского Севера, — надо найтись и в новых условиях. Юг — далёк, Юг — обособлен, у него найдётся свой путь.

Вспоминал Колчак того рослого вислогубого матроса, которому так понравилось беседовать с адмиралом. Может быть — он и высказал истину?..

Это и правда была многолетняя грозная истина: пропасть между чёрной костью и белой, между матросом и офицером. И во всём нашем жаре возрождения и постройки флота это оставалось знаемой и непереходимой трещиной.

А сейчас — сами обстоятельства вели к тому. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Надо рискнуть!

Но как в движении корабля, так и в движении человеческой жизни должны быть положены строгие румбы, дальше которых ты сам себе запретил отклоняться.

Что значит командовать флотом, если в любую минуту он может перестать повиноваться? Если не определишь себе чётких границ — превратишься в мартышку на месте Командующего. Надо в чём-то уступить, да, — но второстепенном. А в существенном — всё держать.

Колчак обдумал и сформулировал три условия, при которых он спускает адмиральский флаг.

Если какой-нибудь один корабль откажется выйти в море или исполнить один боевой приказ.

Если будет смещён один командир корабля или начальник отдельной части — без согласия Командующего.

Если какой-либо один офицер будет арестован своими подчинёнными.

Ибо это говорится с почтением — «Народ», но мозг и нервы флота — офицеры, без них — паралич. Царь отрёкся — у офицеров осталось Отечество. Но если офицеры начнут уходить со службы — корабли станут мёртвыми коробками и не спасут отечества.

Эти три своих условия Колчак сообщил правительству и морскому министру (увы, уже подтвердившему часть «приказа № 1»).

Но пока ни одно из этих условий не нарушено, внутри этих жёстких линий, внутри этого треугольника он должен попытаться преодолеть заразное петроградское дыхание.

А оно разлагало быстро. Уже сейчас было ясно, что если какой-нибудь офицер наложит на матроса дисциплинарное взыскание, то нет сил привести его в исполнение. Заставить — уже нельзя было никого ни в чём.

Но — увлечь? Но — убедить? Каждый день набирать аргументов, чтоб заново и заново убеждать?

Задача — не невозможная, однако. Ведь офицеры превосходят нижних чинов и специальным знанием военного дела, и преданностью ему, и общим развитием. Даже если рухнет принудительная дисциплина — ещё этого всего может достать, чтобы вести.

Но и предвидеть, что не с доверчивыми нижними чинами придётся дело иметь, а и с теми как раз, кто и в мирное время грабил банки, взрывал дворцы, стрелял в министров и генералов, — с эсерами? вероятно с ними, кто там ещё? а какое гадкое слово, тут и сера, и нечистоты.

Так! В Морском собрании на Екатерининской улице адмирал приказал собрать всех офицеров флота, порта и крепости, морских и сухопутных. И ясно и прямо высказал офицерам: дисциплинарной власти не стало, и больше на неё не надеяться. Но войну продолжать надо — и остаётся патриотический дух, который не может не соединить офицеров с матросами. Быть может, революция усилит патриотизм и желание закрепить переворот победой? Значит, надо искать новые пути воздействия на команду, прилагать новые, небывалые усилия сплотиться с матросами душевно, разъяснять им правильный смысл всех событий, как это не делалось никогда, вести их понимание — и так удержать от безответственной политики.

После Колчака вышел говорить сухопутный генерал. Он не изошёл тех напряжённых аргументов, которые вы́носил в себе Колчак за эти два дня после смерти Непенина. Но стоял по-своему крепко: императорской власти не стало — патриот обязан выполнять указания новой власти, но власть должна быть одна и не расщеплена, для блага родины невозможно допустить никакой другой власти, рядом и неподчинённой. А посему, если Совет рабочих депутатов будет претендовать на власть — надо разогнать Совет!

Слишком откровенно. Другая опасность, от которой теперь предстояло Колчаку удерживать своих генералов.

Но требования Колчака были столь необычны, а генеральская давящая поступь, напротив, так понятна, — генералу очень хлопали многие кадровые.

Затем выступил начальник штаба десантной дивизии, молодой подполковник Генерального штаба Верховский. Это был типичный интеллигент, забредший в армию, переодетый в штабофицера, вся фигура с мягким извивом, и такой же голос со вкрадчивой зачарованностью, и очки интеллигентские, и мысли, но изложенные находчиво. Перенимая теперешний тон, он обернулся лягнуть «старый строй»: не было снарядов, а теперь совершилось великое чудо — единение всех классов населения, и вот во Временном правительстве рабочий Керенский и помещик Львов стали рядом для спасения отечества. А в петроградском Совете рабочих депутатов заседают такие же русские патриоты, как и все мы здесь. Офицеры не имеют права стоять в стороне, предоставив событиям саморазвиваться, иначе мы потеряем доверие солдат. Родина у нас одна, и мы должны строить ту, которая вышла из революции.

Верховскому хлопали не кадровые, а младшие, офицеры военного времени, такие же интеллигенты, как и оратор. Но получалось так, что его выводы — о братстве и сотрудничестве с солдатами, сомкнулись с выводами Колчака. Тем лучше. Колчак своей сосредоточенной мощью, сухой фигурой, чуть переклонённой вперёд, — перешагнул все традиции и может быть — может быть? — схватил момент, как бьющуюся рыбу.

И в сошедшемся духе этих двух речей были выбраны уполномоченные от офицеров для заседания с уполномоченными от матросов и солдат. И с таким соединением уже нельзя было и медлить: от отдельного собрания одних офицеров все команды напряглись подозрением: не против них ли сговор?

И сегодня вечером, в этом же зеркально-паркетном Морском собрании, в этом же белом зале — вот, заседали вместе. И дико было видеть в офицерских рядах — сидящих простых матросов.

Живая, сильная, скользкая рыба билась в руках адмирала. Удержит ли?

Пока отлично. Поднимались на подиум матросы, держали необычные речи перед офицерами — и невынужденно заявляли, что обязуются подчиняться и продолжать войну со всею силой.

А тем временем снаружи послышался оркестр (марсельеза, конечно). Шли сюда! Что ещё такое?

Оказалось: двухтысячная толпа, смешанная, чёрно-матросская, серо-солдатская и штатская, ходили на вокзал встречать депутата Государственной Думы (какой-то социалист, ещё навезёт дребедени). Но поезд опоздал — и вот пришатнулись все сюда.

И среди них — были вооружённые. Зловеще, вне караула или патруля.

Тогда на широкий балкон Собрания, над колонным подъездом, вышли по сколько-то офицеров, матросов и солдат. И адмирал Колчак среди них.

Уже стояли сумерки — тёплого весеннего дня, в аромате цветения, обещающий южный вечер. Темно возвышался в стороне памятник Нахимову. Повевал мягкий ветерок с бухты. Толпа безпорядочно перепрудила всю улицу, лицами к балкону.

Оркестр вдруг заиграл— похоронный марш. И кто-то кричал: «Лейтенанту Шмидту». У них — была своя традиция.

И все, и адмирал Колчак, сжав челюсти, выстояли похоронный торжественно на балконе.

Потом с балкона стали говорить речи — сам адмирал, этот подполковник Верховский, у него убедительно получалось, ещё капитан 1-го ранга, лейтенант, солдат, матрос. Что все мы теперь — одна семья.

И в толпу — передалась эта настоятельная мысль. Что тут — нет врагов. Что, оставшимся без грозной власти и перед лицом жестокого врага, как же нам не объединиться?

И передалось — оркестру. И он хотел играть объединительное.

Но — национальный гимн, и слова Жуковского, «сильный, державный царь православный», — это было теперь отрублено.

И заиграли — «Коль славен», никто и не зная толком, что это шведский лютеранский хорал.

Но такова была сила рождённого доверия, — на балконе стояли «смирно», а в воинственной толпе стали опускаться иные на колени — на тротуар, на мостовую.

На быстро темнеющем небе выступали первые звёзды.

На городском холме зажигалось единственное в мире очертание севастопольских огней, треугольник главных улиц.

Высоко на горе мигал военный маяк.

По рейду скользили шлюпочные огоньки.

493

Укатали-таки вчера Гучкова депутаты: ночью пошаливало сердце. То останавливалось, то нагоняло учащённо.

Поднялся поздно, и на целый день осталась мрачность. Уже всё кряду воспринималось дурно, и даже если из каких гарнизонов доносили, что стало в порядке, — Гучков знал, что не в порядке, лгут, ещё всё развалится.

И действительно, из Брянска сообщили, что начальник гарнизона, уже признавший Временное правительство, арестован, и будто бы для его спасения. Из Тоцкого лагеря требовали, во имя спасения же народной свободы, удалить с постов некоторых генералов и офицеров. В Карсе вспыхнул мятеж — от того, что комендант крепости промедлил с признанием Временного правительства. Из Риги латышский член Думы настаивал снять с поста, ни много ни мало, начальника штаба 12-й армии, — иначе возможно народное волнение.

Лежали отчаянные телеграммы и от Рузского.

И как за этим угнаться, и как это всё предупредить? Что мог из Петрограда увидеть или оценить Гучков? Ему только и оставалось со всем соглашаться. Через голову Рузского телеграфировал в Ригу Радко-Дмитриеву, своему приятелю: временно устранить своего начальника штаба.

Что поделать!..

И хотя вчера так энергично разговаривали с Алексеевым по аппарату, — а позже ночью от него пришла новая телеграмма — это был тон жалобы и усталости: Алексеев не только не оказался взбодрен объявленным ему назначением на Верховного, но через несколько часов уже писал: «или заменить нас другими, которые будут способны…» Ещё удар! Не только, значит, предстояло тактично и быстро сменить Николая Николаевича, но и поставить взамен оказывалось некого? Алексеева тоже смещать?

Такой поворотливости Гучков не мог обезпечить. Всё это только ещё наслоилось на его мрачное настроение. Правительство было — ничто. Его министерствование — со связанными руками.

И так показались ему коротки все человеческие возможности…

И всё в этот день оборачивалось Гучкову мрачно, что и не должно. Изучал ли протокол вчерашнего заседания поливанов-

ской комиссии о ротном комитете и его наблюдении за ротным хозяйством, каптенармусом, фуражиром, кашеваром, взводными раздатчиками, — в отчаяние приходил от неохватимости той реформы, которую предстояло провести на ходу войны. Подписывал ли приятное назначение — профессора Бурденко, отходившего его год назад из смертной болезни, главным санитарным инспектором вооружённых сил, — всё равно настигала мысль о малости своих возможностей, вот опять и о сердце.

А ещё: вчера на правительстве поручили военному министру вместо угасшей царской присяги составить новую, в пользу Временного правительства. Понимал Гучков, что для простого набожного народа присяга важна и грозна. Вот, поливановские члены поднесли ему и проект, он его чуть подправил.

ЦК октябристов прислал Гучкову на одобрение партийное воззвание (все партии печатали, и октябристы тоже вынуждены были), — и только горечь прохватила его: сколько усилий уложил он в этих октябристов — а ведь не сбылась партия. У других почему-то клеится.

Утекали невозвратимые часы, невозвратимый день. Вручённая ему Армия содрогалась под ударами разрушительной агитации — а Гучков не только не мог запретить поток этих идиотских «приказов», но и вместе со штатскими революционерами «разъяснял». Утекали дни, а он не делал чего-то главного и даже не мог сообразить, что делать.

А шёл день — лишь к тому, чтобы ехать на вечернее долгое заседание Временного правительства.

Всего пять дней в этом правительстве, Гучков начинал его ненавидеть: сборище улыбчивых, вежливых калек, не способных стукнуть кулаком. Во всю жизнь порывистый деятель, никогда ещё Гучков не состоял членом более безпомощного объединения.

С сегодняшнего дня переехали от Чернышёва моста в хорошо знакомый Гучкову Мариинский дворец — не замусоренный, не заплёванный, как Таврический, не пострадавший в революцию своими парадными залами, разноцветным мрамором, бронзой, дорогими паркетами, коврами и лакеями, — и, поднявшись торжественной лестницей, минуя роскошную двухъярусную ротонду с верхним светом, потом опустясь в полуторное кресло за парадным столом под синебархатной скатертью, можно было, не знаючи, вообразить их действительно — членами властного правительства великой державы.

Гучков даже не пытался согнать с лица завладевшую мрачность, придать себе вид веры в их занятия. Он сел со сгорбленной спиной, свислыми плечами и посматривал.

Обсуждался важнейший вопрос: о воззвании. Гучков даже не вник: ещё новом воззвании? Или опять о вчерашнем? Сразу и к населению, и к армии, и чтобы для авторитетности подписали все члены правительства. И что надо бы в таком воззвании ещё выразить.

И нежный министр финансов, начав с удивлением ощущать себя не на праздничном посту, но в жестоком мире, просил, нельзя ли в воззвании начать готовить население к повышению налогов?

Нет, для воззвания, цель которого — объединение правительства с народом, это не подходит. Отложили.

А вот наконец поставлен в заседании и вопрос, который мог бы стать сотрясающим, самым напряжённым для правительства: об аресте царя и его семьи. Но, так хорошо подготовленный в кулуарах, теперь стараниями предупредительного князя Львова он прошёл совсем быстро, как второстепенный: с кем считались — уже обсуждено было частным образом, с кем не считались — того сопротивления не могло возникнуть.

Да ещё до решения кабинета уже было выписано распоряжение князя Львова четырём членам Думы ехать за царём. (В этом щекотливом вопросе удобно было пригородиться членами Думы.) И они уже были сейчас на вокзале.

Для военного министра вытягивался отсюда вывод, что надо завтра утром организовать арест императрицы с детьми в Царском Селе?

А почему, собственно, Гучков согласился этим заниматься? А хорошо бы и правильно заняться этим как раз министерству внутренних дел. Вот этому улыбчивому князю самому.

От военного министра ещё ждали новую присягу. Вот она.

О тексте почти не спорили. Скорей бы какую-нибудь.

Ещё спешили: поручить министерству юстиции ускорить судопроизводство по обвинению Сухомлинова в государственной измене. И расследование по Щегловитову, Протопопову…

Опущенно сидел Гучков и удивлялся: неужели когда-то его так волновало сшибить этого Сухомлинова?

Буркнул — что с армией плохо. И оторваны они здесь от Ставки.

Князь Львов с находчивой любезностью возразил, что Гучков ещё ни разу не соединился с Алексеевым в общем документе, в едином воззвании. А сейчас, как раз при новой присяге, такие соединённые голоса могли бы…

Чёрт его знает, может быть. Не думал Гучков, что полуграмотная российская масса могла быть увлечена воззваниями, и не ворочался язык ещё такое составлять, но так как другой никакой меры не виделось, так может и воззвание?

Совсем поздно он вернулся к себе в довмин, написал Корнилову распоряжение об аресте царской семьи завтра с утра, отослал с нарочным (по телефону этого нельзя было). И опять вызвал к прямому проводу Алексеева.

Что ни разговор со Ставкой, то всё тягость. Ещё держится ли он там, не развалился? И как передать ему по телеграфу всю щекотливость положения здесь? И как войти в щекотливость его?

О завтрашнем аресте царя слалась шифрованная телеграмма, об этом не по аппарату.

О Николае Николаевиче. Что никак не возможно менять решение, это уже не в силах правительства.

О воззвании?.. Трезвый Алексеев неожиданно оказался к этому отзывчив. У него была и такая ведущая мысль для воззвания: строить — на опасности от врага. Что Германия готовит страшный удар — и может быть прямо по Петрограду!

Это — сильное средство, да. В нынешней безпомощности правительства, правда, — чем другим проймёшь публику?

Да вы там, Михаил Васильич, и лучше видите, и у вас несменённый штаб Ставки, есть умелые перья, — уж пусть такое воззвание составит ваша сторона. Мол, невзгоды боевой жизни одинаковы для солдата и офицера, и пули и непогода одинаково их секут.

Алексеев согласился. Завтра же составит. И ещё непременно выразит: всякий, кто призывает к непослушанию начальству, — изменник отечеству, работает на пользу немцев.

Рассержен старик, довели.

Да, да. И можно: что отечество, родина нам не простит. И потомки нас заклеймят позором.

Может быть всё-таки: сильное слово вернёт нам наших солдат?..

А — что придумать другое?

494

Не давать оружия офицерам — так война начинается не против немцев, а против офицеров?

Нет, случилось нечто большее, чем Саня ощутил, когда Бойе положил перед ним отречный манифест. Что-то сдвинулось побольше — и непонятно что.

Третий год Саня да и все жили одним состоянием: что мир заполняла война и всякий выход в будущее был только через конец войны. И всякое событие к будущему могло произойти только вот тут, перед ними: пойдём ли вперёд или пойдём назад. Но вот они не шевельнулись, ни выстрела не раздалось, ни подумать не успели, — где-то далеко, косо сзади, что-то неожиданно повернулось — и у них тут всё сместилось.

И сразу — утерялся в их действиях главный смысл, как будто замутилась стереотруба, или отказала буссоль, или отсырели заряды.

Сегодня, чтобы принять решение о боковом наблюдательном, хорошо было бы повторять осмотр через каждый час, и так посидеть тут до вечера. И Саня повторял ежечасно, но нигде ничего достойного не наблюл — противник замер небывало и неподдельно. К концу дня растягивало белесость, небо яснело, холодело, за стволовическими тополями обозначилась закатная заря — не открылось солнце, но яркая желтизна протянулась горизонтальной полосой. Однако и с прояснением не подняли немцы нигде наблюдательной колбасы. Как бы прямо указывали на перемирие.

Предвидя, что тут придётся долго посидеть без дела, Саня принёс в кармане крохотный томик Пушкина из павленковского десятитомника — разрозненных три томика было у него, и он часто их читал.

И всегда вылавливал себе у Пушкина новое подкрепление.

И вся сегодняшняя революция не могла иметь на то никакого влияния.

Так сидел он в бурке на чурбаке и в слабом свете от смотровой щели почитывал маленький томик. А потом вставал и наблюдал в бинокль и в стереотрубу.

По мере заката перешла через розовость и полиловела и посерела полоса за тополями на холме.

Оставил Улезьку дежурить, пошёл. Сперва ходом сообщения, потом выпрыгнул наверх.

Ещё не сосмеркло. Подмораживало. Под сапогами сильно хрустел ледковатый снежок.

Вдруг — что-то толкнуло его в сердце: повернуться. Как будто он ощутил за собой неслышное присутствие, наблюдение, — кто-то был сзади и смотрел за ним.

Обернулся (хорошо что через правое плечо), — месяц молодой! Да тонюсенький серпок, еле высветился, только в такой небесной чисти и виден.

А близко сбоку от него — крупная яркая Венера.

А что-то есть тайное в лунном свете! Почему присутствие молодого месяца даже спиной чувствуешь как живое существо, так и ощущаешь, что небо не пусто? Ведь не свет же его заставил повернуться, света от него и нет ещё. А вот что-то от него излучается, толкает.

Шёл Саня ещё и суеверно довольный, что увидел месяц через правое плечо, ещё оглядывался. На фронте каждый месяц — долгое время, а то и решающее для тебя: твой месяц или не твой?

Натягивало чистоты и морозца. Ещё и не вовсе стемнело, но в небе проявились звёзды, даже и несильные. А на юго-западе так и вымерзали — чёткие, изголуба-зелёные: молодой месяц — и Венера.

И от этого мирного света небесного — в душе тоже расчищалось, легчало. Как-нибудь всё прояснится, установится, кончится. Начнётся же когда-нибудь жизнь как жизнь.

Война, как к ней ни привыкнешь, — а не жизнь.

На батарее сразу прошёл к Сохацкому. А тот, выслав сидевшего в землянке писаря, с большой таинственностью, с выразительно-нервным лицом достал папочку, раскрыл — а там лежал всего один машинописный листик: перепечатанный на машинке, видимо в штабе бригады, — всё тот же «приказ № 1»!

Штаб бригады теперь, секретным образом, доводил его до сведения только офицеров.

Понимая, что капитану будет неприятно, Саня сказал ему бережно, что — солдаты уже читают.

Капитана перекосило. Этот приказ, видно, руки ему жёг.

А командир батареи? — нету, отлучился.

Воротился Саня к себе в землянку — узнал, что Чернеге и Устимовичу уже тоже давали читать. (Да Чернега, конечно, и прежде

того читал.) Устимович сидел пил чай с сахарком, вытянув крупные ноги в мягких чувяках, — и всё так же млел одной надеждой, что теперь скоро наступит мир, с каждым таким новым приказом — ещё скорей. А Чернега был на уходе к своей бабе в деревню, теперь уже не к Густе он ходил, а к другой, к Беате, — весёлый, нисколько не угнетённый ни этим приказом, ни всеми новостями. И рад бы с ним Саня поговорить, да он — как шар укатчивый, колобок, всё в движении.

А хотелось — именно с кем-то говорить, понять из чужих голов, высказать своё. Что-то такое большое оказалось, что в одной груди не помещалось. Пойти на другую батарею? В штаб бригады?

Но тут Цыж принёс — пачку газет! московских, сразу за несколько чисел. Вообще к газетам равнодушный, теперь Саня набросился. (И Устимович к себе потащил.)

Это — не были газеты в обычном смысле! Это были голоса, никогда не звучавшие, слова, никогда не сочетавшиеся, — глаза лезли на лоб. Это был какой-то грандиозный сквозняк, вихрь, в котором кувыркались как бумажные — члены династии, сановники, общественные деятели, давние революционеры и новые министры. Всё не устоялось, двигалось, обещало, ничего нельзя как следует понять, ни предугадать — и оторваться нельзя. Саня не замечал входивших, уходивших, одни газеты приносили, другие уносили, нельзя было начитаться, наглотаться, вместить. Он потерял своё обычное раздумчивое и отстранённое состояние, в скрюченной позе сидел над столом, потом на койке.

В их Гренадерской бригаде специально всех поразит, конечно, вот: их бывший командир генерал Мрозовский (которого тут все боялись и не любили), возвышенный царём до командующего Округом, — не только ни одной минуты не сопротивлялся революции, но легко поддался аресту, а будучи арестован — сразу же и присоединился ко Временному правительству! А как был грозен тут, а как неприступен!

Можно присоединяться ко Временному правительству, отчего же, но не таким же слугам царя! Ну хотя бы тень достоинства.

Читал Саня, читал — и вдруг:

«В конце февраля жертвой революции пал заслуженный профессор по кафедре баллистики, член Артиллерийского комитета, почётный член конференции Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенант Николай Александрович Забудский, вы-

дающийся знаток артиллерийского дела. Московский университет удостоил его степенью доктора прикладной механики. Парижская академия избрала его членом-корреспондентом».

И — встала в памяти фамилия, в тот раз слышанная мельком: Забудский! — генерал-профессор с заморщенным лбом, проверявший их батарейные пушки! Как он неуставно вытирал платком вспотевшие залысины, как сутулился, как объяснял умно, — и рука у него была какая мягкая, слабая…

Да — за что же его?! Да — он при чём? Да как же он мог *пасть*?

Как эту смерть себе вообразить?

Все эти дни воспринимал Саня события через какую-то пелену непонятливости. А тут вдруг зинуло: увидел он светлого умного старичка с раздробленной кровоточащей головой — где-нибудь на улице? Или на лестнице?

И Саня — отшатнулся.

Вот т а к приходит свобода?

495

Весть о том, что министр юстиции в Москве, — пронзила весь город, достигла даже лишённых свободы. Арестованный у себя на квартире генерал Мрозовский просил свидания с министром. Арестованный на железной дороге царский сатрап Воейков, доставленный в комендантские камеры Кремля, тоже просил министра о свидании. Где-то в переездах министру докладывали эти просьбы, но он не только охоты к ним не имел, но и запятнать себя не мог, а лишь распорядился отправлять Воейкова в Петропавловскую крепость. Да вот что: прицепить сегодня же к поезду министра, так верней.

Несмотря на телесное изнеможение, министр спешил выполнить свою дневную программу. И уже везли его вниз по Тверской и поперёк Охотного ряда — в здание городской думы, проскрёбанное и прочищенное от революционных дней.

А там — заседала не прежняя выборная дума, отчасти реакционная, но дума нового состава — с поправкою на всех тех, кого следовало избрать, а не избрали в своё время. Сверкали стоячие крахмальные воротнички, воротнички. Вся общественная Москва

рвалась присутствовать в этом заседании! — и впервые за 50 лет публику пускали по билетам, хотя удвоено было число мест и открыты думские хоры. И ещё тысячная толпа не сумевших проникнуть толпилась перед зданием. Зато проникшие — были вознаграждены.

Ради торжественного случая было забыто постановление прежнего реакционного режима об экономии электричества — и думский зал получил полное праздничное освещение. И в исходе девятого часа в это сияние, под гром аплодисментов, вступили: Александр Фёдорович Керенский, полноватый Грузинов со своим боевым штабом и комиссар Москвы Кишкин.

Они заняли места рядом с членами управы, а городской голова Челноков, хромоватый, мешковатый, но расторопный, заблестел своим пенсне с трибуны и потянул с протяжным московским аканьем:

— Вы понимаете, что в настоящую минуту созвать думу старого состава я не мог. На свой риск я решил опубликовать списки новых гласных и созвать сегодня именно их. Я не хотел по этому поводу безпокоить князя Львова и взял ответственность изменить состав думы на себя, в надежде получить ваше одобрение.

Аплодисменты подтвердили, что только такая решительность в революционное время…

— Обязаны мы почтить память тех, кто погиб в Москве за свободу. — (Те три солдата, случайно убитые на Большом Каменном мосту.) — Прошу встать.

Встали гласные, встал министр, встала публика.

— А затем я должен обратить ваше внимание на *того*, — (уже сорвались первые нетерпеливые аплодисменты, подумали — на Керенского), — без кого Москва не прошла бы через водоворот событий без кровопролития. Я говорю, разумеется, о подполковнике Алексее Евграфовиче Грузинове! — (Страстные аплодисменты.) — …который с великой простотой и решимостью пришёл в городскую думу… И то, что он сказал, было высочайшим гражданским подвигом! Он предложил организовать московские войска, то есть предложил свою голову за свободу России! И мы с удивлением и благоговением… подвиг Алексея Евграфовича перешёл в историю! И я просил бы думу избрать специальную комиссию для достойного увековечения имени подполковника Грузинова!

И разразилась — буря, буря аплодисментов! Да, пронести сквозь века! да! Весь зал стоял — и, естественно, стоял лицом к не-

му сам Грузинов, не так чтоб очень подтянутый (давно уже не на военной службе), но что за красавец мужчина, со жгучими глазами, с шёрсткой малых усов, однако созданных щекотать воображение женщин.

Стояли, хлопали, стояли, хлопали, — наконец слово взял член управы Астров, кадет. С несколько туповатым лицом, усеченным подбородком, вычитывал резолюцию:

«В пережитые нами великие исторические… Москва никогда не забудет, что во главе московских войск в эту ответственную минуту самоотверженно стал… увлекая в едином великом порыве… Вечная признательность Москвы…»

И снова дрогнул зал от взрыва аплодисментов.

И поднялся для ответа Грузинов. Была некоторая бархатность и в голосе его, и в повадке:

— …Того, что я сейчас переживаю, достаточно, чтобы умереть спокойно… Если я сумел схватить в руки этот порыв и направить его в русло… Я употреблю все усилия, чтобы дело свободы расцветало безкровно. Я закончу солдатскими словами…

Могучее «ура» потрясло здание думы.

Наконец через клики и крики поднялся долгожданный Керенский. (После Английского клуба он соснул часа два на квартире, выпил крепкого чаю и хотя всё ещё был бледен и невыспат, но держался куда молодцом.)

Овация совершилась — ну просто грандиозная. Керенский бодро перестоял её, слегка загадочно улыбаясь, — и наконец мог заявить:

— Господин городской голова! Временное правительство, обладающее полной властью, повелело мне явиться сюда и низко поклониться Москве, — и он движением полурыцарским отдал низкий поклон городскому голове, — а в её лице и всему русскому народу, и заявить, что все силы и всю жизнь мы отдадим на то, чтобы власть, вручённую нам народным доверием, довести до Учредительного Собрания.

И ему особенно приятно выразить всё это в стенах московского городского управления…

— …которое с возникновения Москвы, — (то есть, очевидно, с 1147 года), — создало две таких могучих организации, как Городской Союз и Земский Союз, а теперь поможет создать непобедимую Россию.

Гром аплодисментов.

Дальше ждали большой блестящей речи, но министр, увы, ничего более не выразил, а дал знак, что хочет уехать.

И дума занялась оглашением телеграммы посла Бьюкенена, почётного гражданина Москвы, и ответными телеграммами к Англии, Франции, и чествовала поочерёдно Кишкина, Челнокова, Астрова, и поручала Челнокову разработать вопрос об увековечении Воскресенской площади как центра народного движения: расширить её за счёт владений Охотного ряда, срыть все здания между Театральной площадью, Манежем и думой и выстроить грандиозное здание московской думы — Дворец Революции.

А Керенскому между тем доложили, что в здании городской думы обнаружен неизвестно кем подложенный ящик ручных гранат.

Какое коварство! Да не есть ли это то самое зловещее покушение? Министр распорядился произвести самое строжайшее расследование.

И — унёсся дальше по Москве.

Несмотря на позднее вечернее время (но специальный поезд ждал его до любого времени), он ещё замчался в польский демократический клуб — и там под очередные аплодисменты разъяснил, что не удивляется полякам, относившимся с недоверием к России: дело в том, что и русские до сих пор не верили сами себе.

И наконец, автомобильными колёсами довершая свой магический вдохновляющий круг по Москве, домчался снова до Совета рабочих депутатов, откуда начал утром. Большой Совет как раз заседал в Политехническом музее — и аплодисменты и клики «ура» своему верному социалистическому соратнику продолжались несколько минут.

Уже никакое сердце не могло выдержать столько славы за полдня. Керенский стоял на подиуме с букетом алых цветов в руках на фоне чёрной куртки, уже с закрытыми глазами, опустив голову и подёргиваясь.

Председатель Совета товарищ Хинчук приветствовал его как заместителя председателя Совета петроградского:

— Вообще, рабочие люди не дают своих деятелей в министерства. Но пока вы, товарищ Керенский, состоите в министерстве, мы знаем, что измены не будет. Мы верим вам!

И снова, и снова шумная овация!

Керенский передал кому-то цветы, шагнул крепче, ещё крепче — и вот уже вытянулся, и вот говорил с прежней звонкостью. Он снова объяснял дорогим товарищам рабочим (и интеллиген-

там), как это получилось, что он решил вступить в министерство, и кто был против, и кто был за, — и всё гордее и гордее:

— Если вы мне верите — не предпринимайте ничего, не посоветовавшись со мной. В любое время телеграфируйте мне, если потребуется, и я приеду, чтобы рассказать вам всю правду. Помните, — он руки артистически прижал к груди, — что я — ваш! весь — ваш! Здесь я — не министр, а — товарищ вам. Я — т о в а р и щ вам! И пролетариат должен стать хозяином страны!

Зал был очень доволен, однако закричали оттуда:

— А почему Николаю Второму позволено разъезжать по России?

— А деток не пора приструнить?

— А кто будет Верховный Главнокомандующий?

И даже:

— Смерть царю!

Ах, занозистый вопрос! Он и здесь. Где только он не звучал. Не могли наслаждаться российские подданные свободой, пока ею наслаждался царь.

Но Керенский не только не смутился — он как будто обрадовался этому вопросу! Он шёл как будто навстречу освежающему ветру. Почти улыбка играла на его больших губах.

— Николай Николаевич — Верховным Главнокомандующим н е б у д е т !

Тишина. Отрезано.

— А что касается Николая Второго, то бывший царь сам обратился к новому правительству с просьбой о… — Какое-то чутьё, оно у Керенского было, дало ему знать, что нельзя так прямо назвать Англию, как в Английском клубе. — С просьбой о покровительстве. И Временное правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя. — И очень грозно и безпощадно: — Сейчас Николай Второй в моих руках!! в руках генерал-прокурора!! И вся династия Романовых — в моих руках!! — Это потрясло зал. Сейчас объявит о казни их всех? — И я скажу вам, товарищи, — лик его был страшен, и нельзя было предвидеть пощады: — Русская революция прошла безкровно — и я не хочу! — и я не позволю! — (погиб царь) — омрачить её! Мы не дадим омрачить светлое торжество свободы! *Маратом* русской революции! — захлёбчиво гремел он, — я никогда не буду! Но в самом непродолжительном времени Николай Второй под моим личным наблюдением будет отвезен в гавань и… — (и утоплен?) — …и от-

туда на пароходе отправится в Англию. Дайте мне на это власть и полномочия!

И так это было замечательно подготовлено и выражено голосом, — аудитория уже и смягчилась, и была согласна: да что в самом деле? пусть себе едет! И даже хлопали, и даже кричали «ура». Даём полномочия!

Керенский, бледный, закрыл глаза и простоял полминуты. (Он хорошо угадал момент! Он понимал толпу! И вот — отвёл кровь.)

Но уже торопили его спутники, засуетились офицеры-адъютанты, Керенский прощался, прощался за руку с руководителями Совета — и уже уходил — ушёл — и ещё в вестибюле грянули ему последние аплодисменты.

Погнали на Николаевский вокзал.

Экстренный поезд стоял под парами, и вагон с Воейковым был прицеплен.

Страшный Чрезвычайный Следователь Муравьёв уже сидел в поезде.

Из последних сил Керенский прощался, прощался — с присяжными поверенными, с представителями Совета, с Челноковым, с Кишкиным, — и вот уже стал на площадку вагона, и вот уже помахивал. Поезд тронул. Была половина двенадцатого.

Заплетаясь ногами, Керенский дошёл до купе.

Но не рухнул: ему предстоял теперь интересный допрос дворцового коменданта.

Сейчас намеревался он попить с Воейковым чайку, поражая его любезностью, и выведать о придворных изменах.

496

Уже он посадил её на извозчика, она отъехала от гостиницы — и вдруг испытала — сжатие, сомнение: всё ли — т а к ? А может — не поняла?.. А может — всё плохо?..

И — тотчас, пренебрегая недовольством извозчика, повернула его к подъезду, подождите, и, пренебрегая, что швейцар, — снова вверх по лестнице — и снова постучала к нему!

Открыл удивлённый.

Задыхалась:

— Я только подумала… Всё у нас — т а к ?.. Всё — хорошо?.. Ну, я только для этого. Я ухожу…

Но — ещё, ещё повисела в его руках. И он опять пошёл проводить.

Никто их не видел на тёмной улице, а — как в многолюдном торжестве: смотрите! смотрите все!

Приехала домой — а глаза такие счастливые.

И хорошо — быть такой!

Как необыкновенно с ним — нельзя передать! Всё вокруг — он. За что ей это?

О, хотя бы завтра, как сегодня!

И — ещё потом.

И — куда бы ни позвал.

Но если и никогда ни разу больше — это уже всё в ней. На всю жизнь.

У Ликони теперь так много, что отбирай, отбирай — нельзя отобрать всего.

497

Тягуче невыносимо затянулось царское пребывание в Ставке. Но чувство стеснения перед бывшим Государем испытывал Алексеев не только от этого. Нет.

Это была и какая-то потупленность перед ним, какой Алексеев не знавал раньше, отношения были всегда простые.

Постоянно занятый делом, Алексеев не имел привычки ковыряться в своих чувствах. Но сейчас что-то тяжелило в груди непривычно, как посторонний предмет.

И понял Алексеев: вот что — как будто он чувствовал себя виноватым. Виноватым? Но в чём же он был перед царём виноват за эти дни? Он точно действовал, всё по закону, и ни одного приказа не отдал самовольно, кроме разве остановки полков: с Юго-Западного, так он и вызывал их сам; с Западного — так получил потом подтверждение от Государя. Ни одного приказа он не нарушил. Он честно всё делал. А напутал — Государь своим отъездом, скорее был виноват он.

А вообще — все события прошли мимо них обоих.

Так, да. А чувство вины — необъяснимо залегло. Залегло, и даже: не останется ли оно с отъездом Государя, вот что?

Когда сегодня пришло из Петрограда, что отъезд бывшего царя назначен на завтра, готовить поезда, а от Государственной Думы прибудет несколько депутатов для сопровождения, наконец-то, — Алексеев счёл неудобным такое важное известие передавать Государю запиской. Пошёл сам.

За эти дни равномерной жизни в Ставке и частых бесед с матерью Государь стал выглядеть намного спокойней, сгладилась ужасная врезанность черт, какая была при приезде. И даже такая светлость появилась в его облике, как будто он был даже доволен, как будто он не пережил катастрофы. Светлый взгляд — и безо всякого укора к Алексееву. Нет, Государь ничего не имел против своего бывшего начальника штаба.

Но именно поэтому не было духа у Алексеева отказать Государю в его последней просьбе, почти детской радости: издать прощальный приказ по Армии. Формально он не был уже Верховным пять дней, он был никто, и не мог такого приказа издать, — но каменное сердце нужно было, чтоб отказать. Уже отказал ему Алексеев в бредовой затее — брать отреченье назад, а уж это-то — можно? Государь — как ребёнок, хочет попрощаться.

Проскрипел генерал, согласился.

И к вечеру Государь прислал ему текст.

Да приказ был в общем вполне и полезный: призывал к борьбе до победы и к верности новому правительству, всякое ослабление порядка службы — только на руку врагу. В дни нынешней растерянности такое присоединение голоса бывшего царя могло лишь помочь делу, послужить объединению, как и те воззвания, какие они намеревались сочинять с Гучковым. Сейчас — опасный момент, сейчас — всеми силами собрать всю верность, какая есть. И какую соберёт им Государь — тоже пригодится, даже больше всего.

Но формально нельзя было издавать приказа за подписью бывшего Государя.

Решил так: напечатать как сообщение, как часть своего приказа, подписанного наштаверхом.

Отдал на перепечатку.

Договорено было с Государем и об утреннем его прощании завтра с наличным составом Ставки.

Уже поздно вечером доложил дежурный, что просит приёма генерал Кисляков.

Алексеев повёл усталыми глазами — какая ещё срочность по путям сообщения? Кисляков не подавал голосу с того дня, неделю назад, как приходил доложить о невозможности принять в своё ве́дение все железные дороги. Но что за срочность сейчас? — не предупредил телефоном, а уже ждал в приёмной.

Ну что ж, велел принять.

Опять это нездоровое впечатление рыхлости при молодости, ничего военного, чиновник. И нет прямоты в глазах, всё искривляется взгляд. Но в этот раз оказалось и понятно. Волновался, краснел:

— Ваше высокопревосходительство. Я не имею права вам докладывать… Но считаю невозможным не доложить… Но я рассчитываю, что вы… Что больше никто?.. Это секрет.

И смотрел напряжённо.

Вот так подчинённый! — не имеет права докладывать. Но правда, у него своё начальство, министерство путей.

Только что не потребовал с Алексеева клятву. А поглядывал испуганно и пятнами краснел. Шаткий, выворотной.

— Ваше высокопревосходительство! Я получил шифрованную телеграмму от министра Некрасова. Он…

И — не говорил дальше. А положил перед Алексеевым саму телеграмму в печатных цифрах и чистовую расшифровку своей рукой, чернилами.

Алексеев стал читать — и ощутил, что краснеет и сам, хотя этого с ним не бывало.

Некрасов сообщал Кислякову, что готовить надо не два литерных поезда, как обычно, а один — но с особой тщательностью и при запасном паровозе, так как отъезд бывшего царя из Ставки будет носить характер а р е с т а, с каковою миссией и прибудет делегация членов Государственной Думы.

Вот оно что?! Вот как? А Алексеев и совсем не догадывался!

Арест? Делегация?

Да ведь он сам и просил командировать представителей для сопровождения.

Но кто же мог думать так?..

Та-ак…

Поджимая губы, Алексеев перечитывал. Смотрел на Кислякова. С Некрасовым, а то и с Бубликовым? — своя у него переписка. Глаз да глаз.

А больше и говорить с ним было нечего: сказал — спасибо.

— Ну что ж, готовьте.

— Но вы, ваше высокопревосходительство… ? Но я считал, что вам не могу не доложить?..

— Да, правильно. Спасибо.

Отпустил.

Спасибо? — или лучше бы не говорил? Ещё навалил тяжесть.

Добровольно отрёкся, не боролся, — и за что же?..

Но — стать на место Временного правительства — можно понять и эту меру. В первые дни становления правительства — и свободно разъезжает бывший царь?

Та или иная мера неизбежна.

Теперь что ж? — надо всё выполнить?

Да у Алексеева ничего и не спрашивали, требовалось от Кислякова.

Хотя странно — и обидно, — что лично его не удосужилось Временное правительство известить.

Или — не доверяло?

А между тем — кто же будет… провожать, устраивать?

И — новый горячий укорный толчок в сердце: а — *сказать*? Государю — сказать?

Как же — не сказать??

Но он будто дал и слово. И чтоб не было эксцессов.

Но в какой-то момент *это* неизбежно сказать?..

Или — не говорить вообще? Пусть так и едет?

Нет, всё-таки порядочность требует сказать. Так долго работали вместе.

Сходить сейчас — и сказать? Он ещё не спит.

Разволнуется.

А завтра будет обряд прощания — и Государь перед всеми скажет что-нибудь резкое, лишнее?

Узнав заранее — Государь может что-то передумать. Переменить решение, как хотел переменить с отречением. И вдруг — откажется ехать? Откажется повиноваться? Или захочет ехать в другое место?

И — что тогда делать?

Сердечно жалко, — но как ни жалко, царь должен нести свой жребий и все выводы из своих поступков.

Да, благоразумнее — скрыть до самого последнего момента.

О, скорей бы его увозили! Как устал Алексеев от этой двойственности, от этих сокрытий.

Сегодня ночью не дёргали к аппарату. Алексеев запер дверь, зажёг лампаду и на коленях долго молился.

Прося Господа — простить.

Во всём этом что-то тянулось, что надо было — простить.

ВОСЬМОЕ МАРТА

СРЕДА

498

Чем дальше Воротынцев загонялся в румынскую глушь — тем надсадней ощущал всю свою поездку как позорную болезнь, о которой никому не расскажешь, или — как впад в слабоумие. Хотел бы он забыть её начисто! Не разгадал, упустил, проволочился никчемным привеском через самые центры событий, — отступя по дням, это было всё резче видно. Может быть, он ничего и не мог бы сделать, но в бою совершаешь и невозможные шаги. А он и не шевельнул рукой. Да хотя бы 1 марта, — нельзя офицеру в Петроград? Но он был дома, переодеться в штатское — и ехать? А куда ехать? Кого искать?.. С чем?

И не облегчало узнать, что не один Воротынцев растерялся — растерялись в с е. Вся императорская Армия. И Ставка. Сам царь. И брат его. И вся Россия.

Что говорить о Воротынцеве, когда весь Балтийский флот «примкнул к революции во избежание гибели» — *чьей* гибели? своей? или революции?

Вот и в штабе Девятой — Воротынцев застал всех растерянными, и никто не мог сказать о прошлом: что́ же надо было делать? А своим отречением Государь как вырвал землю из-подо всех. Верховный Главнокомандующий — внезапно, первый, ушёл с поста и не обратился ни к кому к нам за помощью. Кто б и хотел защищать его, — к а к ?

Генерал Лечицкий ходил по штабу с омрачёнными глазами (всё не сняв с погонов царских вензелей). Молчал. Никого не собирал, ни к чему не призывал.

Как хотелось получить от него — решение? ясный приказ? Молчал.

В 9-ю армию, на далёкий фланг, с опозданием докатывались осколки событий, притёк приказ Гучкова № 114 — не обрадовал: если

и военный министр как бы подтверждает нижним чинам, что правила воинской дисциплины были символом рабских отношений?..

Тем чувством безсилия, каким был обезкуражен Воротынцев в Москве и в Киеве, — теперь были смяты все. С каждым днём всё разрушительней и непоправимей, — а что делать? никто не мог указать.

Но если не вмешиваться в ход событий — чего мы сто́им? Вот: есть ещё запасы воли, движения, — но куда их?

Последние дни Воротынцев стал подыматься очень рано, ещё в темноте, гораздо раньше, чем требовалось. И — потому что сон потерял, когтило его. И — потому что это из верных путей выздоровления. Есть какая-то силовая, удатливая ёмкость у ранних утренних часов, у самых раннеутренних, когда ещё все спят; все направления долга особенно отчётливо просвечиваются над тобой, а все направления слабости легче отпадают. Даже не имея никакой определённой цели, но начать бодрствование раньше всех, опережая общую жизнь, оказаться на ногах и со здоровым разумом,— непременно будет послана за это какая-нибудь находка, удача, мысль. Кто рано встаёт — тому Бог подаёт, проверено. В этот час обойти ли расположение позиций — всегда откроется такое, чего и за год не дознаешь в обычное дневное время. Да и по штабной жизни — прийти на занятия, когда ещё нет никого, дежурные борются с предутренним сном, а новости ночи накопились, — всегда хорошо для размышления и решения.

Так и сегодня он пришёл в штабной дом, снимал с гвоздя ключ от комнаты, — аппаратный дежурный протянул ему отпечатанную бумагу: ночью получили, сейчас передают в корпуса.

Приказ по Действующей армии.

В обрамлении Алексеева и с его подписью — а приказ-то самого Государя.

Неожиданно.

Понёс к себе в комнату.

Хотелось закурить. Но утром натощак избегал, ядовито.

Прощальный приказ?

Короткий. Почти весь сразу и вбирался в глаза.

Но вот что: не казённо-пафосный, какие бывали раньше. Несомненно сам писал, почти слышится голос Государя, негромкий, страдательный.

«В последний раз обращаюсь». И свои войска назывались «горячо любимыми», а закостеневшие «доблестные» оставлены союз-

никам. Впрочем нет, увязан язык формами как гирями, выныривают и наши «доблестные».

А к правительству, сместившему Государя, было: «да поможет ему Бог вести Россию» и — «повинуйтесь Временному правительству».

Как не бранили, как не дразнили его недоброжелатели! Самая мягкая из кличек была — «полковник». И сколько ни сердился на него, бесился Воротынцев сам, — а сейчас был тронут. Не за Временное правительство, а — самим Государем тронут. Вот эта незлобивость, тихость — всегда, может быть, слабостью была русского царя, но сейчас… Ведь никто не вынуживал ещё и благословлять новое правительство, призывать к послушанию ему, а вот…

Что ж делать… Христианин…

Слишком христианин, чтобы занимать трон.

Каким был, таким и уходил.

Значит, не просто он заклинал тысячу раз о любви к России — но вот для неё потеснялся готовно и сам.

Что ж делать. Каков был. Каков нам достался.

Может быть, какой-то есть в этом неулавливаемый смысл.

Вот… Сам… Легко. Без борьбы.

И — каково ему сейчас? С такой высоты — и в два дня?..

Нелогично, недоказуемо — а боль Воротынцева стала: что он как будто и сам приложил руку к этой мерзкой революции.

Хотя ведь он ничего *не сделал*. И ничего не сделал против совести. Только — зашатался мыслями.

А сейчас, когда республика раздавалась ворохами даром на всех перекрестках, — Воротынцеву было гнусно ощутить себя в этом ревущем потоке. Сейчас — ему даже неправдоподобным казалось: как это он мог замахиваться? Как это он мог хотеть, чтобы Государь отказался от престола?..

И кончал Государь трогательно, как не бывало принято: Победоносцем Георгием. Вспомнил его — и приставил к покидаемой армии: да ведёт вас к победе!

Святого Георгия своего Воротынцев почитал.

Но была в приказе малая фраза, которая его ожгла. Первый раз глаза пробежали, второй раз упёрлись — и Воротынцев почувствовал, что зардевает:

«Кто думает теперь о мире, кто желает его — тот изменник Отечеству, предатель его».

Потому ли, что настоялась такая глубокая тишина, одиночество, никто ещё этого приказа не знал, не читал, не добивался получить, он лежал перед одним Воротынцевым, — стало так, будто Государь ему и говорил в лицо, всё о нём зная: что он, Воротынцев, предатель, изменил России.

Всё зная? И что мира хотел, и *что* осенью задумывал?

Воротынцева бросило в жар.

Сломав две спички, закурил.

Вот это и мучило его всю минувшую неделю, ещё от Москвы, а потом разбереживалось в пути, а потом на Крымове проверял, а тот и не колебнулся, — вот это и мучило: что уже осенним замыслом он вмарался в эту же революцию.

Уже тогда изменил присяге? долгу?

Но Государь! но вот теперь вы тоже изменили присяге! долгу!

Кому крикнуть? — поверженному?.. Легче всего.

Но — не вся вина за Воротынцевым, нет, не вся! Да. Он думал так с прошлого года и думает сейчас: России нужен мир. Один мир! Выше всего — мир! Раньше всего — мир! И — почему это предательство?

И даже уверен: в эту войну ни за что не следовало нам вступать, ни — подготовительные жесты выражать, это роковая была ошибка. А только если Германия сама двинула бы на нас. Вот тогда была бы и Отечественная, и несомненная для каждого последнего мужика.

А уж застряв в войне, и в ней захлёбываясь, — надо было иметь ум и мужество из неё выходить.

Да вот и в этом прощальном приказе: «Уже близок час, когда Россия с союзниками сломит последнее усилие противника»… Государь уверен в этом.

Ах, как вы все уверены!

Да как бы ни побеждала наша колонна, но выбитый картечью падает из строя, и победа уже — не его. Вместе с союзниками победа у нас пусть будет — да что останется от нас самих?

Да сколько же, сколько же в нашей истории мы безсмысленно клали русские головы, не жалея их! Куда ни ткни. Нынешняя война — чем лучше хоть войн Анны Иоанновны? То напрягались посадить саксонского курфюрста польским королём. То бездарные миниховские походы на Очаков и Крым, 100 тысяч русских положили на юге за право только получить Азов со срытыми укреплениями?! И при Елизавете гнали русскую пехоту помогать Англии

и Нидерландам на Рейне. А зряшная безтолковая Семилетняя война — лучше, что ли? Зачем взяли на себя это европейское распорядительство — осаживать Фридриха, а плодами этих жертв и побед даже не воспользовались никак.

Горели щёки, горел лоб. Да, пошатнулся, да, — но изменником Отечеству себя не признаю!

Потому что эта война — не выше всех задач России!

Конечно, если поминать только доблесть, одну лишь доблесть… Но и кроме доблести есть что́ в России поберечь.

Да все мы, и дворяне, и образованные, — как мы плыли по России безпечно, и сколько ж мы в ней упустили, отчасти — всё доблестными нашими войнами.

Я — предатель? Да ведь мы все, и много раньше, и многообразно, — предали наш народ! И в эту войну мы его отдали — предали.

И вместе с вами, Государь…

Постучался взволнованный дежурный при аппарате:

— Господин полковник! Я должен вас предупредить: из Ставки сейчас поступило распоряжение: рассылку этого приказа остановить!

Воротынцев не сразу понял: повелено остановить?.. (И — то, что о *нём*?..)

Начал понимать:

— Да как они смеют? Останавливать прощальный приказ? Ах, мерзавцы! Ах, скотины низкие!

499

Что ж, и самый опытный пловец в неведомых волнах — и сбит, и наглотался, и хорошо если не потонул. Тыловые волны оказались такого свойства, что генерал Эверт совсем растерялся в них, и только вид важный ещё удерживал, а так совсем потерял силу рук и управление. Хотя он и признал новое правительство — этого оказалось совсем не довольно для прочности. Он всё так же оставался Главнокомандующим Западным фронтом, и все те же три армии и пятнадцать корпусов были в его управлении, — но на самом

деле ничего не осталось от его единовластия. Он не предвидел, что новая власть образуется через несколько домов от него, в самом Минске. И едва только он не помешал им собраться в их первые часы, — они стали разливаться вполне самостоятельно. Едва разрешил собраться «Комитету общественной безопасности» — как тот назначил какого-то небывалого «гражданского коменданта» города, — а тот повелел арестовывать городских полицейских, — и тут же насилия перекинулись на все железные дороги Округа, и на всех станциях обезоружили железнодорожных жандармов. И тут же образовался в Минске свой совет рабочих депутатов — и выпустил свою газету, возмутительную по содержанию, а Эверт никак не мог ввести политическую цензуру: он не имел таких указаний и прав.

Весь город сам собою расцветился красным, возникло скопление и многое движение на улицах, — а Эверт не имел никаких прав, указаний, да и приёмов, да и сил: как это всё остановить? А Ставка — сама была обезглавлена на несколько дней, до прибытия великого князя. От великого князя памятовали и ждали испытанного предводительства войсками, — но пока оно не возвратилось? Генерал Эверт не только не имел решимости подавить эту иррегулярную смуту, но он и сам неудержимо втягивался участником этой смуты так, как втягивает вертящаяся вода.

6-го марта новые власти, не спрося генерала Эверта, назначили всегородскую манифестацию совместно с гарнизоном — и так это было уже неотвратимо, по новейшей развязности, что Эверт не только не искал, как помешать, но счёл за благо и сам участвовать, дабы придать манифестации законную благопристойность.

Народ со всех сторон, охоткой и любопытством, валил на Соборную площадь. Полиции нигде уже не оставалось, и движением делали вид что руководили — самозваные гражданские лица с красными повязками на руках. Едва ли не все жители, и особенно вся учащаяся молодёжь, были тут. Многие несли красные флаги и красные куски с надписями, и в красных тряпках были многие стены, — а на крышах, балконах, и на колокольне чернели зрители. Пришлось на площади выстроить все наличные войска гарнизона — и Эверт послал Квецинского обойти их, приветствуя «с новым государственным строем и народным правительством». Войска кричали «ура», но городские деятели на одном с Эвертом балконе указали, что строй войск следует обойти лично ему. Хорошо.

Статный, почти богатырский, прямой, брадатый, — Эверт пошёл вдоль всего строя, и все войска кричали «ура». Очевидно, личное участие и было правильное решение, чтоб удержать движение в границах благоразумия.

Затем соборный причт служил молебствие (далеко не вся площадь сняла шапки, да тут и евреев много, а красные флаги так и торчали повсюду). А затем надо было с построенного деревянного помоста речи говорить — и кому же первому? Опять Эверту. И он сказал, глотая посушевшим горлом: «Верю, что с Божьей помощью новое правительство, составленное из лиц, избранных народом, поведёт родину к новому счастью». Затем пошло легче — о войне, о враге, встать грудью за Русь Святую, за Верховного Главнокомандующего. Так благополучно произнёс Эверт свою речь, и гремело «ура» по площади. Эверт держал тяжёлую руку под козырёк.

А кто-то стал ломом разбивать над аптекой императорский герб.

Обожгло сердце кипятком.

А — что поделаешь? Уже придя сюда и речь произнеся — что поделаешь?

И в других местах, где висели гербы, стали их дробить.

А тут — пошёл церемониальный марш, и повалило минское население. И Эверт всё держал руку под козырёк — и чувствовал, как её било дрожью.

Ушли генералы с площади, уходили воины — а там на трибуну вылезали какие-то всё новые, штатские, и выкрикивали свои речи.

Не усматривал Эверт, в чём он ошибся или как бы мог иначе, а на душе было погано: вот, он отдал этим красным флагам и ораторам не только весь свой Западный фронт, но и, за своей широкой спиною, — обширный Московский округ, за который тоже отвечал, и им тоже давал телеграммы объявлять манифесты, от которых Россия обезцарела вмиг и вкруговую.

На несколько часов порадовала неожиданная телеграмма из Петрограда от Пуришкевича: постоянный соучастник Западного фронта своим санитарным поездом, он теперь спешил сообщить Эверту радостную весть: что разбойный смутительный «приказ № 1» оказался фальшивкой!

Вот как? Слава Богу! И что ж за мерзавцы: кто его сочинил, и кто его повсюду телеграфировал?

И тут же хотел Эверт эту радость объявить приказом своему Фронту, но уже привык к колебаниям этих дней: а вдруг ещё что-

нибудь не так? как бы не ошибиться? Снеслись со Ставкой — и что ж оказалось? «Приказ № 1» никакая не фальшивка, а фальшиво сообщал Пуришкевич, а ведь член Государственной Думы и солидный человек.

Эта городская манифестация в понедельник оказалась не концом красного разлива, как надеялся генерал Эверт, — а ею только началось. Теперь полилось и по мелким городкам и гарнизонам — и не любовь к родине, и не страсть к победе над германцами, — а всё больший разболт, неповиновение, аресты отдельных начальников, особенно с немецкими фамилиями.

Дались эти немецкие фамилии! И про самого Эверта загудел Минск, что у него немецкая фамилия — и не хотят такого! И пришлось унизиться и дать опровержение в газеты, что фамилия у него — шведская, а не немецкая. Поверили, нет ли, но уже нет свободы распоряжения. Да и как управляться мог Эверт против анархии, когда сам же был на *митинге*? (Откуда слов нахватались, сроду в России такого слова не было, и никто его не понимает.)

О Господи! Да скорей бы приезжал великий князь, да брал бы армию в свои испытанные руки!

Каждый вечер, поздно ложась, не знал Эверт, какой новой бедой застигнет его утро.

Сегодняшнее застигло статьёю в «Минском голосе», где печаталось, что арестованный дворцовый комендант Воейков намеревался открыть Западный фронт немцам, чтобы подавить революцию.

Краска и жар так и обагрили Эверту лицо. Ведь дворцовый комендант не командовал Западным фронтом! Если он мог так обещать или намереваться — значит, читатели могли теперь подумать, что Воейков имел или уговор с Эвертом, или расчёты на него. Читатели могли подумать, что и сам генерал Эверт готов был открыть фронт немцам!

А эти читатели, вот и минские, становились теперь всесильны даже над генералами.

И — никакого выхода не было теперь Главнокомандующему Западным фронтом, как садиться и писать опровержение в этот паршивенький «Минский голос». Что: Воейков осквернил Западный фронт предположением, что он способен пропустить врага своей родины. Но — никто тут не способен на такое гнусное преступление. И если бы даже был отдан такой приказ, и даже с *са-*

мого верха, — ни генерал Эверт и ни один из военачальников никогда бы…

О Господи! О нет! Не удержаться на Главнокомандовании, если оправдываться в каждую последнюю газетку! И решился Эверт: телеграфировал Гучкову просьбу — назначить его на другую должность, а желательно — в Военный Совет (на отдых).

И телеграмма от Гучкова не замедлила:

«Считаю ваше пребывание на фронте опасным и вредным. Предлагаю немедленно сдать должность».

И — никакой замены. Отслужил.

«Предлагаю»…

Но всё-таки — должен приказать о том великий князь? Ещё посмотрим.

500

Пришёл Свечин утром в штаб — подали ему прощальный приказ Государя к армии.

Неожиданно.

Но и естественно.

Разослан? Начали рассылать в ранние часы, но Гучков узнал — и запретил.

Помял Свечин большими бровями, губами. Вот это уже была низость, один политический расчёт и никакой воинской души. Не зря ему всё-таки Гучков никогда как человек не нравился. И сколько ни рядился в военные. Военный должен отзываться на струнку благородства.

И что ж в этом приказе? «Повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников». Чего же испугались?

Внимательно прочёл небольшой текст. Уж на приказы, на приказы намётаны были глаза штабных. Никогда никаким Верховным Главнокомандующим Николай не был конечно, ничего не направлял, — а душой был армии предан, это да.

Это и здесь. Использовал привычные раскатистые выражения, а приказ как вопль. Больно ему.

Не разослали, поросячьи души.

Что ж Алексеев?..

Уже известно было, передавали: в половине одиннадцатого в зале Дежурства желающие офицеры Ставки будут прощаться с Государем.

Идём конечно. Кто ж проявит низость не пойти?

Оперативное отделение пошло в полном составе. Да и другие.

Управление Дежурного генерала занимало по ту сторону площади здание окружного суда. В прямоугольном нынешнем зале Дежурства сохранялась невысокая балюстрада поперёк длинных сторон, разделявшая, не до середины, бывшие места публики от судейских мест. Из-за этой балюстрады — теперь собравшиеся и размещённые в несколько тесно сбитых рядов вдоль всех стен образовывали как бы восьмёрку, суженную в обтёк балюстрады, сейчас не видимой за спинами; а посреди, в самом узком месте, оставалось небольшое пустое пространство.

Кто и забыл, что висел тут большой портрет императора, — теперь видели пустой прямоугольник более яркой стенной окраски.

Стали строиться. Входная дверь была в углу восьмёрки. От неё по длинной стене пошёл правый фланг. Его начинали три великих князя, затем Лукомский, Клембовский, затем по управлениям и отделениям, старшие генералы во главе своих и в первом ряду. Затем офицеры Конвоя, офицеры Георгиевского батальона. Так проходила вся восьмёрка, а в конце уже другой длинной стены, на левом фланге, пристроили человек 50 нижних чинов, выборных от отделов и частей — конвойцев, георгиевцев, писарей.

Висел гулок негромких разговоров.

Затем вошёл Алексеев, как всегда скромно, не ища заметности, тихо беседовал с Лукомским.

К Свечину он стоял лицом, и близко — и как никогда показался ему котом-котом — усами, очёчками, небольшой головой, — ряженым учёным котом в кителе полководца.

И где же полководцы?

Затем адъютант подбежал сообщить Алексееву, что Государь вышел из своего дома, идёт.

Ровно в половине одиннадцатого с лестницы, через закрытые двери, донеслось громкое отрывистое:

— Здравия-желаем-Ваше-Императорское-Величество!

Хорошо гаркнули, всё как раньше.

В этом одном солдатском крике за всю процедуру и сохранилось — «как раньше».

В зале Дежурства наступила гробовая тишина.

При открытии двери генерал Алексеев скрипучим голосом и негромко скомандовал:

— Господа офицеры!

Государь вошёл. Совсем не молодцевато, лицо было жёлто-серое. И грузнели мешки под глазами.

Он был в серой черкеске кубанского пластунского батальона, с шашкою через плечо на узкой портупее — и, как все тут стояли с обнажёнными головами, свою коричневую папаху он снял левою рукою и держал зажатой при эфесе шашки. Орденов союзнических не было на нём, белел только Георгиевский крест.

Поздоровался за руку с Алексеевым, с великими князьями.

Сделал общий поклон в офицерскую сторону.

Повернулся, от себя направо, к солдатам и поздоровался с ними негромко, как здороваются в комнатах.

А те — гаркнули и здесь, не столько глоток, как с полнотой и рвением:

— Здравия-желаем-Ваше-Императорское-Величество!

И, хотя из разных команд, голоса не сорвались от чередующего темпа.

Затем Государь сделал несколько шагов на серединное пространство, ближе к перехвату восьмёрки, — и стал, всё так же с папахой, скомканной у эфеса, а портупея шашки врезалась в грудь.

И стал-то он так — что как раз лицом к пятну снятого своего портрета.

Свободная правая рука его сильно, заметно дрожала. Он ею приоттягивал портупею от груди, как бы ища груди простора, добавляя дыхания.

Он и никогда не был мастер говорить перед многими, так и в этой последней речи в своей жизни.

Тишина стояла — абсолютная. Но нервная.

Но это же была офицерская среда, самая привычная Государю и родная! А сегодня…

Всё же голосом он заговорил громким, ясным, но сильно волнуясь и делая паузы неправильные, не в тех местах.

— Господа… Сегодня я вижу вас… в последний раз. Такова воля Божья. И следствие моего решения. Что случилось — то случилось… — Совсем не была подготовлена его речь, он только тут ду-

мал и удивлялся: — Далеко задумана Божья воля, трудно нам её читать. Во имя блага дорогой нашей Родины… предотвратить ужасы междуусобицы… Я почёл… Я отрёкся от престола… — кажется, сам вздрогнул от ужасного звучания этих слов. — …И решение моё окончательно… безповоротно… лишь бы только Родина наша устояла. Сломить лютого врага. Наша родная армия… наша Россия… в благоденствии…

Голос его приближался к надрыву:

— …всех вас за совместную службу… за верную, отличную службу. Я полтора года видел вашу самоотверженную работу, и знаю, как много вы положили сил. И так же честно служить родине при новом правительстве… до полной победы над врагом…

Все смотрели не мигая, не шевелясь.

Кончил не кончил — но говорить дальше он не мог. Его правая рука уже не дрожала, а дёргалась. Хваталась за темляк шашки, встрёпывала его. Ещё бы два-три слова — и Государь бы разрыдался.

Поднёс дрожащую руку к горлу. Наклонил голову.

И хотел бы Свечин, хоть внутренне, возразить: «Эх, сам ты наделал немало». Но в этот миг — не мог, разобранный.

А тишина — всё напрягалась, истончалась — истончилась — и позади Государя кто-то судорожно всхлипнул.

И как будто этого толчка только и ждала тишина — взрыды раздались сразу в нескольких местах.

И даже — просто заплакали, открыто вытираясь. И:

— Тише, тише! Вы волнуете Государя!

Государь оборачивался то направо, то налево, в сторону этих звуков и пытался улыбнуться — но улыбка не вышла, а напряжённая гримаса, оскалившая зубы и исказившая лицо.

Тут он быстрым шагом воротился к правому флангу, в сторону Лукомского, где он покинул жать руки, — и теперь продолжал, медленно идя вдоль первого ряда. Всем пожать он и не мог, в тесную глубину, но старался подряд всем передним.

Это было всё перед Свечиным, в первой дуге восьмёрки, до балюстрады. Государь подвигался вдоль генералов и штаб-офицеров, близко наклоняясь вперёд к каждому, едва не глаза в глаза, — и у самого еле удерживались уже дрожащие слёзы. Как-то неумело схватились пальцами и со Свечиным, и не переправлять было пожатия, и не задержать руки дольше.

А рука была тёплая и сухая.

И Свечин, вообще никогда никак не расположенный к трогательности, почувствовал себя разнятым.

А Государь, поблизости, уже жал руку генерал-лейтенанту Тихменёву, начальнику военных сообщений.

И вдруг — остановился в своём передвижении, воззрился на генерала в упор и, задерживая его руку, сказал:

— Тихменёв! Так вы помните, как я просил вас? Непременно сумейте перевезти всё, что нужно для армии. Вы помните?

Голос его помягчел до просительности.

Тихменёв дрожаще-растроганно отвечал:

— Ваше Величество! И я помню — и вот генерал Егорьев помнит.

И потянул высокого, худого, нервного генерал-лейтенанта Егорьева, главного полевого интенданта, который, кажется, хотел уйти во второй ряд и спрятать лицо.

И Государь обрадованно жал руку Егорьеву, на голову выше себя, тряс её:

— Так Егорьев, вы непременно всё достаньте! Теперь это нужно больше чем когда-либо. Я говорю вам — я ночей не сплю, когда думаю, что армия голодает.

Издали, не соседи, этих слов не слышали конечно, но как будто в ответ на них с той стороны, с солдатской, кто-то взвопил на весь зал по-простонародному, будто оплакивая, что армия голодает. Или всех здешних, покидаемых. Или покидающего Государя.

Как взрыдывают по покойнику.

На другом конце восьмёрки рухнул на пол огромного роста есаул Конвоя.

Кончив обходить штабные отделения, Государь не прошёл в сторону конвойцев, предполагая ли с ними прощаться отдельно, — а стал теперь благодарно, благодарно жать руки офицерам Георгиевского батальона, впустую съездившим в Вырицу. А среди них — было много и раненных по нескольку раз. Всхлипывания и вскрики участились по всему залу. Гигантский вахмистр-кирасир вскликнул:

— Не покидай нас, батюшка!!!

Зарыдали из солдатской кучки.

И Государь как ударом был прерван в обходе — остановился.

Хотел говорить к солдатам — и не мог.

Кинул голову через себя назад — слёзы ли вернуть к истоку.

Низко резко поклонился оставшимся.

И с опущенной головой быстро направился к выходу.

Но тут Алексеев избочисто-осторожной походкой преградил путь Государю — и начал что-то говорить, модулируя надтреснутое скрипенье в человеческую речь, — да началось в зале шарканье, и даже Свечину слышно было сюда не всё.

Вот что: Его Величество не по заслугам ценит труды Ставки, они делали, что могли. А он желает Государю счастливого пути и новой счастливой жизни.

Счастливой?..

Государь распашисто, нецеремонно обнял Алексеева, тоже заплакавшего, и трижды крепко облобызал.

Каждым долгим поцелуем благодаря за верность.

501

Держалась-держалась Мария — и вот заболевала, как остальные. А Ольга часто бредила при высокой температуре: правда ли, что приехал отец? и какие толпы пришли всех убивать? Здоровье детей поворачивалось снова к худшему в изнурительном цикле кори — и ещё будет милость Божья, если никто не оглохнет и не наляжет других последствий. Чтобы со всеми сразу вместе — ничего подобного не было долгие годы, да никогда. Послал же Бог такое испытание в самые страшные дни короны!

Слава Богу, Алексей болел в этот раз — легче всех. Но зато и отчётливое понимание событий настигало его от часа к часу.

— Так что́, я больше никогда не поеду с папой в Ставку? — изумлялся он.

— Нет, мой дорогой, никогда.

И спустя недолгое время:

— Я не увижу своих полков? Своих солдат?

— Нет, дорогой мой мальчик. Боюсь, что нет.

И ещё спустя:

— А яхта? А мои друзья там? Мы никогда больше не поедем на яхте?

Пока что из его «друзей на яхте» неузнаваемо переменился приставленный к царевичу дядькой боцман Деревенько: озлобил-

ся, огрызался. А Саблин, любимец Саблин, сподвижник всех яхтенных прогулок, теперь и капитан «Штандарта», — так и не появился во дворце!

Болезнь детей звала и требовала Александру Фёдоровну — но и заслоняла от той низости и унижений, которыми был теперь обложен и стянут дворец. От пьяных солдатских песен снаружи, вблизи. От глазенья через решётки парка. От того, что караулы Сводного гвардейского полка, вместо прежней красивой процедуры смены, теперь поздравляли друг друга с новорожденною свободой.

Никто не был освобождён из дворцовых чинов, арестованных в предыдущие дни, но к тому ж ещё арестовали и генерала Ресина.

От Ники пришло несколько телеграмм за эти дни — как всегда лаконичных, со скрытием всех чувств и мыслей от посторонних глаз. Эти телеграммы, как ни вчитывайся, не открывали главной тайны и даже не намекали: что же делается там, в Ставке, вокруг него и в самой Действующей армии? *Начинается* ли защитное движение? Опоминаются ли русские люди, что́ они теряют в короне, в троне?

Конечно, не с Алексеевым, порченным человеком, с кем-то другим. С Эвертом?

Не вставал перед глазами государыни такой военачальник, который бы всё возглавил.

Каждое утро государыня начинала с надеждой и молитвой, что в армии подымается движение за Государя. Но ни газеты (да они-то лгут), ни слухи людские не отвечали ей ничем обнадёжным.

Оставалась ещё благородная сила — союзники, особенно королевская Англия и сам Джорджи. Для союзников — какой ужас! Союзники не стерпят такого позора и провала во время войны! Как неуклонно верен был им русский царь, попирая все частные, особенные интересы России, — так ответно верны ему будут и они! Английское, французское правительства — они не могут воздействовать в несколько дней, но они найдут влияние образумить восставших! Императрица ждала.

Хотя эти дни, после ночного визита Гучкова с Корниловым, она и жгла, жгла дневники, письма — всё же она отчасти и успокоилась. Особенно понравилось ей, что Корнилов — рыцарь, и пока

он во главе петроградского гарнизона — можно быть спокойной за детей, за себя, за дворец.

Но сегодня утром — рано, ещё в десятом часу, во дворце раздался телефонный звонок, и Бенкендорфу оттуда объявили, что с ним говорит генерал Корнилов — уже здесь, с царскосельского вокзала! Корнилов просил узнать у Ея Величества, в котором ближайшем часу она может его принять.

Александра Фёдоровна была застигнута, едва встав. После того ночного, но благополучного визита — снова он? И так рано, внезапно? Он должен был выехать из Петрограда чуть свет?

Это не могло быть по радостному поводу. Какое-то несчастье. Да и сердце сжималось так. Но — откуда несчастье? Не угадать, теперь жди отовсюду.

Бенкендорф сообразил у телефона и в волнении спросил, какая причина привела генерала? Но Корнилов отказался разъяснять по телефону, лишь настаивал на приёме.

Ничего не оставалось, как назначить время. Сколько нужно успеть одеться и подготовиться. Через час. В половине одиннадцатого.

Ровно в половине одиннадцатого в Александровский дворец вступил невысокий, смурноватый, темнокожий генерал Корнилов в сопровождении полковника и штабс-ротмистра. Бенкендорф встретил их на первом этаже и пригласил на второй. Ротмистр остался внизу, двое старших поднялись.

Государыня — вместе с обер-гофмейстером Бенкендорфом — вышла к ним в глухо-закрытом чёрном платьи. Она знала, что выглядит совсем плохо, как всегда утром, и уже не пыталась скрыть постаренье лица, но хотя бы безпомощность глаз. Она толчками волновалась, и все силы клала скрыть волненье, хотя оно несомненно выражалось на лице переходящими красными пятнами. Да замороченная всеми тревогами и болезнями детей, она ощущала себя как в дыму.

Всё ж успокаивал её первый опыт, что в Корнилове есть рыцарственное, и он не должен принести плохое.

Корнилов представил, что с ним вместе — полковник Кобылинский, новый начальник царскосельского гарнизона.

Не разбойничьи лицо и повадка были и у Кобылинского.

Не подавая руки, государыня предложила всем сесть.

Сели по разным случайным стульям.

На Корнилове белели-сверкали Георгиевские кресты — один у сердца, один на шее. Он почему-то не начинал. Вежливо ждал вопроса императрицы?

Сколько генералов пришлось ей за эту войну почтить высочайшим вниманием, поздравлять или благодарить, они смотрели восторженно, преданно, благодарно, — не помнила она такого отчуждённого генерала. В прошлый визит он показался ей почтительней.

У него была совсем короткая стрижка, с проседью, никакого чуба, отчего усиливался солдатский вид. Сильно отставленные уши, лицо корявое, глаза как прищуренные, будто высматривали.

Но, смело встречая его взгляд, таящий власть и тайну, государыня спросила, удерживая провалы голоса и стараясь чётко, без акцента, отчего звук речи становился деревянный:

— Чем могу служить, генерал? Чем я обязана вашему визиту?

Корнилов строго поднялся. Сказал очень негромко:

— Ваше Императорское Величество. На меня выпала тяжёлая задача. Я здесь по поручению Совета министров. Решение которого обязан вам сообщить. И выполнить.

Что-то плохое. Что-то настолько серьёзное было в этих глуховатых фразах, — государыне не было никакой надобности подниматься — она встала.

И тотчас поднялись остальные двое.

Не рассчитала голоса и громче чем надо:

— Говорите. Я вас слушаю.

Корнилов из полевой планшетки достал бумагу. Развернул на ней же, как на переносном столике.

Захолонуло сердце: читать готовую бумагу — это хуже, чем она могла ждать.

Читал — не очень гладко.

— …признать отрекшегося императора Николая Второго и его супругу лишёнными свободы…

Вот оно пришло! Неотвратимое. Как Антуанетте. Но насколько ждала в ту ночь — настолько сегодня не ждала почему-то.

Стиснула зубы. Только не показать, не признать силу удара. Наклонила голову.

— …и доставить отрекшегося императора…

Составителям или Корнилову как будто нравилось повторять сочетание.

— …в Царское Село.

О Господи, хоть приедет сюда! Хоть вместе наконец!

— …Поручить генералу Михаилу Васильевичу Алексееву представить для охраны отрекшегося императора наряд в распоряжение командированных в Могилёв членов Государственной Думы: Александра Александровича Бубликова, Василия Михайловича… Семёна Фёдоровича…

Рядом с «отрекшимся императором» — о, как развёрнуто они себя титуловали, прилипая к великой минуте! И — кому, к чему были все эти подробности после громового низвержения: Святая Русь арестовала своего царя!?

Ещё наклонила голову — не могла держать, не могла смотреть:

— Не продолжайте.

Но Корнилов с разгону так и продолжал до конца: что эти четверо членов должны затем представить письменный отчёт, и он будет обнародован. Что…

Третью ночь тому государыня так боялась услышать об аресте — внутренне тряслась. А сейчас почему-то — нет, не испугалась. Сейчас почему-то её собственная судьба и детей — как будто не существовала. Сейчас одно только гудело тяжёлым колоколом: Россия подняла руку арестовать своего царя!

А Корнилов сложил бумагу, спрятал в планшетку. Опустил её висеть на боку. И руки по швам.

И тем же негромким, глуховатым голосом объяснял, что это всё значит практически. Что охрана дворца перенимается от Сводного полка и Конвоя — войсками гарнизона. Что запрещается пользоваться телефоном. Вся корреспонденция подлежит контролю.

То есть откровенно объявляли, что будут читать чужие письма.

Всё так, но сам вид Корнилова — простоватый, недалёкий, неумный, неразвитый, вполне унтер-офицерский, совсем не созданный для исторического момента русской династии… И ещё тут при чём этот неведомый полковник?

— …Те лица из свиты, кто не желает признать состояния ареста, должны покинуть дворец сегодня до четырёх часов дня.

Государыня властно подняла голову и смотрела на генерала свысока:

— У меня все больны. Сегодня заболела моя последняя дочь. Как будет с врачебной помощью детям?

Врачи будут пропускаться безпрепятственно, но в сопровождении охраны.

Можно ли оставить дворцовую прислугу?

Пока — да, из тех, кто сам пожелает. Но постепенно прислуга будет заменяться другой.

— Но мы все привыкли?.. Но дети?..

Корнилов стоял навытяжку — на том же месте, на том же расстоянии, без видимого смягчения, густые чёрные слитые усы изгибались над губами. Унтер.

Если можно было ещё что-то узнать или добиться (государыня и сама плохо понимала — что), то только наедине.

Попросила, нельзя ли остаться с генералом вдвоём.

Бенкендорф — тотчас поплыл на выход.

Полковник замялся, посмотрел на неподвижного генерала — получалось, что надо выйти и ему.

Ещё секунда, секунда — и они останутся вдвоём. О чём же спрашивать? Для чего она просила остаться наедине?

Она не успела сообразить, и не успела найти вопроса.

Закрылись двери — генерал оглянулся на них. Шагнул ближе к ней на два шага. И вдруг в его узких глазах безсердечного атакующего кавалериста она увидела живые огоньки. И усы шевельнулись, когда он выговорил тише прежнего:

— Ваше Величество, не расстраивайтесь. Вам ничто не грозит худое. Всё это — формальность, мера предосторожности против разгула мятежных войск. Всё равно вы привязаны к месту, пока больны ваши дети. А когда они выздоровеют… Я слышал, что на Мурмане вас будет ждать британский крейсер.

502

По всем нашим восточным границам, от Каспийского моря до Японского и ещё по ту сторону их, знал Корнилов несколько лет военной разведки, полдюжины восточных языков и подвижно неутомимую жизнь сухого безприметного воина с бурятской наружностью. В Японскую войну командовал бригадой, в эту — дивизией, и прослыл средь офицеров фаталистом: за то, что вёл себя на фронте так, будто смерти вообще не бывает. Его наблюдательный пункт не уходил из передних окопов, так попал и в плен. Для всякого генерала обычно плен означает конец войны —

доотбыть остающийся срок войны со льготами в быту и размышленьями об ошибках. Но Корнилов бежал — горами, лесами, ночами, питаясь только ягодами, и так три недели, — и побег его, прогремевший на Россию, встал среди доблестных событий этой войны.

После того он получил армейский корпус в гвардейской армии Гурко — и стал его любимым понятливым помощником и схватчиво нагонял достижения военной практики, упущенные им за год плена. И до недавних последних дней предположить бы Корнилов не мог, что вся его цельно-военная жизнь вдруг получит какое-то извращённое продолжение. И когда Гурко воодушевлённо напутствовал его — использовать на благо России своё исключительное назначение в гущу революционной смуты, — Корнилову никак ещё не приоткрылось, какие ждут его повороты.

Но не успел Корнилов проморгаться в Петрограде, как в первый же вечер Гучков повёз его в Царское Село, и во дворец, и велел приготовить надёжных офицеров для назначения сюда. И уже можно было понять, к чему это клонится, и лёг осадок.

И всякому военному отвратительна роль тюремщика, но если ещё и сам недавно 15 месяцев был узник — и знаешь, что такое потеря свободы?

А вчера поздно вечером Гучков прислал Корнилову распоряжение: сегодня с утра ехать в Царское Село — арестовать императрицу и установить условия военной охраны с таким расчётом, что туда прибудет и арестованный царь. И к этому прибавлялась детальная письменная инструкция содержания арестованных, разработанная, видимо, в министерстве юстиции. И в чтении инструкции можно было только изумиться, какие изощрённые эти умы тюремных содержателей, как они предусмотрительно и изгибчато опережают всякие порывы узника.

Но сама юстиция скрылась в тени, а распоряжаться подталкивали боевого генерала, как бы в насмешку над армией. Однако приказывалось — правительством, и как же можно не выполнить? Служба не спрашивает согласия.

Впрочем, объяснил Гучков, и Корнилов облегчился, что арест этот — мера временная и прежде всего для сохранности царской же семьи от озорников и мятежников.

Готовилось втайне. Полковник Кобылинский всё узнал от Корнилова только уже в поезде сегодня утром. На станцию Цар-

ское Село вызвали царскосельского коменданта и в ожидании часа, назначенного царицей, обсуждали дислокацию дворца, парка. Конечно, топографическая карта безполитична и расстановку военной охраны можно исполнять как чисто боевую задачу.

Но военное превосходство применялось к одинокой женщине.

Однако же и эта женщина… Когда Корнилов после побега представлялся ко Двору — он стал говорить о нечеловеческом положении наших военнопленных в Австрии и Германии, что надо их защитить, хотя бы прижав германских и австрийских у нас. И не встретил отзыва. Царица странно сказала: «Ах, пусть Россия покажет пример великодушия!» И охлаждающий шелесток прошёл по голове Корнилова. Хорошо ей быть великодушной, сидя во дворце!..

И вот теперь досталось именно Корнилову, и ему одному, объявить императрице невероятную новость. Эта легендарная, безпечно-белая семья, высоко, как в облаке, плававшая над всею прошлой жизнью Корнилова, — вдруг упадала наземь больно — и оцепить её дозором должен был боевой генерал, присягавший императору.

И ещё — что дети все больные, и царица измучена тем, и вполне безпомощна, хотя хочет держаться гордой, — всё это помрачало Корнилова и вязало ему язык.

И только и было облегчение, и смог он передать ей наедине: что это временно и — для них же.

Со всей её надменной осанкой, запечатлённой на стольких портретах, вот — еле держалась она, покачивалась — и посмотрела на него благодарно. Глаза её были безпомощные, улыбка — принуждённая.

Ещё темней и строже, чем вошёл, Лавр Георгиевич вышел от царицы.

Теперь — много мелких действий предстояло ему совершить.

Сперва — распорядился выключить телеграф и все телефоны во дворце, оставив только два у ворот и два в караульных помещениях при офицерах.

Затем велел собрать в зал всех находящихся во дворце лиц свиты и прислуги, всего человек до ста пятидесяти. И объявил им: что все желающие уехать должны уехать тотчас, а желающие остаться при царской семье — должны будут впредь подчиняться режиму арестованных.

Затем распорядился о смене постов Конвоя Его Величества и Сводного полка.

Затем из многих дворцовых внешних дверей назначил три действующих, и отныне охраняемых стражею. Остальные велел запереть и сдать ключи караулу.

Через нового дворцового коменданта штабс-ротмистра Коцебу, привезенного с собой из Петрограда по выбору Гучкова же, — указал расположение караулов внутри дворца и вокруг него.

Установил очередь назначения караулов от гвардейских стрелковых полков царскосельского гарнизона и порядок высылки дозоров. Дважды в день охрану будут проверять от штаба Округа.

Всем остающимся и имеющим дело со дворцом должна быть теперь объявлена подготовленная инструкция. Все продукты и довольствие должны доставляться только через кухонный подъезд, приём и выдача их — лишь при дежурном офицере, при этом не должно быть допускаемо никаких разговоров о внутренних лицах дворца. Все поступающие и исходящие письма, записки и телеграммы должны просматриваться лично штабс-ротмистром Коцебу; пропускать — лишь характера хозяйственного и медицинского, остальные — передавать в штаб Военного округа. Вход во дворец дозволяется только вызванным техникам и врачам — и то в сопровождении часового или дежурного офицера. Без разрешения командующего Округом не дозволяются никакие свидания с лицами, содержащимися в Александровском дворце. Прогулки отрекшегося императора и бывшей императрицы допускаются в светлое время дня, в часы по их желанию, на большом балконе дворца и в прилегающей части парка — но в сопровождении дежурного офицера и при усилении внешней охраны.

Всё это получилось отлично чёткое, почти военное распоряжение. Временное правительство не могло бы найти лучшего исполнителя.

Ну, кажется, кончил и собрался уезжать, ехать к премьер-министру Львову докладывать о выполнении, — как доложили генералу ещё новое: за парком в лесу обнаружена часовня, охраняемая караулом, а в ней — труп Распутина в металлическом гробу.

Ещё одна забота. И оставить так нельзя, будут глумиться. Откапывать? перевозить в Петроград?

503″

(февральский образ выражения)

…Поют газетные колокола!.. Свершилось великое, перед чем кружится голова и немеет язык. Воскресла Россия!

…Когда-нибудь, через десятки, а может быть сотни лет на сцене народного театра будут ставиться исторические пьесы из времён Великой Революции…

…История скажет, что эта была величайшая и лучшая из революций, грандиозная по внутренней сущности… Великая Безкровная…

…Наша Революция — восьмое чудо света!

…Великая Революция брызнула миллиардами искр счастья и надежды в сердца исстрадавшегося русского народа.

Семь дней назад началось бытие Свободной России. Писать об этом сейчас — значит писать Книгу Бытия. Нужен библейский язык… Из хаоса вышла жизнь… Февральская Революция совершилась с такой непредвиденностью, которая приближает её к сотворению мира… Мне радостно и жутко. Я увидел свободу и свет, которых ждал тысячу лет.

…День 27 февраля, отныне великий на вечные времена... Революция ударила с циклопической силой...

…Из величайшей в мире деспотии — в величайшую демократию! Русская революция в несколько дней достигла того, на что другим революциям понадобились годы. Россия достигла сразу вершин современной политической культуры.

КРАСНЫЙ ЛЕБЕДЬ. Сказочный лебедь с багряными перьями, фламинго Севера, Петроград, Петроград, где взять слов, чтобы прославить тебя? Будем, как Пётр, такими же железными и, если нужно, безпощадными.

(Тан-Богораз)

…Кровавый цвет знамён говорит о стальной воле народа.

…Буйным вихрем революции сброшены с пьедесталов в грязь все старые боги… Сказано последнее похоронное слово тысячелетней полосе русской жизни.

…Всероссийская тюрьма, именовавшаяся Российской Империей, более не существует.

…династия Голштейн-Готторпов, именовавшая себя Романовыми…

…Николай Последний, низвергнутый деспот… Убийца народа, обагрённый кровью безчисленных жертв…

…Целые поколения страстотерпцев русского освобождения. С молитвенным благоговением мы вспоминаем их.

…Счастье нового бытия вы поймёте потом, когда проснётесь и увидите, что вы — не в охранном отделении, что нет жандармов, которые стащат вас с постели… Склоним колена перед тем, кто сотворил это чудо, — перед Народом! Он стал бурей в красном облаке.

…Воистину, только великий народ мог оказаться способным на такие великие свершения…

…В Думе началась работа великанов… Блестящая плеяда имён, всенародно известных… Можете ли вы себе представить русский парламент без Милюкова?

…Одной рукой перестраивая государственное управление, другой продолжать борьбу с немецкими полчищами…

…Ликуйте, граждане! Вы учите немцев делать свободу! Русская свобода даёт грозное предостережение прусским каннибалам. Победа русского народа перевернула вверх дном все расчёты немцев.

…Когда вся Россия как один человек кладёт на алтарь войны… Не первый раз нашим богатырям выносить лишения. Не один поход сломили они, имея в ранцах лишь сухари.

…Робкие сердца говорят: как бы не повредить войне? Не смущайтесь! Теперь войну ведёт освобождённый русский народ.

…Как прекрасно сказал Керенский: народ, в три дня сбросивший династию, правившую 300 лет, может ничего не опасаться!

…Кроме титанической энергии русская демократия обнаружила и недосягаемую моральную дисциплину.

…Политический переворот был глубоко воспринят народной психикой, и не все могли выдержать душевное равновесие…

…Наше будущее, озарённое ярким солнцем свободы, можно считать обезпеченным. Но наше настоящее — нелегко.

…Мы выводим орнаменты на величественном фронтоне, которым потомки будут любоваться тысячи лет. Но как нам не пролить божественного нектара!..

…Мы взяли в руки горящий факел. Зажжём им светильники в храме русской свободы! Но сохрани нас Бог поджечь самый храм…

…Наша обязанность — превратить чернь в демократию.

…Счастье так близко, так возможно, как оно никогда не было в истории народов. Свободы, которых другие народы добивались шаг за шагом, тут стали доступны все разом…

…Русский народ понесёт святые заветы другим народам.

…Что за дни! Революция развёртывается спокойная и прекрасная, словно голубая река. Прошёл миг — и ты восстал, великий, могучий и прекрасный! Так громче же бросайте, трубы, в воздух звуки свободы!

…Мы придаём огромное значение этому пафосу. Народ переживает величайший праздник национальной души, равного которому не бывало и уже никогда не будет… Не уводите так скоро народ с праздника революции к будням!

(«Биржевые ведомости»)

…Ярким узором необычайной красоты покрыла нашу жизнь пена революции…

…Зачем мы боялись красного знамени, когда Христос отирал пот в Гефсиманском саду? Это же знамя — и русской революции.

…Литургийное настроение! …Деяние, обвеянное духом несомненной святости! Наитие Святого Духа! Косная плоть нашего быта окунулась в сладчайшую радость бытия.

(Ф. Сологуб)

…Печать Богоприсутствия на всех лицах. Никогда люди не были так вместе.

(З. Гиппиус)

…Мы ощупываем себя в блаженном и томительном недоумении: сон это или явь? Молниеносный темп нашей революции не поддаётся учёту… Пулемётная поступь Российского государства — кого не захватит?

…Мы показали, что мы можем всё. Нет для нас недоступного, нет запретного…

Россия, говорит один швейцарский публицист, становится во главе цивилизации. Да, мы это знаем! Мы с гордостью принимаем все похвалы и восторги, потому что они заслужены.

…Дивный храм свободы, равенства и братства, не обременяя ничьих плеч, вершиной своей будет уходить в безконечную лазурь неба…

…Как солнце красное, должен засиять на русской земле возрождённый суд, творя святое дело правды.

…Революция, как весенний вихрь, вырывает чертополохи зла, освежает побеги добра и сверкает молниями подвига. И нет в ней низости, ни атома жестокости…

…вырвать последние ядовитые корни отошедшего в историю!

…убирать старую ведомственную плесень. Рвать, рвать без жалости сорные травы! Не надо смущаться, что среди них могут быть и полезные растения: лучше прополоть с жертвами.

(«Биржевые ведомости»)

…Звезда Востока становится путеводной звездой к новым яслям свободы и равенства…

****

БЫЛА БЫ ИЗБА НОВА, А СВЕРЧКИ БУДУТ

****

504

Газеты, газеты, газеты… Теперь, когда рухнуло Огромное, непоправимо, ничего уже, видно, не спасти, — оставалось знакомиться с новой жизнью. Занятий на курсах всё не было, и Ольда Орестовна, рано с утра одевшись как на лекции, садилась не в кабинете, а за пустой обеденный стол и травила себя чтением всех этих развёрнутых газет подряд.

Пока не стали выходить газеты — была оскалена только дикая морда революции: на крыльях нарядных автомобилей и внутри

них — мурлы, и наведенные на всех встречных дула, с прицелом по невидимому врагу. А из газет — полезла пошлость.

Революцию все петербуржане видели своими глазами. А с первой газетной страницы стали узнавать нечто совсем иное. Невнятно упоминались «эксцессы», «анархия» — но никто не разъяснял, что это такое именно. Все знали, что по квартирам ходят и грабят солдаты, но газеты писали: «переодетые в солдатскую форму грабители, хулиганы», — как будто «хулиганы» было такое известное сословие, или так легко столь многим переодеться в солдатскую форму. Об убийстве адмирала Вирена и офицеров в Кронштадте пресса, дождавшаяся свободы, писала, по сути, одобрительно («стоял за старый порядок»), и не убийства видела, а что Кронштадт таким образом присоединился к революции. Поскольку революция была сразу же объявлена великой, безкровной, солнечной, улыбающейся, — то трупы офицеров и растерзанных городовых надлежало замалчивать во имя идолов свободы. Так много цветилось красного повсюду, что кровь убитых не была видна. Расстрелянного Валуева даже «Новое время» называло «скончавшимся», а не убитым. И убитого адмирала Непенина некролог напечатать никто, кроме «Нового времени», не решился. Складывалась жуткая картина: вчера был хорош, наш герой и гордость, и даже *присоединился*, а сегодня убили — ну что ж, туда тебя. Все в городе знали о разгроме и грабеже «Астории» — из газет же оповещались, что «Астория» пулемётами обстреливала народ. О полицейских будто бы пулемётах — на чердаках и крышах — была сплетена самая наглая, но и удачно привившаяся ложь. Первая пустила её «Биржёвка» Проппера — пошлейшая из пошлячек, и было подхвачено всеми, и так много раз повторено, потом уже изустно, что все и поверили, хотя никто никогда ни одного такого полицейского пулемёта не обнаружил, да их и не бывало у полиции. И ещё отдельная ложь: что пулемёты стреляли с церквей и колоколен, — только биржевая газета могла так соврать. Однако поверили все, хоть включай в хрестоматии.

Ложь стала принципом газет с первых же дней их безудержной свободы. Впрочем, они не стеснялись ложью и до революции. И в той же «Биржёвке» толпились печататься знаменитые литераторы.

Да газетные лжецы уже захватывали и английскую печать. И пронырливый журналист «Биржёвки» проник на страницы Observer'а и давал англичанам совет воздерживаться от критики нового русского правительства в момент, когда русский народ (он

говорил, разумеется, от народа) столь нуждается в дружественном расположении.

Ольда Орестовна ходила смотреть сожжённый Окружной суд — несчастливое творение злоключного Баженова, единственное его здание во всём Петербурге, и вот именно оно сгорело. То были грандиозные развалины, выгорели внутренности, обрушились лестницы, разбита статуя Правосудия, — все газеты упоминали этот пожар и все, кажется, с гордостью, как достижение, никто не написал «варварство».

Зато усвоили безжалостно-насмешливый тон в отношении арестованных сановников, со злорадством описывали немощи и жалобы 70-80-летних стариков, как один из них так безсилен, что еле веки поднимает к подходящим, а другой опасается пить сырое молоко. Корреспондент «Биржёвки» объяснял арестованному генералу Путятину, не видящему причин своего задержания: «Возможно, вы взяты в качестве заложника», — и газета печатала такое не стыдясь. Как о милости писали, что администрация великодушно *разрешила* арестованным жандармам получить постель и пищу из дому — то есть это значило: в царскосельской гимназии, в кавалергардских казармах — арестованных и не кормили, и не давали казённой постели, как никогда бы прежде не посмели содержать революционеров. Тем более писали любую гадость о свергнутой династии, императрицу иные газеты называли Сашкой, плели вздор, как она организовала покушение на царя, а то подстроила падение люстры во дворце — чтобы прославить предсказание Распутина, — а уж убийство Распутина обсасывалось сладострастно. «Русская воля», ещё одна биржевая акула, где блистал Леонид Андреев, писала, что уже в 1914 году военная разведка будто нащупала в Царском Селе шпионскую радиостанцию, но ей пришлось прекратить расследование. Газетные поэты печатали пошлые стихотворные фельетоны о царствовании Николая II, а где изображались и карикатуры на отрекшегося царя.

Но самое подлое было сообщение, рассмакованное по всем газетам, что Государь в дни революции намеревался открыть фронт немцам, и об этом будто бы дал согласие Воейкову. Даже если у кого в свите и могла бы зародиться такая мысль — как досада, как сбрякнутое, а не как реальный план, — кто бы посмел высказать такое Государю! (И никому из газетчиков в голову не приходило, что немцы в такие ворота просто *не пошли бы*: что́ для них может быть желанней нашей революции?)

Изнемогала Ольда — и от этой лжи, и от того, как ясно видела её, и от того, что не могла бы убедить читательское стадо.

Столько лет либеральная пресса грезила свободой (впрочем, имея её предостаточно) и обещала, что вот когда грянет свобода… А теперь выступила такая, даже неожиданная, сплочённая низость, такое сплошное отборное неблагородство. И — ни одного протестующего голоса! Даже гадостней всех было правое «Новое время», перелинявшее в одну ночь: из него изумлённо узнавали теперь читатели, что оно и всегда ненавидело монархию (даже и Елизавете приписывало казни!), только и желало революции, да даже и православие уже готовы были отбросить, голая национальность безо всего святого, под шапкой «Свободная Россия», как бы не было до сих пор в России никакой жизни, а только рабский невылазный труд и надо всем царствовал урядник. А какие газеты не хотели линять — тех просто теперь закрыли наглухо. Той мечтаемой свободной прессой сразу овладел гадкий тон угодливости.

Да не мутило бы так от газет, если бы из них не била мерзкая эпидемия всего общества: в дни разразившейся свободы — страх отличаться от других. Теперь-то, когда «не стало урядника», «легко дышится», люди более всего и забоялись отличаться от остальных, восторгаться революцией меньше, чем соседи. Возникла боязнь не показаться достаточно радостным. В несколько дней поднялась такая волна, что никто не смел плыть поперёк, никто не смел возразить вслух, какую бы чушь ни несли, какую б нелепость ни делали. Диктатура потока. Всех по России охватило холуйство поздравительных телеграмм правительству — и слали их в Петроград в нечитаемых количествах. «Монархический союз русских людей» в Москве «силою вещей прозрел вместе со всей страной». Хор Мариинского театра устроил службу-представление в Казанском соборе — и модно было попасть туда, к паперти подъезжали моторы с красными флагами, дивно пел хор Херувимскую и Верую, Апостола читал драматический артист, протоиерей Орнатский провозглашал, что благодаря заре русской свободы православная церковь наконец избавилась от цезарепапизма. — В Рогачёве пытались создать власть вопреки Совету депутатов — их тотчас огласили «погромщиками». Какой-то инженер на Воронежской железной дороге осмелился задержать телеграмму неизвестного ему Бубликова — уже этого инженера травили и увольняли.

А характернейший случай произошёл с начальником Управления почт и телеграфов Похвисневым. Собрание служащих затребовало от него объяснений: как он посмел в революционные дни в своей квартире дать укрываться Штюрмеру? И тот стоял перед собранием своих подчинённых, бледный, устрашённый, и оправдывался: сперва Штюрмер по телефону велел прислать ему кучера с лошадью, — какое ж он право имел отказать? А вдруг этим экипажем Штюрмер сам неожиданно приехал на Почтамтскую и попросил приют. Из соображений, ну, просто вежливости Похвиснев не мог сразу выгнать, но просил Штюрмера уходить побыстрей: если толпа заметила — то будут громить их квартиру. Будто бы Похвиснев с женой уговаривали Штюрмера сдаваться аресту, и тот всего-то пробыл в их квартире, ну, тридцать минут. Собрание горячо возмутилось: государственного преступника не должен был скрывать и тридцать минут, а звонить в Государственную Думу и просить прислать стражу для ареста! И сбитый Похвиснев уже объяснял иначе: да и тридцати минут не был! да всего только 7-10 минут! да я его даже не пропустил из передней в квартиру! Я даже не допустил его говорить по моему телефону. Я не дал ему даже передохнуть. Я так и сказал: вам здесь не место! Езжайте и будьте на людях! Я — оттеснил его из передней. Да я никогда не касался политики, господа! Да моя деятельность вся на виду!.. — Но собрание возмущалось и голосовало 213 против 93, выражая Похвисневу недоверие, и опубликовать в печати, чтоб об этом неморальном поступке своего начальника могли высказать мнение и провинциальные почтовые ведомства. И Похвисневу осталось заявить, что он тотчас покидает должность.

А в самые первые дни революции возражавших вслух — и вовсе арестовывали.

Гадко было дышать этой атмосферой травли — и вот уже смелостью, режущей ухо, зазвучала мотивировка Шнитникова, почему он отказывается пойти товарищем министра к Керенскому: «Я — сторонник демократической республики, но с уважением отношусь и к истинным монархистам», — это в городской думе, публично! — невероятно!

Да, но — где же та опора трона? У нашего государственного строя не проявилось ни исполнителей, ни друзей. Поразительно, не находится чиновника, который бы громко заявил, что по своим убеждениям он не может теперь оставаться на службе. Наоборот,

все стараются уверить, что они всегда только и мечтали о низвержении старого строя. Кто недавно превозносил царя, теперь обливают его грязью. Нет такого ослиного копыта, которое бы не спешило лягнуть, перед чем недавно пресмыкалось.

Но больше: где та преславная аристократия, ликовавшая по простору Руси три века? Аристократию, лицо которой три столетия и выражало собою лицо России, — смело в один день, как не было её никогда. Ни одно из этих имён — Гагариных, Долгоруких, Оболенских, Лопухиных — за эту роковую неделю не промелькнуло в благородном смысле, — ни единый человек из целого сословия, так обласканного, так награждённого! А ведь мечтают о «волшебном избавлении». Но никто ничего не пытается делать. Многие из аристократов и гвардейских старших офицеров — надели красные банты!

И — где епископы? Церковь — где?

Но ещё хуже многих — сами члены династии: позорно спешили выдавать корреспондентам узнанное в интимных разговорах, особенно Кирилл Владимирович со своей Викторией. Да и хлопотун Николай Михайлович. И дутый рыцарь Николай Николаевич, не ведающий, как он повторяет другого дядю другого короля — Филиппа Эгалите, голосовавшего за казнь племянника, но не спасённого тем от гильотины.

В эти дни Французская революция владела умами общества в мифическом плане. Но всё же французская монархия сопротивлялась три года, а наша — всего три дня. Да как же всё могло развалиться уж настолько, настолько быстро?! Когда умирал старый строй во Франции — находились люди, открыто шедшие за него на эшафот. Там были свои легенды, свои рыцари — Лавуазье, Андре Шенье.

Да и сам Государь! — из первых явил пример полного и мгновенного отступления. Как же мог он — как же с м е л отказаться от помазания? (Вспоминалась кислая усмешка Георгия — в чём-то он был и прав?..) Государь-то — первый и признал это теперешнее правительство.

И вослед за тем — как могло мгновенно и дружно совершиться такое раскаленье воздуха? — и вот уже опасно не восхищаться революцией или не требовать ареста царя — за что? Ведь он добровольно отрёкся, не начал войны за трон, не позвал иностранную силу, как Людовик XVI, — за что же его?..

Но самое гадкое было, что и Ольда сейчас в этом раскалённом воздухе струсила тоже, и была противна сама себе. Профессоры Бестужевских курсов, одни продолжая искренное увлечение, другие из этого нового холуйства, согласились подписать унизительное обращение к «дорогим слушательницам»: вместо прямого распоряжения явиться наконец на занятия, совет профессоров считал желательным в меру возможности установить правильную учебную жизнь и *просил* слушательниц помочь в этом.

И хотя Андозерская совершенно была несогласна с этим тоном — она не могла оказаться отдельной, и подписала тоже.

Но даже хуже. Две таких «дорогих слушательницы», Ленартович и Шейнис, явились к Ольде Орестовне домой, не предупредив телефоном, прямо позвоня в дверь, — и попросили, да на просьбу это не походило, это настояние было, уверенное, — пожертвовать на освобождаемых политических заключённых.

Этих политических заключённых считала Ольда Орестовна разрушителями жизни, она не симпатизировала им нисколько и помогать не хотела, и знала из газет, что уже биржевые комитеты пожертвовали им полмиллиона рублей, — но, профессор, у себя дома, стоя перед этими двумя разгорячёнными курсистками, она не только не высказала ни одного из этих своих возражений, но и никакого уклончивого, подсобного выражения не нашла. Она даже не смотрела им прямо в их требовательные глаза, но свои холодные отвела вниз.

Принесла и подала им 50 рублей, презирая себя.

Да потрясена она была даже в собственном своём доме — переменой, если не изменой, горничной Нюры. Всегда такая верная, ладная, в начале революции побежавшая выручать её часики от солдат, и выручила, — Нюра за эту неделю стала бегать на собрания, возвращалась рассеянная, пасмурная, отвечала отрывисто — и вот-вот, вот-вот ожидала Ольда Орестовна грубости или взрыва.

Вот так — всё разваливалось. Улицы были полны гуляющей публикой — а Россия опустела.

А от Георгия — ни письма с отъезда. Да и почту разносят плохо. Не зная куда, написала два письма ему на фронтовой адрес.

Как он пережил это всё? Этот весь обвал? Что делал, пытался?

Но это безумие! Что-то можно! Что-то можно — важное, крупное, как-то решительно выступить, кого-то сплотить!..

Все они, монолитом, стояли там на фронте, офицеры своего императора, — и отчего же не рявкнули страшным грохотом, не дунули тем духом, от которого всю революцию снесло бы как карточную?!

Загадка: что ж они там?? Какой представительный гигант казался на фотографиях генерал Эверт, вот слуга царя! — и что же он? Уже и он поспешил отступиться.

Написать Георгию ещё письмо? большое-большое. Описать весь этот новый пошлый воздух, когда стало опасно думать не так, как все. (Ещё можно ли в письме откровенно писать? А перехватят?)

Спросить его: что же?? Как он понимает? Как он *теперь* понимает? Что он видит? что делает??

Нашла она, дама, рыцаря и героя, — почему ж он не бился за её цвета?

505

Минувшей ночью — как это так легко решил Алексеев, что царский приказ к армии будет полезен? Его тяготило чувство виноватости перед царём — но ещё до утра в тревоге проснулся он с чувством виноватости противоположной: да лояльно ли это по отношению к правительству? Царя подвергают аресту — а Алексеев распространяет его приказ к армии? Ведь это получается — крупный, политической важности шаг, его нельзя рассматривать как личную услугу. По раскалённой петроградской обстановке — как это может там выглядеть?

И Алексеев в терзаниях еле дождался утра. Уж очень-очень не хотелось ему обращаться в Петроград после всего, что отписал им за прошлые сутки. Новая власть относилась к Ставке обиднее, чем прежняя: как к подчинённым, чьё мнение даже не интересно.

Но страх совершённого разбирал, и надо было обратиться. Хотя формально Ставка не подчиняется военному министру, но последние дни обернулось так, что — подчиняется. Дал телеграфный запрос Гучкову и послал ему текст приказа царя.

И очень вскоре — получил запрет всякого распространения и печатанья!

Ах, ах, верно предчувствовал! Распорядился: тотчас же прекратить передачу приказа. Уже было упущено: на фронты передали, теперь останавливали вдогонку, чтоб не слали в армии и корпуса.

Останавливали — как и Манифест отречения. Такая судьба документов Государя.

А затем — надо было идти на прощание с ним штабных офицеров. И снова испытывал Алексеев неловкость, преобореваемую, однако, сознанием долга: и остановка приказа, и сокрытие от царя предстоящего ареста — это был долг Алексеева как начальника штаба. Долг перед армией, которая оставалась — выше долга перед бывшим отрешённым начальником.

Одного только боялся Алексеев: как бы Государь, что-нибудь прослышав, не спросил бы его прямо в лоб: а не арестуют ли его? Открыть ему секрет шифрованной телеграммы Алексеев всё равно не имел права — но и солгать перед доверчивыми глазами Государя было бы ему больно. Он ведь — большой простак, Государь, и для человека это, может быть, неплохо. Но для монарха — невозможно.

Нет, в зале Дежурства всё прошло гладко, было не до личных объяснений и вопросов, Государь небывало волновался.

И пока он говорил свою прерывистую речь, а потом был остановлен слезами, Алексеев тем более испытал к нему сочувствие как к слабому и малому. И, именно зная о предстоящем аресте и о тех нелёгких испытаниях, которые могут теперь Государя ждать, — он и пожелал ему искренно: счастья в предстоящей жизни. Он действительно желал ему хорошего.

Государь обнял Алексеева и поцеловал — крепко, не церемонно.

А затем ушёл — и так на несколько ещё тягостных часов исключалась им возможность разговаривать или объясняться. После всех прощаний Государь уехал на вокзал к матери, чтобы там дождаться уполномоченных и уже не возвращаться в Ставку.

Тем легче. Вот он уже и не мешал.

А на вокзале ему уже совсем недоступно будет сопротивляться аресту.

Но при всей неловкости и трудном пережидании последних часов — ничего другого Алексеев не мог эти часы делать, кроме как работать. Штабные офицеры и даже Лукомский с Клембовским могли понимать день-два как перерыв между двумя Верховными, а вот заявится Николай Николаевич с твёрдой ру-

кой! — но только Алексеев один знал, что приедет ещё новый отреченец и изгой, — а между тем армейский руль шатается без твёрдой руки.

Но и ничего другого более срочного делать не пришлось, как подготовлять обещанные Гучкову воззвания. И этого дела, как всякого дела, Алексеев тоже не мог поручить чьему-либо перу — и сам своим бисерным ровным почерком нанизывал:

«Воины и граждане свободной России! Грозная опасность надвигается со стороны врага. По имеющимся сведениям, германцы накапливают… Захват Петрограда повлечёт за собой разгром России, водворит старый порядок с прибавкой ига немецкого. Нам грозит опасность на заре свободы обратиться в немецких батраков…»

На самом деле опасности немецкого наступления Алексеев ни из чего не видел, но даже ему хотелось, чтоб она возникла и армия построжела бы перед ней.

Тут Брусилов телеграфировал, что по политической обстановке ему приходится снять императорские вензели с погонов.

И ответил ему Алексеев опозданное: что сам отрекшийся император, понимая положение, дал разрешение снимать генерал-адъютантские вензели и аксельбанты.

ДОКУМЕНТЫ — 17

Французская военная миссия в России, 8 марта

ГЕНЕРАЛ ЖАНЕН — ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСЕЕВУ

Главнокомандующий генерал Нивель просит сделать Вам сообщение, что в согласии с высшим британским командованием он назначил днём начала общих наступлений на Западном фронте 26 марта. Этот срок не может быть отложен. Нужно, чтобы мы начали наступление как можно скорее.

В соответствии с тем, как было решено на конференции союзников, прошу Вас начать наступление русских войск к началу апреля. Необходимо, чтобы ваши и наши операции начались одновременно, в пределах нескольких дней. Французское Главнокомандование надеется, что наступление русских армий будет преследовать цель достигнуть решительных результатов и будет рассчитано на длительное ведение.

Ген. Нивель настаивает перед Вашим высокопревосходительством на полном удовлетворении этой просьбы.

506

Сегодня после завтрака командир батареи проявился: вызвал господ офицеров к себе.

Пошли все четверо.

В сером свете землянки Бойе сидел за столом под оконцем, усталый. Лицо его было землисто, подглазья изрезаны, вид — контуженный.

Для офицеров были приготовлены стулья, табуретки. Сели полукругом. Перед подполковником лежали штабные бумаги.

Он ещё помолчал, даже глаза призакрыв. Потом заговорил, и голос его волочился как по острым камням:

— Вы вчера читали, господа, тот возмутительный самозваный «приказ». Можно было надеяться, что это — пьяный бред и не относится к русской армии. Но сейчас мы получили приказ нового военного министра. И я должен вам сказать… И я должен вас спросить… Капитан, потрудитесь прочесть вслух.

Сохацкий стал читать с типографски отпечатанного листка.

Отменялись титулования, назначалось обязательное «вы» к солдатам. Отменялись все ограничения для солдат, в том числе и по состоянию в политических обществах.

Да это правда не тот ли самый вчерашний и был «приказ»? Но впрочем, — улицы, трамваи, клубы и политические общества — всего этого на фронте и близко нет. Саня ждал решающего пункта: неужели и министр подтвердит, что офицерам запрещается доступ к оружию? Нет, это не прозвучало. Ну, тогда это ещё вполне терпимый приказ.

А глаза Бойе или пенсне его — блистали недоуменностью — невероятностью! — невозможностью!

Надёжно была насажена широкая голова Чернеги.

А Устимович сидел всё с той же немой покорной надеждой.

И подполковник заметил, что офицеры его не поражены.

— Но, господа, но какие же наши солдаты — граждане? Какие политические клубы? До чего же можно дойти в абсурдах?

Саня внутренне живо не согласился: если не граждане — то по нашей вине. А когда-то и начинать делать их гражданами. Ну, война — не лучший для этого момент. А после войны ничто не заставит — и опять ничего не будет. Когда-то начинать. Стыдно не начать.

Но он пожалел подполковника, ничего не возразил, ни взглядом.

Серо было в землянке. Кажется, и лекарствами пахло, как у больного.

Серо — и молчали.

Молчали — а не отпускал.

И совсем без отдаления чином, в выдохе последнего убеждения вытянул подполковник, как жилу собственную растягивая:

— Гос-по-да! Но ведь погибла Россия!..

И вдруг — как из весёлой бочки — забубнил Чернега, да развязно:

— Не, господин полковник, не пропала! Народу — тьмища. Нужно будет — всегда спасём.

Горько узнавательно откинулся подполковник:

— Да кто же спасёт? Не вы ли, прапорщик Чернега?

Ничего супротивного не уловя, ещё бодрей гудел Чернега:

— Так точно, господин полковник! Нужно будет — и я спасу!

Бойе чуть-чуть колебнул головой, с горьким одобрением дерзкого.

Нет, на санин взгляд, приказ министра оказался не такой уж провальный. И можно было бы испытать облегченье. Если бы старичок Забудский на петроградской лестнице не лежал бы с раздробленной головой. И ещё других таких, может, сотни. (Сказал Саня Чернеге о смерти профессора — а тот как рот перекрестил после еды: «Ну, царство ему небесное».)

Подполковник двумя руками о столик подпёр голову, чтоб она держалась, раньше не было у него такого положения, голова его сама стояла на воротнике и плыла по воздуху, — и попросил капитана прочесть заодно и остальные приказы, чтоб не носить.

Ведь сквозь армейскую пирамиду никакая стрела приказа не может пробить, не обрастя добавочными перьями на каждом этапе.

Сохацкий взялся читать машинописные листы.

Следовал приказ главкозапа Эверта:

— «…Теперь, когда события во внутренних областях нашего Отечества могут смутить ваши сердца… обращаюсь с начальническим приказом и отеческим наставлением».

Вот это «отеческое» — пройденный тон. Не нашёл нового.

— «…Первое основное требование нашего молодого правительства и моё — сохранение строгой воинской… Второе требова-

ние — не тратить времени и нервов на безцельное обсуждение… а смотреть в глаза врагу и думать, как его сокрушить…»

Поди объясни солдатам: об отречении царя не думать, а только о немце.

Теперь — приказ по 2-й армии генерала-от-инфантерии Смирнова:

— «…К вам, доблестные офицеры! Больше чем когда-нибудь вы должны быть наставниками солдата. Тесней общайтесь. Объясняйте ему непонятное. Относитесь к нему с полным доверием, и он ответит тем же».

Ах, верно! Какой чистый голос оказался у Смирнова! Но — если б самому-то хорошо всё понять!

Теперь же ещё и — приказ по Гренадерскому корпусу:

— «…В районе театра военных действий отдание чести, становясь во фронт, заменяется простым обязательным прикладыванием руки к головному убору, символ единения воинских сил…»

И ещё ж по 1-й Гренадерской дивизии: во всех частях установить три постных дня в неделю, а в лазаретах — четыре.

Как сбросило от неожиданности. Ещё не состроились все осколки Огромного — а малая жизнь, в самом деле, должна ж была и при революции течь.

И ещё приказ по 1-й Гренадерской артиллерийской бригаде. Комиссия обследовала 1-й дивизион и нашла: в 1-й и 3-й батареях содержание лошадей отличное, лошади в очень хороших телах… — (Чернега расплылся.) — Во 2-й батарее есть и худоватые. В солдатских землянках найден порядок, солдаты одеты опрятно, смотрят молодцами, за что им спасибо… Где вышел чеснок — приобрести, не жалея денег.

И снова — приказ Главкозапа, от 6 марта: всем ротам и батареям обезпокоиться устройством огородов.

И приказ по бригаде: приступить к вывозу навоза на огороды бригады.

Жизнь шла! Хоть там весь Петроград перевернись, — а бригада должна жить, и сохранять людей и лошадей, и держать фронт.

Это было — всем едино понятно и несомненно.

И подполковник попросил печально:

— Подпоручик Лаженицын. Постройте батарею, прочтите всё это.

507

Мотался Пешехонов в заботах — а город был такой белоснежный, не посыпанный золой из заводских труб, и солнечно, и небо голубое, чистое, лишь первые заводские дымки, и всё в красных флагах. Революция победила, подумать! — а у него, кроме первого вечера, не было и дня порадоваться ей, так много втеснялось в голову, а что-то и до сознания не доходило или тотчас вышибалось другим.

Пулемётный полк в Народном доме, по-прежнему с дулами пулемётов на Кронверкский проспект, стал кошмаром Пешехонова: ко всем неприятностям с отхожими местами, потоки мочи уже протопили снег до тротуара, добавились ещё несколько заболеваний, врачи подозревали и сыпной тиф, а между тем праздные пулемётчики заседали в трактирах и чайных, могли разнести тиф по городу. Но цепко держались за свой нелепый театральный дом. Днём Пешехонов всё думал о них, а ночью ему снилось, что началась повальная эпидемия или что солдаты вышли с пулемётами на улицы и секут всех подряд,

И он продолжал сноситься с полковым комитетом: может быть, всё-таки убедились, что на Петербургской стороне места нет, и согласятся вернуться в Ораниенбаум? Не надеялся. Но вдруг вчера утром пришёл такой ответ: согласен полк вернуться в Ораниенбаум, но если будет приказ от Совета.

Счастье какое! Тотчас же поехал Пешехонов в Исполнительный Комитет, попал перед начало заседания и стал просить Чхеидзе и других — как можно скорей, сейчас, в один час, издать такой приказ. Товарищи из Совета насторожились: выводить войска из Петрограда? нет ли тут контрреволюционной затеи?

Всё же убедил: если сами пулемётчики согласны — значит припекло. И позже сообщили ему, что Исполком такое решение принял и послал в Народный дом Скобелева. Ну, хоть одно большое дело сделал!

И сегодня ждал, что пулемётный полк двинется восвояси. Но оттуда вдруг пришло: солдаты передумали, не пойдут. Да почему ж? Кинулся сам Пешехонов в Народный дом. Объяснили унтеры из полкового комитета:

— Это — не приказ. Сказано: «Совет *просит*». Стало, можем и остаться.

— Не, не пойдём.

Что-то тут переменилось в несколько часов. Какие-то студенты и барышни отговаривали пулемётчиков. Догадывался Пешехонов, что это — от большевиков, их штаб — наискось через Кронверкский. Они!

И помчался снова в Таврический и умолял Чхеидзе приехать хоть самого, но тот расслаб. Да ведь Скобелева не послушали…

Ничего не сдвинулось. Остались!

И уборные — в том же виде.

В этих поездках в Таврический хлопотал Пешехонов и по другой своей досадливой заботе: об автомобилях.

Автомобили стали демонами этой революции, ничего подобного не видано было в Девятьсот Пятом. Гонять впустую по городу продолжали и до сих пор. А милиция стала усердно останавливать их, проверять документы. А ещё ж — «чёрный автомобиль»! Никто его в глаза не видел, но все слышали, что он расстреливает милиционеров, хотя ни один ещё не пал, любимая легенда Петрограда, и по утрам все бросались к газетам — не поймали ли «чёрный автомобиль»?

В том и дело, что все хотели теперь иметь автомобили. В первые дни их реквизировали именем революции, в следующие просто воровали, уводили из гаражей, а хозяева осмелели жаловаться — и куда ж как не в комиссариат? Разбирайся! Одни требовали искать, другие готовы были крупно заплатить сейчас же, только бы получить свой автомобиль назад. А автомобильный отдел комиссариата, стал Пешехонов подозревать, какие-то деньги с хозяев и берёт, и автомобили хозяевам возвращает, то снова их откуда-то получает, творились под носом аферы, и некогда было их накрыть. Достигло его, что где-то кем-то подчищались номера, переменялись наружные признаки, а автомобили как бы не отгонялись даже в другие города. Тогда кое-кого из своего автомобильного отдела Пешехонов перевёл в другие отделы, набрал новых — но тут же начались недоразумения с центральным автомобильным отделом Совета в Таврическом: до сих пор те не имели претензий к Петербургской стороне, а тут стали отбирать их автомобили. Вернул в отдел прежних подозреваемых — всё стало на места.

Да не в одном автомобильном — обнаружил Пешехонов жулика и в начальнике своего продовольственного отдела, на которого полагался, ибо тот присоединился к нему ещё в первый день в Таврическом, а теперь открылось случайно, что он хитит и продаёт.

Вот ещё забота была: у него же на Петербургской стороне появилась ещё другая милиция, кроме комиссариатской, так что на улицах могло дойти даже и до столкновения двух милиций. Не такая славная была у Пешехонова — и недисциплинированная, и непривычная, но и не две же милиции рядом! А на заводах появлялась ещё какая-то третья милиция.

Но и это не всё, а: комиссариат — вообще ли власть? Потерян тот спешный момент, когда его назначали, — а сейчас нельзя и усмотреть, кому же он подчиняется? В некоторых частях города не было и никаких комиссариатов, на Выборгской — властный большевицкий. Актив у Пешехонова всё время был — присяжные поверенные, студенты, курсистки, мелкие чиновники — самый распрогрессивно демократический, но безо всякого опыта практической работы.

Пешехонов жаждал бы иметь власть и над собой, поддерживать её, и самим же опереться на распоряжение, закон, циркуляр. Однако не было связи ни с какою властью наверху. Временное правительство не декретировало никакого местного самоуправления — ни по Петрограду, ни по стране. В центральных учреждениях Пешехонова встречали с недоумением и в толк не могли взять, какую же власть он представляет. Никаких указаний или запросов к нему не присылали никогда.

Итак, центральная власть оставалась без опоры, а местные власти не могли противостоять раздирающему самовольству. Вот, рядом, большевики захватили особняк Кшесинской — а Пешехонов не находил решимости даже заикнуться выселить их оттуда. И если толпою так легко была сметена власть, существовавшая 300 лет, — то чего стоило ей смести этот недельный комиссариат?

508

Сегодня в большом думском зале опять шумела солдатская секция Совета — а через коридор от неё в неудобной, уже завтра уступаемой комнате, здесь последний день, заседал Исполнительный Комитет. И председательствовал на нём, как всегда, Чхеидзе.

Своё председательство в Совете и Исполнительном Комитете Чхеидзе понимал как важнейшую службу революции, — и не тщеславно это понимал, как выросшее своё значение (он без колеба-

ния отказался стать министром), но как возможность послужить тому, к чему шла вся его политическая жизнь. И он страдал, что далеко не все в ИК относились к своему членству так же, но — манкировали, то вовсе не приходили на заседания, то приходили с любым опозданием и даже не извинялись, то в заседаниях мешали, перекидывались записочками и даже просто переговаривались вслух. Открывая заседание и глядя в свою повестку дня, никогда Чхеидзе не мог быть уверен, что у него соберётся или не разбежится достаточный кворум, да и само понятие «кворум» перестало существовать в ИК: сколько бы ни присутствовало, те и голосовали. Да совершенно точно нельзя было подсчитать, сколько вообще членов в ИК: всё время они из разных источников добавлялись. Спросить Николая Семёновича — он и цифры точной назвать бы никогда не мог, но с добавленными солдатами — уже больше 35 человек. Трудно работать. Вот сегодня пришёл и сел уважаемый седовласый Чайковский, с большой бородой, никак нельзя было отказать в членстве старейшему заслуженному революционеру. А неизбежно было и от офицеров принять одного члена — и приняли поручика Станкевича, да он-то был революционный демократ, лишь в военной форме. Этот, по крайней мере, сидел и очень внимательно слушал.

Также и повестка дня была чревата неожиданностями. Иногда она настолько не выполнялась, что Чхеидзе брал вчерашний исчёрканный лист и вёл по нему заседание сегодня. Но даже и остатка нельзя было кончить на следующий день: всё время врывались новые вопросы — от самой жизни, от телефонных звонков, от добивчивых посторонних — и от своих же членов: каждый из них считал свой вопрос важнее всех прочих. В заседаниях было много крика, недоразумений, столкновений, все измотались.

Так и сегодня. В повестке стояло: об обращении к международному пролетариату. О взаимоотношениях с правительством (третий день переписывали). О возобновлении работ на заводах. Положение в Кронштадте. О похоронах жертв революции.

Но ничего этого и не начали, а сразу сорвалось посланцем 1-го пулемётного полка: вчера выражавший желание уйти из Петрограда, сегодня полк передумал и хотел знать окончательный приказ от ИК. А это совсем меняло картину: одно дело — полк идёт добровольно, тут никто не может упрекнуть ИК, другое — под давлением ИК, тут может возмутиться вся солдатская масса и затрещит сам Исполнительный Комитет. (Через коридор в думском зале сол-

даты как раз и обсуждали шумно: допустим ли вывод из Петрограда хоть единой воинской части?) И вот начали повестку дня с пулемётного полка, и высказывали разное, растерянно, и решили послать туда сейчас опять Скобелева, на переговоры.

Тут совсем некстати кто-то влез, что петроградское духовенство обнаглело и просит допустить его до участия в похоронах жертв. Это всех возмутило в ИК: похороны с духовенством потеряли бы всякий революционный пафос, а сбились бы на поповщину. Сам Чхеидзе испытывал к попам отвращение, как к тараканам или к лягушкам, его передёргивало всего, он даже представить не хотел такой отвратительной картины. Отказали.

Сейчас же взял слово Чайковский, с огромной лысиной и ещё твёрдыми глазами: что необходимо арестовать попа, стоящего во главе военно-морского духовенства, до сих пор не арестован. Постановили.

Пошло об арестах, так выскочил Шехтер: что у него есть сведения, будто освобождают часть арестованных городовых. Да не может быть! Да что ж это делается, товарищи, в нашей революционной столице? Керенский, вот кто за это отвечает! — и как заместитель Чхеидзе по Совету он должен вот тут рядом сидеть, а он ещё ни на одном заседании не появился, занёсся, находит время в Москву мотаться, на правительстве сидит, а у нас нет. Чхеидзе очень обижался на Керенского. Записали: поручить Шехтеру лично объявить Керенскому о недопустимости освобождения городовых.

Тут, который день, «Петроградские ведомости» просят разрешить им выход. Реакционная газета, отказать ещё раз.

А эсер Зензинов, восторженный и глуповатый, лезет: «бабушка революции» Брешко-Брешковская выехала из минусинской ссылки 5 дней назад, а мы до сих пор не готовим ей достойной встречи!

А Рафес, по неважности вопросов, понял так, что дело уже к концу, и — со своим: поступили приветствия Совету депутатов от левых с-д шведского парламента, а также от всего киргизского населения.

Да нет же! — вышел Чхеидзе из себя, стал кричать изо всех немногих сил: не мешайте повестке дня! не входите-выходите! не разговаривайте громко! тише там, у стола кормления.

И видя, как нервно ходит, места не находит, из угла в угол, то на цыпочках тянется, широкие кисти сухо потирает маленький Гиммер с войлочными волосами, — прохрипел:

— Обсуждаем проект обращения к международному пролетариату!

И Гиммер воспламенился, схватил с подоконника приготовленный лист и стал тонким, дрожащим голосом читать свой проект. Обращение это Чхеидзе считал самым правильным и важным делом. Но встречали его под непрерывный шум: то галдели большевики с Кротовским и Александровичем, то — правые меньшевики и Бунд. И если растерзать, кто против чего был, то в проекте мало что и оставалось. Чхеидзе много стучал ладонью по столу, призывал к порядку. Но видно было, что на заседании не разобраться и обращения принять нельзя. Тут вошёл уверенный Стеклов, и сразу сговорились, что он с Гиммером будет этот проект ещё дорабатывать.

А Стеклов привёл из «Известий» своего Бонч-Бруевича — давать объяснения по поводу оскорбления Рузского. Пузатый, смешно одетый по-армейски Бонч-Бруевич объяснил, что никакого там оскорбления не содержалось, что высшие генералы все неискренни, Ставка — контрреволюционное гнездо, и ещё не так с ними надо разговаривать.

И пожалуй, верно. Хотя вчера делегация Рузского и проняла тут Исполнительный Комитет — но, пожалуй, слишком расчувствоваться перед Рузским было бы вредно. Оставили без последствий.

Тут вошёл Богданов, сказал: на солдатской секции бушуют против Приказа № 2, требуют объявить, что это только — проект приказа, а не приказ.

Да что за чёрт! Всё запуталось. Уже его ограничили разъяснительной телеграммой. Но сказать, что такого приказа вообще не было, — ИК всё же не может плюнуть самому себе в лицо. Но и не посчитаться с солдатской секцией тоже не может.

Выход в том, чтобы дать теперь в «Известиях» ещё одно пояснение.

Так если о протестах — вот пришёл и протест кадетского ЦК против Приказа № 1. Ну, с этими-то разговор — послать их… Нет, то же самое, но вежливо написать.

Товарищи, товарищи! О возобновлении работ. Кузьма Антонович, какое положение?

Гвоздев тоже пришёл недавно — озабоченный, нахмуренный, сидел с уголка стола, через очки просматривал свои бумаги. Не все вставали, докладывая, но он встал. Что творилось на заводах! —

полный разнобой. На Путиловском заработали шрапнельный завод и лаборатория, остальные требовали прежде ареста Романовых и конфискации банков. Русско-балтийский уже получил 8-часовой, а Лангезиппен сам себе его объявил, а Трубочный — устранил всю администрацию и сам назначил новую. Сестрорецкий, Ижорский, печатники, Старый Парвиайнен — приступают, но требуют 8-часового. Невский судостроительный согласен на сверхурочные, железнодорожники требуют демократизации, пекаря — конфисковать муку у хозяев. А весь Московский район — полностью против и шлёт всех матом, никаких работ.

Что мог решить Исполнительный Комитет? Не все члены и эти названья заводов знали. Вот, не слушалась рабочая масса. Значит: ещё раз издать подтверждение постановления, в энергичной форме повторить, чтоб на работу — становились. Призвать наших товарищей рабочих, что надежда на соглашение с фабрикантами не исчезла. Но и фабрикантов предупредить, что ответные закрытия предприятий — постыдны в переживаемые дни, и Совет депутатов не допустит такого произвола над борцами за освобождение. Совет поставит тогда вопрос о передаче таких заводов рабочим коллективам.

Собственно, весь спор был и добиться надо было от предпринимателей — 8-часового рабочего дня при том же заработке. Но тут Богданов, всё время снующий, принёс из солдатской секции: недовольны! шумят: почему рабочие требуют 8-часового дня? А у нас, солдат, день немереный! А мы на фронте в окопах — круглые сутки? Так что они, умней нас? Или никому 8-часовой — или всем!

Взялся Чхеидзе за свою бедную, плешивую, больную голову: нет, это дом сумасшедший! Воевать — восемь часов в день? Нет, всем угодить никак невозможно, что делать, товарищи??

Никто не знал.

Народные волны безпощадно били в грудь Исполнительного Комитета. И зло брало на правительство: а оно — ничего этого не знает, уехало себе в тишь и роскошь Мариинского дворца — и спокойно там дремлют. И чем они там занимаются? И что они готовят втайне от нас и от народа?

Заволновались с разных сторон горячо. Как только об этом задумались, так подозрения стали рвать груди. Как же мы их упустили из-под пролетарского надзора? Ведь они нас обманут! Ведь они так хоть и царя восстановят, любую реакцию! Мы должны их намерения знать вперёд, и — чего не одобряем, чтоб они не делали!

Крупный Стеклов, — всё более вырастало в Исполкоме его значение и уже выдвигался он как заместителем председателя, — стоя предложил: избрать сейчас постоянную комиссию из пяти человек — и ей поручить постоянный контакт с правительством, пусть она всё ему наше передаёт и всё нужное с него спрашивает.

Большевики сразу — не надо! Соглашений с Временным правительством по сути быть не может, это — самообман, только завязнем в переговорах.

Но большинству предложение понравилось, и трёх человек избрали, даже не обсуждая, так это все признавали, головку Исполнительного Комитета — Чхеидзе, Скобелева и Стеклова.

А дальше?

Кого-то надо военного одного, чтоб нас не перехитрили. Согласились на Филипповского, молчаливого, деловитого.

А пятый?

Представлялось, что рассудительного, умеренного надо поставить, и правые предложили Гвоздева (он ещё не ушёл).

Но увидел Чхеидзе и другие тоже, как забезпокоился, завился, закрутился маленький Гиммер, даже на одной ноге поворачиваясь от невозможного нетерпения, и к кому-то взглядами, и к кому-то шёпотом — да как же это без него будут самые главные разговоры происходить! да ведь он же главный теоретик, и предложивший буржуазное правительство!

Стали спорить. Меньшевики уже раскусили, что Гиммер только выдаёт себя за безфракционного, а на самом деле подгаживает им, левее левых. Но уже и у Гиммера набралось сторонников много, и большевики все голосовали за него. Голосовали, облаяли счётчика, а ну-ка, считай как следует. Казалось — поровну. Но набрал Гиммер на одну руку больше, чем за Гвоздева.

И только кончили голосовать — вкатился хлопотливый Соколов с размётанными фалдами: что такое? без меня избрали? ах-ах-ах! я бы тоже хотел попасть!

Но уже шестого не добирали, хотя Соколова эта работа и есть любимая: на переговоры ходить.

Что же касается Николая II, то как раз мы и проверим искренность Временного правительства. И действительно, уже невозможно сдерживать народное негодование, поступают петиции, вот (Эрлих прочёл): Черноморский, Иванов, Шеф, всего 95 подписей, члены Совета рабочих и солдатских депутатов, крайнее возмущение и тревога, что Николай Кровавый и жена его, уличён-

ная в измене России, и сын его, и мать находятся на свободе… Безотлагательно принять меры к сосредоточению в определённом пункте.

Да! да! И хотя уже два раза на ИК постановляли, но под таким давлением зафиксировать ещё раз и отрезать у Временного правительства все уловки, р е ш е н о: арестовать всю семью! Конфисковать немедленно всё их имущество! И лишить их прав гражданства. И при их аресте чтобы был представитель от Совета!

Да, а что же с пулемётным полком? А что же: Скобелеву они сейчас отказали. Передумали, не пойдут.

Потёр, потёр Чхеидзе усталую лысину и предложил записать: приказ о выводе в Ораниенбаум — отменить.

Воля народа.

И вот когда наконец дошла очередь послушать наших делегатов, ездивших в Кронштадт.

Не порадовались. Разгром продолжается. Офицеров продолжают избивать, какие не арестованы. А арестованных много сидят. На командовании их почти не осталось. Даже командиры кораблей некоторые выбраны из матросов, но ничего, конечно, в деле не понимают. Митинги, митинги, службы — никакой, бери немец голыми руками.

****

КУДА НИ ГЛЯНЬ — ВСЁ ДРЯНЬ

****

509

Не забывать, напоминать себе: в Совет ты пришёл, чтоб опередить саму революцию, её незримо бешеный ход. Чтобы в самом гнезде анархии — опередить анархию и дать состроиться новому

порядку. Напоминать себе, потому что сидя в бурлящем думском зале, в гуще тысячи солдатских депутатов, Станкевич чувствовал себя не рациональным направителем, а щепкой, и бросало его стихийным переплеском туда же, куда всех бросает, и за пять минут нельзя предсказать, куда всю эту громаду повернёт один языкатый оратор.

Какая там повестка дня! — какую б ни объявили, она всё равно не выполнялась никогда, сбиваемая потоком и неожиданным наклоном ораторов, не привыкших ни к каким заседаниям. Как всегда, и сегодня то и дело вылезали с приветствиями — от разных гарнизонов и запасных полков… А обсуждать предполагали «права солдата», парой адвокатов была подготовлена целая декларация по развязыванию и роспуску военной дисциплины, — но всё повернул вылезший на трибуну писарь: что Совет депутатов должен разослать по всей России пропагандистов, которые бы всюду разъезжали и *боролись с земством*, и пропагандистов этих оплачивать, не упустил. «Деревня — нищая духом!» — восклицал он, — и надо её готовить к Учредительному Собранию.

А тут, вглядеться, только называется «солдаты», но мало безсловесных дошло до этого зала, тут едва не половина и сидела писарей да настрыканных унтеров с начатками образования. Они, на беду, уже кое-что знали — и ещё знали слишком мало.

Вот, один доказывал, что нам нужна республика: ни при каком царе никогда хорошо не будет.

Другой поправлял, что не вообще республика нужна, а — демократическая республика. Вон во Франции — там давит буржуазия.

А третий опять: что кто остался в деревне — в делах не разбирается, надо ехать разъяснять. Надо везде расклеивать программы, чтоб они висели перед глазами.

И ещё вылезал какой-то наивец и, снявши папаху, кланялся собранию, что отец его был крепостным, и он согласен ехать разъяснять на свои последние средства, безплатно.

Откидывали, что в деревне — учителя и учительницы, они сами всё крестьянам объяснят, им только газеты посылать.

А с места кричал:

— Я требую, чтобы все войска Петрограда послали домой письма с требованием республики!

А с трибуны:

— Самая главная пропаганда — это объяснить, как и кому принадлежит земля и как её надо делить. Если у нас останется царь — то земля не достанется крестьянам. Если будет республика — то вся эта дорогая земелька будет нашей! Земля Романовых должна принадлежать населению.

Откликались:

— Так у нас уже и есть народная воля. И значит — вся земля наша.

— Нет! — кричали ему. — Если Вильгельм победит — всю землю заберёт! Надо прежде победить Вильгельма.

А там кричали: выбирать лучший кадр для управления, и деньги от капиталистов передать в крестьянские банки.

— Нет, — кричали, — поручим Временному правительству засеять всю землю!

Многолюдное революционное собрание — это всё равно что революционная уличная толпа. Толпа кажется всевластной — а на самом деле идёт за вожаком и даже хочет, чтобы ею управляли. И чтоб её убедить — надо или очень-очень уверенно утверждать, или много раз повторять одно и то же, или кинуть в неё порыв, как факел. Но ничего этого не мог сегодняшний председатель прапорщик Утгоф. Он только тщетно образумливал с родзянкинской вышки:

— Товарищи! Товарищи! Мы должны обсуждать вопрос об армии, а чем мы занимаемся?

И тут же давал слово пришедшей французской военной делегации.

И майор восклицал:

— Вив ля Рус!

А с места:

— Француз пупá не надорвёт!

После того выходил молодецкий подпоручик из Союза республиканцев:

— Товарищи! Демократическую республику — ещё надо, чтобы народ понимал. Если прямо посылать агитаторов в население, то примешаются провокаторы. Прежде необходим порядок в воинских частях. Вот два солдата ушли с поста спать — это непорядок. Есть много примеров…

Но — немного было охотников на эти много примеров. Сильно гудели, не слушали.

Да, именно это первое и нужно было: порядок в воинских частях. Именно его и хотел достичь Станкевич, но не в безалаберном гудении этого зала, а в Исполнительном Комитете, куда он уже был избран. Он воспитывал себя — больше не теряться в этих волнах.

А они — хлестали.

Выходил рослый матрос с пулемётной лентой через плечо наискось, по новой моде. Мрачно налегал локтями на откос трибуны и басом:

— У нас всё в порядке. Чует сердце моряка демократическую республику. Если надо будет — дадим из Кронштадта залп по нашим врагам.

И нервный подпрапорщик:

— Надо прежде всего в сами войска послать пропагандистов из революционеров! Я — сам поеду на фронт! И скажу им: если заставят идти на Петроград — убейте такого командира! После войны мы сразу не сложим оружие, не-е-ет!

И сколько же вспыхивало сейчас таких индивидуальных дерзких воль — и во все стороны направленных. И кто же бы успел их все сориентировать?

Вспомнили Государственную Думу — и сейчас ему в ответ:

— Чтой-то я не помню, чтоб наша деревня в Думу выбирала. Кто их выбирал? Не, нам другую подавай!

Теперь бородач, рослый кавалерист, рядовой:

— Вот слушайте. Каждое дело начинается с благословения Бога. — (Уже зашумели.) — Я — старый солдат, служил безпорочно семь лет…

С места:

— И выслужил семь реп?

Смех. Не слушают.

— Э-э, — рассердился кавалерист, — да тут всё лычки сидят, тут рази солдаты!

Выхватил саблю в воздух, провёл — испугались, смолкли.

— Э-э-эх, — вложил саблю, плюнул, куда-то в кого-то, и сошёл со ступенек.

Председатель объявил депутацию из Свеаборга. Вышел румяный, плотный, радостный полковник:

— Товарищи! Мы выражаем восторг от нового строя и желаем работать вместе с ним! Да здравствует свободный народ!

По словам — могло быть изневольно, а по виду — подхалим революции. Да — строевой ли?

И за ним — свеаборгский морской капитан. Но этот — глухо, уныло (Непенина убили):

— Мы работаем для укрепления добытой свободы. У нас все едино — солдаты, моряки, рабочие и офицеры. Да здравствует свободная Россия…

И — опять в пулемётных лентах, от 2-го пулемётного полка. Лихо:

— Поклон вам, товарищи, за ваши дела освобождения! Всех врагов свободы надо изолировать и всё у них отобрать. И решить, и арестовать в 24 часа, а то они распродают имущество. И в порядке спешности немедленный арест всего романовского дома!

Хлопали: очень забористо, уверенно сёк.

Но от пулемётных ли полков, давивших Петроград, — наклонило председателя на вопрос о выводе лишних частей из Петрограда.

Крики ему:

— А как выводить, ежели революция не закончена?

— А чьим приказом? Не военный министр, должны судить об том мы сами!

— Хотя и увести, но представители их должны заседать здесь, быть всё время на страже Петрограда.

— Хотя и вывести, но иметь меж собою связь!

И — от самого заинтересованного, от 1-го пулемётного полка — унтер на трибуне:

— Мы признаём Совет солдатских депутатов, и больше никого, даже Бога не слушаем! И мы не уйдём из Петрограда, пока нам не дадут землю! И мы вчера не послушались приказа министра ехать на позицию, хотя наши солдаты там и очень необходимы, и больше нигде в России нет таких специальных войск, как наши пулемётные полки.

Со всем свободолюбием, со всей широтой воззрений — страшно стало Станкевичу: и где же, когда же такое вызрело, что мы не замечали? Неужели — за эту одну неделю только?

Заспорили: а вывозить ли на фронт артиллерийские снаряды?

Председателя сменил ловкий Борис Богданов из Исполкома — и уговорил все такие вопросы передать в Исполнительный Коми-

тет. А здесь сейчас — обсуждать Декларацию Прав Солдата. А проект — уже в руках, вот он.

И — как маслом по солдатским сердцам. Отныне все солдаты — граждане… Отменяется отдание чести…

Да, с честью не надо было так священнодействовать: за шесть шагов до офицера повернуть голову, руку выбрасывать вывернув и есть офицера глазами, — надо было давно и проще: что это — просто взаимное приветствие.

…Никаких дисциплинарных наказаний ни от кого… Отменяется постановка под ружьё, разжалование. Облегчить увольнение из казармы. Разрешается носить вольное платье и вступать в любую организацию… Курить где угодно… Отменяются всякие работы… Отменяется вечерняя поверка… Отменяется обязательная молитва… Отменяются денщики…

Вмешался доктор:

— В Действующей армии отменять денщиков нельзя. Офицер сидит голодный в окопе, как же он будет без денщика?

— Тогда платить денщикам!

— Нет, и за плату нельзя! Все в окопах, а денщики сидят в тылу!

— А что ж — вместо них бабья набрать? так что получится?

— От имени казаков прошу оставить вестовых! Денщики признаны во Франции. Без денщика офицер запаршивеет. Ежели офицер будет и сам лошадь убирать — что он тогда будет изо себя представлять?..

****

Светочем ярким свобода
Блещет над нашей страной.
Счастье родного народа
Только в свободе одной.

(«Новая марсельеза»)

510″

(по западной прессе)

АНГЛИЯ

Русская революция будет гораздо менее кровавой и ужасной, чем её великий французский прототип.

(«Рейнольдс Ньюспейпер»)

ГЕРМАНИЗМ СВЕРГНУТ …Мы надеемся, что эти события — конец наиболее трагического в трагической русской истории. Для Германии эта революция является величайшей катастрофой со времён битвы на Марне. Этот удар убивает германские надежды на сепаратный мир. Нельзя было нанести злейшего удара Германии! Русская армия сделается ещё более страшной для Германии, чем когда-либо прежде.

(«Морнинг Пост», 3 марта)

Ллойд Джордж в палате общин: «…Один из поворотных пунктов истории (возгласы одобрения)… Солдаты отказались повиноваться приказу (возгласы одобрения)… Нам приятно знать, что новое сильное Временное правительство образовалось со специальной задачей вести войну с ещё большим напряжением (возгласы одобрения)… События в России — первоклассное торжество тех принципов, ради которых мы начали войну…»

…Основная опасность заключалась в том, что царь мог бы недостаточно быстро осознать положение и сопротивляться революции или отложить своё решение. Но у него, видимо, хватило мудрости и безкорыстного патриотизма, чтобы не идти этим путём. Отказавшись от верховной власти по собственной воле, он избавил свой народ, как мы надеемся, от гражданской войны и социальной анархии.

(«Таймс», 3 марта)

В АМЕРИКЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ …Русская революция вызвала радость… Комментарии еврейских лидеров, чья враждебность к прежнему русскому правительству была огромной помехой для союзников, исполнены сочувственной надежды. …В ответственных кругах Вашингтона неофициально революция приветствуется с чувством полнейшего удовлетворения как крупный шаг на пути ко всемирному утверждению столь сердечно лелеемых идеалов либерализма.

(«Таймс», 4 марта)

В финансовых кругах Сити сообщения о русской революции приняты очень хорошо. Обменный курс рубля повысился. Среди еврейских банкиров и коммерсантов Сити вчера было выражено особенное удо-

влетворение известиями из России. Они считают, что в условиях эффективного конституционного правительства можно ожидать улучшения положения евреев в России. Как в начале войны, так и во время неё евреи проявляли, скажем, «несовершенное сочувствие» к судьбам нашего союзника. Заметный сдвиг в этом направлении…

(«Таймс», 4 марта)

ЕВРЕИ И РЕВОЛЮЦИЯ. С интересом, гораздо более чем пристальным, еврейская община в Лондоне встретила важные сообщения из Петрограда, так как они открывают более светлые перспективы миллионам их братьев… Радости и заботы миллионов евреев в России находят сочувственный отклик в сердцах их единоверцев, которым выпала более счастливая участь и которые пристально будут следить за будущими событиями, искренно надеясь, что нынешнее движение откроет более светлую эру русским евреям.

(«Дейли Телеграф», 4 марта)

…События в России явились большей неожиданностью для миллионов там, нежели для нас здесь, в Англии, потому что у нас почва была тщательно подготовлена безчисленными статьями о «тёмных силах», о Распутине и так называемых немцах, правящих Россией. Более того, британское общественное мнение очень помогло обезпечить успех этому движению… Но прогерманизма в России было меньше, чем где бы то ни было в Европе.

Если царь действительно отрёкся — он поступил благородно. Он несомненно мог найти силы большие, чем те, которыми располагает Дума, и сражаться в гражданской войне, проливая кровь тысяч людей и разоряя свою страну. Он всегда был монархом-идеалистом и царствовал, окружённый интриганами и неуместными поступками, которые затемняли и часто сводили к нулю его слова. Наблюдатели со стороны в большинстве своём чувствуют, что царизм держал Россию воедино, а если это единство отнять — Россия пойдёт прахом.

(«Таймс», 4 марта)

Зловещая роль полиции. …С самых первых дней революции стало известно, что полиции были предложены фантастические суммы для подавления национального восстания…

Военная мощь России невероятно выросла. Мы должны молиться, чтобы совершающееся чудо русского обновления продолжалось.

(«Уикли Диспэтч»)

Лондон, 9 марта. В палате общин министр Бонар Лоу заявил: «Для матери парламентов мира не будет преждевременным направить поздравительный адрес и восторженные приветствия свободному русскому народу и правительству, выразившему намерение успешно закончить войну. (Аплодисменты.) Однако позволено мне будет и выразить сочув-

ствие последнему царю, который был нашим верным союзником в течение трёх лет и по наследству получил бремя, для него непосильное…»

Палата общин единогласно приняла резолюцию с братским приветствием к русскому народу… «Выражая полную уверенность, что это приведёт не только к счастливому и быстрому прогрессу русской нации, но и к тому, что Россия с новой силой и новой энергией будет дальше вести войну…»

…От русского народа ждут теперь только, чтоб он собрал всю энергию для последних военных усилий… Наш петербургский корреспондент указывает, что республика как форма правления в высшей степени непригодна для России.

(«Морнинг Пост», 9 марта)

Россия не допустит ни анархии, ни социалистической республики. Однако во всех революциях дают себя знать отрицательные последствия отсутствия верховной власти. Наш корреспондент сравнивает действия нового правительства с попытками ковбоев удержать вырвавшихся коров…

(«Таймс»)

ФРАНЦИЯ

Париж. 4 марта вечером газеты наконец сообщили о перемене правительства в России. Впечатление было неописуемое: публика на улицах вырывала газеты у разносчиков, все останавливались и читали исторические сообщения. Теперь Россия свободна организовать могучую оборону.

Революция свершилась, и она принесёт немцам катастрофу.

(«Эко де Пари»)

…Революция подготовит военный реванш русской нации, так как армия исполнится непреклонной волей к победе…

(«Пти Паризьен»)

…Энергия, с которой ведётся война, ещё более повысится…

(«Эксельсиор»)

Париж, 9 марта. Перед началом заседания палата депутатов приветствовала продолжительной и трогательной овацией перемену русского государственного строя… То место, где премьер-министр сказал, что учреждения новой России будут развиваться по принципам Великой Французской Революции, было встречено бурными рукоплесканиями.

Французские парламентарии-социалисты: «С восторженной радостью приветствуем великий переворот! Как наши отцы в 1793… В ва-

шей революции — всё будущее международной демократии, и вы можете осуществить величайшую демократию мира. Обезпечьте мировую республику и братство народов. Раздавим германский империализм, последнюю твердыню самодержавия!..»

…Петроградское правительство составлено из лиц, намерения которых совпадают с намерениями Франции.

…Быстрое повышение русских ценностей на французском финансовом рынке.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕРЖАВЫ

Остаётся фактом, что в ходе революции власть захватила проанглийская партия…

(«Нойе Фрайе Прессе»)

Восторг союзников — неискренний. Революция — тяжёлый удар для Четверного Согласия и в действительности окончит войну на Восточном фронте. Причины, вызвавшие крушение старой власти, остаются роковыми и для новой.

(«Берлинер Тагеблатт»)

…Революция поведёт к ослаблению русского фронта как физическому, так и моральному.

…Известие о революции в России было встречено в германской армии радостно. Все уверены, что Россия пойдёт со дня на день на сепаратный мир.

…Ещё неизвестно, куда ведёт разжигание страстей у народа, который стоит только в начале политического развития и в котором чувства и мистические представления преобладают над ясным политическим разумом.

…Несовместимо с уроками истории предполагать, что революция остановится там, где хотят её руководители, и не окажет разлагающего воздействия…

(Австрийский экс-министр внутренних дел)

ДРУГИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ

Рим. Министр иностранных дел заявил, что новое революционное движение в России не только не замедлит продолжения войны, но сделает его более упорным и энергичным… Все депутаты поднялись со сво-

их мест… Величественная манифестация длилась… Не может быть и речи, чтобы революция вызвала замедление военных операций.

Ватикан. Статс-секретарь Св. Престола выразил своё восхищение по поводу безпримерного в истории безкровного переворота в России. …Папа Римский Бенедикт XV с живейшей радостью узнал… Уверен, что теперь отношения между Святым Престолом и Россией примут ничем не омрачаемый характер.

Амстердам. Биржа ответила на весть о русском государственном перевороте — повышением курса рубля.

Полвека ждала Европа русской революции и не могла дождаться. Когда же мы потеряли всякую надежду — теперь плотина снесена, и начинается великое возрождение народов!..

(«Социалдемократен», Дания)

Русские события вызвали в Швейцарии взрыв всеобщего восторга, как будто дело идёт о близких Швейцарии интересах. Женева восхищается величием подвига, совершённого русским народом и Государственной Думой. Для русских граждан это первые дни, когда не надо стыдиться своего государственного строя и правительства.

(«Форвертс», Швейцария)

В новое правительство вошли самые светлые головы России.

(«Нойе Цюрхер Цайтунг»)

Хартия свободы, предложенная Думой, ставит Россию в один ряд с культурными народами… В помощь свободной России будут даны влияние и коммерческий ум 6 миллионов русских евреев.

(проф. Масарик)

ОТРАЖЕНИЕ В РУССКОЙ ПЕЧАТИ

Печать отмечает торжество свободолюбивой Англии, для которой союз со старой самодержавной Россией был тяжёлым бременем. В палате общин сообщение об отречении Николая II встречено шумной приветственной демонстрацией. Теперь русская демократия нанесёт смертельный удар Германии…

…Воскресные газеты отражают общий восторг… «Русский народ наконец обрёл свою душу»… «Ослепительная программа политических реформ»… «Русская революция внесла освежительное дыхание в мировую атмосферу»… «Либерализм одержал величайшую победу»…

…Старое императорское правительство в критический момент не нашло себе защитника в союзных странах. Можно сказать уверенно: со-

юзные нам народы и правительства вздохнули с облегчением, когда до них дошла весть о падении старого режима. Даже война не могла сгладить пропасть между свободными Англией и Францией и порабощённой Россией. Республиканская Франция принуждена была в течение многих лет поддерживать сношения с русским самодержавным правительством.

Невозможно передать энтузиазм французской печати.

(«Биржевые ведомости»)

По известиям из Соединённых Штатов, в американском общественном мнении совершился полный переворот по отношению к России. Американцы до сих пор не доверяли России. Было несколько странно видеть либеральные и демократические нации Запада плечом к плечу с автократической империей. Соединённые Штаты не скрывали своего изумления перед таким союзничеством. Сейчас создаётся возможность открытого союза всех свободных народов против монархической Германии…

(«Биржевые ведомости»)

…Американцы, в особенности же американские евреи, выражают энтузиазм. Известный банкир Якоб Шифф, который до сих пор всегда противодействовал распространению русских займов, теперь приглашает Россию к широким кредитным операциям в Америке.

(«Речь», 10 марта)

В результате революции курс рубля на заграничных рынках вырос.

…Инсинуации германской печати… Клевещет, будто революция подстроена кучкой либералов…

По всей Европе ожидали, что пожар, охвативший Россию, превратится в хаос. Когда же этого не произошло, то Россия в глазах всего мира стала в первые ряды культурного человечества. Благородная программа министра Милюкова принята с симпатией во всех союзных странах.

511

Никак не хотела русская революция вобрать в свою корону Бубликова — но он-то знал, что был бы лучшим её украшением, что ни во Временном правительстве, ни в Совете депутатов не было человека с такой взрывной энергией и такой широтой гражданского понимания, — ни дутый Милюков, ни гаер Керенский, — просто дикая была несправедливость, что революция не впитала

Бубликова. И он, как мог, ещё карабкался в неё встроиться. В потоке всякой революции бывают переменчивые ситуации, когда первый ряд падает как сражённый — и возглавить события выходит ряд второй.

В окружении Родзянки услышав, что готовится думская депутация сопровождать царя из Ставки, — Бубликов тотчас выхлопотал быть главой депутации. Ничего особенного эта краткая операция ему не обещала, кроме того что побыть на виду, пройти по всем газетам, а ещё — своими глазами повидать поверженного царя, интересно.

Но как же он сразу сам не догадался? — это было не сопровождение, это был арест! — объявил им князь Львов, когда они пришли за документами. Так тем замечательней! Арест монарха — драматический пункт всякой революции, багровый момент! — и ярко быть записанным в скрижали как участник его!

Выехали четверо думских депутатов, комиссаров по новой терминологии, вчера вечером поздно из Петрограда, ночь покойно спали, — а днём на крупных станциях, особенно в Орше, встречали их поезд манифестации — не то чтобы толпы, но изрядные толпишки — железнодорожников и зевак, прослышавших, что едут члены Думы, никто и не знал, конечно, куда, зачем. До сих пор лишённый публичных речей, Бубликов теперь охотно выскакивал на них — и обидно не рассчитал, сорвал голос. К трём часам дня к Могилёву еле говорил.

И на могилёвском вокзале была кучка, крикнули им «ура» — а Бубликов уже и ответить не мог, говорил за него другой.

Вполне мог бы генерал Алексеев встретить их на вокзале. Однако не удостоил. (Не предан революции искренно, отметил Бубликов, при следующей волне падёт.) Встречал лишь осведомлённый генерал Кисляков — рыхлый, рыжий, со своими военно-железнодорожными чинами. И конфиденциально сообщил комиссарам, что поезд царя подготовлен, и даже сам он уже здесь, в поезде у матери. Но — ничего не знает.

Действительно, у другой платформы друг против друга стояли два синих литерных императорских поезда.

Собственно, можно было его вот и брать. Да и ехать.

Но нельзя было взять без военных властей — не торжественно, да и как именно? — вооружённой силы у комиссаров не было. Нетактично сделал Алексеев, что не приехал на вокзал.

Что ж, сели все четверо комиссаров в автомобиль и через пригород, а затем по главной улице Могилёва отправились в Ставку.

В штабе Алексеев, правда, тотчас принял их. Был у него вид какой-то зачумленный, хмурый, невыспанный, — начальника штаба всех вооружённых сил можно было вообразить бодрей. Видимо, революция ему действительно боком вышла.

Зато Бубликов, только что с голосом сиплым, чувствовал себя военным, напряжённым, поворотливым, быстрым. Он предъявил генералу предписание Временного правительства за подписью князя Львова о лишении свободы бывшего императора. И настаивал, чтоб это действие было совершено быстрей, пока император не успел приготовиться.

Как бы с робостью генерал спросил: а стоит ли сейчас объявлять бывшему царю об аресте? Он согласен ехать, он знает, что сопровождать его приедут депутаты Думы, поезд подготовлен — и пусть себе едет?

Но Революция не имеет нужды скрываться и стыдливо клонить голову! Бубликов не намеревался увозить царя обманом! Нет, бывшему царю должно быть строго и полновесно объявлено, что он — арестован!

Так может быть, депутаты сами и объявят? — Алексеев смотрел просительно. Совсем потерянный, не боевой генерал.

Нет, это — дело военных, начальника штаба. Бывшему императору будет легче услышать это от Алексеева.

(А отказывался Бубликов единственно потому, что потерял голос: от этого упал бы весь эффект ареста, царь мог бы усмехнуться.)

А ещё хочет Бубликов: чтобы к императорскому поезду был прицеплен отдельный вагон, в котором комиссары и поедут.

Это не встречало затруднений.

А ещё хотел бы Бубликов получить полный список имён всех, кто будет бывшего царя сопровождать, — от свиты и до прислуги, каждого. (Он всех их считал как бы потенциально арестованными.)

Вот это требование, думал он, затруднит и задержит. Но как раз оно оказалось для Алексеева крайне легко: все и всякие виды списков у него, очевидно, хранились, и, соединив разные, он тут же приложил список 47 лиц.

Бубликов прочёл. Что́ была свита императора? Как всё его окружение, как весь его выбор, — ничтожества. Но вот — адмирал Нилов? Всё же военный человек, может дать какой-то военный совет, предпринять какое-то решительное действие в пути. Надо его отъединить, не брать.

Всё.

Комиссары отправились в автомобиле на вокзал — и Алексеев тотчас вослед за ними.

На платформе между двумя литерными поездами четверо штатских комиссаров стали в хвосте, ожидая своего подцепляемого вагона. С ними — наряд из десятка гвардейцев железнодорожного батальона.

А Алексеев мимо них хмуро прошаркал вперёд. Говорили, что — царь всё ещё у своей матери, и Алексеев зашёл туда, в вагон императрицы.

Бубликов следил, что произойдёт. Нельзя было ждать от Николая — а вдруг какое-то всё же сопротивление, протест?

На ту же платформу стягивались и кто нужен, и посторонние. Что-то публика уже прослышала или почувствовала, собирались всё гуще, так что комиссарам издали было уже и плохо видно.

Больше молчали.

Погода стояла нехолодная.

Из вагона императрицы никто пока не выходил. А тем временем Нилову объявили, что он должен остаться в Могилёве. Руки по швам, он спрашивал: арестован ли? Ответили ему, что — таких указаний нет.

Этот человек, совершенно безполезный в отношении государственном, но годами деливший с императором все его передвижения, столования и досуги, всегда пьяный или полупьяный, а сегодня как раз и трезвый, просто слабость государева, просто придворное теплокровное существо, — пошёл теперь в царский поезд взять свои вещи.

Толпа всё сгущалась — и необычно молчала, как не бывает на платформах при провожании. Все стояли в бездвижности — и лицами туда, где бывший император.

Человек сто пятьдесят набралось.

Вдруг — от императрицы вышел Алексеев и пошёл сюда, к комиссарам.

У него было сморщенное, горькое выражение, усы лезли на очки, глаза совсем смежились.

— Всё объявлено, — тихо сказал он Бубликову. — Государь приглашает вас сегодня к своему столу обедать.

Чего угодно ожидал Бубликов, только не этого. Что угодно предусматривал он в своей революционной задаче, но не такое.

Арестованный царь — подумал, где им пообедать.

И — интересно было посидеть один раз за царским столом, и посмотреть на него близко, и поговорить, — та́к ведь и не видел, даже арестовав!

Но — терялась революционная поза, мог быть неважный штрих для истории.

Бубликов отказался — за себя и за всех комиссаров.

Алексеев попрощался с ними за руку — и ушёл опять вперёд.

Вдруг вся толпа дрогнула — и тогда в просветах, а с площадки вагона и над головами, можно было увидеть: из вагона старой императрицы не вышел — выскочил царь, в кубанской форме, в чёрной папахе, пурпурном с исподу башлыке, при казачьем оружии, аксельбантах, и почти перебежал искосный путь к своему вагону, на ходу подняв руку для козырянья — да так и не опускав её, всё подряд и держа, у закинутой головы.

Кто-то подбежал и поцеловал ему свободную левую руку.

Вся толпа стояла туда лицом — и молчала. Ни выкрика.

Так и скрылся в своём вагоне.

Алексеев зашёл за ним.

Потом вышел.

Лица свиты уже все сели в поезд.

И комиссары тоже вошли.

Ударили три звонка отправления. Дежурный по станции взмахнул флажком машинисту.

Толпа молчала. Но вся повернулась к императорскому поезду.

Алексеев отдал честь при отходе царского вагона.

Вагон с комиссарами тянулся последний — и видел головы, головы с перрона. Все лицами сюда.

Но одобрения не было на них. Ни взмаха руки.

Только Алексеев, когда вагон комиссаров поравнялся с ним, снял фуражку и поклонился.

А тонкая, изящная старая императрица стояла в широком окне своего вагона, через платформу, — с отчаяньем.

512

Владимир Дмитриевич Набоков был из тех несравненных счастливцев, кого судьба одаряет всем возможным, не соразмеряясь: и богатством, и знатностью, и чинами, и цветущим здоровьем, и выдающимся тонким умом, и даром красноречия, и способностью проявлять себя с лучшей стороны, и неизменной высокой уверенностью в себе. Отчасти от этой уверенности и постоянства своих удач он не держался за звание камергера и отдал его за одну публичную революционную речь. Человек его ума и образованности не мог не сочувствовать Освободительному движению в России — и в своём особняке на Большой Морской он принимал важнейший Земский съезд в 1904 году. Он, разумеется, был избран в 1-ю Государственную Думу и был среди её серого пиджачного состава несравненным джентльменом, каждое заседание в новом костюме и галстуке. Однако крах 1-й Думы стал и крахом его общественной карьеры: в Выборг он не только поехал, но был там секретарём заседания — и это было последнее видное, что делал он. За Выборг все последующие Думы были для него закрыты. Возвращаться на службу государственную он и сам бы уже не хотел, и его бы не взяли. Быть просто видным членом кадетского ЦК значило свести себя к партийной деятельности — в этом проявилась бы недостача вкуса. Но жизнь, полную вкуса, при своих средствах, красивой жене, отличных детях, в столичной среде он мог вести и не занимаясь ничем собственно. И так счастливо и ярко прошёл у него весь период до войны. А в войну он стал полковым адъютантом ополченской дружины, ведшей тыловые работы, уехал из Петрограда и тем более оторвался от кадетской среды. Когда же и вернулся делопроизводителем Главного штаба, он как-то уже не соединился с ЦК к-д: отчасти и права не имел как офицер, впрочем этим можно было пренебречь, а — не было особенного смысла. В эти военные годы он живых связей с кадетским ЦК не восстанавливал. И так не был в курсе их жизни, и они тоже воспринимали его как фигуру уже постороннюю.

А тут вдруг — эти неожиданные петроградские пертурбации. 27 февраля застало Набокова на службе, и он не без опасности добирался потом домой по простреливаемым улицам. 28 февраля и 1 марта, пока на улицах продолжалась стрельба, он вообще не

пошёл на службу и никого из домашних не выпустил, а новости узнавал от знакомых по телефону и от прислуги — уличные.

И вот, мгновенно и легко, свершилось всё то, к чему они когда-то, 15 и 10 лет назад, стремились, и что, очевидно, не оставалось характеризовать иным словом как: революция. (Хотя и кровь не лилась и баррикадной борьбы не было, странно.)

А поскольку она произошла, то создавалась и новая интереснейшая общественная ситуация. Служба в Штабе почти потеряла смысл, и Набоков стал похаживать в Таврический дворец к своим старым кадетским знакомцам, приглядываться. Раньше, в самые лучшие, сильные годы кадетской партии, Набоков считался в ведущей тройке-четвёрке. Сейчас брали в правительство провинциального Шингарёва, недалёкого профессора Мануйлова, — из настоящих же кадетских сил входил один Милюков, а Набокову не оказывалось места по причине давнего его отрыва.

Но с сожалением и тревогой он смотрел за ничтожным составом этого первого свободного правительства России. Государственных деятелей всего два — Милюков и Гучков. Ещё двое работоспособных, хоть и без блеска, — Шингарёв и Коновалов. А остальные даже и работать не умели, ни составить бумагу, ни проследить её прохождение, не то что руководить министерствами. Хотя Набоков и не любил Маклакова, но теперь должен был признать выдающимся свинством, что министром юстиции взяли не Маклакова, а попрыгунчика Керенского, это было совсем несерьёзно. Сам глубокий и тонкий юрист, Набоков не мог не понимать, что у Керенского юридических знаний — на фунтовый кулёк, остальное газетная демагогия, и он мог быть министром юстиции почти с таким же успехом, как приказчик магазина готового платья. И с ужасом можно было представить, как этот безформенный ком министров покатится.

Оформить отречение Михаила 3-го марта уже никто не был в состоянии, и призвали Набокова и барона Нольде. Но кто же далее будет формовать — их самих, их мысли, бумаги, указы, постановления? Пустить их без руководящей руки — было просто пустить их на гибель.

Формовать — ему было легче всего, он сам был — форма.

И Набоков не погнушался предложить себя Милюкову — управляющим делами правительства. Это не был министерский пост, не входил в ссору-распределение портфелей, но всегда существовал

и исполнялся чиновником самого высокого класса: при министрах строгой подготовки — тоже достаточно незаменимым, а при таких, как сейчас, — единственным спасителем-направителем. Милюков понимал, как недостаёт этой фигуры, и рад был увидеть на этом месте своего кадета, умницу и доброжелателя.

И подписав у Гучкова увольнение от своей военной службы прапорщиком, Набоков взялся за дело. Министры приходили на заседания правительства поговорить, осведомиться, получить себе какой-то указатель, но понятия не имели, как это *работать*, как переводить мысли и голосования в законопроекты. А при замеревшей Государственной Думе и распущенном Государственном Совете правительство оказалось в могуществе, которого не знало ни одно царское: оно и могло и должно было неконтролируемо создавать и издавать законы для огромного государства. Однако, от неумелости и впопыхах событий, первые дни законы издавались на основании устного заявления одного министра и устного же согласия остальных. Решение принималось — ещё не имея никакого текста, не сопровождённое никаким расчётом или бюджетом. Один Шингарёв представлял письменные проекты. И вся эта безтолочь так покатилась хаотически, что и Набоков первые дни не успевал справиться, да ведь ему надо было организоваться в Мариинском, помещения, секретари, протоколы, делопроизводство, — а тут ещё на него взвалили и составлять воззвание к населению, — и невольно в первые дни из правительства вытекали не сами законы, не сами реформы, а только обещания их. Так торопились, что самый фундаментальный акт — установить свою власть в покорной провинции, стал легкомысленной импровизацией князя Львова: просто сменить губернаторов на председателей губернских земских управ. (Объяснял же Львов по Толстому, что не надо никакой власти.)

И ещё несколько дней таких, и власть бы кончилась, не начавшись: Временное правительство развалилось бы само по себе, от неумения вести бумаги и дела.

Но наконец к сегодня Набоков уже всё приготовил и сам был готов. И с начала сегодняшнего заседания властно взял его в руки. Он начал первый и диктовал условия министрам.

Отныне никаких вопросов не вносить в правительство без письменного проекта постановления. Разногласия обсуждений, мнения большинства и меньшинства не будут вноситься в журнал заседаний, чтобы воля правительства представлялась единой.

(Отчасти не хотел Набоков и брать на свой секретариат напряжение этих споров.) Заседания правительства разделяются на: открытые — несколько делопроизводителей, представители ведомств, протокол публикуется; закрытые — делопроизводитель один, протокол ведётся, но не публикуется; и совершенно секретные — присутствует только управляющий делами, а протокола нет. При правительстве создаётся и будет работать тут же, в Мариинском дворце, Юридическое Совещание (снова Маклаков, Кокошкин, Нольде, Аджемов) для подготовительной разработки принципиальных вопросов и реформ. Первые задания ему: вырабатывать Положение о выборах в Учредительное Собрание. И вопрос о пределах применения военной цензуры. (Без цензуры, как сами требовали прежде, оказалось всё-таки нельзя.)

Как будто всего и немного, но появились первые рамки работы. Кажется, министры не обиделись: они уже сами страдали, что расплываются.

Затем доложили, что поезд с арестованным царём уже в пути и происшествий нет.

Милюков сообразил и предложил умную вещь: надо охранить от бывшего царя в Царском Селе документы чрезвычайной государственной важности, чтобы он их не уничтожил. Опечатать кабинет, приставить караул.

Согласились. (Но почему-то не сделали.)

Гучкова не было. Уже привыкали к его отсутствиям.

Керенский, так триумфально проехавший вчера в Москву, не явился доложить о своей поездке: то ли отсыпался, то ли зазнался, то ли слишком много дел. Его заместитель Зарудный, тоже бывший адвокат, известный по делу Бейлиса, докладывал вместо него: о безотлагательной важности создать Чрезвычайную Следственную Комиссию — и начать разбираться в клубке преступлений и измен бывших правящих лиц. Раскрытие этих преступлений поразит страну. Предполагается создать большую следственную часть, затем из присяжных поверенных многочисленную наблюдательную — за следователями, чтобы предупредить лицеприятие. Затем — президиум из авторитетных лиц. Огромное делопроизводство. Это будет крупное учреждение, на много месяцев. Нужно отвести большое петербургское здание (желательно — Зимний Дворец). И выделить значительные фонды, цифра ещё не определена.

Согласились.

Рядом не мог не встать вопрос: а как же с избыточными арестами первых дней революции? Всё же: против кого не обнаружено за 10 дней никаких данных — не следовало ли бы их освободить? Но это может бросить политическую тень на правительство. Хорошо, если это политически выглядит никак не возможно, то хотя бы дифференцировать арестованных, что они предназначены не для суда и тюрьмы, а, скажем, для ссылки? или высылки за границу?

И как бы всё-таки, и какими силами бы всё-таки — прекратить самовольные обыски и аресты, какие продолжаются в Петрограде и сегодня? Как добиться, чтобы не происходили аресты без распоряжения судебных властей?

Но ещё более срочный вопрос был с *фондами* — и в заседании началась оживлённая неразбериха. Как оказалось, каждому министерству, чтобы начать действовать, всё более остро были нужны деньги. А на какие цели можно тратить особый 10-миллионный фонд? — например, для путевых денег командировочным? А как быть с секретным 4-миллионным фондом внутренних дел, допустимо ли расходовать его на возврат ссыльных из Сибири?

Набирать новых чиновников и служащих — нужны были деньги. Но даже и увольнять некоторых неподходящих судей, сенаторов, сановников — теперь разглядели: а кто же будет платить им пенсии или заштатное содержание? За каждым увольнением маячит выплата пенсии — а из каких фондов?

Терещенко уже сделал что мог: держал яркую речь в Экспедиции государственных бумаг и призвал служащих увеличить выпуск ассигнаций. Теперь что ж ещё можно — воззвание к населению?

Дать воззвание к бережливости населения?

И обещать бережливость Временного правительства?

Нет, Терещенко имеет в виду… Ведь ещё давят проценты по союзным займам и очередные платежи союзникам. А было бы безчестием для Временного правительства отказать в долгах союзникам, об этом не может быть и речи!

Конечно! Нет! Не может быть и речи!

Да и во все стороны, куда ни повернись, правительство должно платить. А население — едва ли не так поняло наступившую свободу, что теперь не надо платить податей и налогов? Во всяком случае, в дни революции платежи повсюду прекратились.

Да, господа… да, это грозная опасность.

И что же предпринять? Очевидно — воззвание. Воззвание к сознательности населения: возобновить платежи.

Но это будет слишком резко звучать, мы хотели повременить. В самые первые ранние дни? Это оскорбит обывателя?

А не укорят ли нас Выборгским воззванием? — мы же и призывали в 1906: не платить налогов.

Но это — неизбежно, господа. Нужна лишь правильная мотивация: во время грозной опасности все граждане отныне свободной России будут с готовностью нести свои обязанности.

Но тут — влетел на заседание Керенский, и было что-то ангельское в этом влёте: такой он был невесомый, свеженький. И в руках не нёс ничего.

Все доброжелательно приготовились выслушать рассказ об успехах Временного правительства в Москве.

Ангельское — но и демоническое. По праву ли своего возврата из Москвы, или представительства Совета рабочих депутатов — Керенский, ещё не садясь и с острой косой гневной складкой на лбу под юношеским ёжиком, спросил:

— Так намерено или не намерено министерство иностранных дел энергично содействовать возвращению наших революционных эмигрантов из Европы и Америки? Отовсюду летят телеграммы, жалобы на задержки! Каково же наше революционное лицо? Как снести этот позор?!

Он мог бы сказать это всё спокойно и обратиться «Павел Николаич». Но в сочетании с гневным тоном и в третьем лице о министерстве, — Милюков, и сам напористый человек, растерялся от такого дерзкого напора, он не привык встречать подобного тона и не осадил Керенского, а даже покраснел и стал оправдываться. Всем открытый повальный возврат в Россию тоже был бы неблагоприятен, там есть публика и уголовная. А разыскные органы старого режима рухнули — и теперь никто не может помочь разобраться в личных делах. Но и так уже — на кредит, на дорогу и расходы эмигрантов министерство выделило 430 тысяч золотых рублей.

— Вы не слышите, что вы говорите! — ещё воплистей и тоньше вскричал Керенский. — Это — герои! это — страдальцы! это — мученики! Наша революция в неоплатном долгу у них! Как можно разрешить такое над ними издевательство? Как можно не распахнуть им объятий Отечества?

513

А прощание с родным Конвоем и со Сводным полком было ещё разрывательнее, чем в зале Дежурства: и вовсе открыто рыдал.

И вот — день прощаний! — ещё не отдохнуло сердце от предыдущих — теперь расставание с милой Мамá. Это-то — по крайней мере, не навсегда.

А Мамá не могла скрыть своих дурных предчувствий. Ей почему-то казалось, что может быть они и никогда больше не увидятся.

Да как же это может быть, Мамá? Вот выздоровеют дети, мы уедем в Англию, а вы в любой момент можете ехать в Данию…

С сохранившейся ещё не старой нежной улыбкой Мамá кивала узким лицом и отирала мелкие слезинки.

Приближался час отъезда, а на платформе, между поездами, набиралась какая-то публика.

Поглядев из-за занавески, увидел Николай милую группу из пяти гимназисток старших классов в чёрных шапочках с коричневыми лентами на боку и золотистыми кокардами на них. Девочки стояли как раз против их вагона и с ищущими лицами всё смотрели, смотрели в затянутые окна.

Не мог удержаться — оттянул занавеску, открыл им себя. Улыбнулся.

Они — вмиг заметили, оживились, подбежали — не вплотную, и стали живыми движениями и выражениями показывать, как они сочувствуют. И плакали. И трогательно показывали жестами, чтоб Государь написал им что-нибудь и передал.

Николай был согрет сочувствием этих девочек.

Взял лист бумаги — но так перетеснена душа, и что вообще можно написать? Написал им крупно: «Николай». И послал со скороходом.

Получили — и показывали восторженную благодарность. Целовали лист. Одна сложила и спрятала.

Бедные дети.

Тут пришли снова прощаться великие князья — Сандро, Сергей, Борис. Поговорил ещё с ними. Их положение тоже теперь обнажалось, становилось висящим, непонятным.

На платформе стоял принц Ольденбургский, крупный старик в полушубке, опираясь на палку, горбясь.

В императорский поезд носили, носили багаж.

Затем доложили о приходе Алексеева. Николай перешёл принять его в соседний вагон.

Добрый Алексеев даже за эти часы, от прощания в Дежурстве, стал неузнаваем: почти вовсе не открытые и всё время потупленные глаза, черты врезанного страдания в лице, совсем старик. Что ж ещё новое стряслось?

Оказывается: думские депутаты привезли распоряжение: Государь будет следовать… *как бы* под арестом.

Что за вздор — под арестом? Зачем? Разве он не едет сам, добровольно?

А что значит — «как бы»?..

Ну, просто вагон депутатов будет прицеплен к императорскому поезду, и сношения по пути с железнодорожными властями будут производить только они.

— Ну что ж, пусть. Это простая формальность. Не надо так расстраиваться, Михаил Васильич! — успокаивал и наконец несколько успокоил генерала Государь.

И сообразил пригласить депутатов к своему обеду.

И ещё неприятность: Нилову запрещают ехать с Государем.

Вот это уже было оскорбительно: что ж, Государь не волен в своей свите?

Но и не устраивать же скандал, неприлично. Ничего страшного, в конце концов. Поедет отдельно.

Алексеев ушёл.

Передал новость Мама́ — а у неё глаза расширились, и на тонком лице проявился страх. И это донесло до Николая сознание, что правда, как-то странно и неприлично: зачем же — арест, даже если это только «вид»?

По сути — очень неприятно. И вот что: наверно, об этом уже и все знают?

На военной платформе между двумя императорскими поездами густилась всё большая толпа, как-то мрачно-неподвижно. И что ж, они — уже все знают?

И как недавно Государю было стыдно показаться отречённому союзным представителям, так теперь ещё стыдней: как же показаться вот этим всем людям, простым и непростым, — под видом как бы арестованного? Что ж они будут думать, ведь это исключительно неудобно.

Крепко-крепко обнял Мама́ — узкоплечую, маленькую, постаревшую. Целовал, целовал. Но скоро увидимся.

И перейти-то было недалеко — наискосок, через полтора вагона, но жгло: как же так? Всегда вознесенного своего императора они увидят теперь — как бы арестованным? падшим?

Почти как — раздетым.

Эти тридцать шагов — жгли его, жгли все взоры, на него обращённые, и этих гимназисток, — он не видел их никого прямо, но косым зрением ощущал. Все видели его падение, — и это было стыдно непереносимо.

Но, по вежливости, он должен был как-то отозваться толпе — и он все тридцать шагов держал под козырёк (отчасти так и заслоняясь от них).

И — ни звука не донеслось из толпы.

Подскочил верный Нилов — согнутый в спине, и собачьим движением ткнулся в левую руку, поцеловать.

Но обожжённый Государь — проносился и не мог остановиться с ним.

И ещё раз, уже в вагон Государя, вошёл попрощаться Алексеев.

Да, вот с Алексеевым они прощались может быть и навсегда. И во всяком случае — уже никогда им так хорошо не поработать вместе, во главе Армии. Жалко стало старика, с Николашей ему уже так не будет. Крепко обнял, удручённого, и трижды поцеловал, натыкаясь на усы.

Вскоре поезд тронулся — и Николай стал к окну открыто: толпа его уже почти не видела, искоса, — а из окна в окно, когда поравнялись, маленькая Мамá перекрестила его.

И вдруг — каким-то необъяснимым сжатием охватило его грудь — что да, да, никогда больше он не увидит свою мать! Лишь вот этим последним скользящим взглядом, когда окна уже и разошлись.

И — всё. И Могилёв отодвигался, отодвигался. И поезд шёл обычным путём, как и возил императора столько раз.

Он часто, бывало, смотрел в окно, — и смотрел сейчас. И, даже выровненные снежною пеленой, узнавал некоторые приметные места.

А погода была ветреная, тоскливая.

Всё было как обычно, и вагон обычный, и своё купе с образами.

Помолился.

Сколько езжено, сколько лёжано, сколько читано в этом вагоне. И в Японскую войну все поездки на благословение войск. И в

эту войну — то в Ставку, то на фронты. И последний тревожный бросок в Царское, так и не удавшийся прорыв. И — страшная ночь отречения…

Этот поезд — стал его верным домом, стенки вагонов — как своя расширенная кожа. Вот он был опять у себя, в себе. И нынешняя поездка была не худшая из его поездок: не надо было ломать голову ни над какими проблемами, даже и над маршрутом (это была теперь забота депутатов), — а ехал он наверняка в своё Царское, открытое ему, к ненаглядной Аликс, к дорогим детям.

А выздоровеют — и поехать пока в Англию, никого не стеснять, и самому не слишком растравливаться.

Что ж, 22 года он нёс ответственность за Россию, — не всю же жизнь, пусть понесут и другие.

Но к чему этот грубый арест?..

Разве он отрёкся — не добровольно?

Разве он сопротивлялся?

Он звал — благословение Неба на это правительство, и всех призывал помогать, поддерживать, солдат — подчиняться.

Конечно, это всего лишь формальность и, очевидно, всего лишь на время дороги. Но всё же обидно, стыдно.

Ну да волнения схлынули, позор пройден. Теперь предстояла тихая частная жизнь.

Не самая худшая из его поездок.

Душа успокаивалась.

После войны вернуться в любимую Ливадию — и тихо жить на этих безмятежных, благословенных горах.

Последний закат иногда прорывался в окна. Но затягивало запад, находили тучки.

Нет. Тяжело было. Больно. Тоскливо.

А само собой тёк и обычный царский распорядок, неизменный и в поезде. Пошёл к чаю со свитой.

Боже мой! Как она проредела! Не было Фредерикса, Воейкова. Не пустили преданного Нилова. А где же — Граббе? А — Дубенский? А — Цабель? Остались в Ставке. А — почему? И почему не сказались?..

Мордвинов и Нарышкин держались очень нервно, и Мордвинов уже успел объяснить Государю, что лицам свиты, не достигшим пенсии, приказано новым военным министром не оставаться в свите, но на военной службе.

Это — каким же министром? Это — Гучковым?

Оставалось близкой свиты всего пять человек за столом — ещё Алек Лейхтенбергский, доктор Фёдоров, да князь Долгоруков, исполняющий теперь сразу должности и министра двора, и дворцового коменданта.

Но и сегодня не было основания нарушить отвлечённость застольного разговора, совсем постороннего к событиям. Только поддерживать разговор больше досталось Государю и Долгорукову.

И лишь в конце чая, когда уже подымались, Государь вдруг, неожиданно для себя, произнёс, с попыткой улыбки:

— А вы знаете, господа… Я… Я — ведь как бы лишён свободы.

514

Заболел семилетний Тити, сын Лили Ден, крестник императрицы. Об этом Лили узнала по ещё не выключенному телефону, как раз в суматохе. Говорила — горничная и подносила сына в жару к телефону. И он бормотал: «Мама, когда же ты приедешь?»

Разрывалась Лили, но было невозможно, но было предательски в эти ужасные часы покинуть дворец! И она решила — даже не говорить государыне.

Однако та сама, мужественная, но с совершенно красными глазами, позвала её:

— Лили, вам надо уходить. Вы понимаете этот приказ? Никому, кто останется, уже не разрешат покинуть дворец. Подумайте о Тити, разве вы сможете не только без него, но даже без известий о нём?

Говорила так — но конечно мечтала хоть одну живую близкую душу сохранить подле себя.

— Ваше Величество! Моё самое большое желание — остаться с вами.

Скорбное лицо государыни осветилось — не улыбкой, которая не шла к её лицу никогда, — но светом от невидимого источника:

— Я знала это! Но я боюсь, это будет ужасным испытанием для вас.

— Не думайте обо мне, Ваше Величество. Мы будем переносить опасность вместе.

— Боже, милая моя, родная девочка, как я вам благодарна за вашу преданность.

— Это я должна благодарить вас, Ваше Величество, что вы разрешаете мне остаться с вами.

Эти два дня совместных сжиганий очень сблизили их. Государыня разворачивала, разворачивала письма, фотографии — читая про себя, но не скрывая лица, и не боясь ничего открыть Лили, как своей. Вместе утерянное — сблизило их больше, чем вместе бы приобретенное.

А вчера вечером верная прислуга предупредила, что жечь больше нельзя: уборщики печей обратили внимание на непомерное количество золы в каминах — а сейчас всё доносится наружу, уже верить никому нельзя.

Вот как! — даже свободы сжигать своё интимное у себя в камине государыня была лишена!

Ну, правда, большую часть успели.

Вся обстановка вокруг дворца уже была отравлена предательством, и это коснулось части прислуги. Сама государыня не видела потока грязи, выливаемой на неё газетами, злобных статей и карикатур, — но это всё притекало во дворец, и прислуга отравлялась.

И ещё приходили государыне письма, — Лили читала их, даже сегодня трусливо-анонимные, — с предложением помочь установить мир с немцами.

Лицу государыни естественно было выражение грустного величия. Или, при неподвижных глазах, магнетически-пламенный взгляд:

— Ах, Лили, страданьями мы очищаемся для небес. Мы, которым дано видеть всё и с *другой* стороны, — мы всё должны воспринять как Божью руку. Мы молимся — а всё недостаточно. Из *другого* мира, потом, мы всё это увидим совсем иначе. С отречением Государя всё кончено для России. Но мы не должны винить ни русский народ, ни солдат — они не виноваты.

Её поразило, что в сегодняшних утренних газетах уже было крупно напечатано дословно то, что Корнилов ей сегодня прочёл. Итак, весь Петроград с утра уже знал сегодня обо всём — и ни одна сочувствующая душа не прорвалась предупредить государыню.

Бенкендорфы, разумеется, оставались. Приехала из Кисловодска Настенька Гендрикова — как раз сегодня, прямо в капкан. Милый Боткин — оставался при детях. Милый Жильяр, учитель фран-

цузского, заявил, что никуда теперь не пойдёт. Мистер Гиббс, учитель английского, оказался в Петрограде, и его теперь не пускали во дворец. А граф Апраксин не мог покинуть обязанностей враз, но уже дал понять, что на таких условиях он оставаться не может.

А давно ли брался учить государыню, как ей быть?..

Там и сям проходил, показывался новый комендант дворца — штабс-ротмистр Коцебу, бывший офицер Уланского Ея Величества полка, она его не помнила, правда. Но Лили — хорошо знала его! — это был её дальний родственник.

И она подстерегла его на проходе в одиночестве и спросила, что это значит.

Он ответил в большом смущении:

— Не могу себе представить, почему я назначен на этот пост. Меня никто не предупреждал, не объяснял. Сегодня ночью разбудили и приказали отправляться в Царское Село. Заверьте Их Величества, что я попробую сделать всё возможное для них. Если я смогу быть им полезен — это будет счастливый момент моей жизни.

Едва Лили донесла эту тайную радость до государыни — принеслась следующая: Сводный гвардейский полк отказался сдать караулы пришедшим стрелкам!

Вот это так! Вот это новость! Да ещё может быть с этого начнётся и весь великий поворот войск??

Но хотя они не сдали караулов и до ночи — не стало внутренних постов, и откуда-то просачивались в дворцовые коридоры развязные, дерзкие солдаты с красными рваными лоскутами — и с любопытством заглядывали в двери комнат, спрашивали объяснений у слуг.

А в парке раздались выстрелы. Это — революционные солдаты стали охотиться на ручных оленят.

515

Когда-то в 3-й Думе Гучков первый дал публичную пощёчину сплочённым густопсовым великим князьям — тем более они рассеялись теперь: отставка Николая Николаевича решена; какие ещё великие князья сидят по генерал-инспекторским местам, во вла-

сти Гучкова, те притихли, ожидая верного снятия; болтливый Николай Михайлович, воротясь из короткой деревенской ссылки, поносит династию как может; а Кирилл Владимирович уже разобрался, что и ему не прокатиться гоголем по революционной дороге, но пришёл смущённо доложить министру, что слагает с себя командование Гвардейским экипажем. На его неумном лице намного поменьшело самодовольства с того недавнего дня, когда он с пышным красным бантом явился в Думу и предполагал, кажется, сыграть роль главного представителя династии в новой обстановке.

Отпадали враги справа, но грозно наседали враги слева: Совет рабочих депутатов. И надо было успеть и умудриться ловкими ходами уманеврировать из-под них армию, от их разложения. Тут надеялся Гучков на поливановскую комиссию. Она заседала каждый день, и Гучков заходил поприсутствовать. За одним концом стола для веса сидели генералы, за другим — молодые, энергичные и язвительные генштабисты, и Гучков не нарадовался их напору, изобретательности и революционной энергии, не знающей над собой никаких святых авторитетов. Работа комиссии продвигалась быстро. Уже утвердили изменение уставов в пользу личной и гражданской свободы солдата. Уже утвердили положение о ротном комитете и передачу ему значительной доли хозяйственной жизни.

Вчера от советских депутатов Гучков упал духом, а сегодня приободрился: устоим! Главная-то его надежда была: омолодить командный состав армии! Как дорога была ему эта идея! Расчистить фронтовые, армейские, корпусные, дивизионные командные места ото всей завали, старья, протекционизма, тупости, поставить талантливых, молодых, энергичных, и каждый будет знать, что отныне его карьера зависит не от связей и случайностей, — да как же преобразится, взбодрится вся армия, как кинется она в победу! какой возникнет наступательный дух! Гучков и был рождён к этой задаче, и это высшее было, что мог он сделать на посту министра. Ещё не вполне пока ясными путями: как именно безошибочно и быстро обнаружить всех правильных кандидатов? Но очень рассчитывал на помощь генштабистов (Половцова особенно приблизил к себе, заведовать особо важной перепиской).

А всё остальное, чем приходилось заниматься Гучкову, была удивительно безперспективная нудь. Вот — куча приветственных

телеграмм военному министру — от начальников гарнизонов, от комендантов городов. Вот — делегации от гарнизонов, уверяющие, что там всё в порядке теперь (а там не в порядке). Вот — приветствия лично ему, от французской «Тан» и английской «Дейли Кроникл», — они надеются и уверены, барашки, что теперь Россия начнёт крупно наступать (и надо отвечать им в тон). Но вот и доклады по военному снабжению и комплектованию фронта резервами: военное производство всё остановилось (в Москве настроение Совета — «долой войну», не дают открыть даже противогазовый завод), транспорт в перебоях, а тыловые части настолько взбудоражены и переворошены, что потеряли всякую боеспособность, нечего и думать посылать их на передовые позиции. Последнее место, куда мог поехать сейчас военный министр, — это казармы запасных полков: ещё неизвестно, поднимутся ли с нар при его входе, а уж какую-нибудь советскую гадость выкрикнут непременно.

И оставалось… оставалось одно реальное дело в руках военного министра — готовить и подписывать воззвания. То — к населению, то к армии, то к населению и армии вместе. К офицерам отдельно. И к офицерам и солдатам вместе. Подписывая единолично. Или со всеми министрами. Или со Львовым. Или с Алексеевым вместе. Одни такие воззвания уже были на днях опубликованы. Другие предлагались готовые к подписи. Третьи сочинялись.

И наконец, просто приказ по армии и флоту. Всё о том же: что надо сплотиться с офицерами, верить им. Свободная Россия должна быть сильнее царского строя.

Гучков с Половцовым и другими помощниками обсуждал заклинательные формулы, так и так кочующие из документа в документ, — и сам уже в них переставал верить, но не во что было верить и в другое.

И много же времени отбирало. И отупение какое-то.

И он рад был хорошему предлогу сегодня: оторваться от своего безрадостного сидения в довмине — но не для того, чтобы ехать на ежедневное скучнейшее заседание правительства, нет, ему там нечего было докладывать и слушать нечего, а предлог вот отличный: ведь за ним ещё оставался, налагался и Военно-промышленный комитет со всей его деятельностью, — и вот сегодня в петроградской городской думе было назначено как бы расширенное заседание ВПК, а в общем — привлечь внимание общественности к вопросам промышленности и военного снабжения.

В Александровском зале думы собралась тысяча человек, отборное общество, деловой мир, военные мундиры, много дам, все желающие принять участие в общественной жизни столицы, так грубо прерванной революцией, теперь рады исключительному поводу сбора. У входа здание охранялось войсками. Внутри ослеплял забытый блеск орденов, звёзд, белого крахмала и дамских нарядов — взвинчивающая радостная обстановка.

Гучков (ненарочно) опоздал, его все ждали, раздался возглас в просторном зале: «Приехал!» — любимец России, знаменитейший сын её! — и все встали и бурными аплодисментами, забытой силы, приветствовали вход его, а потом проход в президиум вместе с Коноваловым и Терещенко.

И Гучков — ощутил освежение, как правда нужен ему этот всхлёстывающий удар, найти себя в атмосфере напряжённой, сочувствующей, образованной аудитории — и почерпнуть уверенность из собственного уверенного голоса, и ощутить вокруг себя ореол славного прошлого.

И Гучков сидел на подиуме, разглядывая зальное скопление в счастливом, молодеющем состоянии: возвращалось к нему прежнее чувство знаменитого человека.

А тем временем — всходили и всходили ораторы, и так весело, в завоёванной свободе, звучали их речи.

В этом зале как бы отменились законы революционной смуты, трепавшие город, и возвратилась прежняя приятная устойчивость жизни, однако и с полной свободой.

И от совета съездов биржевой торговли («с умилённым чувством старого шестидесятника»). И Комитет коммерческих банков. И московский Биржевой комитет: наконец сметена вечная преграда народной самодеятельности и высоким идеалам! Московский люд бьёт челом первому собранию великодержавного народа! Деньги на войну у народа всегда найдутся! («Браво!»)

И особенно — приветствия министрам, самоотверженно взявшим на себя бремя правления в такой страшный момент. И так постепенно подступило ответить из министров главному.

Александр Иванович поднялся — счастливый, забывши все свои министерские тяготы и мрачности, взвинченный радостью этого собрания и новыми, новыми нестихающими аплодисментами. И навстречу — разве мог он опрокинуть им всю тревогу? Да она и ему самому уже казалась сильно преувеличенной.

— Милостивые государи! дорогие сотрудники последних тяжёлых лет! Мы-то с вами привыкли понимать друг друга с полуслова и при цензуре. Но через ваши сердца я обращаюсь к необъятной России, ради которой мы готовы и жить работая, и умереть страдая! (Аплодисменты.)

Он и правда думал так. Он овеян был знакомым прежним чувством, прежним правом: говорить сразу ко всей России.

— Все убедились, что победа России при старой власти невозможна, а надо свергнуть её — и лишь тогда появятся шансы на победу. (Аплодисменты.) И когда арестованы были наши товарищи, члены Рабочей группы, мы с моим другом и ближайшим сотрудником Александром Ивановичем Коноваловым отправились к представителям старой власти и сказали: «Мы с вами не в прятки играем! Мы не были революционной организацией, когда создавались, это вы сделали нас революционной организацией, и мы пришли к заключению, что только без вас Россию ждёт победа!» (Бурные аплодисменты.) И вот мы, мирная деловая организация, включили в свою программу — переворот, хотя бы и вооружённый! (Бурные аплодисменты.)

Гучков стоял перед ликующим залом, запрокинув голову. Вот наступило время! — теперь он открыто, с трибуны, мог заявить о планах переворота. Не в точности так было, но сейчас всё легко сливалось и сплачивалось, чуть-чуть выправлялось в памяти, чтобы быть стройней, и брался реванш невзятого переворота. В эту минуту Гучков особенно любил слияние своего замысла и своего торжества. (И сколько милых дамских лиц! Никогда не стареет тяга в человеке.)

— Но, господа! Этот переворот был совершён не теми, кто его сделал, а теми, против кого он был направлен. Заговорщиками были не мы, русское общество и русский народ, а сами представители власти. Почётным членом нашей революции мы могли бы провозгласить Протопопова. (Смех.) Это был не искусный заговор замаскированной группы, младотурок или младопортугальцев, а результат стихийных сил, исторической необходимости, — и в этом гарантия его незыблемой прочности. («Браво! Браво!») Перед нами — великая творческая работа, для которой потребуются все гениальные силы, заложенные в душе русского народа. Мы теперь должны — победить самих себя, вернуться к спокойной жизни.

«Самих себя» он имел в виду — буйных солдат.

— Я верю, что Россия выйдет из невероятно тяжкого положения, к которому привела её старая власть. Я со всех сторон вижу, как проснулись дремлющие угнетённые народные силы.

И даже слишком проснулись…

— Никогда ещё не было такого энтузиазма к работе. Правительство уверено, что падение старого режима увеличит интенсивность работы. С верой в светлое будущее русского народа…

Весь зал встал, и долго-долго-крепко аплодировали — и из этого упругого ветра набирался Гучков сил вести два военных министерства, что он, в самом деле, приуныл?

516

От самого приезда комиссаров и все проводы Государя — мучительно дались генералу Алексееву. И почему «комиссары», когда они просто депутаты Государственной Думы? Потом старший из них, Бубликов, — таких острых, опасных людей Алексеев из опыта своей жизни и вспомнить не мог. Решительный, а глаза бегают, напряжённый, но и раздёрганный, то и дело всё оборачивался, будто ожидая, что кто-то стал за его спиной. Так и видно было, что он всех тут, начиная с Алексеева, подозревает в замысле, заговоре или подлоге. А ещё его манера вести себя, с задавашеством, голову закидывать, — в чужом месте, да в Ставке! — очень коробила. Первый раз за все эти десять дней Алексеев ощутил революционный Петроград не по аппарату, но через этого Бубликова, — и шершисто же по коже! Неужели теперь так и будет, и все из Петрограда будут приезжать такие?

И подумать, что именно этому Бубликову как радетелю железнодорожных перевозок, не представляя его лица и поведения, Алексеев неделю назад своими руками отдал все железные дороги страны, а значит — и весь ход событий.

Повидав — пожалуй бы не уступил.

А уж теперь ничего не оставалось, как уступать дальше. Два часа с ним здесь — продержаться вежливо, предупредительно, что ж по-пустому портить отношения?

И как же строили петроградские! Всё тяжёлое почему-то продолжало падать на Алексеева: и горечь объявить Государю об аресте. Бубликов, со всей своей дерзостью, не брался.

Всё больше Алексеев теперь понимал, что за эти дни — много они поработали его руками.

Тяжело он вволок свои ноги в салон императрицы-матери, шагом не генерала, но удручённого старика.

Посреди салона, уже ожидая его, стоял без папахи тоже не Государь, и не полковник, не кубанец-пластун, но 48-летний простоватый, усталый, ещё на дюжину лет загнанный человек и, не скрывая тревоги, расширил глаза на Алексеева.

Отъезда он ждал, но почувствовал что-то и смотрел: чем ещё ударят его? Отменят ли отъезд? Не пустят в Царское?

И огрузло старое сердце больного Алексеева, и окоснел язык, так неподъёмно ему стало объявить. Зачем он взялся?..

И не было сил смотреть в большие доверчивые, добрые глаза царя.

Ища как-нибудь помягче, пообходнее, Алексеев тихо, смущённо бормотал, что Временное правительство с этого момента… как бы… просто в качестве временной предупредительной меры… в основном, чтоб оградить от революционных эксцессов…

Приняв удар лбом, Государь ещё шире раздрогнул веками и стал сам успокаивать Алексеева — не расстраиваться.

Стояли друг против друга наедине — последний раз из стольких раз, когда их соединяла привычная служба. Вот самое страшное было сказано — и ничего. Теперь бы — что-нибудь помягче?

Повспомнить?..

Никто не мешал, не контролировал — сказать сейчас любые почтительные или преданные слова. Но — не шли. Что-то внутри обвалилось, загородило, ничего такого не мог Алексеев вымолвить.

С облегчением, что обошлось гладко, Алексеев ходил потом по военной платформе. К депутатам. И назад к императорскому вагону.

Но неизбежно было зайти ещё раз, попрощаться. Опять тяжело. Зашёл. В зеленоватом салоне Государь широко раскрыл руки и крепко обнял Алексеева.

И благодарил, благодарил его за всё.

И не просто ткнулся в щёки, но трижды взаправду поцеловал генерала.

Ещё с платформы, под козырёк, Алексеев почтил начавшийся отход Государя.

Пошли, пошли голубые вагоны с орлами. И подбирался обычный жёлтый второклассный с депутатами-комиссарами. И Алексеев подумал — нельзя их не поприветствовать на прощание. Но отдавать им воинскую честь — было бы неуместно. А вагон вот приближался, и что-то надо было сделать. Просто помахать рукой? Тоже не для генерала.

Растерялся. И перед комиссаровым вагоном — снял фуражку. И приклонил голову.

И тут же пожалел.

Возвращался в штаб — в смутном состоянии. Обиженным, униженным. Использованным.

И опять погрызало это чувство — как будто вины перед Государем. А вины — никакой не было. Какую можно было назвать? Разве только: вчера в ночь не предупредил об аресте.

Но всё равно это не помогло бы Государю. А только испортило бы ему настроение раньше.

Смутное, мерзкое состояние. От такого состояния только и было одно верное средство — работа.

А работа — всегда ждала, не придумывать. Неодолимые расчёты транспорта, продовольствия, топлива. А к ним теперь — и припирающее требование союзников: начать наступление 26 марта!

Ах, как вам легко пишется.

На все налегшие обиды — ещё эта налегала, от союзников. Поразиться надо: до какой же степени они никогда ни в чём не полегчали, не сбрасывали русским! И не помнили наших жертв — ни самсоновского выручания, ни двух ещё в Восточной Пруссии, ни брусиловского. И постоянно вмешивались в русскую стратегию. И не делились снарядами. Никогда ни в чём хорошо не помогли, посылали помощь только от избытка. И требовали, и требовали русских войск к себе на фронт. И навязали румын. И настаивали назначить общего Верховного — из французов. И вот теперь — 26 марта.

И англичане, и французы только в том и проявляются, что постоянно видят одни свои интересы.

Не имел права Алексеев в ответе раздражиться, выйти из рамок, — а сказал бы он им!

Но и наше новое правительство и новоиспеченный военный министр — они-то разве понимали наше состояние, подорванное десятью днями революции? Один Алексеев по своему положению

только и мог охватить во всём объёме. Но тем более не должен был он держать это при себе. Все сношения с правительством эти дни — короткие дёрганья, по слишком срочным, но и преходящим вопросам. А не могла бы верхушка правительства сама приехать сюда да вникнуть?

Ничего, у Алексеева хватит терпения написать предлинные объяснительные телеграммы и Гучкову, и Львову.

Тут даже рисовалась возможность взять у них компенсацию за своё перед ними унижение. Тряхнуть их, что они ни о чём не ведают.

И — погнал, погнал мелкие петельки строк.

Это началось ещё с румынского вступления в войну, оно лишило нас равновесия, переклонило на левый фланг, нарушило главные оперативные перевозки, обнажило наш север. Теперь и Балтийский флот стал небоеспособен, и нельзя рассчитывать на его восстановление. И одновременно такое же разложение катится от Петрограда к Северному фронту — агитаторы, неповиновение, аресты офицеров, и волна докатилась уже почти до окопов. И в этом натиске мы склонны видеть тайную умелую работу нашего *врага*, использующего безотчётных, неразвитых людей. В офицерском составе — упадок духа от травли, — и в чём же останется сила армии? При наших малокультурных солдатах всё держится на офицере. Целые воинские части скоро станут негодны к бою. При таких условиях германцы могут без труда заставить нас катиться назад. А разобраться — откуда всё разложение? От фабричного класса и малой доли запасных тыловых частей. Голос земледельцев и фронтовой 10-миллионной армии ещё не высказан, — а они не простят перевороту поражение в войне. И начнётся, может быть, страшная междуусобица в России.

Должно бы их пробрать, что никакие они ещё не властители над Россией.

Спасенье одно: успокоить армию, восстановить доверие солдата к офицеру. А для того — правительству перестать потакать Совету рабочих депутатов. Поставить предел безконечному потоку разлагающих воззваний! Мы ждём и просим приезда ведущих министров в Ставку для совещания с Главнокомандующими. Чтоб обсудить наши потребности. Возможности. И добровольные ограничения.

Когда Алексеев ровными строчками и сопряжённым языком выписывал свои срочные документы — он как бы преодолевал все

наросшие угрозы, все расстояния, непонимания от дальности. Облегчаясь в аргументах — он как бы уже и превзошёл опасности, и ему, как всегда, стало легче.

К концу своих двух длинных мрачных писем он изрядно успокоился, уравновесился, стал надеяться на доброе взаимопонимание с правительством, и как оно осадит Совет депутатов и остановит гангрену.

Отлегала досада, неловкость, привезенная с вокзала. Алексеев хорошо преодолевал изнурительно тягостный сложный день и мог рассчитывать хоть сегодня поспать без сердечной муки.

Найдёт он завтра, как ответить и союзникам. Гурко на зимней конференции не обещал им так рано.

Но тут пришёл Лукомский с тревожным лицом — и положил перед ним газету «Известия Совета Рабочих Депутатов», сегодняшнюю, прибывшую с вечерней почтой.

На её грязноватой странице с нечистой печатью и многими крупными заголовками была отчёркнута штабным красным карандашом — статейка.

И почему-то ёкнуло сердце у Михаила Васильевича.

Что ещё? Это было… Это был комментарий газеты на приказ генерала Алексеева ещё от 3 марта, когда Алексеев узнал только ещё о первой банде, едущей по железной дороге, и телеграфировал в штаб Западного фронта, чтобы такие банды старались даже не рассеивать, но захватывать, немедленно тут же назначать полевой суд — и приговор приводить в исполнение немедленно же.

Тогда — это составилось так естественно, простая мера военачальника, Алексеев написал текст телеграммы не задумываясь.

Сегодня — он, может быть, и задумался бы, что выразился слишком резко.

Но вот он читал газету Совета — и гортань, и лицо его наливались жаром.

…Генерала Алексеева многие наивные люди считают человеком либеральных взглядов и сторонником нового строя…

Да, он себя и считал теперь таким! Уж теперь у него и выхода другого не было, как сторонник.

…Разоружение железнодорожных жандармов считается в его глазах тяжёлым преступлением, заслуживающим смертной казни…

Да, до сих пор он думал так. Но теперь видел, что перебрал. По тому, как оно покатилось…

…И это после того, как новый строй установлен именно захватом власти…

Что верно, то верно. Михаил Васильич, кажется, запутался: в самом деле — а *вся-то* власть?.. И тогда — что тужить о жандармах?

Всё больше его наливало жаром испуга, простого грубого испуга, пока он читал роковые подслеповатые строчки.

…Но особенно замечательны средства, которые намерен принять генерал… Генерал Алексеев достоин своего низверженного господина Николая II. Дух кровавого царя жив в начальнике штаба…

Ай, как нехорошо! Как грубо связали.

…Этим распоряжением Алексеев сам подписал себе приговор в глазах сторонников нового строя…

Боже мой, что ж это делается? Как они разговаривают? — ещё острее Бубликова… *Приговор??*.. Крепко же умеет Совет рабочих депутатов…

…Но генерал Алексеев не найдёт таких «надёжных частей» и «верных офицеров».

И кажется, верно.

В центре Ставки, в охраняемом штабе, над своими беззвучными излияниями безмолвному правительству, — от резкого голоса Совета депутатов почувствовал Алексеев себя беззащитным, просматриваемым, угрожаемым.

И — одиноким.

Нет! Он достаточно дистанцировался от отречённого царя и не допустит объединить себя с ним, никак!

Но: без царя-то он и застигнут одиноким.

Иногда и сердился на царя, и забывал, как хорошо: защитная власть над тобой. А без неё — вот ты и не сила.

И никогда единого резкого слова, не то что подобного, он от Государя не слышал.

Газета доканчивала: …По имеющимся у нас сведениям, военный министр Гучков распорядился не применять репрессивных мер, которых требует генерал Алексеев…

Вот это так! Вот так они его и покинут, безголовое правительство.

А он им пишет — не потакать Совету депутатов!.. Всё вперевёрт.

Вдруг сообразил: да ведь приказу о бандах — уже пять дней, а отзыв — только сегодня?

Сообразил: о б м а н у л и! Давно уже метили, но ждали, пока он арестует и спровадит царя!

А он даже прощального царского приказа не допустил…

Использовали…

А теперь — как же защищаться? Опереться — не на кого. Не на кого.

Надо — спешить как-то оправдаться.

Как-то выразить свою лояльность.

Вот — поскорей принять Ставкою новую присягу.

ДЕВЯТОЕ МАРТА

ЧЕТВЕРГ

517″

(по свободным газетам, 8—9 марта)

ПРИКАЗ ОБ АРЕСТЕ НИКОЛАЯ II

У КНЯЗЯ ЛЬВОВА. Ваш корреспондент посидел несколько минут в кабинете князя Львова. Картина почти жуткая, незабываемая. Как ко всеобщему центру летит сюда электричество всей сотрясённой страны… Он быстро берёт бумаги, быстро читает, в то же время берёт телефонную трубку, быстро отвечает. Эта великолепная быстрота государственного кормчего спасительна и драгоценна…

…И этот темп, взятый новым правительством, естественно не вяжется с длительным обсуждением законопроектов в Государственной Думе, это теперь невозможно.

…Опасения двоевластия, к счастью, преувеличены. Совет Рабочих Депутатов совсем не считает себя «вторым правительством»…

…Общество сближения с Англией верит, что отныне при талантливом и патриотическом руководстве вашем, глубокоуважаемый Павел Николаевич…

…Старая власть думала сгубить великую Россию, но свободный народ всем нутром почувствует, что сейчас его долг — привезти хлеб!

Хлебный кризис в Германии. Опасность обострения…

…Смерть адмирала Непенина явилась совершенно случайной. В порту он был встречен каким-то рабочим, который выстрелил в него.

При аналогичных условиях был убит и адмирал Небольсин.

У ГЕНЕРАЛА РУЗСКОГО. Герой великой войны ген. Рузский присоединился к народу тотчас после получения первых известий о брызнувшей над столицей заре свободы. Царь отправлялся во Псков с надеждой,

что ген. Рузский ему поможет усмирить бунтовщиков. Но с первых же слов генерала тиран понял, что надежды его нелепы… Горизонты генерала так широки, что он свободно вмещает все течения политической жизни вплоть до социалистических учений. Корреспондент «Русской воли» был приятно изумлён, когда убедился, что ген. Рузский легко ориентируется в тонкостях с-д большинства и меньшинства.

(«Русская воля», 8 марта)

У КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. Первый из великих князей, признавший новое правительство. Над его дворцом — красный флаг. Адмирал Романов любезно встретил меня у дверей кабинета. …Он не скрывает своего удовольствия по поводу совершившегося переворота: «Мой дворник и я — мы видели одинаково, что со старым правительством Россия потеряет всё… Но сказать царю было безполезно. Чем он был занят, что у него не было времени выслушать? Скрывать нечего, Александра Фёдоровна правила Россией. И Виктория Фёдоровна беседовала с ней, осветила положение страны, назвала имена лиц, достойных быть ответственными министрами. Царица возмутилась».

(«Русская воля», 8 марта)

НЕВЕРНЫЕ ХОЛОПЫ. Люди будущих поколений поразятся: как случилось, что самодержавие оказалось покинутым с первого выстрела?.. Та каста, которая жила и кормилась за столом самодержавия, спряталась по норам, не пошевельнув пальцем… и покинутый ими царь одиноко ждал в своём вагоне великодушия русского народа. Английские карлисты, французские роялисты являли подвиги самопожертвования, а эти… На всю Россию оказался один человек, у которого хватило мужества не пережить падения режима и застрелиться, — *Зубатов*!

…8 марта — первое легальное собрание петроградской еврейской сионистской партии. Всемерно поддерживать Временное Правительство в его освободительной работе… в интересах расцвета еврейской народной жизни в России и национально-политического возрождения еврейской нации в Палестине.

…Собрание петроградской секции Бунда.

ЛОЖНЫЕ СЛУХИ. В течение 5 и 6 марта в Петрограде злонамеренными лицами усиленно распространялись слухи о происшедших будто бы в некоторых городах России еврейских погромах. Называли Витебск, Ковель и др. По тщательной проверке этих слухов членом ГД Фридманом оказалось, что они лишены всяких оснований. Наоборот, известие о снятии национальных ограничений сочувственно встречено всеми слоями населения России.

Заявление обер-прокурора В. Львова. …Я всегда боролся против самовластных распоряжений обер-прокуроров, но в данном случае я вошёл в церковное ведомство с хорошей метлой. Эта метла заденет всё не-

годное и вредное — на пользу православной церкви и государства… Весь сор будет выметен в самом ближайшем времени…

ДВОРЦЫ — НАРОДУ! Нельзя не отметить с возмущением голоса, призывающие к осторожному обращению с дворцами, дескать там сокровища искусства. Мы знаем «просвещённый» вкус деспотов. Их коллекционерство носило отвратительный характер. Никаких «художественных сокровищ» почти не имеется…

…Есть проект установить на Дворцовой площади колонну Свободы, ещё более величественную, чем нынешняя колонна Победы, — и на ней золотыми буквами будут написаны имена всех героев революции. Предполагается переименовать площадь — в Февральскую.

Два влиятельных иностранных дипломата подробно изложили Фредериксу, в чём заключаются требования и чаяния русского народа. Но чтоб он доложил это государю как бы от себя, ибо нельзя же говорить царю, что иностранные дипломаты вмешиваются во внутреннюю русскую жизнь. А он всё забыл, достал при царе листок, и царь спросил…

Пётр Кропоткин о революции. Сегодня ваш корреспондент посетил Кропоткина в Брайтоне. Великий революционер сказал, что с первого получения известий из России не может приняться ни за какую работу. Радость его неописуема. Он глубоко верит, что деспотизм в России рухнул навсегда. Теперь совершенно невозможно оставаться за границей.

НЕ ВЫДЕРЖАЛИ. За истекшую неделю в городскую больницу Св. Николая на Пряжке поступило 96 человек, заболевших психическим расстройством. Преобладают мужчины. Только 7 марта поступило 27 человек.

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ ПРИЗНАЛИ НОВОЕ РУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ. ОТСТУПЛЕНИЕ НЕМЦЕВ.

СОЗЫВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ В МОСКВЕ. …Другого решения о месте созыва не может быть. Москва — сердце и колыбель России. Москва сыграла важную роль в народном движении. В Москве возникли организации, подготовившие революцию. По тем же основаниям центральное правительство должно быть переведено в Москву, чтоб окончательно порвать с петроградским периодом русской истории.

ТРАМВАЙНЫЕ РУЧКИ. **Кто вернёт** в Управление трамвайные ручки, **будет дано вознаграждение**: за большую ручку — 5 руб., за малую — 3, за ручку с рычагом для крана тормоза — 5.

Митинги прислуги. 8 марта на многих рынках состоялись митинги домашней прислуги, требующей своего раскрепощения.

Собрание официантов и других служащих трактирного и ресторанного промысла. По вопросу о текущем моменте собрание постановило, что, если только будет попытка со стороны Временного Правительства уклониться от исполнения программы, Совет Рабочих Депутатов должен немедленно провозгласить себя временным революционным правительством.

Не откажите, добрые люди, помочь бедному приходу воссоздать храм Св. Николая взамен сгоревшего.

Нужна комната в еврейской семье барышне, свободной художнице.

Продаются: енотовая шуба, дворянский мундир с треуголкой…

АРЕСТ АЛЕКСАНДРЫ ФЁДОРОВНЫ

АРЕСТ НИКОЛАЯ II

ВЫЕМКА БУМАГ. В Царском Селе и, по-видимому, в Ставке и в Ливадии произведена выемка бумаг государственной важности. Бумаги эти будут рассмотрены особой следственной комиссией.

…Можно быть спокойным за жизнь венчанного ничтожества: никому не придёт в голову удостоить его мученического венца.

(«Биржевые ведомости»)

НЕ ВЕРЬТЕ РОМАНОВЫМ! …Позаботиться, чтоб и мамаша императора разделила судьбу арестованных!

ГРАЖДАНЕ РОССИИ! ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ! …Вам, землепашцам, надлежит немедленно помочь снабжению… Братья, не дайте России погибнуть! Не выдайте родины! Везите и продавайте хлеб добровольно, не ожидая особых распоряжений.

Родзянко

…Министр финансов Терещенко обратился к представителям банков с надеждой, что финансово-хозяйственная жизнь страны теперь пышно расцветёт.

На нужды революции кулисы петроградской биржи собрали около полумиллиона рублей.

БЕРЕГИТЕ АРМИЮ! Приходят тревожные слухи. Некоторые люди проникают в армию, ибо теперь полная свобода передвижения и слова, и ведут там проповедь скорейшего и безславного окончания войны.

Полкам говорят: откажитесь сражаться, и война окончится. Не хочется верить, чтобы нашлись русские граждане, способные на это!

…Всем самовольно отлучившимся из 175 пехотного запасного полка в ближайшие дни вернуться в полк. В противном случае считать их сторонниками старого режима.

ГОТОВИТСЯ ОТМЕНА СМЕРТНОЙ КАЗНИ. …Пусть до конца скажутся величие и красота стремлений народа! Пусть займётся заря нашей свободной жизни без смертной казни! Слабый и безвольный режим мог держаться только устрашением, виселицей и нагайкой. Русская революция торжествует свою победу иначе! Сильная и могучая, она смело упраздняет смертную казнь! И в такую острую минуту, когда страсти горят.

…Как ни странно, наивеличавая революция не принесла нам свободы печати. Без особого разрешения Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов выпуск изданий воспрещается.

(«Речь»)

…Анархия, безчинства, грабежи, врывания в частные квартиры, порча имущества, безцельные захваты учреждений продолжаются до сих пор…

ИНТЕРВЬЮ КИРИЛЛА ВЛАДИМИРОВИЧА. «Что я могу добавить к тому, что известно широким массам? Моё credo? Но кто его не знает? Свершилось. Переворот произошёл по вине бывшего государя. Только безумцы могли предположить, что 1300 пулемётов на крышах и церквах…

…Разве я, великий князь, не испытывал гнёт старого режима?

…Разве я скрыл перед народом свои глубокие верования? Разве я в дни великого освобождения пошёл против народа? Вместе с моим любимым гвардейским экипажем я пошёл в Государственную Думу, этот храм народный… Я всё это говорю не к тому, чтобы оправдаться, — за мной нет особенных грехов. Но теперь старые корабли сожжены, впереди я вижу лишь сияющие звёзды народного счастья. Русский народ широко вздохнёт и возьмётся ковать себе счастье…»

(«Биржевые ведомости»)

Позднее раскаяние. «Мы, нижеподписавшиеся офицеры и классные чины наружной полиции, скорбели, что, будучи по роду службы разбросаны по всей территории Москвы и оставленные на произвол судьбы, невольно были лишены возможности разделить всенародную радость по случаю освобождения России. Смеем надеяться, что запоздалое наше сочувствие будет принято залогом нашей преданности».

(Более 200 подписей)

Одесса. Зачислено в присяжные поверенные 60 помощников, евреев. Местная правая газета «Русская речь» прекращена. С завтрашнего дня то же издательство начинает выпуск газеты прогрессивного направления.

Воронеж. Арестованы организаторы местного отдела Союза русского народа

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЕ СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ НАКАНУНЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ ГЕРМАНИИ. …Всё население Соединённых Штатов жаждет войны… Предполагается заём союзникам в 1 миллиард долларов.

…Население столицы недоумевает: почему трамвайное движение ежедневно прекращается в 7 часов вечера. Это объясняется тем, что служащим трамвая необходимо обсудить ряд профессиональных и политических вопросов. Это обсуждение займет всего несколько вечеров.

10 марта в помещении Европейского Театра состоится собрание домашней прислуги.

ГРАНДИОЗНЫЙ ПОЖАР ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. Погибло в огне 50 тысяч пудов американского хлопка.

Елизаветград. Проезжая воинская часть освободила 40 дезертиров, задержанных за уголовные преступления. Затем толпа разгромила сыскное отделение.

Чита. С Нерчинской каторги прибыла Спиридонова и другие. Народ встречает героев-страдальцев с энтузиазмом, носит на руках.

КУПЛЮ ИМЕНИЕ, район и цена безразличны.

Барский особняк продаётся на набережной Большой Невки.

ДОРОЖЕ ВСЕХ ПЛАЧУ за драгоценные камни, золото…

518

Имел он несчастье уже знать, что это за боль в середине груди: уже бывала у него от сердечного припадка. И такая сразу беспомощность: не то что встать, но лёжа не найти положения. Ты сразу пригвождён этой раскалывающей болью, как вогнанным клинком, и никакой не министр великой России и российской армии, а зажившееся обречённое чучело.

И ты зовёшь «Маша! Маша!» на помощь, приложить компресс. Потом вспоминаешь, что сам же от неё ушёл, перекочевал в довмин. Но странно: через некоторое время вместо адъютанта она же и появляется — и поглаживает, и массирует грудь. И может быть спадёт. Да кажется и спадает.

Посылается нам масштаб нашей безпомощности, напоминательный сигнал, как мы ограничены, — и сразу шатается наша правота и обвинительная сила по отношению к другим людям, вот и к Маше. Ещё вчера простить ей не мог, что в неповторимые дни революции она смела изматывать его своими мелкими сценами, своим выпяченным, неутихающим самолюбием. Не могла увидеть события его глазами, а всё видела своё, ненасытимое.

А сейчас, благодарно испытывая её заботу и прикосновения к больной груди, думал: да ведь это — несчастье её. Несчастное всежизненное неравновесие женщин сперва с передержанным девичеством, потом с промороженной сексуальностью, а сердце, как у всех людей, требует счастья, требует его — хоть взрывами, обидами, слезами.

Её несчастье — больше, чем его. А всё-таки — трое детей рожено. И хоть один сын убит по её недосмотру, а один монголоид — не по её же вине, но Верочка, любимица, — чья же?

Когда столько лет вместе, — как ни отрезай методически, но в любые пять минут, от события или взгляда, самое дурное отношение вдруг переменяется на тёплое, и ты сам безсилен захолаживать дальше. За столько совместных лет — как не набраться и тёплому?

А когда тебе уже пятьдесят лет и ты лежишь безпомощный, и не знаешь, отпустит ли, — так невольно и примириться с ней, сразу простить целые годы истерической безсвязицы, смириться, какая уж она есть. Вдруг обнаруживаешь, что несмотря ни на что — а проросла она через самое твоё сердце.

Все умрём, и даже может быть скоро, — и что мы всё делим?

Но так ли омужественело сердце от боёв или так оно зачерствело, — даже лёжа под тенью смерти почему-то нет позыва молиться. От староверческого детства не осталось в груди — ничего.

Однако кажется — отходило.

И уже мягко, дружно разговаривали с Машей.

Необъяснимо, почему это произошло сегодня. Не удивился бы — утром позавчера, после наканунешнего раздирающего разговора с Советом. Но вчера — ничего не случилось, напротив, речь

держал в городской думе, вечер торжества, и снова чувствовал молодым себя, и снова героем. А вот…

Однако что теперь делать с поездкой? Ведь сегодня вечером думал выезжать в Ригу.

Решение ехать родилось от накопившейся безвыходности последних дней. Уже почти полную неделю министр, ответственный за армию воюющей страны, он сидел безпомощно у себя в кабинете и принимал донесения, разоряющие душу: неподчинения, аресты больших начальников, смута в гарнизонах. Вчера совсем рядом, в Выборге, арестован комендант крепости — и ничего нельзя сделать. А тут — нудные заседания Временного правительства, где, сказал бы Гучков без ошибки, ни одного мужчины, кроме него, нет.

Шла война? Так все главные события должны были совершаться на фронтах. Но именно там их не было. А вся боеспособная и броненосная Россия замерла вдоль фронтов, замерла как бы даже в загадочности: никаким полным голосом не отозвалась на революцию.

И стало казаться Гучкову эти дни, что если он перестанет костенеть в петербургских кабинетах, а вырвется на фронт — то и эту загадку разрешит, и может быть благополучно. Да настоящее место его — именно там, среди армии. Именно там и придут ему в голову правильные мысли и действия.

Объезд петроградских казарм, как это он делал вначале, его разочаровал: и не армия это вовсе, не воины, — но какая-то вязкая, глупая масса, и вовсе не увлекаемая словом своего министра, перепорченная агитаторами.

Ему хотелось соединиться с силой, движением, успехом. Это могло быть только на фронте.

Но и слишком далеко уезжать сейчас тоже нельзя: в любую минуту Петроград может потребовать. Простейшая поездка — в 12-ю армию, в Ригу, к хорошему другу своему, болгарину Радко-Дмитриеву, старая балканская дружба, и Гучков защищал его от нападок, будто тот виноват в прорыве Макензена под Горлицей.

Но вот — как же теперь ехать?

И Маша, вдохновлённая вернувшейся близостью, в размахе подбодренной своей энергии:

— Саша! Ничего! Поедем! Я буду с тобой. Я в вагоне буду за тобой ухаживать — ты будешь лежать.

А что, может быть? Так не хотелось уже отменять, настроился.

Так что, брать и Машу? Ещё вчера казалось бы это диким, а сейчас — уже и естественным.

— Только весь день лежи, не занимайся ничем. А вечером поедем!

Сегодня поливановская комиссия заседает… Хотел быть.

— Ну, может быть, ты и права. Правда, поедем.

С благодарностью и он к ней. С ещё большей она к нему.

519

Ехал Николай в своём императорском поезде — и наполнен был высокой грустью, сожалением, размышлением, прощанием, мечтой. В эту поездку он ничего не читал, и не докладывали ему никаких новостей, а всё больше смотрел он в окно. И только видел — сугробы, снежные поля (вчера между Оршей и Витебском мятелило, поезд задерживался даже).

Вдруг вспомнил: сегодня день, когда в народе пекут жаворонки.

Весёлый возврат жаворонков.

На остановках в щель занавески — странно-бездейственные группы железнодорожников и просто жителей: молча стояли, молча козыряли поезду, молча шапки снимали — будто поезд вёз мертвеца.

На мелких станциях не видел Николай ни одного красного лоскута ни у кого на груди, на больших — бывало, но и те зявились на поезд молчаливо. А на станции Дно (как недавно он тут проезжал во Псков!) толпилось много солдат на платформе, очень миролюбивых. Шарили глазами по зашторенным окнам, видимо искали своего Государя, конечно! — и подходили к кондукторам, спрашивали, — но всё глухо, казалось — шёпотом.

Так, снегами, безмолвием и шёпотом, был сопровождён весь ход поезда, последний.

И Государь — стеснялся, не решался, он цели не видел — показаться бы народу, дать посмотреть на себя или что-нибудь им сказать. Стеснялся — и скрывался за шторами.

Ехал в императорском поезде — а поезд всё меньше ему подчинялся, утекал из-под остатков его влияния, но Николай ничего этого не замечал. Теперь не было всеуверенного, всезнающего Воей-

кова, приходившего бодро докладывать Государю о ходе поезда и спрашивать указаний. Заменял его в должности молодой Долгоруков, но не он теперь вёл поезд, он отстранён был от подробностей движения, и поездка стала как бы глухонемой. Теперь с железнодорожниками связывались депутаты из последнего вагона. И когда на 149-й версте вдруг останавливались и стояли в поле — никто не пришёл объяснить. Гораздо позже узналось, что вспучило рельс и останавливал путевой сторож.

И так же ничего не знал Николай, что думает и что делает его наполовину растаявшая свита.

Не знал, что лейб-хирург Фёдоров в своём купе со своих погонов на шинели выцарапал государевы вензели — чтобы в Царском выйти уже без них. (Но оставил вензели на тужурке, чтобы мочь ходить к царскому столу.)

Не знал, что милый граф Мордвинов раньше всех сумел осведомиться, что поезд от Вырицы пойдёт не прямо на Царское Село, но крюком через Гатчину, какая удача! — и уговаривался с одним и другим путейским чином, чтоб остановку сделали в Гатчине, где живёт его семья, — и он сойдёт со своим багажом (уже упакованным).

Не знал, что и флигель-адъютант Нарышкин, недавно писавший протокол всей сцены отречения, сейчас уже объяснял одному и другому, что не может задержаться в Царском, ибо в Петрограде у него срочные личные дела. И очень всем советовал слушать указаний Временного правительства, это единственно верное поведение.

Не знал, что остатки свиты, кроме Долгорукова, костенели от ужаса, не ждёт ли их всех арест при выходе на перрон в Царском, — и только тем успокаивались, что должны б отпустить, ничего дурного за ними не числится.

И поездные путейские чины тоже волновались, вспоминая недавнее убийство Валуева — тоже ведь ни за что.

И не знал Николай, что в последний комиссарский вагон являлись через тамбурную площадку делегации императорской прислуги — зарекомендоваться, и с денежными дарами, и с царскими обедами на думских депутатов.

А у тех были свои заботы: с крупных станций посылать телеграммы в Петроград, а от каждой непредусмотренной остановки всполашиваться: не готовится ли нападение на поезд — освободить царя?

Никто не приносил Николаю всех этих известий, да и не было у него заведено, чтобы свитские доносили друг о друге. А сходились к очередной еде — говорили о скорости поезда, о погоде, даже о военных действиях на фронтах, где не было сейчас действия. Прежде, в хорошие дни, Государь пытался и шутить за столом — да как-то никто в свите не понимал шуток.

На одной из станций кто-то достал газету и прочли об аресте Воейкова в Вязьме.

Свита восприняла зловеще, как предзнаменование себе.

А Николай сказал, о нём и Фредериксе:

— Жаль мне их. В чём же они виноваты?

Проехали Сусанино.

Ещё какой-то был переполох между Семрино и Гатчиной, на переводной ветке, резкий свисток, остановка, и безпокойно ходили от комиссарского вагона.

В Гатчине останавливались — и Николай видел избоку выгрузку вещей, только не понял чьих.

У станции Александровской довелось ему на арке на красной бязи прочесть надпись: «Долой гнусное самодержавие».

Передёрнуло плечи как ударом бича.

Чем ближе к Царскому, вся эта мерная, укатывающая мрачность поездки стала претворяться и в Государе в тревогу. Что-то вдруг замутило его, что всё — нехорошо: не сам он едет, его везут — и ещё туда ли? И ещё допустят ли до Аликс?

Неиспытанное состояние: безвластия в собственной судьбе.

А в последние полчаса надо было наконец и прощаться — со всей поездной прислугой (Николай пошёл в их вагон) и с высшим служебным персоналом поезда.

Затем — и с салоном своим, где отрёкся он неделю назад.

И — со служебным своим кабинетом.

И — со спальней своей, в иконах.

Он смахивал слёзы.

Вот подошёл поезд и к царскому павильону — маленькой царской станции в стиле весёлого русского шатра, в стороне от общей станции и на отдельной ветке.

Погода была — притуманенное, незадёрнутое солнце.

Никто не созван был ждать такого зрелища — приезда царя. Да раньше сюда и не допускали посторонних. Сейчас кой-какая молчаливая публика собиралась, но мало, — немногие в штатском, да любопытные солдаты без оружия, но с красными

наколками и плохо подпоясанные, десятка два. Из дворца никто не приехал для встречи, а приезжали всегда. Самые старшие встречающие были — два полковника да железнодорожные чины.

Царский вагон, как всегда рассчитанно, остановился прямо против шатра — но выходить не предложили сразу, а сам Николай постеснялся.

Сперва комиссары из последнего вагона подошли к начальствующим лицам, толковали с ними на перроне.

А между тем из поезда всё кто-то выходил, выходил, не мешкая, и рассыпались прочь.

Исчезали флигель-адъютанты.

И только единственный остался изо всей свиты, из двенадцати человек, молодой князь Василий Долгоруков. Ожидал сопровождать Государя во дворец и распоряжался о его вещах.

Наконец полковник с перрона сказал, что можно выходить. Передали Государю.

Уже готовый, одетый, всё в той же своей черкеске кубанского батальона, с пурпурным изнутри башлыком, в чёрной папахе и с казачьим кинжалом на поясе — Николай вышел из вагона — нет, выскочил порывисто. И опять при общем молчании, как и в Могилёве, — перебежал в шатёр, с опущенной головой — скорей мимо ещё нового стыда! — сквозь него — и в закрытый автомобиль, с Долгоруковым.

А полковники от гарнизона — в свой автомобиль.

И так оба автомобиля покатили ко дворцу.

Милое Царское лежало в своих уютных сугробах, но разбросаны были на чистом снегу — клочки газет, бумаг, папиросные пустые пачки, а встречные солдаты некоторые были неимоверно распущены в форме, военному глазу больно смотреть.

Кто-то узнал автомобиль царя, кто-то и кулаком показал.

Перед решётчатыми воротами Александровского дворца стоял усиленный караул — не своих, но гвардейских стрелков.

Всегда бросались распахивать ворота перед автомобилем Государя — а сейчас, как будто не понимая, из-за ворот резко окрикнули:

— Кто здесь?

Из автомобиля некому было ответить.

И дежурный незнакомый прапорщик у ворот не спешил распорядиться открыть.

Но кто-то другой, спускавшийся по лестнице из дворца, спросил: «Кто здесь?»

И от ворот туда тот же резкий голос, первый спросивший, ответил дерзко, звонко:

— Николай Романов!

Показался поручик — горящая папироса в пальцах, красный бант на груди, крикнул:

— Открыть ворота бывшему царю!

Открыли. Автомобиль въехал.

На крыльце стояли и другие офицеры стрелков, и рядом внизу — стрелки, и все с красными приколотыми лоскутами.

Ещё раз надо было быстро перейти. Не глядя. Не видя. Как можно быстрей.

И Николай рванулся перейти, поднимался на крыльцо — никто ему не отдал чести, никто не вытянулся.

А он — не мог им не отдать. Рука сама поднялась к папахе.

Как иначе может пройти военный?

520

Из окон штаба Северного фронта виден, по ту сторону оснеженной реки Великой, Спасо-Мирожский монастырь.

И кажется, ещё никто этого не отмечал в печати.

Отметим. Перекличка веков. Какой? Наверно, Двенадцатый? Тринадцатый? И — Двадцатый. Там — причудливые главки, тишина. Здесь, перед штабом, — фырканье автомобилей.

Нет, даже лучше: ведь это — староеспубликанский Псков. Итак, через реку Великую (нотабене!) старая республика протягивает руку новой, образовавшейся тут же, во Пскове. Замечательное начало!

Перед комнатами Рузского у вешалок — вестовой казак. (Тоже запишем, читатель только и живёт деталями, а «Биржевые ведомости» славятся броскостью.) Приёмный зал. Потёртый стол с чернильницей. Потёртые старомодные стулья.

Вот и генерал. Распушенные сивые усы. Тонкая притушенная улыбка. Голубые усталые глаза. Сияющая белая четырёхугольная причёска. (Эти детали — рассредоточить по тексту, чтобы поддерживать зрительное впечатление.)

— Правда ли, господин генерал, что сегодня ваш штаб принял присягу Временному правительству?

— Да, это наши торжественные минуты, и я уже об этом дал телеграммы — князю Львову и Родзянке. Мы обязались полным повиновением правительству до Учредительного Собрания, которое и установит образ…

Узкая, впалая грудь. Зубы — обкуренные, желтоватые, вероятно от постоянного табака. (Не писать.) Посасывает жёлто-стеклянный мундштучок.

— Значит, ваш фронт можно поздравить. После присяги у вас увеличится дух уверенности. Скажите, каков вообще дух войск?

— Дух войск прекрасен, несмотря на некоторое отвлечение внимания. — (Глухой монотонный голос, но этого не будем отмечать.) — Это естественное движение радости за освобождённую родину. Но армия быстро подавит его и сосредоточится на будничной работе войны. Мы будем держаться при всех обстоятельствах! — со стальной решимостью сказал Главнокомандующий.

На подбородке — бородавка, а на ней — свиток седых волос. (Вставить? не вставить? Для корреспондентской зоркости — ценно, для тенденции — не полезно.)

— Правда, к большому делу налипли тёмные люди. Теперь появилось множество самозванцев, они безконечно опасны для народного дела. В одной волости сожгли земские продовольственные склады. Но это всё временное, преходящее… Всё это схлынет, станет на твёрдую почву.

— А что известно о намерении противника? Он готовит решающее наступление на Петроград?

— Очень возможно. Мы держим немцев только силой оружия, Двина — крепка, по ночам крепкие морозы, и, если не будет внезапной быстрой оттепели, — военные действия вполне возможны.

Совсем не генеральская, а интеллигентская приятная манера говорить и обращаться. Самому корреспонденту, даже не по профессии, просто приятно с ним говорить. Затронуть вопросы и более тонкие.

— А что вы можете сказать, генерал, о бывшем царе?

Генерал смотрит умными, усталыми, проницательными глазами:

— Да что же! Безвольный человек — вот почти всё, что можно о нём сказать.

Например, так: «Пожилой генерал с алым бантом на прямоугольной старой сильной груди в смехе показывает белые мальчишеские зубы и весело хрипит сквозь табачный горький дым».

— Между прочим, Государь не любил газет. Хотя неверно утверждают, что он их вовсе не читал.

— Но был ли он, по крайней мере, умён?

— Умён ли — не знаю, я его так мало знал.

— Разве мало?

— Мне редко приходилось с ним говорить. Я занят был своим делом. А он — всегда молчалив, и его молчание было не без хитрости. Не знаю, кому он верил, но мне — нет. Он постоянно прислушивался лишь к своим ежедневным советчикам, кто его тесно окружал. А кто видел его раз в месяц или реже, как, скажем, Михаил Владимирович Родзянко, — тот действовать не мог.

— Фредерикс? Воейков?

— Фредерикса, знаете, мне жаль. Разве можно винить его за преклонность лет или за преданность Государю? А вот Воейкова — нисколько не жаль.

— Протопопов?

— Не было более противостоящих фигур, чем Протопопов и я.

— А как влияла императрица?

— Да, она на него нехорошо влияла. Она и с матерью царя была в дурных отношениях.

Запишем так: «С рыцарской сдержанностью, принизив тихий голос, Рузский говорит о роли царицы в интимных делах государства».

— Ужасно, ужасно… Царица имела определённое влияние на царя. Отсюда и многое объясняется в его характере. На него всегда имел влияние тот, кто последний сказал.

Пожалуй: «У генерала — просто безсознательно добрая, рассеянная улыбка. Он — как бы намекает на безхарактерность и духовную шаткость отрекшегося царя».

— Это был… это был осторожный, скрытно размышляющий человек.

…Ещё недавно полный, но либеральный хозяин петроградской печати (когда он был командующим Округом), Рузский пользовался большой симпатией газетных кругов — и ценил это. Он знал, что отношения с прессой — деликатный пункт и эффективный путь. Чтобы завоевать общественное мнение, Главнокомандующий пристоличного фронта не должен пренебрегать пе-

чатью, а дружить с ней, это и есть собственно Петроград, а «Русская воля» сильна поддержкой банковских кругов, а с «Биржевыми ведомостями» особенно надо дружить, это газета самовластная. Да ещё всякий раз, когда он говорил о царе или особенно о царице, — в душе поднималась незабываемая, незатираемая обида, как он был снят с Северного фронта, безусловно по настоянию царицы, и вынужденно отдыхал долее своего лечения, и потом унизительно не назначался вновь, пришлось искать обходное влияние. Всегда в душе это приходилось подавлять, обсуждать только с женой, страдающей от унижений, — а вот теперь давление раздвинулось, рассвободилось, и можно было впервые высказаться открыто, для общества. Однако именно в событиях последних дней генерал настолько потерял опору, чувство равновесия, что невольно искал его, даже и в этом интервью. Он как будто слишком зашагнул уже, зашагнул.

— Но надо помнить, что Александра Фёдоровна была совсем больная. Больное сердце.

— Но она — истеричка?

— Нет, нельзя сказать. Она — выдержанная женщина, в ней чувствуется характер. А вот девочки — мне очень нравятся, хорошие у них дети, симпатичные. Да и мальчик.

— Но скажите, отношения её с Распутиным… м-м-м… имели основу… ?

— Нет, нет, — запротестовал Рузский. — Говорить об эротических отношениях недопустимо. Ничего такого не было.

Корреспондент с разочарованной миной рисовал карандашом петли в блокноте.

— Скажите, но, по крайней мере, — был ли Николай Романов патриотичен? Или — равнодушен к нашей стране?

Рузский старался не проявить злопамятности:

— Судя по его словам — он был русским. Вы помните его заявление о войне до конца, пока последний немецкий солдат не будет изгнан из пределов России?

— Ну, это ловкая перефразировка Александра I.

Рузский искал: что же можно сказать о падшем царе хорошего?

— Да, он должен был послушаться голоса общества, проявить уступчивость — и ещё бы выплыл.

Пососал мундштучок. Не находилось доводов.

— Да, конечно, он сам виноват, что всё у него так сложилось.

Впрочем — улыбнулся подкупающей улыбкой, зная — что симпатичной, и это будет записано:

— Да что я буду судить? У меня у самого масса недостатков…

521

(Армейские фрагменты)

* * *

Подполковник Буря 4 марта шёл мимо сторожевого в Двинской крепости — тот нёс винтовку, как палку, и не отдал чести.

— Почему не отдаёшь чести?

— А я у тебя её не занимал!

* * *

Когда в Лифляндии на ж-д станции у Штоксманхофа едущий на фронт запасной пехотный батальон узнал об отречении царя — он бросился громить пищевые пристанционные склады. Власти вызвали на подавление 5-й Уланский полк — но от нерешимости вернули его на позиции.

* * *

У немцев местами — оркестры, салюты. Бросают нам прокламации с аэропланов или привязывают к пропеллерам посылаемых мин.

* * *

В Симферополе начальник гарнизона генерал Радовский объявил выстроенным войскам манифесты об отречении. Объявил, что поддерживает новый строй и призвал пропеть всем вместе «Боже, царя храни». Войска пропели.

За это генерал получил неделю ареста.

* * *

Вольноопределяющийся Б., в белой папахе, с восточным лицом, в очках, крикнул батальонному командиру, ставшему на стул прочесть задержанные телеграммы:

— Что вы тут читаете? Николая уже нет! Извольте сойти…

Солдаты сорвали с командира наплечные ремни с револьвером и надели на Б. Он взлез на стул:

— Беру временное командование батальоном в свои руки. Господ офицеров мы пока арестуем: нужно выяснить, с народом они или против.

Солдат Альперович подумал: и надо ему, еврею, соваться? Как бы не испортил дела. А вдруг не выгорит, и мы, евреи, первые ответим. (Ему самому было стыдно такой рабской мысли.)

Но интеллигентное лицо Б. было полно ответственности.

Офицеров повели на гауптвахту. Солдатская толпа кричала: «Бей его, шкуру!» — «Ткни его штыком!» — «Дай ему чечевицы!» — «Расстрелять бы их, мерзавцев!»

Когда их отвели, кто-то крикнул:

— Теперь арестовать фельдфебелей и взводных!

— Арестовать! — откликнулось эхо.

Всякий, кто имел на кого злобу, — называл фамилию, и толпа кидалась искать обидчика.

Солдат, бывший землемер, Зёрнов, стал протестовать:

— Какая ж это, братцы, свобода? Это безобразие.

На него показали:

— Вот этот… взять его… Он за старое правительство.

(Из «Биржевых ведомостей», 13.4.17)

* * *

Генерал граф Келлер, командир 3-го конного корпуса, был неутомимый кавалерист, проходивший по 100 вёрст в сутки. Когда, щеголяя молодцеватой посадкой, он появлялся перед полками в своей волчьей папахе и чекмене Оренбургского казачьего войска, его кавалеристы готовы были за ним куда угодно, по взмаху руки.

Теперь близ Кишинёва он велел собрать сводный строй ото всех сотен и эскадронов. Объявил с коня громко:

— Я получил депешу об отречении Государя и о каком-то временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и бои, и победы, не верю, чтобы Государь император в такой момент мог добровольно бросить на гибель армию и Россию. Я послал телеграмму: «Третий конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрёкся от престола. Прикажи, Государь, и мы приедем и защитим Тебя!»

— Ура-а-а! ура-а-а! — закричали драгуны, казаки, гусары. — Веди нас!

Но через несколько часов подтвердилось необратимое — и Келлер сломал свою саблю перед строем.

* * *

В Казани в запасном полку солдат-пройдоха предложил (чтоб не идти на учебные занятия): «Давайте сегодня пойдём на молебен по случаю

получения свободы». И все стали кричать: «Пойдём на молебен, не хотим на занятия!»

Но солдаты-татары, человек сорок, выстроились, подошли к офицеру: «Веди нас, ваше благородие, на занятия!»

Остальных уговаривали — сначала ротный командир, потом батальонный, полковой, — не помогало. Тогда полковник спросил громко: «А кто это хочет на молебен? Кто?» — «Вот я!» — выступил зачинщик.

— «На тебе рубль, пойди к батюшке, чтоб он тебе отслужил. А мы все пойдём, когда получим приказ».

Угомонились.

* * *

Полковник Оберучев, с молодости народоволец, потом с-р, стал первым военным комиссаром Киева и поспешил на военную гауптвахту подбодрить кто там томился за уклонение от службы, побеги и дисциплинарные проступки: что скоро утвердят их освобождение. Восторгам их не было конца. И вдруг с изумлением узнал, что уже сидит и первый «политический арестованный нового строя» — юноша-офицер, поляк. Командир их первого польского полка, формирующегося в Киеве, потребовал от офицеров письменного объяснения, как они относятся к перевороту. Этот прапорщик подал рапорт, что относится к перевороту отрицательно и стоит за Николая II. Командир полка арестовал его. Оберучев, всю жизнь ненавидевший этого царя, спросил:

— И вы, поляк, так любите Николая II?

— Да, я хочу видеть его на престоле.

— И будете стараться восстановить его?

— Непременно.

— Как же вы думаете это сделать?

— Если только узнаю, что где-нибудь зреет заговор в его пользу, — немедленно примкну, — ответил без запинки.

— А если нигде не будет?

Юноша задумался:

— Составлю сам…

Но через несколько дней, почитав газеты, признался:

— Безнадёжно.

* * *

Когда в запасной полк, стоящий в Борисоглебске, достиг «приказ № 1», командир маршевой роты, зауряд-прапорщик из фельдфебелей, георгиевский кавалер, пытался скрыть его. Но нашёлся другой офицер, прапорщик из студентов, который собрал ротное собрание и прочёл «приказ» вслух. После этого маршевая рота потребовала: сменить ротного до её отправки на фронт. И выбрала новым ротным — прапорщика-студента.

* * *

Из тяжёлого артиллерийского полка, стоящего в Царском Селе, доносили о контрреволюционном настроении. Тогда из ораторской коллегии при петроградском Совете рабочих депутатов послали в полк агитатора. Он выяснил: эти артиллеристы недовольны «приказами №1 и №2» и требуют выпуска нового, толкового. Считают, что у нас нет свободы печати, а Совет рабочих и солдатских депутатов скрывает своё отношение к войне — и пусть выразит ясно. И сведения такие, что не у всех в Совете верны мандаты, и заседают хулиганы, и почему там нет делегатов от офицеров. И что за распоряжение не идти на фронт? — полк собирается идти. И как быть с землёй? — солдаты безпокоятся, что ничего не получат.

* * *

В некоторых тыловых частях солдаты волнуются: а не может вернуться старое? Подозрительно относятся к начальству. В одной части созывали на митинг, и командир полка распорядился: идти без винтовок. Это вызвало большое подозрение, и все пошли с винтовками.

Кое-где солдаты стали выставлять кроме приказно-уставных ещё свои караулы — у складов оружия, и непомерные по численности. Подозревают офицерскую измену.

«Вот пускай нам дают жалованья десятку в месяц. А не дадут — то мы пошабашим!»

* * *

Под Дерптом 282-й маршевый батальон арестовал часть своих офицеров, арестовал соседних помещиков, их управляющих, — и стал распоряжаться продуктами и инвентарём тех имений.

* * *

При новой присяге солдат смущает, что каждый должен подписываться: «Не можно руку прикладать» (старое русское понятие). Делегаты разъясняют: «Потому что вы теперь граждане, и каждый должен сознательно подписать».

* * *

В 80-м Сибирском полку первым председателем солдатского комитета стал священник.

В Егерском запасном батальоне в Петрограде избрали комитет совместный солдатско-офицерский. Председательствует прапорщик, секретарь — вольноопределяющийся с университетским значком, среди солдатских депутатов — студенты, актёры, журналисты.

* * *

Ещё вчера солдаты качали поручика Тимохина, говорили, что верят ему, ничего дурного не предпримут. А сегодня он пришёл в роту — закричали ему «вон!» и объявили, что уже выбрали себе нового ротного.

522

Как раз сегодня думал Исполнительный Комитет начать свои заседания позже, и в новой комнате: более просторная № 15, она и в спокойном коридоре, и ещё отделяется от него передней, удобно.

И переезд уже начали с утра. Члены Исполкома были далеко не все, а между ними болтался очень возбуждённый Соколов, уговаривая каждого, кого ловил, что нельзя откладывать, Совет должен принять приветствие к польскому народу и заявить, что вся демократия России стоит на почве признания независимости Польши. Но слушали его рассеянно, отмахивались: одни заняты были переездом, другие не могли понять, почему именно независимость Польши — сегодня самый первый и острый вопрос. Даже интернационалист Гиммер не стал соглашаться с Соколовым: это — влияние польских буржуазно-патриотических кругов, а мировое классовое единство пролетариата запрещает нам содействовать всякой национальной независимости, как, впрочем, и препятствовать.

В новой комнате была разрозненная мебель (наверно, что-то растащили в эти дни по другим комнатам). Прежде всего, не было большого стола, за которым мог бы разместиться весь разросшийся Исполнительный Комитет. Стулья — разнородные, иные шатались. Были плетёные кресла, но часть продавленные. И стоял — роскошный турецкий диван. И — великолепное золочёное трюмо, на которое невольно скашивались глаза даже членов ИК.

Но ничего ещё не успели как следует скомплектовать, ни внести рабочего стола (а стол с закусками и тем более ещё в прежней комнате), как разразилась гроза: комиссар Исполнительного Комитета по железным дорогам телефонно донёс, что получил тревожнейшее сообщение железнодорожников: в настоящий момент по железным дорогам движутся два литерных царских поезда — и движутся они сразу к границе, видимо к Торнео: а цель у них — эвакуация бывшего царя в Англию!

Потрясающе! Ошеломляюще!

Как всякое слишком огромное и неожиданное известие, оно отбивало память, лишало способности соотнести и сообразить. У всех начисто отбило, что, кажется, только вчера и царь и царица с детьми — арестованы, да ещё порознь, в разных местах, так что и соединиться им неизвестно когда бы. Никому в голову не пришло переспросить: а на каком же именно участке движутся литерные поезда? Уже ли прямо к Торнео, миновав Петроград? Они грозно двигались, и этого было довольно, и стук их колёс, усиленный страхом, загрохотал в Таврическом! И наконец: откуда это всё, и станция назначения, стало известно железнодорожным служащим? Значит, точно!

Никто из членов Исполкома, наскоро скликаемых теперь в новую комнату, не догадался это проверять, — да потому что именно верностью своей, классовой верностью и необходимостью пронзило проклятое известие: именно так, коварно и подло, и всегда бежали все венценосцы! именно так, коварно и подло, и должно было поступить буржуазное классовое правительство! именно так и должно было сработать их предательское нутро! А нам, пролетариям, стыдно! и нельзя было забываться и доверяться! И ведь мы же вчера постановили! чтобы при аресте присутствовал наш депутат — а Временное правительство опять тайно послало своих!

Пришедшее известие быстро обрастало и подробностями, неизвестно откуда прилипнувшими, но также несомненными: об этом вчера было ночное тайное совещание правительства. До сих пор поездка откладывалась только из-за болезни детей. Весь приказ об арестовании царя был чистый обман! Они не решили окончательно, направить ли поезд через Торнео или через Архангельск, но поручили Керенскому сопровождать Романовых до самой Англии! Нет, только до порта отправления!

Изменническое Временное правительство — но и Керенский же изменник революционной демократии! То-то скрывается он, змея, никогда не бывает на ИК!

В необорудованной комнате с зияющей серединой собралась стоя неровная дюжина членов Исполкома, кого нашли в Таврическом и созвали. Все были охвачены волнующей тревогой, никто не курил, и никто не жевал. Лица были мрачны, позы напряжены — вся обстановка ещё этой неустроенной комнаты напоминала первые дни Таврического, когда дыбилась революция и власть колебалась.

И первое распоряжение Скобелева было: поставить воинскую охрану у дверей передней комнаты — чтобы никто не мог напасть неожиданно на Исполком, ибо неизвестно, как далеко прочернилась и проползла измена.

И никто не пытался сесть, даже Чхеидзе со слабым позвоночником. Так и стояли все большим кругом вокруг пустой середины, набираясь тревоги из лиц других или потерянно глядя в пустой пол.

И начались напряжённые прения. Не брали слова у Чхеидзе, но говорили у кого что рвалось из груди. Говорили — все, и даже по нескольку сразу, и даже Соколов отстал от польской темы, но уронил бородку на жилет, сражённый предательством цензовых, а у Чхеидзе грузинский акцент обострился до зловещего клёкота.

Это — продолжение всё того же гнусного замысла гучковской поездки! — они хотят без нас, тайным договором с Романовыми, решить форму правления!

И решить — в пользу монархии!

Да, ясно! Они хотят сохранить монархию!

Это — шаг к реставрации!

И это им будет очень легко сделать: разве то был настоящий акт отречения, по всем правилам?

Контрреволюция хочет сохранить монарха для своей чёрной игры!

А там вмешается империалистическая Великобритания — и реставрация неминуема!

Да ведь ещё: царь знает наши военные тайны! Передаст Германии, всё раскроет!

Да разве можно выпустить Николая II за границу?! Располагая колоссальными средствами, припрятанными на чёрный день в заграничных банках, — он легко организует заговоры против нового строя!

Будет питать черносотенные происки!

Рассылать наёмных убийц!

— Да ни один монарх на свете, — восклицал бледно-жёлтый Гиммер, — не поколеблется расправиться иноземными штыками с родной страной, раздавить свой «родной народ» для утверждения своих «законных прав», — и даже не поймёт, что это — предательство, но его естественная функция!

Величайший тиран, палач, — и куда же бежит? в «великую демократию»!

Приютившую Маркса! Герцена! Кропоткина!

Да нет, не может быть даже речи, чтобы пустить его за границу!

И в России оставить его на свободе — пагубно для дела революции.

Но что же делать?

Мысли терялись.

Что делать — это было самое трудное. Задержать — да, но — как? но — где?

Мысли — разбредались, кто-то перескакивал на опасность великих князей, и, сравнительно, в каком порядке кто кого опасней.

Да *опасней* всё это вместе было, чем у французов во время бегства Людовика! Тогда — только король бежал. Сейчас — изменяло само правительство!

Тень вареннского бегства, королевской ночной кареты, — великие тени колыхались призрачно над неровным кружком исполкомцев, в неполном кворуме вместо трёх дюжин.

Они чувствовали себя — Конвентом, и ещё больше и ответственней того прежнего Конвента!

И кому трюмо высокое попадало в глаз — от этого трюмо, охваченного бронзой, почему-то становилось ещё особенно зловеще.

Задержать — да, но где и чьими силами?

Всегда тяжеловесно-решительный Нахамкис тоже не мог предложить конкретно.

Но тут появился чистенький Филипповский во флотском мундире (такой всегда странный среди профессиональных революционеров) и подал простую мысль: где бы сейчас ни находились царские поезда и направляются ли они через Торнео или через Архангельск, — им не миновать Петрограда. И значит, прежде всего надо: усиленными воинскими частями занять все петроградские вокзалы. А для того чтобы обезпечить их верность Совету — придать к ним комиссарами офицеров-республиканцев, из нового союза, который организовал Филипповский же. Кроме этого, можно чрезвычайных комиссаров выслать вперёд, по трём линиям — на станции Тосно, Званку и Царское Село, чтоб они организовали заставы там.

Это сразу приняли — и Филипповский, по-флотски повернувшись, пошёл исполнять.

Вослед ему ещё догадались: поставить под ружьё рабочие боевые дружины! по всей столице!

Но об этом надо было просить большевиков — а не было сейчас тут ни Шляпникова, ни всей большевицкой верхушки. Только вёрткий толстенький Козловский. Просили его — идти, звонить своим, просить.

Эти простые мероприятия облегчили головы — и стало легче думаться.

А не послать ли ещё телеграмму на все, на все станции, всем железнодорожникам: задерживать царские поезда, где только ни заметят?

Послать.

А — что же с Временным правительством? Свергать ли его? Арестовать? Разогнать?

Или — выяснить обстановку? Послать делегацию, узнать, что они имеют в виду? Поставить им ультиматум, царя содержать — под строгим арестом!

И под наблюдением Совета! любое перемещение царской семьи — только с разрешения Совета?.. И никакой мысли об Англии!

Но от главного, от главного не должна была уклониться мысль: а с царём? Вот теперь, очевидно, мы задержим его, — но что же с ним делать дальше?

Пылающе-презрительный вид Александровича показывал, что не ждёт он от этих жалких меньшевиков произнесенья главного слова: отрубить голову! Все эти социал-демократики ещё немели перед обаянием трона.

Вот, через несколько часов, царь попадётся — в руки наши, не Временного правительства, — так что же?

Петропавловская крепость! Трубецкой бастион! Хотя б это грозило и полным разрывом с Временным правительством!

И сменить весь командный состав Петропавловки — чтобы не было подкупа и побега. Прежнему офицерству — не доверяем!

Всё так, но… кто-то должен прежде — арестовать царя. Это — кто-то из нас. Кому же?

И когда вопрос этот прозвучал, каждый стал искать глазами по кругу — кому ж из присутствующих поручить арест царя?

Посмотрели на Чхеидзе — куда ему, дряхл. На Скобелева? Тоже растяпа. Соколов? — болтун. На Цейтлина, на Шехтера… (На Гиммера и смотреть не стали.) Александрович и Нахамкис — вот были тут двое подходящие.

Но кто-то сказал:

— Нет, товарищи, арест царя — исторический акт. Это должен сделать, по возможности, русский и лучше всего — чистокровный рабочий.

Стали опять оглядываться: рабочего среди них не было вообще ни одного, да и русских — обочтись.

— А — Гвоздев? — догадались. — Где Гвоздев?

Гвоздева, оказывается, не было в кругу, забыли его позвать, и он в другой комнате возился, конечно, со своими заводами.

Решили — поручить Гвоздеву!

Все согласились, только один Александрович ворчал.

ДОКУМЕНТЫ — 18

9 марта 1917

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ ВСЕМ

От Исполнительного Комитета Рабочих и Солдатских Депутатов. По всем железным дорогам и другим путям сообщения — комиссарам, местным комитетам, воинским частям.

Всем сообщается вам, что предполагается побег Николая Второго за границу. Дайте знать по всей дороге вашим агентам и комитетам, что Исполнительный Комитет приказывает задержать бывшего царя и немедленно сообщить в Петроград, Таврический дворец.

Чхеидзе, Скобелев

523

Сидел Гвоздев в Комиссии по возобновлению работ и тянул как вол, потемну начиная и потемну кончая, и это ещё не ходя на заседания Исполкома, времени не терять. Но прежде хоть был в подсобу Рабочей группе Военно-промышленный комитет, а теперь его как не стало (лишь вчера в городской думе сбирались об нём торжествовать). И все усилия, как убедить рабочий класс воротиться к работе полностью, ложились на Гвоздева и его комиссию. Телефон в их комнате не умолкал, и посыльные то и дело уезжали на заводы и возвращались с них с новостями неутешительными.

Хотя четыре дня назад и проголосовал Совет восстановить работы, но с тем, что «по первому сигналу снова бросить», а пока — «вырабатывать экономические требования». Как позвано, так и услышано, так рабочие и вернулись: не к станкам, а больше — хулиганить. Редко где работа началась по-настоящему, но и там собирались в митинги, требовали оплатить им полностью дни революции и вообще повысить оплату. Где волынили, не становились к станкам, где работали попустя руки, зато на каждом заводе измысливали свои новые требования, а пуще всего не подчинялись мастерам, оскорбляли их и даже вывозили на тачках. Или требовали уволить директора. И такое пошло дикое: что мастера теперь должны быть не по знанью своему, а самими рабочими выбраны, хоть и из рабочих же. Но это уже был — конец всякого завода.

И — что было делать Козьме? Он звал рабочих умеряться, не так-то зараз всё требовать, — но поди уговори своевольников, ведь революция победила! Избалованью лишь потачку дай, люди от роспуска всегда бешенеют, всякого человека только работа и держит.

А тогда и заводчики выходили из терпения и грозили локаутами. Всё опять кренилось развалиться.

А большевики поджимали на Совет, и тот грозил заводчикам, что даже при малейшей попытке локаута будет отбирать такие предприятия в управление рабочих коллективов.

А заводчики — ещё более от того шарахались. А Козьма — веди с ними переговоры, убеждай.

До сего дня очень помогал Гвоздеву советами и наладкой дела — Пётр Акимович Ободовский, то и дело забегал в комиссию по труду. Но с сего дня назначили его ещё, вместо генерала, и по снабжению металлом заводов, — стало быть, теперь перейдёт он на металл, Козьме поддержка падает.

Да ведь если б только одно своё дело! — но состоял же Гвоздев и членом финансовой комиссии Совета, и автомобильной комиссии, а там был свой разворох дел, и надо тоже вникать.

А вчера на Исполнительном Комитете едва что не выбрали Гвоздева ещё в Контактную комиссию, на постоянные переговоры с правительством. Сла-Богу, пронесло.

А на Исполкоме чего не издумывали? Три дня назад почему-то именно Козьме вдруг поручили ехать и закрывать «Новое время». Почему — именно ему, хотя и без него там было говорунов и в из-

дательской комиссии, и в агитационной? А — неприятное дело, никому не хотелось пятнаться, подставляли вместо себя безответного. Но и это пронесло, передумали закрывать «Новое время», как-то те уластили Совет.

И вдруг, после тёмных, густо-заботных дней — сегодняшний принёс Козьме совсем неожиданную, необхватную радость: от петербургского Общества фабрикантов и заводчиков позвонили ему, потом прислали на переговоры — да каких уступчивых! Это ж самое общество фабрикантов никогда и слышать не хотело ни о восьмичасовом, ни о минимуме заработной платы. Ни о чём разумном они слышать не хотели. А тут вдруг, о чём и грезить было невпопад, — в один раз согласились по всему Петербургу на восьмичасовой день, и без понижения притом заработной платы, — и подписывать хоть завтра, вот диво-то! 30 лет лозунгами носили рабочие, сами никогда не верили, — а вот, пожалуйста, сдавались капиталисты!!

Так что ж, получалось, что всё это озорство, нахальство, хулиганство — оно и помогло? Вот те так! Значит, по-хорошему ничего с людьми нельзя, а только силой? Соглашались они теперь и на фабрично-заводские комитеты, и на примирительные камеры — только чтобы без разбора в этих камерах не удаляли самовольно мастеров и административных лиц.

Так Козьма и сам так думал. Так конечно! Неужто всё и обойдётся миром, ладом?

И только собрался Козьма идти на Исполком докладывать о такой победе — как и за ним оттуда прибежали: туда иди скорей! Козьма и пошёл проворно.

А они в новой комнате стояли все на ногах кругом, возбуждённые, — да уж они знали?..

Не, лица все были мрачные, даже перепуганные. И все повернулись к нему, как к главному виноватому.

Да что ж эт' такое приключилось? Да в чём же Козьма оступился? Открыл он рот в оправдание, объявить им свою радость, — нет. Ото всех Чхеидзе:

— Товарищ Гвоздёв! Исполнительный Комитет поручает вам арестовать бывшего царя Николая Второго!

Что это? Почувствовал Козьма, что вдруг вся краска ударила ему в лицо, густо, как уж он забыл, когда и было.

И все увидели эту краску на его лобастом лице — и смотрели на него ещё более как на виноватого.

— Что это? — бормотал Козьма, растерявшись. — Другого дела у меня нет? Другого человека у вас нет? Что это?

И правда, не знал он за собой ни заслуг таких, ни такого выдатья на всю Россию, чтобы вот именно вдруг ему — да царя арестовывать. Да он и не гож к тому. Да он и не…

Пробасил Нахамкис поощрительно:

— Товарищ Гвоздёв! Это большая честь! Вы должны гордиться!

Подскочил и Гиммер, как воробей на одной ноге:

— То он вас арестовал — а теперь вы его! Справедливо!

Этого Гиммера, прости Господи, терпеть не мог Козьма: уж такой надоедливый, надоедный в Совете человек — и самый безполезный: ничего никогда не делал, только речи свои прописикивал.

— Да почему же — я? — руки разводил Козьма, из головы даже вылетело, с какой победой он шёл.

Но никто не объяснял, почему — он, почему сами не идут. Молчали.

А сказали, что сейчас будет выписан ему мандат на царя. К сожалению, неизвестно, где именно находится царь, где именно его арестовывать, но скоро выяснится, сообщат, тогда туда и ехать.

А сейчас на помощь аресту будет собрана рота семёновцев и рота пулемётчиков.

И надо арестовать также всех без исключения членов династии. А их имущество будет конфисковано народом.

Приподнял руки Козьма, возражать, — не насчёт династии, насчёт себя, — ослобоньте, мол. Нет, стояли все слитным, грозным кругом: только ему!

Так, с приподнятыми руками, как с подхваченным беременем, и отправился Козьма к себе в комиссию по труду. Про восьмичасовой день так и вылетело.

Почему-то сильно его оглоушило. Одно, первое — отрываться от своей работы досадливо, никак нельзя. А второе: невподым тяжело.

Это неправильно Гиммер прощебетал: он — тебя арестовал, а ты — его. Он — царь, тут уклону нет. Не Николай бы Второй правил Россией, так другой кто-нибудь.

А жил себе в России — Козьма Гвоздев, помощник машиниста и токарь. Тот — царствовал, а этот — точил на токарном станке. И никогда бы в голову не запало, что скрестятся их пути, да в такой час неровный. Да с таким мандатом.

Принесли мандат. Росчерки лихие. Жирная печать.
Смотрел на него Козьма безо смысла.
Царя арестовать — как-то не гораздо.

524

Сергей Масловский был человек — драматически неиспользованных возможностей, как и всегда гибнут лучшие таланты на Руси в её кошмарно неблагоприятной истории. Индивидуалист par excellence, романтик-борец с душой конквистадора — что бы он мог, если бы перед ним развернулись просторы! Но едва не захлопнулась тюремной дверью неудавшаяся революция, а теперь, в удавшуюся, ведь он побывал на самом важном месте, в центре урагана, — но опять ничего не достиг, и вот тяготился в Военной комиссии каким-то писарем на офицерской должности. Однако за эти первые дни упустил и кооптироваться в Исполнительный Комитет, это уже просчёт непростительный, Революция пошагала гигантскими шагами, и другие имена были вписаны в её раскалённую летопись. Все занимали места, а Масловский везде опоздал, и только складывал про себя, как бы мог ядовито выразиться про этих выскочек-министров: что они сменили воротничные салфетки общественных ужинов на портфели общественного кабинета. О-о, он умел выражаться преостроумнейше, преядовитейше, как он укусит — так никто, но не возникло и новых журналистских мест, кроме грязных «Известий», а во всех солидных газетах все места были укомплектованы своими пишущими.

И оставалось, оставалось… опять отдаться своим литературным надеждам (псевдоним Мстиславский будет хорош и даже чем-то страшен), да посещать квартиру Гиппиус и Мережковского на углу Потёмкинской, тут же близко, — всегда к нему внимательных и возможных будущих покровителей на литературном пути. Им изливал он и всё своё недовольство Советом рабочих депутатов. Если вдуматься — то и новая Революция не слишком удавалась.

И вдруг — Революция ещё раз позвала Масловского, на своём огненном пролётном языке: со 2-го этажа Таврического его позвали на 1-й, в Исполнительный Комитет, — там, в неустроенности, у конца случайного стола сидели Чхеидзе, Соколов и Капелинский — сильно раздёрганные, Соколов с заломленными фалдами

сюртука, всегда аккуратный Капелинский с отбившимся на сторону галстуком, а Чхеидзе — трагически вращая глазами.

И вот что они ему объяснили. Сегодня утром были определённые сведения, что Временное правительство обмануло Совет и тайно гонит царский поезд к какому-то из портов для отправки царской семьи за границу. Исполком принял все меры по железным дорогам — остановить! Сейчас получены последние сведения: царь прибыл в Царское и отвезен во дворец как арестованный. Необходимость его перехвата и ареста таким образом отпала. Однако поколеблено доверие к Временному правительству: где гарантия, что они не предпримут такого шага снова на самом деле? Вся охрана дворца — в руках Корнилова, — но, в конце концов, что мы знаем о генерале Корнилове? У него есть демократическая репутация — но так ли он предан народу? Мы должны обезпечить себя от всякого возврата Романовых на историческую сцену. Не ясно, что надо сделать, — но что-то надо! Уже были разогнаны многие меры: заняты вокзалы, собраны кое-какие войска. Но ещё какую-то демонстрацию нужно сделать, чтобы Временное правительство получило урок и остерегалось, да и жаль покинуть начатые приготовления. Так вот предлагается: Масловскому как человеку решительному (Масловский не мог не ответить признательным кивком) — поручить — поручить ему — совершить нечто эффектное, найденное на месте: перехватить царя в руки Совета и в Петропавловскую крепость? Или хотя бы проверить условия содержания его в Царском Селе? установить действительность охраны? Что-то такое, чтобы почувствовало Временное правительство, и подавить все поползновения Романовых!

Так! Настал. Настал великий час. Тот миг, для которого он и жил всегда, конечно, — а вот уже думал, что пропустил. Ему! — потомку поблекнувшего, оттиснутого дворянского рода, — ему и войти к царю — печатающим, безпощадным шагом. Наше происхождение и обязывает нас к подвигам. Он слишком долго был безпомощно зажат в проходах меж библиотечными полками. (А для писательской биографии — какой это случай! Какая пища острому едкому глазу!)

Так! Революция подошла к своему роковому неизбежному повороту — бегству короля! Взлетающий миг! (Нотабене: однако и не споткнуться, тут — прямая конфронтация с правительством.)

Что делать? Прежде всего — чего не делать? Не надо было Совету передавать власти Временному правительству, а себя ставить в какую-то постороннюю позу. Теперь — что делать?

Ах, это было слишком ясно! Зачем полунамёки, полупризнания и полуклятвы? Всё революционное нутро Масловского встрепенулось навстречу прямому ответу: ц а р е у б и й с т в о! — вот пламенный язык революции, вот кардинальное решение вопроса, и никакой реставрации никогда!

Но из присутствующих — один лихой Соколов мог одобрить, ему доступны были крайности. А те двое, как и вся почти головка ИК, — заячьедушные меньшевики, от полнозвучия такого решения у них лопнут барабанные перепонки!

Обещать же им только усилить охрану дворца — было бы презренным компромиссом.

Ещё и первых слов не сказав, Масловский внутренне так вырос, так напрягся — к великому мигу своему и российской революции, — сам удивился своему властному голосу:

— Как я буду называться? Эмиссар Совета?

— Комиссар для надзора, — сказал Чхеидзе.

— Хорошо. Пишите мандат, — читал из невидимого, зажмурясь: — Принять всю военную и гражданскую власть в Царском Селе… для выполнения возложенного на него особо важного… особо важного государственного акта!

А к т! В это — всё могло входить. И — любые меры к изоляции царя, и, конечно, проверка условий его содержания. Но и любые меры — к его расстрелу. Хоть сегодня же, там же… Комиссар сам ещё точно не решил, не знал, но — государственный акт.

И не теряя минуты — помчался собираться. Внутренне — он уже вырос. Но не хватало перерождения внешнего. На нём был хотя и военный мундир и шинель офицерского покроя — но без погонов, а только интендантский значок. Библиотекарь он был — не военнослужащий, а вольнонаёмный, мундир и шинель носил незаконно. На вопросы, кто же он есть, — отвечал: «Масловский, без звания». *Без звания* — можно было понять и высоко, как бы не вмещаясь в офицерские чины, но можно было, увы, понять и — как нижний чин, рядовой.

Уж этого — исправить было сейчас нельзя, но пока печатался мандат — вот как вышел из положения Масловский: у одного кубанского казачьего офицера в Таврическом выпросил до конца дня

устрашающую кавказскую папаху и полушубок без погонов. Полушубок придавал ему сразу боевой, дикий, иррегулярный вид, так что не придёт и в голову спросить звание. А папаха — дивная, чернобарашечья, со многими шевелящимися змейками завитков, да ещё утроившая голову его по объёму, — воистину была как голова горгоны со змеями.

Перед золочёным трюмо исполкомской комнаты, ещё опоясавшись чужою шашкой, проверил — очень страшно! очень выразительно! (Только усы — штатская щёточка, вот когда голое лицо.)

И — браунинг в кармане полушубка! Он ощутил в себе — бездонопропастную революционность. Даже самому страшно этого размаха.

Мандат был готов, подписан Чхеидзе. Так, да не так: «принять всю военную и гражданскую власть в Царском Селе» — да, но «государственный акт» — сробели меньшевички, а: «особо важное поручение»…

Ну, в это тоже входит…

Автомобиль — ждал у подъезда. Свита — два офицера-республиканца: штабс-капитан Тарасов-Родионов, пулемётчик, и уже знакомый понятливый прапорщик Ленартович с подвижным лицом.

А на вокзале должны были ждать их уже собранные рота семёновцев и рота пулемётчиков из 1-го полка. И действительно — ждали. Семёновцы — довольно распущенным строем, при них — неуверенных два офицера. Пулемётчики — грозней, из-за своих станковых, на колесиках. (Рота не рота, а семь пулемётов есть.)

И Гвоздев встретил их на ступеньках вокзала радостно: передать постылое командование да ехать по своим делам. Действительно, вид его, такой уж белобрысый, наивный, никак не подходил для великой революционной задачи.

На перроне зеваки смотрели на солдат, вкатывающих пулемёты в пригородный поезд. Какой-то дежурный газетный корреспондент цеплялся — кто такие? куда? зачем? — но не так был прост Масловский, чтобы поделиться с корреспондентом. Да солдаты сами рассердились и прогнали его.

Тронулись.

Штабс-капитан предложил обсудить тактику — но Масловский, под жуткой своей папахой всё возрастая, всё возрастая, не удостоил его обсуждения. Его безпогонство возвышало его и над штабс-капитаном.

Мандат был — необъятен.

Уже в пути семёновский офицер даже не доложил, а так, в нынешней революционной манере, обронил, что семеновцы едут с пустыми винтовками, патронов почти не везут: не хотели брать, тяжесть таскать, убедить их не удалось.

Хо-хо… А какой ещё там боекомплект у пулемётчиков? Тоже, конечно, расхлябы.

525

Сегодняшний день складывался у Павла Николаевича невыразимо приятно. С утра в своём министерстве у Певческого моста он назначил первую встречу с корреспондентами газет. Во второй половине дня, — ввиду особой торжественности уже в Мариинском дворце, — весь состав правительства должен был принять признание от иностранной державы — Соединённых Штатов Америки. Великие Соединённые Штаты имели смелость официально и полностью признать русскую революцию и притом хотели непременно первыми. (И Милюков охотно вошёл для того в малую конспирацию с американским послом Френсисом, давая опередить других союзников.) В этой послеполуденной церемонии Павел Николаевич также был именинником и ведущей фигурой: как по положению министра иностранных дел, так и по особым своим связям с Америкой, где он был первым популярным изъяснителем России и первым пророком падения царского режима.

Итак, с утра в роскошном зале министерства с высокими окнами, раскинутыми серо-зеленоватыми шторами и в *pendant* к ним лягушачьим ковром — в креслах с высокими овальными старинными спинками рассаживались представители петроградской и московской прессы, человек около двадцати.

Павел Николаевич и всегда остро любил прессу — этот живоотзывчивый нерв общества, выражающий самую душу его. И в каком-то отношении, в одной из функций своих, как передовик кадетской «Речи», он и сам принадлежал к ней, не в репортёрском, конечно, смысле. Общество газетных корреспондентов, исключительно восприимчивое, острое, было для Павла Николаевича, может быть, самым интересным, более перчистым, чем скучные порой профессорские компании или блеклые иногда собрания кадетского ЦК. Когда между думскими заседаниями Милюкова обступа-

ли корреспонденты, то их волнующее понимание извлекало из его уст часто наилучшие формулировки. И вот сегодня, с большинством хорошо знакомый, но впервые выросший до своих подлинных размеров, — он встречал их как хозяин, сохраняя и дружески понимательный тон, и сознание своей несравнимой ответственности.

Сперва два корреспондента, встав из кресел, приветствовали Павла Николаевича как первого общественного министра иностранных дел России. Это воспринимается как общий их праздник и надежда, что теперь отношения между министерством и печатью…

О да. Павел Николаевич благодарил. Да, их встреча застаёт правительство, избранное русской революцией, в конце первой недели его деятельности. Сам он хотел бы управлять своим министерством в соответствии с величием переживаемого момента. На посту руководителя русской внешней политики он намерен внимательно прислушиваться к голосу общественного мнения, наиболее чутко выражаемого печатью.

Заявление Милюкова не было написано им заранее, все эти мысли настолько ему органичны и выношены, что не могли составить затруднения в изложении.

— Господа, — говорил он с наслаждением к процессу речи именно перед ними, — я считаю, что моя первая задача состоит в том, чтоб укрепить и упрочить тесные узы, связывающие нас с нашими союзниками. До сих пор нам приходилось краснеть перед союзниками от позора за наше правительство. И сами союзники стыдились его. Мы даже не могли быть уверены, что русское правительство окажется верным союзным обязательствам. Теперь же в итоге великого переворота отсталая Россия стала равной передовым западным демократиям, и союз с нами уже никого из них не может компрометировать. До сих пор Россия была единственным тёмным пятном во всей противогерманской коалиции, она тяготела мёртвым весом над державами Согласия. Но теперь наконец мы можем не стыдиться самих себя и выступать с сознанием своего достоинства. Теперь никто не может сомневаться в нашей искренности. Мы получили право обсуждать высшие освободительные цели войны — положить конец германским мечтам о гегемонии и не упускать из вида освобождение народностей Австро-Венгрии.

Дружественная теплота беседы пересиливала её официальность. Карандаши и автоматические ручки радостно, уписчиво двигались по блокнотам, не все успевая.

— Да вот вам поразительный признак перемены. Вот только сейчас, утром, я получил телеграмму от человека, который был известен как злейший враг России, — от крупнейшего американского банкира Якоба Шиффа. Он пишет, я позволю себе зачитать: «Я всегда был врагом русского тиранического самодержавия, безжалостно преследовавшего моих единоверцев. Но теперь позвольте мне приветствовать русский народ с великим делом, которое он так чудесно совершил. Позвольте пожелать вам и вашим коллегам в новом правительстве — полного успеха».

Корреспонденты просили дать им потом телеграмму полностью.

— Вот, господа, старый режим действовал как тормоз против Соединённых Штатов. А теперь все наши союзники сразу стали на сторону нового порядка в России. С необыкновенной поспешностью они намерены официально признать новый строй. Но, естественно, они рассчитывают на быстрое укрепление нашей военной дисциплины, и на нас лежит долг это доверие всячески оправдать. Сохранение военной мощи сейчас для нас особенно важно. Надо покончить с такими актами поколебания дисциплины, как неудачный «Приказ № 1». К счастью, никаких дальнейших эксцессов нет и, надеюсь, не будет.

А — в Германии какое впечатление от нашего переворота? — спрашивали корреспонденты.

Вопрос был непростой. Имело смысл ответить на него двояко, ибо тем извлекалась двоякая же польза.

— С одной стороны, германцы стали рассчитывать воспользоваться временным ослаблением нашей военной мощи, чтобы произвести сильный натиск на Северном фронте. Как раз сюда уже прибывают германские подкрепления.

Строчили быстро.

— Поэтому всякий гражданин, кто не хочет нового торжества немцев, должен способствовать восстановлению военной дисциплины. Опасность велика, и русская армия должна приготовиться отразить её, это вопрос чести русского народа. И в интересах достигнутой свободы.

(Этот момент чрезвычайно важно разнести широко.)

— Ну, а с другой стороны… С другой стороны, в Германии распространилось ложное представление, что русская революция выражает победу пацифизма, что теперь можно будет склонить Россию к сепаратному миру. Но не мне вам говорить, господа, что это

странное толкование может вызвать только улыбку. Не следует преувеличивать пацифистское движение среди части наших социал-демократов. И считаю своим долгом предостеречь, — его голос пожелезнел, и призрак собственной железности, повторный призрак его знаменитой ноябрьской речи поднялся в корнях его волос, — что люди, свергнувшие Штюрмера за его стремление к сепаратному миру, — никоим образом не пойдут ни на какой сепаратный мир.

Получилось, что сказал прямо о себе. Но не только так, но и — твёрже, но и — заветное:

— В частности, в наши национальные задачи теперь ещё более укладывается ликвидация турецкого государства. Это государство, созданное завоеваниями, за 500 лет не могло перейти к гражданственности, не достигло уровня современных культурных государств, — и оно не может существовать!

Светло и твёрдо блистало пенсне Милюкова.

Записали как сенсационное.

Ещё — о том о сём. Спросили о возможной продолжительности войны.

— Несомненно, война — уже на скате, господа, мы приближаемся к развязке. Силы врага убывают в большей пропорции, чем у нас. И уже в середине лета можно будет с уверенностью определить сроки окончания войны. Война закончится торжеством права и справедливости. Если дисциплина будет сохранена, если мы справимся с собою — мы справимся и с врагом. Прекрасная будущность обновлённой России будет обезпечена!

Беседа вскоре была закончена в тёплой, даже ласковой обстановке.

А так как Павел Николаевич, предвидя дипломатический приём, уже был во фраке, то ему оставалось лишь выпить чашку кофе, подписать десяток поданных бумаг — и, продолжая триумфальный день, ехать от Певческого моста к Синему.

В Мариинском дворце, в роскошной ротонде, с 32 колоннами и 32 люстрами в два яруса, золочёной лепкой потолка под купол верхнего света, уже велись приготовления ко встрече американского посла, но возникали разные затруднения, в частности, каким же знаменем декорировать сторону Временного правительства, своего же знамени не оказывалось теперь?

Дав одно, другое, третье указание, Павел Николаевич отправился в кабинет князя Львова. Он не упускал теперь всякой воз-

можности встретиться с князем наедине, чтобы вернее его направлять. Ещё не так легко было застать его без Некрасова, без Терещенко, без…

Но тут князь оказался один, и можно было присесть на короткое совещание с ним.

Павел Николаевич намеревался информировать премьера о вчерашнем довольно неожиданном повороте разговора с английским послом. При духовной близости, возникшей теперь между демократической Россией и демократической Англией, и с тем, что Бьюкенен согласился поддержать правительство против назначения Николая Николаевича, никак Милюков не предполагал, что опубликованное вчера в газетах постановление Временного правительства об аресте царской семьи вызовет в английском посольстве такое волнение. Бьюкенен даже настаивал получить гарантии, что будут приняты все меры предосторожности к охране личности отрекшегося императора — кузена английского короля. Милюков ответил, что это, собственно, не арест, а лишь условное ограничение свободы. И Временное правительство по-прежнему желает (будет и облегчено), если царская семья уедет в Англию, — а делаются ли уже в Англии приготовления к их приёму? — Ещё нет. Ещё нет принципиального согласия, констатировал посол. А не была бы Дания или Швейцария более подходящим местом для царя? — Нет, нет, — отверг Милюков и просил от имени правительства, и со срочностью, чтобы такой приют был поскорее предоставлен, с тем что до конца войны царь из Англии не выедет.

Но не успел он сейчас этого всего Львову высказать (дабы убедить его, что и сейчас наименее хлопотно для них отправить в Англию всю семейку), как князь проявил полную расстроенность (выражавшуюся у него в некотором овлажнении его небесных глаз):

— Ах, Павел Николаевич, именно это дело значительно осложнилось!

— Да что же такое, Георгий Евгеньич?

— Вы не можете себе даже представить: Исполнительный Комитет бушует! Кто-то пустил злостный слух, и в Совете поверили, что мы на самом деле не арестовали государя, но тайно препровождаем его за границу.

Хотя это почти и совпадало с конфиденциальным милюковским предложением (и действительно, кто-то из правительства, осведомлённый и неверный, разгласил?), но в бурном потоке него-

дования Исполнительного Комитета самому князю враз открылась и преступность, и невозможность подобного плана: как же он сам этого не разглядел?

— Нет-нет, Павел Николаич, перед Советом мы должны быть безукоризненно лояльны. Всю эту затею… нет-нет, надо её выкинуть из головы. Да вы только представьте, правда, как это выглядит из Таврического дворца?

Выглядело, действительно, контрреволюционно.

— Они большего хотят: они хотят заключить государя в Трубецкой бастион. Я насилу уговариваю их — оставить в Царском Селе, а уж как угодно укрепить охрану. Если угодно — приставить комиссаров от Совета. Ещё хорошо, если согласятся. А как вы думаете, Павел Николаич?

Да собственно, Павлу Николаевичу что ж? Ему с Николаем Вторым детей не крестить. Конечно, неприятны напряжения с послами. Но их не сравнить с ожесточением Совета. Зачем же снова провоцировать течь огненную реку Ахеронта?

— Да что ж, да что ж, Георгий Евгеньич… Может быть, ваша и правота. И уж во всяком случае нам надо помедлить.

— А не разгласится ли ваша вчерашняя позиция, через послов? — искал князь тревожными глазами.

— Нет-нет, — успокаивал Милюков, — я именно просил Бьюкенена держать дело в строгой тайне и ни в коем случае не разгласить, что отправка царя — это инициатива Временного правительства.

— Ах, ах! — томился безкрайне добрый князь, даже видеть его было страдательно. Он всегда крайне быстро взволновывался, но очень длительно успокаивался. Похрустел пальцами. И — искательно, как если бы премьером был Милюков: — Павел Николаич! А если хорошо рассудить — так зачем это нам и по сути? Ведь создаём мы сейчас Чрезвычайную Следственную Комиссию. И вот она обнаружит тяжёлые государственные преступления, подготовку сепаратного мира… И что же, отвечать будут только министры, а царя мы выпустим за границу? Хорошо же мы будем выглядеть. И где же логика?

Пытливо смотрел князь, и со всей той болью, как только может русский интеллигент:

— Я боюсь, что Совет прав — и по сути, — прошептал он.

Да Павел Николаевич и сам это вполне начинал обнаруживать. Да, при эвентуальном судебном процессе… Да ему ли пристало об-

личье защитника кровавого тирана и всей династии? Да просто сбили его послы демократических держав. Потому что, если они находят, то… Но вообще-то…

Тут — ввинтился в комнату, конечно, Некрасов, со своим непроницаемым, но вечно подозревающим видом.

Разговор продолжили уже вполне официально, что Николай II должен оставаться заточён.

Вошёл Терещенко, тоже во фраке.

Правительство начинало собираться для церемонии встречи с американским послом.

Павел Николаевич пошёл проверить последние приготовления.

Наступала вторая радость дня, и даже ещё более яркая.

Уже приготовлена у него была тирада, и знал он, как скажет:

— Благодарим великую заатлантическую республику за признание нашего нового свободного строя! Вы видите, как широко и полно наша страна разделила высокие идеи переворота! В эти дни я являюсь центром потока американских телеграмм. Я…

И теплейшие воспоминания о своих блистательных турне и лекциях в Америке заливали Павла Николаевича. И действительная благодарность к американским деятелям, которые всегда были сторонниками русской оппозиции.

— …Я достаточно знаю Америку, чтобы сказать, что эти новые идеи свободной России есть и ваши идеи. И что наш переворот даст сильный толчок к сближению двух наших родственных демократий.

ДОКУМЕНТЫ — 19

Ставка, 9 марта

ГЕНЕРАЛ АЛЕКСЕЕВ — ГЕНЕРАЛУ ЖАНЕНУ

Русская армия не может выполнить наступление в конце марта — начале апреля. Затянувшаяся зима с обильными снегами обещает продолжительную распутицу, когда дороги почти непроезжи. Вьюги с сильными заносами расстроили работу наших железных дорог, и базисные магазины не пополнены… Наконец, нельзя не обратить внимания на ту болезнь, которую переживает государство. Переворот не мог не отразиться на выполнении всех работ.

Наше наступление может начаться лишь в первых числах мая.

526

Всё рухнуло. Всё кругом ещё дорушивалось. Всё было грозово-темно, как в день Страшного Суда.

Но было и утешение послано Небом: наконец-то вместе! Наконец-то, друг ко другу прильнув, — передать! Даже меньше всего — словами. Боже, Боже, как Ты развёл нас в эти трагические дни!

Все эти розненные дни — как нёс Николай изнурительную броню самообладания: ни разу, нигде, ни при ком, кроме Мамá, да ещё прощаясь с офицерами Ставки, лицом не выразил своих переживаний, не выказал ни скорби, ни отчаяния, ни растерянности, а словами — так даже малой озабоченности. Он столько был на людях эти дни, — ни в единой фразе не сломался, не выдал себя — и даже Алексееву не пожаловался, не открылся в щемящей, сосущей боли своей, даже в страстную минуту, когда просил вернуть Алексею трон. (А ведь можно было… ?)

Солнышко! Солнышко! Отчего в эти дни мне не было дано прикоснуться к твоей силе? Может быть, вдвоём мы нашли бы что-то лучше? Но я — не сумел, пойми и прости! Меня сразила быстрота прихода телеграмм от них ото всех и их единодушие. Эти телеграммы — все со мной, ты их прочтёшь сейчас. И Николаша среди них — первый. Я решил, что мне с моего места не видно чего-то, что видят все. Я — не мог лучше. Я — не мог найти других путей.

И с какой запирающей силой это всё сдерживалось неделю — с той же неудержимой прохлынуло теперь. Прорвало — запреты, преграды, и слезами покаяния, слезами отчаяния, слезами освобождения — хлынуло к Солнышку, сам на коленях пред ней, а лицом уткнувшись в её колени, именно так хотелось душе.

Он — сложил с себя груз этих дней, и отдавал ей на суд.

Он — был мучим терзателями, и только вот теперь отпущен. Он как бы сомнамбулически действовал, и только вот теперь прояснялся.

Ах, никогда не послано было мне удачи! Я всегда знал, что мне ничего не удаётся.

Но Боже мой, но двадцать два года я старался делать только лучшее, — неужели я не делал его никогда?

Ах, нет правосудия среди людей!

Это было — в розовом будуаре Аликс. Она — сидела на розовой кушетке, а он — коленями на ковре. В комнате был тонкий,

умирающий, нет, уже умерший аромат — от вороха завядшей сирени на окне, — её постоянно доставляли свежую с юга, но от начала безпорядков уже много дней не обновлялась ни она, ни гиацинты, ничто из цветов.

С той минуты, как камердинер Волков внезапно доложил: «Государь император!» — и Аликс бросилась ему навстречу — полубегом, сколько ноги несли, — и увидела — неузнаваемого старика — коричневого, с тёмными тенями под глазами, во множестве морщин, ещё не бывших две недели назад, с поседевшими висками, и с шагом — не прежним шагом молодого, сильного человека, но потерянно усталым, сбивчивым, — могла ли она, могла ли она бросить ему хоть один упрёк — хотя столько ошибок наделал он?

В таком разрыве душевном, в таком последнем упадке — могла ли Аликс его упрекать? За то, что во многих местах только твёрдый её совет выводил его на верную дорогу? За то, что отклонялся он от советов Божьего человека, а прислушивался к людям нечистым, неверным, как и этот Алексеев, — как ещё и теперь он не видел его предательства?

Может быть, только сейчас, рассвободясь, Николай впервые до конца ощутил своё свержение. Своё унижение. И, сброшенный со всех пьедесталов, он нуждался хоть на каком-то ещё задержаться.

И, это угадав, она захлёбываясь отвечала ему:

— Ники! Ники! Как муж и как отец — ты мне дороже, чем как император!

Это была правда, но даже и неправда, и так, и не так, — но в этот момент она чувствовала так, или не могла выразить иначе.

Его безутешное горе — разве чем отделялось от её горя? Разве сердца их когда-нибудь были разъединены?

И мой прощальный приказ по армии, моё прощание сердцем с моими солдатами — и это запретили, не пустили, — за что?

Боже мой, как Бэби ждёт твоего приезда! Считает минуты.

Он — знает? Как он узнал?

— Я поручила, ему сказал Жильяр: «Ваш отец больше не поедет в Могилёв, он не хочет быть Верховным Главнокомандующим».

Огорчился?

О, ещё бы! Ведь он как любит солдат и армию! А спустя некоторое время Жильяр добавляет: «Вы знаете, Алексей Николаевич, ваш отец больше не хочет быть императором». Испугался очень:

«Что произошло? Почему?» — «Потому что он очень устал, перенёс много тяжёлого в последние дни». — «Ах да, мама говорила, — остановили его поезд, когда он ехал сюда? Но папа будет императором потом опять?» Жильяр объяснил, что нет, и что Михаил отрёкся. Алексей помрачился, думал, думал, ничего не сказал о своих правах, а: «Но как же может быть без императора? Но если больше нет императора — кто же будет управлять Россией?»

Но ведь я правильно сделал, скажи? О, как я колебался! Оставить Алексея на троне — разлучить с нами. Ведь *они* все так и хотели бы: отнять у нас Алексея, а самим — править при нём. А потом — я уже думал наоборот: вернуть Алексея на трон. И сделал попытку изменить Манифест — но Алексеев сказал: никак не удобно.

Ты правильно сделал, ты всё правильно сделал, мой муженёк! Как же мы могли бы остаться без Солнечного Луча?.. А если бы ты знал, какой это был позор и удар, когда гвардейский экипаж бежал из дворца… А Конвой вёл себя вполне благородно! Вполне. Но они одни ничего не могли сделать. Да я сама остановила кровопролитие, не велела им сражаться. А твой Сводный полк! Какие чудеса верности, разрывающие сердце! Ведь вчера, после уже установленного ареста, они весь день отказывались дать сменить себя с постов. И сегодня всю ночь простояли — они хотели сами встретить твой приезд с подобающими почестями! Они выкатили пулемёты — и не хотели впускать новую охрану за решётку дворца. Но это я — позвала к себе их полковника и сказала: «Не повторяйте климата французской революции!» И они — уступили, и вот перед самым твоим приездом только ушли.

О, этот пример подбодрял! О, наш святой народ ещё нас не выдаст.

А заступил — какой полк?

Первый гвардейский.

Так ведь это — тоже наш, из наших самых верных!

Ещё стоял в памяти вид последнего у них зимой смотра, который принимал Николай.

Ты знаешь, Ники, Корнилов — тоже, он порядочный человек. Он при аресте вёл себя очень прилично.

Да весь этот так называемый арест — уже как пустая прихлопка по забитому месту, он уже ничего не отяжелял, сам по себе воспринимался безчувственно, — а вот освобождение он принёс! Возможность быть наконец вдвоём с Аликс, наедине с Аликс!

И — выплакаться ей. И — исповедоваться. И — пожаловаться.

И ещё же — молитва у них остаётся, безграничные просторы молитвы.

Молились.

И снова плакали.

О Ники, предадимся воле Божьей! О Ники, Господь видит своих правых! Значит, зачем-то нужно, чтоб это всё так случилось. Я верю, я знаю: свершится чудо! будет явлено чудо над Россией и всеми нами! Народ очнётся от заблуждений и вновь вознесёт тебя на высоту! Вернётся разум, пробудятся лучшие чувства.

И даже очень скоро это всё может случиться.

Арестованы, нет ли, — но какая отъединённость окружала их соединённость! Что-то там в мире катилось, происходило, — но с тех пор как они вместе — это уже не касалось их. Теперь они будут подкреплять друг друга любовью — и всё перенесут.

Пойдём к Бэби? К детям?

Невозможно с моими такими глазами, я напугаю их. Я лучше пойду пройдусь по парку, это всегда мне помогает.

Ну пойди, а я буду смотреть за тобой в окно. Да, ты знаешь… ну, не всё сразу. Лили и Бенкендорф убедили меня, что надо сжигать — дневники, письма, бумаги, — чтоб *они* не завладели этим и не воспользовались во вред. И я уже много сожгла.

О, как жаль!

Но что же делать?..

Слишком много сразу здешнего не могло вступить в голову Николая, — он ещё почти оставался в Ставке. И два псковских вечера ещё цепко когтили его. С Долгоруковым они вышли через садовую дверь — и пошли гулять.

Сейчас — быстро, много пересекать по парку, — и должно отлечь, и высохнет, и просветится лицо. В каких только мрачных бедах не успокаивала его быстрая, многая ходьба.

Как всегда, он шёл на пяток шагов впереди, Долгоруков сзади. По широкой расчищенной дорожке двора Николай направился в сторону большой аллеи. Он, правда, видел оцепление из солдат — но так понимал, что это новый вид охраны дворца, да, верней, он не успел в это вникнуть, не об этом были мысли.

И вдруг два солдата перед ним выставили штыки, преграждая путь, и один из них дерзко крикнул:

— Сюда нельзя, господин полковник!

Николай — не понял даже: кому это, какому полковнику? (Он был в полковничьих погонах всегда — но никогда же не слышал

такого обращения!) И он продолжал идти, не глядя на развязных солдат.

И тогда к ним подбежали ещё двое-трое.

— Вернитесь, когда вам говорят! — кричали ему.

Или даже:

— Тебе говорят, назад!

Всё это было в полминуты: он увидел несколько простых солдатских лиц, которые всегда так славно замирали на смотрах, — да это же и был 1-й гвардейский стрелковый!

Император не мог сообразить, понять, возразить. Он стоял и в растерянности смотрел на рассерженные, непочтительные солдатские лица. Он просто никогда не видел русских солдат такими!

Тут приспешил офицер — но молоденький, не кадровый, с худою выправкой и без всякого почтения тоже. Не беря под козырёк, он сказал:

— Господин полковник, гулять в парке нельзя, только во дворе.

Император посмотрел на него — на солдат — на раскидистые зовущие ветви парка.

И — понял.

527

Со ржавым повизгиванием покатили пулемёты по перрону станции Царское Село, — перрон был сколот от снега, очищен до асфальта. И штыки семёновцев колыхались за плечами, в пасмурном дне.

Не имел Масловский точных инструкций, не выработал точного плана, а только ясно было одно: сила и натиск! и совершить нечто грандиозное!

Приказал: немедленно занять телеграфную, телефонную. А сам, с Ленартовичем как с адъютантом, ворвался к начальнику станции и ещё с порога объявил:

— Вы арестованы!

И его папаха, ощущаемая всем теменем, даже слишком надвинутая на лоб, велика, и напряжённо-готовный вид Ленартовича не оставляли сомнений.

Начальник станции совсем оторопел:

— Простите — за что же?.. Кто же?..

Видя, что тут сопротивления не будет, Масловский милостиво перерешил:

— Арест — негласный. Остаётесь на месте, но вот — прапорщик будет приставлен к вам безотлучно, контролировать ваши действия. Вы обязаны не допустить прохождения через вашу станцию каких-либо военных сил. О всякой опасности немедленно докладывайте мне.

— Но на станции есть военный комендант…

(Ах, не туда попал…)

— Арестовать и коменданта! — (Это — ни к кому.) — На тех же условиях! — ничто уже не могло остановить или удивить Масловского.

Где — начальник гарнизона Царского Села?

Тут недалеко, в ратуше.

На разогнанных крыльях решил: без отряда, оставив их тут, на станции, в пассажирских залах, — вдвоём с Тарасовым-Родионовым да пару солдат — и в ратушу! Не возьмут, не осмелятся! — за его спиной Совет! Кто наседает дерзко — тот и берёт, все растеряны, все не готовы.

Однако, отведя Ленартовича, глядя в решительное его лицо:

— Если я не вернусь через час и не пришлю приказаний, — прапорщик! Идёте со всем отрядом в казармы 2-го стрелкового полка, самого революционного тут, поднимаете стрелков, движетесь во дворец…

И ещё, доверительно, но со всей экспрессией:

— И *любой* ценой… я повторяю — *любой* ценой обезопасите революцию от возможности реставрации!

Прапорщик — со вскинутыми глазами, с трепетно-понимающим, мужественным лицом.

— Смотря по обстоятельствам. Или вывезете всю арестованную семью в Петроград, в Петропавловскую крепость. Или… ликвидируете…

— *Ликвидировать?* — выпрямился ясноокий прапорщик. Голос его чуть продрогнул.

Он почувствовал шевеление в волосах. Только это шевеление, а себя самого — он не чувствовал. И какой же жребий — всё падало на него! Он взял и Мариинскую цитадель — и теперь?.. Куда дальше несло его по огненной колее революции?.. В охоту за королём? И — куда его? Доставить на гильотину? Саша, пожалуй, и го-

тов, — да, он готов! — но он хотел бы понять роковую инструкцию совершенно точно.

А Масловский — пронзительно-хищным взором прочёл на ясном лице всё, что переживал прапорщик. И — взревновал к нему! — да разве можно такой озаряющий акт кому-нибудь передать? Нет, это он сказал — для своего окаменения в статую. Мгновенно, сейчас, перед прапорщиком. А он пока — ехал в ратушу, уверенный в успехе. И вернётся меньше чем через час.

— *Ликвидируйте вопрос* — на месте, в Царском. Надёжностью охраны. Контролем Совета.

В приготовленном для них автомобиле поехали с Тарасовым-Родионовым. На подножках, лихо выставив штыки, — два революционных семёновца.

Царскосельская ратуша, недавно такая наверно сверкающая, изрядно побезобразела: парадная лестница и паркетный пол двусветного зала загажены окурками и следами грязных сапог. Солдаты, потерявшие воинский вид, сидят в шёлковых креслах с ружьями, с папиросами в зубах, или валко бродят в незатянутых шинелях.

Это — хорошо! Это — дыхание нашей победы и ослабляет *их*.

Тех, к кому Масловский приехал. На втором этаже был у них скороспелый штаб, и в нём два полковника: один — комендант всего Царского Села, другой — только вчера назначенный начальником гарнизона — Кобылинский, впрочем уже и соучастник ареста императрицы, как бы на нашей стороне, всё путается.

Сколько их, армейских старших офицеров, насмотрелся Масловский за свою службу в Академии! Знал он их слабости: служебная впряженность, а нет жара инициативы, им всегда легче, когда им приказывают. Сколькими гневом он перекипел на них за все те годы между двумя революциями, что был их заложником. Выдавал им книги. Он — презирал этих полковников, и все звёзды их, и уверен был, что сейчас они не выдержат напора.

Вошёл — как ветер. Не отдавая чести — положил им с прихлопом на стол свой страшный мандат.

Почитайте, почитайте… «Всю военную и гражданскую власть»!

Полковники тревожно переглянулись. Что-то общее было в них — не только рост, не только «Владимиры» у каждого, но и откатанная по лысинам служба:

— Простите, но мы подчиняемся не петроградскому Совету, а Временному правительству. А ваш документ не имеет визы правительства. Значит, он сделан помимо?

Спрашивают… Они сами-то не уверены. Они сами-то млеют, не понимают: что это значит — Совет Рабочих Депутатов?

И голос Масловского взлетел:

— Должен ли я вас понять в том смысле, что вы не склонны считаться с постановлениями Совета революционного гарнизона и революционных рабочих Петрограда??!

Полковники робеют — неизведанное время, неизведанные ухватки. Ещё переглянулись.

— Что вы, что вы, мы, разумеется, знаем, что Совет признан Временным правительством. Но вы — военный человек и должны понимать, что всякий приказ выполняется только в порядке прямого подчинения. Мы подчинены — генерал-лейтенанту Корнилову, командующему войсками Округа. Да извольте, мы его сейчас вызовем к телефону.

Висит на стене коричневый ящик.

Нет, если дать позвонить Корнилову — всё провалится: Корнилов — в правительство, те — в Совет, и меньшевики струсят. Весь мандат был выписан Чхеидзе с переполоху — и надо лететь на мандате:

— Оставьте в покое Корнилова! Если б я нуждался в генерале Корнилове — я привёз бы вам его самого или его подпись. Но я в данный момент и не собираюсь перенимать от вас, по силе этого мандата, командование. От вас требуется, — о, сколько мощи в своём голосе, дрожь до наслаждения, — передать мне сейчас императора, я отвезу его в Петропавловскую крепость!

— Императора?! — потрясены полковники. — Это уже совершенно невозможно. Формально и строжайше запрещено допускать кого-либо к арестованному императору!

И — отчаянная решимость служак! та единственная у них решимость, когда уже прямо заставляют нарушить долг. (Ах, сорвался, перебрал. Не надо было прямо про крепость.)

Но всё же попробуем. Грозно:

— Так вы — отказываетесь подчиниться Совету Рабочих Депутатов??

Знал, знал он этих баранов, не тёртых в политике, они могут выдержать бой, но не гражданское столкновение:

— Я не отказываюсь, — растягивал Кобылинский. — Но я должен получить распоряжение генерала Корнилова.

А телефон — висит, приглашает. Масловский коварно, и тем ещё грозней, смягчил голос:

— Слушайте, господа. Вам, может быть, уже доложили, что я прибыл сюда с пулемётной ротой. Вместо того чтобы терять время на разговоры с вами — я сейчас одним боевым сигналом подниму весь ваш гарнизон?

Правдоподобно. Это — знают они: их собственный гарнизон любой пришлый агитатор может взбудоражить в любую минуту и в любом направлении, это уже явлено. Они командуют гарнизоном лишь постольку, поскольку гарнизон согласен дать собой командовать.

Замялись.

Ну, ещё толчок! Ещё толчок! Дух момента, выращивающий гигантов. В голове вихрится отчаянно-изящная комбинация: если осмеливаетесь — можете меня арестовать! — пока не подойдут мои пулемёты на выручку. А если нет — то арестованными объявляю вас я́ — и с вас снимается вся ответственность, и я забираю императора!

Но и, годами привыкший к осторожности: нет, так можно совсем переиграть.

— И если, господа, я пока не поднимаю гарнизона, то лишь потому, что уверен: я выполню задание, и с вашего согласия. Именем революционного народа! Итак?..

Переглядываются растерянно. Так он и знал! Выиграно?

— Да поймите, — тянет Кобылинский, не знает, как величать пришельца. — Я не имею права… Только по приказу генерал-лейтена…

Жалкий раб старомодного долга! Он и на пороховой бочке бормочет о служебной субординации.

— Хорошо, полковник! Кровь, которая сейчас прольётся, — падёт на вашу голову!

Полковники — бледны.

Но чувство: больше выжать нельзя ничего. Во всяком случае — нейтрализовал их, пока по Царскому можно передвигаться спокойно.

— Счастливо оставаться! — козырнул им Масловский без звания — и чуть не сплоховал, не повернулся через правое плечо. Нет, через левое, и как-нибудь половчей, даже пристукнув каблуками сапог.

Тарасов-Родионов ждал в автомобиле, не подозревая, в каких вихрях бой.

Семёновцы вспрыгнули на подножки, по-петроградски выставили штыки вперёд.

— В Александровский дворец! — скомандовал эмиссар с разинским видом.

528

Война! Это — всем вопросам вопрос. Но пусть кто хочет вьётся-качается, только не большевики. Шляпников держится самого крайнего, а самое крайнее — оно и самое простое. Начиналась война — объявили мы: «Долой войну!» Теперь произошла революция — всё равно «долой войну!» или даже — тем более.

Но раньше и буржуазия, и соглашатели считали, пусть безпокоится царское правительство. А вот после революции изменилось у них у всех сразу.

Буржуазию — можно понять: она пришла вроде бы к власти, но нет у неё, как у царя, реальной силы гнать войска в наступление. И может она надеяться только — овладеть умами. И для этого теперь вся буржуазная пресса перепевает верность родине, необходимость одолеть Вильгельма. Вместо поповской проповеди о защите православной веры ставят теперь новые виды обмана: свободу, землю, волю — лишь бы погнать солдата на колючую проволоку. Забыть все внутренние обиды, забыть все партийные и классовые различия, мол, рабочий вопрос — после победы, земельный вопрос — после победы, а пока — переть на колючую проволоку ради отечества денежного мешка. И конечно, «долой войну» им не остаётся изобразить иначе как измену родине. Изображают так, будто и революция вся произошла от военных неудач царя, хотели все солдаты побеждать, а царь и двор им не давали.

А вся эта буржуазная сказочка — без корней. Произошла революция ни от каких военных неудач, а просто — устали. Из этого и надо исходить в реальных революционных действиях.

И по всей России против тысячи буржуазных газет антивоенную агитацию безтрепетно подняла одна «Правда». Первый раз открыто в России напечатала циммервальдскую резолюцию. И напечатала кинтальскую. (Никто больше не решился.) И призвала от-

крыто обсуждать вопрос о войне, от которого никак не уклониться новой российской демократии.

А «Известия» Совета дипломатично обмалчивали войну уже десятый день, будто её вовсе не было. Об чём угодно находили братья-социалисты высказаться, но не о такой мелочи, как война. Стала выходить меньшевицкая «Рабочая газета» — тоже молчала блудливо. А устно уже гулял у них такой лозунг: «Революция имеет право на оборону». Как признали правительство, так признали и войну, — течь, как все текут. Они уставили шаткие ножки своей политики на том, что народ согласен воевать и дальше. И не только уклоняются серьёзно обсуждать военный вопрос, печатать о нём статьи, — наоборот, ещё упрекают большевиков, что своим голым «долой войну» они теперь вносят раскол в единство революционной демократии, играют-де на руку чёрной сотне, это ж надо договориться! И предлагают: ради успеха революции — помолчать.

Но это дико! Для чего ж тогда были Циммервальд и Кинталь? Что же переменилось, почему теперь отказаться? Что все русские социалисты тянут в предательство — так так оно было и всю войну, и все европейские так же. Нет, надо иметь твёрдость нести «долой войну!», как бы это ни встретили. Как раз ради революции и надо ставить вопрос о войне всё острей!

И что на «Правду» окрысились со всех сторон — это неудивительно. Удивительно, что и в собственной партии набралось интеллигентов, кто брюзжал, что «долой войну» теперь надо снять, такой лозунг, мол, ничего практически не даёт для прекращения войны. Зато этот лозунг — острый какой, он всех будоражит, найдите другой подобный! Неужели нам сюсюкать о «патриотическом долге перед страной», как со всех сторон выставляют?

Однако обезкураживало, что лозунг и среди рабочих встречал поддержку слабую. На многих заводах слушали «долой войну» хмуровато — поддались националистической заразе.

Но что там! — солдаты и те встречали худо. Для кого и надо было отменить войну, а они, по неразвитости, замороченные, не понимая собственной пользы, откликались, что могут так призывать только немецкие агенты. Были уже случаи, что солдаты отказывались участвовать в демонстрации, если будут нести «долой войну». Конечно, слышали они одно и то же со всех сторон — от буржуазии и от оборонцев — и отпугивались от большевиков. Оборонцы грозили большевикам «гневом революцион-

ного народа», — и действительно приходилось поостеречься: не во всякое место ехать выступать, а поехав — не всё говорить. Самому и Шляпникову в кавалерийском полку не дали говорить, за́криками. Почти выгнали. И других большевиков за последние дни.

И чувствовал Шляпников, что тут он — у самого безотлагательного вопроса и всей революции, и партии. И нутром чувствовал, что — прав. Но уже — не хватало мозгов. И со всех сторон получая не поддержку, а противодействие, — кто не колебнётся? Уверенность подтаивала в нём: а вдруг что-нибудь не так?

Ещё раз собрали БЦК, ещё раз ПК: так остаётся партийная точка или не остаётся? Превращение империалистической войны в гражданскую — какая причина снять? А вот — защита отечества? При каких обстоятельствах мы, может быть, согласны? Или — никогда? Сказать «никогда» — не значит ли потерять солдат навсегда?

Тощими головами всё-таки нашлись так: родину защищаем только после того, как у нас установится революционная диктатура пролетариата и крестьянства. А пока — требовать от Совета Депутатов обратиться к пролетариату воюющих стран с призывом брататься на фронтах.

Против этого не попрёшь: брататься — русскому солдату по душе.

Важно было — удерживать в своих руках агитационное дело Совета. Кому в какой полк ездить агитировать — поручено было агитационной комиссии Исполкома, без её ведома и разрешения ни один агитатор не должен был иметь хода ни в какую казарму, все были предупреждены. Установили так, чтоб не допускать к войскам агитаторов монархических и враждебных революции, — однако подбирали, чтоб ездили только оборонцы. К счастью, именно в агитационной комиссии Шляпников и состоял и уж тут своё право использовал: набрал много этих бланков, уже с печатями, и сам выписывал и подписывал всем своим. (По таким бланкам можно было ехать агитировать и в прифронтовую полосу.) В Исполкоме были недовольны, — но прямо в лоб Шляпникова побаивались.

Да для чего ж бы он в этой комиссии и состоял, как не дать накинуть узду на большевиков (и на межрайонщиков, с ними налаживать согласие)? Он на эту комиссию аккуратнее ходил, чем на сам Исполком.

И сегодня, придя в Таврический, не пошёл Шляпников высиживать в ИК — но пошёл в большой думский зал постоять (присесть негде), посмотреть на заседание солдатской секции Совета.

Это было поучительно: сразу одними глазами вобрать как бы весь гарнизон Петрограда — тот самый гарнизон, на удивление не дававшийся большевикам, кто одни и защищали его интересы. Вобрать, чтобы понять: как же его взять? Как и чем этих солдат повести?

В любимой своей устойчивой позе, чуть ногами расступя, а руки скрестя на груди, посматривал Шляпников и послушивал.

Доверчивы они были, и больше всего — к шинели. Всякий в солдатской шинели был им уже свой, хотя б это был мобилизованный адвокат, служащий в канцелярии, и вёл бы их против собственных интересов, этого они не различали.

Впрочем, на солдатской секции говорить о политике было не принято, вся их политика была — что за родину они конечно постоят, а всё их обсуждение здесь: казарменный быт, как им сегодня обходиться в своих частях и по службе, чтобы полегче. Верхушка Исполкома присылала сюда Бориса Богданова в председатели. Масса солдат, и только бы в сторону её отвести, благополучно бы кончилось.

Сегодня читалась громко, медленно, уже готовая «Декларация прав солдата», — и выслушивали, кто против, кто больше, перекрикивали и голосовали по пунктам.

Отменяется наименование «нижний чин». Отменяется «так точно», «никак нет», «не могу знать» и «рады стараться». Отменяется и команда «смирно». (Поспорили — согласились оставить как переходную, без неё нельзя, но чтобы по стойке долго не держали.) Отменяются все виды наказаний. Наоборот, предаётся суду всякий начальник, наказавший солдата.

Споры были в мелочах, хоть и въедливые, хоть и с бранью, а в главном: шла солдатская масса заедино, брать свои права!

И думал Шляпников: замечательно! Это и есть реальный ход революции: брать свои права! И этого не остановить.

Вот тут сейчас, в этой «Декларации прав солдата» — на самом деле и для всех ещё неведомо — побеждали большевики! Просчитались мудрецы-оборонцы из Исполкома, уже не говоря о буржуазии! «Долой войну» — это они наотрез не допускают, а «демократизация армии» — в этом они отказать не могут, было бы непри-

лично. А что ж такое и есть демократизация армии, если не: долой войну!?

Просто смешно, как они везде галдят: в выборной армии возродится боеспособность, укрепится дисциплина, станет сознательной! — да развалится, как дважды два.

И вот так мы освободимся от войны!

Так — давайте демократизацию, это нам и нужно, поработайте на нас! Не в лоб, так по лбу, а наша возьмёт. И ничего, что сегодня солдаты не дают нам говорить. А работает это всё — на нас! И с «долой войну!» мы не соступим, нет!

В тесноте парламентского буржуазного зала, обтолканный шинелями, обкуренный со всех сторон, — Шляпников долго стоял, не утомляясь, и весело поблескивал глазами в сторону президиума.

ДОКУМЕНТЫ — 20

9 марта

ГУЧКОВ — ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСЕЕВУ

Весьма секретно.
В собственные руки.

...Действующее положение вещей таково:

1) Временное Правительство не располагает какой-либо реальной властью, и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, как допускает Совет Рабочих и Солдатских Депутатов... войска, железные дороги, почта и телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что Временное Правительство существует, лишь пока это допускается Советом Рабочих и Солдатских Депутатов.

2) Начавшееся разложение запасных частей прогрессирует — и о высылке в армию в ближайшие месяцы значительного количества людских пополнений не может быть и речи.

3) Так же безнадёжно стоит вопрос и о пополнении конского состава армии, реквизиции лошадей пришлось прервать, дабы не обострять настроения населения.

4) ...Невыполнимы в намеченные сроки все новые артиллерийские и иные формирования...

529

Высший жизненный принцип князя Львова был — вера и доверие. Вера — в людей, во всех людей, в наш святой народ. И доверие — каждому человеку. (Только от дурных условий, в которые человек поставлен, он может обмануть доверие.)

И когда обманывали доверие князя или не верили ему самому — ему было особенно больно. Сам в высшей степени порядочный и честный, он не допускал непорядочности в других.

И когда сегодня днём к министру-председателю внезапно приехала делегация от Совета — сам Чхеидзе, и с ним Скобелев и Нахамкис — с грозным вопросом: в какой побег отправляется царская семья и как могло Временное правительство так предательски обмануть Совет? — нежная душа князя была ранена глубоко. Ему стало горько, хоть заплакать.

— Голубчики, — спросил он жалостливо, — милые мои, разлюбезные, да как же вы могли поверить? Да как же вы могли так о нас подумать? Если мы вам обещали, если мы вас оповестили, неужели мы могли бы вас обмануть? Да конечно царская семья арестована!

К счастью, самое последнее известие он мог им уже сообщить: что поезд бывшего императора благополучно прибыл в Царское Село и сам император в охраняемом автомобиле доставлен в охраняемый дворец. А семья и вообще никуда не трогалась с места.

Рабочие депутаты, развалясь в бархатных креслах, ещё допрашивали, ещё не верили, потом поверили.

Так значит, планов отъезда в Англию — нет??

О нет, о нет, друзья мои!

И правительство обещает не совершать никакого перемещения бывшего Николая II без Совета Депутатов?

О, конечно.

Итак, семья будет арестована в Царском Селе впредь до выбора нового, более строгого места заключения?

Хорошо, пусть будет так.

Причём в надзоре за бывшим царём и его семьёй должен участвовать специальный комиссар Совета Рабочих Депутатов.

Великодушный князь не имел никаких возражений.

А Николай Николаевич? Он не может быть допущен до командования!

Совершенно справедливо! И князь уже отправил великому князю разъяснительное о том письмо.

А где он есть? где он ездит?

Надеемся перехватить его в дороге.

В Ставке он не должен находиться!

И не останется!

Так удалось князю ублажить суровых своих контролёров. И сердечно уговорились обе стороны, что такие встречи будут полезны и в дальнейшем, регулярно, — и выбранная Исполнительным Комитетом Контактная комиссия, в составе их же, будет через день, через два приезжать в Мариинский дворец, и здесь они будут откровенно обмениваться соображениями о дальнейшей политике.

Очень хорошо! Это просто великолепно!

Это действительно вызволяло князя от многих ненужных и мучительных колебаний: во всём ладить, всё согласовывать, соборно, дружно!

Проводил гостей — и некоторое время разрешил себе походить по роскошному кабинету. Своя 56-летняя жизнь всё более вырисовывалась князю как красивое построение. Он — никогда не добивался власти, ничего не делал для этого, он даже не любил политики, больше всего любил практическую земскую работу с хорошими людьми вокруг. Он только был всегда непримирим к злоупотреблениям императорской власти. И вот какие-то мощные силы, им не призванные, даже ему не известные, стали ему со всех сторон помогать и возвышать его, — да русская общественность, кто же, или, шире того — сам русский народ вознёс князя как своего любимого избранца, — и князь не чаял теперь, какой ещё верной службой отблагодарить и оправдать надежды. Но для этого ему не нужно было издавать указов или приказов — по опыту жизни в мрачной императорской России он терпеть не мог казённых распоряжений сверху, давящих человеческую инициативу, такой власти в России вообще должен наступить конец. А всюду на местах должно оживиться или самозародиться умное творческое движение интеллигентных людей, и вся задача руководителей страны — только не мешать ей, — и так Россия достигнет славы небывалой среди просвещённых народов!

А между тем в мраморную, золочёную и паркетную тишину и уютность Мариинского, несмотря на набег 27-го февраля почти не потревоженную революцией, где безшумные статные камер-лакеи в расшитых ливреях и белых чулках, сами важнее вельмож,

и сегодня разносили новым министрам и новым сановникам чай, кофе, печенья, собиралось правительство на ежедневное заседание — в комнату рядом с парадной приёмной, за палисандро-перламутровыми дверьми. А министры-то — усталые, и даже до обезсиленья.

И рассаживались за овальным лакированным столом — и князь Георгий Евгеньевич во главе его. Минувшие дни огорчало князя, что два-три-четыре министра всегда отсутствовали, конечно занятые своими делами, — но не хватало их общения в заседаниях. А сегодня — собрались до единого все, правда Гучков — перед выездом, он намеревался ехать на фронт. Лицо Гучкова было обидно угрюмо все эти дни, не соответствовало общему улыбчивому, светлому духу нашей революции. Зато Милюков сегодня весь сиял, и было от чего: заатлантическая республика первая пожимала руку первому свободному русскому правительству! Князь проверяюще прошёл по лицам, и особенно взглянул на Керенского, в котором он с каждым днём чувствовал растущую деятельную силу и испытывал к нему растущее уважение. Керенский положил на стол нераскрытый портфель и чуть задумчиво искоса уставил длинную голову. Очевидно, не возражал.

Тут взъерошенный Шингарёв, на заседаниях всегда полуотсутствующий, ушедший в разложенные свои бумаги, настойчиво попросил дать срочное слово ему. Заговорил взволнованно, без бумаги, свободными глазами ища понимания в коллегах. И вот что рассказал. Сейчас ему донесли уже о третьем и четвёртом случае, как группы вооружённых солдат задерживают на станциях поезда с продовольствием, идущим для армии, — и реквизируют из этого продовольствия сколько желают для себя, даже и целыми вагонами. И случаи — на разных станциях тыловой полосы, друг с другом не связанных, — так что как бы не начиналось этакое массовое движение захвата продовольственных поездов революционными частями. Так вот… что делать? Министр земледелия просит каких-то решительных мер.

Ах, опять решительных мер! Ах, не наш это язык — «решительные меры», он не достоин свободного союза свободных людей. Милые мои, зачем же так грозно? Да не преувеличивает ли Андрей Иваныч? Да откуда он взял, что есть угроза массового движения? Да нет, стихия уляжется, уже укладывается, здравый народный смысл возьмёт верх, народ сам всё устроит наилучше, народ сам всё знает не хуже нас.

Но Шингарёв тревожно настаивал на *мерах*, так разволновался.

Ну что ж могло в таком случае сделать правительство? Выпустить обращение к солдатам о недопустимости подобных действий. Надо выработать и представить проект. Удобней всего, очевидно, Александру Иванычу, поскольку — солдаты, значит — его министерство.

Гучков хмурился. Не записал.

А Шингарёв — ещё не кончил. Он вообще не имеет уверенности, что в эти весенние месяцы, при распутице всюду, удастся обезпечить армию хлебом. Он ставит вопрос о желательности сократить душевое потребление хлеба в армии.

Если бы месяц назад такое произнесло царское правительство — Земсоюз и сам князь Львов выступили бы с громовыми речами, что правительство готовится удушить голодом своих серых героев. Но в нынешней обстановке для укрепления революционной ситуации — что ж, может быть… Н-н-ну… пусть министр земледелия войдёт в ближайшее соглашение с военным министром.

Гучков мрачно молчал, не двигаясь.

Но Шингарёв хочет больше. У него идея: чтобы усилить приток хлеба из глубины России — нельзя ли составить ещё одно обращение — прямо от Армии! — ко всему населению — в видах побудить его усилить подвоз продуктов для армии?

Гучков повёл плечами, мрачно молчал.

Не решаясь проступить эту мрачную завесу, князь обходительно предложил самому Шингарёву выработать проект такого обращения.

Конечно, всякие обращения полезны, потому что они разрабатывают общение между людьми.

Но у Шингарёва были и прямо материальные заботы: разрешить в Каспийском море обычно запрещённый в такое время лов рыбы неводами, притоняемыми к берегу. Это может существенно помочь в снабжении армии.

Ну что ж, это можно, Каспийское море — богатое, не правда ли, господа, не обедняет?

А Шингарёв и кончить не мог: ещё обсеменение полей.

Теперь взялся и военный министр. Вот было неприятное сообщение, где-то между тремя министерствами проходящее: в Казанской губернии возникли на этих днях аграрные безпорядки, по-

громы поместий и культурных хозяйств. Промелькнуло и тут, в Петербургской. Так кто и что будет предпринимать?

Ах, да ещё об этом горько было вспоминать князю Львову! Понятны и простительны были сельские погромы при царском произволе, — но почему же теперь, когда народ получил свободу?.. Это было уже какое-то абсолютнейшее недоразумение!

Употребить оружие? О нет, о нет, это и все присутствующие хорошо понимали: при данной ситуации? в настоящее время? О нет!

Да военный министр предлагает скорее министерству внутренних дел озаботиться организацией на местах новой полиции взамен распущенной.

Поскольку сам князь уже не успевал руководить собственно министерством внутренних дел, он обернулся к Щепкину. А Щепкин вот что предложил: пусть министр юстиции подтвердит прокурорскому надзору о необходимости привлечения погромщиков к уголовной ответственности.

Сурово, конечно, это было — сразу уголовная ответственность, но поскольку полиции не существовало, — то что ж могло выручить, как не прокурорский надзор?

Керенский по-прежнему сидел задумчиво-косовато, так и не раскрыв портфеля, так и не высказавшись ни за, ни против.

Как будто постановили?

А вот что, а вот что, — оживился князь и с ним другие: в Казанской губернии обратиться к местным общественным организациям и лицам, пользующимся доверием населения, — с просьбой оказать содействие для вразумления и успокоения крестьян!

Это — замечательно придумано! Это — лучше всего! А с уголовной ответственностью подождём.

Сбил Шингарёв, испортил всё настроение от американского посла. Но вот проблема и у Милюкова: как теперь вручать офицерам английской армии прежде пожалованные, при царе, русские ордена? Допустимо ли?

И затем, министерство иностранных дел нуждается в дополнительных кредитах. (30 миллионов рублей.)

Такому важному министерству и такому уважаемому министру невозможно было ни отказать, ни торговаться.

Да и у министерства внутренних дел был запрос на 28 миллионов рублей.

Утвердили.

Наконец и Керенский — громко щёлкнул замками портфеля.

Все обернулись, и особенно князь Львов. От этого сильного человека он и ждал сильных слов.

Но Керенский ничего не вынул из портфеля, только щёлкнул. И язвительно улыбнулся длинным ртом, мстя Гучкову за вмешательство в дела своего министерства, — следует предложить военному министру приостановить и даже немедленно прекратить мобилизацию труда инородцев в Туркестане: население там никак не склонно к военным усилиям, и мы не можем понуждать его к труду помимо его воли — это было бы против принципов завоёванной свободы.

530

Так Масловский до сей минуты и не решил — что же именно ему сделать. Наибольшее бы — выхватить у этих ворон Николая и увезти. Только бы увезти! — и через час он будет в Трубецком бастионе — и совсем другие разговоры с Временным правительством: цензовые хоть зубами лязгай.

Но реальных сил для этого не было никаких: семёновцы на вокзале без патронов, а как ещё там отзовётся 2-й стрелковый полк — тоже, может быть, оружия таскать не захочет. Конечно, если сейчас по Царскому Селу объявить, что царя готовят опять на престол, — гарнизон можно и взбунтовать. Но это далеко выходило за его поручение, Совет переполошится, что пойдёт!

Однако же и достаточно Масловский чувствовал необычайность революционных ситуаций: они создаются столь причудливыми, что не подчиняются законам размеренной жизни, обычную жизнь они прокалывают, как рапиры, и могут выпереть в самом неожиданном месте. Такой рапирой и был его мандат — грозного и загадочного состава слов и укреплённый самой большою силой — Советом.

Попробовать!

Подъехали. Александровский дворец несравнимо меньше Большого, не дворец, а просто длинный двухэтажный помещичий дом, два крыла.

В ближайшем — железные решётчатые ворота. Перед ними — часовой.

— Пропусти! — уверенно махнул ему Масловский грозной рукой, как если бы проезжал тут уже много раз.

Запрещено.

Изумился такому непорядку.

— Так караульного начальника!

Тот пошёл звать.

Сейчас всё зависело — какой выскочит, опытного не прошибёшь. Но — удача, да половина сейчас в армии таких: совсем зелёный, прапорщик, по-детски важный и чрезвычайно ответственного вида. И:

— Ни в коем случае, никого, категорически.

Тогда погрозней, сколько хватает голоса и вида:

— Я прислан… — а если штабс-капитан рядом помалкивает, так считай, что сам-то я от капитана и выше, — я прислан с особо важным поручением от Петроградского Исполнительного Комитета!

Да, но ни в коем случае, никого, кате…

— Молодой человек, поверьте моему опыту. Никакая инструкция не может предусмотреть всех возможностей. Вы понимаете, что такое Петроградский Исполнительный Комитет?

Тончает, стройнеет. Понимает.

И полупрезрительно ему:

— Что ж мне, показывать вам свои документы — тут, на морозе?

Прапорщик дрогнул. Пригласил войти в помещение наружного караула.

Удача! Но одновременно и ослабление: остальные боевые силы, штабс-капитан и два семёновца, остаются снаружи. Теперь вся сила: сам, папаха и мандат.

Погрозней развернуть. Показать со значением: мандат на столе, сам — закаменел под папахой.

Юный прапорщик прочёл, совершенно растерян. Вручалась вся военная власть! — и для исполнения *особо важного*.

— Что же вам угодно?

Снисходительно к его зелёности:

— Вы понимаете, об этом я не могу говорить с вами, но только с вашим начальством. Пойдёмте внутрь.

— Но, простите, я и сюда не имел права вас пропустить. А во внутренний караул… Приказ самого генерала Корнилова…

— Есть приказы выше, чем Корнилова: Именем Революционного Народа!

Та самая прорезающая рапира.

— Хорошо. Я вызываю дворцового коменданта.

Послали. В караульной комнате разводящий стоит как смирно. Прапорщик одёргивается, похаживает. Масловский подумал: присесть? Нет, стоять — внушительней.

Вошёл уланский ротмистр, довольно интеллигентного вида.

— Штабс-ротмистр Коцебу, комендант дворца.

— Особоуполномоченный Петроградского Совета полковник Масловский!

Пусть так, царь — полковник, и он — полковник: на генерала всё равно не вытянуть.

И мандат — опять на стол. (Крупная печать у Совета, хорошо что управились сделать. И подпись Чхеидзе — по буквам ясная.)

Да-а-а… *Особо важное поручение*…

— А — в чём оно состоит, позвольте узнать?

Масловский замер с поднятой бровью.

— Пройдёмте во дворец, я вам объясню.

— Это невозможно. Начальник караула не имел права пропустить вас и за ворота. Мы имеем строжайшее распоряжение законной власти…

Грозно:

— Ротмистр, что за разговоры? А Совет Депутатов, по-вашему, — незаконная власть? Начальник караула ни в чём не провинился, а вот *вы*, господин комендант!..

Прорезающая рапира. А что? в такие дни и не обернёшься, как обвинят и срубят голову.

Уже только защищается:

— Но Исполнительный Комитет должен же понимать, что нельзя ставить людей в такое положение. Ведь Совет тоже признал Временное правительство. И мы подчиняемся ему. Так надо…

— Что *надо*, ротмистр, — знает Исполнительный Комитет!

Что за музыка — «Исполнительный Комитет»! У народовольцев, казнивших Александра II, тоже был — Исполнительный Комитет. С тех пор звучит.

Заколеблен ротмистр.

— Ну, извольте… Если… Хотя это не по правилам… Я позвоню генералу Корнилову сейчас…

— Если вы позвоните Корнилову, я буду это рассматривать как оскорбление Исполнительного Комитета. Со мной на станции — авангард петроградского революционного гарнизона, а если нужно — и весь гарнизон двинется сюда!

И такое — видели на днях, убеждать не надо. Революция! Музыка момента! Даже, может быть, мог бы Масловский сейчас и объявить Коцебу арестованным, сошло бы. Не решился. Но во всяком случае — Уполномоченного с его мандатом не возьмётся арестовать вся соединённая дворцовая кордегардия.

Мандат — прорезающий каменные стены. Ещё, может быть, и Николая возьмём живьём!

Повёл! Повёл. Пошли вдвоём.

Какими-то тёмными переходами. Подземным коридором. Большая подземная казарма, при электрических лампочках, переполненная солдатами, перемешанный гомон голосов.

Идея! Прямо — к народу. Отнять у них массы! Только голоса мало:

— Здравствуйте, товарищи! Привет вам от петроградского гарнизона, от Совета Солдатских Депутатов!

Кто ближе — услышал, отозвались нестройно. Кто поднялся с нар, иные стали подходить.

Ротмистр забезпокоился. Теперь сам:

— Пойдёмте же.

Ну нет! Только тут и собрать армию:

— Товарищи! Петроградский Совет имеет сведения: готовится незаконное освобождение свергнутого царя! С тем, чтоб его снова посадить на престол! Революционный Петроград надеется на вашу поддержку!

Ближние что-то отвечают — в том смысле, что понимают. А кто — отходит. А сзади спрашивают — о чём это?

Тут — если дали бы поагитировать свободно, то может быть сразу бы — и взят Николай!

Но ещё и хмурый поручик подхватывает под локоть:

— Идёмте же, идёмте!

Нет, этих поднять не успеть. Да неизвестно ещё и подымутся ли.

Светлая комната первого этажа. Человек двадцать офицеров караульного полка, вместе с Коцебу, уже слышали, знают, резко возбуждены. Хлынули навстречу полукольцом, наперебой (и Коцебу свои силы собрал революционным путём!):

— Это Бог знает что такое!

— Кто вы, полковник, мы вас не знаем.

— Военный человек не может так действовать!

— Мы все выполняем приказ!

— Это возмутительно! Только-только стали солдаты успокаиваться — и опять разжигать?

— Разбуровить, как у вас в Петербурге?

Плотно охватили! Эмиссар Исполнительного Комитета стал теряться. За последние дни офицеры так робки, а вот этой дружности он не ожидал. Если все они заодно, то их не пробьёшь.

Заблуждал его взор, на ком бы остановиться, и вдруг — увидел среди них знакомое лицо, да, знакомое! Немолодой уже прапорщик — да левый кадет! встречались!

Ну, так и быть должно было! Офицерство военных лет — это ж не прежние собакевичи.

И тот — узнал. И кричит:

— Господа! Одну минутку. Мы оказались знакомы! Разрешите нам поговорить конфиденциально?

Надежда на какой-то смысл. Офицеры стихли. Перешли с кадетом в соседнюю комнату.

— Сергей Дмитрич, так, кажется? Ваша затея безумна, откажитесь. Полк ни за что не допустит.

Что-то перестали прокалывать революционные фразы. Эмиссар оседал. И этот «Сергей Дмитрич» обыденный как будто срывал угрожающую змейную папаху. И станет известно, что — не полковник.

Хотя ручка браунинга виднелась из кармана.

— А какая затея?

— Вы хотите убить императора? Здесь, в его дворце?

— Да откуда вы это взяли? Только оттого, что я социалист-революционер? — (Эти дни замечательно звучащее сочетание.)

— Но ротмистр Коцебу говорит, что ваш мандат… Вы разрешите посмотреть?

— Ну, пожалуйста.

И предъявление — первое обыденное, без эффекта. Однако на кадета впечатление сильное:

— Ваше поручение средактировано с т р а ш н о, я не подберу другого слова. И что же можно подумать?

— Ну как… Принять меры, не допустить бегства. В интересах углубления революции недопустим здешний режим содержания. Если нужно, то…

— Что?

— Перевезти его в другое место.

— Это исключено. Это оскорбление полку.

От этих переговоров эмиссар не укрепился. Всё вязло. Вернулись в комнату к офицерам.

Масловский оглядывал их безнадёжно верноподданные гвардейские лбы: даже дни революции не сотрясли их собачьей верности.

Объяснил. У Совета есть неопровержимые данные, что коварно готовится бегство царя — для реставрации его. И полномочия комиссара (уже сдержанней) — пресечь такую опасность. Может быть, спокойнее — перевести царя в другое место.

Новый взрыв офицерского возмущения — и опять единодушный:

— Так вы нам не доверяете?

— Вы хотите отстранить наш полк?

Да в общем-то — и хорошо бы. Но видно, что не удастся:

— Господа, при чём тут недоверие? Если б я вам не доверял — я пришёл бы сюда не один, но привёл бы под дворцовые стены хоть целый корпус! Хоть весь матросский К р о н ш т а д т.

Кронштадтом их — как саблей по глазам, как кровью брызнуть в глаза, — откинулись.

— Кронштадт! — полосанул. Недолго и с вами справиться, только сбегать за матросами. — Но если я убеждусь, что арест произведен со всею строгостью, что охрана безупречна… М-может быть, м-может быть… — разочарованно уступал он, уже не видя, не веря успеху, — обойдёмся и без вывоза в Петропавловскую крепость.

Коцебу стоял с твёрдо-вызывающим взглядом, руку на эфес. Нет, не даст.

Старый коренастый капитан ответил мрачно и твёрдо:

— Вывезти Государя мы не дадим, хотя бы пришлось дать бой.

Всхлестнулся Масловский: а всё-таки?

— Вы отлично знаете, господа, что, если будет найдено нужным, — будет вывезен в Петропавловку и он, и вы, и кто угодно! Но *может быть*, повторяю, можно обойтись и без столкновения. Совет не хочет непременно столкновения. Я для того и поговорил с солдатами, чтобы убедиться… И вижу, что солдаты вполне лояльны Совету. Но я хочу понять в отношении вас…

Старшие офицеры отошли посовещаться в оконное углубление. И один из них после этого:

— Мы заняли караул тоже не так легко. Всю ночь и ещё до сегодняшнего утра Сводный гвардейский полк не хотел сменяться — не верил нам, а мы ему. И уже пулемёты расставили, чуть не дошло до боя. Так вот, и мы заняли не для того, чтобы так легко уйти. Пока мы здесь — ни бывший император, ни его семья из этих стен не выйдут. Мы будем караулить безсменно. Мы можем взять на себя обязательство, что наша смена не произойдёт без ведома Петроградского Совета. Вы удовлетворены?

— Без *согласия* Совета, я так понял?

Молчали.

Д-да… Приходилось удовлетвориться…

И — что же? И — только-то? Вся поездка эмиссара, весь его исторический мандат, весь его дерзкий натиск — вот только этим и кончатся? Так и зря проездил? Так и вернуться с пустыми руками?

Революционная гордость не позволяла. И стыдно перед Исполкомом.

Уже срываясь и скатываясь с достигнутой высоты, эмиссар в переворачиваниях всё же стремительно соображал: что же бы ухватить? как сохранить лицо?

И — выхватил:

— Но кроме надёжности охраны мне надо убедиться, что охраняемый — действительно тут. Вам придётся — предъявить мне арестованного.

Офицеры вздрогнули. Потемнели. С гневом:

— То есть как — п р е д ъ я в и т ь ?

— Что за мысль? Да ведь хуже этого…

— Он никогда не согласится!

— Что за жестокость, и притом безцельная? Вы же не можете действительно сомневаться, что Государь тут? Что ж, по-вашему, полк станет стеречь пустые комнаты, что ли?

— Мы все его видели. Мы даём честное офицерское слово, что Государь — тут, и замкнут.

И снова они противились, офицерская двадцатка, напряжённым полуокружьем.

Но чем горячей они возражали, тем верней эмиссар понял, что ухватил правильно. Они считали жестоким — из-за унижения? Так вот, унижение монарха и было более всего нужно! Унижение —

важнее самого ареста. Унижение — в каком-то смысле даже ещё лучше эшафота! Этот факт будет отражён в газетах, о нём все узнают, — великолепно! Царь — не согласится? — так вот именно пусть согласится! Это и будет перелом его воли!

— Да, именно *предъявить*! Я не могу вернуться в Совет, не убедившись собственными глазами…

Тем и разителен был наш эсеровский террор, что мистику «помазанничества» он разменивал в физиологию кровавых кусков. Снизить помазанника — до проверяемого арестанта, перед комиссаром революционных рабочих и солдат! Императору, прошедшему тюремную проверку, — этого уже не забудут ни живому, ни мёртвому.

— Да, именно — предъявить! — гордо вскинул Масловский голову в змейной папахе. — Иначе судьба Временного правительства и всей России снова станет на карту!

Это — замечательно он сказал. Всё более видел, что тут им — не отказать. *Кронштадт* — только что был, и может повториться.

Послали за полковым командиром.

531

Караулы от 1-го стрелкового гвардейского полка были поставлены только наружные. А внутри — дворец остался как остался, все коридоры и двери свободны, одно крыло, тесно заселенное царской семьёй, потом пустующие парадные залы середины, коридоры по обоим этажам с ответвленьями к лицам свиты — а в дальнем крыле больная Аня Вырубова и все, кто суетился вокруг неё.

И к ней тоже должны были пройти вечером, — но эти первые часы были у детей — сперва у наследника, в светлой комнате, Алексей уже выздоровел. Потом у дочерей — у выздоравливающих старших княжён. Потом у всё ещё больной младшенькой Анастасии. И в вовсе тёмной комнате у тяжело больной, в жару, Марии, — она не могла ясно внять, что отец приехал, то подтверждала, что приехал, то бредила, почему не едет, и о страшных людях, которые толпой идут убить маму.

Только побывав в этих комнатах — мог ощутить Николай, как досталось его ненаглядной выхаживать сразу всех больных, и в такие дни.

А Оля и Таня ликовали от приезда отца. Хотя ещё лежали, но уверяли, что теперь-то совсем выздоровели. Им казалось — приезд отца разрешал все беды.

Они так и говорили, вертясь на подушках: ведь если мы теперь все вместе — нам ничего не страшно, папа, мама!

Алексея, тоже повеселевшего, отец обнимал, прижимал, молча, стараясь скрыть, как потерян, очень трудно было говорить.

Поблагодарил Лили Ден, этого нежданного ангела, разделившего самые тяжкие дни императрицы. Лили заплакала.

Пытался поговорить при ней, при Бенкендорфе о незначащих вещах — но не хватило всей выдержки и привычки. Такое дупло ныло внутри — можно было только замкнуться, закрыть глаза, смолкнуть, одеревянеть. Николай только с Аликс мог быть сейчас наедине, не в силах проявлять какую-либо жизнь.

И они снова спустились в свои комнаты.

Заперлись.

Запрещалась прогулка — мог Николай наверстать силы в том, чтобы несколько часов пробыть с Аликс — в молчании и рухнувши. Через эту перемолчку и неподвижность он должен был пройти, чтобы возродиться.

Александра уложила его на кушетке. Сидела подле него — и прикладывала ко лбу прохладные, влажные платки.

В дверь — не постучала, но погладила комнатная девушка государыни:

— Ваше Величество… Граф Бенкендорф осмеливается просить вас.

Аликс тихо встала и вышла.

Граф Бенкендорф — дрожали его узкие бакенбарды — в смущении и волнении нёс какую-то безсвязицу: Государь должен появиться перед каким-то пришельцем, комиссаром Совета рабочих депутатов.

— Как это — появиться? — разгневалась императрица, ещё чувствуя в себе последние силы, тем ответственней, чем меньше их оставалось у августейшего супруга. — Государь не назначал никому аудиенции!

Граф ломал пальцы, ещё бы он не понимал, старый царедворец! Но новый комендант дворца говорит, что нет иного выхода. Не угодно ли Ея Величеству принять с объяснениями коменданта?

Как всегда доставались ей — мужская доля, мужские решения. В таком состоянии, как Ники был, он принять решенья не мог.

Государыня прошла в зелёную гостиную, всё в том же, своём теперь обычном, платьи сиделки, — и приняла штабс-ротмистра Коцебу, уже с благоприятной характеристикой Лили Ден, и всматривалась теперь в него своими оболевшими, усталыми глазами, — кажется, и они, последние в семье, скоро перестанут смотреть.

В таком состоянии и не рассмотришь нового человека. Но Коцебу держался очень почтительно и с тоном заботливым — как все их прежние хорошие окружавшие офицеры.

Он объяснял, что у него — нет выхода, нет таких сил — ссориться с Петроградским Советом. А Совет желает удостовериться, что Государь — действительно тут.

Задохнуться можно было!

— Но куда же он мог деться? Но где ж ему ещё быть?

Однако Коцебу не отступал. Если произошло бы столкновение с силами Совета — это ни для кого не будет хорошо. Но с большим трудом достигли, как уладить мирно. И это — совсем небольшая процедура, она не будет Государю отягчительна. Ему — не надо этого комиссара принимать, ни разговаривать с ним, ни даже — с ним здороваться. Придумали так: в том скрещении коридоров наверху, где картинная галерея, Государь пройдёт, не останавливаясь, по одному коридору, а из другого будет смотреть этот комиссар, вот и всё. Комиссар будет окружён вооружёнными офицерами караульного полка — он не сможет ни двинуться, ни оскорбить.

Получалось так, что надо — согласиться. Положение узников не давало слишком большого выбора.

Но знала государыня, в каком расслаблении и немоте оставила Государя. В состоянии ли будет показаться?

А нельзя ли эту процедуру отложить — часа на два? хотя бы на час?

Увы, увы, нет, — штабс-ротмистр сильно безпокоился. За час может быть потерян мирный исход. Ея Величество не представляет, какие опасности уже минованы.

Очевидно, приходилось уступить.

Александра пошла приготовить Ники. Он лежал на спине в тяжёлой дрёме, с полуоткрытым ртом, и стонал. Её сердце разрывалось: за что ещё это страдание и унижение ему посланы?

Она двумя руками взяла его за голову, ласкала и пробуждала.

Он плохо вникал: почему, куда нужно идти? зачем? Но верил ей.

И с тягостью, с тягостью — приподнялся, сел. Скрывая следы его слабости, она сама его обтёрла, умыла.

В спальне он переоделся из шлафрока в лейб-гусарское. Переодевался он по военной привычке всегда легко и быстро.

Глаза и многие морщины на тёмном лице были как ямы.

Аликс перекрестила его, — и он вышел к Бенкендорфу и Долгорукову — то ли поняв, то ли всё ещё в сером непонимании.

Слава Богу, ему не надо было никому ничего говорить.

Это была как маленькая коридорная прогулка, поскольку ведь парк был теперь запрещён.

Но как стыдно гулять развенчанному!..

Они поднялись на второй этаж. Бенкендорф почтительно объяснял Государю, где и как надо пройти — до комнаты камердинера Волкова. И — нужно без головного убора.

Понял, не понял?..

Снял гусарскую фуражку, положил на коридорное окно.

Сам Бенкендорф с Долгоруковым поспешили вперёд, занять позиции. А Государь должен был помедлить минуты три здесь.

Потом пошёл — совершенно как в забытьи, как во сне, как сам не присутствуя и не участвуя.

Сам открыл полотнище широких дверей — там дальше, на перекрестьи коридоров, под стеклянными потолками, уже почти не дававшими света приконченного дня, горели ярко лампы, все, какие были там.

Николай прижмурился, больно.

Медленно безцельно шёл.

В трёх шагах от перекрестка вбок стоял этот самый комиссар — в форме военного чиновника, но в крупной лохматой кавказской папахе, одну короткую ногу выставив вперёд.

Позади него стояли-сторожили — два напряжённых офицера с необычным положением правых рук в карманах, нельзя не заметить.

И ещё — уланский штабс-ротмистр.

Ни он, ни другие офицеры не отдали чести, но вытянулись. Расправился и Бенкендорф.

А комиссар — не пошевелился и папахи не снял. Стоял всё с тем же диким видом, выдвинутой ногой, как будто начав движение к Государю. И никто не сказал ему — или уже поздно? — чтобы скинул папаху.

И никто не решился сбить её рукой.

Стало тихо до дыхания.

Государь шёл не слишком чёткими, совсем не обычными своими шагами, со слабым малиновым призвоном шпор. Шёл, самой походкой выражая недоумение и незнание, как ему правильно делать.

И странным было отсутствие фуражки. И голова не стояла твёрдо по-военному.

Измученный вид, воспалённые веки, мешки подглазные обвисли. Усы свисали. Как постарел!

Всего-то требовалось: не оглядываясь, не косясь, пересечь как можно быстрей коридорное скрестье — и уйти, и избавиться, всё.

Но Государь — не сумел пройти, не замечая напряжённой сбоку группы. Он естественно повернул голову к присутствующим — а тогда и замедлился — а тогда и направление изменил — полшага, ещё полшага сюда, растерянно глядя по лицам — недоуменно впервые соображая: почему они так стоят? в таком сочетании? И кто этот в змейчатой папахе?

Ещё змейней были те глаза, они жгли ненавистью. Комиссар исказился лицом, дрожал лихорадочно.

И перед этим ярким явлением злобы Государь остановился, очнулся — почувствовал. На его измученно опухшем лице проявился смысл — и изнемога.

Он чуть перекачнулся с ноги на ногу. Дёрнул одним плечом. И уже поворачивался уйти — но не мог он, из вежливости, не кивнуть группе на прощание.

Кивнул.

И — пошёл, неустойчивым шагом, — но не далеко вперёд, как направлялся, а — назад, откуда пришёл.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕТЬЕ МАРТА, пятница

Глава 354 9
Ломоносов и Бубликов охотятся за царским Манифестом.

Глава 355 13
Молодость адмирала Колчака. — Возрождение флота после Японской войны. — Назначен на Черноморский флот. — План захвата Босфора. Препятствия от Ставки. — Первые известия о петроградских событиях. — Решение Колчака для своего флота. — Тайная миссия к великому князю.

Глава 356 21
Как в. кн. Николай Николаевич переносил кавказское изгнание. — Его участие в отречении Николая II. — Принимает пост Верховного Главнокомандующего.

Глава 357 26
Министры застигнуты новостью: не такое отречение! — Задержать Манифест. — Ехать коллективно к Михаилу.

Глава 358 31
Аппаратный разговор Родзянко — Рузский: задержать Манифест.

Глава 359 36
Ночные терзания генерала Эверта. — Телеграмма Родзянке. — И опять не так!

Глава 360 38
Генерал Алексеев узнаёт от Родзянки: задержать Манифест. — Сношенье с фронтами.

Документы — 12 42
Генерал Иванов — генералу Алексееву.

Глава 361 43
Костя Гулай сшибает немецкий плакат.

Глава 362 47
Пробуждение Варсонофьева. — Неурядный колокольный звон.

Глава 363 52
Ликоня: это была не она!

Глава 364 53
В окружении адмирала Непенина. Ночь. — И утро.

Глава 365 56
Генерал Рузский в немощи после разговора с Родзянкой. — А бороться с шайками надо.

Глава 366 59
Гучков и Шульгин возвратились в Петроград. — Шульгин читает отречение солдатскому строю. — Нет, нельзя объявлять!

Глава 367 63
Ломоносов перехватывает подлинник Манифеста.

Глава 368 66
Гучков в паровозном депо.

Глава 369″ (газетное) 70

Глава 370 73
Кутепов соскочил с московского поезда.

Документы — 13 75
Обращение к солдатам Преображенского батальона.

Глава 371 76
Воротынцев приехал в Киев. — Газетные новости.

Глава 372 78
Саша Ленартович в комиссариате. — Ночная встреча с Матвеем Рыссом. — «Революция не доведена до конца!»

Глава 373 81
Фрагменты дня.

Глава 374 85
Думцы у великого князя Михаила.

Глава 375 92
Генерал Алексеев прозревает, что обманут Родзянкой. — Созвать совещание Главнокомандующих?

Глава 376 96
Эверт недоумевает. — Ну, кажется, решение!

Глава 377 98
Совещание у великого князя Михаила продолжается. — Решил отречься.

Глава 378 110
Пешехонов с квартирьерами пулемётчиков.

Глава 379 112
Воротынцев на киевских улицах.

Глава 380 117
Станкевича избирают в Совет от сапёрного батальона.

Глава 381 120
Коля Станюкович. — Кормёжка солдат в барском особняке. Ликоня.

Глава 382″ (по «Известиям СРСД») 123

Глава 383 124
Составляют отречение. — Михаил подписал.

Глава 384 127
Свои ж большевики не дают Шляпникову начать восстание.

Глава 385 129
Новый быт Исполкома. — Судьба династии Романовых. — Пустить трамвай.

Документы — 14 134
Из протокола ИК СРСД: об аресте Романовых.

Глава 386 135
Бьют государственные гербы.

Глава 387 138
В квартире Карабчевского Керенский с адвокатами.

Глава 388 144
Последние усилия Бубликова в министерстве. Начинают печатать Манифест.

Глава 389 146
Секретарь Толстого в хлопотах за осуждённых сектантов.

Глава 390 150
Государыня узнала об отречении Николая.

Глава 391 154
В. кн. Николай Николаевич в раздирающей неизвестности.

Глава 392 157
Эверт то твердеет, то слабнет.

Глава 393 160
Алексеев тщетно согласовывает Главнокомандующих. Всё расползается. — Нет, всё рушится: отречение — полное!

Глава 394 165
Милюков раздумал уходить с министерского поста. — И уговаривает Гучкова остаться.

Глава 395 171
Варя пятигорская заведует солдатской чайной.

Глава 396 175
День и вечер, фрагменты.

Глава 397 180
Пешехонов в Таврическом. — Разрешение на печать.

Глава 398 182
Братья Парамоновы. — В Ростове побеждает новый порядок.

Глава 399 186
Гельсингфорс. Бунт на «Андрее Первозванном».

Глава 400 189
Бунт расширяется. — Адмирал Непенин пытается объясниться с матросами. — «Балтийский флот не существует».

Глава 401 194
Николай Николаевич проявляет власть. — Алексеев узнаёт — об отставке Гучкова? — Панические телеграммы Непенина.

Глава 402 197
Николай в пути до Могилёва. — Генерал Алексеев приносит весть, что и брат отрёкся.

Глава 403 200
Взгляд Свечина на происходящее. — Поворот его к Государю. Встреча Государя на могилёвском перроне.

Глава 404 206
Опять Родзянко у аппарата: в Петрограде всё в порядке и все в бодрости. — Горечь генерала Алексеева.

Глава 405 210
Ломоносов отвозит Манифест Николая в Таврический.

Глава 406 212
Стеснение генерала Алексеева перед Государем. — Рассылка Манифестов фронтам.

Глава 407 214
Генерал Гурко в штабе Особой армии. — Конец династии? — Пишет письмо Государю.

ЧЕТВЁРТОЕ МАРТА, суббота

Глава 408 221
Непенин сохраняет линию. — Матросское радио: «Не верьте тирану!»

Глава 409 223
Снова немецкий плакат. — Гулай у пехотинцев.

Глава 410 226
В штабе Северного фронта корректируют Верховного.

Глава 411″ (газетное) 228

Глава 412 231
Подполковник Тихобразов и Государь.

Глава 413 232
Утро Государя в Ставке. — Последний доклад Алексеева.

Глава 414 237
В Царском Селе после отречения. — Государыня покоряется. — Телефонный разговор с Государем. — Не падать духом. Экстаз.

Глава 415 241
Адмирал Непенин смещён матросами с командования флотом. — И арестован.

Глава 416 245
Ксенья на московских улицах. — Парад войск на Красной площади. — Дети в Александровском саду.

Глава 417 249
Великий князь Николай Николаевич принимает грузинских социалистов. — Отшатнулся от предложения Колчака.

Глава 418 253
Убийство Непенина.

Глава 419 256
Отрекшийся Государь стесняет Алексеева. — В Ставке проездом генерал Корнилов. — Уехать Воейкову и Фредериксу. — Банды нажимают, уже и в Могилёве. — Гучков успокаивает генерала Алексеева.

Глава 420 260
Гучков. С чего начинать военное министерство? — Как быть с «Приказом № 1»? — Приказ № 114. — Начало комиссии Поливанова.

Глава 421 266
Половцов в переменчивой обстановке. — Революционные забавности. — Ищет себе устройство.

Глава 422 269
Недоумения Козьмы Гвоздева в Исполнительном Комитете.

Глава 423 272
Многовластие на Петербургской стороне.

Глава 424 274
Генерал Рузский ищет средства против развала фронта. — Ход через Бонч-Бруевича? — Совместно с Непениным?

Глава 425 278
Изменить отречение на Алексея! — Попытка Государя.

Глава 426″ (по «Известиям СРСД») 284

Глава 427 285
Воротынцев с Крымовым на станции Унгены.

Глава 428 290
Особое положение Гиммера в революции. — Отвечать Милюкову! — обратиться к европейскому пролетариату.

Глава 429 293
Сведения с Дона от сестры Маши. — Фёдор Ковынёв наблюдает нравы революции.

Глава 430 297
Всенощная с выносом Креста.

Глава 431 303
Родичев в Гельсингфорсе.

Глава 432 310
Первые решения Временного правительства.

ПЯТОЕ МАРТА, воскресенье

Глава 433″ (изложение революционных событий по газетам) ...317

Глава 434 319
Подполковник Бойе поручает Сане читать отречения.

Глава 435 323
На батарее слушают отречение.

Глава 436 328
Георгиевский батальон под марсельезу. — Государь на обедне в штабной церкви. — Вот она, Крестопоклонная.

Глава 437 332
Рузский в безсилии. — Самовольный парад во Пскове.

Глава 438 335
Колчак узнаёт об отречениях. — Первый опыт матросского собрания.

Глава 439 340
Ярик в отпуску в Ростове.

Глава 440 345
Ленартович в Союзе офицеров-республиканцев.

Глава 441 348
На объединённом СРСД. Расчёты Исполкома. — Где хоронить жертвы революции. — Речь Чхеидзе о возобновлении работ на заводах. — Постановили.

Глава 442 353
Самодеятельные толпы на Петербургской стороне.

Глава 443 355
Керенский в Сенате. — Керенский в Зимнем дворце.

Глава 444 361
Парад могилёвского гарнизона. — Генерал Алексеев тщетно добивается действий правительства.

Глава 445 365
Гучков над развалом флота и армии. — Принимает генерала Корнилова. — На заседании Совета министров. — Кулуарно: арестовать царя!

Глава 446 (Провинция по тогдашним газетам. Фрагменты) 370

Глава 447 376
Фредерикс и Воейков должны уехать из Ставки? — Вдовствующей императрице опасно и в Киеве. — Государь слушает объяснения генерала Иванова. — Письмо от генерала Гурко.

Глава 448 382
Шингарёв начинает работать в министерстве земледелия.

Глава 449 386
Ленин и Парижская коммуна. — Растереблен новостями из России: скорее ехать? сильно подождать? — Тактическая программа для едущих в Россию. — Подторопить немецкого посла! — Лекция в Шо-де-Фоне. Не повторить великодушия в революции! — Планы на Инессу.

Глава 450 393
Выборгских — в Кронштадт на усиление!

Глава 451 395
Как солдаты спасли генерала Ушакова. — Безвластие во Пскове. — Письмо генералу Рузскому от В. Бонч-Бруевича. — Ответная телеграмма Рузского. — Хаос катится к передовым позициям. Рузский готовит делегацию в СРД. — Вернулся М. Бонч-Бруевич.

Глава 452 399
Гучков с Корниловым едут в Царское Село. — Во дворце у царицы.

Глава 453 409
Красный крест.

ШЕСТОЕ МАРТА, понедельник

Глава 454″ (по свободным газетам, 5—7 марта) 410

Глава 455 414
Прошлая служба и бои Кутепова в Преображенском полку. — Возвращение в полк. — В полку растерянность. — Но остаётся Верховный Главнокомандующий!

Глава 456 419
Государь тяготит Алексеева в Ставке. — Пришло разрешение ему ехать.

Глава 457 420
Николай Николаевич прощается с Кавказом.

Глава 458 (Как в провинции было. Фрагменты) 425

Глава 459 432
Этой зимою в Каменке. — В семье Бруякиных. — Школьный диктант. — Дождался Плужников.

Глава 460 436
Секретарь Толстого у Керенских дома.

Глава 461 440
Родзянке немного легчает. — Частное совещание членов Думы. — Воззвание о хлебе.

Глава 462 444
Ободовский в поливановской комиссии. — Как вернуть заводы к работе?

Глава 463 447
ИК составляет Приказ № 2. — Вопрос об аресте Романовых. — Разрешать ли все газеты?

Глава 464 452
Развал Северного фронта. — Генералу Рузскому анонимно отвечают «Известия». — Пришёл «приказ № 2».

Глава 465 456
Гучков над бумагами. — Ездит с речами. — На отпевании Дмитрия Вяземского в Лавре.

Глава 466 461
Государыня жжёт дневники.

Глава 467 464
Шляпников: так неужели не идём на восстание? Рабочая гвардия. — Сила «Правды». — Кшесинская просит вернуть особняк.

Глава 468 469
Секретарь Толстого на приёме у Керенского.

Документы — 15 474
Телеграмма Ленина.

Глава 469 474
В Исполкоме. — Делегация Рузского. Ошибка с Приказом № 2? — Заявка на 10 миллионов рублей.

Глава 470 478
Ужины у Корзнеров. — «Обречены победить!»

Глава 471 484
Батарейцы в землянке. «Замирение будет».

Глава 472 487
Делегация Исполнительного Комитета у Гучкова.

Глава 473 494
Милюков министерствует. — С послами союзников. — Вопрос об отъезде Николая в Англию. — Телеграмма от короля Георга. — Так

царя пока арестовать? — Заседание Временного правительства, текущие вопросы. — Керенский промелькнул с амнистией. — Гучков требует гарантий общественной безопасности.

Глава 474 505
Отречение — точно произошло. Ленин рвётся в Россию. — Инесса колеблется ехать. — Программа для петербургских. — «План Мартова» — через Германию!

Глава 475 510
Ликоня: и снова он не позвал.

Глава 476 511
Частный разговор министров об аресте царя.

Глава 477 514
Аппаратный разговор Львова и Гучкова с генералом Алексеевым. Отставка великому князю Николаю Николаевичу.

СЕДЬМОЕ МАРТА, вторник

Глава 478 521
Безсонная ночь генерала Алексеева. — Новый отказ от Верховного Главнокомандования. — Безпорядочное утро. Предложение союзных военных представителей.

Глава 479″ (по социалистическим газетам, 5—7 марта) 526

Глава 480 528
Приезд Керенского в Москву. На вокзале.

Глава 481 532
Капитан Нелидов. Порядки в Московском батальоне. — Спасти кого успеешь.

Глава 482 536
Пустили трамваи! Тёти Агнесса и Адалия гуляют.

Глава 483 539
Шляпников на Исполкоме. — Не дать вывести 1-й пулемётный полк!

Глава 484″ (по свободным газетам, 7 марта) 541

Глава 485 543
Керенский у деятелей юстиции. — Перед московским гарнизонным собранием. Обморок.

Глава 486 548
Саня. Из пехоты принесли «Приказ № 1».

Глава 487 551

Трудности Гиммера сочинить воззвание к народам мира. Тупая сила крестьянской солдатчины. — Безуспешная речь Горького в рабочей секции Совета.

Документы — 16 556
Справка причту Благовещенской церкви.

Глава 488 556
Керенский в Английском клубе.

Глава 489 561
Обстановка в Могилёве. — Свечин над стратегическими планами.

Глава 490 565
Высокое настроение Государя. — Составляет прощальный приказ по Армии.

Глава 491 570
Николай Николаевич в поезде, по дороге с Кавказа.

Глава 492 576
Колчак ищет путь спасения флота. — Офицерское собрание. — На балконе Морского Собрания.

Глава 493 582
Гучков во мрачности. — На заседании правительства. — Об аресте царя. — И ещё воззвание, ещё воззвание.

Глава 494 586
Саня в батарее. — Газеты. — Смерть генерала-профессора.

Глава 495 589
Керенский и Грузинов в городской думе. — Керенский в Московском Совете. — Уезжает.

Глава 496 594
Ликоня вернулась: всё ли у нас так?

Глава 497 595
Генерал Алексеев даёт согласие объявить прощальный приказ Государя. — Кисляков открывает ему приказ об аресте царя.

ВОСЬМОЕ МАРТА, среда

Глава 498 600
Воротынцев читает прощальный приказ Государя.

Глава 499 604
Генерал Эверт поддаётся потоку. — Отслужил.

Глава 500 608
Государь прощается с офицерами Ставки.

Глава 501 613
Генерал Корнилов арестовывает государыню.

Глава 502 618
Устанавливает меры охраны в царскосельском дворце.

Глава 503″ (февральский образ выражения).....622

Глава 504 625
Андозерская над газетами. — Пошлость душит.

Глава 505 632
Генерал Алексеев запрашивает Гучкова о приказе Государя! Таит тайну ареста.

Документы — 17 634
Генерал Жанен — генералу Алексееву.

Глава 506 635
У подполковника Бойе. — Приказы, приказы.

Глава 507 638
Пулемётный полк не уходит. — Автомобильные заботы в комиссариате у Пешехонова. — Народной власти нет.

Глава 508 640
На заседании ИК. Текущее. — Положение на заводах. — Выборы Контактной комиссии.

Глава 509 646
Безтолковщина в солдатской секции Совета. — Декларация прав солдата.

Глава 510″ (по западной прессе).....652

Глава 511 657
Бубликов в Могилёве. — Арест царя.

Глава 512 662
Владимир Набоков берёт управление делами Временного правительства. — Текущие дела.

Глава 513 668
Государю объявлен арест. — Отъезд из Могилёва.

Глава 514 672
Царица: если видеть всё с *другой* стороны.

Глава 515 674
Министерские дела Гучкова. — Торжественный вечер Военно-промышленного комитета.

Глава 516 679
Арест царя глазами генерала Алексеева. — Требования союзников и соображения Алексеева. — «Известия» со статьей против него. — Использован.

ДЕВЯТОЕ МАРТА, четверг

Глава 517″ (по свободным газетам, 8—9 марта) 686

Глава 518 691
У Гучкова сердечный припадок.

Глава 519 694
Государь последние часы в своём поезде. — Приезд в Царское Село.

Глава 520 698
Интервью генерала Рузского «Биржёвке».

Глава 521 (Армейские фрагменты) 702

Глава 522 706
В Исполнительном Комитете. Паника о побеге царя.

Документы — 18 711
Срочное сообщение всем от ИК.

Глава 523 711
Положение на заводах. — Фабриканты готовы к уступкам. — Гвоздеву поручают арестовать царя.

Глава 524 715
Масловский получает великую революционную задачу. — Выезд в Царское Село.

Глава 525 719
Милюков беседует с корреспондентами. — С Бьюкененом о царе, новое в его позиции. — О судьбе царя с кн. Львовым. — Америка признала Временное правительство.

Документы — 19 725
Генерал Алексеев — генералу Жанену.

Глава 526 726
Государь наедине с Аликс. — Задержан на прогулке.

Глава 527 730
Масловский в царскосельской ратуше.

Глава 528 735
Шляпников настаивает: «Долой войну!» — Солдатская секция, обсуждение «Декларации прав солдата».

Документы — 20 739
Гучков — генералу Алексееву.

Глава 529 740
Князь Львов умягчает Исполнительный Комитет. — Принципы управления Россией. — Заседание Временного правительства.

Глава 530 745
Масловский проникает в Александровский дворец. — Столкновение с офицерами. — *Предъявить* царя!

Глава 531 752
Предъявление.

Литературно-художественное издание

Александр Исаевич Солженицын

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ 13

КРАСНОЕ КОЛЕСО
Повествованье в отмеренных сроках

Узел III. Март Семнадцатого
КНИГА 3

Редактор
Наталья Рагозина

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Корректор
Ирина Машковская

Верстка
Валерий Калныньш

Подписано в печать 05.04.2008.
Формат 60x90/16
Бумага офсетная. Печать офсетная
Тираж 5000 экз.

«Время»
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25
Телефон (495) 951 5488
http://books.vremya.ru
e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано на ОАО «ИПП
“Уральский рабочий”»
620019, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru

Солженицын А. И.

С60 Собрание сочинений в 30 томах. Т. 13. Красное Колесо: Повествованье в отмеренных сроках. — Узел III: Март Семнадцатого. Книга 3. — М.: Время, 2008. — 776 с.

ISBN 978-5-9691-0335-1

Конец династии? Великий князь Михаил не принял престола от своего отрекшегося брата. Читатель следит, как революция утверждается в Петрограде, Москве; как она приходит в Ростов, на Дон, на Тамбовщину. Повсюду распад властей. Действующую Армию сотряс разосланный Исполкомом «Приказ № 1». Во множестве воинских частей, фронтовых и тыловых, — развал и произвол. Офицерство подорвано необратимо. Бунт на кораблях Балтийского флота; убийство адмирала Непенина. Арест Государя в Ставке, в Могилёве. Заточение его с семьёй в Царском Селе.

ISBN 978-5-9691-0335-1

9 785969 103351